This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 471894 DUPL

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

184/е

ПОСЛѢДНІЯ СОЧИНЕНІЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО.

Томъ II.

ИЗДАНІЕ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

ПРОВЕРЕНО
1963 г.

ПРОВЕРЕНО
1970 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Н. Н. Клобукова. Лиговская ул., № 34.
1905.

1956 г.
ПРОВЕРЕНО

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

184/е

ПОСЛѢДНІЯ СОЧИНЕНІЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО.

Томъ II.

ИЗДАНІЕ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

ПРОВЕРЕНО
1963 г.

ПРОВЕРЕНО
1970 г.

1956 г.
ПРОВЕРЕНО

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Н. Н. Клобукова. Лиговская ул., № 34.
1905.

Изданія редакціи журнала „РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

(*С.-Петербургъ*—контора редакціи, Баскова ул., 9; *Москва*—отдѣленіе конторы, Никитскія Ворота, д. Гагарина).

Д. Айзманъ. ЧЕРНЫЕ ДНИ. Очерки и разсказы. Ц. 1 р.

С. Ан—скій. ОЧЕРКИ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Ц. 80 к.

П. Булыгинъ. РАЗСКАЗЫ. Ц. 1 р. 50 к.

Діонео. ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ АНГЛІИ. Ц. 1 р. 50 к.

— АНГЛІЙСКІЕ СИЛУЭТЫ. Ц. 1 р. 50 к.

Вл. Короленко. ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Кн. первая. *Десятое* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

— ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Кн. вторая. *Седьмое* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

— ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Кн. третья. *Второе* изданіе. Ц. 1 р. 25 к.

— СЛѢПОЙ МУЗЫКАНТЪ. *Десятое* изданіе. Ц. 75 к.

— ВЪ ГОЛОДНЫЙ ГОДЪ. *Пятое* изданіе. Ц. 1 р.

— БЕЗЪ ЯЗЫКА. Разсказъ. *Третье* изданіе. Ц. 75 к.

Н. Кудринъ. ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦІИ. *Второе* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

Ек. Лѣткова. МЕРТВАЯ ЗЫБЬ. Повѣсти и разсказы. Т. I. *Третье* изданіе. Ц. 1 р.

— ОТДЫХЪ. Повѣсти и разсказы. Т. II. *Второе* изданіе. Ц. 1 р.

— РАБЪ. Повѣсти и разсказы. Т. III. Ц. 1 р.

Л. Мельшинъ. ВЪ МІРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ. Записки бывшаго каторжника. Т. I. *Третье* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

— ВЪ МІРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ. Т. II. *Второе* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

— ПАСЫНКИ ЖИЗНИ. Разсказы. *Второе* изданіе. Ц. 1 р.

— ОЧЕРКИ РУССКОЙ ПОЭЗІИ. Ц. 1 р. 50 к.

Mikhaĭlovskiĭ, Nikolaĭ Konstantinovich
9/47/

ПОСЛѢДНІЯ СОЧИНЕНІЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО.

Томъ II.

8851 ц. 1р. 50 к.

ИЗДАНІЕ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

947,1

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

25401 ✓
34041 V

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Н. Н. Клобукова. Лиговская ул., № 34.
1905.

1950 г.
ПРОВЕРЕН

891.78
M63
1905
v. 2

46368

Pub Hist Ll
7-2-73
970163-293

Оглавленіе.

стр.

I. Отрывки о религіи . . . . . 1— 53

II. Памяти двухъ писателей и одного цензора.—Г. Андреевскій, вырожденіе риѳмы и „Міръ искусства".—Поэтъ, критикъ и ораторъ . . . . . 54— 83

III. Предисловіе А. Ѳ. Кони къ сочиненіямъ Горбунова. — „Отзвуки разсказовъ Горбунова" гр. Шереметева. — Нѣсколько словъ о „молодомъ Москвитянинѣ" и „Русскомъ Собраніи" . . . . . 84—105

IV. Объ одномъ неосновательномъ мнѣніи.—„Разсказы" Леонида Андреева. — Страхъ смерти и страхъ жизни. — Нѣсколько словъ „Финляндской Газетѣ" . . . . . 106—124

V. О повѣстяхъ и разсказахъ гг. Ѳ. Потѣхина, Ивана Щеглова, Н. Тимковскаго, Алексѣя Плетнева, кн. Барятинскаго, Евгенія Чирикова, М. Горькаго, Антона Чехова.—Два слова о воспоминаніяхъ М. А. Антоновича о Добролюбовѣ . . . . . 125—152

VI. О повѣстяхъ и разсказахъ гг. Горькаго и Чехова . . . . . 153—172

VII. Матеріалы для біографіи Г. И. Успенскаго. — Памяти А. А. Давыдовой. — О томъ, какъ г. А. Острогорскій превратилъ разсказъ Костомарова въ разсказъ Л. Н. Толстого . . . . 173—199

VIII. Еще матеріалы для біографіи Г. И. Успенскаго . . . . . 200—22[illegible]

IX. О г. Розановѣ, его великихъ открытіяхъ, его маханальности и философической порнографіи.—Нѣсколько словъ о г. Мережковскомъ и Л. Толстомъ . . . . . 226—253

X. О г. Мережковскомъ.—О жестокости, сладострастіи и проч. 254—283

XI. О Достоевскомъ и г. Мережковскомъ . . . . . 284—308

XII. Объ исторіи русской живописи г. Александра Бенуа и о современныхъ настроеніяхъ . . . . . 309—325

XIII. Г. Ашешовъ о Некрасовѣ.—Г. Мережковскій объ отцахъ и дѣтяхъ—Г. Туганъ-Барановскій о самомъ себѣ.—Г. П. Г. о г. Струве.—Г. Пекаторосъ о современныхъ настроеніяхъ.—М. Э. Гуковскій о новыхъ вѣяніяхъ и настроеніяхъ . . . . 326—353

СТР.

XIV. Къ воспоминаніямъ М. А. Антоновича о Некрасовѣ . . . . 354—362

XV. О ликующихъ современникахъ вообще и о „Пѣснѣ гидальго“ г. Слуневскаго въ частности.—Объ уравненіи: „сильно=морально и хорошо“. — Изъ исторіи религіи. — О борьбѣ за индивидуальность и о томъ, что значитъ „придать стиль своему характеру“.—„На днѣ“ г. Горькаго . . . . . 363—398

XVI. Новый взглядъ на происхожденіе общества . . . . . 399—420

XVII. Запоздалые счеты съ г. Батюшковымъ.—О Ѳомѣ и Еремѣ.—Изъ воспоминаній о героическихъ временахъ символизма.—Запоздалые счеты съ г. Мережковскимъ.—„Литературный фондъ“ и „Гражданинъ“.—Два слова о книгѣ К. К. Арсеньева. 421—442

XVIII. Гр. Л. Н. Толстой о ежемѣсячныхъ журналахъ.—Г. Буренинъ о нихъ же. — „Текущіе“, „мнимые“ и истекшій. —
О г. Меньшиковѣ.—О Накрохинѣ и о томъ, кто виноватъ въ его несчастной судьбѣ.—Книга Спенсера „Факты и комментаріи“.—О любви къ отечеству и народной гордости . . 443—461

XIX. По поводу одного письма.—Изъ клеветъ Лѣскова.—О такъ называемой благонамѣренности.—О статьѣ г. К. Левина и книжкѣ г. Бориса Гегидзе . . . . . 462—482

Драмы Ренана . . . . . 383—504

I. *).

Отрывки о религіи.

I.

Заглавіе предлагаемой статьи имѣетъ цѣлью предупредить читателя, что авторъ отнюдь не претендуетъ на хотя бы приблизительно цѣльную и исчерпывающую обработку выбранной имъ обширной и значительной темы, — въ извѣстномъ смыслѣ обширнѣйшей и значительнѣйшей изъ всѣхъ, какія только могутъ представиться человѣческому уму. Для такой обработки въ его распоряженіи нѣтъ, во-первыхъ, достаточно времени; во-вторыхъ, въ томъ идейномъ и фактическомъ матеріалѣ, который обнимается этою темою, для автора существуетъ огромный пробѣлъ: онъ не считаетъ для себя возможнымъ трактовать о религіи, исповѣдуемой нынѣ 30-ю процентами всего населенія земного шара,—о христіанствѣ. Какъ религія, преподанная человѣчеству путемъ откровенія свыше, или, вѣрнѣе, какъ наслѣдница такого откровенія, христіанская религія занимаетъ въ исторіи совершенно особое и неприкосновенное для насъ мѣсто. Насъ будутъ занимать только до-христіанскія и не-христіанскія религіи, происхожденіе и ходъ развитія которыхъ доступны изслѣдованію съ научной точки зрѣнія. Правда, и изъ нихъ нѣкоторыя приписываютъ себѣ свыше откровенное начало, но для насъ необязательно раздѣлять мнѣнія ихъ послѣдователей, и само лежащее въ основѣ ихъ откровеніе, самый типъ его, какъ въ своемъ процессѣ, такъ и въ своемъ содержаніи, подлежитъ критическому анализу.

Научную точку зрѣнія на прошедшее, настоящее и будущее религіи можно считать въ настоящее время вполнѣ обезпеченною.

---

*) Сентябрь и октябрь 1901 г.

184/е

ПОСЛѢДНІЯ СОЧИНЕНІЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО.

Томъ II.

ИЗДАНІЕ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

ПРОВЕРЕНО
1963 г.

ПРОВЕРЕНО
1970 г.

1956 г.
ПРОВЕРЕНО

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Н. Н. Клобукова. Лиговская ул., № 34.
1905.

проч.), не имѣетъ никакого отношенія къ экономикѣ; я думаю, что даже человѣкъ, никогда и не слыхавшій объ экономическомъ матеріализмѣ, согласится, что религія, да и всякая идеологія, имѣетъ близкое отношеніе къ экономикѣ. Дѣло и состоитъ въ томъ, чтобы точнѣе опредѣлить эти отношенія. Но Марксъ и Энгельсъ спеціально поставили себѣ задачей указать, что религія и идеологія (въ послѣдней инстанціи, какъ часто выражается Энгельсъ) суть только экономическія отношенія". „Они видѣли въ религіи только одностороннюю теорію, не обращая вниманія на то, что религія захваываетъ всего человѣка—и его голову, и его сердце, даже его тѣло". И, приведя одно разсужденіе Энгельса о кальвинизмѣ (въ извѣстной брошюрѣ о Фейербахѣ), Масарикъ замѣчаетъ: „возможно, что подобныя объясненія сразу и ошарашатъ читателя, но, подумавъ немного, онъ увидитъ ихъ искусственность и несостоятельность" („Философскія и соціологическія основанія марксизма"). Такихъ и даже еще болѣе „ошарашивающихъ" объясненій у второстепенныхъ и третьестепенныхъ марксистовъ, отъ которыхъ стали, наконецъ, открещиваться сами творцы экономическаго матеріализма, можно найти очень много.

Многія ошибочныя мнѣнія о религіи и ея значеніи въ исторіи объясняются неопредѣленностью самаго термина: разные люди разно понимаютъ религію и часто съуживаютъ ея смыслъ, сводя ее къ одному изъ ея составныхъ элементовъ.

Писатель, особеннно настаивающій на самостоятельности science des religions, Рауль де ла Грассри („Des religions comparées au point de vue sociologique") признаетъ эту science отраслью соціологіи на одинаковыхъ правахъ съ политической экономіей или наукой права, но для него, съ другой стороны, и сама религія есть наука. Раздѣляя всѣ отрасли знанія на науки абстрактныя, конкректныя и абстрактно-конкректныя, онъ относитъ къ послѣднимъ механику, физику, химію, біологію, психологію, соціологію и, наконецъ, *космосоціологію*, распадающуюся на философію, „науку въ ея ультрасинтетическомъ состояніи", и религію, которая и составляетъ предметъ его изслѣдованія. Отъ двухъ другихъ „космосоціологическихъ наукъ" религія отличается тѣмъ, что она обращается не непосредственно къ разуму, а къ чувству, къ инстинкту, и косвенно къ волѣ, тогда какъ тѣ имѣютъ дѣло непосредственно съ разумомъ. Мы не будемъ обсуждать всю эту странную концепцію и всѣ, отличающіеся

крайнею запутанностью, доводы автора въ ея пользу. Остановимся только на самой идеѣ религіи, какъ космосоціологіи.

Напомнивъ этимологическое значеніе слова „религія", въ основѣ котораго лежитъ идея „связи" (отъ religare или relegere), Грассри продолжаетъ разсуждать слѣдующимъ образомъ. Связь предполагаетъ нѣсколько лицъ, между которыми существуютъ тѣ или другія отношенія. Это ведетъ насъ въ область соціологіи, вѣдающей, между прочимъ, и взаимныя отношенія единовѣрцевъ, и отношенія религіозныхъ обществъ къ политическимъ обществамъ или союзамъ, къ которыми они то совпадаютъ, то живутъ въ нихъ рядомъ съ другими подобными же религіозными обществами, то выступаютъ за ихъ предѣлы, такъ какъ они могуть быть и международными, Но это есть внѣшняя религіозная связь (lien de la religion externe). мало интересующая нашего автора. Есть другая, внутренняя связь, обнимающая несравненно большій кругъ существъ, видимыхъ и невидимыхъ, человѣческихъ, стоящихъ выше и ниже человѣка. Это— связь человѣка съ Богомъ или богами, съ безчисленными посредниками между людьми и богами,—съ демонами, ангелами, геніями, добрыми и злыми духами, далѣе, съ умершими людьми (культъ предковъ), съ животными, растеніями, неорганическими предметами (анимизмъ, тотемизмъ ученіе о переселеніи душъ, поклоненіе деревьямъ, камнямъ, рѣкамъ, солнцу, лунѣ, звѣздамъ). Это-то вселенское общество и есть религія, а вмѣстѣ съ тѣмъ составляетъ предметъ религіи, какъ науки космосоціологіи. И такъ какъ Грассри приверженецъ органической теоріи въ соціологіи, то онъ прилагаетъ ее и къ своему вселенскому космическому обществу. Онъ говоритъ о питаніи и о ростѣ религій, о ихъ размноженіи путемъ дѣленія, почкованія и половымъ путемъ, о ихъ болѣзняхъ и прививкѣ къ нимъ таковыхъ и т. д.

Какъ ни нескладна вся концепція Грассри въ цѣломъ и особенно во многихъ подробностяхъ, которыя мы опускаемъ, въ ней есть зерно истины. По опредѣленію, предложенному мною еще въ 70-хъ годахъ (въ „Запискахъ профана"), но, мнѣ кажется, лучше выраженному въ „Предисловіи къ книгѣ объ Иванѣ Грозномъ", религія есть „та неразрывная *связь* понятій о сущемъ (наука) и долженствующемъ быть (мораль и политика въ обширномъ смыслѣ), которая властно и неуклонно направляетъ дѣятельность человѣка. Можно имѣть вѣрныя и многостороннія понятія о фактическомъ ходѣ вещей, стоять на высотѣ знаній современнаго уровня, и въ то же время не имѣть ру-

ководящихъ принциповъ дѣятельности. Можно, наоборотъ, обладать высокими руководящими принципами, но или содержать ихъ внѣ всякой связи съ объективной наукой, или же только знать ихъ, но не руководиться ими въ дѣйствительности, принимать ихъ только къ свѣдѣнію, а не къ исполненію. Эта „разсыпанная храмина", эти membra disjecta жизни духа должны быть приведены къ гармоническому единству". И въ этомъ состоитъ функція религіи. Религія, конечно, не наука; онѣ не покрываютъ одна другую, и это относится какъ въ религіи и наукѣ вообще, такъ и въ частности къ любой религіи и любой наукѣ. Но въ религіи есть интеллектуальный элементъ, она говоритъ не только чувству и волѣ, какъ думаетъ Грассри, полагая въ этомъ ея отличіе отъ философіи (метафизики?) и „синтетической науки" (научной или положительной философіи?). Этотъ интеллектуальный элементъ религіи составляютъ вѣрованія. Они не наука, но замѣняютъ ее. Это первыя, зачаточныя и быстро отвердѣвающія гипотезы, которыя представляютъ собою возможные для ума, бѣднаго опытомъ и развитіемъ, отвѣты на вопросы, задаваемые природой. Въ извѣстномъ смыслѣ вѣра и знаніе совсѣмъ не такъ далеки другъ отъ друга, какъ принято думать. Въ сознаніи вѣрующаго они даже часто совершенно совпадаютъ. Образцомъ этого совпаденія можетъ служить „научный прогнозъ" экономическаго матеріализма, который въ дѣйствительности есть дѣло совсѣмъ не знанія, а вѣры. Если марксистъ говоритъ: я *знаю*, что цѣлесообразный естественный ходъ вещей ведетъ къ такому-то благому результату,—то вѣдь и дикарь думаетъ: я *знаю*, что Богъ грома поражаетъ людей, переступающихъ его велѣнія. Эту аналогію можно бы было провести и дальше, но для насъ здѣсь интересенъ фактъ естественнаго замѣщенія вѣрованій знаніями, и обратно—знаній вѣрованіями.

Въ самомъ сердцѣ науки элементъ вѣры представленъ гипотезами. Конечно, это вѣра условная, и добросовѣстные люди науки всегда готовы измѣнить ее, какъ скоро она окажется въ противорѣчіи съ истиной. Такъ, Делажъ въ своей книгѣ „La structure du protoplasma et l'hérédité" прямо говоритъ, что тотчасъ отказался бы отъ теоріи трансформизма, какъ недостаточно доказанной, если бы явилась другая гипотеза, удовлетворительнѣе объясняющая происхожденіе видовъ. Но такой гипотезы нѣтъ, и потому онъ остается при трансформизмѣ, хотя никто никогда не видалъ, чтобы одинъ видъ давалъ начало другому виду; разумѣю—прибавляетъ онъ – настоящій естественный видъ, сложившійся безъ вмѣшательства человѣка.

Неудобство неопредѣленности термина „религія“ отмѣчаетъ и Липпертъ. Но онъ высказываетъ по этому поводу чрезвычайно странную мысль. Онъ говоритъ: „Понятіе религіи въ теченіе исторіи одновременно съ развитіемъ общественныхъ отношеній все болѣе расширялось и достигло въ наше время большой неопредѣленности. Первоначально религія была только отношеніемъ между человѣкомъ и нѣкоторымъ духомъ или міромъ духовъ. Нынѣ же, желая знать, какой вы „религіи“, освѣдомляются о вашихъ взглядахъ на астрономію, геологію, біологію и разные другіе предметы. Такъ какъ нынѣ предполагается, что не отдѣльный лишь человѣкъ, а весь міръ находится въ постоянной связи съ верховнымъ духовнымъ существомъ, то все міросозерцаніе человѣка входитъ въ составъ его религіи“. Ясно,—продолжаетъ Липпертъ,—что понятіе религіи на двухъ концахъ ея развитія существенно различно („Die Kulturgeschichte in einzelnen Hauptstücken“). Разумѣется, религія человѣка каменнаго вѣка и религія современнаго европейца очень различны, но отнюдь не на томъ пунктѣ, который намѣчаетъ Липпертъ. Всякая первобытная религія даетъ посильные для нея отвѣты и на тѣ вопросы, которые мы нынѣ называемъ астрономическими, геологическими, біологическими и т. д. А въ религіяхъ болѣе развитыхъ, хотя все еще „существенно отличныхъ“ отъ нашей, жрецъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ уже прямо представитель науки, свѣдущій человѣкъ по астрономіи, біологіи, медицинѣ и проч. И скорѣе, наоборотъ, въ наше время религія и наука, для большинства, раздѣлены непроходимою пропастью.

Священное писаніе древнихъ персовъ называется Авеста, что значитъ *знаніе*, а современный нѣмецкій писатель, желая сопоставить науку съ отжившими вѣрованіями, озаглавливаетъ свою книгу „Der alte und der neue Glaube“. И какъ въ Зендъ-Аветѣ содержатся не только вѣрованія, а и дѣйствительныя знанія своего времени, такъ въ книгѣ Штрауса содержатся не только знанія, а и дѣйствительныя вѣрованія современнаго нѣмецкаго буржуа. Дикарь, которому при какихъ-то трудно возстановимыхъ для насъ обстоятельствахъ посчастливилось добыть огонь треніемъ другъ о друга двухъ деревяшекъ, объяснитъ это чудо самымъ фантастическимъ образомъ. Напримѣръ, деревяшки окажутся отцомъ и матерью страшнаго бога-огня, который тотчасъ послѣ своего рожденія пожираетъ родителей и затѣмъ возносится въ видѣ дыма къ небу. Въ дождѣ этотъ темный человѣкъ увидитъ процессъ оплодотворенія жены-земли мужемъ-небомъ. И тому подобное. Все это расцвѣтится съ теченіемъ вре-

мени яркими легендами, о которыхъ съ завистью и скорбью вздохнетъ художникъ нашего времени („Боги Греціи“ Шиллера). Но червь опыта и наблюденія постепенно подкапываетъ это фантастическое зданіе, замѣняя его своими собственными продуктами, фантастическія представленія вытѣсняются болѣе трезвыми и, наконецъ, безъ остатка таютъ въ чисто научныхъ объясненіяхъ. Но и тамъ, и тутъ мы имѣемъ замѣщающія другъ друга объясненія явленій природы въ ихъ причинной связи. Только въ одномъ случаѣ причина лежитъ въ произволѣ боговъ, въ другомъ—въ неизмѣнномъ естественномъ законѣ. Древне-египетскій или какой другой чудодѣй *вѣрилъ*, какъ вѣритъ и современный колдунъ, что онъ можетъ излѣчивать нѣкоторыя болѣзни прикосновеніемъ или властнымъ приказаніемъ. Мы же *знаемъ* это, только знаемъ въ придачу, что болѣзнь, поддающаяся такому лѣченію, не есть „порча“, „бѣсноватость“ и т. п.

Но вѣрованіями религія не исчерпывается, они составляютъ только часть ея, одинъ изъ ея элементовъ. Когда мы безразлично говоримъ, напримѣръ, о буддійской религіи и буддійской вѣрѣ, мы дѣлаемъ ошибку, которую указалъ самъ геній человѣческаго языка, не довольствуясь словомъ „вѣра“, foi, Glaube, и давъ всемірное распространеніе слову „религія“. Буддійская, какъ и всякая другая, религія не только по своему удовлетворяетъ потребность ума („теософы“, какъ извѣстно, находятъ, что это удовлетвореніе весьма близко къ тому, которое дается современною наукой или даже совершенно съ нимъ совпадаетъ). Входящія въ ея составъ вѣрованія, съ одной стороны, являются или источниками, или санкціей извѣстныхъ чувствъ—страха, благодарности, умиленія, скорби и проч., а съ другой стороны, извѣстнымъ образомъ направляютъ волю, —скажемъ, къ аскетической практикѣ, къ бережному отношенію къ животнымъ и т. п. Таковы три элемента всякой религіи, достойной этого имени, достойной не въ смыслѣ возвышенности,—объ этой сторонѣ дѣла мы пока не говоримъ,—а въ смыслѣ жизненности. Тѣсно связанные между собой, элементы эти, однако, логически различимы даже на самыхъ раннихъ ступеняхъ культуры. Съ теченіемъ же времени они часто фактически расходятся въ разныя стороны и идутъ каждый своей дорогой, если не стоятъ, окаменѣлые, на мѣстѣ. Вѣрованія перестаютъ возбуждать чувства, когда-то волновавшія вѣрующихъ, и не даютъ властнаго толчка дѣятельности,—данная религія умираетъ, ибо по истинѣ „вѣра безъ дѣлъ мертва есть“. Такъ умерло въ Европѣ язычество. Но

смерть данной религіи отнюдь не обозначаетъ собою смерти религіи вообще.

Неистребима въ человѣчествѣ потребность такого объединенія понятій о сущемъ, то есть вѣрованій или постепенно замѣщающихъ ихъ знаній, и долженствующемъ быть, то есть морали и политики, которое черпаетъ въ своемъ единствѣ могучую силу управлять дѣятельностью человѣка. Темныя языческія массы могли долго оставаться при однѣхъ омертвѣлыхъ догматахъ и обрядахъ, изъ которыхъ испарился оживлявшій ихъ духъ, отдѣльные люди могли отказываться и отъ нихъ, не замѣщая ихъ чѣмъ нибудь другимъ, мораль могла снизойти до положенія чистой словесности, ничѣмъ не отзывающейся на дѣлѣ; но тамъ и здѣсь вспыхивали искры новой религіи, иногда зажигавшія лишь очень немногихъ или даже никого не зажигавшія, а иногда разроставшіяся въ цѣлые духовные пожары.

Язычество умерло, но не умерла и не могла умереть религія. Съ одной стороны, язычество было побѣждено христіанствомъ, юнымъ, пылкимъ, въ лицѣ своихъ мучениковъ явившимъ непреходящіе образцы истинно религіозныхъ людей: ихъ мученическая смерть свидѣтельствовала о томъ, что они владѣли всѣми тремя элементами религіи, удовлетворявшими ихъ разумъ, чувство и волю. Съ другой стороны, язычество подтачивалось процессомъ внутренняго разложенія. Римскіе боги состарѣлись, утратили свою власть надъ сердцами, и хлынувшая въ Римъ волна иноземныхъ, главнымъ образомъ восточныхъ боговъ и культовъ лишь на короткое время, казалось, помолодила ихъ. Для темной массы за ними осталось лишь декоративное значеніе, а для просвѣщенныхъ скептиковъ упразднилось и оно. Но не только голый скептицизмъ подкапывался подъ язычество,—рядомъ съ нимъ шло и нѣчто положительное, стремившееся сложиться въ новую религію. Вспомнимъ хоть Лукреція и его поэму „О природѣ вещей". Съ страстнымъ негодованіемъ и ядовитой насмѣшкой отвергая вѣрованія своихъ современниковъ, поэтъ-мыслитель пришелъ къ извѣстному заключенію: Tantum religio potuit suadere malorum. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы у него самого не было религіи. Обветшалыя, утратившія всякую силу вѣрованія онъ замѣнялъ смѣлыми гипотезами почти научнаго характера, устранявшими личныя языческія божества, гипотезы эти оплодотворялись соотвѣтственными чувствами, и въ результатѣ получалось извѣстное направленіе воли, выразившееся хотя бы въ написаніи поэмы, въ этомъ страстномъ стремленіи сразиться со старымъ и оповѣстить

міру новое. Истинно религіозный человѣкъ его времени былъ не тотъ, кто только вѣрилъ въ существованіе Юпитера со всей его безчисленной свитой и въ усвоенные по преданію разсказы объ этихъ небожителяхъ, такъ похожихъ на земнородныхъ. Лукрецій не вѣрилъ въ нихъ, ихъ произволъ замѣнялся въ его міропониманіи законосообразною игрою физическихъ силъ, и это, по крайней мѣрѣ въ принципѣ, могло бы составить интеллектуальный элементъ новой религіи, которой, однако, не суждено было сложиться.

Мы увидимъ впослѣдствіи источникъ этого неустаннаго тяготѣнія къ религіи, этого то бурнаго, то еле замѣтнаго, то мелкаго, то глубокаго, то раздробляющагося на множество ручьевъ, то вновь возсоединеннаго теченія; увидимъ и причины, и слѣдствія всѣхъ этихъ перемѣнъ въ судьбахъ религіи. Теперь бросимъ только бѣглый взглядъ на нѣкоторые относящіеся сюда факты современной жизни.

Мы часто слышимъ направленныя по адресу западной Европы обличенія въ утратѣ ею христіанства или даже религіи вообще. Какъ бы мы ни смотрѣли на эти обличенія, на ихъ мотивы и содержаніе, съ своей субъективной точки зрѣнія,—ихъ объективная справедливость, по крайней мѣрѣ по отношенію къ нѣкоторымъ слоямъ европейскаго общества, не подлежитъ сомнѣнію. И этого не только не укрываютъ, но еще ярче подчеркиваютъ фальшивые звуки громовъ французскаго клерикализма, слишкомъ прозрачное лицемѣріе англійскаго общества и т. п. Вѣрованія поблѣднѣли или даже совсѣмъ погасли; теоретическая мораль или открыто принимаетъ рѣзко и нарочито анти-христіанское направленіе (Ничше), или же, не возбуждая былого одушевленія, обращается въ пустую и черствую словесность, холодно поминаемую въ совершенно неподходящихъ оффиціальныхъ случаяхъ, да въ школѣ; цѣлое стоитъ въ рѣзкомъ противорѣчіи со всѣмъ складомъ и со всѣми подробностями практической жизни. Штраусъ въ мимоходомъ упомянутой выше книгѣ „Der alte und der neue Glaube“ спрашиваетъ: „христіане ли мы“?—*мы*, то есть образованное европейское буржуазное общество (Bürgerthum) и отвѣчаетъ отрицательно. Затѣмъ онъ спрашиваетъ: „имѣемъ ли мы еще религію“? — и отвѣчаетъ условно: смотря по тому, какъ мы относимся ко вселенной (das All), къ ея мощи, къ строгой законности всѣхъ ея процессовъ, питаемъ ли мы къ ней то благоговѣйное чувство зависимости, которое составляетъ основу всякой религіи (идея Шлейермахера и Фейербаха), или нѣтъ...

У самаго Штрауса мы видимъ попытку привести къ одному

знаменателю, связать въ нѣкоторую цѣлокупность научныя понятія о міровомъ порядкѣ, нравственно политическую теорію, то есть предписанія личной и общественной морали, и самую практику жизни. Правда, научная часть его книги слишкомъ поверхностна, этическая, специфически мѣщанская, слишкомъ плоска, а въ цѣломъ книга совершенно неспособна возбудить необходимый для neuen Glauben энтузіазмъ. Она произвела въ свое время много шуму, но затѣмъ, вѣроятно, читается съ чувствомъ удовлетворенія полу-просвѣщеннымъ нѣмецкимъ бюргеромъ, который, отдыхая за кружкой пива, очень гордъ тѣмъ, что имѣетъ право безданно-безпошлинно называться дарвинистомъ и преуспѣваетъ на практикѣ въ борьбѣ за существованіе; что Бисмаркъ великій человѣкъ и Германія объединена и имѣетъ свою Weltstadt; что необходимость смертной казни доказана, а онъ, сидящій за кружкой пива бюргеръ, есть „ядро народа и очагъ его нравственности". И только. Но это всетаки попытка. Есть не мало людей, далекихъ и отъ подобныхъ попытокъ. Они или, какъ Брюнетьеръ и комп., объявляютъ наукѣ войну во имя религіи, понимаемой ими исключительно въ смыслѣ вѣрованій, или утѣшаются мыслью о примирительномъ размежеваніи областей науки и религіи, даже не пытаясь привести ихъ въ какую нибудь связь. Это, во-первыхъ, люди, ко всему, кромѣ „себя, своего обѣда и жены", равнодушные, или поглощенные мелочами жизни, отъ которыхъ имъ вздохнуть некогда. Затѣмъ искренніе люди этого рода часто попадаются между даже очень почтенными спеціалистами той или другой отрасли знанія, которымъ ихъ спеціальность, какъ привязанная къ ногамъ гиря, не даетъ подняться до высоты цѣльнаго міропониманія. О лицемѣрахъ, напоминающихъ собою тѣхъ вошедшихъ въ поговорку авгуровъ, которые не могли смотрѣть другъ на друга безъ смѣха, говорить не стоитъ. Интереснѣе люди, со страхомъ отступающіе передъ внутренней ломкой въ ту или другую сторону. Но бываютъ случаи, когда люди, вполнѣ искренніе, безбоязненно совершивъ работу мысли про себя, прячутъ результаты ея изъ страха не передъ собой, не передъ своей логикой и совѣстью, а передъ общественнымъ мнѣніемъ или другою какою нибудь внѣшнею силою. Такъ, взгляды Дж. Ст. Милля на занимающій насъ предметъ міръ узналъ лишь послѣ смерти знаменитаго мыслителя,— при жизни онъ не рѣшался предложить ихъ вниманію англійскаго общества, хотя лицемѣромъ его, кончено, никто не назоветъ: онъ дѣлалъ лишь уступку, при томъ молчаливую, отрицательную, лице-

мѣрію своихъ соотечественниковъ. Жестче можно бы было отнестись къ прославленному Вольтеромъ, Гольбахомъ, Анахарсисомъ Клотцомъ католическому священнику XVIII столѣтія, Жану Мелье, который, будучи до конца дней своихъ священникомъ, оставилъ въ рукописи рѣзко антихристіанское „завѣщаніе" (О немъ см. въ моей статьѣ „Вольтеръ-человѣкъ и Вольтеръ-мыслитель", Сочиненія, VI). Но въ виду перспективы времени и мѣста (французъ XVIII вѣка!), а также несомнѣнныхъ свидѣтельствъ о высокихъ нравственныхъ качествахъ этого несчастнаго человѣка въ духѣ именно христіанской морали,— справедливѣе будетъ не бросать въ его память камнемъ, а поскорбѣть объ условіяхъ, породившихъ это явленіе.

Какъ видно уже изъ послѣдняго примѣра (а можно бы было заглянуть и еще гораздо дальше въ глубь исторіи), этотъ порядокъ или безпорядокъ идей, чувствъ и практики жизни не со вчерашняго дня начался въ Европѣ и, надо думать, не завтра кончится. И тѣмъ не менѣе потребность въ религіи постоянно давала и даетъ себя знать въ европейскомъ обществѣ, хотя мы и не знаемъ ни одного опыта, дѣйствительно удовлетворяющаго ее. Потребность эта сказывается и въ Робеспьеровской „религіи разума", и въ „религіи человѣчества" Огюста Конта, и въ „религіи морали" „Общества нравственной культуры", и въ нео-буддизмѣ „Теософическаго общества", и въ магизмѣ и прочихъ petites religions de Paris декадентовъ, и въ увлеченіи ученіемъ Толстого, и въ „религіи красоты" Рёскина, и въ конгрессѣ религій въ Чикаго. Всѣ эти опыты болѣе или менѣе и въ разныхъ смыслахъ неудачны. Созданіе ума холоднаго ритора, „религія разума", не смотря на торжественность провозглашенія, производитъ даже комическое впечатлѣніе своимъ противорѣчіемъ съ пожаромъ страстей, среди котораго она явилась, и естественно, что дни ея были сочтены въ самый день ея рожденія. Немногимъ лучше „религія человѣчества", которую такъ легко отрубить отъ главнаго наслѣдія Огюста Конта. Больше силы можетъ оказаться на сторонѣ „религіи морали", но она придаетъ слишкомъ малое значеніе интеллектуальному элементу религіи (это относится и къ нѣкоторымъ, наиболѣе благомыслящимъ ораторамъ Чикагскаго конгресса). Что же касается нео-буддизма и въ особенности разныхъ petites religions de Paris (такъ озаглавлена книжка одного изъ участниковъ этого движенія, Ж. Буа), то въ нихъ вошли такія обильныя струи шарлатантства, невѣжества, шутовства и просто глупости, что названіе религіи имъ совсѣмъ не приличествуетъ. Но и онѣ

интересны, какъ симптомы недовольства пустотой, оставшейся за убылью вѣрованій. Эти petites religions возникли первоначально на художественной почвѣ, именно на почвѣ протеста противъ протоколизма или золаизма, покушавшагося убить всякій идеалъ при помощи якобы научныхъ пріемовъ творчества. Затѣмъ протестъ направился противъ теоретическаго источника протоколизма,—противъ узкаго позитивизма, французскій глава котораго понималъ, что изъ однихъ научныхъ принциповъ нельзя создать религію, но въ нѣкоторыхъ идеяхъ котораго—детерминизмъ, эволюція—иные видѣли замѣну ея. Не декадентамъ бороться съ этимъ заблужденіемъ, но это во всякомъ случаѣ заблужденіе. Задача не въ томъ, чтобы унизить или оттолкнуть науку, но и не въ томъ, чтобы поставить ее на мѣсто религіи, что прямо невозможно. Задача въ томъ, чтобы ввести науку, — разумѣется, не въ ея спеціальностяхъ, а въ ея, по выраженію Грассри, „ультрасинтетическомъ состояніи",—въ составъ религіи, въ качествѣ ея интеллектуальнаго элемента. Въ этомъ отношеніи подавалъ было надежды экономическій матеріализмъ, но это незаконное дѣтище гегельянства и позитивизма не оправдало надеждъ и, между прочимъ, оказалось слабо именно въ той своей части, которою особенно гордилось,—научной. Съ другой стороны, интересно слѣдующее замѣчаніе Масарика: „Лучшіе изъ рабочихъ, насколько я могъ замѣтить, жаждутъ религіозной жизни и понимаютъ соціализмъ именно религіозно, вопреки Марксу и всѣмъ программамъ".

Есть въ современной европейской жизни еще одно теченіе, котораго слѣдовало бы коснуться въ настоящей главѣ,—ничшіанство. Но по нѣкоторымъ соображеніямъ, которыя выяснятся въ свое время, мы разсмотримъ его ниже особо.

II.

Одинъ изъ собесѣдниковъ въ „Dialogues et fragments philosophiques" Ренана уподобляетъ „религіозный инстинктъ" тому, который побуждаетъ птицъ вить гнѣзда. Онъ говоритъ: „въ птицѣ, никогда не клавшей яицъ, никогда не видѣвшей, какъ ихъ кладутъ, вдругъ таинственно просыпается инстинктъ, дотолѣ ей чуждый. Она съ извѣстнаго рода нѣжною радостью и преданностью служитъ цѣли, ей непонятной. Подобнымъ же образомъ зародилась въ чело-

вѣкѣ религіозная идея. Человѣкъ шелъ, не обращая вниманія на окружающее. Вдругъ все затихло, образовался какъ бы провалъ въ ощущеніяхъ. О, Боже! сказалъ онъ себѣ тогда, какъ странна моя судьба! Правда ли, что я существую? Что такое міръ? Это солнце— не я ли это? Не изъ моего ли сердца оно лучится? О, отецъ, я вижу тебя за облаками! — Затѣмъ возобновляется шумъ внѣшняго міра, порывъ прекращается, но съ этой минуты существо, повидимому, эгоистическое будетъ совершать необъяснимыя дѣла, почувствуетъ потребность преклоняться и обожать".

Стоило привести это объясненіе или описаніе возникновенія религіи, какъ образчикъ легкомысленной и пустопорожней болтовни, которую не выручаютъ и непередаваемыя особености французскаго языка, но, конечно, не стоитъ на немъ долго останавливаться. Не говоря уже о всесторонней нелѣпости параллели съ гнѣздованіемъ птицъ, религіозное чувство, способное охватить всего человѣка и властно гнать его къ высокимъ подвигамъ, къ ужаснымъ преступленіямъ, къ собственной его гибели въ радостномъ экстазѣ, разумѣется, не могло возникнуть „вдругъ", какъ не могли возникнуть „вдругъ" ни тѣ вопросы, которые задаетъ себѣ Ренановскій субъектъ, ни представленіе объ „отцѣ" въ небесахъ, когда и личнаго своего, земного отца первобытный человѣкъ не зналъ. Историкъ Ренанъ, конечно, знаетъ, какими страшными усиліями вырабатывалась монотеистическая идея, и все приведенное разсужденіе есть не болѣе, какъ дань идолу красоты слога, которому Ренанъ склоненъ былъ приносить слишкомъ обильныя жертвы. Не только идея единаго творца, но и несравненно болѣе элементарныя представленія религіознаго характера были результатомъ страшно долгаго и медленнаго процесса.

Максъ Мюллеръ и за нимъ Гартманъ и другіе признаютъ особый видъ вѣрованій, представляющій нѣчто среднее между многобожіемъ и единобожіемъ,—генотеизмъ или катенотеизмъ. Но если и согласиться съ необходимостью различать эту форму религіи, въ чемъ позволительно сомнѣваться (Шантепи де-ла-Соссей предлагаетъ совершенно устранить слово генотеизмъ, какъ ведущее въ неясности), она во всякомъ случаѣ не можетъ быть признана отправнымъ пунктомъ религіознаго развитія.

Существуетъ мнѣніе, что религіозное чувство врождено человѣку и что нѣтъ ни одного, самаго грубаго дикаго племени, которому была бы совершенно чужда религія въ какой нибудь зачаточной

формѣ. Однако Леббокъ, Спенсеръ, Тайлоръ приводятъ цѣлый рядъ свидѣтельствъ путешественниковъ и христіанскихъ миссіонеровъ, не нашедшихъ у наблюдаемыхъ ими дикарей никакихъ признаковъ религіи. На этомъ основаніи Леббокъ, особенно настаивающій на этомъ положеніи, считаетъ первою ступенью развитія человѣчества атеизмъ—не въ смыслѣ отрицанія божества, а въ смыслѣ отсутствія какихъ бы то ни было представленій о немъ, и лишь постепенно изъ этой нулевой точки вырабатывались низшія формы религіи: фетишизмъ, тотемизмъ, идолопоклонство. На это не безъ основанія возражаютъ, что разница между міровоззрѣніемъ европейскаго путешественника и взглядами грубѣйшихъ изъ дикарей слишкомъ велика и не даетъ первому возможности войти какъ слѣдуетъ въ кругъ пониманія послѣднихъ. Указываютъ, далѣе, на естественное недовѣріе дикаря къ столь чужому ему бѣлому человѣку и проистекающее изъ этого недовѣрія стремленіе скрыть, утаить отъ него самое дорогое и завѣтное. Дѣло, однако, въ томъ, что и самые грубые изъ современныхъ дикарей не представляютъ собою дѣйствительно первыхъ ступеней развитія человѣчества,—вѣка и надъ ними прошли не даромъ. „Если—говоритъ Леббокъ—простое ощущеніе страха и признаніе того, что, вѣроятно, есть нѣкоторыя другія существа могущественнѣе человѣка, можно считать религіей, въ такомъ случаѣ мы, конечно, должны допустить, что религія свойственна всему человѣчеству“. Но, замѣчаетъ онъ далѣе, вѣдь, напримѣръ, и дѣти боятся темноты, однако никто не назоветъ этого страха религіознымъ чувствомъ. Опредѣленнѣе выражается Тайлоръ. Онъ считаетъ теоретически допустимымъ моментъ отсутствія религіи въ первобытномъ человѣчествѣ, но, говоритъ онъ, матеріаловъ для фактическаго подтвержденія этого положенія мы пока не имѣемъ. „Хотя теоретическая ниша готова и удобна, но статуя, которая должна наполнить ее, еще не поспѣла“.

Какъ бы то ни было, религія возможна лишь при наличности извѣстныхъ умственныхъ и вообще духовныхъ силъ на достаточно высокой степени развитія: нужна извѣстная пытливость ума, нужна способность задавать себѣ вопросы о причинахъ окружающихъ явленій, нужно воображеніе для изобрѣтенія или комбинированія отвѣтовъ на эти вопросы. Но, высокая для даннаго момента отдаленнѣйшей отъ насъ древности, эта степень развитія, конечно, не высока безотносительно: она, быть можетъ, ниже всего, что мы въ этомъ отношеніи въ состояніи представить себѣ. Поэтому несравненно, конечно, менѣе грубую ошибку, чѣмъ Ренанъ, но всетаки ошибку

дѣлаетъ Максъ Мюллеръ, когда утверждаетъ, что богамъ предшествовала идея божественнаго, въ формѣ безконечнаго. Онъ не считаетъ эту идею *врожденною* человѣку въ томъ смыслѣ, который придавался этому слову идеалистической метафизикой. Напротивъ, религія есть, по его мнѣнію, „развитіе чувственныхъ воспріятій". Именно эти воспріятія заставляютъ первобытнаго человѣка чувствовать безконечное, тяготѣть къ нему и преклоняться передъ нимъ прежде, чѣмъ онъ найдетъ для него символическое выраженіе въ богѣ или въ богахъ. „Зрѣніе человѣка простирается до извѣстной точки, на которой и обрывается; но какъ разъ на этой точкѣ его по необходимости ждетъ чувство безграничнаго, безконечнаго". „Было бы слишкомъ смѣло сказать, что человѣкъ реально видитъ невидимое, но онъ страдаетъ по невидимому, а это невидимое есть только частное названіе безконечнаго". И точно такъ же изъ-за осязаемаго первобытному человѣку предстоитъ неосязаемое, изъ-за различимаго слухомъ — неразличимое („Origine et développement de la religion étudiés à la lumière des religions de l'Inde", tr. par Darmesteter). Какъ видно уже изъ самаго заглавія книги Макса Мюллера, на всю его работу наложило печать изученіе главнымъ образомъ индусскихъ религій, отличающихся необыкновенною тонкостью и тщательностью разработки абстракцій. Но, конечно, и въ Индіи древнѣйшіе, истинно первобытные люди были далеки отъ идеи безконечнаго, и для нихъ линія горизонта была предѣломъ пространства, за который они не заглядывали мыслью. Гюйо („L'irréligion de l'avenir") справедливо замѣчаетъ, что теорія Макса Мюллера рѣшительно противорѣчитъ всему, что мы знаемъ о психологіи первобытнаго человѣка, и что конецъ процесса развитія религіи она произвольно относитъ къ началу его.

По Огюсту Конту первою ступенью религіозныхъ представленій былъ фетишизмъ, по Спенсеру—почитаніе предковъ, по Тайлору—анимизмъ, Леббокъ, какъ было уже сказано, осторожно начинаетъ исторію религій съ атеизма въ смыслѣ отсутствія какихъ бы то ни было опредѣленныхъ представленій о божествѣ. Но это чисто отрицательное положеніе само по себѣ ничего не говоритъ о началѣ религіи, и Леббокъ начинаетъ ея исторію въ сущности фетишизмомъ. Таковы три главныя направленія въ вопросѣ объ историческомъ началѣ религіи. Но я думаю, что отъ изслѣдованія дѣйствительно первыхъ проблесковъ религіи слѣдуетъ совершенно отказаться: они останутся для насъ навсегда неуловимыми, какъ и вообще первые шаги человѣчества на

Н·01

пути выдѣленія изъ животнаго міра. И современные дикари, и древнѣйшіе памятники, литературные, архитектурные, скульптурные и всякіе другіе, не даютъ достаточно яснаго понятія объ этихъ отдаленнѣйшихъ моментахъ исторіи: мы можемъ только болѣе или менѣе приблизиться къ нимъ. И что касается фетишизма, культа предковъ, съ его оригинальнымъ осложненіемъ—тотомизмомъ и анимизма, то нѣтъ надобности искать для нихъ точнаго хронологическаго порядка: не вполнѣ совпадая, но и не противорѣча другъ другу, они могли развиваться параллельно или же самостоятельно складываться у разныхъ народовъ. Огромная, но по необходимости безпорядочная куча матеріаловъ, собранныхъ Спенсеромъ, Тайлоромъ, Леббокомъ и многими другими, не говоритъ ничего рѣшительнаго въ пользу хронологическаго примата той или другой изъ этихъ формъ.

Но если мы отказываемся отъ поисковъ исторически первоначальныхъ формъ религіи, то это не означаетъ отказа отъ изслѣдованія и ея психологическаго зерна, въ разныя времена, у разныхъ народовъ, при разныхъ условіяхъ разростающагося въ разныя формы. И здѣсь мы прежде всего должны обратиться къ Фейербаху, котораго справедливо называютъ отцомъ германскаго позитивизма, но который, въ противоположность Огюсту Конту, не пытался основать собственную, новую религію съ культомъ, календаремъ и проч., давъ за то прочныя основанія для науки о религіи.

Странная судьба этого мыслителя. Іодль говоритъ о немъ, между прочимъ: „Рядомъ съ критикой, направленной противъ Канта, Шеллинга, Гегеля, вообще противъ идеализма, у Фейербаха развивается воззрѣніе, въ которомъ содержится готовый и ясный отвѣтъ на нѣкоторыя настоятельныя потребности настоящаго времени“ („Исторія этики въ новой философіи“). Однако, произведя сначала сильнѣйшее впечатлѣніе у себя въ отечествѣ („Одушевленіе было всеобщее,—вспоминаетъ Энгельсъ,—всѣ мы моментально стали фейербахіанцами“. „Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“), этотъ глубокій мыслитель и блестящій писатель нынѣ почти забытъ, а во Франціи и въ Англіи остался неизвѣстенъ мыслителямъ, наиболѣе родственнымъ ему по духу (Контъ, Милль) *).

---

*) Принимая въ соображеніе общую бѣдность русской философской литературы, можно, пожалуй, сказать, что въ Россіи сравнительно больше посчастливилось, если не самому Фейербаху, — потому что онъ рѣдко поминался,—то его идеямъ.

25401
БИБЛИОТЕКА
3404

Едва ли не значительнѣйшую часть всего духовнаго наслѣдія Фейербаха составляютъ мысли, относящіяся или непосредственно къ религіи, или къ вопросамъ познанія и морали въ ихъ связи съ религіей. А между тѣмъ, напримѣръ, Мензисъ въ своей „Исторіи религіи" даже не упоминаетъ о немъ, хотя и приводитъ Шлейермахерово опредѣленіе религіи, получившее надлежащее развитіе только у Фейербаха. Не упоминаетъ о немъ и Шантепи де-ла-Соссей, поминающій Канта, Шлейермахера и въ особенности Гегеля, который, по его мнѣнію, „окончательно выяснилъ для науки о религіи ея задачу". А, напримѣръ, у Гюйо можно найти такія, глубоко несправедливыя, слова: „Мы не хотимъ сказать, подобно Фейербаху, что корень религіи заключается въ грубомъ интересѣ, въ животномъ (или даже скотскомъ—brutal) эгоизмѣ". Фейербахъ, восторженный проповѣдникъ любви, сливавшій мѣстоименія *я* и *ты* въ одно неразрывное цѣлое, Фейербахъ, противопоставившій положенію: „homo homini lupus est"—положеніе: „homo homini deus est",—и „скотскій эгоизмъ"... Всю оскорбительную несправедливость словъ Гюйо, объясняемую только незнакомствомъ этого вообще добросовѣстнаго писателя съ подлиннымъ Фейербахомъ, намъ не придется здѣсь раскрыть, такъ какъ изложеніе и оцѣнка этическихъ взглядовъ нѣмецкаго мыслителя не входитъ въ нашу задачу. Но несправедливость эта станетъ, полагаю, достаточно ясна и изъ того немногаго, что намъ теперь предстоитъ привести изъ Фейербаха. При этомъ, согласно оговоркѣ, сдѣланной въ началѣ статьи, мы совершенно оставимъ въ сторонѣ взгляды Фейербаха спеціально на христіанство; и если будемъ имѣть въ виду его „Wesen des Christentums", то лишь въ той части этого сочиненія, которая относится къ до-христіанскимъ и не-христіанскимъ религіямъ, а главнымъ образомъ воспользуемся другими его писаніями.

Въ противность мнѣнію Шантепи, Гегель уже потому не могъ „выяснить наукѣ о религіи ея задачу", что считалъ религію за все необъятное время ея существованія продуктомъ не человѣческаго, а „божественнаго духа", „божественной дѣятельности". Онъ былъ бы съ своей точки зрѣнія правъ, если бы имѣлъ въ виду только, по его терминологіи, „абсолютную" религію, то-есть христіанство, которымъ для него, въ его, Гегелевомъ, толкованіи, оканчивается исторія. Но онъ разумѣетъ и „непосредственную" религію или колдовство, и „религію мѣры", и „религію фантазіи", и „религію въ себѣ бытія" (буддизмъ),—словомъ, всѣ извѣстныя ему формы религіи. Спрашивается, можно ли объявлять „божественный духъ", „боже-

-ственную дѣятельность", какъ она понимается въ настоящее время, отвѣтственною за всѣ съ нашей же точки зрѣнія безсмысленныя, безнравственныя и безобразныя формы, которыя принимала и принимаетъ религія у разныхъ народовъ? Очевидно, что, по крайней мѣрѣ, для этихъ формъ нужно найти земное, человѣческое основаніе. Это и предпринялъ Фейербахъ, вообще возставшій своимъ горячимъ, но трезвымъ словомъ противъ странно холоднаго опьяненія чистымъ умозрѣніемъ, въ лицѣ Гегеля такъ пренебрежительно тискавшимъ факты дѣйствительной жизни, если они не укладывались въ систему.

По Фейербаху, въ основѣ религіи лежитъ чувство зависимости, чувство или сознаніе человѣка, что существованіе его зависитъ отъ какого-то другого, отличнаго отъ него существа или существъ. Чувство это знакомо и животнымъ, но оно въ нихъ не освѣщено сознаніемъ; поднять его до сознанія, проникнуться имъ (beherzigen), исповѣдать его можетъ только человѣкъ, и въ этомъ именно состоитъ функція религіи. Разумѣется, первые проблески этого сознанія по необходимости имѣли грубо матеріальный характеръ, но Фейербахъ былъ далекъ отъ мысли приписывать эту черту религіи вообще. Напротивъ, какъ сейчасъ увидимъ, по его мнѣнію, рядомъ съ грубымъ и низкимъ въ религію входитъ и не можетъ не входить и чистѣйшее, что только можетъ представиться человѣку. Первоначально человѣкъ сознаетъ свою зависимость отъ ближайшихъ къ нему явленій природы, и именно отъ происходящихъ въ нихъ измѣненій: дерево даетъ цвѣтъ, затѣмъ плоды; солнце поднимается утромъ, разгоняетъ тьму и затѣмъ, освѣтивъ все видимое, скрывается за горизонтомъ; на его мѣсто поднимается луна; собираются тучи, разрѣжающіяся дождемъ, громомъ, молніей; рѣка течетъ, что-то немолчно говоря и храня въ своихъ нѣдрахъ полезныхъ и грозныхъ животныхъ; лѣсъ шумитъ, колеблемый вѣтромъ, разрастающимся въ бурю, и т. д., и т. д. И все это несетъ съ собой добро или зло, все такъ или иначе отражается на судьбѣ человѣка. Его слабый умъ естественно видитъ во всѣхъ процессахъ природы намѣреніе, цѣлесообразную дѣятельность, подобную его собственной дѣятельности. Его напуганная или благодарная фантазія населяетъ всю окружающую его природу дѣятелями, такъ или иначе принимающими участіе въ его жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ, подобно ему, алчущими и жаждущими, любящими и ненавидящими, откликающимися на хвалу и оскорбленіе. Иногда это прямо люди или бывшіе люди. Такъ, нѣкоторые

краснокожіе утверждаютъ, что солнце, луна, звѣзды—такіе же люди, какъ они; гренландцы считаютъ небесныя свѣтила своими предками, при нѣкоторыхъ особыхъ обстоятельствахъ попавшими на небо. Но люди или человѣкоподобныя существа, они во всякомъ случаѣ обладаютъ несравненно большими силами, чѣмъ обыкновенные люди, и этимъ объясняется зависимость отъ нихъ человѣка. Въ мысли, въ желаніи человѣкъ не ограниченъ, свободенъ, всемогущъ, или кажется себѣ такимъ, но въ достиженіи, исполненіи, въ дѣйствительности онъ обусловленъ, зависимъ, ограниченъ и чувствуетъ это на каждомъ шагу. Мышленіе, хотѣніе принадлежатъ ему, но то, чего онъ хочетъ, о чемъ мыслитъ, находится внѣ его и отъ него не зависитъ. Между желаніемъ и достиженіемъ, намѣреніемъ и исполненіемъ, представленіемъ и дѣйствительностью, мышленіемъ и бытіемъ существуетъ противорѣчіе, которое слабый человѣкъ не можетъ уничтожить собственными средствами и потому передаетъ это дѣло своимъ богамъ. Въ этомъ же состоитъ задача культуры вообще. Но послѣдняя достигаетъ своей цѣли, съ одной стороны, подрѣзывая у желаній крылья фантазіи, устраняя желанія неисполнимыя, а съ другой стороны, удесятеряя силы человѣка теоретическимъ знаніемъ и техникой. Въ богахъ же непосредственно осуществляется то, что доступно желаніямъ человѣка, но недоступно его силамъ. Боги суть олицетворенныя, облеченныя въ образы желанія, не будь которыхъ или будь они всегда исполнимы человѣческими силами, дикарь не создавалъ бы боговъ. Имъ же, этимъ олицетвореннымъ желаніямъ и разрастающимся изъ желаній идеаламъ, предоставляется исполненіе такихъ важныхъ, полезныхъ, нужныхъ человѣку дѣлъ, которыя самъ онъ не надѣется или не въ силахъ исполнить, или же отклоненіе такихъ грозныхъ, непріятныхъ, вредныхъ, которыя самъ онъ не можетъ предотвратить. Какъ поэтически выражается Фейербахъ, „испаренія слезъ сердца сгущаются въ небѣ фантазіи въ туманные образы божественныхъ существъ; Гомеръ выводитъ боговъ изъ міровой рѣки Океана, но эта обильная богами рѣка есть въ дѣйствительности изліяніе человѣческихъ чувствъ“. „Въ несчастіи, въ нуждѣ—своей или чужой—человѣкъ приходитъ къ горестному заключенію, что онъ не можетъ того, что онъ хочетъ, что у него связаны руки. Но разслабленіе двигательныхъ нервовъ не есть и разслабленіе нервовъ ощущенія, цѣпи, сковывающія мои тѣлесныя силы, не сковываютъ въ то же время моей воли, моего сердца. Напротивъ: чѣмъ больше связаны у меня руки, тѣмъ необузданнѣе мои желанія, тѣмъ

сильнѣе мое стремленіе къ освобожденію, къ неограниченности воли. Поднятая силою нужды до высшей степени, сверхчеловѣческая сила человѣческаго сердца или воли есть сила боговъ, для которыхъ нѣтъ нужды и границъ. Боги могутъ то, чего люди желаютъ, то есть они приводятъ въ исполненіе законы человѣческаго сердца". Тайна теологіи заключается въ антропологіи, homo homini deus est.

Итакъ, всѣ эти обожествленныя небесныя свѣтила, животныя, растенія, камни, фетиши, идолы и т. д. суть ипостазированные, облеченные въ образы желанія и идеалы человѣка. Но желанія и идеалы измѣняются въ исторіи, вмѣстѣ съ чѣмъ измѣняются и формы религіи, каковыя измѣненія и отмѣчаютъ собою новые періоды исторіи. Понятно поэтому, что, не смотря на то, что сущность религіи остается всегда одною и тою же, ея формы и содержаніе представляютъ на всемъ протяженіи исторіи нѣчто очень пестрое: тутъ и грубость, и грязь, тутъ же и чистое, и высокое. Фейербахъ, правда, по другому поводу, вспоминаетъ слова Сократа: „другіе живутъ, чтобы ѣсть, я же ѣмъ, чтобы жить". И понятно, что религія Сократа отличается, какъ небо отъ земли, отъ религіи этихъ „другихъ". Каждая позднѣйшая форма религіи открываетъ ошибочность предыдущей, усматривая человѣческую сущность подъ божественной оболочкой, но въ свою очередь впадаетъ въ то же заблужденіе, принимая человѣческое за божественное, пока, наконецъ, мысль не познаетъ истины. До тѣхъ же поръ, пока для сознанія не вскрыта человѣческая сущность всякихъ идоловъ, существуетъ возможность сдѣлки съ ними, а отсюда необходимость жертвоприношеній и обращенія къ нимъ въ повелительномъ наклоненіи, — въ формѣ ли заклинаній и, слѣдовательно, почти приказаній, или же просьбъ, молитвъ. Къ заклинаніямъ и приказаніямъ прибѣгаетъ гордый магъ, волшебникъ, чувствующій въ себѣ сверхъестественную силу, къ просьбамъ — благочестивый человѣкъ, но и тамъ, и тутъ одна и та же цѣль: осуществленіе желаній. Въ старо-нѣмецкомъ языкѣ wünschen, желать — значило bezaubern, очаровывать, околдовывать.

Таковъ, въ самыхъ общихъ и бѣглыхъ чертахъ, психологическій источникъ религіи съ Фейербаховой „антропологической" точки зрѣнія. Насъ здѣсь не касаются этическія воззрѣнія Фейербаха, тѣсно примыкающія все къ той же формулѣ „homo homini deus est", и въ интересахъ дальнѣйшаго изложенія мы приведемъ лишь слѣдующее. Человѣкъ, представляющій собою источникъ религіи, но долго не сознающій этого и поклоняющійся въ лицѣ своихъ боговъ по-

рожденіямъ своихъ же, человѣческихъ желаній, не есть первое встрѣчное индивидуальное *я*. *Я* и вообще немыслимо безъ *ты*. Ближайшимъ подтвержденіемъ этого служитъ взаимная любовь мужчины и женщины, въ которой эгоистическое счастіе одного лица сливается со счастіемъ другого. „Человѣкъ“ Фейербаха есть носитель всѣхъ чертъ человѣческой природы, человѣческаго рода. Не *я* стоитъ въ центрѣ его философіи, а человѣкъ въ рамкахъ родовыхъ признаковъ, которому, слѣдовательно, не чуждо все человѣческое.

Изъ возраженій, предъявленныхъ противъ Фейербаха, для насъ интересны тѣ, которыя были представлены теоретиками экономическаго матеріализма, когда-то бывшими фейербахіанцами. Энгельсъ недоволенъ прежде всего тѣмъ, что Фейербахъ „хочетъ отнюдь не упразднить религію, а дополнить, закончить ее“. Далѣе, его естественно оскорбляетъ мысль о великой исторической роли религіи, которая, дескать, самое большое, „сопровождаетъ“ ходъ исторіи, направляемый измѣненіями формъ производства и обмѣна. Наконецъ, „человѣкъ“ Фейербаха есть существо слишкомъ абстрактное, взятое внѣ исторической среды, внѣ всякой соціально-политической обстановки, при чемъ Энгельсъ имѣетъ, конечно, въ виду классовую организацію общества. Онъ самъ приводитъ нѣсколько одобряемыхъ имъ выраженій Фейербаха, въ родѣ: „въ палатахъ думаютъ не такъ, какъ въ хижинѣ“, или: „человѣкъ, выйдя изъ рукъ природы, былъ естественнымъ произведеніемъ, а не человѣкомъ, человѣкъ есть продуктъ человѣка, культуры, исторіи“ и т. п. Но, говоритъ Энгельсъ, эти выраженія суть простыя Redensarten, и правъ Штарке, говорящій, что соціологія была для Фейербаха terra incognita. Это почти вѣрно, хотя отдѣльныхъ мѣстъ, въ родѣ приводимыхъ Энгельсомъ, можно найти у Фейербаха и гораздо больше, и гораздо болѣе значительныхъ (см., напримѣръ, въ „Wesen der Religion“ мысли о культѣ цезарей, о первыхъ шагахъ уголовнаго права въ исторіи, параллель между восточными и западными народами, или въ „Pierre Bayle“ о вліяніи общественнаго положенія на духовный складъ человѣка и т. п.). Но все это, дѣйствительно, только мимоходомъ и вскользь брошенныя мысли. Несравненно важнѣе общая мысль Фейербаха объ общественности, какъ объ одной изъ характерныхъ чертъ человѣческаго рода, вносимой и въ религію, мысль, изъ которой, впрочемъ, Фейербахъ сдѣлалъ мало цѣнныхъ выводовъ.

Нѣкоторою поправкою или дополненіемъ къ Фейербахову антропоморфизму можетъ служить „соціоморфизмъ" Гюйо.

Какъ уже сказано, Гюйо, повидимому, знаетъ Фейербаха изъ вторыхъ или третьихъ рукъ. Онъ знаетъ, что Фейербахъ видитъ психологическій источникъ религіи въ желаніяхъ человѣка, но объясненіе роли чувства или сознанія зависимости приписываетъ Шлейермахеру, который дѣйствительно указалъ ее раньше; но затѣмъ Гюйо утверждаетъ, что эти два источника религіи слѣдуетъ соединить, очевидно не зная, что это уже сдѣлано Фейербахомъ. Съ своей стороны, Гюйо считаетъ необходимымъ прибавить къ психологическому источнику религіи еще одну, какъ ему кажется, самостоятельную струю: потребность нѣжности, любви, преданности, потребность прислониться къ чему-нибудь возвышенному и сильному, передъ которымъ человѣкъ могъ бы изливать свои скорби и радости. Не трудно, однако, видѣть, что эта черта совсѣмъ не самостоятельна и очень удобно входитъ въ теорію Фейербаха. Въ книгѣ Гюйо важно не это, а указаніе на соціологическій характеръ религіи. Онъ говоритъ: „Идея *общественной связи* между человѣкомъ и высшими, но болѣе или менѣе подобными ему силами объединяетъ всѣ религіозныя концепціи. Человѣкъ становится истинно религіознымъ, когда строитъ надъ человѣческимъ обществомъ, въ которомъ онъ живетъ, другое общество, болѣе высокое и сильное, общество всемірное, такъ сказать, космическое. Общественность, составляющая одну изъ чертъ человѣческаго характера, при этомъ расширяется и поднимается до небесъ. Эта общественность составляетъ прочную основу религіознаго чувства, и религіозное существо можно опредѣлить, какъ существо, тяготѣющее къ сообществу не только со всѣмъ живымъ, что открывается ему опытомъ, но и съ мысленными существами, которыми онъ населяетъ міръ" *). Связь эта, сначала миѳическая, потомъ мистическая, всегда понималась ex analogia societatis humanae. Взаимныя отношенія, то дружескія, то враждебныя, существующія между отдѣльными людьми, семьями, племенами, народами, усваиваются силамъ природы или силамъ, выше ея стоящимъ. Это, по мнѣнію Гюйо, нельзя или недостаточно назвать антропоморфизмомъ, тѣмъ болѣе, что животныя и фантасти-

*) Нѣкоторое сходство идей Гюйо съ вышеизложенными идеями Рауля де-ла Грассри не должно вводить читателя въ заблужденіе относительно оригинальности Гюйо: его книга безъ малаго на десять лѣтъ старше книги Грассри.

ческія существа играютъ значительную роль въ различныхъ религіяхъ; это—всемірный *соціоморфизмъ*, расширеніе всѣхъ хорошихъ или дурныхъ отношеній, какія могутъ складываться между одаренными волей существами: война и миръ, ненависть и дружба, покорность и возмущеніе, страхъ, уваженіе, преданность, любовь. „Сообщество съ животными, сообщество съ покойниками, сообщество съ духами, съ добрыми и злыми геніями, сообщество съ силами природы, съ верховнымъ принципомъ природы, все это различныя формы соціологіи, въ которой ищется смыслъ всѣхъ вещей: физическихъ фактовъ, каковы громъ, буря, болѣзнь, смерть; отношеній метафизическихъ — происхожденіе и назначеніе; отношеній моральныхъ — добродѣтели, пороки, законъ и санкція". „Религія есть физическое, метафизическое и моральное объясненіе всѣхъ вещей по аналогіи съ человѣческимъ обществомъ и въ миѳической формѣ".

Эти общія положенія предъявлены уже во введеніи къ книгѣ Гюйо. Возвращаясь къ нимъ въ текстѣ, авторъ говоритъ: „Итакъ, религія есть соціологія, понимаемая какъ физическое, метафизическое и моральное объясненіе всѣхъ вещей; она сводитъ всѣ естественныя и даже сверхъестественныя силы къ человѣческому типу и ихъ отношенія къ отношеніямъ соціальнымъ. И прогрессъ религіи былъ въ точности параллеленъ прогрессу соціальныхъ отношеній, который велъ за собою прогрессъ морали. Боги сначала раздѣлились на два лагеря, благодѣтельныхъ и вредоносныхъ, которые стали затѣмъ добрыми и злыми; далѣе эти два легіона были поглощены ихъ вождями, Ормуздомъ и Ариманомъ и т. п. воплощеніями принциповъ добра и зла. Такимъ образомъ, послѣ того, какъ отдѣлили душу отъ тѣла, былъ введенъ новый дуализмъ, распредѣлившій боговъ по двумъ классамъ. Наконецъ, принципъ добра побѣдилъ: Богъ сталъ олицетвореніемъ моральнаго закона и моральной санкціи, верховнымъ законодателемъ и верховнымъ судьей, словомъ, живымъ закономъ всемірнаго общества. Затѣмъ Онъ становится самою совѣстью человѣка, поднятаго до безконечности, адэкватнаго міру и, наконецъ, символомъ нравственности и идеала. Такова эволюція религіозныхъ идей, постепенное торжество соціоморфизма, распространяющее на весь міръ соціальныя отношенія между людьми, непрестанно совершенствующіяся".

Читатель видитъ, что здѣсь имѣется уже нѣкоторое расширеніе понятія религіи за предѣлы миѳологіи, которыми авторъ ограни-

чивался во введеніи. Но мы обратимъ вниманіе на другую сторону дѣла.

Не смотря на обширный размѣръ книги Гюйо (480 страницъ) и на содержащіяся въ ней многія интересныя мысли, мы не находимъ въ ней именно того, чего въ правѣ были бы ожидать: сколько-нибудь обстоятельнаго изложенія того, какъ отражается на религіи форма общественныхъ отношеній. По этой части мы найдемъ у Гюйо отрывочныя замѣчанія о вліяніи промышленности, торговли. улучшенныхъ путей сообщенія, практики страхованія, особенно его занимаетъ прогрессъ науки. Въ общемъ же онъ довольствуется указаніемъ на параллелизмъ эволюціи религіи и общественныхъ отношеній: и то, и другое единовременно развивается, „эволюціонируетъ", совершенствуется, при чемъ, однако, не дается опредѣленнаго критерія совершенствованія, конечно, въ томъ предположеніи, что на этотъ счетъ нѣтъ и не можетъ быть разногласія. Но такъ ли это?

Выше были указаны два условія, способствовавшія разработкѣ науки о религіи: накопленіе фактическаго матеріала и торжество принципа эволюціи, „наложившаго на нашу мысль свою благодѣтельную, хотя и тяжелую руку". И по истинѣ тяжела эта рука для многихъ. Для людей, *овладѣвшихъ* принципомъ эволюціи, онъ есть только могучее орудіе, которымъ въ густой чащѣ историческихъ и современныхъ фактовъ пробиваются просѣки, открывающія перспективы впередъ и назадъ, въ глубь прошлаго и въ тьму будущаго. Но есть люди, *которыми* онъ, этотъ принципъ, *овладѣлъ*, овладѣлъ, связалъ по рукамъ и ногамъ и можетъ отравить каждую минуту жизни. Въ самомъ дѣлѣ: вѣчность за нами и послѣ насъ, и вся эта безпредѣльность наполнена смѣною возникающихъ, растущихъ и гибнущихъ явленій, образовъ, картинъ, мыслей, чувствъ, среди которыхъ *я* съ своими мучительнѣйшими страданіями и возвышеннѣйшими радостями — ничтожнѣе капли въ океанѣ или песчинки въ Сахарѣ; стоитъ ли радоваться и мучиться, стоитъ ли ловить въ быстротекущей жизни то, что мнѣ кажется такимъ дорогимъ и что въ сущности такъ ничтожно? Прямо—стоитъ ли жить, и не лучше ли, не проще ли, если не стряхнуть съ себя эту жизнь. то, по крайней мѣрѣ, ничего не добиваться, не искать, не ловить, а пассивно дотянуть нитку до конца? Вѣдь все равно слѣдующая волна смоетъ и слезы, и кровь, и грязь, и всѣ краски сегодняшняго дня... И такъ разсуждаетъ человѣкъ, можетъ быть, высокой цѣны

способный дѣйствительно къ воввышеннымъ радостямъ, которыхъ онъ сознательно себя лишаетъ, и неспособный къ объяденію маленькими пріятностями пяти чувствъ, которое претитъ его натурѣ. Понятно, что человѣкъ, которому цѣна грошъ, которому ничего не нужно, кромѣ этихъ самыхъ маленькихъ пріятностей, наоборотъ, окрыляется мыслью о вѣчной смѣнѣ формъ и красокъ жизни: пей, ѣшь и веселись, топчи все, что мѣшаетъ пить, ѣсть и веселиться, a après nous le delunge, и не все ли равно мнѣ, котораго не будетъ, найдется ли новый Ной и какихъ животныхъ больше — чистыхъ или нечистыхъ—посадитъ онъ въ свой ковчегъ. Для такихъ людей принципъ эволюціи составляетъ, конечно, легкое бремя.

Это чисто житейскіе случаи; на иной взглядъ они не имѣютъ прямого отношенія къ принципу эволюціи, по крайней мѣрѣ въ его научной одеждѣ. Но и въ научно-философской области можно и овладѣть принципомъ эволюціи, и быть въ его власти, при чемъ иго его, глядя по обстоятельствамъ, можетъ оказаться и очень тяжелымъ, и очень легкимъ. Такъ оно, очевидно, непереносно тяжело для г. Бердяева, о статьѣ котораго въ „Мірѣ Божіемъ“ была уже рѣчь въ „Русскомъ Богатствѣ“ у В. Г. Подарскаго. Для г. Бердяева принципъ эволюціи отравляетъ если не каждую минуту жизни, то, по крайней мѣрѣ, тѣ минуты, которыя онъ посвящаетъ служенію „абсолютному добру“. Только что онъ примется за это дѣло, какъ „приходитъ эволюціонистъ, зоветъ васъ назадъ, къ изслѣдованію моллюсковъ, и предлагаетъ вамъ немедленно показать, что все, что переживается вами, какъ святыня, есть лишь полезная иллюзія въ борьбѣ за существованіе, что нравственное сознаніе разлагается на какія то частицы, не имѣющія ничего общаго съ нравственностью, и что все это неопровержимо доказывается уровнемъ нравственныхъ идеаловъ рыбъ“. — Какой эволюціонистъ приглашалъ почтеннаго автора „назадъ къ моллюскамъ“—неизвѣстно, но, очевидно, очень насолили послѣднему моллюски и рыбы, а вѣроятно, и насѣкомыя, и гады, и птицы, да и вся вселенная, потому что вѣдь все въ ней эволюціонируетъ, то есть измѣняется. И въ этой вѣчной смѣнѣ вещей и идей, на которой когда то настаивали марксисты, г. Бердяевъ не знаетъ, гдѣ опустить якорь „абсолютнаго добра“, не знаетъ и мучится... Г. Бердяевъ—изъ „учениковъ“, хотя и далеко, ужасно далеко ушелъ отъ учителя. Это напоминаетъ мнѣ, что почти надъ тѣми же вопросами мучился герой романа Бурже „Le disciple“, для

котораго идеи эволюціи и детерминизма подъ конецъ оказались тоже непереноснымъ бременемъ.

Если Роберъ Грелу, ученикъ въ романѣ Бурже, мучился, если, по волѣ автора, и учитель, Адріанъ Сикстъ, въ концѣ романа, по крайней мѣрѣ, на одно мгновеніе поклоняется всему, что сжигалъ всю жизнь, и сжигаетъ все, чему поклонялся, то оба они до извѣстнаго момента были вполнѣ счастливы. Тѣ самыя идеи, которыя стали для нихъ впослѣдствіи такимъ тяжелымъ бременемъ, напротивъ, облегчали имъ жизнь. Они знали, что „все течетъ", по выраженію древняго эволюціониста, что всякому овощу свое время, и спокойно наслаждались созерцаніемъ этой безконечной и безначальной смѣной идей и вещей. Наслажденіе это, разумѣется, еще напряженнѣе у людей, увѣренныхъ въ томъ, что эволюція есть не просто измѣненіе, а измѣненіе къ лучшему, высшему; что маленькія непріятности текущей жизни только способствуютъ большому удовольствію слѣдующаго момента; что, какъ говоритъ Дарвинъ, изъ голода, смерти и жестокой борьбы возникаютъ все высшія и высшія формы жизни... Съ этой стороны г. Бердяевъ, вѣрующій въ „нравственный міропорядокъ", надо думать, не откажется отъ эволюціонизма. Да онъ и не отказывается отъ него. „Въ настоящее время нельзя не быть эволюціонистомъ", говоритъ онъ, только эволюціонизмъ „нуждается въ переработкѣ". Я этого не думаю. Я думаю, что принципъ эволюціи нуждается не въ переработкѣ, а только въ выясненіи. И для читателей, оказывавшихъ нѣкоторое вниманіе моимъ писаніямъ, должно быть извѣстно, что эволюціонный принципъ выясняется для меня въ смыслѣ теоріи борьбы за индивидуальность, которую намъ теперь и предстоитъ приложить къ темѣ настоящей статьи.

III.

Разсказы миссіонеровъ, путешественниковъ и вообще обширная литература о религіи первобытныхъ народовъ пріучили насъ не удивляться безсмысленнымъ съ нашей точки зрѣнія вѣрованіямъ, ужаснымъ культамъ, безобразнымъ богамъ. Весь этотъ міръ, къ которому мы, какъ будто, успѣли приглядѣться, въ то же время такъ далекъ отъ насъ, такъ чуждъ намъ, что никакая нелѣпость, никакое звѣрство въ немъ не останавливаютъ на себѣ нашего пристальнаго вниманія. Но вотъ въ Римѣ, съ которымъ мы связаны преемствен-

ностью культуры, въ Римѣ, оставившемъ намъ доселѣ руководящія произведенія литературы, ораторскаго искусства, философіи, законодательства, мы встрѣчаемъ культъ цезарей; настоящій культъ, съ жертвоприношеніями, молитвами, особыми храмами и жрецами, титуломъ бога. Что это такое? Какъ могла сложиться такая религія? Какъ могъ считаться богомъ человѣкъ при жизни, пестрящей яркими преступленіями, глупостями, слабостями, или послѣ смерти, такъ наглядно исключающей мысль о божественномъ безсмертіи?

Я не буду говорить о подробностяхъ культа цезарей (для этихъ подробностей см. Гастона Буассье „Римская религія отъ Августа до Антониновъ", Жана Ревилля „Религія въ Римѣ при Северахъ", монографію аббата Бёрлье „Le culte imperial, son histoire et son organisation depuis Auguste jusqu'à Justinien"). Вспомнимъ лишь для образца два-три проявленія той смѣси наглой дерзости, льстиваго низкопоклонства и какого-то безумнаго шутовства, которыя составляли культъ цезарей.

Калигула требовалъ себѣ и получалъ поклоненіе, молитвы, жертвоприношенія въ качествѣ бога, при чемъ являлся то Геркулесомъ, то Аполлономъ, Меркуріемъ, Марсомъ, наконецъ, даже Юноной, Діаной, Венерой. Онъ выписалъ въ Римъ статую Зевса Олимпійскаго, чтобы поставить на мѣсто головы верховнаго бога свою собственную. Корабль, на которомъ везли статую, былъ разбитъ ударомъ грома, и тогда Калигула завелъ себѣ свой собственный, механическій, громъ. Онъ былъ женатъ на лунѣ и, когда однажды спросилъ Л. Вителлія, отца будущаго императора, видалъ ли тотъ, какъ луна ходитъ къ нему по ночамъ, Вителлій избѣжалъ большой опасности, давъ ловкій отвѣтъ: „Государь, только богамъ дано видѣться между собою". Надо, впрочемъ, сказать, что этотъ грозный безумецъ, силою требовавшій себѣ имени бога и соотвѣтственныхъ почестей при жизни, послѣ смерти не былъ зачисленъ въ списки боговъ. Но, напримѣръ, Юлій Цезарь былъ превозглашенъ богомъ по иниціативѣ сената и народа или народовъ, а Октавій Августъ долго сопротивлялся своему обожествленію. Его соперникъ Антоній былъ менѣе щепетиленъ. Онъ объявилъ себя Вакхомъ-Діонисомъ и въ костюмѣ бога, со всѣмъ его антуражемъ, разъѣзжалъ по Греціи, публично предаваясь всякому распутству. Греки встрѣчали его съ энтузіазмомъ и дошли, наконецъ, до того, что предложили ему жениться на богинѣ Аѳинѣ. Антоній, не смущаясь, потребовалъ тысячу талантовъ въ приданое и не отступился отъ этого требованія даже послѣ замѣчанія одного на-

ходчиваго аѳинянина: „Господинъ, Зевесъ безъ приданаго женился на твоей матери Семелѣ“. Извѣстна встрѣча Діониса Антонія съ Изидой Клеопатрой, начавшая собою знаменитый романъ римскаго цезаря съ египетской царицей. Сначала цезари довольствовались титуломъ „Divus“, божественный, и представляли собою какъ бы воплощеніе того или другого изъ великихъ боговъ, Марса, Вакха, и т. п. Домиціанъ первый объявилъ себя „Dominus et Deus“, то есть буквально „Господь Богъ“, и такимъ образомъ сталъ богомъ самъ по себѣ, независимымъ отъ другихъ боговъ.

При первомъ взглядѣ на всѣ эти то трагическія, то комическія исторіи, въ голову для объясненія ихъ не приходитъ ничего, кромѣ безумія однихъ и раболѣпства другихъ. И, разумѣется, то и другое играло здѣсь свою, очень большую роль. Нѣкоторые изъ римскихъ императоровъ, какъ извѣстно, прямо страдали психическимъ разстройствомъ, носившимъ одно время въ наукѣ даже спеціальное названіе Cäsarenwahnsinn, manie imperiale. Но неудивительно, что, и не переступая порога формальнаго безумія, головы цезарей кружились отъ странной, фантастической судьбы, выводившей ихъ часто внезапно, часто изъ низшихъ слоевъ общества или изъ инородныхъ сферъ на высоту исключительной власти надъ всѣмъ міромъ, какимъ считала себя римская имперія. И въ ихъ поступкахъ и словахъ не всегда можно отличить настоящаго безумца, вѣрующаго въ свою божественность, отъ простого самодура въ родѣ Кита Китыча, получившаго возможность развернуться во всю. Что, напримѣръ, сказать о свирѣпой ироніи Каракаллы, который, обрекая на смерть своего брата Гету, острилъ: sit divus, dum non sit vivus—пусть будетъ богомъ, лишь бы пересталъ жить? Лесть и раболѣпство въ изобиліи подкладывали топливо въ эту огненную пещь безумія или наглаго самодурства. Когда Августъ умеръ, одинъ сенаторъ собственными глазами видѣлъ, какъ онъ вознесся на небо, за что вдова императора выдала наблюдательному сенатору милліонъ сестерцій. Доносчикъ Коссутіанъ Капитонъ призывалъ казнь на голову Петра Тразеи, между, прочимъ, за то, что онъ не вѣритъ божественности Поппеи и не молится за сохраненіе небеснаго голоса Нерона. И проч., и проч., и проч. Въ объясненіе такого поразительнаго развитія этой низости указываютъ обыкновенно на вліяніе восточныхъ народовъ, у которыхъ обожествленіе властителей существовало давно. Богами были египетскіе фараоны, затѣмъ Птоломеи, богомъ былъ Александръ Македонскій и цѣлый рядъ другихъ властителей. Востокъ

строилъ алтари и храмы даже второстепеннымъ римскимъ полководцамъ и чиновникамъ. Но, какъ бы ни было сильно это восточное и особенно греческое вліяніе, оно не даетъ отвѣта на нашъ вопросъ, а только отодвигаетъ его рѣшеніе въ даль исторіи или въ даль географическую. При томъ же какъ разъ съ востока шли и рѣшительные протесты противъ культа цезарей: евреи и христіане одни отказывались отъ почитанія императоровъ богами, и попытка Калигулы поставить въ іерусалимскомъ храмѣ свою статую съ надписью „Зевсъ"—потерпѣла фіаско, не смотря на бурный гнѣвъ сумасброднаго цезаря. Какъ ни велика, въ иные историческіе моменты, способность человѣческой природы стираться и терпѣть, все же одною лестью и низкопоклонствомъ нельзя объяснить обожествленіе цезарей. Отрицательные примѣры инако вѣрующихъ евреевъ и христіанъ сами собой наводятъ на мысль, что въ массѣ римскаго и варварскаго общества существовала дѣйствительно искренняя религіозная вѣра въ божественность главъ имперіи.

До какой степени не только невѣжественнымъ, но и образованнымъ, въ извѣстной мѣрѣ даже скептически настроеннымъ римлянамъ была свойственна вѣра въ возможность для человѣка стать богомъ, видно изъ слѣдующаго, напримѣръ, случая. По поводу апоѳеоза Цезаря Цицеронъ писалъ: „Есть ли что-нибудь безразсуднѣе, какъ помѣщать умершихъ среди боговъ и обоготворять ихъ, между тѣмъ, какъ имъ не подобаетъ никакого другого поклоненія, кромѣ слезъ". Однако, всего за годъ передъ тѣмъ, онъ не довольствовался слезами надъ трупомъ своей дочери, Тулліи. Онъ писалъ тогда: „Если когда-либо кто-нибудь былъ достоинъ божескихъ почестей, о Тулія! такъ это ты. Ты заслуживаешь этой награды, и я дамъ тебѣ ее. Я хочу, чтобы лучшая и ученнѣйшая изъ женщинъ, съ согласія безсмертныхъ боговъ, заняла мѣсто въ ихъ сонмѣ, и чтобы всѣ люди признавали ее богиней". Очевидно, смерть любимой дочери всколыхнула что-то, глубоко таившееся на самомъ днѣ души Цицерона и стоявшее въ противорѣчіи съ его просвѣщенными взглядами. Что же это такое было? И какъ могла хотя бы дѣйствительно лучшая и ученнѣйшая женщина быть обожаемою не въ томъ смыслѣ, какъ мы „обожаемъ" любимую женщину, а въ самомъ точномъ, буквальномъ смыслѣ этого слова?

Въ составѣ огромнаго и пестраго римскаго пантеона есть группа боговъ, долгое время мало обращавшая на себя вниманіе. Это именно духи предковъ, Лары, Маны, Герои или Геніи, маленькіе, хотя по

мнѣнію нѣкоторыхъ, древнѣйшіе и долгое время вліятельнѣйшіе боги. Ихъ почти не видать и не слыхать изъ-за величавыхъ образовъ великихъ боговъ, изъ-за Юпитера, Марса, Нептуна, Венеры и т. д. Эти Маны или Лары получили въ исторіи культуры подобающее значеніе лишь сравнительно недавно, въ связи съ культомъ предковъ вообще. Любопытное освѣщеніе изъ судебъ даетъ Фюстель-де-Куланжъ въ книгѣ „La cité antique". Книга эта, вышедшая въ оригиналѣ въ 1898 г. уже шестнадцатымъ изданіемъ, имѣется и въ русскомъ переводѣ; она не разъ излагалась и критиковалась въ нашей литературѣ. Поэтому мы не будемъ тратить время на ея подробное переизложеніе и остановимся лишь въ общихъ чертахъ на той ея сторонѣ, которая намъ нужна въ интересахъ нашей мысли.

„Надо помнить,—говоритъ Фюстель,—о чрезвычайной трудности для первобытныхъ народовъ образовать правильныя общества. Не легко установить общественную связь среди этихъ столь свободныхъ, столь непостоянныхъ человѣческихъ существъ. Чтобы дать имъ общія правила, ввести управленіе и заставить ихъ повиноваться, чтобы подчинить въ нихъ страсть разуму и личный разумъ общему, необходимо нѣчто болѣе могучее, чѣмъ матеріальная сила, болѣе почтенное, чѣмъ выгода, болѣе достовѣрное, чѣмъ философская теорія, болѣе прочное, чѣмъ договоръ; нѣчто такое, что одинаково властно царитъ во всѣхъ сердцахъ. Это нѣчто есть вѣрованіе. Нѣтъ ничего болѣе могущественнаго. Вѣрованіе есть созданіе нашего духа, но мы безсильны измѣнить его по произволу. Оно есть наше твореніе, но мы этого не сознаемъ. Оно — дѣло человѣческое, но мы считаемъ его божественнымъ. Оно свидѣтельствуетъ о нашей силѣ и въ то же время сильнѣе насъ. Если оно приказываетъ, мы повинуемся; если оно указываетъ намъ наши обязанности, мы ему подчиняемся. Человѣкъ можетъ властвовать надъ природою, но онъ подчиненъ своей мысли".

Такимъ образомъ религія есть для Фюстеля основной связующій факторъ въ исторіи общественныхъ отношеній. Мѣстами онъ какъ будто колеблется въ этомъ отношеніи. Такъ, прослѣдивъ въ избранномъ имъ для изслѣдованія греко-римскомъ мірѣ историческую роль религіи, онъ приходитъ къ слѣдующему заключенію: „Общество развивалось лишь въ той мѣрѣ, въ какой расширялась религія. Трудно рѣшить, вызванъ ли былъ соціальный прогрессъ религіознымъ, но несомнѣнно, что они шли рука объ руку и въ замѣчательномъ со-

гласіи". Не смотря, однако, на эту оговорку, въ общемъ Фюстель вездѣ старается установить первенствующее значеніе религіи, по крайней мѣрѣ, до извѣстнаго, сравнительно очень поздняго момента исторіи Греціи и Рима.

Происхожденіе культа предковъ изъ того первобытнаго вѣрованія, что смерть не окончательно уничтожаетъ человѣка, а предоставляетъ ему нѣкоторое невидимое, но матеріальное существованіе; что онъ нуждается въ пищѣ, одеждѣ, оружіи, слугахъ; что онъ можетъ вліять хорошо или дурно на судьбу оставшихся въ живыхъ и, слѣдовательно, благосклонно внимать ихъ молитвамъ,—происхожденіе это слишкомъ хорошо извѣстно, и намъ нѣтъ надобности приводить относящіеся сюда факты (у Спенсера и Тайлора читатель найдетъ ихъ въ изобиліи). Особенность Фюстеля состоитъ въ тщательномъ изслѣдованіи той связи, которая существовала между этимъ вѣрованіемъ и общественными отношеніями.

Исходною точкою исторіи человѣчества, по крайней мѣрѣ, индоевропейскаго и въ частности греко-римскаго человѣчества Фюстель признаетъ патріархальную семью. Въ связи съ этимъ отправнымъ пунктомъ исторіи находится узость и замкнутость первобытной религіи. Въ каждомъ жилищѣ былъ свой алтарь или священный очагъ, на которомъ постоянно тлѣлъ огонь, въ извѣстные моменты разгоравшійся отъ возліянія масла, вина, жертвеннаго жира. Первоначально покойниковъ хоронили, можетъ быть, въ самомъ жилищѣ (впослѣдствіи во всякомъ случаѣ близь жилища, на особомъ семейномъ кладбищѣ), и именно подъ священнымъ очагомъ, около котораго въ опредѣленные часы собиралась вся семья для молитвы, обращенной къ предкамъ. Жрецомъ, то есть пока только лицомъ, произносившимъ молитвы и совершавшимъ жертвоприношенія, былъ глава семьи, ея полновластный господинъ, отецъ, и никто, кромѣ членовъ семьи, кровныхъ или формально, съ извѣстными обрядами принятыхъ, усыновленныхъ, не могъ присутствовать; ни за кого изъ постороннихъ семья не молилась,—у этихъ постороннихъ были свои Маны и Геніи, къ которымъ они и обращались; приближеніе, одинъ взглядъ чужака осквернялъ церемонію. И такъ какъ, съ одной стороны, весь этотъ ритуалъ былъ нуженъ и покойнику, и живымъ, а съ другой стороны, въ силу основного принципа патріархальной семьи, жречество переходило отъ отца къ сыну, то наличность сыновей была дѣломъ первостепенной важности. Въ случаѣ отсутствія ихъ, прибѣгали къ разнымъ мѣрамъ,—къ разводу, замѣстительству

мужа ближайшимъ родственникомъ, усыновленію. Женщина принимала участіе въ богослуженіи, но, выходя замужъ, дочь отлучалась отъ отцовской религіи и молилась богамъ своей новой семьи. И т. д., и т. д. Фюстель съ величайшею тщательностью слѣдитъ за отраженіемъ этого общаго порядка вещей на первобытной морали, на законахъ о бракѣ, наслѣдствѣ, собственности, положеніи дѣтей, рабовъ и проч.

Можетъ показаться, что все это не говоритъ въ пользу тезиса о первенствующей роли религіи, такъ какъ сама она опредѣляется общественными отношеніями, формой патріархальной семьи. Нѣтъ, возражаетъ Фюстель, самая эта форма коренилась въ вѣрованіи, что производительная сила, таинственная сила возсозданія новой жизни принадлежитъ только мужчинѣ, отцу. „Конечно,—говоритъ онъ,—намъ трудно теперь понять, какъ могъ человѣкъ обожать своего отца или предка. Обращать человѣка въ бога представляется намъ несовмѣстимымъ съ религіей. Намъ почти также трудно понять древнія вѣрованія этихъ людей, какъ имъ было бы трудно вообразить наши. Но припомнимъ, что древніе не знали идеи творенія, и тайна рожденія была для нихъ тѣмъ же, что для насъ тайна творенія. Производитель былъ для нихъ божественнымъ существомъ, и они обожали предка".

Итакъ, на зарѣ исторіи было столько религій, сколько семей, и всѣ онѣ не только не имѣли между собою ничего общаго, но были чужды другъ другу съ оттѣнкомъ враждебнаго характера. Семья разросталась, оставаясь нераздѣльною и сохраняя все ту же религію. Складывался родъ, и родовые боги, dii gentiles, продолжали покровительствовать лишь своимъ, отметая всѣхъ чужихъ. Родъ, по мнѣнію Фюстеля, есть та же семья, разросшаяся и развѣтвившаяся путемъ размноженія какъ свободныхъ ея членовъ, такъ и рабовъ, отпущенниковъ, кліентовъ, молившихся тѣмъ же семейнымъ богамъ. Эта семейная или родовая религія воспрещала двумъ семьямъ смѣшиваться или сливаться. Но, говоритъ Фюстель, „нѣсколько семей могли, ничего не уступая изъ своихъ частныхъ религій, соединяться, по крайней мѣрѣ, для отправленія другого культа, который былъ для нихъ общимъ. Такъ и было. Извѣстное число семей образовало группу, которую греческій языкъ назвалъ фратріей, латинскій—куріей. Существовала ли кровная связь между семьями, образовавшими эту группу? Утверждать это—невозможно. Но достовѣрно, что эта новая ассоціація сложилась въ связи съ извѣстнымъ расширеніемъ религіозной идеи. Въ моментъ соеди-

191/IX-38
БИБЛИОТ.
Энерго
инв. № 46368

ненія, семьи признали божество высшее, чѣмъ ихъ домашніе боги, общее имъ всѣмъ и покровительствовавшее всей группѣ. Они воздвигли ему алтарь, зажгли священный огонь и установили культъ". Во главѣ фратріи или куріи стоялъ куріонъ или фратріархъ, главная функція котораго состояла въ предсѣдательствѣ при богослуженіи. И, какъ въ семьѣ и родѣ, религія куріи и фратріи была строго замкнутою, недоступною другимъ куріямъ и фратріямъ. Вообще эта новая общественная единица была „точнымъ снимкомъ съ семьи". Тѣмъ же порядкомъ нѣсколько курій и фратрій слились въ трибу, которая опять-таки имѣла свой алтарь и свое божество,—обыкновенно это былъ обожествленный человѣкъ, „герой", а во главѣ трибы стоялъ трибунъ, филобазилевсъ. Триба, какъ и семья, и фратрія, была учрежденіемъ самостоятельнымъ, ни отъ какой высшей, сторонней власти независимымъ, имѣвшимъ свой особый культъ, изъ котораго всякій чужакъ былъ исключенъ. Двѣ трибы, поклонявшіяся разнымъ богамъ, не могли слиться въ одну. Но, подобно семьямъ и фратріямъ, нѣсколько трибъ могли соединиться подъ условіемъ сохраненія каждою своего культа, надъ которымъ высился новый, общій имъ всѣмъ культъ Такъ сложилась „гражданская община", городъ-государство, la cité. Складывалась эта еще новая общественная индивидуальность то добровольнымъ соглашеніемъ, то превосходствомъ силы одной изъ трибъ, то волею могущественнаго человѣка. Достовѣрно во всякомъ случаѣ, что и въ ней связующимъ звеномъ была религія и соотвѣтственный культъ, не покушавшіеся, однако, на религію и вытекавшія изъ нея внутреннія отношенія семьи, куріи, трибы. Это была федерація низшихъ группъ, оставшихся самостоятельными; каждый человѣкъ, будучи членомъ семьи, куріи, трибы и гражданской общины, имѣлъ четыре религіи, которыя мирно уживались рядомъ, но изъ которыхъ каждая послѣдующая объединяла болѣе широкій кругъ.

Остановимся на малое время.

Фюстель говоритъ о Греціи и Римѣ, дѣлая по временамъ болѣе или менѣе значительныя экскурсіи въ древнюю Индію, какъ прародину грековъ и римлянъ, откуда они и вынесли поклоненіе предкамъ. Мимоходомъ онъ отмѣчаетъ, что религія эта существовала „почти во всѣхъ человѣческихъ обществахъ", и указываетъ на китайцевъ, древнихъ гетовъ и скифовъ, первобытныхъ народовъ Африки и Америки. И это обстоятельство подтверждаетъ для Фюстеля его мысль о патріархальной семьѣ, какъ древнѣйшей формѣ общественныхъ

отношеній. Таковъ же, какъ извѣстно, взглядъ Мэна и нѣкоторыхъ новѣйшихъ изслѣдователей, въ противоположность группѣ писателей, утверждающихъ, что патріархальная семья есть явленіе, сравнительно, очень позднее, что ей предшествовало, если не „женовластіе", какъ думаетъ Бахофенъ, то во всякомъ случаѣ положеніе женщины, очень отличное отъ того, какое она получила въ патріархальной семьѣ. Здѣсь не мѣсто поднимать этотъ споръ, и мнѣ хочется лишь отмѣтить одинъ фактъ, говорящій, мнѣ кажется, въ пользу теоріи патріархата, но до сихъ поръ, сколько мнѣ извѣстно, въ этомъ смыслѣ не истолкованный.

Китайскій культъ предковъ изслѣдованъ съ наибольшею полнотою въ книгѣ покойнаго Георгіевскаго „Принципы жизни Китая". Но авторъ сознательно уклоняется отъ произнесенія своего слова въ упомянутомъ спорѣ. Приведя слова Васильева (въ книгѣ „Религіи востока"): „Китайскій языкъ сохранилъ въ себѣ свидѣтельство, что въ древности дѣти назывались по именамъ или фамиліямъ своихъ матерей; слѣдовательно, въ историческое уже отчасти время еще не было браковъ; названіе „сына", т. е. рожденнаго отъ брака, и до сихъ поръ есть почетное титло; оно послѣ стало даваться и философамъ",—приведя эти слова, Георгіевскій „предоставляетъ самимъ читателямъ рѣшить, насколько справедливы" они „и вообще тѣ воззрѣнія на исторію брака, которыхъ держатся" Бахофенъ, Макъ-Леннанъ, Морганъ, Леббокъ. И, совершенно независимо отъ этого вопроса, въ связи съ представленіями китайцевъ о духахъ, Георгіевскій приводитъ въ другомъ мѣстѣ слѣдующія показанія историковъ: „Древніе возводили въ принципъ, что святые, мудрецы, освободители народа рождаются отъ дѣвы. Авторъ (Лектикона) Шо-вэнь опредѣлительно говоритъ: „святые и мудрецы названы были тянь-цзы, т. е. сынами неба, потому что зачаты они были своими матерями отъ дѣйствія неба"... Почти всѣ основатели династій... „считаютъ родоначальниковъ своихъ фамилій рожденными отъ дѣвы. Мать императора Фу-си зачала, когда наступила на слѣдъ великана и когда была окружена радугою. Мать императора Шэнь-куне зачала отъ духа (горы?) и родила сына въ пещерѣ горы". И т. д., и т. д. Слѣдуетъ длинный списокъ дѣвъ, зачавшихъ отъ свѣта молніи, во снѣ, въ которомъ онѣ видѣли, что на нихъ спустилась радужная звѣзда, отъ краснаго дракона, отъ радуги и проч. Не говорятъ ли всѣ эти легенды, свойственныя далеко не одному Китаю, о томъ времени, когда патріархальная семья уже потому не могла существовать, что лишь

мать была явною родительницею, а отецъ былъ просто неизвѣстенъ? О томъ времени, когда борьба за индивидуальность еще не выдѣлила патріархальную семью изъ нѣкотораго болѣе обширнаго цѣлаго, о строѣ котораго мы не можемъ составить себѣ достаточно ясное представленіе? Но это мимоходомъ.

Начертавъ свой симметрическій и схематическій планъ объединенія семей въ куріи, курій въ трибы и трибъ въ гражданскія общины, Фюстель дѣлаетъ оговорку: возможенъ былъ и обратный ходъ развитія. Разъ муниципальная организація была достигнута, не было надобности, чтобы каждый новый городъ продѣлывалъ всю трудную исторію съ начала, съ объединенія семей. „Выходя изъ какого-нибудь уже устроеннаго города, чтобы основать новый, вождь уводилъ съ собой лишь немногихъ своихъ согражданъ, къ которымъ присоединялись люди изъ разныхъ мѣстъ и даже разныхъ расъ. Но этотъ вождь организовалъ новое государство по образцу того, которое онъ покинулъ“, то есть дѣлилъ свой народъ на фратріи и трибы, и каждая изъ этихъ ассоціацій имѣла свой алтарь и свои религіозныя празднества, во имя какого-нибудь выдуманнаго древняго героя, отъ котораго она, будто бы, происходила. „*Часто случалось также, что населеніе извѣстной страны жило безъ законовъ и порядка* (sans lois et sans ordre), потому ли, что соціальная организація не сложилась, какъ это было въ Аркадіи, или вслѣдствіе слишкомъ рѣзкихъ революцій, какъ это было въ Киринеѣ и Туріи. Если законодатель предпринималъ ввести въ такую страну порядокъ, онъ начиналъ съ раздѣленія населенія на трибы и фратріи“.

Подчеркнутыя мною слова представляютъ въ книгѣ Фюстеля единственное, но тѣмъ болѣе интересное мѣсто, гдѣ онъ говоритъ о какомъ-то общежитіи „безъ законовъ и порядка“, предшествовавшемъ патріархальной семьѣ. Интересно также указаніе на какіе-то „слишкомъ рѣзкіе“ перевороты, очень рано (къ позднѣйшимъ переворотамъ мы еще перейдемъ) нарушавшіе стройность картины, нарисованной Фюстелемъ. Ясно во всякомъ случаѣ, что картина эта не представляетъ собой точнаго изображенія дѣйствительно древнѣйшаго состоянія человѣчества. Прочная осѣдлость, дома, очаги, законы, строго выдержанные, сложные ритуалы и проч. — все это отнюдь не первобытныя черты, но для извѣстнаго, относительно, поздняго момента исторіи человѣчества мы можемъ признать эту

картину правильною, оговоривъ лишь ея излишнюю симметричность, схематичность и — неполноту. Послѣднее знаетъ самъ Фюстель.

Если духи предковъ, Маны, Лары, Геніи, Герои, были долгое время заслоняемы громами Юпитера, трезубцемъ Нептуна, копьемъ Марса, золотыми кудрями и поясомъ Венеры и проч., то въ переданномъ нами по Фюстелю очеркѣ семейной или домашней религіи, съ ея осложненіями и развѣтвленіями, великіе Олимпійскіе боги совсѣмъ отсутствуютъ. Но Фюстель ихъ, конечно, не забылъ. Приступая къ моменту образованія гражданской общины, города-государства, онъ пишетъ главу „*Новыя* религіозныя вѣрованія". Однако, онъ тутъ же выражаетъ сомнѣніе, — дѣйствительно ли это новыя вѣрованія. Жизнь первобытнаго человѣка,—говоритъ онъ,—вся была въ рукахъ природы. Онъ каждую минуту чувствовалъ свою слабость и силу окружающей природы, внушавшей ему то уваженіе, то страхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ природа не была въ его глазахъ единымъ цѣлымъ, а потому не могла ему придти въ голову и мысль о единомъ высшемъ существѣ, управляющемъ ею. Судя лишь по себѣ, за неимѣніемъ другого мѣрила вещей, онъ населилъ весь внѣшній міръ подобными ему, мыслящими, чувствующими, волящими существами и, въ виду ихъ могущества, призналъ ихъ богами. Такимъ образомъ, рядомъ съ домашней религіей, состоявшей въ обожаніи предковъ, выросла другая,—обожествившая силы природы. Религіозная идея явилась „въ двухъ, очень различныхъ формахъ". „Онѣ не враждовали другъ съ другомъ, а жили въ добромъ согласіи, раздѣляя между собою власть надъ человѣкомъ, но никогда не смѣшивались... Культъ Олимпійскихъ боговъ и культъ героевъ и манъ никогда не имѣли между собою ничего общаго. Нельзя сказать, которая изъ этихъ двухъ религій возникла раньше, нельзя даже утверждать, чтобы вообще одна изъ нихъ предшествовала другой". Достовѣрно только, что религія великихъ боговъ или физической природы, соотвѣтствующая болѣе общимъ и высокимъ идеямъ, сравнительно поздно сложилась въ опредѣленную доктрину. Долгое время каждый по своему называлъ обожествленныя явленія природы, примѣняясь къ тому или другому ихъ, бросавшемуся въ глаза, качеству и олицетворяя въ немъ того или другого бога. Въ одномъ мѣстѣ, напримѣръ, солнце называлось Геракломъ (славный), Фебомъ (блестящій), въ другомъ — Аполлономъ (прогоняющимъ ночь), Гиперіономъ (высшій), и люди не знали, что подъ этими различными прилагательными именами они чтутъ одного и того же

бога. Такъ какъ религія эта зародилась въ ту пору, когда люди жили еще семьями, то ея боги заняли въ семейномъ культѣ мѣсто рядомъ съ Ларами и Героями. „Отсюда множество мѣстныхъ культовъ, между которыми никогда не могло установиться единство. Отсюда борьба между богами, которою полонъ политеизмъ и которая отражаетъ борьбу между семьями, округами и городами. Отсюда, наконецъ, безчисленное множество боговъ и богинь, которыхъ навѣрное мы лишь меньшую часть знаемъ: многіе изъ нихъ погибли, не оставивъ по себѣ памяти даже именемъ, потому что поклонявшіяся имъ семьи вымерли, а города, чествовавшіе ихъ, были разрушены". „Съ теченіемъ времени случалось, что боги какой-нибудь семьи пріобрѣтали особенно сильное вліяніе на воображеніе людей и казались особенно могущественными, и тогда ихъ признавала вся гражданская община", чего не могло случиться съ богами-предками, по необходимости обреченными на ограниченное число почитателей. Поэтому религія великихъ боговъ, боговъ природы не страдала исключительностью семейной религіи, ничто не мѣшало ея распространенію среди чужаковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ея внутреннему развитію.

Покойный синологъ Васильевъ замѣчаетъ, что „всѣ древнія религіи возникли изъ двухъ несходныхъ вліяній" („Религіи востока"),— и какъ разъ именно тѣхъ, которыя указаны Фюстель де-Куланжемъ: во-первыхъ, „видимая природа не могла съ перваго умственнаго развитія не поразить человѣка своимъ вліяніемъ"; во-вторыхъ, смерть, лишеніе любимаго человѣка производитъ въ насъ невыразимое ощущеніе, намъ все кажется, что любимое или уважаемое нами существо еще съ нами, что оно носится надъ нами, чувствуетъ, смотритъ на насъ". Такимъ образомъ мы и здѣсь видимъ два независимыхъ одно отъ другого религіозныхъ теченія, имѣющихъ различные источники. Однако, Георгіевскій въ упомянутыхъ „Принципахъ жизни Китая" рядомъ остроумныхъ соображеній доказываетъ, что у китайцевъ всѣ боги физической природы сводятся въ концѣ-концовъ къ культу предковъ, лишь постепенно, въ теченіе вѣковъ, такъ сказать, линявшему, слабѣвшему передъ своимъ собственнымъ порожденіемъ—культомъ физическихъ силъ. Какъ извѣстно, Спенсеръ держится этого взгляда относительно всѣхъ религій всего міра.

IV.

Прежде, чѣмъ идти дальше, позволю себѣ небольшое полемическое отступленіе.

Тотъ субъективизмъ (не субъективный *методъ*), за который на мою долю досталось столько брани, насмѣшекъ, упрековъ и т. д., нынѣ торжественно признанъ нѣкоторыми изъ „учениковъ" неизбѣжнымъ и законнымъ. Мало того, г. Струве, сбросивъ съ себя покровы „ортодоксальности", не разъ и даже съ какимъ-то задорливымъ подчеркиваніемъ указываетъ, что я раньше „учениковъ" настаивалъ на „классовомъ сознаніи", „классовой точкѣ зрѣнія", примѣненіе которой, дескать, и есть частное выраженіе субъективнаго метода. Прежде г. Струве этого не замѣчалъ, уподобляясь тому Севастьяну, который не узналъ своихъ крестьянъ. ну, а теперь онъ уже воспарилъ въ совсѣмъ иныя сферы. Боюсь, что столь же поздно разъяснится еще одно недоразумѣніе.

Семья, родъ, фратрія, триба, государство,—все это ступени общественной индивидуальности. Спрашивается, однако, такъ ли это? Приложимо ли здѣсь самое понятіе индивидуальности? Для меня положительный отвѣтъ на этотъ вопросъ столь несомнѣненъ, что, когда г. Бердяевъ, справедливо указывая, что семья, родъ, сословіе, цехъ, нація, государство не суть организмы, вмѣстѣ съ тѣмъ говорилъ, что это и не индивидуальности,—я предположилъ, что это не больше, какъ lapsus calami. Я не увѣренъ, однако, что мое предположеніе соотвѣтствуетъ истинѣ, да и у другихъ авторовъ, удостоившихъ меня своею критикою (въ томъ числѣ и у г. Ранскаго, выпустившаго недавно книгу подъ заглавіемъ „Соціологія Н. К. Михайловскаго"), есть намеки на отрицательное отношеніе къ ученію объ общественныхъ индивидуальностяхъ. И любопытно, что авторы эти въ большинствѣ случаевъ возлагаютъ свои надежды на „классовое сознаніе", „классовую точку зрѣнія", „классовую борьбу", слѣдовательно, смотрятъ на „классъ", какъ на индивидуальность; ибо что такое индивидуальность, если не цѣлое, вступающее въ отношенія къ внѣшнему міру, какъ обособленная единица?

Но вѣдь не только классъ представляетъ собою такую единую цѣлокупность. Вотъ, для примѣра, черты, характеризующія, по Фюстель-де-Куланжу, римскую gens, родъ. Связанные единствомъ религіозныхъ вѣрованій, члены рода помогаютъ другъ другу на всѣхъ

путяхъ жизни. Родъ, какъ единое цѣлое, отвѣчаетъ за долги своихъ членовъ; онъ выкупаетъ плѣнниковъ, платитъ пеню за осужденнаго. Обвиняемый является на судъ въ сопровожденіи всѣхъ членовъ своего рода. Считалось не позволительнымъ вести судебное дѣло противъ сочлена рода и даже свидѣтельствовать противъ него. Между сочленами дѣла рѣшались внутри рода, имѣвшаго своего главу, который былъ и судьей, и жрецомъ, и военнымъ вождемъ. „Такова—говоритъ Фюстель—совокупность обычаевъ и законовъ, встрѣчаемая нами даже въ ту пору, когда родъ уже ослабѣлъ и почти извратился. Это только остатки древняго учрежденія". Мы знаемъ, однако, что это древнее учрежденіе и доселѣ сохранило у многихъ народовъ свои основныя черты. Достаточно вспомнить нераздѣльную родовую собственность и неписанный законъ родовой или кровной мести, въ силу котораго, собственно говоря, нѣтъ личной обиды, она наносится всему роду въ его цѣлости, а потому мститъ за нее каждый членъ обиженнаго рода каждому члену рода-обидчика. Лично Ромео и Джульета могутъ пламенно любить другъ друга, но роды Монтекки и Капулетти, какъ общественныя индивидуальности, памятующія длинный рядъ взаимныхъ обидъ, не допустяхъ ихъ счастія. И наоборотъ, какъ въ одномъ изъ приводимыхъ Фюстелемъ примѣровъ, два Клавдія могутъ быть личными врагами, но единство рода заставитъ одного изъ нихъ быть на судѣ защитникомъ другого. И мы, по малой мѣрѣ, съ такимъ же правомъ можемъ говорить о „родовомъ сознаніи", „родовой точкѣ зрѣнія", „родовой борьбѣ", какъ и сочетать эти существительныя съ прилагательнымъ „классовый". Въ высшихъ или болѣе обширныхъ общественныхъ индивидуальностяхъ дѣло затемняется ихъ сложнымъ составомъ изъ цѣлаго ряда низшихъ группъ, но по существу нисколько не измѣняется.

Что касается картины греко-римской жизни, какъ мы ее до сихъ поръ по Фюстель-де-Куланжу видѣли, то, кромѣ того, что она никоимъ образомъ не можетъ относиться къ древнѣйшему періоду исторіи, мы отмѣтили ея чрезмѣрную симметричность и схематичность. Въ ней слишкомъ мало жизни. Это какой-то механизмъ, съ удивительною аккуратностью вытачивающій кругъ за кругомъ, одинъ другого шире; и каждый, болѣе широкій кругъ, плотно охватывая тотъ, который былъ раньше выточенъ механизмомъ исторіи, не задѣваетъ его, однако, не наноситъ ему никакого ущерба и въ свою очередь не получаетъ отъ него отточки. Фюстель отнюдь не представляетъ себѣ эту, по его мнѣнію, древнѣйшую, первобытную жизнь въ видѣ

идилліи благоденственнаго и мирнаго житія во всѣхъ уголкахъ нарисованной имъ картины. Такъ, напримѣръ, всемогущій глава семьи—отецъ могъ убить или продать своего сына, никому не давая отчета, и никакая высшая общественная единица не вмѣшивалась въ эту домашнюю расправу. Съ другой стороны, замкнутость и отчужденность семьи отъ семьи и города отъ города легко переходила во враждебность,—недаромъ слово hostis означало инородца, чужака и вмѣстѣ съ тѣмъ врага,—и по отношенію къ чужаку не существовало различія между справедливостью и несправедливостью; войны отличались необыкновенною жестокостью, побѣжденные или истреблялись, или продавались въ рабство. Словомъ, въ жестокости, злобѣ, ненависти, запечатлѣнныхъ кровью, недостатка въ тогдашнемъ обиходѣ не было. Но все было окутано плотною тканью религіи, проникавшей все существо, какъ тѣхъ, кто совершалъ жестокости и насилія, такъ и тѣхъ, кто имъ подвергался. Если не всегда сынъ ложился подъ ножъ отца съ кроткою покорностью Исаака, то онъ во всякомъ случаѣ столь же мало сомнѣвался въ правѣ отца, какъ и тотъ въ своемъ правѣ. Побѣдители безъ всякихъ колебаній рѣзали и продавали въ рабство побѣжденныхъ, но и тѣ принимали выпавшую на ихъ долю участь „не токмо за страхъ, но и за совѣсть". Интеллектуальный элементъ религіи—вѣрованіе въ загробную жизнь предковъ, въ ихъ могущество и могущество ихъ слуги и представителя, отца—такъ крѣпко связывался съ элементомъ эмоціональнымъ—чувствомъ почтительнаго страха, что каждый житейскій шагъ людей, исповѣдывавшихъ эту религію, былъ отмѣченъ непоколебимою увѣренностью, —колебаніямъ и сомнѣніямъ тутъ не было мѣста... Это была, какъ сказалъ бы Сенъ-Симонъ, одна изъ „органическихъ" эпохъ въ исторіи, когда отдѣльныя личности и образуемые ими союзы дружно способствуютъ жизнедѣятельности цѣлаго въ его исторически данной формѣ, въ противоположность эпохамъ „критическимъ", когда это гармоническое соотношеніе частей нарушается.

Вполнѣ ли, однако, такъ, и если да, то долго ли могла продержаться мирная симметрія боговъ семейныхъ и родовыхъ, боговъ курій и фратрій, трибъ, боговъ гражданской общины и государства? Никакая религія не выдыхается вдругъ и цѣликомъ. Враждебные ей элементы медленно просачиваются въ нее съ разныхъ сторонъ и постепенно раскалываютъ ее на части, изъ которыхъ нѣкоторыя надолго переживаютъ сами себя, сохраняясь по формѣ, хотя по существу онѣ уже давно мертвы. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго, если

мы даже въ очень позднее время встрѣчаемъ въ вѣрованіяхъ, обрядахъ, житейской практикѣ ту или другую подробность, носящую на себѣ ясную печать потухшей религіи. Когда, напримѣръ, всего за полтора вѣка до нашей эры, Римъ былъ взволнованъ процессомъ участниковъ въ вакханаліяхъ (къ этому дѣлу мы еще вернемся), то виновные мужчины судились государственнымъ судомъ, женщины же были отданы ихъ родственникамъ для семейной расправы. Это былъ отзвукъ древняго права, освященнаго семейной религіей, давно уже растворившейся въ религіи государственной. „Отецъ семейства — неограниченный господинъ надъ своими дѣтьми, онъ можетъ продать своего сына и даже убить его; но если этотъ сынъ облеченъ въ какую-нибудь общественную должность, его отецъ обязанъ повиноваться ему наравнѣ съ другими и, встрѣтивъ его на дорогѣ, слѣзать передъ нимъ съ лошади... Римская религія, не смотря на свое могущество и на уваженіе, которымъ она пользовалась... покорилась государству или, лучше сказать, слилась съ нимъ“ (Буасье, „Римская религія отъ Августа до Антониновъ“).

Когда же и какъ совершился этотъ переворотъ или, вѣрнѣе, тотъ рядъ переворотовъ, къ концу которыхъ такъ потускнѣла семейная религія передъ блескомъ религіи государственной? Это былъ сложный, долгій и въ началѣ очень медленный, но подъ конецъ все убыстрявшійся процессъ борьбы за индивидуальность, приведшій, наконецъ, къ тому культу цезарей, съ котораго мы начали.

Но возратимся къ Фюстель-де-Куланжу. Какъ ни солидна была первобытная организація общества,—говоритъ онъ, —какъ ни глубоко коренилась она во всѣхъ умахъ и сердцахъ, она въ разныхъ пунктахъ Греціи и Италіи въ разное и трудно опредѣлимое время начала колебаться. И съ VII вѣка до Р. Х. она уже повсемѣстно даетъ трещины. Причинъ ея разложенія было двѣ. Во-первыхъ, подъ самый ея корень подкапывался естественный прогрессъ человѣческаго разума, ослабляя вѣрованіе въ участіе предковъ въ жизни современниковъ... Во-вторыхъ, уже въ первоначальной ячейкѣ этого общества, въ семьѣ, очень рано произошли разслоенія, съ трудомъ уживавшіяся въ рамкахъ мирнаго единства. Надо замѣтить, что, видя въ родѣ лишь разросшуюся патріархальную семью, Фюстель склоненъ ихъ отождествлять. Однако, и онъ вынужденъ признать, что съ теченіемъ времени между семьей и родомъ возникаетъ нѣкоторый антагонизмъ и борьба. Младшія линіи, входившія въ составъ рода, должны были во всемъ подчиняться старшей линіи, семейные боги

отодвигались въ тѣнь передъ богами родовыми, и это становилось, наконецъ, непереноснымъ. Фюстель не указываетъ причинъ, побуждавшихъ нѣсколько семей (или родовъ) соединяться въ куріи и фратріи. Онъ просто говоритъ: „могли, ничего не уступая изъ своихъ частныхъ религій, соединяться для отправленія другого культа, который былъ для нихъ общимъ; такъ и было". Здѣсь возможны только предположенія, и въ числѣ причинъ, побуждавшихъ къ такому соединенію, самою вѣроятною представляется необходимость поддержать родовой союзъ, трещавшій по швамъ подъ напоромъ борющихся за свою индивидуальность семей. Какъ бы то ни было, но по мѣрѣ того, какъ роды складывались въ куріи, куріи въ трибы и трибы въ гражданскія общины, складывалась вмѣстѣ съ тѣмъ и совершенно новая общественная индивидуальность, такъ сказать, пересѣкавшая въ поперечномъ направленіи всѣ низшія индивидуальности: складывался союзъ вождей или „отцовъ", такъ какъ отецъ, pater, и вождь, глава,—это было одно и то же.

Къ тому же результату влекло исторію еще одно теченіе.

Фюстель почти не говоритъ о рабахъ, ихъ происхожденіи и положеніи въ древнемъ обществѣ, но за то много о кліентахъ и вольноотпущенникахъ. Такъ какъ, согласно религіи, никакой посторонній человѣкъ не могъ входить въ составъ семьи, то надъ каждымъ вновь пріобрѣтеннымъ рабомъ продѣлывалась извѣстная религіозная церемонія, подобная той, которая производилась при женитьбѣ и усыновленіи. Рабъ пріобщался такимъ образомъ къ семейной религіи и съ тѣхъ поръ состоялъ подъ покровительствомъ священнаго очага, присутствовалъ при богослуженіи, участвовалъ въ празднествахъ, хоронился на семейномъ кладбищѣ; словомъ, при жизни и послѣ смерти принадлежалъ семьѣ. Господинъ могъ вывести его изъ состоянія рабства и обращаться съ нимъ, какъ со свободнымъ человѣкомъ, но и въ такомъ случаѣ онъ, подъ именемъ вольноотпущенника или кліента, въ силу единства культа, оставался при извѣстныхъ обязательствахъ по отношенію къ патрону: женился съ согласія патрона, которому повиновалось и его, кліента, потомство; имущество кліента принадлежало, собственно, патрону, который могъ отбирать его для своихъ надобностей, вслѣдствіе чего кліентъ долженъ былъ давать приданое дочери патрона, участвовать въ платежѣ штрафовъ за него и т. д. Хотя кліентъ состоялъ подъ покровительствомъ Ларъ своего господина и носилъ его фамильное имя, но его положеніе въ семьѣ было еще ниже положенія младшихъ линій. Тѣ,

восходя по своей генеалогической лѣстницѣ, всегда находили на ней „pater'a“ то есть обожествленнаго главу семьи, вслѣдствіе чего и назывались патриціями, тогда какъ генеалогія кліента непремѣнно упиралась въ кліента или раба. Въ соотвѣтствіе этому кліентъ присутствовалъ при богослуженіи, но не могъ совершать его самъ, между нимъ и божествомъ были всегда посредники, и если семья вымирала, кліенты не могли продолжать ея культъ. Далѣе, для младшей линіи существовала возможность, въ случаѣ вымиранія старшей линіи, замѣнить ее въ религіозномъ и имущественномъ отношеніи, — для кліента такой перспективы ни при какихъ обстоятельствахъ не было.

Таковы были еще въ чисто семейной организаціи (Фюстель настаиваетъ на этомъ) элементы, содержавшіе въ себѣ зародыши ея разложенія. Позже, гораздо позже, но всетаки въ незапамятную пору, началъ складываться еще одинъ слой,—плебеи. По всей вѣроятности, это были въ значительной своей части остатки покоренныхъ племенъ. Но,—говоритъ Фюстель, — мы съ удивленіемъ читаемъ у Тита Ливія, что патриціи попрекали плебеевъ не происхожденіемъ отъ покоренныхъ расъ, а отсутствіемъ религіи и даже семьи,—попрекъ, лишенный ко времени Тита Ливія реальнаго смысла и потому, очевидно, намекающій на что-то очень стародавнее. Могло случаться, что та или другая семья не додумалась до почитанія предковъ, оказалась безсильною создать себѣ культъ и потому занимала низшее положеніе среди другихъ, освященныхъ религіей семей. Могло быть и то, что иная семья, по небрежности въ исполненіи обрядовъ или вслѣдствіе какихъ нибудь тяжкихъ преступленій, оскорбившихъ священный очагъ, теряла свою религію. Случалось, далѣе, что кліенты изгонялись патрономъ или добровольно оставляли его, оставаясь вмѣстѣ съ тѣмъ и безъ религіи. Сынъ, рожденный отъ брака, совершеннаго безъ извѣстныхъ религіозныхъ церемоній, равно какъ и сынъ, родившійся отъ прелюбодѣянія, тоже оставались внѣ семейной религіи. Изо всѣхъ этихъ элементовъ и образовалось сословіе „безродныхъ“ людей, — gentem non habent, презрительно говорили о нихъ патриціи. Они были при каждомъ городѣ Греціи и Италіи, но жили внѣ города и не имѣли ничего общаго съ настоящими горожанами,—патриціями и ихъ кліентами. Съ теченіемъ времени эти безродные люди, стоявшіе внѣ санкціонированной религіей общественной организаціи, внѣ закона и политическихъ правъ, образовали классъ, общественную индивидуальность, въ качествѣ которой и выступили на арену исторіи.

Итакъ, древній міръ представлялъ собою первоначально—или, точнѣе, въ ту пору, которую Фюстель считаетъ первоначальною,—рядъ семейныхъ единицъ, связанныхъ общностью происхожденія, санкціонируемыхъ въ своей индивидуальности религіей, рѣзко отграниченныхъ отъ подобныхъ имъ сосѣднихъ индивидуальностей. Религія постепенно расширяетъ каждую такую группу, такъ сказать, въ вертикальномъ направленіи, присоединяя къ ней души предковъ, вовлекая ихъ, равно какъ и персонифицированныя физическія силы природы, въ ея земную жизнь. Во главѣ этой земной жизни стоитъ отецъ, но его, собственно говоря, нельзя назвать главой, если принять во вниманіе всю длинную восходящую цѣпь умершихъ предковъ, среди которой онъ преставляетъ собою лишь живое звено. Постепенно семейная индивидуальность расширяется и въ направленіи—прибѣгая къ аналогичной метафорѣ—горизонтальномъ, частію путемъ размноженія, частію путемъ присоединенія къ семейному культу рабовъ, кліентовъ, вообще слугъ. Образуется родъ, индивидуальность родовая, съ своимъ родовымъ сознаніемъ, своими родовыми интересами, своей родовой религіей, первоначально не отличающейся, впрочемъ, отъ религіи семейной. Оставляя въ сторонѣ не существующій для Фюстель-де-Куланжа вопросъ о томъ,—не выдѣлилась ли, при томъ послѣ долгой и упорной борьбы, сама семья изъ нѣкотораго болѣе обширнаго цѣлаго, можно съ увѣренностью сказать, что à la longue семья не могла мирно выдерживать давленіе сжимавшаго ее кольца рода. Младшія поколѣнія естественно не чувствуютъ той близости къ дѣду, прадѣду, прапрадѣду, какая связываетъ ихъ съ отцомъ, а сѣдобородый, богатый личнымъ опытомъ отецъ не всегда охотно признаетъ авторитетъ хотя бы еще болѣе сѣдобородаго родоначальника. Осіянный лучомъ посмертной божественности, родоначальникъ будетъ окруженъ всѣмъ почетомъ, какой подобаетъ богамъ, но другое дѣло при жизни. Какъ бы долго ни существовалъ крѣпкій, нераздѣльный родъ, хотя бы много вѣковъ,—говоря о временахъ столь отдаленныхъ и, слѣдовательно, „покрытыхъ мракомъ неизвѣстности“, можно не скупиться на цифры,—въ концѣ концовъ сила ближайшаго родства, сила семейнаго эгоизма, сила обособленности семьи, какъ общественной индивидуальности, должна была, если не прорвать облегавшее ее кольцо рода, то начать борьбу съ нимъ. „Семейный эгоизмъ—говоритъ Эспинасъ („Соціальная жизнь животныхъ“)—даетъ себя знать наиболѣе властно потому, что въ основѣ его стоитъ самое понятное изъ всѣхъ *я*, и что въ немъ есть

своего рода самопожертвованіе. Поэтому соціальное сознаніе сообщества не можетъ имѣть при своемъ возникновеніи болѣе крупнаго врага, чѣмъ противоположное ему коллективное сознаніе семейства". Но это противодѣйствіе семейнаго эгоизма имѣетъ мѣсто не только при возникновеніи сообщества. Мы его и нынѣ можемъ ежедневно наблюдать, такъ какъ сочетаніе любви къ „своимъ" съ общественными обязанностями далеко не легко и не всѣмъ дается. У римлянъ существовала впослѣдствіи поговорка: такой-то „приноситъ жертвы у очага". Это значило, что такой-то ничѣмъ, кромѣ своей семьи, не интересуется. Для обособленія семьи изъ оковъ рода могли быть поводы и въ чисто религіозной области. Культъ все тѣхъ же общихъ предковъ могъ оставаться неприкосновеннымъ, все тѣ-же прадѣды и прапрадѣды могли принимать молитвы и жертвоприношенія отъ всѣхъ семействъ, входившихъ въ составъ рода; но существовали еще боги, такъ сказать, добавочные, не обязательные, съ точки зрѣнія культа предковъ,—боги физической природы, ставшіе впослѣдствіи великими Олимпійскими богами, затмившими Геніевъ и Ларъ. Они могли разно чествоваться и даже разно называться въ отдѣльныхъ семьяхъ, и эта разница въ культѣ была уже трещиной, въ которую, все расширяя ее, вливались всякія частныя обиды и недоразумѣнія. На выручку явилась новая, болѣе широкая общественная индивидуальность, обнимавшая нѣсколько родовъ, и т. д., до образованія гражданской общины и государства.

Въ составъ гражданской общины вошли общественныя индивидуальности—семьи, роды и ихъ дальнѣйшія комбинаціи; все „безродное" осталось внѣ общины, внѣ того, что первоначально называлось populus. Каждая высшая общественная индивидуальность, налагая на личность свои особенныя, своеобразныя узы, ослабляла или измѣняла узы низшихъ индивидуальностей, конечно, не безъ сопротивленія со стороны послѣднихъ. Уже та постепенность, съ которою упразднялось право отца убивать и продавать своихъ сыновей, показываетъ, что патріархальная семья не легко поступилась своею индивидуальностью, предоставивъ, наконецъ, право наказанія взрослаго сына высшей общественной индивидуальности—государству. Не сразу уступили семья и родъ и на другомъ пунктѣ—правѣ исключительнаго наслѣдованія старшаго въ родѣ, съ паденіемъ котораго пала и наслѣдственность положенія жреца. Однако, слѣды древняго быта, конечно, въ сильно искалѣченномъ видѣ, сохранились до самаго конца римской исторіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по мѣрѣ того, какъ

наростали кольцомъ на кольцо все высшія общественныя индивидуальности, въ нихъ и какъ бы пересѣкая ихъ, откладывались новыя коллективныя индивидуальности—классы. Патриціатъ явился естественнымъ результатомъ союза „отцовъ"; государство въ противовѣсъ имъ ввело „безродныхъ", плебеевъ, въ составъ народа, образовавъ изъ нихъ трибы, подобныя патриціанскимъ, но основанныя не на рожденіи, а на имущественномъ цензѣ; наиболѣе богатые плебеи вошли въ сословіе всадниковъ, неимущіе образовали пролетаріатъ.

Всѣмъ этимъ, конечно, не исчерпывается пестрота римской соціальной ткани, но мы не будемъ слѣдить за ея дальнѣйшими усложненіями и за подробностями той борьбы, которая велась между разными ступенями и типами общественной индивидуальности. Остановимся лишь на нѣсколькихъ фактахъ въ поясненіе взгляда Фюстель-де-Куланжа на роль и значеніе религіи.

Тотъ алтарь или очагъ, на которомъ горѣлъ священный огонь и около котораго собиралась семья для молитвеннаго поклоненія предкамъ, назывался у римлянъ vesta. Огонь на немъ могъ быть поддерживаемъ не первымъ попавшимся деревомъ, а опредѣленными сортами. Разъ въ годъ онъ долженъ былъ быть погашенъ, но тотчасъ же опять возобновленъ съ соблюденіемъ строго опредѣленныхъ правилъ. Между прочимъ, его позволительно было добывать только двумя способами: или концентраціей солнечныхъ лучей, или треніемъ другъ о друга двухъ кусковъ дерева. Ничто нечистое, какъ въ буквальномъ, такъ и въ переносномъ смыслѣ, не должно было ни касаться алтаря, ни происходить по близости отъ него. Ставился онъ, повидимому, первоначально непосредственно надъ общей могилой предковъ, и постепенно почтеніе къ нему, равно какъ и къ горящему на немъ священному огню, слилось съ почитаніемъ предковъ. Домашній алтарь сталъ вмѣстѣ съ священнымъ огнемъ богомъ наравнѣ съ Ларами и Пенатами. Еще шагъ—и „веста" преобразилась въ Весту, прекрасную цѣломудренную дѣву, богиню-хранительницу домашняго очага отъ всякой нечисти и всякаго позора. Это преобразованіе произошло, вѣроятно, уже къ тому времени, когда мелкія общественныя индивидуальности образовали римское государство. И, во всякомъ случаѣ, въ это время многочисленные священные огни, продолжая горѣть и на мѣстныхъ алтаряхъ, слились въ одно государственное пламя, охраняемое непорочными весталками въ храмѣ Весты въ Римѣ, гдѣ хранился и палладіумъ. Весталка, допустившая священный огонь погаснуть или нарушившая обѣтъ цѣломудрія, подверга-

лась жестокой казни, ибо Веста была символомъ и богомъ римской чести, и при основаніи новой колоніи туда переносился огонь, зажженный у алтаря Весты въ метрополіи.

Возьмемъ другой примѣръ изъ области классовыхъ или сословныхъ отношеній.

Завершеніемъ той распри между патриціями и плебеями, которая повела къ удаленію послѣднихъ на Священную гору, было, какъ извѣстно, учрежденіе плебейскихъ трибуновъ. Чтобы понять смыслъ и характеръ этого учрежденія, говоритъ Фюстель, надо отрѣшиться отъ всѣхъ современныхъ идей и привычекъ мысли. При выборѣ первыхъ трибуновъ была совершена какая-то религіозная церемонія, описаніе которой не сохранилось для потомства. Извѣстно только, что трибуны были признаны sacrosancti; а слово это прилагалось ко всѣмъ предметамъ, посвященнымъ богамъ и потому неприкосновеннымъ для человѣческихъ рукъ. И это надо понимать въ самомъ точномъ, буквальномъ смыслѣ слова, какъ понимаютъ какіе нибудь дикари Сандвичевыхъ острововъ свое „табу". Плебеи, собственно, не получили никакихъ новыхъ правъ. Но если плебея оскорблялъ патрицій или кредиторъ хваталъ должника, трибунъ становился между нимъ, отводилъ руку насильника, и патрицій отступалъ, потому что не смѣлъ коснуться трибуна. Трибунъ былъ какъ бы ходячее священное убѣжище для плебеевъ, и внѣ этого убѣжища, въ отсутствіи трибуновъ, все шло старымъ порядкомъ. Трибуны были лишь покровителями и судьями плебеевъ и не имѣли никакой власти надъ остальнымъ населеніемъ, но они не замедлили широко воспользоваться своею неприкосновенностью. Они не имѣли права созывать народныя собранія, права входа въ сенатъ, права суда надъ патриціями, и всетаки созывали народныя собранія, являлись въ сенатъ, судили патриціевъ, ибо никто не смѣлъ тронуть ихъ пальцемъ, они были sacrosancti. Мы недостаточно знаемъ идеи древнихъ, говоритъ Фюстель, чтобы судить, была ли въ глазахъ патриціевъ личность трибуна окружена ореоломъ почтенія или, напротивъ того, составляла предметъ ужаса и проклятія. Фюстель склоняется къ послѣднему мнѣнію, по крайней мѣрѣ, относительно начальныхъ фазисовъ развитія трибуната. Еще во времена Плутарха, то есть около полутысячи лѣтъ по учрежденіи трибуната, находились люди, подвергавшіе себя, послѣ случайной встрѣчи съ трибуномъ, обряду очищенія,—обычай, аналогичный тому, въ силу котораго у насъ люди предразсудка, считая встрѣчу со священникомъ дурной примѣтой, норовятъ изпод-

тишка отплюнуться. И то, и другое—пережитки давно заглохшей борьбы между двумя религіями: патриціанской и плебейской, языческой и христіанской.

Въ русскихъ сказкахъ великолѣпіе царскаго жилища часто изображается такими чертами: на небѣ солнце и въ теремѣ солнце, на небѣ мѣсяцъ и въ теремѣ мѣсяцъ, на небѣ звѣзды и въ теремѣ звѣзды. Въ исторіяхъ богини Весты и первыхъ стадій развитія трибуната мы видимъ нѣчто обратное: въ небѣ религіи съ точностью отражаются измѣненія въ ходѣ земныхъ дѣлъ. Отражаются и съ этой небесной высоты санкціонируютъ сами себя. Во истину правъ Фейербахъ, говоря, что „испаренія слезъ сердца сгущаются въ небѣ фантазіи въ туманные образы божественныхъ существъ", хотя дѣло не въ однѣхъ „слезахъ сердца", а во всей земной жизни со всѣми ея скорбями и радостями. Но у каждой изъ общественныхъ индивидуальностей, какъ тѣхъ, которыя концентрически наслаиваются одна на другую, такъ и у тѣхъ, которыя перерѣзываютъ ихъ сословными или классовыми перегородками, есть свои скорби и радости, а потому своя религія. Отсюда эти тысячи римскихъ боговъ. А когда сложилась римская имперія, объединившая множество племенъ и народовъ и растянувшаяся отъ Ирландіи до Египта и Аравіи, отъ Карѳагена до нынѣшней Бельгіи и отъ Испаніи до Сиріи, явился новый богъ—Цезарь. Это было олицетвореніе той огромной и поразившей міръ своею мощью общественной индивидуальности, которая называлась римской имперіей, и не даромъ рядомъ съ богомъ Цезаремъ стояла, сливаясь съ нимъ, богиня Roma, Римъ. Безъ сомнѣнія, къ этому времени скептицизмъ уже значительно продырявилъ цѣльную ткань культа предковъ, вытекавшаго изъ него культа миѳическихъ родоначальниковъ, основателей городовъ и государствъ и примыкавшаго къ нему культа боговъ физической природы. Поэтому, какъ уже было сказано, лицемѣрія изъ лести или изъ страха передъ грознымъ владыкой полуміра было болѣе, чѣмъ достаточно, въ культѣ цезарей. Но въ массѣ еще были живы старыя вѣрованія. Да и не только массу, повидимому, не смущала даже популяризированная Эвгемеромъ теорія земного происхожденія боговъ, теорія, по которой всѣ боги были вначалѣ просто люди, такъ или иначе добившіеся обожествленія: Юпитеръ былъ когда-то воинственнымъ царемъ, Сатурнъ—царемъ добродушнымъ, лишеннымъ своими дѣтьми престола, Венера —проституткой и т. д. Буассье справедливо замѣчаетъ, что „вѣроятно, подъ вліяніемъ эвгемеризма, Пика, Фавна,

Сатурна, Януса и другихъ малоизвѣстныхъ боговъ Италіи—превратили въ государей, царствовавшихъ въ Лаціумѣ, соединили ихъ узами родства или дружбы и создали имъ цѣлую исторію". Это низведеніе боговъ на землю послѣ того, какъ ихъ въ теченіе вѣковъ поднимали съ земли на небеса, должно было сослужить службу раціонализму, но въ первое время лишь сближало боговъ и людей, укрѣпляло мысль о возможности для человѣка стать богомъ. При томъ же для огромнаго большинства, въ особенности для провинціаловъ, личность цезаря сливалась съ Римомъ. „Мы не должны забывать,— говоритъ Ж. Ревилль, — что почести воздавались населеніемъ не столько государю самому по себѣ, сколько представителю могущества имперіи". Цезарь „непосредственнѣе всего изображалъ собою Римъ и его могущество, а ничто такъ не поражало міръ, какъ римское могущество. Народы, любящіе видѣть во всякомъ успѣхѣ руку Божію... должны были быть поражены нѣкотораго рода суевѣрнымъ ужасомъ при видѣ столь длиннаго ряда побѣдъ и завоеванія всего міра" (Буассье). Какъ нѣкогда отецъ былъ представителемъ и какъ бы символомъ маленькой семейной индивидуальности, такъ цезарь былъ представителемъ и символомъ огромной индивидуальности римской имперіи, поглотившей безчисленное множество низшихъ индивидуальностей разныхъ типовъ и ступеней. Цитируемый Гастономъ Буассье Ваддингтонъ замѣчаетъ, что въ Азіатской провинціи не было примѣра, чтобы она воздвигла храмъ какому-нибуоь олимпійскому божеству: „Это было невозможно, потому что Эфесъ потребовалъ бы предпочтенія для Артемиды, Пергамъ—для Эскулапа, Сизикъ—для Прозерпины". „Согласиться между собою,—прибавляетъ Буассье,— можно было только относительно культа императора, одинаково признаваемаго и почитаемаго всѣми городами, что и дало ему новую возможность пріобрѣсти важное значеніе. Между тѣмъ, какъ власть всѣхъ другихъ жрецовъ ограничивалась тѣмъ мѣстомъ, гдѣ они отправляли свою должность, власть фламина Рима или Августа, выбраннаго жителями провинціи, распространялась на всю провинцію. Слѣдовательно, на дѣлѣ онъ былъ выше другихъ, но сдѣлался выше другихъ и по праву, когда борьба съ христіанствомъ подала императорамъ мысль учредить жреческую іерархію въ языческомъ духовенствѣ. Тогда провинціальные верховные жрецы получили власть надъ всѣми деревенскими и городскими жрецами и право суда надъ ними".

Культъ цезарей былъ культомъ Рима, какъ общественной инди-

видуальности, и, въ качествѣ таковаго, олицетворялъ и поддерживалъ единство этой пестрой смѣси „племенъ, нарѣчій, состояній". А она очень нуждалась въ такой поддержкѣ. Старый культъ предковъ, героевъ, основателей городовъ давно уже ослабѣлъ подъ вліяніемъ тѣхъ измѣненій въ общественной жизни, которыя еще со времени Сервія Туллія затемнили значеніе рода, поставивъ рядомъ съ происхожденіемъ и въ противовѣсъ ему имущественный цензъ и военную доблесть. У многочисленныхъ „безродныхъ" людей появились свои Маны и Лары, хотя это были по прежнему души умершихъ, но уже не связанныхъ съ поклоняющимися имъ узами родства. Лары улицъ, Лары перекрестковъ и т. п. не могли имѣть то значеніе, которымъ пользовались Лары семейнаго очага. Что касается великихъ боговъ физической природы, то у нихъ, по мѣрѣ расширенія границъ римскаго государства, явилось множество соперниковъ въ лицѣ чужеземныхъ боговъ.

Слово „соперники", впрочемъ, въ данномъ случаѣ не совсѣмъ точно. Одною изъ отличительныхъ чертъ римлянъ издревле было уваженіе къ чужимъ богамъ. Они охотно отождествляли ихъ съ своими собственными божествами. Такъ, Юлій Цезарь, ничто же сумняся, разсказываетъ, что галлы поклоняются Меркурію, Аполлону, Марсу, Юпитеру и Венерѣ. Въ путешествіи они отдавали себя подъ покровительство мѣстныхъ боговъ. Въ случаѣ враждебныхъ столкновеній съ какимъ-нибудь народомъ, они всегда старались переманить его боговъ на свою сторону. Вотъ, напр., разсказъ Тита Ливія о взятіи Камилломъ этрусскаго города Вейи. Передъ приступомъ Камиллъ обратился къ богамъ съ такою молитвою: „Подъ твоимъ руководствомъ, Пиѳійскій Аполлонъ, и подъ вдохновеніемъ твоего прорицалища я иду разрушить городъ Вейи и обѣщаю тебѣ десятую часть добычи отсюда. Также и тебя, царица Юнона, обитающая нынѣ въ Вейяхъ, я молю послѣдовать за нами, побѣдителями, въ нашъ городъ, который скоро будетъ твоимъ, гдѣ тебя приметъ достойный твоего величія храмъ". А по взятіи города произошла слѣдующая сцена: „Когда человѣческія сокровища были уже вывезены изъ Вейи, начали убирать сдѣланныя богамъ приношенія и самихъ боговъ, но скорѣе съ благоговѣніемъ, чѣмъ въ видѣ святотатства. Именно, юноши, представители всего войска, которымъ поручили перенести въ Римъ царицу Юнону, чисто омылись, одѣлись въ бѣлую одежду и съ трепетомъ вошли въ храмъ; сначала они съ религіознымъ чувствомъ только приближали руки къ той статуѣ, такъ

какъ по этрусскому обычаю ея имѣли право касаться только жрецы извѣстной фамиліи, но затѣмъ кто-то, либо по божественному вдохновенію, либо въ видѣ юношеской шутки, сказалъ: „Хочешь ли, Юнона, идти въ Римъ?“ Тутъ прочіе закричали, что богиня киваніемъ головы выразила свое согласіе, откуда образовалось въ этой легендѣ наслоеніе, что слышали даже произнесенное ею слово: „Хочу“! Во всякомъ случаѣ ее сняли съ сѣдалища безъ особенныхъ усилій и, по преданію, ее такъ легко и удобно было переносить, точно она сама шла во слѣдъ; она въ цѣлости доставлена была на Авентинъ, свое вѣчное жилище, куда призвали ее обѣты римскаго диктатора и гдѣ впослѣдствіи тотъ же Камиллъ, который далъ обѣтъ, освятилъ въ ея честь храмъ“ („Римская исторія отъ основанія Рима“, переводъ М. Б. Гуревича).

Такое особенно почтительное отношеніе къ этрусской богинѣ объясняется долгимъ упорнымъ сопротивленіемъ Вей, свидѣтельствовавшимъ о мощи богини, покровительство которой было поэтому желательно пріобрѣсти. Въ другихъ случаяхъ римляне, по крайней мѣрѣ, предоставляли побѣжденнымъ народамъ свободу поклоняться ихъ богамъ и никому не навязывали своей религіи. Мало того, они лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ оказывали противодѣйствіе вторженію въ Римъ иностранныхъ культовъ. А послѣ страшныхъ несчастій, обрушившихся на Римъ во время пуническихъ и потомъ гражданскихъ войнъ, когда, казалось, національные боги отступились отъ Рима, вѣрнѣе, когда римляне отступились отъ своихъ износившихся боговъ, жажда новой религіи съ необыкновенною страстностью искала утоленія въ чужихъ, въ особенности восточныхъ культахъ (почему именно въ нихъ, мы увидимъ въ свое время). Тутъ-то слава Юлія Цезаря и его трагическая смерть дали первый толчокъ обожествленію императоровъ, какъ представителей величія и могущества римскаго государства. Это не мѣшало распространенію восточныхъ культовъ и сліянію ихъ съ остатками римской религіи подъ верховнымъ главенствомъ императора, какъ бога. Сами императоры то отождествляли себя съ чужеземными, преимущественно греческими богами, то поклонялись имъ, не отрекаясь отъ собственной божественности. Такъ, Неронъ усердно поклонялся сирійской богинѣ Астартѣ, но однажды, разгнѣвавшись на нее, самымъ безстыднымъ образомъ осквернилъ ея статую. А, наконецъ, Римъ дошелъ до того, что императоромъ сталъ развратный мальчишка, верховный жрецъ одного изъ сирійскихъ Вааловъ Эль-Габала, принявшій самъ имя этого бога,

поставившій его выше Юпитера и Весты и въ теченіе трехъ лѣтъ безпрепятственно совершавшій невѣроятныя безобразія. Онъ кончилъ позорной насильственной смертью, но ею кончилъ не одинъ изъ цезарей, что не мѣшало имъ при жизни, исполненной безумія и мерзости, представлять собою государство. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

II *).

Памяти двухъ писателей и одного цензора.—Г. Андреевскій, вырожденіе риѳмы и „Міръ искусства".—Поэтъ, критикъ и ораторъ.

Покончили всѣ земные счеты два писателя: И. И. Свѣдѣнцовъ-Ивановичъ и Г. А. Мачтетъ. Русская литературная семья вообще, а провинціальная, къ которой въ послѣднее время принадлежали оба покойника, въ особенности, такъ бѣдна, что смерть этихъ двухъ тружениковъ печати не можетъ пройти незамѣтно. Какъ провиніальныхъ публицистовъ, ихъ знали преимущественно мѣстные люди, и Кавказъ и Волынь имѣютъ, конечно, много резоновъ оплакивать этихъ отзывчивыхъ людей, всею трудною жизнью засвидѣтельствовавшихъ свою преданность добру, свѣту и правдѣ. Тамъ, на мѣстахъ, эта потеря трудно и не скоро замѣнимая. Но и ихъ беллетристическія произведенія, съ которыми знакомъ гораздо болѣе широкій кругъ читателей, производили въ свое время большое впечатлѣніе, и, можетъ быть, многіе печаловались, давно уже не встрѣчая ихъ именъ на страницахъ общихъ журналовъ. Это не были какіе-нибудь первоклассные таланты, далеко нѣтъ. Но, помимо идейной стороны ихъ произведеній, всегда строго выдержанной, они обладали тѣмъ, объ отсутствіи чего въ новой русской литературѣ скорбѣлъ Тургеневъ: „выдумкой". И любопытно было бы сравнить, какъ складывалась эта „выдумка" у того и у другого. Свѣдѣнцовъ, менѣе талантливый, но за то болѣе выдержанный, всегда какъ бы рѣшалъ въ своихъ беллетристическихъ произведеніяхъ математическую или шахматную задачу: разставитъ шахматы и спокойно, обдуманно двигаетъ ихъ изъ клѣтки въ клѣтку по опредѣленному плану. Всегда умно задуманные, его повѣсти и разсказы страдали абстрактностью дѣйствующихъ

---

*) Сентябрь 1901 г.

лицъ, отсутствіемъ въ нихъ настоящей жизненности и сухостью письма. Совсѣмъ другое дѣло „выдумка“ Мачтета. Это было нѣчто бурнопламенное, часто переступавшее всякую художественную мѣру.

Въ жизни оба покойника были рѣшительно тѣмъ же, чѣмъ и въ своихъ писаніяхъ: одинъ—сдержанный, спокойный, настойчивый, другой—пылкій, такъ сказать, фантастическій, какъ-то даже выше надобности настроенный. Жизнь не баловала обоихъ. Много пришлось претерпѣть Свѣдѣнцову и еще больше Мачтету: его жизнь съ гимназической скамьи и почти до самаго послѣдняго времени была цѣлымъ рядомъ приключеній; тутъ и исключеніе изъ гимназіи, и житье въ Америкѣ въ качествѣ простого рабочаго, и арестъ, и ссылка, и бѣгство, и новая ссылка. Но какъ его, такъ и Свѣдѣнцова, никакія невзгоды не отлучили отъ идеаловъ молодости, хотя колючая жизнь и загнала ихъ въ тѣсныя рамки провинціальной службы и печати. Помянемъ же добрымъ словомъ покойниковъ.

Помянемъ и бывшаго цензора, Н. Ѳ. Крузе, и тоже добрымъ словомъ. Обыкновенно литература, по неволѣ слѣдуя извѣстной латинской поговоркѣ, избѣгаетъ некрологическихъ поминокъ по цензорамъ. И не потому, чтобы всякій цензоръ былъ непремѣнно злостнымъ врагомъ литературы, съ наслажденіемъ хватающимъ ее за горло. Русская литература, даже на самыхъ высокихъ, общепризнанныхъ вершинахъ своихъ, въ лицѣ Пушкина, Гоголя, Жуковскаго и др., видала и такихъ; видала и неразумныхъ, не вѣдающихъ, что творятъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ исторія, хотя бы такая скромная, какъ извѣстная исторія русской цензуры г. Скабичевскаго. Но это не есть общее правило, и лично, какъ люди, писатель и цензоръ могутъ глубоко уважать и цѣнить другъ друга. Однако, самое положеніе цензора, даже вполнѣ благожелательно настроеннаго и остерегающагося влить отъ себя лично лишнюю каплю яда въ судьбу литературы, таково, что украшать его могилу вѣнками литературѣ приходится рѣдко.

Такой именно рѣдкій случай представляетъ смерть Крузе. Цензоромъ онъ былъ недолго—съ 1855 до конца 1858 г. Чтобы оцѣнить трудность положенія тогдашняго цензора, надо взять во вниманіе вообще обстоятельства того трепетнаго времени,—времени пылкихъ надеждъ и злобныхъ страховъ, подготовки ряда реформъ всего государственнаго строя Россіи и яростныхъ усилій задержать ихъ. Вотъ что, между прочимъ, пишетъ объ этомъ времени авторъ предисловія къ изданному К. П. Побѣдоносцевымъ „Сборнику со-

чиненій" Гилярова-Платонова, кн. Н. В. Шаховской: „Положеніе цензора становилось часъ отъ часу труднѣе. Не считая себя компетентнымъ въ предметахъ внутренней и внѣшней политики, министерство народнаго просвѣщенія (въ вѣдѣніи котораго находилась цензура) поставило цензоровъ въ вопросахъ политическихъ въ зависимость отъ заключеній особыхъ довѣренныхъ чиновниковъ, которымъ должны были предварительно посылаться подлежащія произведенія печати. Цензоры, не лишенные самостоятельности и пониманія, буквально задыхались подъ гнетомъ этой, порой крайне безцеремонной и невѣжественной, цензуры". Гиляровъ-Платоновъ, также цензоръ того времени, писалъ какому-то неизвѣстному лицу, обвинявшему его въ „фанатизмѣ": „Вы меня считаете честнымъ человѣкомъ, благодарю васъ, тысячу разъ благодарю. Нужно побыть честному человѣку хоть нѣсколько въ шкурѣ цензора, чтобы понять, какъ много значитъ это признаніе, какъ трудно, почти сверхъестественно его дождаться" (приведено въ томъ же предисловіи къ „Сборнику сочиненій" Гилярова-Платонова).

Крузе, повидимому, не раздѣлялъ этого взгляда. То есть, онъ не могъ, конечно, не чувствовать трудности своего положенія, но не считалъ „сверхъестественнымъ" пользоваться репутаціей честнаго человѣка. Правда, въ 1859 г. онъ долженъ былъ выйти въ отставку, къ искреннему горю тогдашней литературы.

Недавно (15 авг.) въ „Новомъ Времени" было напечатано нѣсколько писемъ Каткова къ покойному академику Безобразову. Нѣкоторыя изъ нихъ въ высокой степени интересны. И вотъ какъ отнесся Катковъ, тогда еще горячій сторонникъ свободы печати, къ отставкѣ Крузе. Онъ писалъ Безобразову:

„Сейчасъ пріѣхалъ дикій Салтыковъ и сообщилъ мнѣ, между прочимъ, непріятную вѣсть о свиданіи Н. Ѳ. фонъ-Краузе съ новымъ министромъ, который думаетъ не объ облегченіи, а объ отягощеніи цензуры".—Въ объясненіе эпитета *дикій* Салтыковъ, надо прибавить, что Катковъ сообщилъ передъ тѣмъ Безобразову какой-то слухъ „объ одномъ извѣстномъ историкѣ". Безобразовъ передалъ это свѣдѣніе Салтыкову, а тотъ оказался „дикимъ" и, прибавляетъ дальше Катковъ, „сумасшедшимъ, который ругаетъ всѣхъ и все, на чемъ свѣтъ стоитъ, какъ васъ, такъ и меня, и въ то же время всюду суетъ носъ"...

Затѣмъ Катковъ пишетъ Безобразову:

„Любезный Владиміръ Павловичъ, вамъ уже извѣстно, что Н. Ѳ. Фонъ-Крузе болѣе не цензоръ. Интрига, такъ искусно и упорно

веденная противъ него, увѣнчались, наконецъ, успѣхомъ, и онъ тишкомъ причисленъ къ министерству, съ уволненіемъ отъ цензорской должности. Онъ не хочетъ оставаться на службѣ и уже подалъ въ отставку. Его дѣло кончено, наше начинается. Мы должны вспомнить, какъ доблестно, съ какимъ мужествомъ и какъ безкорыстно дѣйствовалъ онъ въ продолженіе трехъ лѣтъ своей цензорской службы. Онъ понялъ смыслъ современныхъ требованій и обрекъ себя на энергическое служеніе имъ. Онъ былъ піонеромъ новой области, которая открылась для русской мысли и слова; онъ шелъ впередъ, развѣдывая пути, не отступая ни на шагъ, и пространство, пройденное имъ, останется навсегда за русскимъ словомъ; никакая реакція, никакія интриги не отобьютъ назадъ этого пространства; могутъ быть еще жертвы, но общее дѣло внѣ всякой опасности. Что сдѣлано, то сдѣлано, и что написано, того не вырубишь топоромъ. Интрига современемъ откроется, и само правительство отдастъ ему должную справедливость, потому что, дѣйствуя по своему убѣжденію, онъ дѣйствовалъ не вопреки истиннымъ стремленіямъ Верховной власти и служилъ ей честно и вѣрно. Между тѣмъ мы, общество, зная всю истину, не должны оставаться равнодушными зрителями незаслуженнаго паденія человѣка, послужившаго общему дѣлу. На насъ лежитъ долгъ что-нибудь сдѣлать въ честь и въ пользу его. Въ Англіи для людей, которые ознаменовали себя общественными заслугами, открывается національная подписка. Крузе заслуживаетъ подобной подписки. Мы не можемъ сдѣлать это печатнымъ образомъ и въ такихъ размѣрахъ, какъ бываетъ это въ Англіи, но хорошо будетъ и то, если въ разныхъ кругахъ будутъ обращаться списки жертвователей, и, такимъ образомъ, будетъ заявлено, что у насъ уже существуетъ до нѣкоторой степени самостоятельное общество. Въ Москвѣ подписка уже открылась въ разныхъ кругахъ, идетъ живо и обѣщаетъ значительный сборъ. Она открывается также и въ разныхъ университскихъ городахъ; можно надѣяться, что Петербургъ не отстанетъ въ этомъ дѣлѣ. Мы надѣемся, что вы не откажетесь дѣйствовать въ вашемъ кругу и откроете въ немъ подписку, какъ открывается она въ разныхъ другихъ кругахъ. Велики ли, малы ли будутъ приношенія, это все равно, лишь только бы дѣло пріобрѣло сколько возможно болѣе общій характеръ. Въ этомъ дѣйствіи, какъ бы его ни разсматривали, никто не осмѣлится видѣть что-нибудь предосудительное или фрондерское. Оно чисто и безукоризненно, какъ въ своемъ источникѣ, такъ и въ своемъ проявленіи".

Скоро Катковъ отказался отъ этого плана и черезъ секретаря редакціи „Русскаго Вѣстника", Боруцкаго, просилъ Безобразова пріостановить дѣло. Но въ январѣ 1859 г. Боруцкій вновь писалъ Безобразову:

„Михаилъ Никифоровичъ поручилъ мнѣ покорнѣйше просить васъ оставить безъ вниманія то письмо, которымъ я имѣлъ честь просить васъ о пріостановленіи подписки въ честь Н. Ѳ. фонъ-Крузе. И если только вамъ не въ тягость это, то Михаилъ Никифоровичъ убѣдительно проситъ васъ дать ей сколь возможно широкіе размѣры. Если также вамъ не будетъ въ тягость, то не откажите почтить насъ увѣдомленіемъ, можетъ ли подписка развернуться и пойти успѣшно".

Чѣмъ кончилось это дѣло, я не знаю, но извѣстно, что Крузе былъ поднесенъ адресъ отъ писателей и въ числѣ подписавшихся подъ нимъ были такія имена, какъ Майковъ, Некрасовъ и др.

Въ 1865 году Крузе былъ избранъ первымъ предсѣдателемъ ямбургской уѣздной, а затѣмъ петербургской земской управы, но въ 1867 году, при закрытіи петербургскаго губернскаго земскаго собранія, отрѣшенъ отъ должности. Умеръ онъ почти 80-ти лѣтъ (родился въ 1823 г.).

Обратимся къ живымъ.

Весной нынѣшняго года С. А. Андреевскій читалъ публичную лекцію о „вырожденіи риѳмы". Не смотря на громкую извѣстность г. Андреевскаго въ средѣ петербургской публики, лекція привлекла, говорятъ, очень мало слушателей и прошла совершенно незамѣченною въ печати. Можетъ быть, это зависѣло отъ того, что весною нынѣшняго года петербуржцамъ было не до вырожденія или возрожденія риѳмы; можетъ быть, извѣстность лектора омрачилась въ послѣднее время нѣкоторыми осложненіями отрицательнаго характера; можетъ быть, и еще какая-нибудь причина была. Теперь лекція напечатана въ журналѣ „Міръ искусства" и, мнѣ кажется, на ней стоитъ остановить вниманіе читателей.

По мнѣнію г. Андреевскаго, „всѣ стихи, какими писали отъ Гомера до нашихъ дней, въ особенности риѳмованные стихи, положительно доживаютъ свой вѣкъ". Г. Андреевскій отнюдь не отрицаетъ поэзіи, но „вѣдь поэзія не въ однѣхъ риѳмахъ. Поэзія, конечно, будетъ жить, пока живы люди, но она будетъ искать новыхъ

оболочекъ. Недаромъ крупнѣйшіе всемірные поэты второй половины вѣка — Тургеневъ, Флоберъ и Мопассанъ — высказали себя уже прямо въ прозѣ". Г. Андреевскій указываетъ лишь на „вырожденіе риѳмы" или, говоря общѣе, на паденіе стихотворной формы. Мысль свою онъ подтверждаетъ бѣглымъ обзоромъ европейской и русской поэзіи, „начиная съ шестидесятыхъ годовъ". Какъ ни бѣглъ этотъ обзоръ, г. Андреевскій счелъ возможнымъ помянуть въ немъ и себя. А именно, указавъ, что гр. Голенищевъ-Кутузовъ и Апухтинъ „сохранили еще добрыя качества наслѣдственнаго лиризма", онъ сказалъ нѣчто и о своей собственной поэзіи. Что именно,—не вполнѣ извѣстно, такъ какъ, встрѣтивъ замѣчаніе, будто въ этомъ эпизодѣ его лекціи звучала „досадная себялюбивая нотка", онъ не предалъ этого мѣста тисненію, оставивъ лишь слѣдующія строки: „Въ испробованной мною области искусства я вскорѣ почувствовалъ себя, какъ въ опустѣломъ дворцѣ легендарныхъ владыкъ. Архитектура, акустика, украшеніе комнатъ, окна, двери, мебель и утварь—все это оказывалось уже неприспособленнымъ для современной жизни. И я съ жуткимъ чувствомъ покинулъ эти великолѣпные чертоги еще недавней, но уже сказочной старины". Г. Андреевскій какъ будто и другимъ совѣтуетъ послѣдовать его примѣру, потому что—„оглянитесь на эти десятки тысячъ стихотвореній, пестрѣвшихъ въ нашихъ журналахъ, газетахъ и приложеніяхъ къ нимъ за послѣднее тридцатилѣтіе. Всплыло ли изъ моря забвенія хоть одно изъ нихъ? Вспомните эти безчисленные куплеты, воспѣвающіе весну, восходы, закаты, ночи, сады, аллеи, облака, мечты, любовь, грусть, надежду, восторгъ и отчаяніе — всѣ эти пьески рѣшительно на одно лицо, всѣ онѣ банальны и всѣ забыты... Къ чему же, спрашивается, все еще разливается по всему свѣту вся эта куплетная поддѣлка подъ поэзію? Что изъ нея можетъ вырости? Что изъ нея останется?"

Производя смотръ современнымъ поэтическимъ силамъ, г. Андреевскій дѣлаетъ нѣсколько очень мѣткихъ оцѣнокъ и вѣрныхъ отдѣльныхъ замѣчаній. Напримѣръ: „Космическая лирика весьма искуснаго версификатора К. Бальмонта, по правдѣ сказать, представляется мнѣ безплоднымъ щегольствомъ въ области словесныхъ мелодій. Авторъ витаетъ въ заоблачныхъ сферахъ съ необычайною развязностью и разрѣшаетъ неразрѣшимые вопросы бытія съ такимъ веселымъ самодовольствомъ, которое совершенно чуждо истинной поэзіи. Благодаря своему словоохотливому и почти рѣзвому глубокомыслію, поэтъ въ большинствѣ случаевъ почти не захватываетъ чита-

теля. Кромѣ того, слишкомъ много книжнаго, навѣяннаго, впрочемъ, искреннимъ увлеченіемъ различными литературными образцами и теоріями, прямо бьетъ въ глаза при чтеніи всѣхъ риѳмованныхъ фіоритуръ г. Бальмонта. Личность поэта, фанатически преданнаго своему искусству, и его мягкая натура чрезвычайно симпатичны. А внѣшній стихотворный талантъ г. Бальмонта поистинѣ замѣчателенъ. Но едва ли его лирика глубоко западаетъ въ чье-либо сердце".

Есть, однако, въ лекціи г. Андреевскаго отдѣльныя замѣчанія очень странныя, чтобы не выразиться сильнѣе, но мы ихъ не коснемся и остановимся только на томъ, что самъ онъ считаетъ „узломъ вопроса". Но прежде отмѣтимъ ту встрѣчу, которую оказалъ г. Андреевскому журналъ „Міръ искусства", предоставившій его лекціи свои страницы. Въ томъ же самомъ номерѣ, гдѣ напечатана эта лекція, редакція почтеннаго журнала выстрѣлила въ нее, во-первыхъ, цѣлою картечью стихотвореній (гг. Мережковскаго, Владиміра Г—а, Сологуба, г-жи Гиппіусъ, гг. Бальмонта, Минскаго), а во-вторыхъ, „Отвѣтомъ г. Андреевскому" г. Валерія Брюсова. Лекція г. Андреевскаго помѣщена какъ разъ между этими двумя отвѣтами—фактическимъ и принципіальнымъ. „Міръ искусства" какъ бы говоритъ нашему автору: вы утверждаете, что стихотворство падаетъ,—вотъ же вамъ цѣлая куча стихотвореній; вы утверждаете, что современные поэты только повторяютъ стариковъ, — вотъ же вамъ исповѣдь г. Бальмонта:

Я—изысканность русской медлительной рѣчи,
Предо мною другіе поэты—предтечи;
Я *впервые* открылъ въ этой рѣчи уклоны,
Перепѣвные, гнѣвные, нѣжные звоны.
Я—внезапный изломъ,
Я—играющій громъ,
Я—прозрачный ручей,
Я—для всѣхъ и ничей.
Переплескъ многопѣнный, разорванно-слитный,
Драгоцѣнные камни земли самобытной,
Переклички лѣсныя зеленаго мая,
Все пойму, все возьму, у другихъ отнимая.
Вѣчно юный, какъ сонъ,
Сильный тѣмъ, что влюбленъ
И въ себя, и въ другихъ,
Я—изысканный стихъ.

А съ другой стороны, г. Валерій Брюсовъ степенно доказываетъ,

что статья г. Андреевскаго „представляетъ рядъ противорѣчій и недоразумѣній“, что авторъ не знакомъ съ литературой предмета; что „стихъ не вырождается, а перерождается, вступаетъ на высшую ступень развитія“, что „новое искусство сильно тѣмъ, что оно знаменуетъ не одну только смѣну литературныхъ школъ, а новый моментъ во всей духовной жизни человѣческой“; что „можно мечтать, что въ отдаленномъ будущемъ вся рѣчь станетъ стихотворной“...

Конечно, отдаленное будущее отдаленно, и кто его знаетъ, какъ оно тамъ будетъ. Но если въ этомъ отдаленномъ будущемъ господство предстоитъ именно „перепѣвнымъ звонамъ“ и „переплеску многопѣнному“, то жить въ тѣ времена будетъ, безспорно, очень весело и даже, можно сказать, смѣшно. Но это мимоходомъ.

Мнѣ кажется, что громы г. Валерія Брюсова лишь отчасти заслужены г. Андреевскимъ. Онъ виновенъ, но есть обстоятельства, смягчающія его вину. Начнемъ съ вины.

Отмѣтивъ поэтическую неудачу гг. Минскаго и Мережковскаго, людей, „вполнѣ современныхъ, образованныхъ, оригинальныхъ, вооруженныхъ всѣми средствами лирики“, г. Андреевскій задается вопросомъ: „Почему же они не умѣютъ совладать съ этой чудесной лирой, освященной вѣками?“—и отвѣчаетъ такъ: „Очевидно потому, что волшебный инструментъ не можетъ передать и выразить ихъ душевной сущности. Скажутъ: а быть можетъ, въ ихъ натурѣ нѣтъ настоящей поэзіи, это люди книжные, болѣзненные, ненатуральные. А мы, всѣ прочіе современные люди, развѣ не такіе же? Вотъ въ этомъ-то и главный узелъ вопроса“. Къ сожалѣнію, г. Андреевскій не развязываетъ этого узла. Въ только что цитированномъ мѣстѣ отвѣтственность за поэтическую неудачу гг. Минскаго и Мережковскаго возлагается на обветшалость „волшебнаго инструмента“, который когда-то сослужилъ громадную службу Гёте и Байрону, Гюго и Гейне, Пушкину и Лермонтову, но нынѣ уже не въ силахъ выразить „сущность души“ г. Минскаго или г. Мережковскаго. Казалось бы, если они люди „книжные, болѣзненные, ненатуральные“, если „въ ихъ натурѣ нѣтъ настоящей поэзіи“, такъ дѣло оказывается очень просто: на нѣтъ и суда нѣтъ, и никакого общаго вопроса изъ этого частнаго случая не вытекаетъ, никакого узла не завязывается. И въ въ старину бывали стихотворцы, болѣе или менѣе даровитые, но лишенные настоящаго поэтическаго огня, и всегда они возможны. Вотъ, если бы г. Андреевскій указалъ настоящихъ поэтовъ, „душевная сущность“ которыхъ, такъ сказать, не влѣзаетъ въ старую ети-

хотворную форму, тогда его тезисы были бы, если не доказаны, то, по крайней мѣрѣ, иллюстрированы примѣрами... Г. Андреевскій и указываетъ двухъ такихъ „самыхъ настоящихъ поэтовъ", которые представляются ему „послѣдними потомками Аполлона по прямой линіи". Это г. Фофановъ и г-жа Лохвицкая. Но они оказываются „не ко времени". Г. Фофановъ—„лунатикъ, взирающій на жизнь, какъ на загадочный призракъ, а г-жа Лохвицкая замкнута въ узкомъ сюжетѣ романтической любви и страсти. И оба поэта остаются чуждыми своему времени. Попробуйте отрѣзвить Фофанова, приблизить его къ дѣйствительности—и вы не получите отъ него ни одной чудесной строки; попробуйте вывести г-жу Лохвицкую изъ ея сферы—и она уже не будетъ поэтессой". На чемъ основана эта увѣренность г. Андреевскаго, неизвѣстно; онъ не считаетъ нужнымъ приводить какія бы то ни было не то что доказательства, а даже просто соображенія въ пользу своего взгляда. Взглядъ этотъ даже не укладывается, какъ частность, въ общее положеніе г. Андреевскаго: „Въ наши дни и на все предбудущее время, для всей старой культуры уже не можетъ народиться такихъ поэтовъ, у которыхъ бы „на мысли дружныя, какъ волны, какъ жемчугъ нанизывались слова". Но вотъ, въ лицѣ г. Фофанова и г-жи Лохвицкой, народились, по мнѣнію г. Андреевскаго, какъ разъ именно такіе поэты,—они „потомки Аполлона по прямой линіи", и „только у нихъ прежній стихъ остался природною формою ихъ рѣчи". Однако, и они оказываются „не ко времени"... Выходитъ что-то странное и, дѣйствительно, какъ будто узловатое. И узловатость эта только увеличивается отъ попытокъ г. Андреевскаго распутать ее.

Мы видѣли, что всѣ „мы" подобны не родственнымъ Аполлону г. Фофанову и г-жѣ Лохвицкой, а гг. Минскому и Мережковскому, какъ людямъ „книжнымъ, болѣзненнымъ, ненатуральнымъ" и не имѣющимъ въ своей натурѣ настоящей поэзіи. Дѣло въ томъ, какъ говоритъ г. Андреевскій, что „мы не имѣемъ никакого цѣльнаго жизненнаго міросозерцанія. Побѣды въ области естествознанія, ознаменовавшія середину вѣка, не обошлись безъ горькой расплаты. Огюстъ Контъ, Бокль, Гартманъ, Бюхнеръ, Молешотъ, Геккель, Спенсеръ, Дарвинъ, химія, бактереологія—куда тамъ послѣ этого до пресловутой „души человѣческой?!" Между тѣмъ, романтики имѣли эту душу. Въ отвѣтъ на тайны міра они высказывали тайны своей великой души, и эти двѣ силы боролись, почти какъ равныя. Поэты того времени пѣли, какъ птицы, въ соотвѣтствіи съ глубокой гармо-

ніей міра. Но теперь уже немыслимо вернуться къ ихъ душевному строю. Вселенная слишкомъ притиснула человѣка неотразимою мощью своей цвѣтущей и грозной матеріи".

Я думаю, что въ этихъ именно словахъ заключается главная вина г. Андреевскаго передъ жрецами „новаго искусства". Они, можетъ быть, простили бы указаніе на отсутствіе цѣльнаго жизненнаго міросозерцанія, потому что любятъ иногда облачаться въ нарядную печаль скептицизма и пѣть съ г. Миискимъ все въ томъ же номерѣ „Міра искусства":

Есть храмъ. Всѣ двери заперты,
Засовы всѣ задвинуты.
И мы стоимъ на паперти,
Забыты и отринуты.
Мы слышимъ смутно пѣніе,
Что издали доносится,
Не зная, въ чемъ служеніе,
О чемъ въ мольбахъ тамъ просится.
Мы видимъ дымъ отъ ладона,
Что вьется сквозь отдушины.
Но тайна не разгадана,
Молитвы не подслушаны.

Поза, въ которой стоятъ „мы", довольно таки жалка и унизительна, но на иной взглядъ она красива, а потому отчего же и не постоять уныло на паперти, даже не пытаясь отодвинуть засовы храма. Это дѣло вкуса. Но вотъ что ужъ несомнѣнно обидно: у старыхъ поэтовъ была душа, да еще великая, а у жрецовъ „новаго искусства" ея нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ, даже „видомъ малой и не безсмертной", какую щедринскій учитель Липкинъ нашелъ у лягушки, а такъ—паръ. Вдобавокъ ихъ приводятъ въ связь съ рядомъ именъ ученыхъ и философовъ, правда, набранныхъ зря и, если позволительно такъ выразиться, безо всякаго смысла, но къ которымъ они, жрецы новаго искусства, относятся едва-ли не съ одинаково величавымъ презрѣніемъ...

Да, велика вина г. Андреевскаго. Но есть и смягчающія обстоятельства. Вотъ, напримѣръ: „Душа наша осложнилась, и вотъ съ этимъ-то придаткомъ къ нашей прежней душѣ никакъ не справится сіяющая передъ нами старая романтическая форма, въ которую новые поэты все еще пытаются вложить свои настроенія и замыслы". Какъ видите, если на одной страницѣ статьи г. Андреевскаго констатируется убыль современной души до круглаго нуля, то на другой

страницѣ душа эта оказывается даже съ „придаткомъ къ прежней душѣ“ и собственно поэтому не вмѣщается въ старую стихотворную форму, а отнюдь не потому, что ее притиснула какая-то тамъ грозная и цвѣтущая матерія. И потомъ, что отрицаетъ или хоронитъ г. Андреевскій? Поэзію, въ частности лирику? Отнюдь нѣтъ. По его словамъ, поэзія „со всѣхъ концовъ начинаетъ проникать собою всю современную литературу. Теперь не трудно назвать сколько угодно природныхъ лириковъ не только между повѣствователями, но даже среди газетныхъ публицистовъ и фельетонистовъ“ (Я думаю, сюда слѣдовало бы прибавить и внѣ-литературныя сферы, въ особенности ораторовъ, судебныхъ и иныхъ). Г. Андреевскій хоронитъ только старыя метрическія формы. Онъ пишетъ: „Я не говорю о совершенномъ исчезновеніи риѳмы. Я хочу только разъяснить, что въ своихъ прежнихъ симметрическихъ формахъ старый метръ, съ его заключительными созвучіями окончательно отслужилъ свою службу для высшихъ цѣлей словеснаго искусства“, и что „поэзія должна искать и ищетъ новыхъ путей“. Но вѣдь это же самое говорятъ и жрецы „новаго искусства“. Тѣ двадцать четыре стихотворенія, которыя „Міръ искусства“ помѣстилъ рядомъ со статьей г. Андреевскаго, какъ бы въ пику ему, всѣ риѳмованныя; но въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, говоря языкомъ г. Бальмонта, столько „уклоновъ“ и „изломовъ“, что если они и похожи на что-нибудь, то ужъ никакъ не на поэзію Гёте, Байрона, Гюго, Пушкина, Лермонтова и прочихъ оставленныхъ за флагомъ стариковъ. Вотъ, напримѣръ, одно изъ стихотвореній г. Сологуба:

Мой ландышъ бѣлый вянетъ,
  но смерть его не больная.
Его ничто не обманетъ,
  потому что онъ хочетъ, не зная,—
  и чего хочетъ, то будетъ,
  чего не будетъ, не надо!
Ничто его не принудитъ
  и увяданье ему отрада.
Единая Воля повсюду,
  и къ чему мои размышленья!
Надо повѣрить чуду
  единаго въ мірѣ хотѣнья.

Или вотъ произведеніе г-жи Гиппіусъ:

Тебя привѣтствую, мое пораженіе,
  тебя и побѣду я люблю равно;
На днѣ моей гордости лежитъ смиреніе,

и радость и боль—всегда одно.
Надъ вóдами, стихнувшими въ безмятежности,
вечера яснаго—все бродитъ туманъ;
въ послѣдней жестокости есть бездонность нѣжности,
и въ Божіей правдѣ—Божій обманъ.
Люблю я отчаяніе мое безмѣрное,
намъ радость въ послѣдней каплѣ дана.
И только одно здѣсь я знаю вѣрное:
надо всякую чашу пить—до дна.

„Декаденты ищутъ новыхъ формъ",—говоритъ г. Андреевскій, а, слѣдовательно, они дѣлаютъ какъ разъ именно нужное, по мнѣнію г. Андреевскаго, дѣло. Правда, по его же мнѣнію, „*пока* они *какъ-бы поневолѣ* отрицаютъ старыя формы тѣмъ, что заполняютъ ихъ непостижимымъ вздоромъ". Это опять обида, опять вина передъ „новымъ искусствомъ". Но вѣдь *пока* и *какъ-бы поневолѣ*... И право же гг. декаденты могли бы простить г. Андреевскаго или, по крайней мѣрѣ, не такъ строго карать его, какъ покаралъ г. Валерій Брюсовъ... Тѣмъ болѣе, что г. Андреевскій признаетъ справедливымъ мнѣніе г. Розанова, будто Л. Толстой и Достоевскій „были декадентами въ романѣ". Подарить, хотя бы и вслѣдъ за г. Розановымъ, декадентамъ такихъ двухъ колоссовъ и всетаки не заслужить прощенія за маленькія провинности, — это уже черезчуръ.

Позволю себѣ остановиться на этомъ эпизодѣ лекціи г. Андреевскаго, не имѣющемъ прямого отношенія къ ея главной темѣ— „вырожденіе риѳмы". Г. Андреевскій пишетъ: „Г. Розановъ справедливо замѣтилъ, что Л. Толстой и Достоевскій были декадентами въ романѣ. Дѣйствительно, вѣдь оба они рисковали быть совсѣмъ непонятыми, когда совершенно заново выступали: первый — съ своимъ причудливымъ психологическимъ анализомъ, а второй — съ своимъ дерзновеннымъ изслѣдованіемъ самыхъ мучительныхъ глубинъ человѣческаго духа. Въ моей замѣткѣ о Л. Толстомъ я уже напоминалъ, что въ свое время лучшія страницы „Войны и мира" вызывали глумленіе критики. О Достоевскомъ и говорить нечего. Почти въ теченіе всей его жизни онъ признавался писателемъ больнымъ, читать котораго тяжело, скучно и даже вредно. Когда я первый написалъ этюдъ о „Братьяхъ Карамазовыхъ", то узналъ, что лучшіе наши литераторы еще не полюбопытствовали „одолѣть" это великое произведеніе. Такъ медленно доставалось общее признаніе Толстому и Достоевскому".

Я съ недоумѣніемъ читалъ и перечитывалъ это мѣсто: глазамъ не вѣрилось. Извѣстенъ тотъ почти экстатическій восторгъ, съ которымъ Некрасовъ, Григоровичъ и Бѣлинскій привѣтствовали выступленіе Достоевскаго на литературное поприще. Извѣстно, что похвалы, которыми было встрѣчено первое его произведеніе въ печати, до такой степени вскружили голову юному писателю, что онъ писалъ своему брату: „Во мнѣ находятъ новую оригинальную черту, состоящую въ томъ, что я дѣйствую анализомъ, а не синтезомъ, т. е. иду въ глубину и, разбирая по атомамъ, отыскиваю цѣлое; Гоголь же беретъ прямо цѣлое и оттого не такъ глубокъ, какъ я. Прочтешь и самъ увидишь. А у меня будущность преблистательная, братъ!“ Или: „Слава моя достигла до апогея. Въ два мѣсяца обо мнѣ, по моему счету, было говорено около 35-ти разъ въ различныхъ изданіяхъ“ и т. д., и т. д. Не только не „медленно доставалось общее признаніе“ Достоевскому, а, напротивъ,—рѣдко кому счастье признанія давалось такъ съ разу. Правда, нѣкоторыя послѣдующія произведенія Достоевскаго разочаровали критику, но въ концѣ концовъ сбылось пророчество Бѣлинскаго: „много въ продолженіи его поприща явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы“. О немъ почтительно говорили и уравновѣшенный Добролюбовъ, и пылкій Писаревъ, не говоря уже о фиміамахъ Страхова и Ореста Миллера. „Записки изъ мертваго дома“, „Преступленіе и наказаніе“ вызвали цѣлую бурю восторговъ. Что касается „Братьевъ Карамазовыхъ“, то я не знаю, кто такіе тѣ „лучшіе наши литераторы“, которые не читали этого романа, когда г. Андреевскій „первый“ написалъ о немъ этюдъ, но позволю себѣ усомниться, чтобы первая статья о „Братьяхъ Карамазовыхъ“ принадлежала перу г. Андреевскаго. Сомнѣнія мои основываются на слѣдующемъ. Этюдъ г. Андреевскаго напечатанъ въ сборникѣ его статей „Литературныя чтенія“, изданномъ въ 1891 г. Когда и гдѣ онъ былъ напечатанъ раньше, неизвѣстно, но, во всякомъ случаѣ, не раньше 1881 г., такъ какъ романъ Достоевскаго окончился печатаніемъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ въ ноябрѣ 1880 г., а въ этюдѣ г. Андреевскаго содержаніе романа разсказано все. Но романъ Достоевскаго тянулся два года, при чемъ большая его часть была напечатана въ 1879 г., и нѣкоторые критики высказались о немъ, не дожидаясь конца (напримѣръ, г. Марковъ въ декабрьской книжкѣ „Русской Рѣчи“ 1879 г.). Съ

первыхъ же номеровъ журналовъ за 1881 г. (не говоря о газетахъ) мы имѣемъ уже цѣлый рядъ статей о „Братьяхъ Карамазовыхъ“ *). Дѣло не въ томъ, разумѣется, кто первый сказалъ что нибудь о романѣ Достоевскаго, кто второй, а кто десятый. Но, мнѣ кажется, не годится такъ извращать совсѣмъ недавнюю исторію родной литературы, утверждая, что, когда я, молъ, „первый“ написалъ замѣтку о „Братьяхъ Карамазовыхъ“, такъ „лучшіе наши литераторы“, даже не читали ихъ...

Что касается Толстого, то память измѣнила г. Андреевскому: о томъ, что психологическіе пріемы „великаго писателя русской земли“ вызывали глумленіе при появленіи „Войны и мира“, онъ писалъ не въ замѣткахъ о Толстомъ, а все въ той же статьѣ о „Братьяхъ Карамазовыхъ“ („Литературныя чтенія“, 40). Если указаніе на глумленіе и вѣрно (какъ вѣрно, можетъ быть, и указаніе на то, что кто нибудь изъ лучшихъ нашихъ литераторовъ поздно прочиталъ романъ Достоевскаго), то это всетаки не значитъ, чтобы Толстому „медленно доставалось общее признаніе“. Напротивъ, общее признаніе со стороны, какъ читающей публики, такъ и критики, досталось ему съ первыхъ же шаговъ, еще когда онъ былъ Л. Н. Т., и онъ самъ объ этомъ разсказывалъ. Да и г. Андреевскій писалъ: „говорить о глубинѣ и силѣ психологическаго анализа Толстого значило бы повторять общее мѣсто... Масса оцѣниваетъ Толстого общимъ голосомъ... Всѣ откликнулись, всѣ поняли Толстого“ („Литературныя чтенія“, 260, 261, 263).

Г. Андреевскій, можно сказать, осыпанъ дарами природы: онъ и поэтъ, и критикъ, и ораторъ. И разъ зашла о немъ рѣчь, естественно, хочется присмотрѣться ко всей его интересной фигурѣ. Матеріаловъ для этого имѣется достаточно. Стихотворенія его были изданы дважды—въ 1886 и 1898 гг., и ко второму изданію авторъ написалъ очень характерное предисловіе. Критическія статьи изданы въ видѣ маленькаго сборника „Литературныя чтенія“. „Защитительныя рѣчи“ вышли въ 1898 г. третьимъ изданіемъ, и хотя сюда вошли

*) Судя по одному, очень, впрочемъ, неопредѣленному указанію словаря г. Венгерова, статья г. Андреевскаго напечатана даже въ 1888 г. А раньше онъ, повидимому, читалъ ее въ „адвокатско-литературномъ кружкѣ“ или въ „литературно-драматическомъ обществѣ“, гдѣ поэтому и слѣдуетъ искать „лучшихъ нашихъ литераторовъ“...

не всѣ рѣчи талантливаго оратора, но кое что можно добыть изъ другихъ источниковъ. Кое что даетъ „Критико-біографическій словарь“ г. Венгерова. Такъ что затрудненіе не въ скудости печатныхъ матеріаловъ, а въ томъ, что—какъ приступиться къ такому, если не многостороннему, то многоформенному таланту? Попробуемъ...

Впервые г. Андреевскій обратилъ на себя вниманіе въ 1878 г., когда онъ былъ уволенъ отъ службы по министерству юстиціи въ виду его отказа выступить обвинителемъ „по одному громкому и сенсаціонному процессу“, какъ говоритъ г. Ляховецкій („Характеристика извѣстныхъ русскихъ судебныхъ ораторовъ“). Каково бы ни было это дѣло, но поступокъ молодого товарища прокурора (г. Андреевскій родился въ 1847 г.) долженъ былъ вызвать къ нему уваженіе даже въ средѣ его бывшихъ сослуживцевъ. Это не былъ какой нибудь героическій поступокъ, тѣмъ болѣе, что г. Андреевскій (какъ и другой отказавшійся отъ того же дѣла товарищъ прокурора—Жуковскій) чувствовалъ въ себѣ недюжинные силы и таланты для проявленія ихъ на другомъ поприщѣ; но это былъ, во всякомъ случаѣ, поступокъ честнаго человѣка. Разнообразные таланты г. Андреевскаго и не замедлили сказаться. Записавшись въ томъ же 1878 г. въ присяжные повѣренные округа петербургской судебной палаты, онъ быстро занялъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ этой новой средѣ и въ то же время сталъ печатать въ журналахъ свои стихотворенія. Но замѣчательно, что онъ не только сталъ ихъ лишь теперь печатать, а и писать. Рѣдко кто не пробуетъ „бряцать на лирѣ“ на школьной скамьѣ или, вообще, въ очень ранней юности. Но обыкновенно тѣ, кому предстоитъ разстаться съ этимъ занятіемъ и промѣнять лиру поэта на какой нибудь другой инструментъ, какъ предстояло это г. Андреевскому, къ тридцати годамъ (и даже гораздо раньше) уже кончаютъ всѣ счеты съ музой, а г. Андреевскій въ этомъ возрастѣ только что началъ; при томъ, какъ сообщаетъ г. Венгеровъ, совершенно случайно: ему захотѣлось передать по русски одно стихотвореніе Мюссе, а затѣмъ уже онъ сталъ писать и оригинальные стихи. „До того онъ не написалъ ни одного стиха“. Въ автобіографической запискѣ, составленной имъ для словаря г. Венгерова, онъ объясняетъ это тѣмъ, что его юность совпала „съ разгаромъ Писаревскаго вліянія“, которое „надолго отбросило его отъ прежнихъ литературныхъ кумировъ“. Въ концѣ семидесятыхъ годовъ онъ эманципировался отъ это-

го вліянія и сталъ писать и печатать въ журналахъ стихи, собраніе которыхъ издалъ въ 1886 г. Но въ 1898 г., выпуская второе изданіе, онъ заявилъ въ предисловіи: „вотъ уже десять лѣтъ, какъ я не пишу стиховъ и никогда не возвращусь къ нимъ". Строго осуждая свои былые поэтическіе опыты, онъ объяснялъ ихъ новое изданіе такъ: „Однако же, еще въ текущемъ году какіе-то любители пріобрѣтали послѣдніе экземпляры моихъ старыхъ стихотвореній. Это побудило меня привести въ порядокъ мой прежній сборникъ, отчасти сократить, отчасти дополнить его". Соображеніе это позволяетъ надѣяться, что если „какіе-то любители" раскупятъ второе изданіе, то г. Андреевскій снисходительно обогатитъ отечественную поэзію и третьимъ изданіемъ, не только сокративъ, но и дополнивъ предыдущее. Логика г. Андреевскаго и сознаніе слабости своего поэтическаго дарованія этому, очевидно, не препятствуютъ. На этотъ разъ, однако, можетъ явиться новое препятствіе въ видѣ не личной уже слабости г. Андреевскаго, а краха стихотворства вообще, краха всемірнаго. И любопытно, что причиною этого краха является, собственно говоря, то самое „Писаревское вліяніе", которое когда-то держало юнаго г. Андреевскаго вдали отъ поэзіи. Мы видѣли, что конецъ стихотворству положенъ шестидесятыми годами въ лицѣ ряда ученыхъ и философовъ, въ суммѣ составляющихъ для насъ, русскихъ, именно то, что можно назвать „Писаревскимъ вліяніемъ" (хотя, напримѣръ, Гартманъ попалъ сюда по какому-то странному недоразумѣнію, да и остальные довольно таки разношерстная компанія). Такимъ образомъ, г. Андреевскій находился подъ „Писаревскимъ вліяніемъ" въ юности, эманципировался отъ него въ концѣ семидесятыхъ годовъ и вновь призналъ его мощь въ концѣ девяностыхъ. Странное, однако, это признаніе. Есть что-то ироническое и двусмысленное въ этомъ восклицаніи: „куда ужъ тутъ до пресловутой души человѣческой!" Это вапоминаетъ мнѣ единственную слышанную мною рѣчь г. Андреевскаго,—не обвинительную или защитительную, а застольную,—на юбилеѣ П. Д. Боборыкина. Ораторъ говорилъ, что почтенный юбиляръ не пользуется въ нашемъ обществѣ тою степенью популярности, какая соотвѣтствуетъ его таланту, и потому не пользуется, что онъ для насъ, отсталыхъ, слишкомъ европеецъ; европеизмъ же П. Д. Боборыкина доказывается тѣмъ, что въ его многочисленныхъ романахъ, повѣстяхъ, драмахъ, разсказахъ не встрѣчается даже слово „душа"... Я думаю, что это показаніе г. Андреевскаго совершенно невѣрно, но дѣло не въ этомъ.

Юбилярамъ не принято говорить непріятности, и потому въ словахъ г. Андреевскаго должна была заключаться какая-то похвала. Теперь, послѣ лекціи о „вырожденіи риѳмы", понятно въ чемъ дѣло: Огюстъ Контъ и Гартманъ, Спенсеръ и Бюхнеръ, химія и бактеріологія упразднили „пресловутую душу человѣческую", и г. Боборыкинъ стоитъ на высотѣ этого упраздненія... Не знаю всетаки, хорошо ли это, хвалу ли воздалъ ораторъ юбиляру. Не знаю и того, чѣмъ собственно отразнлось вліяніе бактеріологіи и химіи, Гартмана и Молешота и т. д., на поэзіи. Такъ какъ поэзія не только не исчезла, а напротивъ, „со всѣхъ концовъ начинаетъ проникать собою всю современную литературу", то, повидимому, „вселенная притиснула человѣка" только ради риѳмы и „романтической" формы вообще, то есть... то есть ради того, отъ чего г. Андреевскій нѣсколько лѣтъ тому назадъ отказался. Изъ за этакой-то малости безпокоитъ себя „вселенная"!..

Въ рѣчи на юбилеѣ В. Д. Спасовича (напечатана въ приложеніи къ „Защитительнымъ рѣчамъ") г. Андреевскій сказалъ, между прочимъ: „Говорятъ, будто я умѣю концетрировать мою мысль". Кто бы ни говорилъ это г. Андреевскому, онъ напрасно повѣрилъ. Умѣнье концетрировать свою мысль отнюдь не составляетъ характерной его черты, и часто поражаешься въ немъ именно отсутствіемъ этого умѣнья. Извольте, въ самомъ дѣлѣ, разобраться въ статьѣ о вырожденіи риѳмы. Гдѣ тутъ центръ,—въ отсутствіи ли у современнаго человѣка цѣльнаго міросозерцанія, или въ томъ очень цѣльномъ міросозерцаніи, котораго держались нѣкоторые изъ перечисленныхъ г. Андреевскимъ ученыхъ и философовъ, сокрушавшихъ своимъ вліяніемъ... А впрочемъ, что они сокрушили своимъ вліяніемъ: „пресловутую человѣческую душу" или только риѳму и вообще то, отъ чего отказался г. Андреевскій десять лѣтъ тому назадъ? Упразднена ли „душа" или, напротивъ, развилась, осложнилась какимъ то придаткомъ? Поневолѣ согласишься съ г. Валеріемъ Брюсовымъ, что вся статья представляетъ собою рядъ противорѣчій и недоразумѣній. Или предисловіе ко второму изданію стихотвореній...

Не трудно, мнѣ кажется, усмотрѣть ту основную черту психики нашего автора, отъ которой зависитъ это неумѣніе концентрировать свою мысль. Черта эта свойственна преимущественно женщинамъ, у которыхъ она объясняется воспитаніемъ и общественнымъ положеніемъ, но она не чужда и мужчинамъ. Разумѣю кокетство. Что та-

кое кокетство? Это совокупность словъ, жестовъ, минъ, поступковъ, вытекающихъ изъ желанія нравиться, чтобы нравиться, безъ дальнѣйшихъ намѣреній и плановъ. Таково настоящее, самодовлѣющее кокетство, обособившееся отъ желанія выйти замужъ или вообще добиться извѣстнаго результата. Благосклонно разливая свои чары въ разныя стороны, говоря всѣмъ своимъ поведеніемъ не то „да", не то „нѣтъ", кокетка естественно часто попадаетъ въ свои собственныя сѣти: заигравшись, доводитъ дѣло до непредвидѣннаго, но неизбѣжнаго конца, или, пересаливая, становится непріятно назойливою, или, привыкнувъ къ своей практикѣ, не замѣчаетъ, что вступаетъ въ возрастъ, которому уже не идутъ кокетливыя мины, и становится смѣшною, или не попадаетъ въ надлежащій при данныхъ условіяхъ тонъ и потому опять таки становится смѣшна и т. п. Разумѣется, бываютъ кокетки достаточно ловкія и тактичныя, чтобы удачно лавировать среди всѣхъ этихъ опасностей. Но г. Андреевскій едва ли принадлежитъ къ числу такихъ удачниковъ. Ему грозятъ, а отчасти уже и настигли его, многія изъ перечисленныхъ опасностей. Желая прежде всего нравиться, онъ въ писаніяхъ своихъ старается принимать возможно красивыя позы, то томно прищуриваетъ глаза, то вдохновенно устремляетъ ихъ къ небесамъ, то кокетливо улыбается, всѣмъ своимъ обликомъ говоря то „да", то „нѣтъ".

Г. Андреевскій самъ признался, что стихотворная форма ему не дается, вслѣдствіе чего онъ и отказался отъ нея. Не будемъ съ нимъ спорить, скажемъ только словами г. Венгерова, что его поэзія „отличается нѣкоторою изысканностью и дѣланною щеголеватостью". Но обратите вниманіе на форму, въ которой онъ отказывается отъ стихотворства. Онъ могъ бы просто перестать писать стихи, и никто бы этого не замѣтилъ: мало ли у насъ поэтовъ одинаковаго съ нимъ роста! Тотъ или другой изъ его добрыхъ знакомыхъ могъ, конечно, при встрѣчѣ спросить,—почему не появляются произведенія его музы въ журналахъ; онъ отвѣтилъ бы: „я уже десять лѣтъ не пишу стиховъ и никогда не возвращусь къ нимъ" потому-то и потому-то, и дѣлу конецъ. Но онъ предпочелъ заявить объ этомъ событіи всенародно, при томъ въ предисловіи къ *новому*, да еще *дополненному* изданію своихъ стиховъ. Такимъ образомъ, выходитъ и „да", и „нѣтъ". И надо же быть такому счастливому или несчастному случаю, что какъ разъ къ тому времени, когда для г. Андреевскаго выяснялась слабость его поэтическаго дарованія, въ дѣло вступилась сама „вселен-

ная“ и уничтожила ту именно форму поэзіи, въ которой оказался слабъ г. Андреевскій... Придя къ такому не то горестному, не то пріятному заключенію, г. Андреевскій утверждаетъ, что вмѣстѣ съ недающейся ему стихотворной формой упразднена и „пресловутая душа человѣческая“, но поэзія осталась... должно быть, бездушная. И не только осталась, но процвѣтаетъ и въ беллетристикѣ, и въ публицистикѣ, и въ фельетонѣ, и въ рѣчахъ судебныхъ ораторовъ, какъ видно изъ рѣчи г. Андреевскаго на юбилеѣ В. Д. Спасовича. Значитъ, и г. Андреевскій остается или можетъ оставаться поэтомъ: и „да“, и „нѣтъ“. Такъ какъ кокетка серьезныхъ намѣреній не имѣетъ и желаетъ только нравиться, обворожать, то и г. Андреевскій отнюдь не думаетъ обставить свою раздвоенную и разстроенную мысль сколько-нибудь серьезными доводами: его списокъ ученыхъ и философовъ, упразднившихъ душу и риѳму, просто смѣшонъ своею спутанностью, да и кто теперь можетъ серьезно говорить о длящемся вліяніи Бюхнера или Молешота. Но до этихъ фактическихъ подробностей г. Андреевскому нѣтъ дѣла; какъ нѣтъ дѣла до фактической исторіи русской литературы, когда онъ заявляетъ, что онъ *первый* высказался о „Братьяхъ Карамазовыхъ“, а „наши лучшіе литераторы“ еще и не читали романа Достоевскаго...

О критическихъ опытахъ г. Андреевскаго, собранныхъ въ книжкѣ „Литературныя чтенія“, я распространяться не буду... Это рядъ небольшихъ статей, представляющихъ собою нѣчто въ родѣ литературныхъ портретовъ Баратынскаго, Достоевскаго, Гаршина, Некрасова, Лермонтова и Толстого. Можно во многомъ не соглашаться съ авторомъ, но во всякомъ случаѣ эти статьи гораздо серьезнѣе и обдуманнѣе, чѣмъ статья о вырожденіи риѳмы. Тутъ мы видимъ дѣйствительно сконцентрированную на томъ или другомъ писателѣ мысль, и нѣсколько вредятъ этимъ статьямъ все тѣ же „изысканность и дѣланное щегольство“ стиля.

Обратимся къ г. Андреевскому, какъ оратору, котораго мы знаемъ по книгѣ „Защитительныя рѣчи“. Здѣсь уже самою задачею защиты указывается необходимость концентраціи мысли, а потому кокетство и кокетливое любованіе собою должно принять иныя формы и попадать въ иные просаки. Но сперва не о защитительныхъ, а о застольныхъ рѣчахъ. Ихъ мы знаемъ двѣ. Объ одной изъ нихъ (на юбилеѣ П. Д. Боборыкина), въ которой не разберешь „да“ или „нѣтъ“ хотѣлъ сказать ораторъ, мы уже говорили. Другую—на

юбилеѣ В. Д. Спасовича—г. Андреевскій считаетъ на столько значительною, что напечаталъ ее въ приложеніи къ „Защитительнымъ рѣчамъ". Въ ней онъ говоритъ о г. Спасовичѣ, какъ художникѣ, и я позволю себѣ привести здѣсь отрывокъ изъ этой рѣчи:

„Образы—вотъ ваше могущество, и вы этого не замѣчаете. „Ты, Моцартъ, богъ и самъ того не знаешь!" Вашъ сильный, проникнутый умомъ и страстью языкъ получалъ (?), побѣждалъ, творилъ, запечатлѣвался въ умахъ, но спрашивается: чѣмъ?—все тѣми же самобытными, вамъ одному свойственными, яркими образами вашей чудесной музы. Ваши слова западали въ чужое сердце, какъ капли кипящаго сургуча; они сверкали и освѣщали вашу мысль, какъ брильянты и молнія... И въ прозаической обстановкѣ этого обѣда, среди кувертовъ и блюдъ, надъ всѣми нашими профессіональными и непрофессіональными головами, надъ всею нашею толпою,—хотя и подрумяненною виномъ, но не особенно яркою,—я вижу нѣчто истинно блестящее, прекрасное и вѣчное, что принадлежитъ только вамъ одному. Помните ли вы превосходную скульптурную группу въ память Мишле? Надъ бюрократическою головою историка взлетаетъ къ небу очаровательная юная женщина и прелестною рукою пишетъ свою лѣтопись. На это воздушное видѣніе нельзя наглядѣться, отъ него нельзя оторвать глазъ, которые лишь иногда обращаются къ бритому, серьезному лицу профессора—съ отрадою и удивленіемъ, что эти два существа, столь непохожія другъ на друга, всегда жили одно въ другомъ, всегда были въ сущности одно и то же! Такъ и теперь: за вами, надъ вами, въ васъ самихъ—я вижу вашу музу. Къ ней, къ этой неувядаемой богинѣ, я простираю свой бокалъ; ее цѣлую съ восторгомъ и наслажденіемъ; и ей говорю я—какъ бы и самъ я находился на Олимпѣ:—„да безсмертная, выпьемъ этого нектара и забудемъ о юбилеяхъ!"

Мнѣ эта рѣчь напомнила другую, тоже застольную рѣчь—обращенную къ Сократу рѣчь Алкивіада въ Платоновомъ „Пирѣ". Г. Андреевскій говоритъ о „подрумяненныхъ виномъ" конвивахъ, Алкивіадъ опасался, что онъ „слишкомъ пьянъ". Г. Андреевскій привлекъ для выясненія своей мысли скульптурное произведеніе, то же сдѣлалъ и Алкивіадъ, а именно сравнивалъ Сократа съ изображеніями Силеновъ, которые „сидятъ въ лавкахъ у ваятелей, изваянные съ флейтами или трубками въ рукахъ, но если раздѣлить ихъ на двое, то окажется, что внутри ихъ содержатся изображенія боговъ". Но Алкивіадъ лишь чуть-чуть, буквально двумя словами коснулся знаменитой своимъ безобразіемъ наружности Сократа, а г. Андреевскій самое сильное мѣсто своей рѣчи построилъ на разницѣ между наружностью г. Спасовича—отнюдь не выдающуюся среди насъ отсутствіемъ красоты,—и наружностью его музы. Разумѣется, почтенный

В. Д. Спасовичъ не похожъ на „очаровательную юную женщину“, но „удивленія“ это обстоятельство вовсе не вызываетъ, да и говорятъ ли объ этомъ? Конечно, это мелочь, но, я думаю, послѣ того, какъ рѣчь г. Андреевскаго вызвала своимъ паѳосомъ апплодисменты присутствующихъ, многіе почувствовали себя неловко, какъ почувствовали себя неловко слушатели двусмысленнаго комплимента, обращеннаго имъ къ г. Боборыкину. Повторяю, это мелочь, пустяки, но она характерна для г. Андреевскаго, думающаго прежде всего о томъ, какъ бы предъявить „изысканность и дѣланное щегольство“ своей рѣчи, а потомъ уже о предметѣ этой рѣчи...

Какъ уже сказано, я не слыхалъ ни одной защитительной рѣчи г. Андреевскаго, а только читалъ нѣкоторыя изъ нихъ, а потому, имѣя въ виду собственно ораторское искусство, долженъ ссылаться на другихъ. Въ первую голову пусть идетъ г. Спасовичъ. Въ рѣчи на юбилеѣ г. Пассовера (приведена въ книжкѣ г. Глинскаго „Русское судебное краснорѣчіе“), г. Спасовичъ отнесъ г. Андреевскаго (и себя самого), въ противоположность юбиляру, къ группѣ адвокатовъ-литераторовъ, которые „отдѣлены отъ родника всякаго ораторства письменнымъ сочинительствомъ“, изъ которыхъ „мысли и чувства изливаются только профильтрованныя сквозь литературное сочинительство, дѣйствующее, какъ своего рода холодильникъ“. „Какъ мы ни вышколены въ искусствѣ возбуждать и приподнимать себя и въ дѣланіи ораторскихъ движеній,—продолжалъ г. Спасовичъ,—но проницательный взглядъ опытнаго наблюдателя усмотритъ въ нашихъ рѣчахъ выступающій каплями потъ усиленной мозговой работы, замѣтный одинаково, какъ у тѣхъ изъ насъ, которые оттачиваютъ и шлифуютъ свои слова и фразы, заботясь всего болѣе о красотѣ, о плавности, о гармоніи частей, такъ и у тѣхъ, которые свой матеріалъ подвергаютъ холодной ковкѣ, чтобы фраза выходила шаршавая, колючая, рѣзко-характерная, но всетаки съ извѣстнымъ мозговымъ усиліемъ добытая“.

Повидимому, г. Андреевскій принадлежитъ къ тѣмъ, „которые оттачиваютъ и шлифуютъ свои фразы, заботясь всего болѣе о красотѣ“. Въ этомъ убѣждаетъ насъ и слѣдующее мнѣніе о немъ г. Ляховецкаго („Характеристика извѣстныхъ русскихъ судебныхъ ораторовъ“):

„Слушая его по нѣкоторымъ дѣламъ, оставляешь судебную залу неудовлетворенный рѣчами нашего извѣстнаго адвоката. Эти рѣчи, точно фейерверки, блестѣли, трещали, шумѣли, оставляя впечатлѣніе зрѣлища ослѣ-

пительнаго, красиваго, но и только. Ораторъ вольно и смѣло обращался съ фактическимъ матеріаломъ судебнаго слѣдствія. Факты принимали окраску явной тенденціи, лишаясь своего объективнаго, натуральнаго содержанія. Вы ихъ едва узнавали въ изложеніи оратора—такъ они мѣнялись при ихъ передачѣ, освѣщеніи и группировкѣ. Думается: это поэтическія вольности въ защитительныхъ рѣчахъ. Къ тому же ораторъ ведетъ борьбу не противъ всѣхъ уликъ, не противъ всѣхъ доводовъ обвиненія, а выбираетъ лишь нѣкоторые пункты, наиболѣе удобные и благодарные для защиты, оставляя въ тѣни всѣ прочіе, замалчивая иногда весьма серьезныя улики, въ разсчетѣ на короткую память судей. Въ каждомъ дѣлѣ его интересуетъ кое что, и рѣчь его касается поэтому лишь кое чего изъ дѣла... Но вышелъ въ свѣтъ сборникъ рѣчей С. А. Андреевскаго и онъ читается съ удовольствіемъ. При отсутствіи въ сборникѣ матеріала слѣдствія, рѣчи его дивны. Вы читаете не то адвокатскія рѣчи, не то произведенія изящной словесности. Вы иногда даже восхищаетесь тѣмъ, что онъ сказалъ по поводу того или другого дѣла, но вы не знаете всего того, о чемъ ораторъ по необходимости долженъ былъ бы говорить, если бы хотѣлъ поставить защиту на прочную ногу. Что, впрочемъ, портитъ и въ сборникѣ рѣчи г. Андреевскаго, такъ это слишкомъ рискованные парадоксы, беззаботное отношеніе къ вопросамъ общественной нравственности".

Къ послѣднему указанію г. Ляховецкаго мы еще вернемся. А теперь послушаемъ еще одного спеціалиста—проф. Владимірова („Психологическое изслѣдованіе въ уголовномъ судѣ").

Г. Владиміровъ доказываетъ, что наши судебные ораторы-психологи, какъ обвинители, такъ и защитники (для образца первыхъ онъ беретъ г. Кони, вторыхъ—г. Андреевскего) разводятъ совершенно произвольную психологію, не имѣющую никакой научной цѣнности. Это и не удивительно, замѣчаетъ онъ, такъ какъ ораторы суть люди больше искусства, чѣмъ науки. Г. Владиміровъ ничего не имѣетъ противъ такого „житейско-психологическаго" или „художественно-психологическаго" анализа въ беллетристикѣ, въ статьяхъ, сообщеніяхъ, докладахъ: „они шевелятъ, будятъ мысль". „Но,—говоритъ онъ, – на судѣ отъ неосновательнаго слова кто нибудь да страдаетъ: правосудіе, подсудимый или правильная общественная оцѣнка явленій жизни".

Г. Андреевскій характернѣйшій представитель художественн›-психологическаго способа въ уголовномъ процессѣ: въ его рѣчахъ мы находимъ и достоинства, и недостатки этого способа. Къ числу достоинствъ слѣдуетъ отнести то, что мазки и пятна, небрежно бросамые кистью Андреевскаго на полотно, даютъ всегда художественное впечатлѣніе, т. е. то подобіе, которое искусство и должно давать. Къ числу недостатковъ г. Андреевскаго слѣдуетъ отнести полное невниманіе къ установленнымъ даже фактамъ, наводя-

щимъ на серьезныя психологическія размышленія. Эти факты въ его рѣчахъ быстро уносятся волною красивыхъ словъ, стремглавъ летятъ, увлекаемые потокомъ чувствъ и мыслей оратора. При этомъ у Андреевскаго часто срываются съ языка, впрочемъ, безъ важныхъ послѣдствій для дѣла, и серьезныя мысли, и намеки, доказывающіе, что ораторъ могъ бы заглянуть въ дѣло и поглубже, если бы ему въ этомъ не мѣшала его школа, его привычная метода. Быть „жизненнымъ", хлесткимъ, красивымъ, огненнымъ, интереснымъ, взволновать чувства слушателей и старательно избѣгать всего, что „сухо", хотя, можетъ быть, и необходимо для правды дѣла,—вотъ завѣты этой устарѣвшей школы. Главная забота этой отживающей школы элегантныхъ юристовъ новаго времени—создавать красивыя слова и потрясающія выраженія. Эти красивыя слова врѣзываются въ памяти присяжныхъ и публики, какъ какія-то откровенія, а между тѣмъ, въ нихъ часто больше блеска, чѣмъ содержанія.

На это можно бы было возразить, что задача защитниковъ состоитъ въ томъ, чтобы защитить обвиняемаго, и если эта цѣль достигнута, то не все-ли равно чѣмъ,—блескомъ или содержательностью или еще чѣмъ? Адвокатъ Фрины ничего не сказалъ въ ея защату, а только снялъ съ нея одежды передъ глазами судей, и тѣ, пораженные красотой тѣла, которое служило Праксителю моделью для статуи Афродиты, оправдали Фрину. И адвокатъ правъ: „побѣдителя не судятъ". Едва ли, однако, это разсужденіе такъ справедливо, какимъ оно кажется съ перваго взгляда. Слишкомъ ужъ оно просто и узко, а жизнь сложна и широка. Исторія Фрины есть исторія и даже только преданіе. Но и въ этомъ случаѣ, принимая въ соображеніе то даже мало понятное намъ отношеніе къ красотѣ человѣческаго тѣла, которое господствовало въ древней Греціи, адвокатъ Фрины былъ не только защитникомъ, не только приватнымъ исполнителемъ приватной задачи, а и общественнымъ дѣятелемъ, хотя съ нашей теперешней точки зрѣнія просто показалъ судьямъ голую женщину, то есть совершилъ неприличный поступокъ. Однако дѣло не въ адвокатѣ Фрины, а въ современномъ присяжномъ повѣренномъ, который во всякомъ случаѣ не можетъ не видѣть въ себѣ общественнаго дѣятеля и, въ качествѣ таковаго, не можетъ отклонять отъ себя отвѣтственность за содержаніе своихъ рѣчей, помимо ихъ непосредственныхъ результатовъ въ судѣ, то есть помимо оправданія или обвиненія кліента. Но г. Владиміровъ обращаетъ вниманіе еще на одну сторону дѣла. По его мнѣнію, адвокаты „художественно-психологической школы", красуясь цвѣтами краснорѣчія и произвольной психологіи, упускаютъ изъ вида серьезные доводы въ пользу своихъ

кліентовъ и, слѣдовательно, ради красоты рѣчи, нарушаютъ и свою элементарную обязанность защиты подсудимаго. Въ подтвержденіе этой своей мысли онъ приводитъ и разбираетъ рѣчь г. Андреевскаго въ защиту Иванова, военнаго писаря, убившаго свою невѣсту. Въ этой рѣчи много „пожаровъ сердца", „апогеевъ любви" и т. п.; много беллетристической психологіи; ораторъ сдѣлалъ изъ подсудимаго какого то новаго героя нашего новаго времени, который „пьянствовалъ, чтобы заглушить грустныя мысли, игралъ въ карты, чтобы волноваться рискомъ, а въ публичные дома ходилъ, чтобы проповѣдывать идеалы добра падшимъ женщинамъ". И въ то же время ораторъ едва-едва коснулся обстоятельствъ, которыя могли самымъ существеннымъ образомъ повліять на участь подсудимаго: Ивановъ былъ алкоголикъ и имѣлъ отягченную наслѣдственность,— его мать зарѣзала въ пьяномъ видѣ своего младшаго сына, была признана дѣйствовавшею въ безсознательномъ состояніи и находилась на испытаніи въ лѣчебницѣ для душевнобольныхъ. Эти обстоятельства, на которыхъ другой защитникъ основалъ бы самые вѣскіе свои доводы, г. Андреевскій лишь мимолетомъ упомянулъ въ своей рѣчи, какъ мимолетомъ присаживается граціозный мотылекъ на невидную травку, чтобы тотчасъ же перелетѣть на какую-нибудь красивую розу „пожара страстей" или „апогея любви". Мало того, къ этой серьезнѣйшей сторонѣ дѣла г. Андреевскій отнесся съ такой поразительной небрежностью, что только уже послѣ приговора (Ивановъ присужденъ къ пяти годамъ каторжной работы) узналъ, что его кліентъ за пять лѣтъ до убійства своей невѣсты покушался на самоубійство „отъ тоски, отъ того, что жизнь была въ тягость", и два мѣсяца пролежалъ въ больницѣ. Такъ мало „концентрируетъ" свою мысль г. Андреевскій, разсыпаясь, какъ фейерверкъ, блестками краснорѣчія.

Г. Владиміровъ противопоставляетъ „художественно-психологическую" школу школамъ „философско-психологической" и „медико или научно-психологической". И для характеристики первой онъ, конечно, не могъ найти лучшаго образчика, чѣмъ г. Андреевскій. Пересмотрите внимательно хоть ту же рѣчь въ защиту Иванова. Цитата изъ Ришпена, цитата изъ Достоевскаго, „Карамазовская кровь", упоминаніе о „Крейцеровой сонатѣ", о комедіи г. Чехова „Ивановъ", ссылка на Данте, Ромео и Фауста, опять „Крейцерова соната", цитата изъ Пушкина,—и ни одного имени, ни одного сочиненія какого-нибудь психолога, врача, психіатра, юриста, философа.

И таковы всѣ защитительныя рѣчи г. Андреевскаго. Это особенно интересно въ виду того, что онъ находился когда-то подъ „Писаревскимъ вліяніемъ", да и нынѣ признаетъ, что Бокль и Дарвинъ, химія и бактеріологія упразднили „пресловутую душу человѣческую", а съ ней вмѣстѣ и поэзію... Во всякомъ случаѣ неудивительно, что онъ и въ г. Спасовичѣ увидѣлъ только воплощеніе „очаровательной юной женщины", ибо самъ онъ отлично „понимаетъ, какъ блеснуть очаровательнѣе", по выраженію Липочки Большовой въ комедіи Островскаго „Свои люди—сочтемся". Ну, а подсудимый, прибѣгающій къ его защитѣ,—дѣло второе...

Читатель перебьетъ меня: трудъ адвоката— не легкій трудъ, и кто же возьметъ его на себя только ради того, чтобы „блеснуть очаровательнѣе"? Положимъ, дѣло Иванова г. Андреевскій взялъ на себя, надо думать, безкорыстно, потому что, что же и взять съ выгнаннаго въ отставку пьяницы писаря, и тутъ соблазнительна была именно возможность предъявить свою красоту. Но вѣдь не все же такія дѣла ведетъ г. Андреевскій; когда защита оплачена, нужно что нибудь посерьезнѣе „пожаровъ страстей" и „апогеевъ любви", нужна дѣйствительная концентрація мысли...

Здѣсь то и умѣстно вспомнить выше приведенное замѣчаніе г. Ляховецкаго о „слишкомъ рискованныхъ парадоксахъ и беззаботномъ отношеніи къ вопросамъ общественной нравственности", которые портятъ впечатлѣніе красивыхъ рѣчей г. Андреевскаго. Одинъ изъ образчиковъ такихъ „парадоксовъ" я приведу въ нѣсколько болѣе полномъ видѣ, чѣмъ онъ приведенъ у г. Ляховецкаго. Защищая директора одного изъ лопнувшихъ банковъ, Сушкина, г. Андреевскій высказалъ, между прочимъ, слѣдующую общую мысль о банковыхъ крушеніяхъ: „Мы привыкли къ банковымъ крахамъ и къ банковымъ процессамъ, и въ этой привычкѣ, если вдуматься, есть что-то ужасное... Намъ кажется, что воззрѣнія на банковыя крушенія съ точки зрѣнія непремѣнно воровства есть мнѣніе раздутое. Надо немножко отрезвиться. *Не мѣшаешь подумать и о самолюбіи народномъ, когда изъ конца въ конецъ клеймятъ страну позоромъ. Мы вообще склонны къ самобичеванію, но это уже клевета на Россію,* потому что повсемѣстная безчестность при денежномъ дѣлѣ не только на Россію, но и на человѣчество не похоже... Недаромъ же и присяжные засѣдатели по инымъ банковымъ процессамъ оправдывали рѣшительно всѣхъ подсудимыхъ, по другимъ—освобождали людей, очень скомпрометированныхъ молвой, по третьимъ—признавали только

самую ничтожную отвѣтственность директоровъ, и все это, замѣтьте, при страшномъ возбужденіи печати, при крайней ярости общества, а не будь этихъ постороннихъ вліяній, приговоры были бы еще мягче, встрѣчалось бы еще больше оправданій. Все это показываетъ, что здѣсь, должно быть, кроются не тѣ кражи, о которыхъ сказано въ заповѣдяхъ Божіихъ, а просто какія-то шальныя денежныя потери, громадные денежные пожары отъ неумѣлаго обращенія съ огнемъ кредита".

Я готовъ вѣрить, что Сушкинъ ни въ какой кражѣ виноватъ не былъ и что онъ, стоя во главѣ банка, просто не умѣлъ обращаться съ огнемъ кредита. Меня интересуетъ въ рѣчи г. Андреевскаго только подчеркнутыя мною фразы. Онѣ характерны для этого оратора. Въ дѣлахъ въ родѣ дѣла Иванова можно, подобно древнему Баяну, растекаться мыслью по древу, сѣрымъ волкомъ по землѣ, сизымъ орломъ подъ облаками, пополняя свою собственную красоту цитатами изъ поэтовъ и беллетристовъ. Въ дѣлахъ, въ родѣ дѣла Сушкина, по необходимости приходится поступать иначе. Поэты мало занимаются такими матеріями, а если и занимаются, то того и гляди наткнешься, напримѣръ, у Некрасова на цитату въ такомъ родѣ:

И сорвавъ гонораръ неумѣренный,
Восклицалъ нашъ присяжный повѣренный:
Передъ вами стоитъ гражданинъ
Чище снѣга альпійскихъ вершинъ!

А это ужъ совсѣмъ не къ лицу адвокату-художнику, адвокату-поэту, поклоннику чистой красоты. Но если неудобно „растекаться" самому, то можно заставить растекаться вниманіе судей или присяжныхъ засѣдателей, отвлечь его отъ сути дѣла въ сторону, ну, напримѣръ, патріотизма, ужаснуть мыслью о позорѣ родной страны. Да и мало ли еще какъ можно повести эту линію...

Въ собраніе „Защитительныхъ рѣчей" г. Андреевскаго (вышло третьимъ изданіемъ въ 1898 г.) вошли не всѣ его рѣчи. Это его дѣло, разумѣется; но нельзя не остановиться съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ передъ „приложеніями" къ этой книгѣ. Сюда вошли коротенькіе „отрывки" изъ рѣчей по дѣлу кронштадтскаго банка, по дѣлу Козлова, по дѣлу Имберха и, наконецъ, вышецитированная рѣчь на обѣдѣ въ честь г. Спасовича. Въ чемъ состояли дѣла кронштадтскаго банка, Козлова и Имберха—читателю остается не-

извѣстнымъ, такъ какъ о самыхъ дѣлахъ въ „отрывкахъ“ нѣтъ ни единаго слова; какой нибудь объединяющей мысли, общей всѣмъ отрывкамъ и почему-нибудь особенно дорогой оратору,—въ нихъ тоже нѣтъ. Это просто красивыя мѣста, красивыя тою условною красотою, образчикъ которой мы видѣли въ рѣчи въ честь г. Спасовича. Очевидно, г. Андреевскій и не придаетъ своимъ рѣчамъ юридическаго или бытового значенія, а видитъ въ нихъ исключительно художественныя произведенія, такъ, въ родѣ стихотвореній въ прозѣ.

Надо особенно пожалѣть, что въ „Защитительныя рѣчи“, ни въ цѣломъ видѣ, ни въ отрывкахъ, не вошла рѣчь въ защиту нѣкоего Монтвида-Бялозора. Дѣло это надѣлало въ свое время много шуму, но теперь совершенно забыто и, для меня по крайней мѣрѣ, единственный слѣдъ его въ литературѣ сохранился въ статьѣ г. Далина въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“ отъ 18 марта 1896 г.

Дѣло состоитъ въ слѣдующемъ. Въ октябрѣ 1893 г. въ имѣніи ковенскаго помѣщика Монтвидъ-Бялозора было украдено нѣсколько лошадей. Монтвидъ потребовалъ отъ служащихъ у него, чтобы они нашли воровъ, а въ противномъ случаѣ онъ прогонитъ всю дворню. Дворня угрозами и подарками убѣдила 15-лѣтнаго пастуха взять на себя вину. Мальчикъ оговорилъ еще мѣщанъ Снарскаго и Гудайтиса. Монтвидъ пригласилъ урядника, съ помощью котораго Снарскій и Гудайтисъ были сведены въ сарай, гдѣ дворня Монтвида принялась истязать ихъ ременными нашильниками и палками. Истязаніе длилось цѣлые часы, истязуемые, наконецъ, „сознались“, оговоривъ еще дворянина Ставскаго и Янковскаго. Стали истязать и тѣхъ. Монтвидъ заходилъ смотрѣть и подчивалъ палачей водкой. „Сознался“ и Ставскій, а Янковскій такъ и былъ на смерть замученъ. Дѣло разбиралось въ виленской судебной палатѣ. Урядникъ и восемь человѣкъ дворни были пригорены къ каторжнымъ работамъ, трое къ арестантскимъ ротамъ, а Монтвидъ оправданъ. По протесту прокурора дѣло вновь разсматривалось въ той же палатѣ при другомъ составѣ судей, защищалъ Монтвида г. Андреевскій и добился новаго оправданія подсудимаго. Новый протестъ прокурора перенесъ дѣло въ петербургскую судебную палату. Какъ и чѣмъ защищалъ г. Андреевскій Монтвида,—неизвѣстно, но вотъ впечатлѣніе присутствовавшаго на судѣ г. Далина:

„Во время почти всего разбирательства дѣла мнѣ не переставало казаться, что судятся не тѣ, кто истязалъ, ни тѣ, кто сидятъ на скамьѣ под-

судимыхъ, а именно тѣ, кого истязали и мучили, изъ которыхъ одного даже на смерть замучили. И во время допроса свидѣтелей, и во время судебныхъ преній все только и говорилось о конокрадствѣ и конокрадахъ, а не объ истязателяхъ и мученикахъ... Почему такое безцеремонное отношеніе къ жертвамъ варварской пытки, почему такое третированіе этихъ несчастныхъ, никѣмъ въ конокрадствѣ не уличенныхъ и не обвиненныхъ, почему такъ мало вниманія къ ихъ мученіямъ и такъ много, много вниманія... конокрадству? Почему для безграничнаго обѣленія истязателей необходимо во что бы то ни стало чернить и на смерть замученнаго человѣла, и другихъ завѣдомо ложно оговоренныхъ жертвъ истязанія"?

На эту совершенно постороннюю почву поставилъ дѣло г. Андреевскій. Какъ видите, тотъ же пріемъ, что и въ дѣлѣ Сушкина: попытка—удачная или неудачная—„концентрировать" вниманіе судей на постороннемъ дѣлу моментѣ. Тамъ—„клевета на Росеію" и „позоръ страны", здѣсь—конокрадство. Это ужъ нѣчто большее, чѣмъ „замалчиваніе весьма серьезныхъ уликъ въ разсчетѣ на короткую память судей", о которомъ говоритъ г. Ляховецкій.

Въ собраніе „Защитительныхъ рѣчей" г. Андреевскаго не вошла и не могла войти еще одна рѣчь,—не могла потому, что была произнесена только въ прошломъ году. Но о ней много писали, да и сама она напечатана въ прошломъ же году въ журналѣ „Право".

Въ 1865 г. богатый московскій купецъ Елагинъ, уѣзжая за границу, взялъ къ себѣ въ домъ на воспитаніе и для игръ со своею 4-лѣтнею дочерью семилѣтнюю дѣвочку Елизавету Жукову, дочь портного Жукова. Сперва съ дѣвочкой обращались въ домѣ хорошо, но затѣмъ ея жизнь измѣнилась. Маленькая дочь Елагина постоянно жаловалась на свою подругу матери, а та, будучи сама слабой и болѣзненной, просила мужа наказывать Жукову, прибавляя лишь предостереженіе: „въ голову, Ванюша, не бей". Елагинъ не заставлялъ себя просить наказывать дѣвочку и быстро входилъ во вкусъ этихъ наказаній. Онъ билъ дѣвочку кулакомъ по лицу, таскалъ за волосы, поднимая вверхъ и ударяя объ полъ или объ стѣну, сѣкъ кнутомъ, ремнемъ, вѣтками колючихъ растеній. Болѣзненная жена его послѣ экзекуціи осматривала слѣды на тѣлѣ ребенка и упрекала мужа за мягкость наказанія. Постепенно аппетитъ мучительства разыгрывался все больше. Елагины стали морить Жукову голодомъ, два-три раза въ недѣлю лишая ее пищи и аккуратно каждый день подвергая сѣченію. Въ дни голоданія Елагинъ по нѣскольку разъ на

день изслѣдовалъ пальцами ротъ дѣвочки и, если находилъ въ немъ крошки хлѣба, жестоко наказывалъ ее. Наконецъ, изобрѣтенъ былъ и еще одинъ способъ истязаній—посредствомъ горчичниковъ. Нѣсколько разъ въ недѣлю Елагинъ собственноручно ставилъ горчичники на ноги Жуковой или, разложивъ горчичники на стулѣ и обнаживъ у дѣвочки ягодицы, сажалъ ее на жгучій составъ, а чтобы онъ плотнѣе прилипъ, надавливалъ на ея плечи или ноги и привязывалъ ее къ стулу, связывая и руки за спиной. Въ такомъ положеніи дѣвочка оставалась часа по три, а потомъ Елагинъ сѣкъ ее по обожженнымъ мѣстамъ тѣла. Въ такихъ случаяхъ эти мѣста, по словамъ няни Елагиныхъ, имѣли „взглядъ мяса": кожи не было, а одна сплошная рана, сочащаяся кровью...

Нѣтъ, слишкомъ омерзительно разсказывать обо всѣхъ истязаніяхъ, которымъ подвергалась дѣвочка, и я остановлюсь лишь на нѣкоторыхъ другихъ сторонахъ этого дѣла. Когда Елагинъ узналъ, что родители Лизы Жуковой думаютъ начать противъ него дѣло, онъ обратился къ присяжному повѣренному Ринку, и тотъ взялся защищать его за 5000 р., изъ которыхъ 3000 получилъ авансомъ. А такъ какъ г. Ринкъ собирался въ это время за границу, то и взялся подъискать тамъ свидѣтелей, могущихъ дать благопріятные отзывы объ обращеніи Елагина съ Лизой. Въ то же время, по совѣту г. Ринка, Елагинъ обратился къ нѣкоему коммиссіонеру Михельсону, взявшемуся склонить Жуковыхъ къ міровой сдѣлкѣ и получившему на этотъ предметъ 7500 руб. Г. Ринкъ нужныхъ свидѣтелей нашелъ, но потомъ отказался вести дѣло и возвратилъ Елагину полученный отъ него авансъ, за вычетомъ расходовъ на поѣздки по дѣлу. Елагинъ обратился къ нынѣ покойному присяжному повѣренному Жуковскому, тотъ было тоже взялся защищать его, но почему то дѣло и тутъ разошлось, и защищалъ Елагина г. Андреевскій.

Г. Андреевскій объявилъ, что онъ вовсе не думаетъ „обѣлять" Елагина. Онъ допускаетъ, что супруги Елагины „не стѣснялись муштровать Жукову и наказывать ее, когда она того заслуживала", но, во первыхъ, когда она того заслуживала, а во-вторыхъ, надо же принять во вниманіе нервное состояніе Елагина, у котораго на рукахъ была „умирающая жена" (до суда г-жа Елагина дѣйствительно не дожила)... Но истязанія —всѣ эти ремни, вырываніе волосъ клочьями, голодъ, горчичники, особенно горчичники — г. Андреевскій рѣшительно отрицалъ. Однако какъ-же слѣды отъ горчичниковъ, констатированные и экспертами, мягко допускавшими, что горчичники

ставились „въ видѣ особой педагогической мѣры“? Очень просто— горчичники ставились потомъ, самими родителями Лизы, съ ея согласія и съ цѣлью оклеветать Елагина... Ну, а почему Елагинъ шелъ на мировую и засылалъ къ Жуковымъ Михельсона съ 7500 р.? И это очень просто. Когда Елагины вернулись изъ-за границы въ Москву, Лиза была отправлена къ родителямъ съ дворникомъ, которому дано было приказаніе „отдать ее въ томъ, въ чемъ она была взята, даже безъ того пальто, которое ей было заказано за границей и въ которомъ она была привезена“. Такъ вотъ собственно за это то, имъ самимъ оплаченное, пальто, за снятіе его съ дѣвочки, Елагинъ и готовъ былъ дать 7500 рублей...

Но дѣло не въ той или другой подробности рѣчи г. Андреевскаго, а въ томъ, какъ могъ онъ вообще взяться за защиту Елагина (Елагинъ былъ приговоренъ къ лишенію всѣхъ особыхъ правъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Тобольскую губ.; гражданскій искъ удовлетворенъ въ суммѣ 5000 р.), онъ—художникъ, поэтъ, который долженъ былъ съ особенною ясностью представить себѣ страданія Лизы Жуковой (какъ и несчастныхъ, истязуемыхъ по приказанію Монтвида); онъ, въ статьѣ о „Братьяхъ Карамазовыхъ“ съ ужасомъ приводившій „потрясающіе примѣры звѣрской жестокости“ по отношенію къ дѣтямъ; онъ, способный вообразить себя на Олимпѣ и пить нектаръ въ честь „неувядаемой богини“ красоты... И вдругъ—горчичники на ягодицахъ, выдранные клочья волосъ...

Великая сила—красота, и понятенъ искренній восторгъ передъ ней. Но когда я вижу человѣка, любущагося на себя въ моментъ восторга и рисующагося передъ другими своей собственной красотой, меня всегда беретъ сомнѣніе... И какими бы возвышенными чувствами ни пламенѣлъ на моихъ глазахъ такой человѣкъ, мнѣ кажется, что нечему въ немъ пламенѣть, что это фальшфейеръ. Любопытно во всякомъ случаѣ, что, находясь подъ властью „Писаревскаго вліянія“ (безпорно очень односторонняго), г. Андреевскій отказался отъ, можетъ быть, блестящей карьеры, потому что не захотѣлъ поступить противъ совѣсти, а, освободившись отъ этого ига, кончилъ защитой изверговъ... тоже по совѣсти?

III *).

Предисловіе А. Ѳ. Кони къ сочиненіямъ Горбунова. — „Отзвуки разсказовъ Горбунова“ гр. Шереметева.—Нѣсколько словъ о „молодомъ Москвитянинѣ“ и „Русскомъ Собраніи“.

Г. Марксъ издалъ двухтомное собраніе сочиненій покойнаго Горбунова подъ редакціей и съ предисловіемъ А. Ѳ. Кони. Графъ П. Шереметевъ издалъ „Отзвуки разсказовъ Горбунова“. На оберткѣ этой книги напечатано объявленіе отъ коммиссіи, образованной при Императорскомъ Обществѣ Любителей Древней Письменности спеціально для изданія сочиненій Горбунова, первый томъ которыхъ выйдетъ въ будущемъ 1902 году. Не слишкомъ ли много Горбунова?

Я имѣлъ неосторожность добросовѣстно прочитать все обширное предисловіе г-на Кони къ изданію г. Маркса (116 стр. мелкаго шрифта), и когда потомъ приступилъ къ произведеніяхъ самого Горбунова, то постоянно наталкивался на досадную мысль: да вѣдь это я сейчасъ читалъ! Дѣло въ томъ, что, смакуя каждую сценку, каждое „словечко“ талантливаго разсказчика, г. Кони, если позволительно такъ выразиться, всего его высосалъ. А нѣкоторые разсказы онъ пересказываетъ даже по нѣскольку разъ (см., напримѣръ, и безъ того, кажется, очень извѣстный разсказъ о томъ, какъ портной собирался на воздушномъ шарѣ летѣть, на стр. 27—28, 50, 62). Но вотъ вы прочли предисловіе г. Кони, прочли затѣмъ, конечно, уже не съ такимъ свѣжимъ впечатлѣніемъ самого Горбунова въ изданіи г. Маркса и обращаетесь къ „Отзвукамъ“ гр. Шереметева. Здѣсь вы опять встрѣчаетесь все съ тѣми же разсказами, натыкаясь, однако, на излишество новаго рода: къ каждому разсказу, сценкѣ,

---

*) Октябрь 1901 г.

отдѣльному словечку, имѣется примѣчаніе: „Слышалъ лично"; „см. „Собраніе сочиненій И. Ѳ. Горбунова, Спб. 1883"; „Отъ гр. Д. С. Шереметева"; „Отъ С. Т. Филиппова"; „Варьянтъ къ записанному А. Ѳ. Кони"; „Слышалъ лично, нѣкоторыя мѣста дополнены М. А. Стаховичемъ"; „Отъ Н. П. Барсукова, слышавшаго это восклицаніе на юбилейномъ обѣдѣ А. Н. Майкова", и т. д., и т. д. Такихъ примѣчаній ровно 100. Коммиссія, образованная при Обществѣ любителей древней письменности для изданія сочиненій Горбунова (предсѣдателемъ ея состоитъ тотъ же гр. П. Шереметевъ) приглашаетъ лицъ, „чтущихъ память И. Ѳ. Горбунова", присылать ей письма Горбунова, записи его разсказовъ „или хотя бы отдѣльныхъ мѣткихъ выраженій", воспоминанія о немъ. Очень можетъ быть поэтому, что въ это изданіе войдутъ кое-какіе штришки въ родѣ „варьянтовъ къ записанному А. Ѳ. Кони", но всетаки мы и тутъ прочтемъ и о томъ, какъ портной предполагалъ летѣть на воздушномъ шарѣ, и о томъ, какъ ямщикъ валилъ экипажъ „кажиный разъ на этомъ мѣстѣ", и о томъ, какъ проводилъ свое утро квартальный, и проч. Все это будетъ, какъ обѣщаетъ коммиссія, снабжено многочисленными портретами и иллюстраціями работы гг. Рѣпина, В. Маковскаго, В. Васнецова, Богданова-Бѣльскаго и др. И опять невольно возникаетъ вопросъ: не слишкомъ ли много Горбунова?

Что касается до тщательныхъ комментаріевъ и внѣшней роскоши изданій, къ которымъ приложили руку почитатели Горбунова, то, конечно, дай Богъ всякому, хотя немножко обидно за нашихъ истинно великихъ писателей, изъ которыхъ ни одинъ до сихъ поръ такъ не изданъ. Но, признаюсь, въ этомъ пьедесталѣ, воздвигаемомъ для Горбунова г-мъ Кони и гр. Шереметевымъ мнѣ чуется что-то слишкомъ искусственное, раздутое. Я не знаю, въ которомъ году вышло послѣднее передъ этими посмертными почестями изданіе разсказовъ Горбунова, а почитатели талантливаго разсказчика на этотъ счетъ разногласятъ. Гр. Шереметевъ ссылается въ своихъ примѣчаніяхъ на изданіе *1883* г., а г. Марксъ въ своемъ предисловіи „отъ издателя" категорически говоритъ: „Послѣднее изданіе „сценъ и разсказовъ" И. Ѳ. Горбунова, вышедшее въ *1881* г., далеко не обнимаетъ собою всего, что было написано высокоталантливымъ художникомъ, и онъ самъ передъ смертью началъ подготовлять матеріалы для новаго, болѣе полнаго изданія". Какъ бы то ни было, мы около двадцати лѣтъ жили безъ новаго изданія, не ощущая, пови-

димому, чрезвычайнаго неудобства, и вдругъ — такъ много Горбунова сразу! При томъ не тотчасъ же послѣ его смерти, когда преувеличеніе значенія покойника такъ естественно, а черезъ шесть лѣтъ (Горбуновъ умеръ въ 1895 г.)...

Скажутъ, можетъ быть: предисловіе г-на Кони и комментаріи гр. Шереметева, конечно, объясняютъ эту, хотя бы запоздалую постановку пьедестала, „дабы всѣмъ видѣнъ былъ" высокоталантливый художникъ. Я этого не думаю. Скорѣе даже наоборотъ. Г. Кони не только, какъ я позволилъ себѣ выразиться, высосалъ Горбунова въ своемъ предисловіи, но и разбавилъ его собственными разсужденіями, можетъ быть и очень хорошими, даже навѣрное прекрасными, но слишкомъ ужъ не подходящими, и тѣмъ самымъ обнаруживающими скудость идейнаго багажа разсказчика, хотя задачей г-на Кони было, напротивъ, показать обиліе и богатство этого багажа. Главный критическій пріемъ г-на Кони состоитъ въ слѣдующемъ. Онъ ставитъ какое-нибудь совершенно безспорное положеніе и затѣмъ иллюстрируетъ его клочками изъ разсказовъ Горбунова, чѣмъ и доказываетъ, что означенное совершенно безспорное положеніе было покойному извѣстно. Напримѣръ, г. Кони степенно излагаетъ: „Начатый великимъ Петромъ „смѣлый посѣвъ просвѣщенья", воспѣтый Пушкинымъ, шелъ медленно, съ остановками, захватывая лишь высшіе классы общества, при чемъ имѣлись въ виду преимущественно служебныя цѣли. Настоящая систематическая забота о народномъ образованіи появляется у насъ лишь послѣ крымской войны, но и до сихъ поръ мы, по достигнутымъ въ этомъ отношеніи результатамъ, находимся почти наверху извѣстной выставочной пирамиды, изображавшей грамотностъ въ европейскихъ странахъ... (и т. д.)... Скупости въ просвѣщеніи массъ соотвѣтствовали, особливо подальше отъ столицъ, за немногими свѣтлыми исключеніями, самые пріемы преподаванія и слабое развитіе педагогической литературы, чрезвычайно затруднявшее попытки къ самообразованію". Слѣдуетъ разсказъ Горбунова о диктовкѣ изъ исторіи мидянъ и объ учебникѣ математики Войтяховскаго. „Не любятъ—продолжаетъ затѣмъ г-нъ Кони—чтенія книжекъ и въ томъ Замоскворѣчьи, нравы котораго записывалъ Горбуновъ", — и опять клочки изъ разсказовъ Горбунова. „Если въ той средѣ, откуда беретъ свой матеріалъ Горбуновъ, неграмотность не составляетъ бѣды или не грозитъ особенными стѣсненіями въ жизни, то, съ другой стороны, безграмотность, какъ всякое полуобразованіе, съ увѣренностью въ себѣ и самодоволь-

ствіемъ выставляетъ себя на показъ". И еще иллюстраціи изъ разсказовъ Горбунова. „Медленнымъ распространеніемъ образованія и даже грамотности объясияется взглядъ горбуновскихъ дѣйствующихъ лицъ на науку и на природу. Съ презрѣніемъ относятся они къ первой, съ ужасомъ—къ естественнымъ явленіямъ послѣдней", — и опять клочки изъ Горбунова, и т. д., и т. д. Выходитъ, не смотря на серьезность тона, а отчасти, пожалуй, вслѣдствіе этой серьезности, немножко азбучно...

Попробуемъ взглянуть на одну какую-нибудь группу Горбуновскихъ иллюстрацій къ несомнѣннымъ истинамъ г-на Кони. Возьмемъ ту, которая призвана подтвердить ие совсѣмъ удачно выраженную но по существу вѣрную мысль о томъ, что „безграмотность, какъ всякое полуобразованіе, съ увѣренностью въ себѣ и самодовольствіемъ выставляетъ себя иа показъ". Къ удивленію, мысль эта подтверждается... вывѣсками въ такомъ родѣ: „Кофейная справомъ входа для купцовъ и дворянъ"; „Въ новь открытая белая харчевня Русскій піръ"; трактиръ „Константинъ Нополь"; „Съ дозволенія правительства медицинской конторы засѣданія господъ врачей въ семъ залѣ отворяютъ кровь заграничнымъ инструментомъ пьявочную, баночную и жильную, прическа невѣстъ, бандо, стрижка волосъ, завивка и бритье и прочія принадлежности мужского туалета, по желанію на домъ по соглашенію экзаменованный фельдшерный мастеръ Ефимъ Филипповъ и дергаетъ зубы"; „С.-Петербургской колоніально-бакалейный магазинъ съ продажѣю всѣхъ предметовъ химической лабораторіи и прочиго"; „Постоялый дворъ и принемъ лавка съ продажею хомутовъ, веревокъ, кнутовъ и прочихъ съѣстныхъ припасовъ"; „Magazin mod e rob Moscu". Къ этой коллекціи г. Кони прибавляетъ еще слѣдующее объявленіе: „Съ разрѣшенія начальства, въ непродолжительномъ времени пѣвцы братья Мельгуновы, изъ коихъ одна сестра, будутъ имѣть честь" и т. д.

Что и говорить,—все это очень безграмотно. Но дѣйствительно ли видѣлъ Горбуновъ такія вывѣски и объявленія или для краснаго словца присочинилъ къ нимъ что-нибудь отъ себя, а вся коллекція, предъявленная для иллюстраціи „полуобразованія, съ увѣренностью въ себѣ и самодовольствомъ выставляющаго себя на показъ", — производитъ впечатлѣніе крайней скудости. По неволѣ думается: если на эту тему у Горбунова нѣтъ ничего, кромѣ безграмотныхъ вывѣсокъ, то не лучше ли для памяти покойнаго разсказчика было бы совсѣмъ ея не касаться? Въ самомъ дѣлѣ, такіе ли мы знаемъ

результаты самоувѣреннаго и самодовольнаго полуобразованія! А эти бѣдные экзаменованные фельдшерные мастера Ефимы Филипповы, владѣльцы трактировъ „Константинъ Нополь“ и т. п.,—что, кромѣ мимолетной улыбки, могутъ они вызвать? И, конечно, самъ Горбуновъ никогда не придавалъ записаннымъ имъ курьезамъ или собственнаго издѣлія шуткамъ того значенія, которое имъ придаетъ авторъ предисловія къ его сочиненіямъ. Серьезно комментируя, напримѣръ, „пѣвцовъ братьевъ Мельгуновыхъ, изъ коихъ одна сестра“, г. Кони напоминаетъ мнѣ автора не такъ давно изданнаго учебника или руководства стилистики, который столь же серьезно утверждалъ ту несомнѣнную истину, что нельзя писать: „посылаю вамъ пять куръ, изъ коихъ одинъ пѣтухъ“...

Вообще въ предисловіи г-на Кони непріятно поражаетъ диспропорція между настоящимъ багажомъ Горбунова и комментаріями къ нему автора предисловія. Напримѣръ, по поводу трехъ-четырехъ разсказовъ Горбунова, изъ которыхъ онъ особенно останавливается на „Воздушномъ шарѣ“ (какъ портной летѣлъ), г. Кони тревожитъ сочиненія Тарда, Сигеле, Густава Лебона, Альфреда Фуллье, Гауптмана, Л. Н. Толстого... Изъ веселаго разсказчика г. Кони непремѣнно хочетъ сдѣлать серьезнаго и глубокомысленнаго общественнаго дѣятеля, который будто бы ridendo castigat mores. Въ этомъ, кромѣ неудачнаго критическаго пріема, главная ошибка г. Кони, находящаяся въ тѣсной связи съ другой, не менѣе явной ошибкой.

„Дѣлясь съ публикой своимъ творчествомъ,—говоритъ г. Кони,—Горбуновъ никогда, какъ и подобаетъ истинному художнику, не поддѣлывался подъ ея подчасъ низменные вкусы. Онъ былъ нравописатель, но не льстецъ своихъ слушателей, не слуга ихъ измѣнчивыхъ и преходящихъ вкусовъ, не соискатель дешеваго успѣха дешевыми и не всегда опрятными средствами“.

Говоря о недавнемъ покойникѣ, я, по очень естественнымъ соображеніямъ, устраняю всякую мысль о „поддѣлкѣ подъ низменные вкусы“ и „не всегда опрятныхъ средствахъ“. Но, спрашивается, въ виду крайняго разнообразія своихъ аудиторій, могъ ли Горбуновъ не принимать въ соображеніе этого разнообразія? Изъ его воспоминаній видно, что онъ читалъ свои разсказы въ салонѣ графини Нессельроде, въ присутствіи грознаго московскаго генералъ-губернатора гр. Закревскаго, у великаго князя Константина Николаевича, у именитыхъ московскихъ купцовъ, въ петербургскомъ „высшемъ свѣтѣ“, въ кругу своего брата—артистовъ и нашего брата — писа-

телей. Гр. Шереметевъ говоритъ, что его „очень любилъ слушать покойный Государь Александръ II“. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ сообщаетъ тотъ же гр. Шереметевъ, „въ неописанный восторгъ“ приходилъ и Герценъ въ Лондонѣ. Я знаю одну частную гимназію, въ день годичнаго акта которой, послѣ оффиціальнаго торжества, Горбуновъ всегда что-нибудь разсказывалъ воспитанникамъ старшихъ классовъ. Однажды въ Москвѣ въ великомъ посту (который Горбуновъ обыкновенно проводилъ въ Москвѣ) мнѣ случилось завтракать съ Г. И. Успенскимъ въ „Славянскомъ Базарѣ“. Горбуновъ подсѣлъ къ намъ и смѣшилъ насъ въ теченіе минутъ двадцати, потомъ перешелъ къ другому столику, потомъ къ третьему, и смѣхъ переходилъ вслѣдъ за нимъ, а публика въ огромномъ залѣ „Славянскаго Базара“ была самая разнообразная. Кстати, я лично долженъ признаться въ своей невоспріимчивости и толстокожести: ничего, кромѣ веселаго смѣха, слышанные мною разсказы Горбунова во мнѣ не возбуждали. Утѣшаю себя тѣмъ, что я, повидимому, не составляю исключенія, ну, а на людяхъ и смерть красна. Гр. П. Шереметевъ, не менѣе г-на Кони преклоняющійся передъ талантомъ Горбунова, но смотрящій на дѣятельность покойнаго гораздо проще, эпиграфомъ къ своимъ „Отзвукамъ“ взялъ слова кн. Вяземскаго: „Пушкинъ неизмѣнно въ теченіе всей своей жизни утверждалъ, что все, что возбуждаетъ смѣхъ,—позволительно и здорово“. И, въ согласіи съ этимъ эпиграфомъ, гр. Шереметевъ сообщаетъ только такіе факты: „Взрывъ хохота былъ отвѣтомъ на это (намъ теперь все равно какое именно. Н. М.) напоминаніе“. Или: „Не могу не вспомнить здѣсь, какъ сочувственно отзывался Соловьевъ (Владиміръ) о талантѣ Горбунова и какъ смѣялся своимъ высокимъ звонкимъ смѣхомъ, который и посейчасъ стоитъ въ ушахъ, даже при моихъ слабыхъ попыткахъ читать вслухъ разсказы Горбунова“. Или еще: „Государь (Александръ II) въ тотъ вечеръ былъ въ дурномъ расположеніи духа, но когда вошелъ Горбуновъ, онъ внезапно оживился, наслаждался разсказами и отъ души смѣялся“.

Интересно слѣдующее сообщеніе гр. Шереметева, очевидно, много и при разныхъ обстоятельствахъ слышавшаго Горбунова: „Можно сказать съ увѣренностью, что онъ много зависѣлъ отъ аудиторіи и не разъ замѣчалось, что если онъ видѣлъ, что аудиторія не та, или есть кто-нибудь, вносящій холодъ, или вообще настроеніе не то, онъ совсѣмъ иначе разсказывалъ или даже умолкалъ... Онъ замѣчательно былъ чутокъ въ пониманіи той среды,

которая его слушала, а потому для болѣе широкаго круга и болѣе тѣснаго у него была огромная разница". Это вполнѣ естественно. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, то же и такъ же разсказывать въ великосвѣтскомъ салонѣ и на пріятельской пирушкѣ въ кругу писателей или артистовъ, Герцену и гимназистамъ, великому князю и московскому купцу. Напримѣръ, у Горбунова было много, такъ называемыхъ, „нецензурныхъ" въ спеціальномъ мыслѣ слова разсказовъ, разсказовъ „не для дамъ". Не во всякомъ же обществѣ онъ ихъ изображалъ. Но и кромѣ этого спеціальнаго случая, несомнѣнно, у Горбунова были разсказы, приноровленные къ такой-то аудиторіи и совершенно неудобные для другой. Гр. Шереметевъ сообщаетъ, между прочимъ, слѣдующій „любопытный *обрывокъ* изъ разговора министра:—Я вамъ *дѣло* говорю, а вы мнѣ все *законы тычете*". Одно изъ двухъ: или это злое слово не могло быть сказано въ присутствіи людей высокопоставленныхъ, или же (такъ какъ оно составляетъ „обрывокъ") оно было подано подъ благодушно-смѣхотворнымъ соусомъ и потому никакого министра не задѣвало.

Къ сочиненіямъ Горбунова, кромѣ предисловій издателя и г-на Кони, приложена некрологическая замѣтка тоже нынѣ уже покойнаго Т. И. Филиппова. Смерть Горбунова всколыхнула въ памяти Филиппова дни давно прошедшей молодости, когда они впервые сблизились; онъ не сомнѣвался, что вѣсть объ этой смерти „пронесется по всей Россіи до отдаленнѣйшихъ ея концовъ и вызоветъ всюду искреннюю печаль объ утратѣ высокаго художника родного слова и неподражаемаго живописца быта и нравовъ всѣхъ слоевъ русскаго народа". „Но,—продолжаетъ онъ, — мои особенныя отношенія къ почившему не дозволяютъ мнѣ молча проводить его въ могилу и повелительно требуютъ слова. Какъ свидѣтель всего пройденнаго имъ пути, какъ послѣдній за его смертью членъ того литературнаго кружка „молодого Москвитянина", въ которомъ онъ получилъ свое художественное воспитаніе, я погрѣшилъ бы и противъ его братской ко мнѣ дружбы, и противъ его близкихъ и почитателей если бы въ минуту земной съ нимъ разлуки остался безмолвнымъ и не послалъ бы ему прощальнаго привѣта". Такимъ образомъ, некрологическая замѣтка Филиппова есть вѣнокъ на свѣжую могилу талантливаго друга, вмѣстѣ съ которымъ былъ пережитъ âge des fleurs et du soleil. Преувеличенія въ такого рода произведеніяхъ такъ же естественны, какъ и ихъ трогательность. И, подъ впечатлѣніемъ этого прочувствованнаго слова, въ ту минуту, и

именно на эту минуту, могло показаться, что мы въ самомъ дѣлѣ потеряли не только талантливаго веселаго разсказчика, а и общественнаго дѣятеля въ гораздо болѣе широкомъ смыслѣ этого слова.

„Между произведеніями зрѣлой поры Горбунова,—писалъ Филипповъ,—внимательный взоръ можетъ отмѣтить не мало такихъ, которымъ, сверхъ ихъ художественнаго совершенства, нельзя отказать и въ важномъ общественномъ значеніи. Напримѣръ, когда бѣднягу портного изъ Гусева переулка взяли въ участокъ за его невинное намѣреніе летѣть съ нѣмцемъ въ воздушномъ шарѣ и когда изъ народа раздается голосъ: „и какъ это возможно безъ начальства летѣть?"—мысль не останавливается на забавномъ смыслѣ этого частнаго случая, но простирается далѣе его, къ болѣе важнымъ общественнымъ явленіямъ. Разсказъ о засѣданіи „Общества прикосновенія къ чужой собственности", вмѣстѣ съ взрывомъ неудержимаго хохота, вызываетъ (увы! вызывалъ) и взрывъ негодованія и унынія своимъ сходствомъ съ дѣйствительными нравами нашихъ общественныхъ дѣятелей, которые ни мало не стѣсняются тѣмъ, что „грабить не приказано". Разсказъ о „кражѣ брюкъ" есть правдивое и живое изображеніе изнанки быта судебныхъ учрежденій, взывающее объ исправленіи зла".

Эту то общую мысль Филиппова г. Кони и положилъ въ основаніе своего обширнаго предисловія, не миновавъ даже и тѣхъ трехъ разсказовъ, на которые указалъ Филипповъ. Но Филиппову могли, въ его особенномъ положеніи, слышаться „взрывы негодованія и унынія" по поводу тѣхъ или другихъ нашихъ порядковъ или непорядковъ, освѣщенныхъ разсказами Горбунова, а въ дѣйствительности то слышалъ ли ихъ кто-нибудь? „Взрывы неудержимаго хохота"—другое дѣло. Но смѣхъ смѣху рознь. Смѣхъ Гоголя или Салтыкова далеко не всѣмъ нравился, а вызывалъ, напротивъ, временами неистовую ненависть. Горбуновъ же былъ желаннымъ гостемъ вездѣ, онъ былъ всероссійскимъ и всесословнымъ любимцемъ, именно потому, что вызывалъ смѣхъ „позволительный" (см. эпиграфъ къ „Отзвукамъ" гр. Шереметева). Читаетъ онъ, напримѣръ, въ присутствіи московскаго генералъ-губернатора, грознаго гр. Закревскаго, разсказъ „Утро квартальнаго надзирателя", въ которомъ квартальный оказывается грубымъ, самовластнымъ взяточникомъ. Казалось бы, въ высшемъ начальникѣ этого квартальнаго разсказъ долженъ бы былъ, если не вызвать „взрыва негодованія и унынія", то хоть „взывать объ исправленіи зла". Ничуть не бывало,—грозный графъ

только смѣется, какъ смѣется и всякій маленькій обыватель, быть можетъ, терпящій обиду отъ этого самаго квартальнаго. Такъ „позволительно“ умѣлъ смѣшить Горбуновъ. Въ томъ то и дѣло, что даже самую возмутительную картину онъ умѣлъ предъявить такъ, что она возбуждала только веселый смѣхъ.

И г. Кони, и гр. Шереметевъ отчасти справедливо говорятъ, что только слышавшіе Горбунова могутъ дать настоящую цѣну его таланту и что смерть навсегда стерла эту страницу исторіи русскаго искусства. Только напрасно г. Кони тревожитъ по этому поводу память Кина, Гаррика, Тальмы и другихъ великихъ актеровъ, которые, дескать, въ свое время потрясали сердца современниковъ, а послѣдующимъ поколѣніямъ отъ нихъ ничего не осталось. Въ этомъ дѣйствительно заключается печальная для актера разница между его судьбою и судьбою поэта или писателя вообще, живописца, архитектора, скульптора, а съ изобрѣтеніемъ фонографа до извѣстной степени и пѣвца, и оратора. Но дѣло въ томъ, что, во-первыхъ, актеромъ Горбуновъ былъ весьма посредственнымъ (что признаетъ, кажется, и г. Кони), а во-вторыхъ, мы имѣемъ его печатныя произведенія, имъ самимъ или при его жизни изданныя, и, слѣдовательно, нѣкоторое понятіе о его художественныхъ силахъ составить себѣ можемъ.

Вышеупомянутый разсказъ о квартальномъ надзирателѣ Филипповъ называетъ „превосходнымъ, но немного грубоватымъ“. Въ дѣйствительности, на взглядъ безпристрастнаго читателя, онъ не „немного грубоватъ“, а прямо грубъ, и не „превосходенъ“, а просто плохъ. Къ сожалѣнію, онъ слишкомъ великъ, чтобы приводить его здѣсь, но вотъ одинъ изъ однородныхъ съ нимъ, но маленькихъ разсказовъ—„У пушки“:

— Ребята, вотъ такъ пушка!

— Да!..

— Ужъ оченно, сейчасъ умереть, большая!..

— Большая!

— А что, ежели теперича эту самую пушку, къ примѣру, зарядить да пальнуть...

— Да!

— Особливо, ядромъ зарядить.

— Ядромъ ловко, а ежели бонбой, ребята,—лучше.

— Нѣтъ, ядромъ лучше!

— Да бонбой дальше.

— Все одно, что ядро, что бонба!

— О, дуракъ—чортъ! Чай ядро особь статья, а бонба особь статья!
— Ну, что врешь-то!
— Вѣстимо! ядро теперича зарядятъ, прижгутъ: оно и летитъ.
— А бонба?
— Чаво бонба?
— Ну, ты говоришь—ядро летитъ... а бонба?
— А бонба другое.
— Да чаво другое-то?
— Бонбу, ежели какъ ее вставятъ, такъ-то... туда...
— Такъ что же?
— Бонбу...
— Ну?
— Вставятъ... и ежели оттеда...
— Чаво оттеда...
— Ничаго, а какъ собственно... пошелъ къ чорту!

Смѣю думать, всякій, прочитавъ этотъ разсказъ, согласится со мной, что въ немъ нѣтъ ни содержанія, ни красоты формы, ни наблюдательности, ни знанія народа. Перечитывая сочиненія Горбунова, я по совершенно случайному поводу заглянулъ въ сочиненія Николая Успенскаго, писателя, выступившаго примѣрно въ одно время съ Горбуновымъ, но нынѣ совершенно забытаго—и напрасно. Есть у Николая Успенскаго разсказы и сцены очень грубые, но есть и такіе, которые и сравнивать нельзя даже съ лучшими разсказами Горбунова, а не только съ этой аляповатой „Пушкой". А затѣмъ мнѣ припомнились и нѣкоторые другіе писатели конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ, у которыхъ—да простятъ мнѣ пламенные почитатели Горбунова—онъ недостоинъ развязать ремень у сапога, какъ художникъ, не говоря о другихъ сторонахъ дѣла. Но—habent sua fata libelli... Впрочемъ, въ данномъ случаѣ дѣло не въ книгахъ и не фатумѣ, олицетворяемомъ художественнымъ капризомъ гг. Маркса, Кони и Шереметева. Въ наслѣдіи Горбунова есть вещи гораздо болѣе тонкія, чѣмъ „Пушка", но они всетаки, *какъ печатныя произведенія,* не выходятъ изъ предѣловъ посредственности, тогда какъ совсѣмъ плохіе разсказы въ родѣ „Утро квартальнаго надзирателя", „Мастерового", „У пушки" и т. п. по крайней мѣрѣ заставятъ *читателя* задуматься: что же тутъ хорошаго или даже просто смѣшного? Отвѣтъ на этотъ вопросъ и опредѣляетъ цѣну таланта Горбунова. Я не берусь судить о писаніяхъ Горбунова на старомъ русскомъ языкѣ XVII и XVIII столѣтія, которыя, говорятъ, соблазняли даже ученыхъ спеціалистовъ, все равно какъ его рѣчи на незнакомомъ ему англійскомъ языкѣ, въ которыхъ не было ан-

глійскихъ словъ, а были только англійскіе звуки, вводили, говорятъ, въ заблужденіе англичанъ. Дѣло тутъ было, во всякомъ случаѣ, въ его необыкновенной подражательной способности. А если прибавить столь же необыкновенную мимику лица и гибкость оттѣнковъ голоса, то станетъ понятно, почему такіе, въ чтеніи ни мало не остроумные и не смѣшные разсказы, какъ „У пушки“ и т. п., вызывали въ передачѣ самого автора „взрывы неудержимаго смѣха“.

Повторяю, у Горбунова есть сцены и разсказы, гораздо болѣе серьезные, болѣе остроумные и вообще несравненно лучшіе, чѣмъ „Пушка“ или „Квартальный надзиратель“. Я только хочу, по старинному выраженію, перегнуть лукъ въ другую сторону, потому что слишкомъ ужъ круто стянулъ его г. Кони тетивой своихъ собственныхъ, возвышенныхъ, хотя и довольно банальныхъ размышленій. Есть, однако, въ числѣ ихъ одно очень вѣрное замѣчаніе: въ разсказахъ Горбунова „нѣтъ дѣйствующихъ лицъ чужой національности, съ ихъ неправильнымъ и комическимъ выговоромъ русскихъ словъ, съ особенностями ихъ произношенія, съ ихъ жаргономъ“. Дѣйствительно, Горбуновъ никогда не унижался до такъ называемыхъ еврейскихъ, чухонскихъ, армянскихъ разсказовъ, хотя его необыкновенная подражательная способность и сулила ему именно въ этой области, правда, очень дешевые, но за то и обильные лавры. За то оговорки требуетъ другое по существу справедливое замѣчаніе г-на Кони. „Едва ли—говоритъ онъ—нужно напоминать разсказы Горбунова изъ купеческаго быта, изображающіе гульбу на ярмаркѣ въ Нижнемъ, различныя семейныя сцены и т. п. Все это чрезвычайно характерно, выпукло, но, представляя разработку тѣхъ же типическихъ особенностей этого быта, которыя такъ ярко очерчены въ комедіяхъ А. Н. Островскаго, не превосходитъ послѣднія ни по мастерству, ни по богатству оттѣнковъ и языку“... „Не превосходитъ“!.. Г. Кони очень снисходителенъ къ Островскому! Въ дѣйствительности всѣ этого рода произведенія Горбунова представляютъ собою блѣдныя варьяціи на темы Островскаго. И, конечно, покойный разсказчикъ, преисполненный искренняго и глубокаго уваженія къ покойному драматургу, самъ первый горячо протестовалъ бы противъ этого „не превосходитъ“...

Во второмъ томѣ сочиненій Горбунова есть не безъинтересные „Отрывки изъ воспоминаній“. Къ сожалѣнію, въ этихъ воспоминаніяхъ не достаетъ момента, вѣроятно интереснѣйшаго изо всей жизни

Горбунова,—пребыванія въ кружкѣ такъ называемаго „молодого Москвитянина". Ему посвящена всего одна страничка, на которой поминаются Островскій, Писемскій, Эдельсонъ, Алмазовъ, Аполлонъ Григорьевъ. На собраніяхъ этого кружка, кромѣ того, „за душу хватала русская пѣсня въ неподражаемомъ исполненіи Т. И. Филиппова; ходенемъ ходила гитара въ рукахъ М. А. Стаховича; сплошной смѣхъ раздавался отъ разсказовъ Садовскаго; Римомъ вѣяло отъ итальянскихъ пѣсенокъ Рамазанова... Не пренебрегалъ этотъ кружокъ и дикимъ сыномъ степей, кровнымъ цыганомъ Антономъ Сергѣевичемъ, необыкновеннымъ гитаристомъ и купцомъ „изъ русскихъ" Михаиломъ Ефремовичемъ Соболевымъ, голосъ котораго не уступалъ пѣвцу Маріо". Еще нѣсколько именъ,—и этимъ исчерпываются воспоминанія Горбунова о кружкѣ „молодого Москвитянина", въ которомъ онъ получилъ свое художественное воспитаніе...

Не удивительно, что въ этихъ воспоминаніяхъ занимаютъ такое, на первый взглядъ, непропорціональное мѣсто пѣніе Филиппова, гитара Стаховича, пѣсни Рамазанова, цыгана Антона Сергѣевича и купца Соболева. Г. Барсуковъ въ своемъ безконечномъ сочиненіи „Жизнь и труды М. П. Погодина" говоритъ, между прочимъ: „Съ пѣсеннымъ богатствомъ русскаго народа членовъ кружка „молодого Москвитянина" познакомилъ Т. И. Филипповъ. Собственно говоря, она, эта пѣсня, и была главною силою, постепенно слагавшею, вырабатывавшею и выяснявшею основное міровоззрѣніе кружка" (XI, 61). До какой, въ самомъ дѣлѣ, степени пѣсня лежала, если не въ центрѣ, то въ исходной точкѣ міровоззрѣнія „молодой редакціи Москвитянина", видно изъ слѣдующаго случая. Однажды Аполлонъ Григорьевъ, введенный въ кружокъ Филипповымъ, былъ на вечерѣ у Островскаго. Въ концѣ вечера попросили Филиппова спѣть, и „послѣ одушевленно пропѣтой имъ пѣсни, которая на всѣхъ произвела впечатлѣніе, Григорьевъ упалъ на колѣни и просилъ кружокъ усвоить его себѣ, такъ какъ въ его направленіи онъ видитъ правду, которой искалъ въ другихъ мѣстахъ и не находилъ, а потому былъ бы счастливъ, если бы ему позволили здѣсь бросить якорь" (тамъ-же, 88). Разумѣется, при этомъ „было выпито", но дѣло въ томъ, что какъ писалъ потомъ самъ Григорьевъ, весь кружокъ былъ „молодой, смѣлый, пьяный, но честный и блестящій дарованіями". Эта молодая, веселая и дѣйствительно талантливая банда, представляя собою отрогъ славянофильства, стояла, однако, особо и отъ старшихъ славянофиловъ, съ одной стороны, и отъ Шевырева и Погодина,

„подъ предводительствомъ“ котораго они выступали въ „Москвитянинѣ“—съ другой. Для первыхъ они были слишкомъ богема, слишкомъ „веселы“, для вторыхъ—слишкомъ искренни.

Началось дѣло съ пѣсни, но—говоритъ г. Барсуковъ — „открывая и бытовыя особенности, и историческій складъ, и вѣковѣчные идеалы русскаго народа, та же пѣсня побудила членовъ кружка основательно вглядѣться въ значеніе Петровской реформы, какъ бы разрѣзавшей всю историческую Русь пополамъ“. Положимъ, „основательности“ тутъ было не много, но за то молодого и „веселаго“ задора—больше, чѣмъ нужно. Такъ введенный въ кружокъ Алмазовымъ его товарищъ по пансіону, Зедергольмъ, впослѣдствіи о. Климентъ Оптинскій, „тогда еще протестантъ, сынъ протестантскаго пастора, подъ вліяніемъ одной изъ бесѣдъ, вдругъ объявилъ, что для того, чтобы стать русскимъ, онъ непремѣнно приметъ православіе, если только Филипповъ согласится быть его воспріемникомъ... Тотъ же Зедергольмъ, подъ вліяніемъ случайной рюмки вина, котораго онъ вообще никогда не пилъ, такъ увлекся въ одномъ разговорѣ негодованіемъ на Петра, что объявилъ, что убьетъ его, и при томъ разорвалъ свою студенческую фуражку“ (Барсуковъ, XI, 63). Цвѣтъ и краса кружка, художественная звѣзда первой величины, Островскій, до сближенія съ Филипповымъ, былъ ярый „западникъ“ Онъ говорилъ, что ему противенъ самый видъ Кремля съ его соборами, и однажды огорошилъ Филиппова вопросомъ: „для чего здѣсь настроены эти пагоды?“ Но затѣмъ — повѣствуетъ Филипповъ — однажды „за пріятельской пирушкой“ Островскій провозгласилъ: „Съ Тертіемъ (Филипповымъ) да съ Провомъ (Садовскимъ) мы все Петрово дѣло назадъ повернемъ“. Эти молодыя благоглупости „за пріятельской пирушкой“, конечно, не замедлили соскочить съ Островскаго, да и огромный талантъ его, вполнѣ оцѣненный и „западниками“, не могъ засидѣться въ рамкахъ „молодого Москвитянина“. То же было и съ другими крупными талантами — Писемскимъ, Потѣхинымъ, для которыхъ журналъ Погодина былъ лишь временнымъ пристанищемъ, и Погодинъ, который вдобавокъ и не умѣлъ цѣнить своихъ безпутныхъ, но талантливыхъ сотрудниковъ, остался, наконецъ, въ положеніи рака на мели. Такъ навсегда и закрылась эта маленькая, но любопытная страничка изъ исторіи русской литературы.

Навсегда ли, впрочемъ, она закрылась?

Въ кружкѣ „молодой редакціи Москвитянина“ было много ху-

дожниковъ—поэтовъ, пѣвцовъ, музыкантовъ, актеровъ и очень мало политиковъ въ широкомъ смыслѣ этого слова. Трудно поэтому съ достаточною ясностью формулировать его политическую программу, какъ нѣчто самостоятельное, отдѣльное отъ славянофильства. Если Островскій и обѣщалъ „съ Тертіемъ да съ Провомъ все Петрово дѣло назадъ повернуть", а Зедергольмъ даже убить Петра собирался, въ задатокъ чего разорвалъ свою студенческую фуражку, то вѣдь это, не смотря на всю энергію словъ и дѣйствій, еще не политическая программа. Едва ли не самое ясное и достовѣрное изложеніе пунктовъ сходства и различія между „молодымъ Москвитяниномъ" и славянофилами находимъ въ письмѣ Ап. Григорьева къ Кошелеву, который приглашалъ его въ 1856 г. сотрудничать въ „Русской Бесѣдѣ". Григорьевъ писалъ: „Главнымъ образомъ мы расходимся съ вами во взглядѣ на Искусство, которое для васъ имѣетъ значеніе только служебное, для насъ совершенно самостоятельное, если хотите, даже высшее, чѣмъ Наука... Въ ученіи о самостоятельности развитія, о непреложности Православія, мы (по крайней мѣрѣ, я лично) охотно признаемъ васъ старшими, а себя учениками... Глубоко сочувствуя, какъ вы же, всему разноплеменному Славянскому, мы убѣждены только въ особенномъ превосходствѣ начала Великорусскаго передъ прочими и, слѣдовательно, здѣсь болѣе исключительны, чѣмъ вы, — исключительны даже до нѣкоторой подозрительности, особенно въ отношеніи къ началамъ Ляхитскому и Хохлатскому. Убѣжденные, какъ вы же, что залогъ будущаго Россіи хранится только въ классахъ народа, сохранившаго вѣру, нравы, языкъ отцовъ, въ классахъ нетронутыхъ фальшею цивилизаціи, — мы беремъ таковымъ исключительно *одно* крестьянство: въ классѣ среднемъ, промышленномъ, купеческомъ по преимуществу, видимъ старую, извѣчную Русь, съ ея дурнымъ и хорошимъ, съ ея самобытностью и, пожалуй, съ ея подражательностью... Значитъ, здѣсь мы менѣе, чѣмъ вы, исключительны, коли хотите, менѣе, чѣмъ вы, цѣломудренны". (Барсуковъ, XIV, 367). Какъ истый членъ редакціи „молодого Москвитянина", Григорьевъ оканчиваетъ это изложеніе пунктовъ сходства и различія конкретнымъ примѣромъ изъ области искусства. Онъ отмѣчаетъ „*большее* сравнительно съ вами поклоненіе Пушкину и *меньшее* сравнительно съ вами поклоненіе Гоголю"...

Я не имѣю въ виду подвергать эту программу разбору, но хочу отмѣтить въ ней одинъ пробѣлъ, повидимому, чрезвычайной важ-

ности. Прежде, чѣмъ приглашать Григорьева въ „Русскую Бесѣду", Кошелевъ думалъ соединиться въ „Москвитянинѣ" съ самимъ Погодинымъ, которому писалъ, между прочимъ, о „движеніи въ пользу возвращенія Русскому языку полнаго господства въ общественномъ и семейномъ быту. Также—продолжалъ онъ—толки въ пользу Русскаго платья, многихъ Русскихъ обычаевъ и пр. теперь, кажется, весьма своевременны и умѣстны. Объ этомъ предметѣ намъ необходимо потолковать и условиться. Можно дѣйствовать и чрезъ рукописи". Какое волненіе вызывалъ въ это время вопросъ о бородѣ и русскомъ платьѣ, видно изъ слѣдующаго букета, собраннаго г. Барсуковымъ.

„Склонность государя допустить Русское платье и бороду весьма обрадовала славянофиловъ. „Здѣсь всѣ радуются—писалъ Хомяковъ къ Гильфердингу - проявленію стремленія къ *народному* и *Русскому*. Не знаю, какъ въ Питерѣ. Освобожденіе отъ наружнаго подражанія важно, какъ знамя, вызывающее освобожденіе мысли отъ чужого авторитета, какъ вызовъ къ самомышленію. Въ добрый часъ молвить". О томъ же писалъ Хомяковъ и А. Н. Попову: „Здѣсь всѣ радуются Русской одеждѣ или стремленію къ ней. Такъ ли у васъ въ Питерѣ? Даже прежніе враги Русскаго платья повеселѣли, какъ будто они сами его желали, да желать не смѣли". И. С. Аксаковъ извѣщалъ своихъ родителей, что „камергерамъ и придворнымъ чинамъ даются какія-то богатыя Русскія платья". Въ другихъ своихъ письмахъ И. С. Аксаковъ писалъ: ...Камергеровъ переименовываютъ въ стольниковъ, камеръюнкеровъ — въ ключниковъ". „Придворныя новости — писалъ Погодину П. С. Савельевъ — состоятъ покуда только въ проектахъ новыхъ мундировъ. Придворнымъ чинамъ хотятъ дать боярскіе кафтаны и бобровыя шапки"... А. И. Кошелевъ съ торжествомъ извѣщаетъ Погодина о слѣдующемъ: „Скажу вамъ радость. Въ Сапожковскомъ уѣздѣ начинаютъ носить Русское платье. На дняхъ, на обѣдѣ, было семь, а въ будущую субботу должно быть за столомъ у насъ девять человѣкъ въ Русскихъ платьяхъ. Теперь въ Сапожковскомъ уѣздѣ надѣли Русское платье пять Кошелевыхъ, три Ивановскихъ, трое Протасовыхъ, одинъ Колюбакинъ, всего двѣнадцать человѣкъ. Есть надежда, что эта мода перейдетъ и за границы Сапожковскаго уѣзда". Супруга же А. И. Кошелева, Ольга Ѳедоровна, представила Погодину изъ Песочни цѣлое разсужденіе о необходимости облечься въ Русское платье... И. С. Аксаковъ спрашивалъ своихъ родителей: „Серьезно надѣваетъ Самаринъ Русское

платье или такъ, чтобы иногда тѣшить себя дома? Видно приспѣваетъ время".

Дѣло было въ 1855 и 1856 гг., когда еще гремѣли въ Севастополѣ пушки, а вступленіе на престолъ императора Александра II разстилало передъ русскими людьми далекія и свѣтлыя перспективы. И въ эти-то годы „приспѣло время"... для мурмолокъ и поддевокъ! Я отнюдь не хочу внушить читателямъ впечатлѣніе, будто славянофилы ни о чемъ, кромѣ боярскихъ кафтановъ и бобровыхъ шапокъ или переименованія камергеровъ въ стольниковъ, въ это тревожное время не думали. Приглашаю припомнить и то смягчающее обстоятельство, что въ царствованіе императора Николая I такъ называемое русское платье и борода подвергались гоненію. Но всетаки — tant de bruit pour une omelette, сказалъ бы французъ... И тѣмъ болѣе удивительны всѣ эти треволненія, что, какъ сообщаетъ въ одномъ изъ своихъ писемъ Иванъ Аксаковъ, „въ отвѣтъ о бородѣ и Русскомъ платьѣ вообще" новый государь отвѣтилъ словами, представляющими своею простотою рѣзкій контрастъ всѣмъ этимъ тревогамъ и восторгамъ: „А мнѣ какое дѣло? Пусть одѣваются, какъ хотятъ". А когда ему предлагали дать дѣлу о бородѣ и русскомъ платьѣ оффиціальный толчокъ и съ этою цѣлью представляли рисунки боярскихъ костюмовъ, „онъ сказалъ, что теперь покуда онъ это дѣло отложитъ, но — прибавляетъ Аксаковъ уже собственную догадку — изъ всѣхъ словъ видно, что ему очень хочется ввести Русское платье". Эта догадка, какъ извѣстно, не оправдалась — хотя П. С. Савельевъ и имѣлъ удовольствіе сообщить Погодину: „Л. А. Перовскій надѣлъ уже стрѣлковый кафтанъ, Русскіе сапоги и генеральскіе эполеты; впервые является при дворѣ русскій кафтанъ со звѣздами". Во всякомъ случаѣ императоръ Александръ былъ глубоко правъ, когда говорилъ, что „покуда" можно бы и отложить заботы о покроѣ платья. Въ самомъ дѣлѣ, до того ли, казалось бы, въ это горестное и вмѣстѣ радостное время было, чтобы принимать такъ близко къ сердцу вопросы о кафтанѣ или сюртукѣ, мурмолкѣ или шляпѣ. А между тѣмъ серьезные люди волновались, скорбѣли, радовались, негодовали... И замѣчательно, что для практическаго рѣшенія этихъ столь волновавшихъ ихъ вопросовъ они ждали оффиціальнаго толчка, хотя ничто не мѣшало имъ наряжаться по собственному вкусу. Оффиціальнаго толчка не послѣдовало, и помѣщики Сапожковскаго уѣзда поснимали свои кафтаны и косоворотки, равно какъ и Хомяковъ, который a bien mérité de

la patrie тѣмъ, что отваживался являться въ такомъ видѣ въ великосвѣтскихъ петербургскихъ салонахъ.

Такъ вотъ по этому-то важному вопросу мы и не находимъ никакихъ указаній въ письмѣ Аполлона Григорьева къ Кошелеву. Надо, однако, думать, что въ этомъ отношеніи существовала полная солидарность между „молодымъ Москвитяниномъ" и „старшими славянофилами". Принимая въ соображеніе преобладаніе художественнаго элемента въ кружкѣ молодой редакціи „Москвитянина", слѣдуетъ предполагать, что онъ, этотъ кружокъ, съ еще большею пылкостью отстаивалъ права охабня и косоворотки.

„Молодой Москвитянинъ" умеръ, распустившись по частямъ въ томъ самомъ „западничествѣ", съ которымъ такъ пламенно сражался. Умерло и славянофильство, и клочья его когда-то гордаго знамени, истрепанные, загрязненные, переходя изъ рукъ въ руки, вѣютъ, наконецъ, надъ головами даже такихъ людей, какъ г. Шараповъ или г. Комаровъ... Ихъ, пожалуй, и не мало, этихъ исправляющихъ должность старшихъ славянофиловъ и молодыхъ Москвитянъ. Но какъ все это мелко, не смотря на ходули, и блѣдно, не смотря на румяна!

Московское отдѣленіе славянскаго благотворительнаго общества послало на пражскій „слетъ соколовъ" хоругвь и получило отъ пражскаго славянскаго общества благодарственное письмо, на которое отвѣчало слѣдующей телеграммой отъ 16 сентября:

„Славянство растетъ; оно становится все грознѣе своей громадностью, какъ надвигающаяся на горизонтѣ туча. И со страхомъ глядятъ народы на эту тучу; съ трепетомъ ждутъ: чѣмъ-то разразится она: яркой молніей, сокрушающимъ громомъ или всеоживляющимъ дождемъ? Гроза, вѣдь, Божья благодать! Гроза гнилую сосну изломаетъ—и цѣлый боръ дремучій оживитъ. Пришла гроза,—все гнется. Но когда она прошла,—яснѣе небо, ярче солнце свѣтитъ и призываетъ къ обновленной жизни. Ярче заблещетъ зелень. Звонче побѣгутъ ручьи. Міръ оживляется. Много грозъ проносилось и пронеслось надъ славянствомъ, но каждая гроза оживляла его, — скрѣпляла прочнѣе узы братства, плотнѣе заставляла сдвигаться ряды. И все необоримѣй становилось славянство и выше! Вы, братья соколы, сумѣли соединиться на слетѣ въ силу грозную, братскую. И вотъ, когда, по примѣру вашего слета, мыслями и силами сольются всѣ славяне въ единой идеѣ—какъ оно было въ златой Прагѣ,—настанетъ золотое время славянства. Будемъ же съ сердцемъ трепетнымъ ждать оной минуты и будемъ постоянно стремиться и подготовлять ее. Такъ и будетъ. Хвала вамъ! На здаръ!".

„На здаръ"! Но какою фальшью дышетъ эта заимствованная у

старыхъ славянофиловъ риторика, и у нихъ-то бывшая однимъ изъ слабыхъ мѣстъ. Бываетъ, конечно, гроза, послѣ которой и небо яснѣе, и зелень зеленѣе, и дышать легче, но историческія грозы бываютъ и иного характера. И хоть „съ трепетомъ ждутъ народы" грозы изъ славянской тучи, но вѣдь не Чингисханову же или Батыеву грозу, отъ косвеннаго, а частію и прямого наслѣдства которой мы до сихъ поръ не отдѣлались, пророчитъ славянское благотворительное общество. „Слетъ соколовъ", не смотря на свое пышное названіе, есть, пока что, только съѣздъ гимнастическихъ обществъ. Допуская, что въ будущемъ чешскимъ „соколамъ" предстоитъ сыграть важную политическую роль, думали-ли когда-нибудь члены московскаго отдѣленія славянскаго благотворительнаго общества о томъ, какъ можно и должно „подготовлять оную минуту", и если думали, то что дѣлали для этого подготовленія? Хорошо ли, дурно ли то, что они въ этомъ направленіи дѣлали, но безъ этихъ дѣлъ всѣ ихъ „грозы", „трепеты", „сокрушающіе громы" и проч.— только слова, слова, слова. Слова эти могутъ быть приняты въ серьезъ чехами, частью изъ политическихъ видовъ, частью по ихъ невѣжеству относительно нашихъ русскихъ дѣлъ, но у насъ они только смѣшны. И прежде, чѣмъ приводить въ трепетъ другіе народы или обѣщать имъ ниспроверженіе гнилыхъ сосенъ, не мѣшало бы о собственныхъ дѣлахъ позаботиться. А то, чего добраго, и въ „оную минуту", если она когда-нибудь наступитъ, мы только „на здаръ!" прокричимъ. Ну-ка, господа славянскаго благотворительнаго общества, попробуйте „соединиться на слетѣ въ силу", хотя бы и не очень грозную...

Не обходится у насъ нынѣ дѣло и безъ волненій по поводу охабней и косоворотокъ. Въ прошломъ году появились въ газетахъ сообщенія о какомъ-то обществѣ, имѣющемъ образоваться съ цѣлью именно пропаганды русскаго платья взамѣнъ сюртуковъ, фраковъ, пиджаковъ и проч. А въ нынѣшнемъ году объявилось и самое общество подъ названіемъ „Русское Собраніе", имѣющее, впрочемъ, повидимому, болѣе широкія цѣли. Какія именно, — для меня несовсѣмъ ясно. Одинъ изъ учредителей общества, С. Н. Сыромятниковъ (Сигма), самимъ кн. Мещерскимъ одобренный, да и въ другихъ сферахъ, кажется, заслужившій одобреніе, издалъ книгу подъ заглавіемъ „Опыты русской мысли", снабдивъ ее такимъ посвященіемъ: „Русскому Собранію опыты эти съ надеждою приноситъ авторъ". Что именно надѣется г. Сигма получить отъ „Русскаго

Собранія" или при его посредствѣ,—неизвѣстно, но я ожидалъ найти въ книгѣ что-нибудь разъясняющее цѣли „Русскаго Собранія". Къ сожалѣнію, книга оказалась нѣкоторою умственною чехардою, которая, можетъ быть, и оправдаетъ надежды автора, но ровно ничего не объясняетъ. Знаю я, далѣе, статью А. В. Васильева въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ", съ великими, но тщетными усиліями разъясняющую первый параграфъ устава общества. Знаю и этотъ уставъ. Знаю изъ газетъ, что на обѣденныхъ меню „Русскаго Собранія" значится „зелено вино", вина „ренскія и фряжскія", „таймень ладожская" съ „варяжской" подливкой и т. п. Знаю кое-что изъ рѣчей, сказанныхъ въ „Русскомъ Собраніи" недавно. И только. Это очень немного, но постараюсь извлечь изъ этого немного, что сумѣю.

Уставъ общества гласитъ:

Ст. 1.

„Русское Собраніе" имѣетъ цѣлью содѣйствовать выясненію, укрѣпленію въ общественномъ сознаніи и проведенію въ жизнь исконныхъ творческихъ началъ и бытовыхъ особенностей русскаго народа.

Ст. 2.

„Русское Собраніе" ставитъ ближайшими задачами своей дѣятельности:

а) изученіе явленій русской и славянской народной жизни въ ея настоящемъ и прошломъ;

б) разработку вопросовъ русской и вообще славянской словесности, художествъ, народовѣдѣнія, права и народнаго хозяйства, а также изслѣдованіе всѣхъ другихъ проявленій русской и славянской духовной и обиходной самобытности;

в) охраненіе чистоты и правильности русской рѣчи.

Для достиженія этихъ цѣлей „Русскому Собранію" предоставляется, между прочимъ, „основывать и содержать на средства Собранія книгохранилища и читальни, а также учрежденія, имѣющія цѣлью распространеніе русскаго зодчества, русской одежды, русской утвари и т. п.".

Я полагаю, что господа учредители „Русскаго Собранія", прежде чѣмъ основывать спеціальныя учрежденія для распространенія русскаго зодчества, русской одежды и проч., начнутъ съ себя самихъ. А. С. Суворинъ сломаетъ свой домъ въ Эртелевомъ переулкѣ и построитъ новый, поменьше, потому что русскаго зодчества къ этакой махинѣ не приспособишь, и облачится въ парчевой боярскій кафтанъ. И какъ къ нему будетъ идти этотъ живописный нарядъ! В. В. Комарову я предложилъ бы нарядиться Ильей Муромцемъ,

какъ онъ изображенъ на картинѣ Васнецова: желѣзный шишакъ, кольчуга, мечъ-кладенецъ. Бѣлоснѣжную чистоту души В. Л. Величка символически прекрасно выразитъ бѣлоснѣжный костюмъ рынды. А С. Н. Сыромятникову я предложилъ бы цвѣтной кафтанъ земскаго ярыжки,—такой былъ въ древней Руси, до преобразованія полиціи на европейскій манеръ, слѣдовательно, соотвѣтствовавшій „исконнымъ творческимъ началамъ и бытовымъ особенностямъ русскаго народа" полицейскій чинъ. „При процессіяхъ или поѣздахъ двора ярыжки шли впередъ съ лопатою и метлою, чтобы очищать путь, и могли брать подъ стражу нарушителей спокойствія" („Русскій Энциклопедическій словарь" Березина). Если меня спросятъ, почему я предлагаю г. Сигмѣ именно этотъ костюмъ, то я укажу на стр. 14 его „Опытовъ русской мысли", гдѣ доказывается, что мы должны поставлять въ Китай „урядниковъ, становыхъ и исправниковъ", какъ насадителей порядка. Это то и навело меня на мысль о земскихъ ярыжкахъ.

Боюсь, однако, что мой проектъ не будетъ принятъ, что г. Суворинъ, пожалуй, еще одинъ этажъ воздвигнетъ на своемъ домѣ и будетъ являться на обѣды „Русскаго Собранія" въ обыкновеннѣйшемъ фракѣ; г. Сигма отвергнетъ кафтанъ земскаго ярыжки или, по крайней мѣрѣ, потребуетъ, чтобы буквы З. Я., которыя нашивались на груди ярыжки, были спороты,—онъ скроменъ и предпочтетъ, пожалуй, инкогнито; на нарядъ Ильи Муромца, предоставленный мною г. Комарову, изъявитъ претензію г. Н. Энгельгардтъ и т. п. Выйдутъ непріятности...

Да, непріятности возможны, въ особенности въ виду неясности и неопредѣленности выраженія „исконныя творческія начала". Г. Васильевъ бился, бился надъ этими исконными творческими началами, подходилъ къ нимъ и такъ, и этакъ, и отъ писанія, и отъ преданія, и всетаки ничего опредѣленнаго не добился, кромѣ развѣ „народнаго строя одежды". Передъ выше-упомянутымъ обѣдомъ съ „зеленымъ виномъ", „ренскими и фряжскими винами" и „варяжской" подливкой, о. Г. Петровъ обратился къ собранію съ рѣчью, въ которой доказывалъ, что, „борясь на восточныхъ окраинахъ съ варварствомъ, Русь боролась и внутри себя съ варварствомъ, и ей не стыдно стать лицомъ къ лицу съ Европой". „Англичанинъ Гоббсъ—продолжалъ о. Петровъ—закономъ жизни считаетъ войну всѣхъ противъ всѣхъ; у насъ въ селѣ Муромѣ родители Ильи Муромца, напутствуя его въ жизнь, говорятъ: „Не помысли злова на татарина,

не убей въ чистомъ полѣ христіанина". Выяснить вотъ эту глубину и красоту народнаго русскаго генія—великая задача", способствовать рѣшенію которой ораторъ и рекомендуетъ „Русскому Собранію".

О, если бы благодушный г. Петровъ оказался правъ!—правъ не относительно прошедшаго: тутъ онъ завѣдомо неправъ, ибо много и много грязи и крови уродуетъ „красоту и глубину народнаго русскаго генія" въ исторіи. Но это прошлое, а кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ, и быль молодцу не укоръ, но именно быль, то есть то, что было, быльемъ поросло и никогда не возродится. А можетъ ли г. Петровъ, положа руку на сердце, по совѣсти сказать, что даже члены-учредители „Русскаго Собранія", напримѣръ, хоть глазетовый бояринъ Суворинъ или желѣзный витязь Комаровъ, или бѣлоснѣжный рында Величко держатся въ настоящемъ и будутъ держаться въ будущемъ золотого правила родителей Ильи Муромца: „не помысли злова на татарина, не убей въ чистомъ полѣ христіанина"? Родители Ильи Муромца только и знали, что татаръ и христіанъ. Мы же научились различать—и даже слишкомъ различать—евреевъ, армянъ, поляковъ, финновъ. Все это были бы татары для родителей Ильи Муромца. И пусть же скажетъ о. Петровъ, что глазетовый бояринъ „не помыслитъ злова на татарина", да и на христіанина, то есть русскаго, не замахнется клеветой или подвохомъ. А бѣлоснѣжный рында? Я только что прочиталъ въ газетахъ слѣдующее сообщеніе изъ Москвы:

Вчера у мирового судьи тверского участка разбиралось театральное дѣло. Обвинялся студентъ Вартаньянцъ. Изъ обстоятельствъ дѣла выяснилось, что 2-го октября, въ Маломъ театрѣ, на второмъ представленіи пьесы г. Величко „Нефтяной фонтанъ", послѣ второго дѣйствія, поднялся шумъ, раздались крики, брань и сильный свистъ по адресу автора, такъ что потребовалось вмѣшательство полиціи. Нѣсколько человѣкъ, въ томъ числѣ и Вартаньянцъ, были удалены изъ театра. Обвиняемый объяснилъ, что онъ былъ возмущенъ анти-національными тенденціями пьесы, вслѣдствіе чего и выражалъ свое неодобреніе. Мировой судья, признавъ, что это объясненіе можетъ служить лишь смягченіемъ вины, но не оправданіемъ, приговорилъ Вартаньянца, на основаніи 39 ст. уст. о нак., къ штрафу въ 5 руб.

Пятирублевый штрафъ, можетъ быть, слишкомъ тяжелое наказаніе для бѣднаго студента, но нельзя всетаки не привѣтствовать мирового судью, который призналъ смягчающее вину подсудимаго обстоятельство въ содержаніи пьесы члена-учредителя „Русскаго Собранія" бѣлоснѣжнаго рынды Величко. Позволительно думать, что

самая затѣя „Русскаго Собранія“ идетъ какъ разъ въ разрѣзъ съ тѣмъ принципомъ, который желалъ бы вложить въ него о. Петровъ, и что учрежденіе это грозитъ намъ совсѣмъ не невинными охабнями, мурмолками и косоворотками, а новой тяжелой смутой. По поводу мерзостей, появившихся недавно въ „Гражданинѣ“ далеко, впрочемъ, не въ первый разъ, кн. Мещерскій былъ названъ въ печати провокаторомъ. И это вѣрно. И пора же, наконецъ, указать истинныхъ виновниковъ той смуты, въ которой гибнутъ наши сыновья и дочери, наши младшіе братья и сестры,—виновниковъ, такъ беззастѣнчиво валящихъ бѣду съ больной головы на здоровую...

V *).

Объ одномъ неосновательномъ мнѣніи. — „Разсказы“ Леонида Андреева.— Страхъ смерти и страхъ жизни.—Нѣсколько словъ „Финляндской Газетѣ“.

Существуетъ мнѣніе,—мнѣ не разъ приходилось выслушивать его отъ заинтересованныхъ людей,—будто въ редакціяхъ журналовъ не читаютъ рукописей неизвѣстныхъ авторовъ, будто нужна „протекція“, чтобы статья была напечатана или даже только прочитана, будто вообще печатаются только произведенія личныхъ знакомыхъ и „знаменитостей“. Это одно изъ самыхъ неосновательныхъ представленій о редакціонныхъ порядкахъ. И не только неосновательно это представленіе, а и обидно. Члены редакцій тратятъ добрую половину своего рабочаго времени на закулисный, невидный публикѣ трудъ чтенія сотенъ и сотенъ рукописей, доставляемыхъ имъ,—и про нихъ же складывается такая нелѣпая легенда! Нелѣпа она и въ прямомъ, такъ сказать, ремесленномъ смыслѣ, ибо, увы! „знаменитостей“ у насъ слишкомъ мало, чтобы какая-нибудь редакція могла спокойно расположиться на ихъ плечахъ, а вѣдь матеріалъ-то для выпуска журнальной книжки въ срокъ нуженъ. Но этого мало. Помимо всякихъ практическихъ соображеній редакторъ, именно потому, что ему приходится читать вороха подчасъ не только бездарныхъ, а и безграмотныхъ произведеній, съ особенною жадностью ищетъ въ этой кучѣ хоть проблеска таланта, хоть чего-нибудь, надъ чѣмъ бы могла отдохнуть его утомленная мысль и оскорбленное эстетическое чувство. О, конечно, редакторы могутъ ошибаться и невѣрно оцѣнивать доставляемыя имъ произведенія, и это соображеніе можетъ служить достаточнымъ утѣшеніемъ для авторовъ непринятыхъ произведеній; а легенду о какомъ-то пренебреженіи къ

---

*) Ноябрь, 1901 г.

новичкамъ, „неизвѣстнымъ", „начинающимъ", слѣдуетъ бросить, какъ совершенно нелѣпую...

Въ людяхъ, обреченныхъ на невидный и неблагодарный трудъ чтенія не того, что имъ хочется читать, а того, что они должны читать по обязанности, вырабатывается даже нѣсколько злобное нетерпѣніе: дескать, доберусь же я, наконецъ, до чего-нибудь настоящаго, свѣжаго, есть же они гдѣ-нибудь, эти таланты, а если нѣтъ сейчасъ, то объявятся завтра, послѣ-завтра. И велика же бываетъ радость, когда, наконецъ, и въ самомъ дѣлѣ судьба пошлетъ что-нибудь оригинальное и сколько-нибудь значительное. Мнѣ еще недавно пришлось напомнить читателямъ о томъ восторгѣ, которымъ Некрасовъ, Григоровичъ и Бѣлинскій встрѣтили „Бѣдныхъ людей" Достоевскаго. Это исторія типическая, только расцвѣченная особенностями возраста и темперамента дѣйствующихъ лицъ.

И то же радостное чувство охватываетъ нашего брата, занимающаго скромное, но отвѣтственное положеніе сторожа при храмѣ литературы когда мы наталкиваемся на что-нибудь оригинальное и значительное не въ рукописи, не для нашего журнала предназначенное а уже напечатанное, въ особенности, когда авторъ принадлежитъ къ числу „неизвѣстныхъ", „начинающихъ". Конечно, всякій читатель встрѣчаетъ новый талантъ съ удовольствіемъ, но для насъ яркость этого новаго таланта особенно выдѣляется среди той неизвѣстной публикѣ массы посредственныхъ, бездарныхъ и, наконецъ, безграмотныхъ писаній, которую мы преодолѣваемъ по обязанности. Мы способны даже преувеличить размѣры и значеніе новаго явленія на литературномъ горизонтѣ и были бы еще болѣе склонны къ подобнымъ преувеличеніямъ, если бы не воспитанный горькимъ опытомъ скептицизмъ: да, это хорошо но будетъ ли эта искра разгораться и свѣтить, и грѣть, или завтра же потухнетъ, или занесетъ автора въ тѣ мрачныя дебри, гдѣ „лѣшій бродитъ" и гдѣ ненужно, да и невозможно никакое освѣщеніе? Все вѣдь это бывало...

И все это я пишу подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ только что прочитаннаго небольшого сборника „Разсказовъ" г. Леонида Андреева,—писателя, до тѣхъ поръ мнѣ совершенно неизвѣстнаго и во всякомъ случаѣ „начинающаго".

Форма небольшихъ разсказовъ нынѣ въ большой модѣ. Не проходитъ мѣсяца, чтобы на книжномъ рынкѣ не появилось нѣсколько томиковъ „Разсказовъ", „Очерковъ и разсказовъ", „Маленькихъ разсказовъ", „Печальныхъ разсказовъ", „Веселыхъ разсказовъ" и

т. п. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ все это не возвышается надъ уровнемъ посредственности. Но самая форма, призванная, повидимому, замѣнить собою старый романъ, конечно, вполнѣ законна. Жалко немножко широкихъ рамокъ романа, въ которыхъ могла такъ всесторонне отражаться жизнь, преломляясь въ индивидуальности автора. Однако, и въ этомъ отношеніи дѣло „разсказовъ" не такъ ужъ плохо, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Мопассанъ и въ маленькихъ своихъ разсказахъ, не связанныхъ единствомъ фабулы, умѣлъ отражать жизнь съ разныхъ сторонъ, накладывая на каждую картинку печать своей индивидуальности, своей „самости". А бѣда нашихъ многочисленныхъ творцовъ „маленькихъ разсказовъ", „сѣренькихъ разсказовъ" и т. п. состоитъ именно въ что они не „сами". Они не имѣютъ опредѣленнаго „своего" угла зрѣнія на тѣ разрозненныя явленія жизни, которыя совершенно случайно подвертываются подъ ихъ перо. Только очень большой талантъ можетъ при такихъ условіяхъ выручить своею стихійною силою, но очень большой талантъ составляетъ и очень большую рѣдкость. Немудрено поэтому, что появляющіеся на нашемъ книжномъ рынкѣ безчисленные сборники разсказовъ и очерковъ отличаются чрезвычайною тусклостью во всѣхъ отношеніяхъ,—начиная съ тусклости языка, хотя бы и насыщеннаго разными словоизлитіями, и кончая тусклостью содержанія, хотя бы и переполненнаго кричащими эффектами.

Сборникъ разсказовъ г. Леонида Андреева рѣзко выдѣляется изъ этой тусклой, сѣрой массы. Ихъ всего десять, этихъ разсказовъ (уже послѣ выхода сборника я прочиталъ въ „Журналѣ для всѣхъ" еще два разсказа—„Кусака" и „Случай"). Но, не смотря на это, вы ясно видите если не всѣ черты и подробности физіономіи автора, то, по крайней мѣрѣ, несомнѣнную оригинальность этой физіономіи. Настоящую, подлинную оригинальность, а не поддѣлку подъ нее, не ломающееся оригинальничанье, котораго нынѣ развелось такъ много. Можетъ быть—отъ слова не станется!—оригинальность г. Андреева, находящагося еще въ началѣ пути, приведетъ его въ концѣ концовъ въ мѣста не совсѣмъ здоровыя, но можно, кажется, поручиться, что и въ этомъ печальномъ случаѣ онъ будетъ „самъ". Въ немъ находятъ нѣчто общее съ Эдгаромъ По. Это до извѣстной степени вѣрно, но огромная разница въ томъ, что, за однимъ всего исключеніемъ (о немъ потомъ), въ разсказахъ г. Андреева нѣтъ ничего „необыкновеннаго", „страннаго", фантастическаго, таин-

ственнаго. Все простые житейскіе случаи, даже тогда, когда въ основѣ разсказа лежитъ тайна, какъ въ разсказахъ „Молчаніе“ и „Въ темную даль“. Здѣсь авторъ какъ бы закрываетъ половину своей картины, оставляя въ неизвѣстности причины упорнаго „молчанія“ и самоубійства молодой дѣвушки, и удаленія „въ темную даль“ молодого человѣка. Но ничего по существу таинственнаго здѣсь нѣтъ; этимъ пріемомъ лишь выдвигаются на первый планъ душевныя муки третьихъ лицъ,—родителей погибшей дѣвушки и родственниковъ неизвѣстно куда удалившагося молодого человѣка.

Творчество г. Андреева неровное. У него есть разсказы истинно превосходные, въ которыхъ ни прибавить, ни убавить, ни передвинуть ничего нельзя („Жили-были“), но есть и растянутые („Разсказъ о Сергѣѣ Петровичѣ“). Не удаются ему дѣти („Ангелочекъ“, „Валя“). Но, повторяю, вездѣ и всегда онъ — „самъ“; не только въ смыслѣ отсутствія подражательности въ содержаніи и формѣ изложенія, а и въ смыслѣ отсутствія той распущенности, которая побуждаетъ большинство авторовъ „разсказовъ“ плавать „безъ кормила и весла“ по безграничному и безконечно разнообразному морю жизни. У г. Андреева есть то, что можно назвать центромъ вниманія, — даръ высокой цѣны, если лучи, исходящіе изъ этого центра, захватываютъ жизнь въ ширь и въ глубь...

Невеселы разсказы г. Андреева. Къ смѣху онъ совсѣмъ не склоненъ. Легкая улыбка,—дальше онъ не идетъ въ этомъ направленіи, хотя нѣкоторые изъ его сюжетовъ допускаютъ и иную обработку, иной подходъ къ нимъ. Читая его книгу, я уже съ внѣшней стороны былъ пораженъ тѣмъ, какъ часто встрѣчаются въ ней слова и цѣлыя реченія, выражающія страхъ или отсутствіе страха. Не то, чтобы его тянуло разсказывать непремѣнно „страшныя“ исторіи, — мы сейчасъ заглянемъ въ одну исторію, въ которой нѣтъ ничего страшнаго и которая въ другомъ освѣщеніи могла бы быть забавною, но и въ ней страхъ играетъ важную роль. Просто страхъ, ужасъ, и факты преодолѣванія страха, сознательно или безсознательно, привлекаютъ къ себѣ его вниманіе, и, вѣроятно, именно этимъ онъ напоминаетъ нѣкоторымъ читателямъ Эдгара По. Можетъ показаться, что эта тема до такой степени узка, что на ней мудрено построить цѣлую серію разсказовъ. Но это зависитъ отъ того, какъ отнестись къ темѣ, и я думаю, что съ той точки зрѣнія, на которой—повторяю, сознательно или безсознательно—стоитъ г. Андреевъ, это тема неисчерпаемая въ своихъ комбинаціяхъ.

Смерть часто „коситъ жатву жизни“ въ разсказахъ г. Андреева („Большой шлемъ“, „Молчаніе“, „Разсказъ о Сергѣѣ Петровичѣ“, „На рѣкѣ“, „Жили-были“), а смерть—страшная штука. Но и жизнь бываетъ страшной штукой, какъ видно уже изъ того, что люди добровольно иногда мѣняютъ жизнь на смерть („Молчаніе“, „Разсказъ о Сергѣѣ Петровичѣ“). Страхъ смерти, страхъ жизни, — уже эти двѣ, грубо, такъ сказать, топоромъ намѣченныя рубрики открываютъ обширныя и разнообразныя перспективы для поэтическаго творчества, а вѣдь есть и гораздо болѣе тонкіе оттѣнки. Мы увидимъ ниже, какъ у г. Андреева умираютъ люди, что они думаютъ и чувствуютъ, приближаясь къ той неизбѣжной точкѣ, которою обрываютъ свою собственную работу, по выраженію нашего автора, „равнодушная, слѣпая сила, вызвавшая насъ изъ темныхъ нѣдръ небытія“. Сначала посмотримъ, какъ люди жизни боятся.

Подъ заглавіемъ „У окна“ разсказывается исторія молодого мелкаго чиновника Андрея Николаевича. Въ разговорѣ съ нѣкоей дѣвицей Наташей, онъ называетъ себя коллежскимъ секретаремъ, но или это опечатка, или Андрей Николаевичъ хвастаетъ. Чинъ на немъ долженъ быть гораздо меньше: образованіе его ограничивается двумя классами реальнаго училища, служебныя обязанности состоятъ въ перепискѣ бумагъ, товарищи прозвали его „Сусли-Мысли“, а фамилія извѣстна одному казначею, да и самъ онъ въ письмѣ къ той же дѣвицѣ Наташѣ называетъ себя чиновникомъ „тринадцатаго“ класса. Какъ бы то ни было, этотъ мизинный человѣкъ доволенъ своимъ положеніемъ, онъ по своему хорошо, спокойно устроился у себя въ комнатѣ и въ своей канцеляріи. Вся сутолока жизни, весь ея шумъ, всѣ ея тревоги идутъ мимо него, ему нѣтъ никакого дѣла до другихъ людей съ ихъ скорбями и радостями, да и имъ до него тоже дѣла нѣтъ. Но— говоритъ авторъ,— „въ созданной Андреемъ Николаевичемъ крѣпости, гдѣ онъ отсиживается отъ жизни, есть одно слабое мѣсто, и только онъ одинъ знаетъ ту потаенную калиточку, откуда неожиданно появляются непріятели. Онъ безопасенъ отъ вторженія людей, но до сихъ поръ онъ ничего не могъ подѣлать съ мыслями. И онѣ приходятъ, раздвигаютъ стѣны, снимаютъ потолокъ и бросаютъ Андрея Николаевича подъ хмурое небо, на середину той безконечной, открытой отвсюду площади, гдѣ онъ является какъ бы центромъ мірозданія, и гдѣ ему такъ нехорошо и жутко“. Главное, — жутко, страшно. Конечно, такой страхъ наводятъ на Андрея Николаевича не всякія

мысли,—онъ ими вообще не богатъ,—а тѣ, которыя въ формѣ воспоминаній или предположеній дѣлаютъ его участникомъ жизни, ставятъ въ ея шумный и вообще безпокойный и именно поэтому страшный водоворотъ.

Какъ разъ противъ окна комнатки, которую Андрей Николаевичъ нанималъ у пьянаго пекаря, стоялъ красивый домъ-особнякъ съ зеркальными стеклами, загороженными тропическими растеніями, вычурнымъ фасадомъ и пр. Андрей Николаевичъ любилъ смотрѣть на этотъ домъ и представлять себѣ, какъ живутъ его обитатели и какое тамъ множество всякихъ невиданныхъ имъ роскошныхъ вещей. Онъ зналъ въ лицо и великолѣпнаго владѣльца дома, и его великолѣпную супругу, и ребенка, и кучера, и горничную. Наблюденія надъ домомъ и его обитателями наводили его на различныя мысли. Такъ, при видѣ семилѣтняго сына владѣльцевъ дома, который съ необыкновенною важностью позволялъ горничной усаживать себя въ пролетку, Андрей Николаевичъ „искренно недоумѣвалъ, неужели такія дѣти, какъ онъ, съ врожденными погонами на плечахъ, родятся тѣмъ же простымъ способомъ, какъ и другія дѣти?“ Всѣ подобныя мысли не были, однако, отравлены ни единой каплей зависти, прискорбныхъ или негодующихъ сравненій своего мизиннаго существованія съ этимъ блескомъ и роскошью. Андрей Николаевичъ былъ безповоротно доволенъ своею тихою и незамѣтною жизнью или своимъ „отсиживаніемъ отъ жизни“. Но вотъ ему приходитъ въ голову мысль, „что и онъ могъ бы быть человѣкомъ, который умѣетъ заработывать много денегъ, и у него тогда былъ бы домъ съ сіяющими стеклами и красивая жена. И отъ этого предположенія ему становилось страшно. Теперь онъ тихо сидѣлъ въ своей комнаткѣ, и стѣны, и потолокъ, до котораго легко достать рукой, обнимали его и защищали отъ жизни и людей. Никто не придетъ къ нему и не заговоритъ съ нимъ и не будетъ требовать отъ него отвѣта. Никто не знаетъ и не думаетъ о немъ, и онъ такъ спокоенъ, какъ будто онъ лежитъ на илистомъ днѣ глубокаго моря, и тяжелая, темно-зеленая масса воды отдѣляетъ его отъ поверхности съ ея бурями. И вдругъ бы у него богатство и власть, и онъ точно стоитъ на широкой равнинѣ, на виду у всѣхъ. Всѣ смотрятъ на него, говорятъ о немъ и трогаютъ его. Онъ долженъ говорить съ людьми, которые непрестанно приходятъ къ нему, и самъ онъ ходитъ въ дома съ высокими потолками и множествомъ оконъ, несущихъ яркій, бѣлый свѣтъ. И, ничѣмъ не защищенный, стоитъ онъ

посрединѣ, словно на площади, по которой онъ такъ не любитъ ходить".

Казалось бы, у такого человѣка могутъ быть страшныя предположенія и предвидѣнія, но не можетъ быть страшныхъ воспоминаній, если только какой-нибудь трагическій случай не разрѣзалъ его жизни пополамъ и не заставилъ его, какъ улитку, войти въ свою раковину лишь во вторую половину своего существованія. Такого трагическаго случая въ жизни Андрея Николаевича, повидимому, не было, онъ всегда быстро прятался въ раковину при приближеніи опасности, а потому и долженъ бы быть гарантированъ отъ нея. Но, по пословицѣ, рѣзвый самъ набѣжитъ, а на тихаго Богъ нанесетъ, у Андрея Николаевича страшныя воспоминанія есть. Такъ, онъ съ ужасомъ переживаетъ мыслью одно свое столкновеніе съ начальствомъ, столкновеніе, въ которомъ онъ виноватъ только своимъ служебнымъ усердіемъ и которое, въ его пониманіи, окончилось благополучно именно потому, что онъ, только что повышенный по службѣ, былъ, благодаря этому столкновенію, возвращенъ въ свое тихое, спокойное, безотвѣтственное писарское состояніе. Но гораздо интереснѣе другое страшное событіе въ жизни Андрея Николаевича. У него былъ романъ... Романъ этотъ тоже кончился благополучно, въ его вкусѣ благополучно, то-есть ничего изъ него не вышло. Но и теперь, увидавъ на улицѣ предметъ своей бывшей любви,—„вотъ баба-то!—ужаснулся Андрей Николаевичъ.—И слава Богу, что я на ней не женился"...

Любовь окрыляетъ, поднимаетъ тонусъ жизни. Даже птицы, гады, рыбы наряжаются въ пору любви въ яркія одежды и вооружаются разными воинственными приспособленіями. Какъ же это съ нашимъ Андреемъ Николаевичемъ случилось? Это чрезвычайно любопытная исторія, богатая не столько внѣшними фактами, сколько душевными тревогами героя.

Первая встрѣча произошла на какой-то вечеринкѣ. Наташа, по ремеслу папиросница, была красивая дѣвушка, и любви ея многіе добивались, въ томъ числѣ нѣкій Гусаренокъ, удалой и пьяный мастеровой. Наташа сама подсѣла къ Андрею Николаевичу, заговорила съ нимъ. Гусаренку это не понравилось, и дѣвушка сочла нужнымъ предупредить нашего героя, чтобы онъ остерегался забубеннаго мастерового: побьетъ.—„Не смѣетъ, я чиновникъ,—возразилъ Андрей Николаевичъ, и, дѣйствительно, нисколько не боялся". Онъ много и очень развязно разговаривалъ. „Но какъ только На-

таша отошла отъ него, имъ овладѣло чувство величайшаго страха, что она снова подойдетъ и снова заговоритъ. И Гусаренка онъ сталъ бояться и долго находился въ нерѣшимости, что ему дѣлать: идти ли домой, чтобы спастись отъ Наташи, или оставаться здѣсь, пока Гусаренка не заберутъ въ участокъ, о чемъ извѣстно будетъ по свисткамъ. Весь слѣдующій день Андрей Николаевичъ томился страхомъ, что придетъ Наташа, и ноги его нѣсколько разъ обмякали при воспоминаніи о томъ, какъ онъ, Андрей Николаевичъ, былъ отчаянно смѣлъ вчера. Но когда за перегородкой у хозяйки онъ услышалъ низкій голосъ Наташи, онъ, подхваченный невѣдомой силой, сорвался съ мѣста и развязно вошелъ въ комнату. Такъ во время сраженія впереди батальона бѣжитъ молоденькій солдатикъ, размахиваетъ руками и кричитъ „ура!“ Подумаешь, что это самый храбрый изъ всѣхъ, а у него холодный потъ льетъ по блѣдному лицу и сердце разрывается отъ ужаса“.

Черезъ два мѣсяца они цѣловались и говорили другъ другу ласковыя слова, но изъ этого всетаки ничего не вышло. Когда „Суслимысли“ былъ возлѣ Наташи, женитьба улыбалась ему, его захватывалъ тотъ инстинктъ, который и птицу, и гада, и рыбу осмѣляетъ, но въ отсутствіи дѣвушки его бралъ ужасъ передъ безчисленными трудностями этого дѣла: надо къ попу идти, шаферовъ искать, а они еще, пожалуй, не явятся во время, за ними ѣхать надо будетъ, потомъ въ церковь ѣхать, а она вдругъ заперта и сторожъ ключъ потерялъ, потомъ квартиру нанимать, потомъ дѣти пойдутъ, и вдругъ двойни... И пока онъ такъ „суслилъ-мыслилъ“, Наташѣ надоѣло ждать, и она вышла за Гусаренка. Андрей Николаевичъ почувствовалъ нѣкоторую обиду, но и облеченіе: чаша, полная безпокойствъ и волненій, миновала его... Такъ и доживаетъ „Суслимысли“ свой вѣкъ „у окна“, тихо, спокойно, лишь изрѣдка содрогаясь при воспоминаніи о тѣхъ страшныхъ опасностяхъ, которыхъ онъ благополучно избѣжалъ, или при предвидѣніи не менѣе страшныхъ комбинацій обстоятельствъ, которыя, впрочемъ—онъ навѣрное знаетъ—никогда для него въ дѣйствительности не наступятъ... Изъ другихъ черточекъ, дополняющихъ образъ Андрея Николаевича, отмѣтимъ только одну еще: „Другіе (чиновники) вонъ и благодарность принимаютъ, а я не могу“,—съ гордостью заявляетъ онъ Наташѣ и прибавляетъ: „еще попадешься грѣшнымъ дѣломъ“...

„Разсказъ о Сергѣѣ Петровичѣ“ рисуетъ намъ фигуру въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ совершенно противоположную Андрею Нико-

лаевичу. Сергѣй Петровичъ — студентъ, бѣдный, некрасивый, ограниченный, бездарный, робкій, неспособный ни къ напряженной мысли, ни къ сильному чувству, словомъ, во всѣхъ отношеніяхъ обдѣленный судьбою. Андрей Николаевичъ тоже не изъ богато одаренныхъ, но онъ счастливъ въ своей раковинѣ, гдѣ его только изрѣдка навѣщаютъ безпокойныя думы о томъ, какъ страшно жить шумною жизнью или жениться, и очень доволенъ собой. Сергѣй Петровичъ, наоборотъ, вполнѣ сознаетъ свое круглое ничтожество и вмѣстѣ съ тѣмъ любитъ мечтать о какомъ-нибудь переворотѣ, который внезапно сдѣлаетъ изъ него красавца, умницу, богача. Любимымъ его чтеніемъ были „80.000 верстъ подъ водою“ Жюля Верна и „Одинъ въ полѣ не воинъ“ Шпильгагена, въ которыхъ онъ восторгается гордыми героическими личностями капитана Немо и Лео. Въ послѣднее время онъ увлекся еще „Заратустрой“ Ничше, гдѣ его особенно поразила идея сверхъ-человѣка,—того, кто „полноправно владѣетъ силою, счастьемъ и свободой“ (всей книги онъ, впрочемъ, не дочиталъ). „Заратустра“ былъ для него кнутомъ, который было заставилъ его выпрямиться, но въ концѣ концовъ онъ, постоянно сравнивая свою сѣрость съ яркимъ блескомъ сверхъ-человѣка, остановился на слѣдующемъ изреченіи Заратустры: „Если жизнь не удается тебѣ, если ядовитый червь пожираетъ твое сердце, знай, что удастся смерть“. Онъ рѣшилъ умереть. И когда онъ ощутилъ въ себѣ спокойную готовность умереть,—впервые за всю жизнь онъ испыталъ глубокую и горделивую радость раба, ломающаго свои оковы. „Я не трусъ“, сказалъ Сергѣй Петровичъ, и это была первая похвала, которую онъ отъ себя и съ гордостью принялъ“. Наканунѣ назначеннаго дня онъ испугался мысли о смерти, но скоро устыдился. „Страхъ исчезъ, но жгучій стыдъ медлилъ уходить, и всѣми силами измученной души Сергѣй Петровичъ возмутился противъ исчезнувшаго страха, этого позорнѣйшаго звена на длинной цѣпи раба. Равнодушная, слѣпая сила, вызвавшая Сергѣя Петровича изъ темныхъ нѣдръ небытія, сдѣлала послѣднюю попытку заковать его въ колодки, какъ трусливаго бѣглеца-неудачника, и хоть на нѣсколько часовъ, но это удалось ей“. А затѣмъ Сергѣй Петровичъ отравился...

„Большой шлемъ“. Трое мужчинъ и одна дама аккуратно три раза въ недѣлю собирались для игры въ винтъ, размѣщаясь за столомъ постоянно въ одномъ и томъ же порядкѣ, такъ что партнеры не мѣнялись. Замѣчу, что „Большой шлемъ“ по тонкости отдѣлки

одинъ изъ лучшихъ разсказовъ въ сборникѣ г. Андреева, но насъ будутъ интересовать здѣсь только два игрока, Николай Дмитріевичъ, игравшій съ нѣкоторою страстностью и тщетно мечтавшій о большомъ шлемѣ, и его неизмѣнный партнеръ, методическій Яковъ Ивановичъ, никогда не игравшій больше четырехъ. Вообще Николаю Дмитріевичу не везло. Но вотъ, однажды, ему повалила карта и, наконецъ, пришла такая, что если въ прикупкѣ попадется пиковый тузъ, то большой шлемъ готовъ. „Николай Дмитріевичъ протянулъ руку за прикупомъ, но покачнулся и повалилъ свѣчку. Евпраксія Васильевна подхватила ее, а Николай Дмитріевичъ секунду сидѣлъ неподвижно и прямо, положивъ карты на столъ, а потомъ взмахнулъ руками и медленно сталъ валиться на лѣвую сторону Падая, онъ свалилъ столикъ, на которомъ стояло блюдечко съ налитымъ чаемъ, и придавилъ своимъ тѣломъ его хрустнувшую ножку". — Николай Дмитріевичъ умеръ отъ паралича сердца, что можетъ быть, было результатомъ волненія, вызваннаго возможностью осуществленія мечты о большомъ шлемѣ. Но это была только возможность, прикупки своей Николай Дмитріевичъ не успѣлъ вскрыть; за него это сдѣлалъ его неизмѣнный партнеръ, Яковъ Ивановичъ...

Одно соображеніе, ужасное по своей простотѣ, потрясло худенькое тѣло Якова Ивановича и заставило его вскочить съ кресла. Оглядываясь по сторонамъ, какъ будто мысль не сама пришла къ нему, а кто-то шепнулъ ее на ухо, Яковъ Ивановичъ громко сказалъ:

— Но вѣдь онъ никогда не узнаетъ, что въ прикупѣ былъ тузъ и что на рукахъ у него былъ вѣрный большой шлемъ. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что онъ до сихъ поръ не понималъ, что такое смерть. Но теперь онъ понялъ, и то, что онъ ясно увидѣлъ, было до такой степени ужасно, безсмысленно и непоправимо. Никогда не узнаетъ. Если Яковъ Ивановичъ станетъ кричать объ этомъ надъ самымъ его ухомъ, будетъ плакать и показывать карты, Николай Дмитріевичъ не услышитъ и никогда не узнаетъ, потому что нѣтъ на свѣтѣ никакого Николая Дмитріевича. Еще одно бы только движеніе, одна секунда чего-то, что есть жизнь,— и Николай Дмитріевичъ увидѣлъ бы туза и узналъ, что у него есть большой шлемъ, а теперь все кончилось и онъ не знаетъ и никогда не узнаетъ.

— Ни-ко-гда,—медленно, по слогамъ, произнесъ Яковъ Ивановичъ, чтобы убѣдиться, что такое слово существуетъ и имѣетъ смыслъ.

Такое слово существовало и имѣло смыслъ, но оно было до того чудовищно и горько, что Яковъ Ивановичъ снова упалъ въ кресло и безпомощно заплакалъ отъ жалости къ тому, кто никогда не узнаетъ, и отъ жалости къ себѣ, ко всѣмъ, такъ какъ то же страшно и безсмысленно жестокое будетъ и съ нимъ, и со всѣми. Онъ плакалъ—и игралъ за Николая Дмитріевича его

картами и бралъ взятки одну за другой, пока не собралъ ихъ тринадцать, и думалъ, какъ много пришлось бы записать, и что никогда Николай Дмитріевичъ не узнаетъ.

Яковъ Ивановичъ съ ужасомъ думаетъ и о покойникѣ, и о томъ, что и ему, Якову Ивановичу, и „всѣмъ" предстоитъ смерть, но—любопытная черта—это не мѣшаетъ ему доигрывать игру Николая Дмитріевича жизнь продолжаетъ прясть свою нитку даже въ минуту особенно ясной мысли о неизбѣжности смерти. Жизнь хочетъ жить во что бы то ни стало, хотя, казалось бы, если смерть такъ страшна, то и жизнь страшна, уже просто потому, что она должна кончиться. Но мы знаемъ, что и помимо того жизнь бываетъ страшна, не только для ничтожнаго и смѣшного Сусли-Мысли, но и для ничтожнаго же, но не смѣшного, потому что сознавшаго при холодномъ свѣтѣ идеи сверхъчеловѣка свое ничтожество Сергѣя Петровича, и для унесшей съ собой въ могилу тайну „молчанія" молодой дѣвушки. Далѣе, Николай Дмитріевичъ умеръ, не узнавъ, что къ нему пришелъ большой шлемъ, о которомъ онъ давно мечталъ, и собственно это-то и внушаетъ Якову Ивановичу скорбь. Ну, а если бы Николай Дмитріевичъ умеръ, не узнавъ о чемъ-нибудь тяжеломъ, непріятномъ, оскорбительномъ,—о своемъ раззореніи, о подломъ коварствѣ друга, о смерти сына, объ измѣнѣ любимой женщины и т. п.? Скорбѣлъ ли бы тогда объ его участи Яковъ Ивановичъ? И потомъ: Яковъ Ивановичъ печалуется за „всѣхъ", и это понятно въ такой неопредѣленности. Но кто же можетъ по совѣсти сказать, что онъ никогда и никому не желалъ смерти, и не думалъ о ней отнюдь не съ печалью? Оставимъ убійцъ изъ мести, зависти, корысти; оставимъ наслѣдниковъ, съ жаднымъ нетерпѣніемъ прислушивающихся къ предсмертному хрипѣнію стариковъ; оставимъ чиновный людъ, ожидающій очищенія вакансіи, и проч. Припомнимъ только одно изъ стихотвореній Добролюбова:

Печальный вѣстникъ смерти новой,
Въ газетахъ черный ободокъ
Не будитъ горести суровой
Въ душѣ исполненной тревогъ.
. . . . . .
Чьей смерти прежде трепеталъ я,
Тѣхъ стариковъ ужъ нѣтъ давно;
Что въ старомъ мірѣ уважалъ я,
Давно все мной схоронено.

Ликуй же, смерть, въ странѣ унылой,
Все въ ней отжившее рази
И знамя жизни надъ могилой
На грудахъ труповъ водрузи!

Страшно думать о томъ, что „нѣтъ великаго Патрокла, живъ презрительный Терситъ", но нѣтъ ничего страшнаго въ томъ, что умираетъ „отжившее", заслоняющее свѣтъ. О, конечно, не все къ лучшему въ нашемъ, допустимъ, даже наилучшемъ изъ міровъ, много въ немъ „безсмысленнаго и жестокаго", много ужаснаго, но въ томъ видѣ, какъ онъ есть, обновленіе жизни, покупаемое цѣною смерти „отжившаго", не страшно. Дѣло не въ возрастѣ, разумѣется. Мы знаемъ свѣтоносныхъ стариковъ, смерть которыхъ облекла бы нелицемѣрнымъ трауромъ всю родную страну и даже далекія чужія страны. Но знаемъ и такихъ, которые своею жизнью сокращаютъ сумму жизни на землѣ, жестоко и безсмысленно вырывая и давя ростки жизни; знаемъ и юныхъ мерзавцевъ. И, конечно, не ужасъ и печаль должно вызывать ихъ уничтоженіе.

Скажутъ: самому-то умирающему отъ этого не легче, онъ-то все-таки жить хочетъ и всѣми силами отпихиваетъ отъ себя страшную картину своей смерти и похоронъ, которая съ такою художественною отчетливостью рисовалась Сергѣю Петровичу (читатель найдетъ на стр. 93). Разъ возникшая жизнь упорно не сдается и до послѣдней возможности, корчась отъ страданій отстаиваетъ свою форму, будь то форма могучаго льва или ничтожной бактеріи, гордой пальмы или смиренной блѣдной травинки. Однако, какъ разъ человѣкъ составляетъ исключеніе изъ этого общаго правила. Онъ можетъ такъ испугаться жизни, что предпочтетъ ей смерть. И—кто знаетъ?—можетъ быть, тотъ зловредный старикъ, который заститъ людямъ солнце и съ безсмысленною жестокостью давитъ и рветъ ростки жизни,—можетъ быть, и онъ ужаснулся бы своей жизни, если бы его осіяло сознаніе. „Вотъ она—смерть избавительница", говоритъ измученный совѣстью волкъ въ Щедринской сказкѣ. А тотъ, другой, свѣтоносный старикъ, одна мысль о смерти котораго страшитъ насъ,—боится ли онъ ея въ такой же мѣрѣ, въ какой люди боятся за него? Можетъ быть, но ужъ, конечно, не по тѣмъ мотивамъ, по которымъ Щедринскій волкъ такъ радостно встрѣтилъ смерть. Блаженъ тотъ, кто почему бы то ни было можетъ сказать: „Нынѣ отпущаеши раба твоего съ миромъ, яко видѣста очи мои спасеніе", и жалко, страшно умирать тому, кто чего-нибудь

не добралъ отъ жизни, не додѣлалъ чего-нибудь такого, во что душу свою клалъ—чего именно, это ужъ отъ свойствъ души зависитъ. Бокль, умирая, скорбѣлъ о томъ, что его „Исторія цивилизаціи" останется недописанной, Яковъ Ивановичъ страдалъ за Николая Дмитріевича, потому что тотъ большого шлема не дождался, иной дома не достроилъ, дѣтей въ люди не успѣлъ вывести, не совершилъ подвига, къ которому готовился, и проч., и проч. Никто не можетъ съ полною увѣренностью сказать, какъ онъ встрѣтитъ смерть. Еще старикъ Монтень замѣтилъ, что можно путемъ опыта закалиться противъ физическихъ страданій, противъ униженій и т. п., но въ дѣлѣ смерти всѣ мы—неопытные новички. Однако, по чисто теоретическимъ соображеніямъ, можно, кажется, утверждать, что смерть не страшна человѣку, такъ или иначе доплывшему до своего берега, взявшему отъ жизни все, что онъ могъ съ нея взять по своимъ аппетитамъ и силамъ, и, напротивъ, ужасна въ своей безсмысленной жестокости, когда коситъ то, что сознаетъ свое право рости и цвѣсти...

Г. Андреевъ и къ жизни, и къ смерти подходитъ больше съ этой послѣдней стороны, со стороны ихъ безсмысленной жестокости. „Жили-были", это не только заглавіе едва ли не лучшаго изъ его разсказовъ, а и какъ бы итогъ всѣхъ ихъ. Милліоны людей вызываются „равнодушной, слѣпой силой изъ темныхъ нѣдръ небытія" и опять въ эти нѣдра ввергаются. Какой смыслъ въ этомъ возникновеніи и уничтоженіи? Вотъ, напримѣръ, купецъ Кошевѣровъ. Онъ на своемъ вѣку много ѣлъ, много пилъ, много любилъ женщинъ, много работалъ, но „все, что было въ немъ силы и жизни, все было растрачено и изжито безъ нужды, безъ пользы, безъ радости... Такъ прошла вся его жизнь, и была она одною горькой обидой и ненавистью въ которой быстро гасли летучіе огоньки любви и только холодную золу да пепелъ оставляли на душѣ". И вотъ онъ умираетъ. „Онъ не хотѣлъ жизни и не боялся смерти". Но когда смерть совсѣмъ близко подступила, онъ обозлился,—растравилъ злымъ намекомъ сосѣда по больницѣ студента, котораго давно не навѣщала любимая дѣвушка; злобно открылъ глаза другому сосѣду, добродушному, жизнерадостному дьякону, который думалъ, что онъ поправляется, тогда какъ ему оставалось жить нѣсколько дней. Но когда дьяконъ заплакалъ, пораженный этой вѣстью, онъ размякъ. На его вопросъ, о чемъ дьяконъ плачетъ, смерти что ли боится,—тотъ отвѣтилъ, что не смерти боится, а „солнышка жалко... Кабы ты

зналъ... какъ оно у насъ... въ Тамбовской губерніи свѣтитъ... За ми... За милую душу!" Тогда заплакалъ и купецъ. „Такъ плакали они оба. Плакали о солнцѣ, котораго больше не увидятъ, о яблонѣ „бѣлый наливъ", которая безъ нихъ дастъ свои плоды, о тьмѣ, которая охватитъ ихъ, о милой жизни и жестокой смерти".

Вы понимаете, что дьякону, котораго радуютъ и воробей, и солнце, который съ умиленіемъ вспоминаетъ о четырехлѣтнемъ внукѣ, и о томъ, какая у него чудная яблоня въ саду растетъ, и какой „сладостный" квасъ у него, который мечтаетъ, выздоровѣвъ, къ Троицѣ сходить, соборы осмотрѣть и пр.; вы понимаете, что ему жизнь, дѣйствительно, „мила" и разставаться съ ней тяжело. И намъ вчужѣ обидно за него, не успѣвшаго, по волѣ безсмысленной судьбы, наглядѣться на внука, вдоволь нарадоваться солнцу и т. д. Но купецъ Кошевѣровъ, можно сказать, объѣлся жизнью, и если онъ злобствуетъ и плачетъ, такъ вспоминая свою жизнь, въ которой не было даже тѣхъ маленькихъ, но настоящихъ радостей, которыя знакомы простоватому дьякону. Есть вещи гораздо страшнѣе смерти купца Кошевѣрова... Одну изъ нихъ разсказываетъ г. Андреевъ подъ заглавіемъ „Ангелочекъ".

Разсказъ этотъ нѣсколько испорченъ неудачной фигурой мальчика, стоящей въ центрѣ. Но за то у этого разсказа удивительный по красотѣ и трагической значительности конецъ. Дѣйствующія лица: 13-лѣтній мальчикъ Саша, выгнанный изъ гимназіи за безобразное поведеніе; его отецъ, когда-то учитель и земскій статистикъ, давно опустившійся и нынѣ непьющій, потому что уже не можетъ пить,— боленъ и почти не встаетъ съ лежанки; мать—Ѳеоктиста Петровна, пьяная и грубая баба, ненавидящая статистиковъ, книги и вообще все, что напоминаетъ лучшее прошлое мужа. Въ домѣ адъ. Отецъ „ежится отъ постояннаго озноба и думаетъ о несправедливости и ужасѣ человѣческой жизни". Сашкѣ временами хочется „перестать дѣлать то, что называется жизнью", а въ ожиданіи онъ всѣмъ грубитъ, дерзитъ, дерется и только въ его отношеніяхъ къ отцу изъ-подъ грубой оболочки сквозитъ что-то доброе. Надо сказать, что въ грубости Сашки авторъ пересолилъ, это грубость не настоящая, дѣланная. Какъ бы то ни было, въ этомъ аду появляется ангелъ— „ангелочекъ". Когда-то отецъ Сашки давалъ уроки у нѣкіихъ Свѣчниковыхъ и любилъ сестру хозяйки, но случился у него грѣхъ съ дочерью квартирной хозяйки, Ѳеоктистой Петровной, и онъ женился, а затѣмъ и та, любимая дѣвушка, Софья Дмитріевна, вышла замужъ.

Но Свѣчниковы сохранили къ нему добрыя отношенія, помогали ему и пригласили однажды Сашку къ себѣ на елку. Сашка велъ себя тамъ по обыкновенію безобразно, давая волю своей озлобленности, но вдругъ увидалъ на елкѣ то, „чего не хватало въ картинѣ его жизни и безъ чего кругомъ было такъ пусто, точно окружающіе люди не живые". Это былъ ангелочекъ, искусно сдѣланный изъ воска. Сашка не понималъ, что влечетъ его къ этой игрушкѣ и почему она такъ поразила его, но онъ не могъ отъ нея оторваться и, чередуя грубость съ униженіемъ, выпросилъ ангелочка и тотчасъ же ушелъ домой. Тамъ ждалъ его отецъ, и вотъ, при свѣтѣ кухонной лампочки, отжившій старикъ и почти не жившій мальчикъ любуются на ангелочка. Старику чудится въ немъ ласка любимой и навсегда потерянной для него женщины и весь тотъ свѣтлый міръ, въ которомъ она живетъ; думы мальчика туманнѣе, неопредѣленнѣе, для него только „исчезло настоящее и будущее: и вѣчно печальный, жалкій отецъ, и грубая, невыносимая мать, и черный мракъ обидъ, жестокостей, униженій и злобствующей тоски". Долго любовались въ какомъ-то благоговѣйномъ экстазѣ отецъ и сынъ ангелочкомъ. Наконецъ, легли спать, а ангелочекъ „былъ повѣшенъ на ниточкѣ, прикрѣпленной къ отдушинѣ печки, и отчетливо рисовался на бѣломъ фонѣ кафель; такъ его могли видѣть оба, и Сашка, и отецъ",—пока не заснули...

Кроткій покой и безмятежность легли на истомленное лицо человѣка, который отжилъ, и смѣлое личико человѣка, который еще только начиналъ жить.

А ангелочекъ, повѣшенный у горячей печки, началъ таять. Лампа, оставленная горѣть по настоянію Сашки, наполняла комнату запахомъ керосина и сквозь закопченое стекло бросала печальный свѣтъ на картину медленнаго разрушенія. Ангелочекъ какъ будто шевелился. По розовымъ ножкамъ его скатывались густыя капли и падали на лежанку. Къ запаху керосина присоединился тяжелый запахъ топленаго воска. Вотъ ангелочекъ встрепенулся, словно для полета, и упалъ съ мягкимъ стукомъ на горячія плиты. Любопытный прусакъ пробѣжалъ, обжигаясь, вокругъ безформеннаго слитка, взобрался на стрекозиное крылышко ангелочка и, дернувъ усиками, побѣжалъ дальше...

Авторъ не разсказалъ намъ, что почувствовали отжившій старикъ и не жившій мальчикъ, когда, проснувшись, увидѣли, что сталось съ ангелочкомъ. Авторъ, заставившій Сергѣя Петровича пережить картину его собственныхъ похоронъ, разсказавшій много и другихъ страшныхъ вещей, затруднился изобразить муки этихъ людей, для которыхъ на мгновеніе мелькнулъ въ аду лучъ свѣта.

никогда не виданный мальчикомъ, давно забытый старикомъ. Не потому ли опустилъ здѣсь авторъ занавѣсъ, что пробужденіе старика и мальчика должно оказаться страшнѣе всякой смерти? Въ самомъ дѣлѣ, къ страху смерти приплетается много посторонниихъ примѣсей. Тутъ и страхъ физическихъ страданій привходитъ, и страхъ воздаянія въ загробномъ мірѣ, и форма похороннаго обряда дѣйствуетъ (въ странахъ, гдѣ трупы сожигаются, а не зарываются въ землю, подвергаясь медленному и эстетически непріятному процессу разложенія, смерть имѣетъ, конечно, совсѣмъ другой обликъ). И вотъ, если отвлечь всѣ эти осложняющіе элементы, то на долю собственно уничтоженія, прекращенія бытія, останется не такъ ужъ много; по крайней мѣрѣ, для людей, которые живутъ въ аду и которыхъ среди этого ада посѣтило „мимолетное видѣнье" идеала, чтобы въ слѣдующую минуту вновь погрузить въ холодъ и мракъ. Все равно, въ чемъ состоитъ этотъ идеалъ, воплотился ли онъ въ личности или остался безплотной идеей, или кристаллизовался въ общественную форму,—подъ этого восковаго „ангелочка" можно подвести любой видъ идеала. Онъ умилилъ ожесточенное сердце мальчика и отогрѣлъ измученное сердце старика и—исчезъ, растаялъ... Страшнѣе этого ничего быть не можетъ. И мнѣ опять припоминается одна изъ сказокъ Щедрина, „Баранъ непомнящій". Баранъ этотъ, какъ извѣстно, увидѣлъ какой-то загадочный, взволновавшій его сонъ (потомъ оказалось, что онъ „вольнаго барана" видѣлъ), сонъ сталъ повторяться, а баранъ тосковать, и когда онъ, наконецъ, понялъ значеніе сна,—„сильное, потрясающее блеянье вырвалось изъ его груди... Онъ весь ушелъ въ созерцаніе. Передъ тускнѣющимъ взоромъ его развернулась сладостная тайна его сновъ... Еще минута, и онъ дрогнулъ въ послѣдній разъ. Засимъ ноги сами собой подогнулись подъ нимъ, и онъ мертвый рухнулъ на землю". У озлобленнаго Сашки и его жалкаго отца, когда они, проснувшись, увидѣли безформенную кучку воска вмѣсто „ангелочка", должно было вырваться нѣчто въ родѣ потрясающаго блеянья барана непомнящаго. Г. Андреевъ уклонился отъ изображенія этого ужаса. И я думаю, что онъ поступилъ правильно: въ дѣлѣ „страшнаго" есть границы, переступая которыя, художникъ безнужно терзаетъ нервы читателя, и всетаки ни на волосъ не усиливая правды поэтическаго воспроизведенія жизни. А г. Андрееву дорога правда и, можетъ быть, ему самому не дешево обходится...

Среди его житейски простыхъ по своей фабулѣ разсказовъ есть

одинъ, сильно меня смущающій. Смущаетъ онъ меня потому, что въ немъ сквозитъ какая-то опасность для дарованія автора. Онъ называется „Ложь". Я не берусь передать его содержаніе. Это что то въ родѣ монолога душевно больного, въ которомъ безпорядочнымъ вихремъ носятся фантастическіе образы, переплетаясь съ реальною дѣйствительностью. „Спасите меня, спасите"!—такъ оканчивается разсказъ, слишкомъ напоминая этимъ концомъ Гоголевскаго Поприщина: „Матушка, спаси своего бѣднаго сына"! Но подлиннаго сумасшествія въ „Лжи" такъ же мало, какъ и въ „Запискахъ сумасшедшаго". Задача разсказа состоитъ, повидимому, исключительно въ красивой передачѣ извѣстнаго тяжелаго настроенія, отрѣшеннаго отъ какихъ бы то ни было опредѣленныхъ формъ дѣйствительности, вызвавшей это настроеніе. Въ хаосѣ образовъ и картинъ, проносящихся передъ читателемъ, явственно звучитъ только одно слово: „ложь, ложь, ложь". Любимая женщина лжетъ разсказчику, онъ требуетъ правды, но она сама ея не знаетъ; „освѣщенныя окна высокого дома" совѣтуютъ ему „своимъ краснымъ и синимъ языкомъ" убить ее, потому что такимъ образомъ онъ убьетъ ложь; но когда онъ хватается за ножъ, окна говорятъ ему: ты никогда не убьешь ее, потому что оружіе въ твоихъ рукахъ такая же ложь, какъ ея поцѣлуи; однако онъ убиваетъ ее, но ложь остается безсмертной; онъ хочетъ уйти туда, „куда она унесла правду и ложь и гдѣ „темно и страшно", и тамъ потребовать отъ нея правды; но сейчасъ же соображаетъ, что и это ложь: „тамъ тьма, тамъ пустота вѣковъ и безконечности, и тамъ нѣтъ ея и нѣтъ нигдѣ". „О, какое безуміе быть человѣкомъ и искать правды! Какая боль"!

Я не знаю, что можетъ значить эта „Ложь", кромѣ настроенія отчаянія, вызваннаго невозможностью добиться правды. Можетъ быть, лгущая женщина даже не при чемъ въ самомъ центрѣ драмы, (она и сама не знаетъ правды о себѣ и ей это страшно). Можетъ быть, это—настроеніе художника, тщетно старающагося уловить и выразить словомъ истинный смыслъ жизни въ безконечной пестротѣ ея явленій. Недаромъ г. Андреевъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ о „непередаваемыхъ краскахъ жизни и смерти". Да, слово оказывается часто слишкомъ бѣднымъ для выраженія мыслей и чувствъ, въ которыхъ и въ самихъ такъ много противорѣчій, что и самъ мыслящій и чувствующій не всегда можетъ различить свою правду. Но вѣдь художнику слова все равно приходиться орудовать словомъ. Настроеніе, отрѣшенное отъ опредѣленныхъ формъ дѣйствительности, его вызвавшей,

и потому разрѣшающее себѣ облекаться въ формы совсѣмъ не подходящія, заражаетъ въ послѣдніе годы довольно обширную область поэзіи. Поэты ищутъ такихъ звуковъ, которые хотя бы и лишенные всякаго логическаго смысла, давали въ своихъ сочетаніяхъ извѣстное настроеніе. Это отрѣшенное, такъ сказать, чистое, безпримѣсное настроеніе надо предоставить музыкѣ, а когда господа декаденты называютъ себя символистами, то они забываютъ, что символы въ поэзіи такъ же стары, какъ сама поэзія, да вотъ и восковой „ангелочекъ" символъ, но смыслъ его совершенно ясенъ. Я не могу этого сказать о „Лжи". Этотъ странный разсказъ представляется мнѣ маленькимъ темнымъ облакомъ на свѣтломъ будущемъ г. Андреева, какъ художника. Вопросъ въ томъ,—разростется ли это облачко въ мрачную тучу, которая весь горизонтъ закроетъ, или, набѣжавъ на мгновеніе, разсѣется въ пространствѣ.

Говоря о свѣтломъ будущемъ, предстоящемъ г. Андрееву, какъ художнику, или, по крайней мѣрѣ, возможномъ для него въ виду его оригинальнаго таланта, я не смущаюсь мрачнымъ характеромъ его книги о жизни и смерти, какъ можно бы было назвать сборникъ его разсказовъ. Въ слѣпой и равнодушной силѣ, рождающей и убивающей насъ, нечего искать разума и справедливости,—таковъ итогъ наблюденій и впечатлѣній нашего автора. Но человѣкъ можетъ внести въ то кольцо, которымъ смыкаются жизнь и смерть,—и разумъ, и справедливость. Сумѣлъ же,—по своему, конечно,—разрѣшить задачу жизни и смерти Сергѣй Петровичъ. А вѣдь онъ ничтожество. Для него было „закрыто все, что дѣлаетъ жизнь счастливою или горькою, но глубокой, человѣческой... Онъ не былъ ни настолько смѣлъ, чтобы отрицать Бога, ни настолько силенъ, чтобы вѣрить въ него; не было у него и нравственнаго чувства, и связанныхъ съ нимъ эмоцій. Онъ не любилъ людей и не могъ испытывать того великаго блаженства, равнаго которому не создавала еще земля,—работать для людей и умирать за нихъ. Но онъ не могъ и ненавидѣть ихъ, и никогда не суждено ему было испытывать жгучее наслажденіе борьбы съ себѣ подобными и демонической радости побѣды надъ тѣмъ, что чтится всѣмъ міромъ, какъ святыня"...

Какъ видите, въ этихъ нѣсколькихъ строкахъ намѣченъ цѣлый рядъ мотивовъ—и не все мрачныхъ—для новой книги о жизни и смерти, которую хочется поскорѣе прочитать. Лишь бы благополучно разсѣялось облачко, имя которому „Ложь"...

— — —

„Финляндская Газета“ обратила вниманіе на печатавшіяся въ „Русскомъ Богатствѣ“ въ началѣ 1901 года „путевыя впечатлѣнія и замѣтки“ г-жи Э. З. изъ ея путешествія по Финляндіи. Воздавъ должное безпристрастію г-жи Э. З., „подчеркивающей и хорошія, и отрицательныя стороны финляндской жизни“, почтенная газета дѣлаетъ и нѣкоторые выводы изъ ея замѣтокъ. „*Она путешествовала во второй половинѣ минувшаго лѣта*,—говоритъ газета,—*т. е. послѣ новаго закона о воинской повинности*“, и продолжаетъ: „Судя по ея замѣткамъ, она, вопреки лживымъ увѣреніямъ финляндскихъ политиковъ, не видѣла среди нихъ какого-либо смущенія и броженія. Напротивъ того, крестьяне-финны всюду спокойно занимались своими будничными дѣлами и рѣшительно ни въ чемъ не проявляли какой-либо политики. Словомъ, настроеніе народа самое благодушное“.

„Финляндская Газета“ заявляетъ, что она „преслѣдуетъ одну только правду“,—„преслѣдуетъ“ не какъ врага, конечно. Такъ и должно быть. Если такое отношеніе къ правдѣ обязательно для всякаго органа печати, то тѣмъ паче для „Финляндской Газеты“, призванной стоять на стражѣ достоинства Россіи. По поводу все тѣхъ же замѣтокъ г-жи Э. З. „Финляндская Газета“ говоритъ о „крайне оскорбительныхъ для русскаго имени подозрительности и недовѣрчивости“, обнаруживаемыхъ финляндскою интеллигенціей. Подозрительность и недовѣрчивость воспитываются, между прочимъ, и неправдою. Мы не сомнѣваемся поэтому, что „Финляндская Газета“ поторопится оговорить, надѣемся, невольную, но грубую ошибку, въ которую она впала.

Новый законъ о воинской повинности въ Финляндіи изданъ 29-*го іюня 1901 года*, замѣтки же г-жи Э. З. уже напечатаны были въ *январѣ 1901 года*, и путешествовала она не *минувшимъ* лѣтомъ, а гораздо раньше. Поэтому замѣтки ея не могутъ имѣть никакого отношенія къ закону 29 іюня 1901 г.—Не замѣтивъ на обложкѣ „Русскаго Богатства“ весьма, впрочемъ, крупнымъ шрифтомъ напечатаннаго слова „январь“, „Финляндская Газета“ предоставляетъ недовѣрчивымъ и подозрительнымъ людямъ слишкомъ удобный случай для „оскорбленій русскаго имени“. Чего добраго, подозрительные и недовѣрчивые люди скажутъ: вотъ вѣдь какъ беззастѣнчиво подтасовываютъ факты эти русскіе!

V *).

О повѣстяхъ и разсказахъ гг. Ѳ. Потѣхина, Ивана Щеглова, Н. Тимковскаго, Алексѣя Плетнева, кн. Барятинскаго, Евгенія Чирикова, М. Горькаго, Антона Чехова.—Два слова о воспоминаніяхъ М. А. Антоновича о Добролюбовѣ.

Въ „Дневникѣ писателя“ за 1877 годъ Достоевскій подсмѣивался надъ будто бы постоянными жалобами критики на упадокъ нашей литературы. Чуть не сорокъ лѣтъ,—писалъ онъ,—слѣжу я за русской литературой и все слышу одни и тѣ же слова: упадокъ, застой, безвременье; а между тѣмъ, въ эти сорокъ лѣтъ явились послѣднія произведенія Пушкина, начался и кончился Гоголь, былъ Лермонтовъ, явились Островскій, Тургеневъ, Гончаровъ и др.; неужели этого мало? О, конечно, не мало, тѣмъ болѣе, что въ 1877 году этотъ списокъ можно бы было значительно увеличить: въ немъ вѣдь даже Толстого, Некрасова, Щедрина нѣтъ, не говоря уже о самомъ Достоевскомъ. Но справедливы ли были самыя насмѣшки Достоевскаго надъ русской критикой? согласно ли съ истиной утверждалъ онъ, что эта критика постоянно хнычетъ объ упадкѣ литературы? Критика всегда была и теперь бываетъ разная, и съ разныхъ точекъ зрѣнія разно оцѣнивала и оцѣниваетъ великое и дрянное въ литературѣ: Булгаринъ съ Гречемъ тоже вѣдь упражнялись въ критикѣ. Но, — останавливаясь только на именахъ, перечисляемыхъ Достоевскимъ,—кто, какъ не критика Бѣлинскаго и Добролюбова, разъяснила намъ значеніе Пушкина, Гоголя, Лермонтова и потомъ Тургенева, Островскаго, Гончарова? Разговоры объ „упадкѣ“, „застоѣ“ „безвременьи“ и т. п., дѣйствительно, бывали и иногда принимали слишкомъ ужъ огульный характеръ. Помню, въ 1888 г. мнѣ пришлось вступить въ нѣкоторое пререканіе съ г. Скабичевскимъ

---

*) Январь 1902 г.

по тому поводу, что онъ обозвалъ всю тогдашнюю литературу „лиллипутскою“. Мнѣ пришлось напомнить почтенному критику, что тогда въ рядахъ дѣйствующей литературы были Щедринъ, Толстой, Успенскій, да и не вѣка какіе-нибудь прошли со смерти Достоевскаго и Островскаго. Любопытно, что, должно быть, въ утѣшеніе или въ поощреніе г. Минскому, по поводу стихотвореній котораго была написана его статья, почтенный критикъ и себя самого называлъ „лиллипутомъ“, раздвигая такимъ образомъ свой строгій судъ за предѣлы собственно беллетристики. И въ этомъ широкомъ смыслѣ, независимо отъ вѣрности или невѣрности сужденій г. Скабичевскаго о данномъ моментѣ, жалобы на упадокъ литературы не всегда неосновательны, какъ, впрочемъ, не всегда и не вполнѣ неосновательны жалобы на упадокъ и въ частности беллетристики. Но вопросъ въ томъ,—дѣйствительно ли эти жалобы такъ огульны и такъ неустанны, какъ утверждалъ Достоевскій? Очень часто онѣ, эти жалобы, имѣютъ въ виду спеціально полемическія цѣли. Въ этомъ отношеніи очень характерно уже самое заглавіе одной изъ книгъ г. Мережковскаго: „О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ современной русской литературы“. Каждая новая литературная волна,—а онѣ у насъ возникаютъ и падаютъ съ необыкновенною быстротою,—заявляя объ „упадкѣ“, въ то же время указываетъ и на подъемъ въ лицѣ представителей „новыхъ теченій“. Правда, эти представители „новыхъ теченій“ иногда только и успѣваютъ побѣдоносно заявить, что, дескать, „теперь пойдетъ ужъ музыка не та!“—какъ новая волна сноситъ ихъ вслѣдъ за предыдущими. Гдѣ, напримѣръ, г. Волынскій подъ руку съ которымъ, „столь вящше изломившись“, гордо поднималась по „ступенямъ новой красоты“ г-жа Гиппіусъ? Да мало ли ихъ было, этихъ представителей все новыхъ и новыхъ теченій, и нѣкоторые изъ нихъ держались долго; такъ что въ общемъ едва ли можно сказать, что жалобъ на упадокъ раздается у насъ больше, чѣмъ хвастовства подъемомъ. Все зависитъ отъ точки зрѣнія жалующагося и хвастающаго: что для одного упадокъ, то для другого подъемъ, и наоборотъ...

Не все, впрочемъ. Ограничиваясь областью беллетристики, я думаю, что, какъ бы мы ни восторгались современными талантами, никто не скажетъ, что мы ушли впередъ сравнительно съ тѣмъ временемъ, когда въ литературѣ блистало такое созвѣздіе, какъ Толстой, Тургеневъ, Достоевскій, Островскій, Некрасовъ, Щедринъ. И рядомъ съ этими звѣздами первой величины не было той массы

посредственностей и бездарностей, какая окружаетъ современные таланты. Въ ту пору вообще было меньше писателей—и меньше читателей. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, въ смыслѣ завоеванія все большаго и большаго круга читателей, наша художественная литература сдѣлала несомнѣнно огромный шагъ впередъ. Собственно не она, однако, сдѣлала этотъ шагъ, а сама жизнь; литература только воспользовалась имъ, и далеко не всегда къ своему украшенію. Да иначе и быть не можетъ. Въ составѣ все прибывающихъ и прибывающихъ читательскихъ круговъ есть, конечно, не мало людей нетребовательныхъ въ эстетическомъ отношеніи, людей, не имѣющихъ достаточно досуга для вниканія въ достоинства художественнаго произведенія, ищущихъ въ немъ только внѣшней занимательности и потому поглощающихъ всякую дребедень. Быть можетъ, этимъ объясняется и излюбленная современными беллетристами форма маленькихъ разсказовъ въ противоположность старому роману...

Фактъ вытѣсненія романа очерками и разсказами бросается въ глаза, и мнѣ не въ первый разъ приходится обращать на него вниманіе читателей. Я писалъ о немъ въ 1899 г. по поводу „Повѣстей и разсказовъ" г-жи Лѣтковой и еще недавно по поводу „Разсказовъ" г. Андреева. Мнѣ хочется опять къ нему вернуться, пересмотрѣвъ вмѣстѣ съ читателемъ нѣсколько лежащихъ передо мною сборниковъ разсказовъ. Обозрѣть всѣ этого рода новинки—нѣтъ никакой возможности. Я остановлюсь лишь на немногихъ, въ томъ или въ другомъ отношеніи особенно интересныхъ.

„Ѳ. Ѳ. Потѣхинъ. Разсказы". Сборникъ этотъ изданъ въ Ярославлѣ, но онъ типиченъ. Множество подобныхъ сборниковъ издается какъ въ провинціи, такъ и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ. И если я останавливаюсь именно на немъ, такъ только потому, что одинъ изъ вошедшихъ въ его составъ разсказовъ переведенъ на нѣмецкій языкъ въ журналѣ баронессы Берты Сутнеръ „Die Waffen nieder". Сама по себѣ это, конечно, не Богъ знаетъ какая рекомендація, но это всетаки нѣчто вродѣ „особой примѣты". Разсказъ называется „Торжество маленькаго колокола". Большіе старые колокола, перелитые изъ пушекъ, хвастливо вспоминаютъ свое грозное прошлое, когда они разносили изъ своихъ жерлъ смерть и ужасъ. Съ ними

полемизируетъ своимъ нѣжнымъ, „малиновымъ“ звономъ маленькій колоколъ, такъ и родившійся колоколомъ: его мѣдь „тяжелымъ и честнымъ трудомъ извлекли прямо изъ земныхъ нѣдръ и на нее еще не пало ничье проклятіе и не капнуло ни капли крови“. И вотъ, въ пасхальные дни, когда всѣ колокола возвѣщали вѣрующимъ радостную вѣсть о воскресеніи ихъ Бога, „вдругъ чья-то бѣлоснѣжная рука“ легла на самый большой изъ нихъ, и кроткій, но властный голосъ сказалъ: „Довольно злобы и крови! Дни мира и братской любви да будутъ царить отнынѣ! Замолкни, гордый и злобный колоколъ!“ И замолчалъ навѣки большой старый колоколъ, треснувши по всѣмъ направленіямъ, а новый продолжалъ звучать, и еще чище и задушевнѣе былъ его звукъ, призывающій къ любви и правдѣ“.

Странно немножко, что бѣлоснѣжная рука и кроткій, но властный голосъ поразили на смерть старый колоколъ какъ разъ въ тотъ моментъ, когда онъ, давно переставъ быть пушкой, призывалъ, вмѣстѣ со всѣми другими колоколами, къ одной и той же радостной молитвѣ—но баронессѣ Сутнеръ это понравилось... Дѣло вкуса... И мнѣ нравится благородная идея „Торжества маленькаго колокола“, но одно дѣло идея, и другое дѣло—форма, въ которую она облечена.

Благородная идея „Торжества маленькаго колокола“ занимаетъ г. Потѣхина и еще въ одномъ разсказѣ. Но на этотъ разъ она осуществляется при помощи отнюдь не бѣлоснѣжной руки и кроткаго, но властнаго голоса а, напротивъ, дѣйствіемъ страшныхъ орудій истребленія, и не въ дѣйствительности, хотя бы фантастической, а во снѣ, только во снѣ (такъ разсказъ и озаглавленъ „Сонъ“). Пересказывать я его не буду и перейду къ другимъ разсказамъ г. Потѣхина.

Мелкій чиновникъ губернскаго правленія въ одномъ изъ приволжскихъ городовъ, Михаилъ Петровичъ Забитый, очень бѣдствуетъ, а у него жена и трое дѣтей малъ-мала-меньше. Вдобавокъ за нѣсколько дней до Пасхи разливъ Волги затопилъ домикъ Забитаго въ подгородной слободѣ, и хозяева еле успѣли изъ него выбраться со своимъ скарбомъ. Положеніе отчаянное. Жена Забитаго уже отбираетъ кое-какія крохи, и въ томъ числѣ свое обручальное кольцо, для заклада. Тѣмъ временемъ вода въ Волгѣ начала спадать, и маленькій Петя пошелъ посмотрѣть на своего картоннаго коня, забытаго при переѣздѣ. Конь оказался совсѣмъ испорченнымъ, а кромѣ его остатковъ Петя съ ужасомъ увидалъ подъ печкой „какое-то огромное страшилище съ длинными усами и широкимъ хвостомъ,

закрывавшее и открывавшее страшный ротъ". Это былъ громадный сомъ, заплывшій во время разлива и застрявшій подъ печкой... Разсказъ называется „Дорого яичко въ Христовъ день" и оканчивается такъ: „Нѣтъ надобности прибавлять, что сомъ послужилъ хорошимъ краснымъ яичкомъ къ Пасхѣ семьѣ Забитыхъ и, если не помогъ ей устроиться, какъ она хотѣла, то за то хоть на время избавилъ ее отъ нужды"...

Стараго, добродушнаго пасѣчника Михѣича убилъ и ограбилъ женатый на его внучкѣ Петръ. Этотъ Петръ—пьяница, буянъ, злодѣй, самая наружность котораго изобличаетъ „человѣка, готоваго на все для удовлетворенія своей страсти" къ водкѣ. Несчастную внучку Михѣича, Авдотью, онъ бьетъ и тиранитъ, и старый пасѣчникъ тщетно старался образумить его. Но вотъ Михѣичъ убитъ. „Такъ и не пришлось старику устроить судьбу своей Дуняши. Но сдѣлали то и отплатили за него его пчелы. Сидѣлъ Петръ какъ-то вскорѣ послѣ убійства въ трактирѣ съ пріятелями и такъ себѣ,—пустое бы дѣло, если подумать,—потребовалось ему отдать за вино деньги. Вынулъ онъ съ форсомъ изъ новенькаго кошелька скомканную рублевку и окаменѣлъ: въ ней лежала мертвая пчела. Тутъ же и повинился убійца". Повинился, примирился съ Авдотьей, которая пошла за нимъ въ каторгу, и вообще переродился, почему и разсказъ называется „Пчела помогла"...

Въ разсказѣ „Тихая пристань" нѣкій Николай Сергѣевичъ Нивинъ, истомленный и озлобленный, послѣ ряда несчастій, холодомъ и голодомъ, швырнулъ кускомъ обвалившейся штукатурки въ зеркальное стекло магазина, за что, конечно, попалъ въ участокъ, а оттуда,—неизвѣстно какимъ образомъ,—„въ какую-то трудовую артель". Дѣло было въ рождественскую ночь, и авторъ оканчиваетъ пожеланіемъ: „Пожелаемъ ради праздника найти и всѣмъ свою пристань",—надо надѣяться, не непремѣнно черезъ посредство полицейскаго участка...

Молодой купчикъ Ваня Татарченковъ собираетъ старинныя монеты. Узналъ онъ, что у какой-то бабы въ деревнѣ есть Петровскій мѣдный рубль, отправился туда и пріобрѣлъ рѣдкость за пятьсотъ рублей, украденныхъ у отца. За это послѣдній воздалъ ему „жестокимъ, но справедливымъ наказаніемъ",—собственно потому справедливымъ, что Петровскій рубль оказался фальшивымъ. Кромѣ того, купчикъ получилъ съ этихъ поръ насмѣшливое прозвище „Нумизмата", какъ и разсказъ озаглавленъ...

Я думаю, довольно, читатель? Пока мы съ вами перелистывали

„Торжество маленькаго колокола“ и „Сонъ“, можно было думать, что г. Потѣхинъ занятъ бѣдствіями войны и вопросомъ о возможности ея прекращенія; онъ ждетъ этого прекращенія то отъ чьей-то бѣлоснѣжной руки, то, какъ многіе и кромѣ него ждутъ, отъ изобрѣтенія новыхъ страшныхъ орудій истребленія. Прочитавъ „Дорого яичко въ Христовъ день“ и „Пчела помогла“, слѣдуетъ придти къ заключенію, что центральный духовный интересъ автора шире, ибо его занимаютъ ужасы не только войны, а и голода, холода, преступленія въ мирное время. Съ другой стороны, однако, духовныя перспективы автора какъ будто напротивъ того сузились: тамъ шла рѣчь о міровыхъ явленіяхъ, а тутъ сердце автора радуется тому, что чиновникъ Забитый разговѣется сомовиной, или на счетъ сомовины, чтобы послѣ этого роскошнаго пира опять голодать; и тому, что хотя пасѣчникъ Михѣичъ и убитъ, но, благодаря мертвой пчелѣ, убійца обратился на путь добродѣтели. Какъ, это вѣдь такъ мелко послѣ того, какъ чья-то бѣлоснѣжная рука остановила ужасы войны... Но въ этомъ сомѣ, неожиданно присланномъ къ празднику благодѣтельной судьбой, и въ этой мертвой пчелѣ, такъ чудодѣйственно поспособствовавшей раскрытію преступленія и раскаянію преступника, есть всетаки нѣчто общее съ бѣлоснѣжной рукой: и рука, и сомъ, и пчела, и тихая пристань полицейскаго участка по авторскому прошенью, по щучьему велѣнью водворяютъ добро, казнятъ или смягчаютъ зло. Мы уже готовы думать, что уловили духовную физіономію автора: это жизнерадостный человѣкъ и убѣжденный оптимистъ, сознательно выбирающій (или сочиняющій) извѣстнаго рода явленія жизни. Пусть не велика радость сомъ, заплывшій въ домишко чиновника Забитаго, или полицейскій участокъ, черезъ который Николай Сергѣевичъ Нивинъ попалъ въ „какую-то трудовую артель“, но мы всетаки знаемъ, съ кѣмъ имѣемъ дѣло. И вдругъ—„Нумизматъ“, изъ котораго ужъ ровно ничего не выжмешь и котораго никакъ не приведешь въ связь съ тѣмъ, что, казалось, мы ухватили въ предыдущихъ разсказахъ... Наше разочарованіе еще возросло бы, если бы мы пересмотрѣли остальное содержаніе сборника, отъ чего я, щадя читателя, его избавляю. Тутъ и „Питерякъ пріѣхалъ“ въ деревню и щеголяетъ передъ однодеревенцами: „Есть такой писатель, Дюмъ называется; опять же Золь еще имѣется“. Тутъ и моментальный фотографическій снимокъ „Жеребьевки“ въ пригородномъ призывномъ участкѣ и проч. И во всемъ этомъ и помину нѣтъ о той идеѣ и о томъ настроеніи, которыя мы, было, ухватили въ разска-

захъ Передъ нами совсѣмъ не жизнерадостный человѣкъ и убѣжденный оптимистъ, а фотографъ,—и очень плохой,—заносящій въ свой альбомъ то, что случайно на глаза попадется. Мы начинаемъ догадываться, что и то, что мы приняли за опредѣленную идею и опредѣленное настроеніе, не имѣетъ никакого отношенія къ духовной физіономіи автора. Въ газетахъ, какъ провинціальныхъ, такъ и столичныхъ, принято наполнять рождественскіе и пасхальные номера разсказами преимущественно жизнерадостнаго характера. Сердца обывателей, размягченныя гусемъ съ капустой и поросенкомъ съ кашей, жаждутъ вѣры въ торжество добра и правды, но занятые этими гусями и поросятами, куличами и окороками, визитами и елками— обыватели не имѣютъ времени предаваться въ такихъ торжественныхъ случаяхъ пространнымъ размышленіямъ и продолжительному или требующему сосредоточеннаго вниманія чтенію. Зазвонитъ въ пасхальную ночь маленькій колоколъ, предоставитъ себя бѣдному чиновнику въ пасху глупый сомъ, попадетъ въ рождественскую ночь голодный человѣкъ въ участокъ, но за то потомъ и въ „какую-то трудовую артель",—и обыватель доволенъ и радостно кушаетъ свой окорокъ и своего гуся съ капустой. Очевидно, оптимистическіе разсказы г. Потѣхина писаны по заказу рынка и, либо были предварительно напечатаны въ рождественскихъ и пасхальныхъ номерахъ газетъ, либо предназначались для нихъ...

Читатель скажетъ, что мы слишкомъ долго возимся съ г. Потѣхинымъ. Стоитъ ли онъ того? Читатель былъ бы правъ, и г. Потѣхинъ, дѣйствительно, не стоилъ бы такихъ длинныхъ разговоровъ, если бы онъ былъ единица. Но онъ не единица, а повторяю, типъ, типичный экземпляръ цѣлой породы разсказчиковъ, и въ качествѣ таковаго, а, конечно, не самъ по себѣ, представляетъ собою интересную фигуру. Есть разсказчики гораздо болѣе его талантливые, есть и еще менѣе талантливые, но для большинства ихъ (объ исключеніяхъ потомъ) характерна эта разорванность творчества, эта случайность занимающихъ ихъ сюжетовъ, это, наконецъ, отсутствіе физіономіи. Если то, что мы приняли за собственную физіономію г. Потѣхина, оказывается просто исполненіемъ выраженнаго или не выраженнаго заказа литературнаго рынка, то рынокъ этотъ заказываетъ и не только оптимистическія мелочи на разъ навсегда опредѣленные дни въ году. Газета и въ другіе дни требуетъ беллетристики: какая-нибудь случайно бросившаяся писателю въ глаза мелочь въ старые годы откладывалась въ кладовую памяти или заносилась въ записную книж-

ку, чтобы войти впослѣдствіи въ видѣ подробности въ составъ большой и болѣе или менѣе стройной картины; нынѣ она идетъ въ газету въ сыромъ видѣ, а оттуда въ сборникъ разсказовъ. Сборники газетной беллетристики составляютъ самое подходящее чтеніе для ѣдущаго по желѣзной дорогѣ, подходящее именно своею разорванностью, отсутствіемъ внутренней связи. И этихъ двухъ явленій, у насъ сравнительно новыхъ,—газеты и желѣзной дороги,—пожалуй, уже достаточно для объясненія наплыва „очерковъ и разсказовъ" въ ущербъ роману. А найдутся еще и другія. Грамотный ремесленникъ, рабочій, приказчикъ, мелкій чиновникъ, имѣющіе возможность читать только урывками, въ короткіе часы или даже минуты отдыха, прочтутъ и про сома, и про „нумизмата", и даже, можетъ быть, съ удовольствіемъ. Конечно, демократизація читательскаго круга обязываетъ сочинителя къ нарочитой вдумчивости, но вѣдь сочинитель разный бываетъ...

Есть и „облыжные сочинители", и вотъ какъ характеризуетъ ихъ г. Иванъ Щегловъ, авторъ только что вышедшаго сборника „Юмористическіе разсказы". Нѣкто Еромузовъ исповѣдуется: „Ты знаешь, что такое облыжный сочинитель? Нѣтъ? Это, понимаешь, человѣкъ, который занимается блуднымъ дѣломъ многописанія... Механика, братъ, не хитрая. Обмокни перо въ чернила и того... накаливай!.. И чѣмъ больше я того... тѣмъ больше мнѣ платятъ, и чѣмъ больше я облыгаю, тѣмъ больше меня прославляютъ... и всѣ мнѣ кругомъ завидуютъ!.. Была, братъ, и на моей сторонѣ правда, да я ее чорту за цѣлковый продалъ—вотъ теперь и убиваюсь. И нѣтъ мнѣ отнынѣ спасенія, потому что завязъ я въ этомъ самомъ чернильномъ болотѣ по самое горло... Пошелъ по всему моему тѣлу такой зудъ, что какой пустой анекдотъ ни услышу—сейчасъ оболгу и въ печать. Въ какую семью ни проникну—вынюхаю подноготную и тоже... въ печать!.. Господи, такъ мало жилъ... и столько дряни написалъ!"

Самъ г. Щегловъ написалъ очень много... не могу сказать—дряни, потому что далеко не все, имъ написанное, читалъ; но собственно о „Юмористическихъ разсказахъ" ничего не имѣю больше сказать...

„Н. Тимковскій. Повѣсти и разсказы. Книга II". Съ г. Тимковскимъ мы вступаемъ въ атмосферу, рѣзко отличную отъ той, въ которой пребывали до сихъ поръ. Прежде всего, это писатель ум-

ный, можетъ быть, слишкомъ умный. Это требуетъ объясненія. Есть много очень умныхъ людей, лишенныхъ дара художественнаго творчества, и есть, наоборотъ, талантливые художники, которые просто глупы. Я могъ бы привести очень выразительные примѣры несомнѣнной, въ печати засвидѣтельствованной глупости талантливыхъ художниковъ. Но это будетъ разговоръ непріятный, и я предпочитаю разсказать чрезвычайно меня поразившій случай съ однимъ очень умнымъ художникомъ. Людямъ, близко знакомымъ съ техникой искусства, случай этотъ, можетъ быть, покажется слишкомъ элементарнымъ, но меня онъ, повторяю, поразилъ и навелъ на цѣлый рядъ мыслей. Покойный Ярошенко—художникъ рѣдкаго ума—писалъ мой портретъ. Послѣ второго сеанса я обратилъ его вниманіе на двѣ странныя ребровидныя полосы, протянувшіяся съ обѣихъ сторонъ вдоль груди, нѣсколько сближаясь къ низу. Оказалось, что это точное воспроизведеніе краевъ крахмальной груди рубашки, обрисовывавшихся подъ тонкой курткой-блузой, въ которой я былъ. Ярошенко былъ очень недоволенъ этимъ открытіемъ и потребовалъ, чтобы я пришелъ къ нему въ мастерскую въ слѣдующій разъ въ мягкой рубашкѣ. Значитъ, художникъ, воспроизводя эту мелкую подробность, вовсе о ней не думалъ, она помимо его сознанія легла на полотно, онъ не хотѣлъ ея. Присматриваясь далѣе къ работѣ Ярошенка, я подмѣтилъ и другія свидѣтельства участія въ ней элемента безсознательнаго. Это не было для меня, конечно, совершенно новостью, но ужъ очень ярки и наглядны были эти свидѣтельства. А вѣдь Ярошенка и до сихъ поръ, кажется, не устаютъ упрекать въ тенденціозности, въ сознательномъ подчиненіи всего творчества извѣстной идеѣ. Та комбинація впечатлѣній, которая составляетъ процессъ художественнаго творчества, въ значительной своей части происходитъ за порогомъ сознанія, въ тайникахъ безсознательнаго. Это-то и дѣлаетъ возможнымъ такое непріятное и даже какъ будто обидное явленіе, какъ талантливый, но глупый художникъ. И когда талантливый художникъ принимается разсуждать, теоретизировать, я всегда боюсь: сейчасъ брякнетъ какую нибудь глупость! И не всегда, конечно, но очень часто мои опасенія оправдываются, а иногда оказываются даже ниже дѣйствительности. Дѣло въ томъ, что глупость можетъ не только выразиться въ формѣ теоретическаго разсужденія, но и на самой художественной работѣ отразиться—въ выборѣ сюжета, въ переоцѣнкѣ своихъ силъ, въ увлеченіи моднымъ теченіемъ, потому что оно модное, и т. п.

Но предо мной встаетъ еще одно личное воспоминаніе, имѣющее нѣкоторое отношеніе къ искусству. Въ своихъ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“ я разсказывалъ о томъ, какъ, разочаровавшись въ своихъ художественныхъ силахъ, я бросилъ неконченнымъ свой романъ „Борьба“. Покойный Елисеевъ, одобривъ мое намѣреніе приняться за работу другого рода, прибавилъ, должно быть, въ видѣ утѣшенія: „Что такое романъ? Романъ всякій умный человѣкъ, если захочетъ, можетъ написать“. Я думаю, что онъ былъ правъ или почти правъ: умные люди, абсолютно лишенные художественнаго дарованія, встрѣчаются, я думаю, рѣдко. Во всякомъ случаѣ между такимъ абсолютно бездарнымъ умникомъ и талантливымъ, но глупымъ художникомъ существуетъ множество переходныхъ ступеней, множество оттѣнковъ. И можно поэтому говорить о слишкомъ умныхъ художникахъ. Это значитъ, что сила сознанія слишкомъ перевѣшиваетъ въ нихъ тѣ безсознательные элементы, которые необходимы для творческаго процесса, что либо бѣдна въ нихъ сфера безсознательнаго, либо они давятъ ее, не давая должнаго простора непосредственному чувству. Таковъ именно случай г. Тимковскаго.

Любой отдѣльно взятый разсказъ г. Тимковскаго можетъ отвѣчать за весь сборникъ въ отношеніи идей и настроенія автора. Его физіономію ужъ никакъ нельзя назвать неопредѣленною и неясною. Всегда и вездѣ онъ живописуетъ „мутную и пеструю жизнь современнаго человѣка“ (выраженіе одного изъ его героевъ) со стороны ея пошлости, неискренней суетливости, пустоты, лицемѣрія. Авторъ сохраняетъ при этомъ видъ совершенно спокойнаго, хладнокровнаго наблюдателя, безстрастно записывающаго факты дѣйствительной жизни. Но въ цѣломъ это не дѣйствительная жизнь, а абстракція, абстрактное построеніе изъ элементовъ дѣйствительной жизни. Авторъ постоянно какъ бы рѣшаетъ логическія задачи: до чего можетъ быть доведена такая-то или такая-то черта жизни? Напримѣръ, до чего можетъ дойти вялость и медлительность?—До того, что о турецкихъ звѣрствахъ въ Арменіи „Кунктаторъ“ (такъ и разсказъ озаглавленъ) прочиталъ только черезъ два года, а до дѣла Дрейфуса добрался только тогда, когда начался пересмотръ его. Разсказъ „Среди людей“ отвѣчаетъ на вопросъ: до чего можетъ дойти безучастіе „людей“ къ чужой бѣдѣ? Разсказъ „Бутафорія“—на вопросъ: „какими пустяками можетъ жить человѣкъ“? „Затвержоный“—на вопросъ до чего можетъ зазубриться гимназистъ? И т. д. Во всемъ этомъ много отдѣльныхъ живыхъ чертъ, но цѣлое слишкомъ подчинено

логической задачѣ и часто прорывается шаржемъ. Нѣкоторые разсказы г. Тимковскаго („Драма", „Отъ добраго сердца" и др.) напоминаютъ своей фабулой тѣ юмористическія мелочи, которыми началъ свою литературную дѣятельность г. Чеховъ. Но угрюмо холодный тонъ г. Тимковскаго исключаетъ всякую мысль о юморѣ.

Какъ бы то ни было, въ г. Тимковскомъ мы имѣемъ типъ автора разсказовъ, рѣзко отличающійся и отъ благодушнаго безразличія г. Ѳ. Потѣхина и К°, и отъ облыжнаго сочинительства г. Ив. Щеглова. „Мутная и пестрая" и, не смотря на пестроту всетаки томительно-скучная и пустая жизнь современнаго русскаго человѣка во всякомъ случаѣ получаетъ свое отраженіе въ этихъ отрывочныхъ разсказахъ. И спрашивается, — можетъ ли процвѣтать литература при такихъ условіяхъ? Можетъ ли на такой скудной почвѣ вырости красивый и ароматный цвѣтокъ искусства? Задать этотъ вопросъ—значитъ отвѣтить на него. Но, спрашивается далѣе,— полную ли картину современной русской жизни даютъ писанія г. Тимковскаго? Все ли въ этой жизни такъ безнадежно-скучно, мелочно и лицемѣрно?

Въ лежащемъ передъ нами томикѣ кое-гдѣ, хотя и очень рѣдко, всетаки поблескиваютъ свѣтлыя искорки. Г. Тимковскій любитъ рѣзкія противопоставленія, для чего, между прочимъ, сводитъ двухъ когда-то близкихъ, но затѣмъ потерявшихъ другъ друга изъ виду и разными житейскими дорогами разошедшихся въ разныя стороны людей. Такъ, въ разсказѣ „Бутафорія" случайно встрѣчаются двѣ институтскія подруги, изъ которыхъ одна вышла замужъ и вся ушла въ хлопоты и волненія по поводу мебели, ковровъ, посуды, лампъ и проч., другая замужъ не вышла, живетъ уроками и изумляется, „какими пустяками можетъ жить человѣкъ". Но это другая остается въ тѣни, мы ея почти не видимъ. Въ разсказѣ „Двѣ семьи" соотвѣтственный элементъ выступаетъ во весь ростъ. Здѣсь встрѣчаются два давно невидавшіеся товарища по университету. Оба успѣли уже жениться и дѣтей народить, но одинъ, Кузьминскій, уже пятый годъ состоитъ помощникомъ какого-то свѣтила адвокатуры, хорошо, даже роскошно обставился, а другой, Шарабановъ, изъ-за „разныхъ происшествій" и по сейчасъ застрялъ въ университетѣ, и очень бѣдствуетъ съ женой и двумя ребятами. Въ чемъ состоятъ „разныя происшествія", помѣшавшія Шарабанову своевременно кончить курсъ,—не вполнѣ ясно: начавъ ихъ перечислять, Шарабановъ останавливается на рожденіи дѣтей: „сначала Петька помѣшалъ, потомъ

Манька врѣзалась въ самую середину экзаменовъ". Разница, какъ въ обстановкѣ, такъ и въ настроеніи двухъ товарищей, какъ почти всегда у г. Тимковскаго, очень подчеркнута. У Кузьминскаго хорошенькая и нервная жена, такая же хорошенькая и нервная дочка, тесть генералъ, суровый и грубый, горничная—„щеголиха", ковры, трельяжи и проч. Но все это не украшаетъ жизни Кузьминскаго, тогда какъ Шарабановъ, живущій въ „тухлыхъ" номерахъ на „грязной, кривой улицѣ", чувствуетъ себя превосходно, какъ и его жена и дѣти. И, возвращаясь отъ него къ себѣ домой, Кузьминскій „въ задумчивости остановился передъ дверью своей квартиры и долго стоялъ, какъ будто боясь прикоснуться къ звонку. Въ роскоши его обстановки, во всѣхъ этихъ коврахъ, паркетахъ, электрическихъ звонкахъ, въ дорогихъ нарядахъ жены, въ изящной красотѣ его дѣвочки, въ этихъ абонементахъ на оперу, въ этихъ концертахъ и журъ-фиксахъ и во всемъ красивомъ, старательно поддерживаемомъ складѣ его жизни—ему чудилось что-то ненормально-судорожное, лживое, страшное, и ему хотѣлось вернуться опять въ грязные номера Козявкина, въ неуютную, похожую на сарай комнату съ низкимъ потолкомъ, къ этимъ полнымъ здоровой жизни людямъ, которые такъ смѣло глядятъ въ неизвѣстное будущее".

Весь составъ сборника г. Тимковскаго, вся его писательская физіономія говоритъ за то, что Шарабановъ и его семья введены только для того, чтобы рѣзче оттѣнить пустоту жизни Кузьминскаго. Цѣль жизни Кузьминскаго совершенно ясна, онъ ее самъ указываетъ: онъ „долженъ зарабатывать, и много зарабатывать" для поддержанія въ должномъ видѣ добровольно надѣтой имъ себѣ на шею красивой петли. А Шарабанова мы, собственно говоря, не знаемъ, хотя онъ передъ нами шумно хохочетъ, весело няньчитъ дѣтей, любовно разговариваетъ съ женой и т. д. Есть, разумѣется, блага жизни, безконечно болѣе цѣнныя, чѣмъ ковры и абонементы, трельяжы и наряды. Въ числѣ ихъ здоровье, веселый темпераментъ и счастливое супружество занимаютъ очень видное мѣсто, но если только о нихъ рѣчь идетъ, такъ стоитъ ли огородъ городить? Судьба могла ихъ послать и Кузьминскому въ придачу къ коврамъ и сервизамъ; и тогда не было бы основаній для его зависти къ Шарабанову, потому что сами-то по себѣ „протухлые" номера на „грязной и кривой" улицѣ не ахти-какая радость. Значитъ, есть, надо думать, у Шарабанова еще какой-то плюсъ, котораго г. Тимковскій не отмѣтилъ. Почему? Можетъ быть, потому, что не хотѣлъ,

такъ какъ это внесло бы лишній осложняющій элементъ въ его абстрактное настроеніе параллели между недовольною сытостью и довольною бѣдностью; можетъ быть, потому, что не могъ въ силу внѣшнихъ стороннихъ обстоятельствъ, оказавшихъ на него свое давленіе. Въ послѣднемъ случаѣ мы не можемъ, конечно, сѣтовать на автора, — сила солому ломитъ, — но и въ томъ, и въ другомъ случаѣ современная русская жизнь получаетъ одностороннее освѣщеніе. Не такъ уже она сплошь мрачна, скудна, пошла, лжива, какъ можно бы было заключить на основаніи разсказовъ г. Тимковскаго. Среди этого мрака, этой пошлости, скудости и лжи есть нѣчто свѣтлое и правдивое, чего литература не хочетъ видѣть или не можетъ показать. А это опять-таки, конечно, не окрыляетъ литературу...

Не вся, однако, литература находится въ такомъ печальномъ положеніи. Вотъ, напримѣръ, книга г. Алексѣя Плетнева „На чужбинѣ и дома. Повѣсти, разсказы, типы и картинки парижской жизни, статьи, письма издалека"... Авторъ снабдилъ книгу предисловіемъ, въ которомъ сообщаетъ, что въ этотъ сборникъ „вошелъ тотъ болѣе вѣскій литературный багажъ, который ему удалось собрать изъ всего написаннаго имъ въ теченіе его кочевой жизни журналиста и писателя, прожившаго долгіе годы „за рубежомъ". — Въ числѣ этого „болѣе вѣскаго литературнаго багажа" находимъ, между прочимъ, газетныя корреспонденціи о томъ, какъ встрѣчали въ 1883 г. женевцы Виктора Гюго (ровно одна страница), какъ авторъ видѣлъ въ 1884 г. Гладстона (двѣ страницы), какое въ 1887 г. происходило землетрясеніе въ Ниццѣ (двѣ страницы) и проч.; есть дѣтскія размышленія на разныя темы; есть повѣсти и разсказы. Все это, наиболѣе вѣское изъ багажа г. Плетнева, само по себѣ, безотносительно говоря, не очень вѣско; едва ли г. Плетневъ похожъ на несчастнаго Атласа, который „невыносимое несъ бремя". Но у г. Плетнева есть объясненіе. Его багажъ, составляющій нынѣ одно цѣлое, въ раздробь печатался въ „Новомъ Времени", „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ", „Міровыхъ Отголоскахъ", „Гласности", „Наблюдателѣ", „Россіи", „Петербургской Жизни", „Огонькѣ" „и другихъ". — „Какъ видно изъ этого перечня,—говоритъ онъ,—мнѣ пришлось имѣть дѣло съ весьма многими и разнообразными, по своему направленію, органами печати. Не могу, однако, сказать, чтобы я встрѣтилъ въ томъ или другомъ органѣ, въ той или другой

редакціонной семьѣ, то установившееся міровоззрѣніе, то единство во взглядахъ, которое на западѣ придаетъ печати значеніе крупной общественной силы. Короче говоря, у насъ есть партійная, даже сословная пресса, но нѣтъ еще національной прессы въ широкомъ смыслѣ этого слова. Приходилось постоянно испытывать перемѣнчивость отдѣльныхъ лицъ и общественныхъ настроеній, убивающихъ въ публицистѣ всякую энергію къ правильной работѣ... Мнѣ думается, что я не составляю исключенія и что я испыталъ общую судьбу со многими русскими публицистами, не имѣвшими возможности и свободы высказаться".

Итакъ, вотъ причина, въ силу которой такъ мало вѣситъ даже наиболѣе вѣскій багажъ г. Плетнева: авторъ не имѣлъ возможности и свободы высказаться... Очень удобно, когда беллетристъ, будучи вмѣстѣ съ тѣмъ и публицистомъ, беретъ на себя трудъ комментировать свои собственныя произведенія. Это значительно облегчаетъ задачу критика, при томъ, конечно, условіи, что авторскія комментаріи ясны и удобопонятны. Къ сожалѣнію, этого нельзя сказать о предисловіи г. Плетнева. Въ чемъ, собственно, состоитъ та возможность и свобода высказываться, которой былъ лишенъ нашъ авторъ? Объ общихъ условіяхъ русской печати онъ не говоритъ, а при его готовности писать въ „весьма многихъ и разнообразныхъ, по своему направленію, органахъ" какъ-то странно ссылаться на отсутствіе свободы высказаться. Правда, вышеприведеннымъ перечнемъ органовъ, въ которыхъ помѣщалъ свои произведенія г. Плетневъ, не исчерпывается вся русская литература, но къ перечню прибавлено: „и другихъ",—и кто знаетъ, какіе еще „и другіе" имѣли честь считать г. Плетнева въ числѣ своихъ сотрудниковъ, и какой ему еще возможности и свободы нужно. Такое же недоумѣніе вызываютъ положенія автора о „перемѣнчивости отдѣльныхъ лицъ и общественныхъ настроеній", на которую ему постоянно приходилось наталкиваться въ русской печати, о существованіи у насъ „партійной, даже сословной прессы" и объ отсутствіи „національной прессы въ широкомъ смыслѣ этого слова" (?). Но не будемъ стараться проникнуть въ глубь публицистической мудрости г. Плетнева и порадуемся вмѣстѣ съ нимъ, что его разочарованію въ русской жизни и русской литературѣ наступилъ конецъ. Засвѣтилась благодатная заря „возможности и свободы", основалось... „Русское Собраніе". „Я не могу,—восклицаетъ г. Плетневъ,—не привѣтствовать съ патріотическою радостью признаки недавняго пробужденія нашего

національнаго чувства. Нѣсколькимъ русскимъ людямъ, какъ А. А. Суворинъ, В. В. Комаровъ, баронъ А. Н. Штиглицъ, А. В. Васильевъ, С. Н. Сыромятниковъ, В. Л. Величко, Н. А. Энгельгардтъ и другимъ удалось, наконецъ, соединить свои усилія и таланты съ цѣлью направить нашу общественную мысль къ тому „русскому морю", о которомъ говорилъ еще нашъ великій Пушкинъ".

Очевидно, теперь „пойдетъ ужъ музыка не та". И нѣчто изъ этой новой музыки уже имѣется на лицо. Объ этомъ свидѣтельствуетъ самъ г. Плетневъ. Онъ говоритъ: „Послѣ перваго написаннаго мною разсказа „Вѣчная любовь" я приступилъ къ изображенію моихъ національныхъ стремленій въ повѣсти „Бездомовье". Въ двухъ герояхъ этой повѣсти—Невинѣ и Кремневѣ—я хотѣлъ противопоставить два направленія: западническое и славянофильское, вѣрнѣе, руссофильское, явно отдавая свои симпатіи второму... Вотъ фраза, вложенная мною въ уста Невина, получившая практическое осуществленіе въ недавнемъ основаніи „Русскаго Собранія". „Можно сказать, что идея націонализма въ Россіи находится еще въ колыбели. Потому необходимо защищать эту идею, поставить ее хотя бы подъ покровительство секты — кучки славянофиловъ, если все образованное общество не записалось еще въ число ея приверженцевъ".

Г. Плетневъ, должно быть, очень давно предвосхитилъ идею „Русскаго Собранія", потому что вѣдь славянофилы много лѣтъ тому назадъ умерли, и кости ихъ навѣрное содрогнулись бы въ гробахъ, если бы они могли узнать, что ихъ отождествляютъ съ юркими людьми, вродѣ гг. Суворина, Комарова, Величко, Сыромятникова.

Въ „Бездомовьи" разсказывается, какъ бѣдный студентъ Кремневъ (отъ „кремень", твердый человѣкъ, какъ и подобаетъ человѣку, чтущему національные идеалы) съ теченіемъ времени не только самъ хорошо въ матеріальномъ отношеніи устроился честнымъ трудомъ, но и духовно чуть-чуть не спасъ богатаго студента Невина (отъ „Нева", намекъ на западническое направленіе), обративъ его на путь истины. Идея блестящая и, главное, открывающая передъ умственнымъ взоромъ членовъ „Русскаго Собранія" такія радужныя перспективы: ихъ благородный образъ мыслей будетъ достойно вознагражденъ судьбою (если она не поторопилась сдѣлать это раньше). Къ сожалѣнію, не говоря о топорности работы, при помощи которой эта пріятная идея облечена въ беллетристическую форму,—„Бездомовье" есть единственное беллетристическое произведеніе г. Плет-

нева, посвященное этой идеѣ. Остальные повѣсти и разсказы нашего автора изображаютъ разнообразные анекдотическіе случаи, не имѣющіе никакого отношенія къ „идеѣ",—а одна ласточка, какъ извѣстно, весны не дѣлаетъ. И я боюсь, что весна того направленія, которое „съ патріотическою радостью привѣтствуетъ" г. Плетневъ,—никогда не наступитъ вообще и въ творчествѣ г. Плетнева въ частности. Всѣ его повѣсти и разсказы написаны такъ же топорно, какъ и „Бездомовье", хотя въ то же время необыкновенно изящнымъ слогомъ. Дѣйствующія лица гладкими монологами въ нѣсколько страницъ излагаютъ свои благороднѣйшія мысли и чувства. Я охотно привелъ бы образцы, но, такъ какъ все это очень длинно и такъ какъ авторъ и отъ себя пишетъ неизмѣнно тѣмъ же высокимъ стилемъ, то приведу лишь слѣдующее окончаніе одного изъ разсказовъ:

„Вѣра Николаевна повернулась къ нему и направила на него глаза полные любви. Она уже не противилась охватившему ее чувству и съ довѣріемъ склонила голову на его плечо. Тогда онъ привлекъ къ себѣ ея гибкій станъ и нѣжно приникъ къ ея алымъ устамъ, какъ къ животворящему источнику любви, обновляющей міръ. И въ эту минуту всепрощенія, въ это мгновеніе осуществленія воскресшей мечты своей о счастіи, изъ полузакрытыхъ глазъ Вѣры Николаевны тихо потекли неудержимыя, благодарныя, блаженныя слезы..."

Вторая половина этой тирады немножко нескладна въ грамматическомъ отношеніи: выходитъ, какъ будто не Вѣра Николаевна мечтала о счастіи, а слезы, „неудержимыя, благодарныя, блаженныя слезы". Но это ничего, это бываетъ. За то какой стиль! Только лѣтъ семьдесятъ тому назадъ умѣли такъ описывать сближеніе князя Аполлона Бельведерскаго (у г. Плетнева только князь Дмитрій Улыбинъ) съ графиней Клеопатрой Лучезаровой. Но еще возвышеннѣе или, говоря любимымъ словомъ г. Плетнева, „идеальнѣе" конецъ другого разсказа, изображающаго судьбу обманутой дѣвушки. Она застрѣлилась, и, такъ какъ обманувшій ее былъ актеръ, то она застрѣлилась въ сѣняхъ театра „одного изъ приволжскихъ городовъ".

„Раздался выстрѣлъ. Она повалилась навзничь на холодный мраморъ храма искусства не ложной, но дѣйствительной жертвой идеала, недоступнаго его мелкимъ жрецамъ!... На чужой сторонѣ, на кладбищѣ, стоитъ крестъ надъ убогой могилой схороненнаго здѣсь чистаго, обманутаго сердца! Спи спокойно, бѣдное дитя, едва ли стоитъ тебѣ просыпаться для міра печали и слезъ..."

Это великолѣпно! И особенно хорошо то, что деревянный полъ сѣней провинціальнаго театра превратился, подъ искуснымъ перомъ автора, въ „холодный мраморъ храма искусства“... Такъ, конечно, „идеальнѣе“...

Да не подумаетъ, однако, читатель, что книга г. Плетнева представляетъ собою сплошной вздоръ. Отнюдь нѣтъ. Художественнаго таланта у него нѣтъ ни на грошъ, но здравыя мысли кое-гдѣ пробиваются. Напримѣръ: „Болѣзнь нашего вѣка есть перепроизводство спеціалистовъ въ художественной сферѣ и особенно въ литературѣ. Всякій, умѣющій держать въ рукѣ перо и отпечатавшій триста страницъ, считаетъ себя литераторомъ, безъ всякаго отношенія къ настоящему значенію этого слова. Это происходитъ, во-первыхъ, вслѣдствіе тщеславія, а главное, вслѣдствіе приравненія всякой печатной мысли или недомыслія къ литературному труду“.—Это отчасти вѣрно замѣчено, хотя и неуклюже выражено. И я заглянулъ на цифру послѣдней страницы книги г. Плетнева. Оказалось,—371-я. Значитъ, на 71 страницу больше нормы, при томъ только „болѣе вѣскаго литературнаго багажа“. Это, конечно, высоко ставитъ г. Плетнева въ рядахъ литературы...

Еще одинъ беллетристъ-публицистъ: кн. В. В. Барятинскій: „Разсказы. Мысли и замѣтки“.

Художественныя силы кн. Барятинскаго очень не велики, хотя всетаки больше, чѣмъ у г. Плетнева. Въ лежащемъ передо мной томикѣ есть, напримѣръ, совсѣмъ недурной разсказъ „Двѣнадцать сорокъ пять“. Но иногда почтенному автору вдругъ вздумается, подобно г. Плетневу, обратиться къ возвышенному стилю, и онъ пишетъ:

„Откликнулись на призывъ Дмитрія Іоанновича всѣ россіяне, какъ одинъ человѣкъ, отъ мала до велика—и князья, и витязи, и простые холопы. Забыты и гостепріимные терема, и родныя поля, села, избы, и матери и жены, и сестры, и невѣсты. Однимъ лишь горятъ всѣ сердца, однимъ лишь полны всѣ души—любовью къ дорогой отчизнѣ, къ попранной волѣ.

— „Прости, Марѳуша! не поминай лихомъ! Не на чужую жену, не на ловлю дикаго звѣря оставляю я тебя, мою голубку, а на жестокій бой съ врагомъ земли русской; можетъ статься, не свидимся болѣе, лягу я костьми на полѣ бранномъ, склюютъ мое мертвое тѣло вороны да коршуны; а будетъ милость Господня, ворочусь невредимъ къ тебѣ.

„Такъ говорилъ князь Михайло Васильевичъ Зарайскій, прощаясь со своею молодою женою, красавицей Марѳой Глѣбовной...

— „Лети, соколъ ты мой ясный, свѣтъ Михайло Васильевичъ! Господь милостивый защититъ тебя своимъ покровомъ! Сражайся за вѣру православную“... И т. д., и т. д.

Беллетристика занимаетъ около четверти всего сборника кн. Барятинскаго. Остальныя три четверти заняты „Мыслями и замѣтками“, перепечатанными изъ „Сѣвернаго Курьера“. Это очень благонамѣренныя—въ прямомъ, хорошемъ смыслѣ благонамѣренныя мысли и замѣтки. Но и мысли совсѣмъ маленькія и сѣренькія, и замѣтки совсѣмъ маленькія и сѣренькія... Если мудрено ждать возсіянія свѣта отъ идеаловъ г. Плетнева, то и этой маленькой сѣрости или сѣренькой малости, конечно, „совершить ничего не дано“...

„Евгеній Чириковъ. Разсказы. Т. I, изданіе третье. Т. II., изданіе второе“.

Если не ошибаюсь, первымъ печатнымъ произведеніемъ г. Чирикова былъ разсказъ „Ранніе всходы“, — онъ и въ первомъ томѣ сборника „Разсказовъ“ стоитъ на первомъ мѣстѣ. Это очень милый разсказъ о томъ, какъ гимназистъ Петровъ влюбился въ гимназистку Лелю Никольскую, какъ онъ ревновалъ ее къ реалисту Гришѣ, какъ получилъ отъ Лели на память бантикъ отъ платья, какъ проклиналъ „измѣнницу“, какъ плакалъ, лишившись бантика и благоволенія Лели. Талантливый авторъ относился чуть-чуть сверху внизъ къ этому ребяческому міру, но его добродушный и даже любовный юморъ ясно говоритъ, что ему близки и милы эти радости и горести подростковъ, эти „яичница съ лукомъ“ и „синяя говядина“, которыми гнѣвно обзываютъ другъ друга пылающіе ревностью гимназистъ и реалистъ, и ребяческое кокетство Лели, и трогательно-комическія слезы и проч. и проч. Очень, очень хорошенькій разсказъ,—красивый, свѣжій, ласковый. Начавъ такъ удачно, г. Чириковъ и потомъ неоднократно возвращался, если не къ радостямъ и горестямъ собственно гимназической поры, то къ разнообразнымъ тревогамъ годовъ ученія вообще. Сюда относятся разсказы „Созрѣлъ“, „Студенты пріѣхали“, „Калигула“, „Gaudeamus igitur“, „Въ отставку“. Въ послѣднемъ, впрочемъ, являются на сцену опять гимназисты, и здѣсь опять мѣстами пробивается веселый, мягкій, ласковый юморъ „Раннихъ всходовъ“. Но трагическій элементъ, окра-

шивающій собою разсказъ „Въ отставку“, не даетъ простора этому юмору, а въ разсказѣ „Студенты пріѣхали“ онъ получаетъ уже нѣсколько иной оттѣнокъ.

Два студента-медика пріѣхали на лѣто къ себѣ на родину, въ Сердянскъ, и немедленно принимаются за дѣло „пробужденія и развитія сердянскаго самосознанія, борьбы съ рутиной и пошлостью, захолустнымъ невѣжествомъ, спячкой и „возмущающимъ душу индифферентизмомъ“! (послѣднія кавычки, равно какъ и восклицательный знакъ, принадлежатъ автору). Одинъ—сынъ садовницы,—собираетъ около хибарки своей матери разную „сѣренькую публику“, которой даетъ медицинскіе совѣты, читаетъ Некрасова и научно-популярныя книжки. Другой—сынъ мѣстнаго почтмейстера—имѣетъ другой кругъ знакомыхъ, въ который, однако, вовлекаетъ и пріятеля. Тутъ есть барышни, дамочки, и друзья рѣшаютъ заняться прежде всего ими. Одинъ предлагаетъ „начать съ экономики“. Другой возражаетъ: „Прежде всего надо заставить личность критически отнестись къ себѣ и къ окружающему, разбудить нравственное чувство, сознаніе долга передъ обществомъ, а потомъ ужъ... Необходимо начать съ этики“. Порѣшаютъ „хватить что-нибудь по женскому вопросу“, и именно „начать съ Милля... О подчиненности женщины. А тамъ можно коснуться и спеціально русской женщины“. Дѣло въ концѣ концовъ идетъ, однако, довольно безпорядочно. Читаютъ то Добролюбова, то „Историческія судьбы женщины“, то какую-то „Историческую силу критической личности“ (?), то пытаются устроить домашній спектакль „въ пользу бѣдныхъ студентовъ“. Но ничего путнаго не выходитъ изъ ихъ усилій. Сердянскія барышни (за однимъ исключеніемъ), барыни и мужья барынь не понимаютъ добрыхъ намѣреній юныхъ просвѣтителей, въ дѣло замѣшиваются любовь и ревность, происходитъ рядъ скандаловъ, черная кошка пробѣгаетъ и между самими просвѣтителями, и они вновь сходятся только уже на возвратномъ пути въ университетъ, сознаваясь, что „не съ того конца начали“, „нераціонально“ принялись за дѣло...

Вещи познаются сравненіемъ. Чтобы правильно оцѣнить тонъ этого разсказа г. Чирикова, представьте себѣ, что ту же тему пожелалъ обработать... я не знаю, ну, скажемъ, кн. Мещерскій (онъ же вѣдь и беллетристъ). Боже мой, сколько грязи навалилъ бы онъ на приключенія молодыхъ людей! Онъ заставилъ бы ихъ по малой мѣрѣ сажать сердянскихъ барышень и барынь къ себѣ на колѣни, зачатки робкой и мечтательной любви одного изъ нихъ къ пустѣй-

шей бабенкѣ превратилъ бы чортъ знаетъ во что и вообще предъявилъ бы намъ изверговъ рода человѣческаго, вмѣсто милыхъ, хотя и смѣшныхъ молодыхъ людей, изображенныхъ г. Чириковымъ. Съ другой стороны, прочтите въ январьской книжкѣ „Міра Божія“ начало повѣсти г. Вересаева „На поворотѣ“. Въ повѣсти этой, какъ и въ „Повѣтріи“ того же автора, на первой страницѣ люди съѣзжаются въ деревню, а на третьей уже ведутъ серьезнѣйшіе разговоры, при чемъ молоденькая дѣвица Таня, только что бросившая курсы (собственно потому бросившая что, какъ она сама объясняетъ „курсы важны только вначалѣ, чтобъ пріобрѣсти знакомства“), что называется, распатрониваетъ „книжонку Бернштейна“. И съ ней, съ этой забавной дѣвицей, удовольствовавшейся на курсахъ, „знакомствами“, которыхъ совершенно достаточно для сужденія о „книжонкѣ Бернштейна“ и посвященной ей обширной литературѣ, собесѣдники серьезно соглашаются и не соглашаются. И авторъ сообщаетъ объ этомъ съ серьзнѣйшимъ тоже видомъ, безъ малѣйшей улыбки.

Г. Чириковъ далекъ отъ мещерскаго отношенія къ приключеніямъ своихъ юныхъ героевъ,—это люди чистые, исполненные лучшихъ намѣреній. Но вмѣстѣ съ тѣмъ авторъ постоянно подтруниваетъ надъ ихъ неудачами, проистекающими изъ ихъ самоувѣренности и незнанія жизни, надъ ихъ жаргономъ. Но это не совсѣмъ тотъ тонъ, который мы видѣли въ „Вешнихъ всходахъ“. Оно и понятно: тамъ гимназисты, фанты, бантики; здѣсь студенты, Добролюбовъ, „Историческія судьбы женщины“, Милль. Тамъ авторъ относился къ своему матеріалу чуть-чуть сверху внизъ, здѣсь онъ относится къ нему чуть-чуть снизу вверхъ, но всетаки съ добродушной насмѣшкой и какъ бы сказать,—ребячливо. Именно ребячливо. Такъ, иной бойкій гимназистъ очень уважаетъ своего старшаго брата студента, но, по ребячливости натуры, не можетъ не подразнить его: „ишь, дескать, заважничался, „Историчекую силу критической личности“! читаетъ. А и книги такой нѣтъ: ребячливый гимназистъ либо нарочно, на смѣхъ перевираетъ названіе книги, либо никогда ея не видалъ и только однимъ ухомъ слышалъ заглавіе...

Если-бы меня спросили, на смѣхъ ли перевиваетъ г. Чириковъ заглавіе книги, или только однимъ ухомъ слышалъ его,—я бы затруднился отвѣтить. Сдается мнѣ, что его отношеніе къ книгѣ, наукѣ, знанію вообще—нѣсколько похоже на отношеніе къ этимъ вещамъ дѣвицы Тани въ повѣсти г. Вересаева: всякая наука важна только въ началѣ, чтобы пріобрѣсти знакомства. Какъ бы то ни было, процессъ

пріобрѣтенія знаній, опредѣленнѣе говоря,—процессъ ученія, его обстановка, среди учащихся, ихъ радости и бѣды, все это очень занимаетъ нашего автора. Если подъ рукой нѣтъ обыкновенныхъ учащихся, онъ беретъ необыкновеннаго — сорокалѣтняго пьянаго Якова Ивановича Козырева, держащаго экзаменъ на право полученія перваго чина (разсказъ „Калигула"). Никакъ не удается этому бѣдному Якову Ивановичу перешагнуть черезъ порогъ экзамена. По книжкѣ онъ даже сыну-гимназисту помогаетъ: sum, es, est, sumus, estis, sunt. А какъ придетъ на экзаменъ, такъ въ головѣ у него все спутывается и на вопросъ—сколько частей свѣта? отвѣчаетъ: четыре; а сколько странъ свѣта?—пять; а какого французы вѣроисповѣданія?—республиканскаго; а вы? единодержавнаго?—такъ-съ, монархическаго. Вотъ тоже имя Калигула ему не дается: „Калугила" выходитъ. Послѣ одной изъ неудачныхъ попытокъ преодолѣть Калигулу и всю прочую премудрость, Яковъ Иванычъ напивается пьянъ, дерзитъ начальству, и его выгоняютъ со службы. Но, опомнившись, Яковъ Ивановичъ униженно проситъ прощенія и получаетъ таковое. Разсказъ написанъ очень живо и весело. Мнѣ кажется, даже слишкомъ весело. Можно бы было и не въ такой уже степени подавлять жалкаго Якова Ивановича своими—вѣдь еще „въ началѣ", до „знакомствъ" пріобрѣтаемыми знаніями о четырехъ странахъ свѣта и Калигулѣ... Другое дѣло „Gaudeaums igitur". Дѣйствующія лица здѣсь не учащіеся, а учившіеся. Ежегодно въ день годовщины N-го университета въ уѣздномъ городкѣ Сердянскѣ мѣстная интеллигенція собиралась, „чтобы въ задушевной бесѣдѣ вспомнить дни своего студенчества" и, конечно, спѣть знаменитую студенческую пѣсню. Собственно питомцевъ N-го университета въ городѣ было всего трое, но къ нимъ присоединялись добровольцы—становой Тычкинъ, почтмейстеръ Мямлинъ, которые „никакихъ университетовъ не нюхали", еще кое-кто, мѣстныя дамы, на присутствіи которыхъ особенно настаиваетъ франтъ и ловеласъ становой Тычкинъ. Получается забавная картинка пикника въ память университетской годовщины, при чемъ „задушевной бесѣдѣ о дняхъ студенчества" отводится, конечно, мѣста меньше всего, и юморъ автора находится въ полной гармоніи съ его матеріаломъ.

Внѣ интереса къ жизни гимназистовъ, гимназистокъ, студентовъ, готовящихся къ экзамену, бывшихъ студентовъ, трудно было бы указать какой-нибудь другой пунктъ, объединяющій разсказы г. Чирикова. Внѣ этого круга онъ безпорядочно переходитъ отъ одной темы къ другой, ни на одной долго не останавливаясь, ни къ одной

не возвращаясь. Сюда относятся разсказы „Бродячій мальчикъ“, „Въ лѣсу“, „На стоянкѣ“, „Съ ночевой“, „Прогрессъ“. Въ большинствѣ этихъ разсказовъ нѣтъ и тѣни того ребячливаго юмора, который сопровождаетъ автора въ его экскурсіяхъ въ школьную и околошкольную жизнь, но за то развертываются другія стороны его таланта. И при чтеніи ихъ не разъ приходилось досадовать, что такой даровитый писатель разбрасывается на случайныя темы, что нѣтъ въ его распоряженіи такой точки зрѣнія, которая помогла бы ему оріентироваться въ безконечно разнообразныхъ явленіяхъ жизни, отличать въ нихъ важное и неважное, цѣнное и бросовое, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ему самому придавала бы опредѣленный индивидуальный обликъ. Но вотъ надъ русской интелигенціей пронеслось дыханіе нео-марксизма, и г. Чириковъ какъ будто нашелъ то, чего ему недоставало. Подобно многимъ, онъ рѣшилъ, что „теперь пойдетъ ужъ музыка не та, у насъ запляшутъ лѣсъ и горы“! И написалъ сравнительно большой разсказъ „Инвалиды“...

Очень бы интересно было посмотрѣть, какъ пляшутъ лѣсъ и горы, но бѣда въ томъ, что музыканты то были прежніе, а только усѣлись они въ новомъ порядкѣ и гордые имъ, этимъ новымъ порядкомъ, прежде всего накинулись на старую музыку—кто съ чѣмъ, а г. Чириковъ съ характерною для него ребячливостью, къ которой, впрочемъ, присоединились нѣкоторые другіе, пріобрѣтенные на литературномъ поприщѣ тона. Вотъ портретъ главнаго героя „Инвалидовъ“.

„Въ кругу своихъ друзей Крюковъ *на-скоро* разрѣшилъ всѣ „вопросы“ и присоединился къ программѣ дѣятельности по формулѣ „все для народа и посредствомъ народа“. *Въ полгода* Крюковъ изучилъ общину, артель и кустарную промышленность, выяснилъ роль своей личности, какъ интеллигентнаго человѣка, и затѣмъ... былъ подхваченъ волной движенія... Эта волна закружила Крюкова, какъ щепочку, и стала носить по тюрьмамъ и этапамъ, пока, наконецъ, не выкинула на берегъ пустынныхъ волнъ, предоставивши ему стоять здѣсь съ своими великими думами и безпомощно опущенными руками... Вернулся онъ съ какими-то фантастическими надеждами, планами и замыслами, съ горячею вѣрою въ свое прежнее дѣло и съ непреодолимымъ желаніемъ начать все сызнова... Но дѣйствительность безжалостно посмѣялась надъ Крюковымъ. Какъ герой сказки, Крюковъ, казалось, проспалъ *цѣлое столѣтіе*, и когда проснулся то вокругъ него говорили уже на другомъ нарѣчіи, завели другіе

обычаи, иначе стали думать и иначе дѣлать, и какъ Крюковъ *не понималъ ихъ, такъ и его никто не понималъ*... Человѣкъ съ горячею вѣрою въ силу какого-то особаго „уклада“ русской народной мысли и народнаго міросозерцанія, съ фантастическими планами путемъ общины, артели и экономической жизни отчизны чуть-ли не осуществить завтра же идеалъ всеобщаго на землѣ счастья — Крюковъ оторвался отъ дѣйствительности“...

Таковъ духовный портретъ Крюкова. О наружности и говорить нечего, такъ,—плюгавая: онъ напоминалъ собою „не то устарѣвшаго и сошедшаго со сцены тенора оперы, не то холостяка-художника, переживающаго хроническое неблагополучіе въ финансовомъ отношеніи“. Ну и глупостей говоритъ и дѣлаетъ Крюковъ, конечно, очень много. Но я за ними слѣдить не буду, а обращу вниманіе читателя на ту необыкновенную быстроту русскаго прогресса, о которой свидѣтельствуетъ г. Чириковъ. Въ тѣ нѣсколько лѣтъ, что Крюковъ ходилъ по этапамъ и тюрьмамъ, для русскаго прогресса прошло цѣлое столѣтіе, все измѣнилось, и музыка до такой степени пошла не та, что Крюковъ и новые или по новому усѣвшіеся музыканты даже не понимаютъ другъ друга. Быстрота поразительная. А еще находятся люди, утверждающіе, что мы только на мѣстѣ топчемся... И только у насъ и возможны такіе гигантскіе шаги впередъ. Если мы обратимся къ богамъ того поколѣнія, отъ лица котораго говоритъ г. Чириковъ, то увидимъ, что Марксъ и Энгельсъ понимали и высоко цѣнили, напримѣръ, Фурье, хотя Фурье ожидалъ „осуществленія завтра же идеала всеобщаго на землѣ счастья“ даже не отъ „общины, артели и экономической жизни отчизны“, а просто отъ какого-нибудь богача, который поможетъ ему устроить первый фаланстеръ. Ну, а у насъ г. Чириковъ столь быстро стремится впередъ, что уже не можетъ понимать г. Крюкова, — они на разныхъ языкахъ или, по крайней мѣрѣ, на разныхъ „нарѣчіяхъ“ говорятъ... Г. Чириковъ неодобрительно отмѣчаетъ, что Крюковъ „на-скоро разрѣшилъ всѣ вопросы“ и „въ полгода изучилъ“ общину и проч. Это намекаетъ на то, что самъ-то г. Чириковъ, трактующій о тѣхъ же „вопросахъ“, не на-скоро, не въ полгода изучилъ ихъ. Но вѣроятно ли это при томъ необычайно быстромъ темпѣ жизни, о которомъ свидѣтельствуетъ г. Чириковъ? Если мы въ двадцать лѣтъ пробѣгаемъ столѣтіе, то, пожалуй, больше, чѣмъ полгода, и не остается на то, на что европейцы тратятъ не одинъ годъ. Выше я задалъ себѣ вопросъ объ отношеніи г. Чирикова къ книгѣ, наукѣ,

знанію вообще и выразилъ предположеніе, что ему, какъ дѣвицѣ Танѣ, знаніе важно только въ своихъ начаткахъ, а тамъ ужъ пойдутъ „знакомства“, которыхъ совершенно достаточно для изученія вещей „на-скоро“. Я все болѣе убѣждаюсь въ вѣрности этого предположенія. Марксъ и Энгельсъ—да проститъ мнѣ г. Чириковъ сопоставленіе его съ этими большими людьми — не раздѣляли фантастическихъ мечтаній Фурье, но понимали и цѣнили его, потому что знали въ его ученіи и кое-что, кромѣ этихъ фантазій. Г. Чириковъ знаетъ изъ ученія „инвалидовъ“ только надежды на общину и артель и, гордый своими познаніями по части начатковъ въ этой области, третируетъ Крюкова, какъ того Якова Ивановича, который путалъ число странъ свѣта съ числомъ частей свѣта и говорилъ „Калугила“ вмѣсто „Калигула“. Скажутъ, можетъ быть, что вѣдь г. Чириковъ отмѣтилъ легкомысліе Крюкова: онъ на-скоро разрѣшилъ всѣ вопросы, „въ полгода“. Это бываетъ,—и прежде бывало, и теперь бываетъ (и, можетъ быть, съ самимъ г. Чириковымъ такъ было). Въ такомъ случаѣ въ лицѣ Крюкова авторъ казнитъ только легкомысліе, и не торопись Крюковъ съ „разрѣшеніемъ всѣхъ вопросовъ“,—а вѣдь это тоже бывало,—онъ и новые музыканты могли бы понимать другъ друга, не говорили бы на разныхъ языкахъ. Это не такъ, однако. Въ слѣдующемъ разсказѣ г. Чирикова, „Чужестранцы“, къ которому мы сейчасъ обратимся, „шаблонныя фразы объ общинѣ, артели, сектантствѣ, какъ главныхъ факторахъ грядущаго прогресса“, опять являются исчерпывающими міросозерцаніе „народниковъ“ — „инвалиды“ тожъ. Очевидно, Крюковъ съ своимъ легкомысліемъ не случайный единичный экземпляръ, а типъ, представитель всѣхъ „инвадовъ“, на-скоро или не на-скоро они свой багажъ пріобрѣли. Г. Чириковъ въ существо дѣла проникаетъ... И это поистинѣ удивительно. Крюковъ, какъ мы видѣли, походилъ по этапамъ и посидѣлъ въ тюрьмахъ; въ другомъ мѣстѣ авторъ сообщаетъ, что его герою знакомы „безграничное море снѣговъ и угрюмые лѣса тайги“. И не только это обстоятельство не уняло ребячливости г. Чирикова, но даже не навело его на мысль, что, должно быть, не за общину и артель такъ расплачивался Крюковъ...

У насъ принято думать, что беллетристу и вообще художнику не нужно знаній, нуженъ, дескать, только талантъ. Это замѣчательно невѣрное мнѣніе. Нѣтъ, разумѣется, надобности, чтобы романисту была, напримѣръ, „звѣздная книга ясна“, и мы охотно простимъ ему, если онъ при случаѣ какъ-нибудь смѣшаетъ одно созвѣздіе съ другимъ;

но изображаемую эпоху и среду онъ долженъ знать, и знать превосходно. Подумать страшно, какая масса знанія вложена Толстымъ въ „Войну и миръ“ или сколько предварительнаго изученія потребовала „Капитанская дочка“ Пушкина. А сколько детальнѣйшаго знанія въ комедіяхъ Островскаго, въ сатирахъ Щедрина и т. п. Если Рѣшетниковъ, будучи совершенно необразованнымъ человѣкомъ вообще, навсегда вписалъ свое имя въ исторію русской литературы „Подлиповцами“, такъ только потому, что превосходно зналъ подлиповцевъ. Если такъ хорошъ разсказъ г. Чирикова „Вешніе всходы“, такъ именно потому, что авторъ совершенно свой въ кругу гимназистовъ и гимназистокъ. Надъ Рѣшетниковымъ подсмѣивались, будто онъ пишетъ драму изъ великосвѣтскаго быта, героиня которой, нѣкая графиня, столь деликатно воспитана, что ничего, кромѣ сладкой водки, не пьетъ. То была шутка,—сила Рѣшетникова въ томъ и состояла, что онъ изображалъ то, что хорошо зналъ, но эта шутка поучительна. Никто, конечно, не сомнѣвается въ томъ, что для историческаго романиста нужно знаніе избранной имъ эпохи, а для художника, берущаго свои темы изъ той или другой спеціальной сферы—знаніе этой сферы. Но, дескать, не углубляясь ни въ какую спеціальную — историческую, этнографическую, сословную — область, можно довольствоваться талантомъ и тѣми „начатками“ знанія человѣческой души, которыя вѣдь у всѣхъ есть, хотя бы при помощи „знакомствъ“. Думаю, что „начатками“ никоимъ образомъ ограничиваться нельзя, но въ данномъ случаѣ мы можемъ и не вдаваться въ обсужденіе этого вопроса, потому что г. Чириковъ выбралъ для художественной обработки несомнѣнно сферу спеціальную, имѣющую свою особую и даже довольно длинную исторію, и ее то г. Чириковъ не потрудился хоть сколько-нибудь изучить,—я не хочу дѣлать обидное для него предположеніе, что онъ ее намѣренно извращаетъ.

Бѣдный, жалкій „инвалидъ“ Крюковъ сталкивается съ молодымъ марксистомъ Игнатовичемъ, который кладетъ его въ лоскъ, главнымъ образомъ насмѣшливо презрительнымъ вопросомъ—что дѣлаютъ его, Крюкова, единомышленники? „Твердятъ, какъ сорока про Якова, о томъ, что нужно поддерживать общину, и плачутъ, когда ихъ не слушаютъ? Поддерживать кустарей, уже разбившихся на группы зажиточныхъ буржуа и простыхъ наемныхъ рабочихъ?“ Понятно, что Крюковъ, у котораго за душой нѣтъ ничего, кромѣ общины и кустарей, совершенно сраженъ этими вопросами и уклоняется отъ от-

вѣта, а начинаетъ ругаться. Игнатовичъ отвѣчаетъ тѣмъ же, и— Крюковъ вскорѣ умираетъ. Передъ смертью онъ пишетъ Игнатовичу письмо, въ которомъ признаетъ, что онъ, Крюковъ, дѣйствительно „никуда не годенъ", а Игнатовичъ—„хорошій, честный юноша". Онъ допускаетъ, что все его прошлое—„одна сплошная ошибка", но говоритъ: „быть можетъ, на смѣну вамъ придутъ новые люди, которые признаютъ ваши взгляды и вашу дѣятельность тоже ошибкой". Словомъ, онъ сдается окончательно и только жалуется на то, что Игнатовичъ былъ съ нимъ жестокъ, оскорбилъ его и „этимъ оскорбленіемъ только напомнилъ ему о томъ, что онъ давно зналъ и о чемъ давно думалъ"...

„Мертвый въ гробѣ мирно спи, жизнью пользуйся живущій"! Миръ праху Крюкова и да здравствуетъ Игнатовичъ! „Теперь пойдетъ ужъ музыка не та, у насъ запляшутъ лѣсъ и горы!" Но, какъ извѣстно, лѣсъ и горы не заплясали, марксизмъ разсыпался, пульверизировался, и его былые вожди наносятъ другъ другу словесные удары не хуже тѣхъ, которыми обмѣнивались Игнатовичъ и Крюковъ... И г. Чириковъ пишетъ новый разсказъ—„Чужестранцы", съ эпиграфомъ:

Въ столицѣ шумъ, гремятъ витіи.
Кипитъ словесная война...
А тамъ, во глубинѣ Россіи,
Тамъ вѣковая тишина!

Ни „глубины Россіи", ни „тишины" намъ авторъ, впрочемъ, не показываетъ. Дѣйствіе происходитъ въ губернскомъ городѣ, и дѣйствующія лица раздѣляются на два лагеря или на двѣ группы. Съ одной стороны, мѣстные нотабли, очень весело проводящіе время,— тутъ и флиртъ, и любительскіе спектакли, и неизбѣжный молодой чиновникъ особыхъ порученій, онъ же секретарь благотворительнаго общества, и соперничающія дамы, словомъ все, что по давнишнему шаблону полагается. Съ другой стороны, кучка интеллигентовъ, главнымъ образомъ марксистовъ, издающихъ газету, въ которой идетъ рѣчь о „политическихъ, экономическихъ и нравственныхъ факторахъ". Словомъ, какъ и въ столицѣ, „шумъ, гремятъ витіи, кипитъ словесная война". Но, увы! Какъ „дѣйствительность безжалостно посмѣялась надъ Крюковымъ", такъ посмѣялась она и надъ Игнатовичами, которые оказались „чужестранцами" въ родной странѣ. Газету, за отсутствіемъ подписчиковъ, пришлось прекратить, и „чужестранцы" оказались въ положеніи, немногимъ развѣ лучшемъ, чѣмъ

Крюковъ. Оригинальное и очевидно симпатичное автору положеніе среди „чужестранцевъ“ занимаетъ нѣкій Силинъ. Когда-то онъ держался скудныхъ идей „инвалидовъ“. Но съ теченіемъ времени „всѣ эти шаблонныя фразы объ общинѣ, артели, сектантствѣ, какъ факторахъ грядущаго прогресса, потеряли въ глазахъ Силина всякую цѣнность“. „Потомъ появилось такъ называемое новое направленіе. Новое оно было лишь въ томъ смыслѣ, что представители его не видѣли новыхъ путей для шествія родного прогресса, утверждая, что онъ пошелъ по старой избитой дорожкѣ капитализма“. Но Силинъ смѣялся „и надъ народниками, и надъ марксистами, называя и тѣхъ, и другихъ мечтателями“. И когда послѣ постигшаго „чужестранцевъ“ краха Силинъ уѣзжаетъ изъ города, онъ горько задумывается: „Гдѣ найти разрѣшеніе чертовской загадки?.. Надо учиться, снова пересмотрѣть и разрѣшить такъ или иначе вопросъ“...

„Надо учиться“,—таковъ итогъ, къ которому приводятъ талантливаго автора его легкомысленно-ребячливыя экскурсіи въ область нравственно-политическихъ вопросовъ...

Въ подзаголовкѣ настоящихъ замѣтокъ значатся еще имена гг. М. Горькаго и А. Чехова. Но у меня остается уже слишкомъ мало мѣста для бесѣды объ этихъ царяхъ современнаго русскаго разсказа, равно какъ и для нѣкоторыхъ общихъ выводовъ изъ всего сказаннаго. До слѣдующаго раза...

Въ № 1 „Журнала для всѣхъ“ напечатаны воспоминанія г. Антоновича о Добролюбовѣ. Они не много прибавляютъ къ тому, что мы знаемъ о знаменитомъ критикѣ, какъ съ фактической стороны, такъ и въ смыслѣ характеристики Добролюбва. Но все же они прочтутся съ интересомъ, и тѣмъ обиднѣе одна вкравшаяся въ нихъ ошибка. „Чернышевскій—вспоминаетъ, между прочимъ, г. Антоновичъ,—удивлялся въ Добролюбовѣ непреклонной строгости, неподкупности и нелицепріятію въ сношеніяхъ со всѣми, кто бы они ни были, знакомые-ли, пріятели, люди, высоко поставленные въ литературѣ, авторитеты или начинающіе новички; со всѣми онъ былъ одинаковъ и всѣмъ, ни мало не стѣсняясь, рѣзалъ въ глаза правду-матку; у него нѣтъ на лицо зрѣнія, онъ за дѣло всякаго ругаетъ въ глаза безъ малѣйшаго стѣсненія и церемоніи и ужъ никому ничего не проститъ...

„Съ милѣйшимъ, мягчайшимъ и утонченнѣйшимъ Тургеневымъ,—

разсказывалъ Чернышевскій г. Антоновичу,—или съ добрѣйшимъ Кавелинымъ онъ (Добролюбовъ) не стѣсняется и рѣжетъ имъ свое. А съ другими, столь же почтенными и заслуженными литераторами обращается еще дерзновеннѣе". Къ этому г. Антоновичъ прибавляетъ отъ себя: „Слѣдуетъ замѣтить въ скобкахъ, что не смотря на то, что Чернышевскій при личныхъ сношеніяхъ съ литературными корифеями и авторитетами былъ съ ними внимателенъ, почтителенъ и любезенъ, они, однако, не любили его еще больше, чѣмъ Добролюбова. Тургеневу, напр., въ то время приписывали такую фразу: „Добролюбовъ—просто змѣя, а Чернышевскій—ядовитая, гремучая змѣя".

Память измѣнила г. Антоновичу, хотя ей могла бы въ этомъ случаѣ помочь книга, и именно февральскій № „Современника" за 1862 г., въ которомъ напечатана статья Чернышевскаго „Въ изъявленіе признательности". Изъ статьи этой видно, что фразу о змѣяхъ не „приписывали въ то время" Тургеневу, а Чернышевскій самъ печатно привелъ ее, и не въ такомъ видѣ, какъ она приведена у г. Антоновича: какъ разъ наоборотъ, роль простой змѣи выпала на долю Чернышевскаго, а „ядовитой, гремучей" (въ подлинникѣ „очковой")—Добролюбову.

VI *).

О повѣстяхъ и разсказахъ гг. Горькаго и Чехова.

Приступая къ окончанію замѣтокъ о типахъ современныхъ авторовъ повѣстей и разсказовъ, я чувствую нѣкоторое смущеніе. До сихъ поръ я находился въ положеніи своего рода embarras de richesses. Г. Ѳ. Потѣхина или г. Щеглова, г. Плетнева, кн. Барятинскаго я могъ бы свободно замѣнить множествомъ другихъ авторовъ, и только гг. Тимковскій и Чириковъ представляли бы въ этомъ отношеніи нѣкоторыя затрудненія, хотя и не непреодолимыя. Но гг. Горькаго и Чехова обойти или кѣмъ нибудь замѣнить нельзя, и не только въ виду ихъ значительности, а и въ виду тѣхъ общихъ выводовъ, которые я желалъ бы представить вниманію читателей. А между тѣмъ, и о томъ, и о другомъ мнѣ не разъ случалось писать. Думать, что читатели помнять все, въ разное время мною объ этихъ двухъ замѣчательныхъ писателяхъ сказанное, было бы съ моей стороны слишкомъ самоувѣренно, а повторять сказанное—по малой мѣрѣ не весело. Но, можетъ быть, сопоставленіе ихъ дастъ мнѣ возможность счастливо избѣгнуть этихъ Сциллы и Харибды. А сопоставленіе это напрашивается само собой, и къ нему не разъ уже прибѣгала критика. Такъ недавно еще французскій критикъ Мельхіоръ де-Вогюе въ статьѣ Revue de deux Mondes о г. Горькомъ поминалъ г. Чехова, а въ статьѣ о г. Чеховѣ—г. Горькаго, да и въ русской литературѣ это сопоставленіе дѣлалось. По странной игрѣ судьбы, имѣющей, можетъ быть, въ своемъ основаніи не одну простую случайность, въ исторіи литературы довольно часто случается, что вниманіе современниковъ-соотечественниковъ, а иногда и не только соотечествен-

*) Февраль 1902 г.

никовъ, сосредоточивается на двухъ писателяхъ, какъ бы дополняющихъ другъ друга своими рѣзко различными индивидуальными чертами при наличности чего-то общаго въ нихъ. Вольтеръ и Руссо, Гете и Шиллеръ, Пушкинъ и Гоголь, Толстой и Достоевскій поневолѣ часто вспоминаются парами. Такъ и гг. Чеховъ и Горькій. Само собою разумѣется, я не думаю сравнивать всѣ эти пары, число которыхъ можно бы было значительно увеличить, въ какомъ бы то ни было отношеніи, кромѣ одного: онѣ парами всплываютъ на верхи литературы даннаго времени и мѣста, другъ друга дополняя и поясняя какъ своими различіями, такъ и своимъ сходствомъ. Долго-ли они остаются на верхахъ, „что городъ на горѣ",—вѣка или годы, и велико-ли ихъ значеніе въ исторіи литературы, это уже другой вопросъ.

Что гг. Чеховъ и Горькій занимаютъ въ настоящую минуту „верхи", въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Въ особенности поразителенъ успѣхъ г. Горькаго. Г. Чеховъ заработалъ свое нынѣшнее положеніе далеко не сразу, тогда какъ съ г. Горькимъ произошло нѣчто вродѣ рожденія готовой Минервы изъ головы Юпитера. На моемъ экземплярѣ пятаго тома его „Разсказовъ", помѣченномъ прошлымъ 1901 годомъ, значится: „двадцать шестая тысяча". Это цифра,—если она еще окончательная,—исключительная въ нашей литературѣ. А принимая въ соображеніе, что авторъ появился въ литературѣ всего какихъ-нибудь пять-шесть лѣтъ тому назадъ, надо признать, что ни одна изъ звѣздъ первой величины нашего литературнаго небосклона,—ни Толстой, ни Достоевскій, ни Щедринъ, ни Тургеневъ не завоевывали съ такою быстротою такого широкаго круга читателей. Но завоеванная г. Горькимъ область далеко не ограиичивается русскими предѣлами: его усиленно переводятъ, критикуютъ, комментируютъ, интересуются обстоятельствами его личной жизни и за границей—въ Германіи, во Франціи, въ Италіи, въ славянскихъ странахъ. Изъ современныхъ русскихъ писателей онъ, послѣ Толстого и, можетъ быть, г. Чехова, пользуется наибольшею популярностью въ Европѣ.

Въ чемъ же секретъ этого колоссальнаго, небывалаго у насъ успѣха?

Объяснить все дѣло крупнымъ талантомъ г. Горькаго, очевидно, нельзя. Какъ ни несомнѣненъ этотъ талантъ, едва-ли кто-нибудь рѣшится поставить его выше дарованій только что названныхъ писателей, да и самая оригинальность всякаго истиннаго таланта исклю-

чаетъ возможность подобныхъ сравненій. Каждый самъ по себѣ, каждый въ своемъ родѣ, въ каждомъ есть нѣчто, кромѣ таланта, что при помощи этого таланта „ударяетъ по сердцамъ“ читателей, по крайней мѣрѣ, въ данную минуту, при данныхъ условіяхъ. Открыть секретъ успѣха писателя значитъ найти это нѣчто, помимо таланта, хотя и при его посредствѣ притягивающее къ нему общее вниманіе, указать тотъ пунктъ въ его писаніяхъ, который направляетъ къ нему радіусы интереса и симпатій современныхъ читателей.

Я говорю о данной минутѣ, данныхъ условіяхъ, современныхъ читателяхъ. Каково бы ни было болѣе или менѣе отдаленное будущее гг. Горькаго и Чехова, они во всякомъ случаѣ займутъ свое мѣсто въ исторіи литературы въ связи съ характеромъ и настроеніемъ читающаго люда въ настоящую минуту. То, что волновало данное общество вчера и волнуетъ сегодня, можетъ завтра же встрѣтить холодное равнодушіе, отступивъ на задній планъ передъ новымъ предметомъ положительныхъ или отрицательныхъ волненій. И это не только вслѣдствіе неустойчивости общественнаго настроенія, намъ, русскимъ, слишкомъ хорошо знакомой, а и вслѣдствіе измѣненій въ самомъ составѣ читателей. Извѣстно, съ какимъ восторгомъ были встрѣчены первыя произведенія Достоевскаго, но восторгающіеся представляли собою количественно ничтожную горсть болѣе или менѣе тонкихъ и требовательныхъ цѣнителей. Какъ ни закружилась у Достоевскаго голова отъ встрѣтившихъ его похвалъ, но о „двадцать шестой тысячѣ“ онъ, конечно, и мечтать не могъ. Теперь, полвѣка спустя, болѣе или менѣе тонкіе и требовательные цѣнители не перевелись, разумѣется, но общее количество читателей возросло въ огромной пропорціи и среди нихъ, безъ сомнѣнія, есть много и отнюдь не тонкихъ и очень мало требовательныхъ въ эстетическомъ отношеніи. Говоря это, я отнюдь не думаю какъ нибудь умалить значеніе успѣха г. Горькаго. Временно, вслѣдствіе экстренно быстраго увеличенія числа читателей на счетъ недавно сплошь безграмотной массы, уровень ихъ эстетической требовательности необходимо долженъ былъ понизиться; но вмѣстѣ съ тѣмъ народились запросы ума и сердца, о которыхъ не слышно было пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Что касается Европы, то сравнительно еще недавно тамъ едва знали о существованіи русской литературы; хотя она уже могла похвалиться геніальными писателями, но ими интересовались какіе-нибудь десятки знатоковъ. Теперь же, благодаря бреши, пробитой Тургеневымъ, Толстымъ и Достоевскимъ, во Франціи слышатся

уже негодующіе голоса противъ наплыва и вліянія русской литературы, а нѣмецкій критикъ начинаетъ въ журналѣ „Das Magazin für Litteratur“ статью о Пушкинѣ слѣдующими словами: „Русская литература сдѣлалась у насъ модной. Печать расточаетъ похвалы Льву Толстому; газеты запасаются статьями о „поэтѣ униженныхъ“ Максимѣ Горькомъ; всюду встрѣчаемъ мы очерки и фельетоны, знакомящіе съ произведеніями Чехова, Короленко и др. Вслѣдствіе такой моды, русская литература одними сверхъ мѣры восхваляется, другимъ внушаетъ подозрѣніе, какъ всякое модное увлеченіе, и, въ концѣ концовъ, можно опасаться, что она не получитъ ни отъ кого правильной оцѣнки. Ея современность (Modernität), впрочемъ, понятна, такъ какъ она является своеобразнымъ продуктомъ своеобразной націи и, хотя и состоитъ въ связи съ великими европейскими теченіями мысли, однако сохраняетъ также и оригинальную прелесть ея основного славянскаго настроенія. Ее надо разсматривать, какъ естественный продуктъ ея страны, а не какъ капризъ моды“. (См. „Русскія Вѣдомости“ 1901, № 273).

Не видно, почему бы „въ концѣ концовъ“ европейская критика не могла дать нашей современной литературѣ оцѣнку, не менѣе вѣрную, чѣмъ какая возможна для русской критики. Но Улита ѣдетъ, когда-то будетъ, и для настоящаго времени опасенія нѣмецкаго критика, надо думать, основательны. Чрезвычайно характеренъ въ этомъ отношеніи нѣмецкій переводъ заглавія одного изъ разсказовъ г. Горькаго: „Проходимецъ“—„Ein Individualist“. Дворянинъ Павелъ Игнатьевичъ Промтовъ, пожалуй, дѣйствительно индивидуалистъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ именно „проходимецъ“ и даже просто мазурикъ. Добросовѣстные европейскіе критики сами признаютъ, что многаго не понимаютъ въ русской литературѣ. Такъ Вогюе, давно слѣдящій за нею и знакомый и съ русской жизнью, въ упомянутыхъ статьяхъ Revue de deux Mondes, признавая яркіе таланты гг. Чехова и Горькаго, дѣлаетъ много вѣрныхъ замѣчаній о ихъ писаніяхъ, но передъ нѣкоторыми ихъ сторонами останавливается съ недоумѣніемъ. „Я это констатирую, но не понимаю“, говоритъ онъ по поводу разсказовъ и драматическихъ произведеній г. Чехова. А о г. Горькомъ онъ, между прочимъ, пишетъ: „Очень искусенъ будетъ тотъ, кто разберется въ философіи Горькаго“, разумѣя подъ философіей ту точку зрѣнія, съ которой нашъ писатель смотритъ на жизнь и которую желаетъ внушить своимъ читателямъ. Да Горькій и самъ въ

ней не разбирается,—прибавляетъ Вогюе, и въ подтвержденіе этой своей мысли ссылается на разсказъ „Читатель"...

Разсказъ этотъ вообще очень интересенъ и характеренъ для г. Горькаго, хотя видѣть въ немъ нѣчто автобіографическое, личную исповѣдь автора, какъ видитъ Вогюе, можно только съ большими ограниченіями. Молодой писатель, отъ лица котораго ведется разсказъ, только что наслышавшись похвалъ своему произведенію, идетъ ночью одинъ по улицѣ. Къ нему приступаетъ съ разговоромъ какой-то таинственный незнакомецъ, называющій себя „читателемъ",—очевидно, воплощеніе совѣсти писателя. Онъ даетъ слѣдующее опредѣленіе „цѣли литературы": „помогать человѣку понимать себя самого, поднять его вѣру въ себя и развить въ немъ стремленіе къ истинѣ, бороться съ дурнымъ въ людяхъ, умѣть найти хорошее въ нихъ, возбуждать въ ихъ душахъ стыдъ, гнѣвъ, мужество, дѣлать все для того, чтобы люди стали благородно сильными и могли одухотворить свою жизнь святымъ духомъ красоты. Вотъ моя формула,—прибавляетъ незнакомецъ,—она, разумѣется, не полна, схематична, дополняйте ее всѣмъ, что можетъ одухотворять жизнь, и скажите—вы согласны со мной?"—Писатель, конечно, согласенъ, потому что вѣдь незнакомецъ есть онъ самъ или сидящій въ немъ его судья—совѣсть. Но не для всѣхъ такъ безспорна формула незнакомца, какъ не всякій согласится и съ тѣмъ опредѣленіемъ Бога, которое даетъ незнакомецъ въ дальнѣйшемъ теченіи разговора: „Богъ есть безконечное стремленіе къ совершенству". Нашъ писатель опять-таки, разумѣется, соглашается, но вслѣдъ затѣмъ незнакомецъ ошеломляетъ его вопросомъ: „Кто есть твой Богъ?" „До этого вопроса,—говоритъ разсказчикъ,—онъ говорилъ мягко и ласково, и мнѣ пріятно было его слушать... И вдругъ онъ ставитъ роковой вопросъ, на который такъ трудно отвѣтить человѣку нашего времени, если тотъ человѣкъ честно относится къ себѣ. Кто есть мой Богъ? Если бы я зналъ это!"—Снисходя къ слабости собесѣдника, незнакомецъ задаетъ ему другой вопросъ, въ его сознаніи, повидимому, тождественный съ первымъ, но въ болѣе простой, спеціализированной формѣ: „Ты пишешь, и тысячи людей читаютъ тебя; что же именно ты проповѣдуешь? И думалъ ли ты о твоемъ правѣ поучать?"—Разсказчикъ размышляетъ: „Первый разъ въ жизни я смотрѣлъ такъ внимательно вглубь себя. Пусть не думаютъ, что я возвышаю или унижаю себя для того, чтобы привлечь къ себѣ вниманіе людей,—у нищихъ не просятъ милостыни. Я открылъ въ себѣ не мало добрыхъ чувствъ и желаній,

не мало того, что обыкновенно называютъ хорошимъ, но чувства, объединяющаго все это, стройной и ясной мысли, охватывающей всѣ явленія жизни, я не нашелъ въ себѣ. Въ душѣ моей много ненависти, она постоянно тлѣетъ тамъ... иногда вспыхиваетъ яркимъ огнемъ гнѣва; но еще больше сомнѣній въ душѣ моей. Порой они такъ потрясаютъ мой умъ, такъ давятъ сердце, что долгое время я существую внутренно опустошенный"....

Мы еще вернемся къ разсказу „Читатель", но теперь остановимся на минуту на этой исповѣди писателя. Не поражаетъ ли васъ мѣстами почти буквальное сходство ея съ слѣдующею исповѣдью стараго профессора въ одномъ изъ лучшихъ разсказовъ г. Чехова „Скучная исторія": „Сколько бы я ни думалъ и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что въ моихъ желаніяхъ нѣтъ чего-то главнаго, чего-то очень важнаго. Въ моемъ пристрастіи къ наукѣ, моемъ желаніи жить, въ этомъ сидѣніи на чужой кровати и стремленіи познать самого себя, во всѣхъ мысляхъ, чувствахъ и понятіяхъ, какія я составляю обо всемъ, нѣтъ чего-то общаго, что связывало бы все это въ одно цѣлое... Каждое чувство и каждая мысль живутъ во мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ моихъ сужденіяхъ о наукѣ, театрѣ литературѣ, ученикахъ и во всѣхъ картинахъ, которыя рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей или Богомъ живого человѣка. А коли нѣтъ этого, то, значитъ, нѣтъ и ничего"...

Мнѣ приходилось уже цитировать это выразительное мѣсто изъ „Скучной исторіи", да и трудно его обойти, говоря о г. Чеховѣ. Когда я въ первый разъ обратилъ вниманіе читателей на эти замѣчательныя слова,—это было лѣтъ двѣнадцать назадъ,—я выразилъ пожеланіе, что если ужъ нѣтъ у самого г. Чехова „общей идеи" или того „Бога живого человѣка", объ отсутствіи котораго тоскуетъ старый профессоръ „Скучной исторіи", такъ „пусть онъ будетъ хоть поэтомъ тоски по общей идеѣ и мучительнаго сознанія ея необходимости". Мнѣ кажется, что это мое пожеланіе, пожеланіе человѣка всегда любовавшагося талантомъ г. Чехова и тѣмъ болѣе скорбѣвшаго о томъ, какъ онъ примѣняется,—исполнилось. Но объ этомъ потомъ. Теперь меня занимаетъ, согласитесь, поразительное сходство того, что г. Горькій влагаетъ въ уста молодого писателя, съ тѣмъ, что думаетъ у г. Чехова старый профессоръ.

И тѣмъ поразительнѣе это совпаденіе, что, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, казалось бы, трудно найти писателей,

менѣе сходныхъ другъ съ другомъ. Оба они начали съ маленькихъ разсказовъ, въ которыхъ обоимъ съ теченіемъ времени становится, повидимому, тѣсно, но уже самый языкъ, которымъ написаны эти разсказы, представляетъ рѣзкую разницу. Языкъ г. Горькаго яркій, цвѣтной, уснащенный метафорами, неожиданными оборотами, тогда какъ языкъ г. Чехова чрезвычайно простъ, спокоенъ, ровенъ. Г. Горькій весь какъ на ладони, съ своею самоувѣренностью и своими сомнѣніями,—г. Чеховъ сдержанъ до непроницаемости. Сфера наблюденія и вымысла г. Горькаго очень одностороння, онъ часто повторяется, слегка варьируя одни и тѣ же образы, одни и тѣ же положенія, отношенія, мотивы. Г. Чеховъ, напротивъ, поразительно разнообразенъ въ изображаемыхъ имъ житейскихъ комбинаціяхъ. Г. Чехова Вогюе не безъ основанія сравниваетъ съ тѣмъ офицеромъ, любителемъ фотографіи, который въ „Трехъ сестрахъ" постоянно носитъ при себѣ и постоянно пускаетъ въ ходъ аппаратъ для моментальныхъ фотографическихъ снимковъ. Г. Горькій не только не пользуется фотографіей, но принципіально презираетъ ее; въ немъ, не смотря на весь его реализмъ, сидитъ романтикъ, которому нужны приподнятыя чувства, яркія краски, исключительные, небывалые люди. Недаромъ незнакомецъ въ „Читателѣ" говоритъ: „Мы, кажется, снова хотимъ *грезъ, красивыхъ вымысловъ, мечты и странностей*". И далѣе: „Твое перо слабо ковыряетъ дѣйствительность, тихонько ворошитъ мелочи жизни, и, описывая будничныя чувства будничныхъ людей, ты открываешь ихъ уму, быть можетъ, и много низкихъ истинъ, но *можешь ли ты создать для нихъ хотя бы маленькій возвышающій душу обманъ?*" И еще: „Ты можешь сказать мнѣ: жизнь не даетъ иныхъ образовъ, кромѣ тѣхъ, которые воспроизводимъ мы. Не говори такъ, ибо для человѣка, имѣющаго счастье владѣть словомъ, стыдно и позорно сознаваться въ своемъ безсиліи предъ жизнью и въ томъ, что не можетъ онъ встать выше ея. А если ты стоишь на одномъ уровнѣ съ жизнью, *если ты не можешь силой воображенія твоего создать образы, которыхъ нѣтъ въ жизни,* но которые необходимы для ея полученія,—какая польза въ твоей работѣ и чѣмъ оправдаешь ты званіе свое? Загромождая память и вниманіе людей мусоромъ фотографическихъ снимковъ съ ихъ жизни, бѣдной событіями, подумай, не вредишь ли ты людямъ? Ибо, сознайся, ты не умѣешь изображать такъ, чтобы твоя картина жизни вызывала въ человѣкѣ мстительный стыдъ и жгучее желаніе создать иныя формы бытія!.."

Мимоходомъ сказать, эти тирады ясно говорятъ, что діалогу писателя и незнакомца въ „Читателѣ“ нельзя придавать значеніе вполнѣ личной исповѣди автора. Въ чемъ, въ чемъ, а въ отсутствіи „грезъ, красивыхъ (а иногда и некрасивыхъ) вымысловъ, мечты и странностей“, „образовъ, которыхъ нѣтъ въ жизни“,—г. Горькій упрекнуть себя не можетъ. И точно такъ же не можетъ онъ принять на свой счетъ упрековъ незнакомца въ пристрастіи къ описанію „будничныхъ чувствъ, будничныхъ людей“ и къ „мусору фотографическихъ снимковъ съ ихъ жизни“. Какіе ужъ это будничные люди эти Изергили, Зобары, Радды, Соколы, да и всѣ эти Челкаши, Коноваловы и прочіе босяки! Упреки незнакомца, очевидно, направлены по адресу тѣхъ безчисленныхъ авторовъ повѣстей и разсказовъ, которые направляютъ свои фотографическіе аппараты, подобно офицеру-любителю въ „Трехъ сестрахъ“, на что попало и во главѣ которыхъ, возвышаясь надъ ними своимъ исключительнымъ дарованіемъ, еще недавно стоялъ г. Чеховъ...

Итакъ, г. Горькій и г. Чеховъ, не смотря на рѣзкое различіе своихъ писательскихъ обликовъ, сошлись не только въ мысли, а отчасти и въ выраженіи ея на одномъ пунктѣ: на необходимости „общей идеи“ или „стройной и ясной мысли, охватывающей всѣ явленія“ или „того, что называется Богомъ живого человѣка“. Пусть г. Чеховъ выражаетъ тоску по этой „общей идеѣ“ не отъ своего лица, а отъ лица стараго профессора, какъ и г. Горькій говоритъ не отъ себя, а устами безымяннаго молодого писателя, но оба они понимаютъ и эту необходимость, и эту тоску. Эта то общая имъ мысль и выдѣляетъ ихъ изъ сонма нашихъ „разсказчиковъ“. Она же отчасти объединяетъ ихъ мелкіе разсказы въ нѣкоторое цѣлое, а отчасти побуждаетъ ихъ въ послѣднее время расширить рамки очерка и разсказа, дабы охватить большій кругъ явленій жизни вмѣсто тѣхъ осколковъ ея, съ которыхъ они начали. Г. Чеховъ долго довольствовался безпорядочнымъ воспроизведеніемъ этихъ осколковъ, то съ величайшею точностью фотографируя ихъ, то шаржируя ихъ веселымъ юморомъ. Но этотъ періодъ творчества г. Чехова уже миновалъ. Г. Горькій съ первыхъ же своихъ литературныхъ шаговъ, уже самою односторонностью въ выборѣ своихъ темъ и сюжетовъ и приподнятостью своего писательскаго темперамента, былъ гарантированъ отъ безразлично-фотографическаго отношенія

къ дѣйствительности: слишкомъ ярки, слишкомъ огромны въ добрѣ и злѣ носящіеся передъ нимъ образы, чтобы такое отношеніе къ нимъ было возможно. Въ противоположность г. Чехову, тяготѣніе къ „общей идеѣ“ въ немъ жило всегда, и временами ему, можетъ быть, казалось и кажется, что онъ даже владѣетъ ею или что она овладѣла имъ. Въ дѣйствительности же Вогюе правъ, говоря, что не только трудно разобраться въ его „философіи“, но что онъ и самъ въ ней не разбирается.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое этотъ „Богъ“, по которому тоскуетъ молодой писатель у г. Горькаго, какъ и старый профессоръ у г. Чехова? Это великое и священное для людей слово, къ которому прибѣгаютъ и невѣрующіе въ бытіе божіе люди для обозначенія чего-нибудь возвышеннаго, достойнаго поклоненія, — вставлено у г. Чехова въ фразу, ограничивающую его значеніе: „то, что называется Богомъ живого человѣка“. Кѣмъ называется? Въ каком смыслѣ? Почему только называется и при томъ Богомъ „живого человѣка“? Что это значитъ? Г. Горькій выражается какъ будто опредѣленнѣе: „Богъ есть безконечное стремленіе къ совершенству“. Но прежде всего это опредѣленіе совершенно произвольное, ибо съ догматической точки зрѣнія Богъ есть не стремленіе къ совершенству, хотя бы и безконечное, а предвѣчно сущее, абсолютное совершенство. А кромѣ того, это опредѣленіе ничего не опредѣляетъ, и не мудрено, что молодой писатель, признавъ его правильнымъ, тотчасъ вслѣдъ затѣмъ становится въ тупикъ передъ вопросомъ: „кто есть твой Богъ?“ Онъ могъ бы отвѣтить испытующему его незнакомцу: „ты сказалъ!“ Однако, онъ затруднился, и затрудненіемъ этимъ принудилъ незнакомца перевести свой вопросъ на другой, болѣе понятный и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе точный языкъ. А изъ дальнѣйшаго объясненія оказывается, что молодой писатель имѣетъ въ виду „чувство, объединяющее все это“, — всѣ „добрыя чувства и желанія“, или „стройную и ясную мысль, охватывающую всѣ явленія жизни“, а старый профессоръ—„что-то общее, что связывало бы въ одно цѣлое все это“, то есть „всѣ мысли, чувства и понятія“, или „общую идею“. Что же такое это „что-то“, по которому тоскуютъ эти люди? Истина? Да, конечно, но не только истина, потому что рѣчь идетъ у обоихъ и о чувствахъ и желаніяхъ, а г. Горькій требуетъ даже „насъ возвышающаго обмана“, и у г. Чехова „пристрастіе къ наукѣ“ не есть что-нибудь самодовлѣющее, а стоитъ на ряду съ другими „мыслями, чувствами и поня-

тіями" и „желаніями". Молодому писателю г. Горькаго нужна „стройная, ясная мысль, охватывающая всѣ явленія жизни", но мысль не созерцающая, а дѣйственная, органически слитая со „способностью возбуждать въ людяхъ искреннія чувства, которыми, какъ молотками, однѣ формы жизни должны быть разбиты и разрушены для того, чтобы создать другія, болѣе свободныя на мѣсто тѣсныхъ". Молодой писатель жаждетъ такого ученія, которое, удовлетворяя запросы мысли и чувства, вмѣстѣ съ тѣмъ давало-бы безповоротный толчокъ волѣ, побуждало-бы къ дѣйствію въ извѣстномъ направленіи. Словомъ, онъ жаждетъ религіи, какъ мы еще ее недавно опредѣлили *).

Посмотримъ теперь, какъ распредѣляются у нашего автора элементы этого искомаго или уже имѣющагося въ его распоряженіи ученія.

Безконечно разнообразные человѣческіе типы, характеры, темпераменты сводятся въ разсказахъ г. Горькаго къ двумъ главнымъ группамъ. Это, во-первыхъ, „будничные" люди, довольствующіеся той „ямой", въ которой ихъ помѣстила судьба. При этомъ „яма" не означаетъ чего-нибудь непремѣнно неудобнаго или грязнаго, мрачнаго. Будничные люди могутъ стоять на очень разныхъ ступеняхъ общественной лѣстницы и обладать очень разными умственными и нравственными качествами. Но всѣ они, не оглядываясь по сторонамъ, кто нехотя, кто съ охотою или даже съ восторгомъ идутъ по выпавшей на ихъ долю жизненной колеѣ, — наживаются или нищенствуютъ, работаютъ или живутъ чужой работой, веселятся и печалятся въ предѣлахъ своихъ „ямъ". Ихъ „философія"— когда они поднимаются до какой-нибудь философіи — состоитъ въ томъ, что человѣкъ „вполнѣ и всегда зависитъ отъ массы внѣшнихъ условій, что онъ безсиленъ и жалокъ одинъ и самъ по себѣ", какъ говоритъ незнакомецъ въ „Читателѣ". Безрукій въ „Тоскѣ", съ злой обидой въ душѣ повторяя непонятныя для него слова, которыхъ онъ наслышался отъ „умнѣйшихъ" людей, развиваетъ эту мысль такъ: „Разсуждаютъ люди о томъ, о другомъ и прочее...

*) Здѣсь будетъ умѣстно отвѣтить на нѣкоторые обращенные ко мнѣ вопросы по поводу напечатанныхъ въ прошломъ году двухъ „Отрывковъ о религіи". Будутъ ли эти „отрывки" продолжаться, — спрашиваютъ меня. Будутъ, но я не знаю когда. Я долженъ покаяться, что началъ ихъ печатать, не разсчитавъ своихъ силъ и своего времени, поглощеннаго текущей работой.

глупо-съ! очень глупо! О чемъ разсуждать, когда существуютъ законы и силы? И какъ можно имъ противиться, если у насъ всѣ орудія въ умѣ нашемъ, а онъ тоже подлежитъ законамъ и силамъ? Вы понимаете? Очень просто. Значитъ, живи и не кобенься, а то тебя сейчасъ же разрушитъ въ прахъ сила, состоящая изъ собственныхъ твоихъ свойствъ и намѣреній и изъ движеній жизни! Это называется фи ло-со-фія-съ дѣйствительной жизни".

Вторая группа дѣйствующихъ лицъ г. Горькаго никоимъ образомъ не хочетъ и не можетъ помириться съ этой философіей. Составляющіе ее люди „жадны къ жизни", они хотятъ звенѣть всѣми струнами своей души, имъ тѣсно въ какой бы то ни было „ямѣ", они гордо и смѣло противопоставляютъ себя всякимъ „законамъ и силамъ" и всѣ охотно, многословно и довольно однообразно развиваютъ свою философію силы и свободы. И авторъ, видимо, любуется ими, любуется красотою силы, готовой совершить экстренные, выходящіе изъ рамокъ будничной жизни, поступки. „Въ силѣ красота, а не въ нѣжной кожѣ и румянцѣ щекъ",—говоритъ слѣпой татаринъ-нищій въ разсказѣ „Ханъ и его сынъ". „Красивые всегда смѣлы",—замѣчаетъ мимоходомъ старуха Изергиль. Авторъ, съ своей стороны, часто надѣляетъ своихъ сильныхъ и смѣлыхъ людей и физической красотой (Зобаръ, Данко, Коноваловъ, Промтовъ, Кузьма Косякъ, Артемъ). Женщины съ ума сходятъ по этимъ сильнымъ красавцамъ, а Варенька Олесова требуетъ такихъ же обаятельныхъ образовъ отъ литературы. Она не любитъ русскихъ романовъ, потому что русскіе писатели „не умѣютъ выдумывать ничего интереснаго и у нихъ почти все правда... У французовъ герои настоящіе, они и говорятъ не такъ, какъ всѣ люди, и поступаютъ иначе. Они всегда храбрые, влюбленные, веселые, а у насъ герои — простые человѣчки безъ смѣлости, безъ пылкихъ чувствъ, какіе-то некрасивые, жалкенькіе — самые настоящіе люди и больше ничего!.. Зачѣмъ писать книжки, если не можешь сказать ничего необыкновеннаго?"

Вы помните, что, собственно говоря, этотъ же вопросъ задавалъ незнакомецъ, представляющій собою воплощенную совѣсть молодого писателя: „Если ты не можешь силою воображенія твоего создать образы, которыхъ нѣтъ въ жизни, *но которые необходимы для поученія ея,* какая польза въ твоей работѣ и чѣмъ оправдаешь ты званіе свое?" Разница между вопросами Вареньки Олесовой и незнакомца состоитъ только въ томъ, что послѣдній

прибавляетъ подчеркнутыя мною слова. Съ его точки зрѣнія „необыкновенные“ и даже небывалые и невозможные образы и картины нужны для „поученія жизни“, для расширенія горизонта, подъема благородныхъ чувствъ, энергіи и т. д. Для чего нужны они Варенькѣ Олесовой? „Мнѣ, — говоритъ она, — въ романахъ больше всего нравятся злодѣи, тѣ, которые такъ ловко плетутъ ехидныя сѣти, убиваютъ, отравляютъ... умные они и сильные... и когда, наконецъ, ихъ ловятъ, меня зло беретъ, даже до слезъ дохожу. Всѣ ненавидятъ злодѣя, всѣ идутъ противъ него—онъ одинъ противъ всѣхъ! Вотъ герой!“

Въ разсказахъ г. Горькаго есть, кромѣ Вареньки Олесовой, еще одинъ любитель французскихъ уголовныхъ романовъ. Это нѣкій Павелъ Петровъ, „темный человѣчекъ, кабакъ держалъ и воровскія дѣла завершалъ“. Емельянъ Пиляй разсказываетъ о немъ: „Умная башка, братецъ ты мой, этотъ Павелъ Петровъ! Я къ нему имѣлъ большое уваженіе и онъ меня тоже очень любилъ. Бывало, днемъ сидитъ онъ за стойкой и читаетъ книгу о французскихъ разбойникахъ... у него всѣ книги были о разбойникахъ; слушаешь, слушаешь... дивные ребята были, дивныя дѣла дѣлали“. Этотъ Павелъ Петровъ не только развлекался чтеніемъ уголовныхъ романовъ, какъ можно думать про Вареньку Олесову, а черпалъ изъ нихъ и поученія. Литературная критика, психіатрія, статистика давно установили тотъ фактъ, что подобное чтеніе дѣйствительно „поучаетъ“ и вызываетъ подражаніе. Это мы и на Павлѣ Петровѣ можемъ наблюдать: самъ онъ только кабакъ держитъ, да ворованныя вещи скупаетъ или въ закладъ беретъ, но, напримѣръ, Емельяна Пиляя онъ подбилъ убить проѣзжаго, и когда тотъ по совершенно случайному обстоятельству не убилъ, Павелъ Петровъ обругалъ его дуракомъ, болваномъ и выгналъ вонъ. Надо думать, это не тѣ „поученія“, которыхъ требуетъ воплощенная совѣсть молодого писателя... А впрочемъ... Дослушаемъ Вареньку Олесову. Читателей и особенно читательницъ, съ замираніемъ сердца слѣдящихъ за фантастическими похожденіями какого-нибудь „злодѣя“, трепетно переживающихъ его побѣды и пораженія, было всегда много (я боюсь, что ихъ не мало и въ числѣ читателей г. Горькаго); и всегда они находили нужную имъ умственную пищу какъ во французской, такъ, въ противность мнѣнію Вареньки Олесовой, и въ русской литературѣ. Но Варенька не вполнѣ типична для этой наивной публики, упивающейся исключительно интересомъ кровавой или вообще уголовной

фабулы. Она вставляетъ свое пристрастіе къ „злодѣямъ“ въ нѣкоторую теоретическую рамку, — какъ, впрочемъ, и почти всѣ дѣйствующія лица у г. Горькаго. Она говоритъ: „Вообще, знаете, мнѣ люди до той поры нравятся, пока они сильно хотятъ чего нибудь, куда нибудь идутъ, ищутъ чего то, мучатся... но если они дошли до цѣли своей и остановились, тутъ уже они не интересны... и даже пошлы!“ Первобытная, грубая, невѣжественная, но здоровая и сильная Варенька Олесова откликается этими словами на грустное раздумье незнакомца въ „Читателѣ“: „Смыслъ жизни въ красотѣ и силѣ стремленія къ цѣли, и нужно, чтобъ каждый моментъ бытія имѣлъ свою высокую цѣль. Это было бы возможно... но не въ старыхъ рамкахъ жизни, въ которыхъ всѣмъ такъ тѣсно и гдѣ нѣтъ свободы духу человѣка“...

Обратимся еще къ одному изъ читателей, фигурирующихъ въ разсказахъ г. Горькаго. Онъ, впрочемъ, не настоящій читатель, потому что онъ неграмотенъ, но любитъ слушать чтеніе. Это—Коноваловъ. Авторъ или лицо, отъ имени котораго ведется разсказъ, читаетъ ему „Подлиповцевъ“, и Коноваловъ приходитъ въ восторгъ. Пила, Сысойка, Апроська—вполнѣ „будничные“ люди и при томъ,— какъ выражается Коноваловъ, „все это правда, вѣдь это какъ есть настоящіе люди, всамдѣлишные мужики“. Коноваловъ умиляется какъ разъ тѣмъ, на что негодуетъ Варенька Олесова, и восторженно ставитъ огромный плюсъ именно тамъ, гдѣ у нея стоитъ презрительный минусъ; и это обстоятельство не лишено своего рода поучительнаго значенія, если не для самого г. Горькаго, то для воплощенной совѣсти молодого писателя въ „Читателѣ“. Но въ дальнѣйшемъ помѣщичья дочка и босякъ, можетъ быть, и сошлись бы во вкусахъ. Авторъ читалъ Коновалову „Бунтъ Стеньки Разина“ Костомарова, потомъ „Тараса Бульбу“ и „Бѣдныхъ людей“. „Бѣдные люди“ рѣшительно не понравились Коновалову, за то отъ Стеньки онъ пришелъ въ неистовый восторгъ, достигшій своей высочайшей точки при чтеніи разсказа о поимкѣ и казни Стеньки. „Казалось, что какія-то узы крови, неразрывныя и не остывшія за три столѣтія, до сей поры связываютъ этого босяка со Стенькой, и босякъ со всей силой своего живого, крѣпкаго тѣла, со всей страстью тоскующаго безъ „точки“ духа, чувствуетъ боль и гнѣвъ пойманнаго триста лѣтъ тому назадъ вольнаго сокола.“ (Маленькая подробность: и Вареньку Олесову, и Емельяна Пиляя, и Коновалова особенно волнуетъ трагическій конецъ „злодѣя“, „французскихъ разбойни-

ковъ", Стеньки Разина). „Тарасъ Бульба" тоже очень понравился Коновалову, и онъ размышляетъ о томъ, какихъ бы дѣлъ натворилъ Стенька вмѣстѣ съ Тарасомъ,—тогда и Пила съ Сысойкой „взбодрились бы". Но времена Стеньки прошли, а „въ ту пору можно было жить,—говоритъ Коноваловъ,—свободно. Было куда податься, можно было душу отвести".

Конечно, не XVII столѣтіе разумѣетъ въ только что цитированномъ мѣстѣ незнакомецъ подъ „старыми рамками жизни", но предметъ его скорби тотъ же, что и у Коновалова, когда онъ жалуется, что „всѣмъ такъ тѣсно и нѣтъ свободы духу человѣка". Вы видите, какъ все тѣсно связано у г. Горькаго, какъ однѣ и тѣ же мысли, одни и тѣ же чувства, выраженныя почти одними и тѣми же словами, переливаются у него изъ одной головы въ другую, изъ однихъ устъ въ другія, повторяясь людьми, казалось бы, имѣющими между собою слишкомъ мало общаго. И, какъ въ дремучемъ лѣсу, гдѣ тѣсно переплетающіяся вѣтви деревьевъ и кустовъ мѣшаютъ видѣть свѣтъ и затрудняютъ путнику дорогу, — г. Горькій, по справедливому замѣчанію Вогюе, дѣйствительно не разбирается въ своей „философіи".

Онъ ненавидитъ „будничную" жизнь съ ея безсмысленными условностями, съ ея размѣренною мелочностью, пошлостью, самодовольствомъ, покорностью передъ „законами и силами", ограничивающими просторъ души. Но чтобы противостоять этимъ законамъ и силамъ, нужна прежде всего сила. И г. Горькій рисуетъ намъ рядъ сильныхъ людей, такъ или иначе объявляющихъ войну будничной жизни. Изъ элементовъ религіи, по которой тоскуетъ совѣсть молодого писателя, на первомъ планѣ стоитъ удовлетвореніе воли, выраженное въ дѣйствіи, направленномъ противъ будничнаго строя жизни. Во имя чего напрягается эта воля, съ которой стороны выступаетъ сильный и жадный къ жизни человѣкъ противъ будничнаго строя,—это для нашего автора второй и часто совсѣмъ не существенный вопросъ. Правдѣ-истинѣ, конечно, не можетъ не быть мѣста въ „стройной и ясной мысли, охватывающей всѣ явленія жизни", но нуженъ и „насъ возвышающій обманъ"; прочтите, напримѣръ, маленькій разсказъ „Болесь", и вы увидите, какъ необходимъ, какую силу жить даетъ обманъ. Нужна и правда-справедливость, но и она измѣряется силой: что дозволительно волку, то непросительно крысѣ (не помню, гдѣ находится этотъ афоризмъ у г. Горькаго) и—„это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо", какъ говоритъ

одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ разсказѣ „Ошибка". Правда, совѣсть молодого писателя требуетъ отъ литературы такихъ пламенныхъ словъ, „чтобы люди стали *благородно* сильными", но она тутъ же коварно прибавляетъ: „и могли одухотворить свою жизнь святымъ духомъ красоты". А красота есть нѣчто въ родѣ великолѣпной крышки, прикрывающей сосуды съ самымъ разнообразнымъ, цѣлебнымъ и ядовитымъ, чистымъ и грязнымъ содержаніемъ. Варенька Олесова знаетъ, что „злодѣй" есть злодѣй, что онъ „плететъ ехидныя сѣти", отравляетъ и проч., но красивая картинность борьбы его, „героя", „умнаго и сильнаго", главнымъ образомъ опять-таки сильнаго, съ „обыкновенными" людьми ласкаетъ ея глазъ, тогда какъ эти обыкновенные—все „какіе-то некрасивые, жалкенькіе". Ея собесѣдникъ, приватъ-доцентъ Ипполитъ Сергѣевичъ Полкановъ, старается внушить ей мысли о героизмѣ, отличныя отъ тѣхъ, которыя она вычитала изъ французскихъ уголовныхъ романовъ. Онъ говоритъ: „Обязанность каждаго человѣка внести въ борьбу за порабощенныхъ, за ихъ право жить, весь свой умъ и все сердце, стараясь или сокращать мученія борьбы, или ускорить ея ходъ. Вотъ на что нуженъ истинный героизмъ и именно въ этой борьбѣ вы должны искать его. Внѣ ея—нѣтъ героизма". И т. д., и т. д. Варенька не понимаетъ этихъ рѣчей, можетъ быть, потому, что Полкановъ не догадался или не сумѣлъ облечь рекомендуемую имъ борьбу въ красивую форму, а вѣдь это было вполнѣ возможно. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ трудно осіять „святымъ духомъ красоты" жизнь какого-нибудь Гарибальди и множество другихъ, видныхъ и не видныхъ, но истинно героическихъ борцовъ „за порабощенныхъ, за ихъ право жить"? Г. Горькій понимаетъ это. Старуха Изергиль разсказываетъ у него красивую легенду о нѣкоемъ смѣломъ и сильномъ красавцѣ Данко, который распоролъ себѣ грудь и вынулъ оттуда свое пламенѣющее сердце, чтобы освѣтить соотечественникамъ дорогу изъ дремучаго лѣса. Но въ портретной галлереѣ нашего автора есть, напримѣръ, и „проходимецъ" Промтовъ, тоже сильный и смѣлый красавецъ, но пройдоха, лжецъ, шуллеръ и альфонсъ, который, однако, тоже окруженъ нѣкоторымъ ореоломъ красоты, такъ что Варенька Олесова могла бы любоваться имъ не меньше, чѣмъ злодѣями французкихъ романовъ.

Благодаря этой чувствительности къ красотѣ силы, въ чемъ бы она ни проявлялась, г. Горькій и самъ стоитъ, и читателей своихъ держитъ на нѣкоторомъ распутіи. Есть у него силы тоскующія,

мятущіяся, ищущія приложенія, силы, такъ сказать, потенціальныя, готовыя, какъ Гришка Орловъ и „Россію отъ холеры спасать", и „раздробить всю землю въ пыль или собрать себѣ шайку товарищей и жидовъ перебить". Есть силы самодовлѣющія, упивающіяся собою, своею властью надъ людьми. Таковъ, напримѣръ, „проходимецъ" Промтовъ, которому знакомо „высокое наслажденіе чувствовать себя приподнятымъ надъ людьми", издѣваться надъ ними, повелѣвать. Объ этомъ наслажденіи г. Горькій говоритъ въ одномъ мѣстѣ отъ себя: „какъ бы низко ни палъ человѣкъ, онъ никогда не откажетъ себѣ въ наслажденіи почувствовать себя сильнѣе, умнѣе, хотя бы даже сытѣе своего ближняго". Я думаю, что это слишкомъ смѣлое обобщеніе, да и у самого г. Горькаго есть представители силы, не колеблющіеся между спасеніемъ людей отъ холеры и раздробленіемъ всей земли въ пыль, равно какъ и не презирающіе слабыхъ людей, а, иносказательно говоря, освѣщающіе имъ, подобно Данку, путь своимъ горящимъ сердцемъ. Правда, у него рѣдко мелькаетъ этотъ типъ силы, да и то больше въ разсужденіяхъ,—незнакомца въ „Читателѣ" или приватъ-доцента въ „Варенькѣ Олесовой", чѣмъ въ дѣйствіи, но онъ всетаки есть, и онъ именно призванъ создать новыя формы жизни: Орловъ, Коноваловъ и проч. имѣютъ только отрицательное значеніе и, какъ справедливо говоритъ одинъ изъ „бывшихъ людей", могутъ лишь „создать нарушеніе общественной тишины и спокойствія"; а силы, жаждущія первенства для первенства, власти для власти и съ высоты ея издѣвающіяся и надругающіяся надъ людьми, тяготѣютъ лишь къ нѣкоторымъ перемѣщеніямъ въ рамкахъ „будничной" жизни, а не къ борьбѣ съ нею по существу. Г. Горькій, конечно, знаетъ все это, но всетаки ставитъ всѣ эти разнородные типы сильныхъ людей за общую скобку красоты и часто заставляетъ ихъ по частямъ выражать однѣ и тѣ же мысли одними и тѣми же красивыми словами. Оттого-то и трудно разбираться въ его „философіи".

Можно было ожидать, что „философія" эта выяснится съ теченіемъ времени, въ особенности, когда молодой авторъ перешелъ отъ маленькихъ разсказовъ къ сравнительно большимъ, которые по старой терминологіи слѣдовало бы называть уже не разсказами, а повѣстями; отъ портретовъ разнаго бродячаго люда къ картинамъ, захватывающимъ взаимныя отношенія цѣлыхъ разнородныхъ группъ. Таковы „Ѳома Гордѣевъ", „Трое", начало повѣсти „Мужикъ". Къ сожалѣнію, эти ожиданія не оправдались. Можетъ быть, г. Горькій

слишкомъ поторопился оставить портретную живопись. Такъ можно уже думать потому, что онъ такъ и не справился съ повѣстью „Мужикъ“ и бросилъ ее, не кончивъ. Журналъ „Жизнь“, въ которомъ она печаталась, объявлялъ, помнится, что она явится въ переработанномъ видѣ, но, вмѣсто этой переработки, авторъ далъ повѣсть съ совсѣмъ иной фабулой и иными дѣствующими лицами—„Трое“. Но и законченныя повѣсти г. Горькаго нельзя назвать шагомъ впередъ ни въ художественномъ отношеніи, ни въ смыслѣ выясненія того, что было не яснаго въ разсказахъ. Въ нихъ есть отдѣльныя прекрасныя страницы и даже цѣлые эпизоды, но въ цѣломъ онѣ ужасно растянуты, переполнены длиннѣйшими разсужденіями дѣйствующихъ лицъ, при чемъ въ разсужденіяхъ этихъ повторяются, въ разныхъ комбинаціяхъ, все тѣ же мотивы, которые мы уже слышали въ прежнихъ разсказахъ. Повторяются цѣлыя сцены. Такъ, въ разсказѣ „Тоска“ есть превосходная, захватывающая сцена хорового пѣнія въ трактирѣ. Варьяціи на эту тему и есть въ „Ѳомѣ Гордѣевѣ“ и въ „Троихъ“, но въ нихъ уже нѣтъ той удивительной силы и красоты, отъ которыхъ въ жуткомъ умиленіи рыдалъ мельникъ въ „Тоскѣ“, а вмѣстѣ съ нимъ, пожалуй, и читатель. И невольно досадуешь на автора —зачѣмъ онъ разжижаетъ этими блѣдными варьяціами разъ данное потрясающее сильное впечатлѣніе. Центръ вниманія его все тотъ же: „законы и силы“, обрекающіе человѣка на „будничную“ жизнь въ той или другой, роскошной или убогой „ямѣ“, и люди, рвущіеся изъ этихъ ямъ на волю, на просторъ, для чего прежде всего нужна сила. Но если и прежде читатель не вполнѣ оріентировался во всегда яркихъ, но въ цѣломъ всетаки неясныхъ рѣчахъ разныхъ босяковъ и цыганъ, то теперь, съ расширеніемъ круга дѣйствующихъ лицъ, это стало еще труднѣе. Такъ, напримѣръ, наиболѣе сильнымъ и дѣйствительно сильнымъ человѣкомъ въ „Ѳомѣ Гордѣевѣ“ является купецъ Маякинъ, человѣкъ осѣдлый, никакихъ „необыкновенныхъ“ поступковъ не совершающій—все въ предѣлахъ „законовъ и силъ“, которыми онъ ловко умѣетъ пользоваться. Рядомъ съ этимъ прямо жалкое впечатлѣніе производитъ Ѳома Гордѣевъ, хотя онъ и рвется изъ своей „ямы“, и мечется, дерзитъ направо и налѣво, дерется, буйствуетъ, рычитъ грозныя и злыя слова. Все это не мѣшаетъ ему быть тряпкой. которую треплетъ вѣтромъ въ разныя стороны. Любопытно, между прочимъ, что онъ очень высоко цѣнитъ словесность, красивыя слова. Судьба свела его, между прочимъ, съ нѣкіимъ газетчи-

комъ Ежовымъ. Когда тотъ читалъ ему свои статьи, то, „не улавливая мысли въ твореніяхъ товарища, Ѳома чувствовалъ ихъ дерзкую смѣлость, ядовитую насмѣшку, горячую злобу, и ему было такъ пріятно... точно его въ жаркой банѣ вѣниками парили... „Ловко! — восклицалъ онъ, улавливая какую-нибудь отдѣльную фразу. — Здо́рово пущено!“ Отъ Ежова и самъ Ѳома выучился „здо́рово пущать“. Это характерно...

„Здорово пущаютъ“ и всѣ „Трое“. А одинъ изъ нихъ, Илья Луневъ, кромѣ того, и поступки экстренные совершаетъ, буйствуетъ, человѣка убиваетъ,— и всетаки остается тряпкой, вполнѣ управляемой ненавистными ему „законами и силами“. И странное впечатлѣніе производитъ составъ пятаго тома разсказовъ г. Горькаго, въ которомъ, кромѣ повѣсти „Трое“, напечатана только „Пѣсня о буревѣстникѣ“. Буревѣстникъ такъ красиво грозно, „черной молніи подобный, какъ стрѣла пронзаетъ тучи, пѣну волнъ крыломъ срываетъ“. Это на верху, въ облакахъ и тучахъ, а на землѣ, въ повѣсти „Трое“, только тряпичность, пьянство, безсмысленное буйство, да красивая словесность...

Все это, однако, не мѣшаетъ и не должно мѣшать успѣху г. Горькаго. Быть можетъ, въ числѣ тѣхъ десятковъ тысячъ, которые въ нѣсколько мѣсяцевъ расхватали экземпляры его разсказовъ, и многіе читаютъ его съ тѣмъ спеціальнымъ интересомъ, съ какимъ Варенька Олесова упивается французскими „злодѣями“. Но есть и иные. Они скажутъ вмѣстѣ съ незнакомцемъ въ „Читателѣ“: „Гдѣ у него (современнаго человѣка) тѣ идеалы, ради которыхъ онъ пошелъ бы на подвигъ? Вотъ почему живется такъ бѣдно и скучно, вотъ почему обезсилѣлъ въ человѣкѣ духъ творчества... Нѣкоторые слѣпо ищутъ чего-то, что, окрыляя умъ, возстановило бы вѣру людей въ самихъ себя. Часто идутъ не въ ту сторону, гдѣ хранится все вѣчное, объединяющее людей, гдѣ живетъ Богъ. Тѣ, которые ошибаются въ путяхъ къ истинѣ — погибнутъ! Пускай, не нужно имъ мѣшать, не стоитъ ихъ жалѣть — людей много! Важно стремленіе, важно желаніе найти Бога“. Къ этому, кромѣ выше сдѣланной оговорки, можно прибавить слѣдующее: людей много, это вѣрно, и между ними много такихъ, о гибели которыхъ никто не пожалѣетъ. Но людей, ищущихъ „путей къ истинѣ“ и желающихъ „возстановить вѣру людей въ самихъ себя“, вовсе немного. И между ними еще меньше талантливыхъ людей слова...

„Будничная“ жизнь, почти не изображаемая г. Горькимъ, хотя и вызывающая цѣлый потокъ гнѣвныхъ рѣчей его героевъ, находитъ своего бытописателя въ г. Чеховѣ. Изъ огромной тусклой картины ея пошлости, мелочности, лицемѣрія онъ безъ разбора и связи выхватывалъ то одинъ, то другой эпизодъ и безъ печали и гнѣва предъявлялъ ихъ читателю. Это былъ длинный рядъ анекдотовъ, мастерски отдѣланныхъ вообще и часто написанныхъ такъ, какъ разсказываютъ устные мастера этого дѣла: самъ не улыбнется, а слушатели хохочутъ. Отношеніе самого автора къ рисуемымъ имъ безчисленнымъ картинкамъ ничѣмъ не обнаруживалось, тѣмъ болѣе, что и въ его выборѣ сюжетовъ не было ничего опредѣленнаго; мало того, самое слово „выборъ“ тутъ какъ будто неумѣстно было, а одинаково шло въ художественную обработку все, что случайно попадалось на глаза. И за г. Чеховымъ, не имѣя и малой доли его таланта, пошло по этой дорогѣ множество беллетристовъ. Они и остались на ней. Г. Чеховъ не остался. Къ сожалѣнію, г. Марксъ издаетъ сочиненія г. Чехова безъ хронологическихъ датъ, и трудно сказать, когда именно наступилъ переломъ въ его настроеніи или, вѣрнѣе, когда онъ нажилъ себѣ опредѣленное настроеніе. Конечно, это совершилось не вдругъ, но во всякомъ случаѣ между ранними и позднѣйшими его произведеніями — огромная разница. Разница и по внѣшнему виду: отъ маленькихъ картинокъ въ одну, двѣ, три странички онъ перешелъ къ повѣстямъ. И дебюты г. Чехова въ этомъ направленіи гораздо удачнѣе опытовъ г. Горькаго. У него нѣтъ яркихъ, кричащихъ красокъ, имѣющихся въ изобиліи на палитрѣ г. Горькаго, но нѣтъ и его угловатостей, онъ гораздо уравновѣшаннѣе. Въ его переходѣ къ разсказамъ сравнительно большого размѣра оказалась та же потребность обобщить, объединить случайные осколки жизни, которая выразилась у стараго профессора „Скучной исторіи“ тоской по „общей идеѣ“ и которая знакома и г. Горькому. Но его не соблазняютъ ни французскіе „злодѣи“, ни какіе бы то ни было другіе „необыкновенные герои“. Онъ даже какъ бы боится ихъ и во всякомъ случаѣ относится къ нимъ скептически.

Вогюе въ своихъ двухъ статьяхъ о гг. Чеховѣ и Горькомъ предается нѣкоторымъ недоумѣннымъ размышленіямъ о русской тоскѣ. Онъ не понимаетъ ея. И ему кажется, что русскій геній послѣ Пушкина — Тургенева все болѣе и болѣе удаляется отъ западнаго склада ума и чувства, приближаясь къ буддизму, — не въ смыслѣ

религіозной системы, а въ смыслѣ настроенія. Любопытно объясненіе, даваемое французскимъ критикомъ комедіи г. Чехова „Дядя Ваня“: жили были люди мирно, тихо, спокойно, но въ среду ихъ вторгнулись выдающійся умъ въ лицѣ профессора и выдающаяся красота въ лицѣ его жены; это вторженіе ума и красоты произвело трагическій кавардакъ, благополучно окончившійся, какъ только профессоръ и его жена удалились. Такимъ образомъ, съ той точки зрѣнія, на которой стоитъ г. Чеховъ, лучи ума и красоты не освѣщаютъ жизни, по крайней мѣрѣ, русской жизни, а лишь безнужно взбудораживаютъ ее. Это очень остроумное объясненіе. Оно было бы кромѣ того и вѣрно, если бы профессоръ „Дяди Вани“ былъ, дѣйствительно, лучемъ свѣта, представителемъ ума, а не надутымъ и самодовольнымъ педантомъ. Но въ мысли Вогюе есть косвенный намекъ на истину. Съ точки зрѣнія г. Чехова въ изображаемой имъ дѣйствительности нѣтъ мѣста героямъ,—ихъ неизбѣжно захлестнетъ грязная волна пошлости. Нужна какая-то рѣзкая перемѣна декорацій, чтобы эти отношенія измѣнились. Г. Чеховъ провидитъ ее въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ. Въ концѣ повѣсти „Дуэль“ фонъ-Коренъ нѣсколько неожиданно размышляетъ такъ: „Въ поискахъ за правдой люди дѣлаютъ два шага впередъ, шагъ назадъ. Страданія, ошибки и скука жизни бросаютъ ихъ назадъ, но жажда правды и упрямая воля гонятъ впередъ и впередъ. И кто знаетъ: быть можетъ, доплывутъ до настоящей правды“. Большею увѣренностью звучатъ, къ сожалѣнію, почти механически приставленныя заключительныя слова героинь комедій „Дядя Ваня“ и „Три сестры“...

Изданіе сочиненій г. Чехова до сихъ поръ не закончено, да и помимо того страшно подводить относительно его итоги,—до нихъ еще далеко...

P. S. Мнѣ указываютъ, по поводу моихъ замѣтокъ о разсказахъ г. Чирикова, что *книги* подъ заглавіемъ „Историческая сила критической личности“, дѣйствительно, нѣтъ, но авторъ разумѣлъ не книгу, а *статью* Шелгунова подъ этимъ заглавіемъ. Спѣшу оговорить свою ошибку и извиниться передъ почтеннымъ авторомъ.

VII *).

Матеріалы для біографіи Г. И. Успенскаго.—Памяти А. А. Давыдовой.—О томъ, какъ г. А. Острогорскій превратилъ разсказъ Костомарова въ разсказъ Л Н. Толстого.

Въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ 1891 года я „по понятнымъ причинамъ" почти обошелъ Гл. Ив. Успенскаго и лишь мимоходомъ упомянулъ о своемъ съ нимъ знакомствѣ. А между тѣмъ, это самое дорогое, самое милое, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ одно изъ самыхъ трагическихъ моихъ воспоминаній. Писатели, съ которыми меня сводила судьба въ началѣ моей литературной дѣятельности, были въ большинствѣ случаевъ значительно старше меня. При всемъ моемъ глубокомъ уваженіи къ Некрасову, Салтыкову, Елисееву и при всемъ ихъ добромъ расположеніи ко мнѣ, между мною и ими не могло быть тѣхъ истинно дружескихъ отношеній, какія установились у меня съ Успенскимъ. Съ нимъ мы—ровесники и какъ-то сразу, съ перваго же свиданія въ 1868 г., пришлись другъ другу по душѣ, и потомъ много было въ продолженіе многихъ лѣтъ вмѣстѣ передумано, пережито веселаго и мрачнаго... Я не разъ имѣлъ случай убѣдиться въ его добрыхъ ко мнѣ чувствахъ и платилъ ему горячею любовью, осложненною, съ одной стороны, чувствомъ жалости, а съ другой—почтеніемъ къ его блестящему таланту и высокимъ нравственнымъ качествамъ. Людямъ прямолинейнымъ или мало наблюдавшимъ жизнь можетъ показаться неестественнымъ, невозможнымъ такое сочетаніе жалости, предполагающей отношеніе сильнаго къ слабому, здороваго къ больному, старшаго къ младшему, вообще отношеніе сверху внизъ, съ почтеніемъ, предполагающимъ, наоборотъ, отношеніе снизу вверхъ. Но жизнь много-

*) Мартъ 1902 г.

сложнѣе тѣхъ рамокъ, въ которыя ее поневолѣ втискиваетъ наша бѣдная терминологія, и я увѣренъ, что сочетаніе жалости и почтенія знакомо всѣмъ, кто имѣлъ счастіе сколько-нибудь близко знать Успенскаго. Это было счастіе, какъ всякое общеніе съ богатою натурою, и при томъ, рѣдкое счастіе, потому что всякая оригинальность — рѣдкость, а въ Успенскомъ каждый вершокъ оригиналенъ, какъ въ королѣ Лирѣ каждый вершокъ— король. Оригиналенъ ходъ его мысли, оригиналенъ языкъ, письменный и словесный, оригинальна форма его писаній, оригинальны его отношенія къ людямъ и весь складъ его жизни. Но людей, которымъ выпало рѣдкое счастіе близко знать Успенскаго, становится все меньше и меньше, современники одинъ за другимъ удаляются туда, откуда никто не приходитъ, и мнѣ хотѣлось бы какъ-нибудь закрѣпить для послѣдующихъ поколѣній этотъ блѣднѣющій образъ. Было бы слишкомъ обидно, если бы онъ померкъ, не оставивъ слѣда. Къ сожалѣнію, невозможно дать портретъ, передающій всѣ яркія краски этого удивительнаго лица. И не потому, что оригиналъ еще живъ. „Свѣтъ погасъ", какъ выразилась, не помню какая, газета, сообщая о психической болѣзни Успенскаго. Теперь это выяснилось окончательно и безповоротно, и онъ не прочтетъ этихъ строкъ...

Авторъ только что вышедшей книги „Два очерка объ Успенскомъ и Достоевскомъ", г. Волжскій, говоритъ въ предисловіи: „Обращаясь къ изученію Успенскаго, прежде всего поражаешься количественною скудностью литературы о немъ. До сихъ поръ мы не имѣемъ его біографіи". Не имѣемъ и долго еще не будемъ имѣть,— прибавлю я. Меня всегда удивляла смѣлость покойнаго Павленкова, обѣщавшаго дать въ составѣ своей „біографической библіотеки", между прочимъ, и біографію Успенскаго. Съ внѣшней, грубо фактической стороны его біографія не представляетъ интереса: родился тамъ-то, учился тамъ-то, женился тогда-то, жилъ тамъ-то и тамъ-то, заболѣлъ тогда-то, въ походахъ не бывалъ, орденовъ и другихъ знаковъ отличія не имѣлъ, подъ судомъ и слѣдствіемъ не состоялъ. Интересъ не въ этомъ, а въ томъ, какъ эта нѣжная и чуткая душа, эти „обнаженные нервы" откликались страданіемъ и радостью на такія явленія своей и чужой жизни, на которыя никакъ не реагируютъ заурядные люди. Въ этомъ интересъ, но тутъ же и затрудненіе. Эта бѣдная выдающимися событіями жизнь была сплошнымъ душевнымъ трепетомъ, во всѣ мотивы котораго неудобно входить ни сейчасъ, ни въ ближайшемъ будущемъ.

Однако теперь, когда „свѣтъ погасъ“—можно дать хоть нѣкоторые матеріалы для его біографіи. Я предложу ихъ читателю въ видѣ отрывковъ изъ его писемъ, сопровождая ихъ кое-гдѣ своими воспоминаніями. Въ моемъ распоряженіи имѣются, кромѣ нѣсколькихъ отдѣльныхъ писемъ къ разнымъ лицамъ, три довольно большія собранія ихъ: къ редактору-издателю „Русскихъ Вѣдомостей“ В. М. Соболевскому, къ одной дамѣ, высоко цѣнимой Успенскимъ, и ко мнѣ.

Прежде всего бросается въ глаза, если можно такъ выразится, географическая пестрота этихъ коллекцій. Письма писаны изъ Петербурга, Кисловодска, Парижа, Калуги, Чудова, Софіи, Новороссійска, Перми, Козлова, Константинополя, Рязани, Ростова, Одессы, Москвы, Ялты, Казани, Воронежа, Нижняго-Новгорода. И только случайно имѣющіяся у меня въ рукахъ письма ограничиваются этими мѣстами: могли быть еще изъ Самары и Лондона, изъ Томска и Бѣлграда (Я не нашелъ въ своемъ собраніи нѣсколькихъ писемъ, содержаніе и даже нѣкоторыя характерныя выраженія которыхъ хорошу помню). Мы сейчасъ увидимъ причины и значеніе этой пестроты. Надо замѣтить, что большинство писемъ не помѣчено ни мѣстомъ, ни временемъ отправленія, но о мѣстѣ можно узнать изъ содержанія письма, а о времени часто приходится только догадываться по разнымъ стороннимъ соображеніямъ. Понятно, что при такихъ условіяхъ не легко оріентироваться въ письмахъ. Затрудненіе это было бы еще сильнѣе, если бы я думалъ писать біографію Успенскаго. Но я не берусь за эту задачу и даже, по обстоятельствамъ, и изъ писемъ-то не разсчитываю извлечь все важное для такой біографіи.

Описавъ въ своихъ воспоминаніяхъ 1891 года оригинально убогую квартиру Успенскаго, въ которой я съ нимъ познакомился, я прибавилъ, что „это не мѣшало хозяину блистать заразительнымъ весельемъ и неподражаемымъ мастерствомъ разсказовъ“. Да, такъ было тогда, въ 1868 г. Успенскому было лѣтъ 25, и какъ живой стоитъ онъ передо мной, осіянный не то что молодымъ, а почти дѣтскихъ весельемъ, лучи котораго освѣщали и окружающихъ. Но недолго длилось это настроеніе, и въ имѣющихся у меня письмахъ, которыя всѣ относятся къ позднѣйшему времени, его нѣтъ почти и слѣда. Временами воскресалъ, правда, въ немъ этотъ веселый, жизнерадостный ребенокъ. Вотъ, напримѣръ, цѣликомъ одно изъ его писемъ В. М. Соболевскому, относящееся къ 1886 г.:

„Милый мой В. М. Въ 4 часа ночи, по дорогѣ въ Одессу, остановился пароходъ въ Ялтѣ. Есть у меня тутъ два дня хорошихъ воспоминаній, и я поѣхалъ на берегъ. Пробѣгалъ часа два въ сумасшедшемъ весельи, одинъ. Погода богатѣйшая, и все славно и хорошо. Купилъ цвѣтовъ, посылаю ихъ вамъ лоскутики (?); плохо я чувствовалъ себя на Кавказѣ,—теперь какъ будто лучше. Давно не имѣю писемъ и съ нетерпѣніемъ жду Одессы. Ахъ, дорогой, милый! Теперь ничего не пишу, кромѣ того, что я радъ. Пошлите цвѣточковъ Михайловскому... Вашъ Г. У.".

Въ этой запискѣ характерны и эта способность къ „сумасшедшему веселью" наединѣ съ природой, и это желаніе сдѣлать и другихъ участниками своей радости. Однажды я тоже получилъ отъ него въ конвертѣ нѣсколько „цвѣточковъ" — съ Кавказа, при чемъ изливались восторги отъ долины Ріона и рекомендовалось такому-то отдать одинъ изъ „цвѣточковъ", а такому-то дать только „понюхать". Но это жизнерадостное настроеніе посѣщало его все рѣже и рѣже, и даже въ минуты веселья звенѣла въ немъ мрачная струна заботы и тревоги. Но неподражаемымъ мастеромъ разсказовъ и вообще обаятельнымъ собесѣдникомъ онъ оставался всегда. Трудно выразить словами, что именно обаятельнаго было въ его бесѣдѣ. Назвать его человѣкомъ краснорѣчивымъ отнюдь нельзя, искрящагося остроумія у него тоже не было. Случалось, что, увлекаясь какой-нибудь мыслью, далеко за предѣлы логической возможности, онъ говорилъ вещи, съ которыми никоимъ образомъ нельзя было согласиться. И тѣмъ не менѣе слушать его было настоящимъ художественнымъ наслажденіемъ, не говоря о поучительности его бесѣды, благодаря его всегда оригинальной точкѣ зрѣнія.

Боюсь, что, говоря о мастерствѣ его разсказовъ, я навожу читателей на параллель съ покойнымъ Горбуновымъ. Ничего подобнаго. И мало того: есть и не профессіональные разсказчики, славящіеся разговорнымъ мастерствомъ, способные десятки разъ буква въ букву, интонація въ интонацію повторить одинъ и тотъ же разсказъ, сказать одну и ту же рѣчь, выразить одну и ту же мысль; Успенскій былъ на это рѣшительно не способенъ, онъ просто не могъ повторяться. Разница еще въ томъ, что подобные мастера устной бесѣды любятъ красоваться своимъ искусствомъ и говорить въ большомъ обществѣ, Успенскій же развертывался только самъ-другъ или въ средѣ своихъ, близкихъ людей, а въ большомъ и незнакомомъ обществѣ обыкновенно увядалъ. Для него было истиннымъ муче-

ніемъ обращать на себя вниманіе, даже выходить на эстраду на литературныхъ вечерахъ. Я помню уморительную сцену на литературномъ вечерѣ въ Москвѣ, въ домѣ В. А. Морозовой. Залъ вмѣщалъ всего какихъ-нибудь 200—300 человѣкъ, и все это были горячіе поклонники Глѣба Ивановича (вечеръ имѣлъ частный характеръ). Его встрѣтили градомъ апплодисментовъ, а онъ, претерпѣвъ ихъ, раскрылъ книгу, постоялъ нѣсколько секундъ молча, потомъ закрылъ книгу и, молча же, сошелъ съ эстрады. Или, напримѣръ, вотъ какъ онъ описывалъ мнѣ въ письмѣ изъ Парижа одинъ литературный вечеръ, въ которомъ онъ долженъ былъ, по первоначальному плану, принимать участіе:

„Тутъ былъ литературно музыкальный вечеръ въ „салонахъ" m-me Вьярдо. Кроткій Николай Степановичъ (Курочкинъ) вдругъ превратился въ льва, когда читалъ свои стихотворенія. Вотъ человѣкъ, который менѣе всего можетъ изобразить на лицѣ своемъ гнѣвъ. А надо было изобразить. Я взглянулъ на него изъ-за двери, когда онъ читалъ,—и ужаснулся. Н. С. ощетинился на общество и кричалъ что-то очень сердито. Тургеневъ прочелъ мой разсказъ „Ходокъ" и прочелъ превосходно. Я не присутствовалъ на чтеніи, но присутствовалъ на приготовленіи къ чтенію: Тургеневъ прорепетировалъ этотъ разсказъ разъ 7—8, изучилъ, гдѣ какимъ голосомъ, какъ и что сказать до мельчайшихъ подробностей. Я изъ силъ выбился слушать его, но за то вышло отлично. Охъ, и фокусники же эти сороковые годы! У m-me Вьярдо голосу нѣтъ, но умѣнье пѣть, дѣйствительно, поражаетъ. Публика была блестящая, и посланникъ Орловъ улыбался Николаю Степановичу благосклонно, когда тотъ проклиналъ въ своихъ стихотвореніяхъ человѣчество.

„— Гдѣ вы были?—въ *необыкновенной* тревогѣ (все это совершалось съ ужасно озабоченнымъ видомъ и съ дѣйствительной тревогой) обратился ко мнѣ Иванъ Сергѣевичъ, — вы имѣли успѣхъ! васъ зоветъ публика! Гдѣ вы пропали? Я васъ хотѣлъ вывести! Вѣдь васъ звала публика! и т. д.

„— Вычеркните это! А то княгиня Т. будетъ недовольна".—А мерена можно оставить?—О, это оставьте.—Вообще оставляли всякое свинство, а вычеркивали „непріятное".

Надо замѣтить, что большое общество, толпу, Глѣбъ Ивановичъ любилъ, но подъ условіемъ быть самому въ ней незамѣтнымъ, не обращать на себя вниманія. Г-жѣ N. онъ писалъ изъ Перми въ 1884 г., между прочимъ: „До чего трудно жить на свѣтѣ, имѣя „извѣст-

ность",—просто ужасно: слова не добьешься человѣческаго, всѣ говорятъ какъ съ литераторомъ. Чаю нельзя напиться, какъ хочется, сѣсть, положивши ноги на столъ, сказать вздоръ—не возможно. Все надо умное, отчего и выходитъ одна глупость". А съ дороги въ Пермь онъ писалъ той же дамѣ: „Не можете-ли вы прислать мнѣ въ Пермь до востребованія телеграмму такого содержанія: „Съ П. можете видѣться" – если это возможно... Между Екатеринбургомъ и Тюменью есть одно село въ 7 верстъ, и если мимо этого села идетъ строющаяся желѣзная дорога, то я у П. попросилъ бы только записку къ кому-нибудь изъ служащихъ самаго низшаго разряда, чтобы мнѣ пожить въ этомъ селѣ день, два, три. А то всѣ будутъ пялить глаза".

Глѣбъ Ивановичъ ошибался, думая, что на него „пялятъ глаза" и ищутъ съ нимъ общенія только потому, что онъ писатель. Было и это, конечно, особенно въ виду его популярности,—мимиходомъ сказать, онъ и этой популярностью временами тяготился, вслѣдствіе чего подписывался одно время подъ своими очерками „Г. Ивановъ". Онъ привлекалъ къ себѣ вниманіе и людей, не знавшихъ—кто онъ. Какъ-то мы ѣхали съ нимъ изъ Москвы,—онъ до своего Чудова, я до Петербурга. Въ томъ же вагонѣ сидѣлъ какой-то пожилой офицеръ. Онъ долго прислушивался къ нашему разговору, пересаживался все ближе и ближе, улыбался и, наконецъ, не выдержалъ: рѣшительно пересѣлъ рядомъ, вмѣшавшись въ разговоръ какимъ-то замѣчаніемъ. Мы уже подъѣзжали къ Чудову, и незнакомецъ, узнавъ, что Успенскій сойдетъ на этой станціи, спросилъ, гдѣ же онъ тутъ живетъ. Успенскій указалъ въ окно на чуть видную церковь деревни Сярбинцы, гдѣ онъ жилъ, а изъ дальнѣйшаго разговора оказалось, что семья его теперь въ Петербургѣ, и онъ будетъ жить нѣкоторое время одинъ. Это поразило незнакомца, онъ задумался и, когда мы, простившись съ Глѣбомъ Ивановичемъ, поѣхали дальше, въ Петераургъ, сказалъ мнѣ: „я все думаю: какъ этакій человѣкъ живетъ одинъ... все представляю себѣ занесенный снѣгомъ домишка, и въ немъ этакій человѣкъ!" Остальную дорогу мы вяло перекидывались незначительными фразами, и, только прощаясь со мной въ петербургскомъ вокзалѣ, незнакомецъ спросилъ, кто былъ такъ поразившій его случайный сосѣдъ по вагону. При этомъ оказалось, что имя Успенскаго ему незнакомо... И не одинъ такой случай знаю я, конечно, не всегда съ такимъ концомъ. Случалось, что дорожные спутники (а онъ постоянно былъ въ разъѣздахъ), какъ нибудь

узнавъ, съ кѣмъ они имѣютъ дѣло, тѣмъ восторженнѣе и любовнѣе относились къ нему...

„Онъ постоянно былъ въ разъѣздахъ...“ Это центральный пунктъ его біографіи, и именно потому, что къ этому центру можно подойти съ разныхъ сторонъ, я затрудняюсь—съ чего начать объясненіе этой непосѣдливости, этого вѣчнаго стремленія куда-то все въ новыя и новыя мѣста. Попробую установить самый фактъ Агасферова житія Успенскаго.

Онъ писалъ мнѣ изъ Парижа: „Господи, что за ахинея идетъ въ моей жизни, что за чепуха! Я пять лѣтъ стремился поѣздить по Дону и пробраться въ Соловецкій, а мнѣ надо сидѣть въ Парижѣ! Нечего сказать, по моимъ вкусамъ устроилось все!“ Письмо, изъ котораго я беру эти строки, относится еще къ серединѣ 70-хъ годовъ, а чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе его тянуло съ мѣста на мѣсто. Но почему „надо“ жить въ Парижѣ, когда хочется поѣздить по Дону и побывать въ Соловецкомъ?

В. М. Соболевскому онъ писалъ откуда-то изъ-подъ Одессы: „Какъ бы хорошо тутъ около Одессы,—словомъ, въ этихъ мѣстахъ пожить мѣсяцъ! Сколько ужасно интереснаго: менониты, колонисты нѣмцы, штундисты, казаки! Все это до чрезвычайности ново, любопытно. Я чуть-чуть видѣлъ и говорилъ, а повѣрите-ли, не разстался бы съ здѣшними мѣстами: такъ много въ каждомъ уголкѣ своего—вѣръ, порядковъ, взглядовъ, общественныхъ отношеній, типовъ и т. д. Но надо ѣхать въ Ростовъ, потомъ во Владикавказъ и тамъ утвердиться на 1 мѣсяцъ, а затѣмъ домой... Я не печалюсь, хорошо себя чувствую, покойно, и много для меня чрезвычайно новаго. Ахъ, сколько новаго на Руси! Не тужите, не скучайте, не думайте о себѣ печально,—интереснѣй думать о томъ, какъ живутъ люди. Я всегда исцѣляюсь этимъ“.

Опять *надо* ѣхать въ Ростовъ, когда хочется пожить около Одессы. Почему *надо*?

Вотъ двѣ его записки ко мнѣ: „Можете представить—пріѣхалъ въ Петербургъ въ 10 часовъ ночи, переночевалъ, а на другой день въ 2 часа уѣхалъ опять домой, никого и ничего не видя! Вотъ въ какомъ я убійственномъ душевномъ состояніи. Не знаю, что и дѣлать, ей Богу“ (Безъ даты). „Былъ на нѣсколько часовъ въ Петербургѣ, и тамъ меня осѣнила такая ужасная тоска вдругъ, какъ обухомъ пришибла, что я не рѣшился зайти къ вамъ, просто боялся

омрачить васъ и тотчасъ опять уѣхалъ въ Чудово за работу. Страшновато что-то мнѣ по временамъ" (Помѣчено 31 августа 1888).

Вотъ отрывки изъ писемъ къ В. М. Соболевскому: 1) „Ѣхать мнѣ оказывается опять дѣломъ невозможнымъ — нѣтъ денегъ. Хотѣлъ я опять сѣсть за работу и написать послѣдній большой очеркъ „Концовъ", но положительно заѣло меня глубокое горе. Всѣ дѣла только что кончились въ Петербургѣ, только что я выбрался изъ этого кипучаго котла со свадьбами и шахами, и смрадомъ, и оказывается, что мнѣ нѣтъ возможности никуда поѣхать. Писать я положительно не въ состояніи. Вѣдь нынѣшній годъ истиранилъ меня, и истиранилъ на много лѣтъ. Уѣхать надобно... Да надо и работать. Сидѣть въ этомъ смертельно надоѣвшемъ Чудовѣ или въ литературныхъ петербургскихъ кружкахъ... — положительно мнѣ не въ моготу. Мнѣ надобно вновь внимательно видѣть жизнь... Мих., надняхъ, будетъ въ Москвѣ, Кр. уѣхалъ въ Сибирь, Яр. въ Парижѣ,— я только обреченъ изсыхать въ обстановкѣ, которая только меня пугаетъ, и самъ долженъ производить на всѣхъ тяжелое впечатлѣніе... Если бы можно было числа до 10 (и то ужасно долго) получить 300 р., я бы немедленно уѣхалъ въ Череповецъ, гдѣ меня ждутъ, чтобы разсказать всю исторію закрытія земства... Если бы это можно было сдѣлать... я прямо изъ Петербурга, не заѣзжая въ Чудово, прямо сѣлъ бы на шлиссельбургскій пароходъ" (Безъ даты). — 2) „Не знаю, куда мнѣ ѣхать: за границу или въ Сибирь къ переселенцамъ и съ переселенцами? А такъ „отдыхать" зря — не могу, тоска смертная. Въ Сибирь любопытно, но мрачно, чортова яма, холодъ, и вообще я поусталъ отъ мужика, его бороды, лаптей и вообще всего этого голоднаго и холоднаго. Больно смотрѣть и голова отказывается мучиться объ этомъ, просто утомилась. А за границу то же не знаю, будетъ-ли толкъ" (Помѣчено 17 мая 1888 г.).—3) „Главное, что я необыкновенно утомленъ духомъ моимъ. Видите, какъ плетусь? Только въ Казани, но это потому, что усталъ ужасно; въ Нижнемъ два дня не могъ встать съ постели. Можетъ быть, и хорошо это. Теперь въ Казани я уже могъ сѣсть за работу, а завтра, 9-го, ѣду въ Пермь. Меня пока беретъ раздумье—ѣхать-ли туда? Соблазнительнѣйшія вещи прочиталъ я сегодня въ газетахъ о Семеновскомъ уѣздѣ, и меня туда тянетъ неумолимо. Эта поѣздка была бы мнѣ по душѣ болѣе, чѣмъ въ чортову Сибирь. До чего нибудь рѣшительнаго я долженъ непремѣнно

додуматься въ самомъ скоромъ времени и завтра долженъ рѣшить: куда я ѣду?“ (Безъ даты).

А вотъ отрывокъ изъ письма къ г-жѣ N., объясняющій, какъ и чѣмъ кончилась, можетъ быть, эта самая поѣздка (годъ на письмѣ не показанъ): „*Чудово.* 10 іюля. Дорогая N! Вотъ гдѣ я очутился вмѣсто Сибири-то! И вышло это такъ: въ Перми я занимался моими книгами и чувствовалъ нѣкоторую скуку, но одинъ эпизодъ заставилъ меня призадуматься, какъ говорится, крѣпко. Какъ-то утромъ слышу я какой-то отдаленный звукъ, будто бубенчики звенятъ или, какъ въ Ленкорани, караванъ идетъ съ колокольчиками, далеко-далеко. Дальше, больше. Выглянулъ въ окно (окно у меня было въ 1-мъ этажѣ), гляжу,—изъ подъ горы идетъ сѣрая, безконечная масса арестантовъ. Скоро всѣ они поравнялись съ моимъ окномъ, и я полчаса стоялъ и смотрѣлъ на эту закованную толпу: все знакомыя лица, и мужики, и господа, и воры, и политическіе, и бабы, и все, все наше, изъ нутра русской земли, — человѣкъ не менѣе 1500, все это валило въ Сибирь изъ этой Россіи. И меня такъ потянуло въ слѣдъ за ними, какъ никогда въ жизни не тянуло ни въ Парижъ, ни на Кавказъ, ни въ какія-бы то ни было мѣста, гдѣ виды хороши, а нравы еще того превосходнѣй. Вѣдь эти люди— отборный продуктъ тѣхъ русскихъ условій жизни, той путаницы, тоски, мертвечины, трусости или отчаянной смѣлости, среди которыхъ живемъ мы, не сосланные, томимся, скучаемъ, мучаемся, пьемъ чай съ вареньемъ отъ скуки, времъ, лжемъ и опять мучаемся: всѣ *эти*, отъ воровъ до политическихъ, *не выдержали* этой жизни, и ихъ тащутъ въ новыя мѣста. И мнѣ *охотой*, а не на цѣпи захотѣлось необузданно идти на новыя мѣста, мнѣ также не подходитъ „жить“ (а не бороться) съ людьми, съ которыми (и которымъ) приходится много лгать, безплодно, безцѣльно и изживать русскій теперешній вѣкъ—безцвѣтно, неинтересно, безвкусно и неумно... Въ Екатеринбургѣ меня еще больше одолѣла жажда ѣхать дальше на новыя мѣста. Отчего переселяются только мужики, а интеллигенцію тащатъ на цѣпи? И намъ надо бросать добровольно запутанныя, тяжкія, ненужныя отношенія, хотя бы они и были старыя, привычныя, и искать и мѣстъ, и людей, съ которыми можно чувствовать себя искреннѣй и сильнѣй. И тутъ-то вотъ я и остановился: такъ много на меня пахнуло новаго и свѣтлаго, что я совершенно сталъ забывать мою работу, которую думалъ дѣлать въ дорогѣ, она мнѣ стала казаться ненужной, а между тѣмъ, не работать было

нельзя,—надо устраивать сына въ гимназію, платить плотникамъ (они перестроили мнѣ домъ отлично) и т. д. А писать мое *старое* тамъ тоже нельзя: и вотъ я рѣшилъ воротиться тотчасъ домой, устроить семью на всю зиму, покончить съ писаніемъ, изданіемъ и т. д. и въ августѣ, послѣ 15, а можетъ и раньше, уѣхать въ Сибирь до весны".

Какъ оріентироваться въ этой путаницѣ большихъ и малыхъ, неприводимыхъ въ исполненіе плановъ, перебиваемыхъ другими планами, изъ которыхъ опять-таки далеко не всѣ приводятся въ исполненіе? Дѣло въ томъ, что трудно найти человѣка, столь же безпомощнаго и безпорядочнаго въ практическомъ отношеніи, какъ Успенскій. Но вмѣстѣ съ тѣмъ это былъ большой искусникъ въ теоретическомъ построеніи плановъ,—всегда у него было все обдумано до мельчайшихъ подробностей. Онъ и другимъ, въ томъ числѣ и мнѣ, случалось, давалъ истинно превосходные совѣты, какъ устроить свои дѣла въ томъ или другомъ отношеніи, но его собственныя дѣла были всегда и во всѣхъ отношеніяхъ плохи, и превосходно обдуманные планы разбивались при самомъ приступѣ къ ихъ выполненію. *Надо* сдѣлать то-то и такъ-то, а выходитъ „ахинея" и „чепуха". Редакціи журналовъ и газетъ, въ которыхъ онъ участвовалъ, всегда высоко цѣнили его сотрудничество, а между тѣмъ онъ постоянно нуждался, хотя и постоянно работалъ. Его письма къ редактору-издателю „Русскихъ Вѣдомостей" переполнены тонко и точно разработанными планами погашенія авансовъ (за эту тонкость и точность Салтыковъ называлъ его „министромъ финансовъ"), но изъ тѣхъ же писемъ видно, что едва ли хоть одинъ изъ нихъ былъ приведенъ въ исполненіе и не отмѣнялся черезъ короткое время другимъ, столь же обстоятельнымъ. Съ деньгами онъ вообще совершенно не умѣлъ обращаться. И это ставило его подчасъ въ истинно трагическія положенія, хотя въ то же время его блестящіе финансовые планы не могли не производить комическаго эффекта.. Тѣмъ болѣе, что его безпорядочность проявлялась не только въ денежныхъ дѣлахъ. Такъ, въ своихъ непрестанныхъ разъѣздахъ онъ то и дѣло терялъ и забывалъ нужныя ему вещи, которыя, впрочемъ, оказывались, пожалуй что, и совсѣмъ не нужными. Проживъ однажды съ мѣсяцъ вмѣстѣ съ нимъ на Кавказѣ, я получилъ отъ него потомъ письмо, въ которомъ, между прочимъ, было слѣдующее: „Одѣяло осталось мое, — прошу М. П. взять его къ себѣ, и когда поѣдетъ, то пусть возьметъ или просто подаритъ старику

(дворнику). А вотъ папиросникъ я забылъ, кажется, въ жестяной коробкѣ. Его вы ужъ возьмите, пожалуйста, и пусть онъ будетъ у васъ". Забывъ въ квартирѣ В. М. Соболевскаго бумажникъ, онъ пишетъ: „Бумажникъ мой не бросайте на столѣ, тамъ есть разные секретцы, — не хорошо, если кто прочитаетъ". Въ Нижнемъ-Новгородѣ съ его багажомъ приключилась разъ какая-то очень сложная исторія, изъ которой онъ выпутывался въ письмѣ къ В. Г. Короленку такъ: „Сегодня послалъ я вамъ довѣренность на полученіе моего хоботья, но, кажется, перевралъ адресъ. Написалъ: Больничная, д. *Пенской*, а надобно, кажется, Папковой. Посылаю это письмо на удачу, безъ всякаго адреса, а просто въ Нижній вамъ. Хламье мое пусть лежитъ у васъ столько, сколько оно захочетъ"...

Психологическая подкладка его постоянныхъ разъѣздовъ, я думаю, уже нѣсколько выяснилась изъ приведенныхъ писемъ. Мы видѣли: „не тужите, не скучайте, не думайте о себѣ печально, — интереснѣй думать о томъ, какъ живутъ люди, *я всегда исцѣляюсь этимъ*". И вотъ почему его манитъ на Донъ, въ Соловецкій, къ новороссійскимъ менонитамъ, колонистамъ и проч., въ Череповецъ, гдѣ онъ разсчитываетъ лично узнать обстоятельства, при которыхъ произошло закрытіе земства, въ Семеновскій уѣздъ, о которомъ онъ по дорогѣ узналъ „соблазнительнѣйшія вещи", къ переселенцамъ, вообще на „новыя мѣста", — и въ Парижъ, и въ Сибирь, и въ Болгарію, и въ Лондонъ, и въ Сербію. И вотъ почему, онъ часто, уже двинувшись изъ своего Чудова, не зналъ — куда ѣхать? Глаза разбѣгались...

Но въ этомъ безбрежномъ житейскомъ морѣ была маленькая горсточка людей, которая требовала особеннаго его вниманія, передъ которою онъ до болѣзненности чувствовалъ свою отвѣтственность: семья. Его категорическій императивъ—„*надо*", такъ часто, къ его великому горю, разрѣшавшійся „ахинеей" и „чепухой", но никогда въ немъ не замолкавшій, въ значительной степени обусловливался его отношеніемъ къ женѣ и дѣтямъ. Случаи, когда категорическій императивъ, вытекая изъ другихъ источниковъ, враждебно сталкивался съ тѣмъ, что *надо* ради семьи, доставляли ему величайшія мученія. Необыкновенно трогательны его письма изъ Парижа о сынѣ—первенцѣ. „Я думаю,—писалъ онъ мнѣ, — написать разсказъ „Царь въ дому" — ребенокъ. Это народное выраженіе о первомъ ребенкѣ, и, дѣйствительно, только эту власть я и согласенъ признавать за законную". Его письма этого времени переполнены подроб-

ностями о томъ, какъ Саша начинаетъ ходить, говорить и т. п. И никогда не забуду той дѣтски-счастливой улыбки, съ которой онъ, по возвращеніи изъ Парижа, показывая мнѣ фотографическую карточку мальчика, самъ любовался на нее. Въ одну изъ своихъ поѣздокъ онъ просилъ меня: „Пожалуйста, заѣзжайте на святой недѣлѣ въ Чудово. Пріѣзжайте туда со всѣми вашими гостями, не покидайте ихъ, и ребятъ привозите. Нельзя же ихъ покидать. Я буду знать, что у насъ дома все-таки праздникъ, и мнѣ будетъ легче на душѣ"...

Но, по другимъ соображеніямъ или мотивамъ, всетаки, *надо* ѣхать, ѣхать и опять ѣхать, иной разъ, даже не зная куда. Надо „исцѣляться" интересомъ къ тому, „какъ живутъ люди". Отъ чего „исцѣляться"?

Здѣсь я долженъ коснуться одного непріятнаго и щекотливаго пункта. Мнѣ не разъ случалось слышать мнѣніе, что психическая болѣзнь Глѣба Ивановича была результатомъ злоупотребленія алкоголемъ. Я никогда не могъ съ этимъ согласиться. Отнюдь не говорю, что Успенскій былъ въ этомъ отношеніи безгрѣшенъ. Но, не говоря о моральной сторонѣ дѣла, — ибо не знаю, много ли найдется въ томъ кругу, въ которомъ онъ вращался, людей, имѣющихъ право суда въ этомъ отношеніи, — я думаю, во-первыхъ, что слухи о его грѣхѣ сильно преувеличены (въ покаянномъ настроеніи онъ самъ способствовалъ этому преувеличенію), а во-вторыхъ, грѣхъ этотъ былъ во всякомъ случаѣ не столько причиною, сколько слѣдствіемъ того нервнаго разстройства, которое окончилось психическою болѣзнью. Вотъ что писалъ однажды Успенскій г-жѣ N: „Не могу забыть, какъ я безобразно велъ себя у васъ, — напился! Могло ли это быть прежде, чтобы именно *у васъ, у васъ-то* я бы позволилъ себѣ это?.. а теперь вотъ позволилъ, стало быть, что-то во мнѣ пропало и, стало быть, я сталъ пропадать". Выраженія „безобразно велъ себя" и „напился"—несомнѣнно сильно преувеличены, но здѣсь интересно указаніе на то, что Успенскій „позволилъ себѣ быть въ „безобразномъ" видѣ у глубоко почитаемой имъ женщины, когда въ немъ уже „что-то пропало". Я склоненъ придавать этому эпизоду символическое значеніе. Мнѣ кажется, что Глѣбъ Ивановичъ былъ отъ рожденія богатою и блестящею, но неуравновѣшенною натурой, которую могли спасти отъ печальнаго конца только исключительно благопріятныя условія жизни, какія вообще рѣдки и какихъ не выпало на его долю. Болѣзнь подкралась къ нему съ чрезвычай-

ною постепенностью. Можно, конечно, съ точностью указать время, когда его пришлось помѣстить въ больницу, но едва-ли можно даже съ приблизительно такою же точностью сказать, когда болѣзнь началась. Быть можетъ, она вила давно уже себѣ въ немъ гнѣздо, когда мы, близкіе къ нему люди, видѣли въ немъ только очень нервнаго чудака-оригинала.

Вотъ его письмо ко мнѣ отъ 18 февраля 1891 года: „Съ великимъ бы удовольствіемъ поѣлъ я блиновъ, если бы не одно чрезвычайно важное обстоятельство: вчера ко мнѣ пріѣхалъ въ 1 часъ дня д-ръ Шершевскій (кажется, по желанію Манасеина узнать мою болѣзнь), выстукалъ, выслушалъ меня и, словомъ, докопался до самой сути болѣзни (мозгъ!) и началъ правильное лѣченіе. До слѣдующаго воскресенья никакихъ блиновъ не полагается, а въ слѣдующее воскресенье онъ опять пріѣдетъ и обслѣдуетъ меня... (не разборчиво)... но буду повиноваться, потому что дѣло мое стало совсѣмъ скверное. Прочитайте прилагаемое письмо и порадуйтесь. Я радъ, что читатель поступилъ со мной строго, и это на меня подѣйствовало благодѣтельно. Остаюсь лишенный блиновъ, печальный Г. У.“ (Въ письмѣ, о которомъ здѣсь пишетъ Успенскій, какой-то читатель упрекаетъ его за то, что онъ напечаталъ свой разсказъ въ „Недѣлѣ“, гдѣ въ то время осмѣивалъ лучшіе идеалы лучшихъ людей“ и т. д. нѣкто, подписавшійся „Единица“). Какъ видите, письмо самое обыкновенное, а между тѣмъ врачъ уже опредѣлилъ болѣзнь мозга. Неуравновѣшенность свою онъ получилъ, вѣроятно, по наслѣдству, а тяжелыя условія жизни создали почву для ея расцвѣта... Въ этой неуравновѣшенности и заключалось то, ему самому неясное, нѣчто, отъ чего онъ искалъ „исцѣленія“ въ интересѣ къ тому, „какъ люди живутъ“, и въ постоянныхъ разъѣздахъ. Онъ очень дорожилъ этимъ цѣлительнымъ средствомъ и очень боялся, чтобы оно не утратило для него своихъ цѣлебныхъ свойствъ. „Я, кажется, уже при усиліи теперь не могу возстановить въ себѣ потребности быть внимательнымъ къ людямъ, а это была потребность“,—писалъ онъ мнѣ однажды. Но это были напрасныя опасенія. „Потребность быть внимательнымъ къ людямъ“ никогда въ немъ не угасала, и въ томъ же письмѣ есть слѣдующія характерныя строки: „Очень, очень плохо у меня на душѣ съ самаго перваго дня выѣзда изъ Чудова, и вотъ отчего мнѣ нечего вамъ написать. С—у, впрочемъ, я пишу, что мнѣ хорошо, но это единственно, чтобы ободрить его, что есть кому-то хорошо на свѣтѣ, такъ какъ

ему-то уже что-то очень тошно и скучно. И А. В. я пишу иногда въ томъ же родѣ".

Характерны здѣсь эти высшія степени вниманія къ людямъ — бережное къ нимъ отношеніе, желаніе устранить поводы для горькихъ мыслей. Чужое горе, чужую бѣду Глѣбъ Ивановичъ всегда принималъ близко къ сердцу.

Вскорѣ послѣ закрытія „Отечественныхъ Записокъ" онъ гнѣвно и вмѣстѣ трогательно писалъ мнѣ по поводу одного литературнаго эпизода, которому я вовсе и не думалъ придавать значеніе: „Я прочиталъ фельетонъ... Начинается нѣчто глубоко подлое. Если принять къ сердцу, то надо бить... по щекѣ. Но избави Господи, если вы примете къ сердцу эти хитрые замыслы вовлечь васъ въ бѣду; какая-то шайка образовалась разбойничья. Совершенно прекратить съ ней всякіе разговоры, — самое лучшее и единственное. Я не хотѣлъ васъ огорчать и не писалъ вамъ объ этомъ фельетонѣ, но если вы его не прочитаете и будете отвѣчать хотя бы... какъ всетаки человѣку... то будетъ просто Богъ знаетъ что, и васъ разстроитъ до невозможности. Необходимо просто уйти, плюнувъ имъ всѣмъ въ рыло особой статьей въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ", и разъ навсегда... Это вольные казаки, разбойники; шайка — однимъ словомъ. Никакой тутъ литературы нѣтъ. Такъ именно и надо сказать, что это не писатели. Прочитать надо, но не надо огорчаться: начинается чортово, омутовое дѣло, шабашъ вѣдьмъ, — не ходите туда; надо дунуть и плюнуть и пусть они безобразничаютъ какъ угодно. Не огорчайтесь же, дорогой Н. К.".

Въ октябрѣ 1886 г., когда я, участвуя въ редакціи „Сѣвернаго Вѣстника", ждалъ отъ него изъ Чудова обѣщанной рукописи, я получилъ вмѣсто нея письмо изъ Рязани: „Нежданно-негаданно пришлось бросить работу и уѣхать по одному дѣлу. Ужъ стало-быть что-нибудь есть, больше я не знаю что сказать, и до моего возвращенія ни о моемъ отъѣздѣ не говорите никому и *никого* (буквально) не спрашивайте. Я глубоко огорченъ, что надулъ „Сѣв. Вѣстникъ", но я искуплю въ ноябрѣ и декабрѣ. Не было возможности даже зайти къ вамъ. Пишу въ вокзалѣ въ Москвѣ, черезъ часъ ѣду дальше. Итакъ, знайте, пожалуйста, что если бы не серьезное дѣло, я бы не бросилъ работы и всѣхъ своихъ дѣлъ". Потомъ я узналъ секретъ этой неожиданной поѣздки: Глѣбъ Ивановичъ ѣздилъ за тысячу верстъ для улаженія недоразумѣній, возникшихъ въ семьѣ одного нынѣ уже умершаго, горячо любимаго имъ пріятеля.

Около этого же времени, нѣсколько раньше, онъ писалъ мнѣ изъ Новороссійска:

„Я хочу сказать о N. Бываетъ-ли она... И допустите-ли вы, чтобы она познакомилась съ... Я бы не допустилъ этого и, пожалуйста, не допустите этого. Я вамъ пришлю кой-какія письма Z, и вы увидите, что эта самая канальская и пустопорожняя душа. NN я не знаю, но думаю, что и въ ней кой-что есть такое, что имѣетъ не безпорочное зачатіе. Такъ вотъ, какъ эта капелла прицѣпится къ N, да втянетъ ее въ свой бабій танецъ, то это будетъ худо. Я право не знаю, но какъ только... такъ мнѣ стало страшно за N. Я писалъ ей, чтобы она боялась ласковыхъ словъ... Работать работай и не покидай насъ, но что касаемое ежели барыни задумаютъ впутать ее въ лянтрикъ (l'intrigue), такъ чтобы лупила ихъ на отмашь".

И, дѣйствительно, онъ писалъ по этому поводу г жѣ N.: „Боюсь я этихъ проклятыхъ бабъ: очень онѣ ехидны, плутоваты, очень бабы и безконечно опытны только въ одномъ ехидствѣ, плутоватости, подвохахъ, пронырствахъ и всякихъ ядовитыхъ каракуляхъ, вращающихся около амура, и только амура, въ которомъ къ тому же никто изъ нихъ ничего не смыслитъ и внѣ котораго, однако, для нихъ нѣтъ ровно ничего святого и даже любопытнаго. Чортъ ихъ знаетъ, что это за порода! Когда я былъ у васъ и прорицалъ въ пьяномъ видѣ о литературѣ и о дамахъ, которыхъ надо удержать въ предѣлахъ серьезнаго интереса, — я не могъ *думать*, чтобы онѣ были такія ехидныя... И вотъ я прошу васъ: будьте мудры, яко змія! Пожалуйста! Вы, пожалуйста, работайте, пишите, но какъ только которая нибудь изъ этихъ кривулекъ пикнетъ что нибудь насчетъ некасающаго или насчетъ того, что сулитъ въ будущемъ очертанія интриги,—прямо бейте ихъ по рылу, такъ, чтобы юбки зазвенѣли и засверкали въ небесахъ..."

Милый Глѣбъ Ивановичъ! Какъ хорошо звучали въ его устахъ подобныя не вполнѣ свѣтскія выраженія, даже когда онъ обращался съ ними къ дамамъ. Правда, онъ хорошо зналъ, кому можно и кому нельзя такъ писать, кто способенъ и кто не способенъ оцѣнить искренность чувства, облеченнаго въ такую оригинальную форму. Какъ ни странно можетъ это показаться, но подобныя выраженія были, по своему значенію, драгоцѣннымъ бисеромъ, который онъ сыпалъ только передъ особенно близкими и дорогими ему людьми...

Надо замѣтить, что если я вовсе не придалъ значенія тому литературному эпизоду, по поводу котораго Успенскій такъ взволнованно убѣждалъ меня не огорчаться, то и дамы, отъ которыхъ онъ предостерегалъ г-жу N, отнюдь не были для нея опасны. Но преувеличеніе опасностей было одною изъ особенностей Глѣба Ивановича, и если стереть въ только-что приведенныхъ письмахъ слѣды этой его личной особенности, то что же удивительнаго въ томъ, что человѣкъ волнуется изъ-за другихъ людей? Это элементарно. Да, но Успенскому были близки не только семья и пріятели. Ему поистинѣ ничто человѣческое не было чуждо.

Вотъ, напримѣръ, нѣсколько строкъ изъ письма его ко мнѣ: „Какое ужасное положеніе!.. Я прошу Павленкова оставить вамъ мои 250 рублей. Не знаю, кто и когда будетъ въ Петербургѣ, но кто бы ни былъ эти дни, — изъ этихъ моихъ денегъ навѣрно устроится сколько-нибудь".

Или вотъ рядъ его писемъ къ В. М. Соболевскому:

„В. М.! Очень мелкимъ шрифтомъ печатаете о переселенцахъ и пожертвованіяхъ. Надобно привлекать къ этому дѣлу публику. Посмотрите-ка, какъ поступаютъ К. и С. Поповы, чтобы публика видѣла слово чай, а когда дойдетъ до переселенцевъ, то печатается такими бактеріями-буквами, что совсѣмъ не увидишь (получено 1 р. А. З., отъ К. Б. 50 коп.). Поповъ такими буквами не напечатаетъ своего объявленія, а то и онъ пойдетъ въ переселенцы. Ужъ на что несчастны кухарки и „человѣкъ ищетъ мѣста", а и то публика можетъ сказать, взглянувъ на объявленія: „Эко кухарокъ-то!" А переселенцы и незамѣтны совсѣмъ. Я вотъ знаю тысячу докторовъ отъ сифилиса, а мнѣ вовсе ихъ знать не надо. Знаю Кнопа, Бутенопа, Эрдмансдорфера, мыло тридасъ, Брокаръ, знаю, что скончалась Мазуркина, Болванкина и Лоханкина, — а переселенцы? поступило въ Р. В. 1 р. 50 коп."

„Удивляюсь, что о такихъ вещахъ, какимъ посвящена передовая статья 20 октября, такъ мало удѣляется мѣста! Просто поразительно! Сдѣлайте милость для общества всего русскаго, — поручите кому-нибудь составить компиляцію для фельетона о послѣднихъ англійскихъ выборахъ... Если ужъ объ этакихъ явленіяхъ можно говорить разъ въ годъ въ 20 строкахъ, тогда что же есть интереснаго на бѣломъ свѣтѣ? Если вы не сдѣлаете этого и не составите подробной компиляціи фельетона на три, то Богъ съ вами! Не буду я васъ тогда любить!"

„Что это вы не сдѣлаете извлеченія изъ письма Карла Маркса, напечатаннаго въ „Юридическомъ Вѣстникѣ“ въ октябрѣ. Это письмо къ Михайловскому *). Марксъ выражаетъ обиду, что Михайловскій *позволилъ* себѣ (курсивъ, какъ и ниже, Успенскаго) заподозрить его въ томъ, что онъ, Марксъ, считаетъ „желѣзные законы развитія капитализма“ неизбѣжными для націй, не имѣющихъ ничего похожаго въ исторіи съ европейскими. Вотъ что онъ пишетъ про себя: „*Чтобы судить со знаніемъ дѣла объ экономическомъ развитіи современной Россіи, я выучился по-русски* и затѣмъ, въ теченіе долгихъ лѣтъ, изучалъ оффиціальныя и другія изданія, имѣющія отношеніе къ этому предмету. *Я пришелъ къ такому выводу: если Россія будетъ продолжать идти по тому же пути, по которому она шла съ 1861 г., то она лишится самаго прекраснаго случая, какой когда-либо предоставляла народу исторія, чтобы избѣжать всѣхъ перипетій капиталистическаго строя*“. Вѣдь это смертный приговоръ! Положительно необходимо вамъ перепечатать это въ сокращеніи. Вотъ тутъ-то и *было* наше *дѣло* — да сплыло. Теперь одни—*самохвалы,* изъ статистическихъ данныхъ извлекаютъ однѣ прелести жизни народной, великое будущее, выбрасывая всю мерзость запустѣнія, а другіе—Марксы *карлики,* выбрасываютъ изъ этихъ же данныхъ все, что еще живо оригинальностью, конечно, случайно, — и повелѣваютъ покориться всѣмъ „перипетіямъ“. А такихъ словъ, великихъ и простыхъ, какія говоритъ Марксъ и какія требуютъ огромнаго дѣла, мы не говоримъ и поэтому дѣла не дѣлаемъ никакого. Какъ это письмо меня тронуло!“

Задумывая, очевидно, въ это же время новый рядъ очерковъ, Успенскій сообщаетъ В. М. Соболевскому, что ихъ будетъ три. Первый займется вопросомъ „что будетъ?“ („не „что дѣлать?“ не „какъ жить на свѣтѣ?“—этому ужъ не время“,—прибавляетъ Успенскій въ скобкахъ). „Второй будетъ называться „что будетъ съ фабрикой?“ Третій—„что будетъ съ бабой?“ Во второмъ „будутъ собраны всѣ обѣщанія „марксистовъ“ о тѣхъ *превосходнѣйшихъ временахъ,* до которыхъ *должна* дожить фабрика“. Въ третьемъ будутъ представлены доказательства, что баба есть человѣкъ, который „никоимъ образомъ не пропадетъ безъ мужика и все сдѣлаетъ и

*) Письмо это, часто называемое у насъ письмомъ къ Михайловскому, адресовано совсѣмъ не ко мнѣ, это видно уже изъ того, что Марксъ говоритъ въ немъ обо мнѣ въ третьемъ лицѣ. Вѣроятно, онъ предполагалъ напечатать его въ „Отечественныхъ Запискахъ“ въ видѣ письма въ редакцію.

просуществуетъ на бѣломъ свѣтѣ одна и съ дѣтьми. Какъ и почему капитализмъ долженъ ее *(пока!)* въ порошокъ растерѣть?

„Я право усталъ. *Но не въ этой устали дѣло* (курсивъ вездѣ Успенскаго): дѣло въ томъ, что *я теперь* поглощенъ хорошею мыслью, которая во мнѣ хорошо сложилась, *подобрала и вобрала въ себя* множество явленій, которыя *сразу* выяснились, улеглись въ порядкѣ. Подобно *Власти земли*, то есть условій трудовой народной жизни, ея зла и благообразія, мнѣ теперь хочется до страсти писать рядъ очерковъ *„Власть капитала“*. Два фельетона, которые вы напечатали, это только образчикъ того, что меня теперь занимаетъ. Такъ вотъ мнѣ и не хочется теперь мучить свою голову, отрываясь отъ этой *любимой мысли* для нелюбимыхъ, для работы изъ-за нужды... Если *„Власть капитала“*—названіе неподходящее, то я назову *Очерки вліяній капитала*. Вліянія эти опредѣленны, неотразимы, ощущаются въ жизни неминуемыми явленіями. Теперь эти явленія изображаютъ цифрами, — у меня же будутъ цифры и дроби превращены въ людей... Увѣренъ, что ужасность ихъ (этихъ явленій) будетъ понята читателями, когда статистическія дроби придутъ къ нимъ въ видѣ людей,—изуродованныхъ и искалѣченныхъ“.

Планъ этотъ остался невыполненнымъ, Успенскій только приступилъ къ нему („Живыя цифры“). Это съ нимъ не разъ случалось, не только въ послѣднее время, когда усталость все больше и больше одолѣвала его, а и гораздо раньше, въ молодую пору пробужденія, а затѣмъ и расцвѣта его таланта. Въ предисловіяхъ къ первому и второму томамъ его сочиненій перваго изданія и къ первому тому Павленковскаго изданія онъ самъ отчасти разсказалъ, какъ и почему это случалось. Всегда, такъ или иначе, дѣло было въ разладѣ между категорическимъ императивомъ *надо* и либо его собственною неуравновѣшенностью, либо разными внѣшними обстоятельствами, обрывавшимися „ахинеей“ и „чепухой“. Между прочимъ, его въ половинѣ семидесятыхъ годовъ очень занимала мысль о романѣ или повѣсти, которую онъ уже принялся было писать, которой и заглавіе было придумано („Удалой добрый молодецъ“), но которой онъ такъ и не написалъ...

То „исцѣленіе“, котораго онъ всю свою жизнь искалъ, состояло не просто въ томъ, чтобы „думать о томъ, какъ люди живутъ“. Въ этихъ думахъ и въ наблюденіяхъ, ради которыхъ онъ колесилъ по сѣверу и югу, востоку и западу, онъ слишкомъ часто находилъ не исцѣленіе, а вящшую боль и скорбь. Онъ искалъ того равно-

вѣсія, той гармоніи отношеній и пропорцій, гармоніи цѣлей и средствъ, мысли и дѣла, разума и совѣсти, которой не находилъ въ себѣ и въ непосредственно окружающей его жизни. Онъ находилъ ее въ подлинной мужицкой жизни („Власть земли"), въ художественныхъ произведеніяхъ — въ Венерѣ Милосской, въ картинѣ Ярошенка „Курсистка" („По поводу одной картинки"), наконецъ, въ живыхъ людяхъ, вродѣ дѣвушки „строгаго, почти монашескаго типа" („Выпрямила"), передъ которою онъ почти молитвенно преклонялся. Въ нѣкоторыхъ своихъ очеркахъ онъ самъ разсказалъ, какъ „выпрямляли", счастливили его такія явленія жизни. Къ числу ихъ принадлежалъ и оригиналъ героя романа или повѣсти „Удалой добрый молодецъ". Онъ писалъ мнѣ:

„Повѣсть, которую пишу—автобіографія, не моя личная, а нѣчто вродѣ Л. Чего только онъ не видалъ на своемъ вѣку. Его метало изъ губернаторскихъ чиновниковъ въ острогъ на Кавказъ, съ Кавказа въ Италію, прямо къ битвѣ подъ Ментаной, къ Герцену, потомъ въ Сибирь на три года, потомъ на Ангару, по которой онъ плылъ тысячу верстъ, потомъ въ Шенкурскъ, въ Лондонъ, въ Цюрихъ, въ Парижъ. Онъ видѣлъ все и вся. Это цѣлая поэма. Онъ знаетъ въ совершенствѣ три языка, умѣетъ говорить съ членомъ парламента, съ частнымъ приставомъ, съ мужикомъ, умѣетъ самъ притвориться и частнымъ приставомъ, и мужикомъ, и неучемъ, и въ то же время можетъ войти сейчасъ на каѳедру и начать о чемъ угодно вполнѣ интересную лекцію. Это изумительная натура. Я и думать не могу охватить все это, но уголокъ я постараюсь взять въ свою власть"...

Но мутныя волны повседневной жизни скоро смывали подобныя „выпрямляющія", живительныя впечатлѣнія, которыхъ такъ жаждала душа Успенскаго. А, кромѣ того, случалось ему, конечно, и ошибаться, ожидая найти чистое золото тамъ, гдѣ на дѣлѣ оказывалась грязь. Вотъ, напримѣръ, что онъ писалъ В. М. Соболевскому послѣ поѣздки въ Болгарію:

„Только нѣсколько дней, когда я чувствую себя немного почеловѣчески. Болгарская поѣздка измучила меня нравственно до ужасной степени. Никогда въ жизни не былъ я въ такомъ глубокомъ отчаяніи, положительно не зналъ,—что тутъ дѣлать, т. е. что думать! Всякая русская грязь, подлость... вся ложь полуславянофильства, такая, какъ теперь въ модѣ, — все это здѣсь возстало передо мною въ подлинномъ видѣ, ошеломило меня, все мнѣ при-

помнило, всю жизнь, всѣ жертвы, все лганье, которое постепенно вкрадывалось въ душу страха ради іудейскаго, всѣ уступки совѣсти, вплоть до послѣдняго слова непротивленія злу. Словомъ, положительно я задохнулся и изнемогъ *отъ этого всего*, что здѣсь на меня нахлынуло вдругъ сразу. Не знаю и не увѣренъ, чтобы вы нашли возможнымъ печатать такія письма, какъ прилагаемое. Но изъ него вы можете имѣть понятіе о красотѣ и пріятности здѣшнихъ впечатлѣній. Писать дипломатическія письма, изъ которыхъ ничего неизвѣстно, я не могу... Много, много въ насъ, русскихъ, лжи въѣлось и вообще *ничего радующаго!* Не хорошо, не складно, непріятно творится здѣсь дѣло *невѣдомое буквально* и ничего не обѣщающее въ будущемъ. Хорошія слова—свобода, равенство нечѣмъ наполнить ни намъ, ни имъ. Все это здѣсь мыльные пузыри, которые, когда лопаются, то пахнутъ гадко. Я стараюсь быть елико возможно безпристрастнымъ, о Болгаріи будетъ на основаніи болгарской прессы радикальнаго лагеря, и вы увидите, какъ много уже въ ней шарлатанства. Все это не второй, а сто второй сортъ. Другое дѣло — народъ. Онъ-то, его житье-бытье и обличитель всей этой скверности. Словомъ, не знаю, не знаю. Я буду писать, но кромѣ глубочайшей скорби ничего на душѣ нѣтъ отъ этой работы"...

Измученный подобными впечатлѣніями и всякаго рода житейской „ахинеей" и „чепухой", Глѣбъ Ивановичъ подумывалъ иногда усѣсться на мѣстѣ, поступить на службу—на желѣзную дорогу, въ земство и т. п. и, имѣя постоянный заработокъ, работать въ литературѣ спокойно, не разрывая свои произведенія на клочки. Но это или совсѣмъ не удавалось ему, или удавалось очень не надолго. Дольше всего, кажется, онъ *служилъ* завѣдующимъ сельской ссудо-сберегательной кассой въ Самарской губерніи. Повидимому, онъ этой службой былъ доволенъ,—по крайней мѣрѣ, съ точки зрѣнія собраннаго имъ тамъ матеріала для литературной обработки. Иначе вышло съ другой его пробой служебной дѣятельности. 11 сентября (все равно какого года) онъ даже съ нѣкоторымъ торжествомъ извѣщалъ меня: „Сижу *въ должности*", а письмо отъ 1 февраля слѣдующаго года начинается словами: „Мѣста у меня больше нѣтъ". И вотъ мотивы, изложенные въ письмѣ отъ 14 марта: „Мѣсто... я долженъ былъ бросить и какъ ни скверно это въ матеріальномъ отношеніи, но рѣшительно не раскаиваюсь: подлые концессіонеры глотаютъ милліоны во имя разныхъ шарлатанскихъ проектовъ,—а во сколько же

разъ подлѣе интеллигенція, которая не за милліоны, а за два двугривенныхъ осуществляетъ эти разбойничьи проекты на дѣлѣ, тамъ, въ глубинѣ страны? Громадныя челюсти концессіонеровъ ничего бы не сдѣлали, ничего бы не проглотили, если бы имъ не помогали эти острые двухъ-двугривенные зубы, которые тамъ, въ глубинѣ-то Россіи, въ глуши, пережевываютъ неповиннаго ни въ чемъ обывателя. Я не могу быть въ числѣ этихъ зубовъ; если бы мнѣ было хоть маломальски покойно, я бы, можетъ быть, и не такъ былъ чувствителенъ ко всему этому и, понимая, считалъ бы себя скотиной, но жалованье получалъ бы аккуратно. Но при томъ раздраженіи, которое временами (какъ въ послѣдній пріѣздъ въ Петербургъ) достигаетъ по истинѣ глубочайшей невыносимости, я не могу не принимать этихъ скверныхъ впечатлѣній съ особенною чувствительностью. Мѣсто надо было бросать: всѣ, тамъ служащіе, знаютъ, что они дѣлаютъ разбойничье дѣло (будьте въ этомъ увѣрены), но всѣ знаютъ, чѣмъ оправдать свое положеніе... а вотъ зачѣмъ литераторъ-то (каждый думаетъ изъ нихъ) тоже мокаетъ свое рыло въ эти лужи награбленныхъ денегъ—это ужъ не хорошо. „Пишетъ одно, а дѣлаетъ другое". Вотъ почему нужно было бросить ихъ въ ту самую минуту, какъ только стала понятна вся подлецкая механика ихъ дѣла"...

Къ сожалѣнію, на этомъ я долженъ кончить выдержки изъ писемъ Успенскаго. Однако и то, что я счелъ возможнымъ и удобнымъ взять изъ нихъ, надѣюсь, хоть нѣсколько дополняетъ и поясняетъ фигуру этого оригинальнѣйшаго и симпатичнѣйшаго человѣка, какую мы знаемъ по его писаніямъ. Но знаемъ ли мы и писанія-то его, какъ они того заслуживаютъ? Г. Волжскій въ упомянутой въ началѣ настоящихъ замѣтокъ книгѣ „Два очерка объ Успенскомъ и Достоевскомъ" говоритъ: „Идейное наслѣдство Успенскаго не только не исчерпано, но и не оцѣнено еще. Правда, его крупное дарованіе пользуется въ нашей литературѣ всеобщимъ уваженіемъ, оно общепризнано, но при всемъ этомъ Успенскаго поразительно мало читаютъ и еще менѣе серьезно изучаютъ. Прямо можно сказать, что его гораздо больше уважаютъ, чѣмъ читаютъ и изучаютъ". Неблагодарная, легкомысленная, какъ трость колеблемая вѣтромъ, русская читающая публика и не подозрѣваетъ, какого высокаго наслажденія лишаетъ она себя, обходя сокровищницу сочиненій Глѣба Успенскаго. Я приводилъ уже однажды и приведу здѣсь еще разъ надпись старика Елисеева на сочиненіяхъ Успенскаго, подаренныхъ имъ одной родственницѣ при отъѣздѣ ея изъ Петербурга: „Не падай духомъ

въ постигшемъ тебя несчастіи, будь покойна и не переставай трудиться надъ своимъ самообразованіемъ для будущей дѣятельности, но такой дѣятельности, которая бы основывалась не на мечтахъ и иллюзіяхъ, а которая была бы приспособлена и пригодна для русской дѣйствительности. Для этого совѣтую тебѣ какъ можно чаще читать и даже изучать сочиненія Г. И. Успенскаго, единственнаго у насъ писателя, мысль котораго въ отношеніи Россіи отличается всегда искренностью, свѣжестью, правдивостью, богатствомъ содержанія и глубиною. Да, даже и глубиною, при всей видимой легкости его писаній. Но глубина можетъ даваться только тому, кто будетъ читать его не бѣгло, а пристально вдумываться въ читаемое, усердно ворочая при этомъ своими собственными мозгами".

Этотъ не предназначавшійся для печати отзывъ тѣмъ любопытнѣе, что трудно найти людей, менѣе сходныхъ по основнымъ свойствамъ ума и характера, чѣмъ спокойный Елисеевъ и вѣчно мятущійся Успенскій...

---

25 февраля скончалась издательница „Міра Божія" Александра Аркадьевна Давыдова. Это большая потеря для журнала, въ которомъ ея роль далеко не ограничивалась простымъ издательствомъ. Женщина рѣдкаго ума и энергіи, она создала этотъ журналъ съ его своеобразной программой, была его душой, и успѣхомъ своимъ „Міръ Божій" въ очень и очень значительной степени обязанъ ей, хотя она ничего не писала. На журнальное поприще ее толкнула простая случайность. Въ 1885 г. она познакомилась съ г-жей Евреиновой, затѣявшей тогда „Сѣверный Вѣстникъ". Самое это знакомство завязалось, если не ошибаюсь, совершенно случайно, — онѣ жили на одной лѣстницѣ. Г-жа Евреинова предложила Александрѣ Аркадьевнѣ мѣсто секретаря редакціи, и та приняла его, какъ я думаю, безъ серьезнаго отношенія къ дѣлу. Въ началѣ это было чисто дилетантское занятіе умной свѣтской дамы, у которой было много свободнаго времени и которой надоѣли пріемы, выѣзды, визиты. Я помню ее въ это время блистающею красотой, остроуміемъ, весельемъ... Но постепенно она такъ втянулась въ дѣло, что уже положительно не могла безъ него существовать, основала „Міръ Божій" и вся ушла въ него. Повторяю, она ничего не писала, но въ редакціонномъ дѣлѣ — въ чтеніи рукописей, выборѣ статей, въ сношеніяхъ съ сотрудниками—принимала живѣйшее и, если можно такъ

выразиться, центральное участіе, не отказываясь и отъ черной работы въ родѣ чтенія корректуръ. Во всемъ этомъ ей помогала старшая дочь, Лидія Карловна, по мужу Туганъ-Барановская, которую она цѣнила необычайно высоко и въ которой видѣла свою преемницу по журналу. Журналъ шелъ все лучше и лучше, и Александра Аркадьевна могла смѣло смотрѣть на будущее. Но въ прошломъ году Лидія Карловна умерла, и эта преждевременная смерть страстно любимой дочери сразу подкосила издательницу „Міра Божія". Съ небольшимъ черезъ годъ она послѣдовала за дочерью. На похоронахъ одинъ нашъ общій знакомый замѣтилъ: „вотъ когда можно безъ преувеличенія сказать: умерла отъ горя". Я не знаю хорошенько, какая болѣзнь прикончила Александру Аркадьевну,—это было что-то очень сложное, но несомнѣнно во всякомъ случаѣ, что горе расшатало ея сильный организмъ и подготовило почву для воспріятія болѣзни. Первое время послѣ смерти „Лидушечки", какъ она называла дочь, она просто мѣста себѣ не находила и говорила мнѣ даже, что хочетъ продать журналъ. Но острое горе постепенно расплывалось въ томительную, щемящую хроническую тоску, съ которой боролась природная энергія. Вотъ чрезвычайно характерное для ея тогдашняго состоянія письмо, полученное мною 5 декабря прошлаго года изъ Царскаго Села, гдѣ она временно поселилась, изрѣдка пріѣзжая въ Петербургъ:

„...Не хочется мнѣ, родной, видѣть народъ теперь, не хочется слышать разговоры, смѣхъ, хочется именно того, что въ данную минуту имѣю: тишину, одиночество. Мнѣ, въ моей „меблированной комнатѣ", гораздо лучше живется, чѣмъ я думала, переѣзжая въ нее. Я бѣжала изъ Петербурга потому, что мнѣ становилось невыносимо жить моею обычною жизнью. Какъ будетъ, когда я уѣду, буду одна, главное *буду одна*—я рѣшительно не знала. Знала только, что хуже на душѣ не будетъ, потому что мнѣ казалось, что хуже быть не можетъ... а кругомъ всѣ говорили, что черезъ три дня я сбѣгу изъ своей меблированной комнаты. И вотъ скоро мѣсяцъ, что я здѣсь, и вчера заявила своей хозяйкѣ, что оставляю комнату за собой до весны. Вернуться и зажить прежней жизнью — не могу, а тутъ жить могу. И хорошо у меня, голубчикъ. Есть время и на дѣло, *и для себя!* На дѣло—гораздо больше времени. День такой большой, и если кто зайдетъ, такъ *рада*, и опять сдѣлалась привѣтливой, не то что въ петербургскомъ омутѣ — когда кто придетъ не во время, такъ въ

душѣ досаду чувствуешь! А что „не во время“ чуть ли не всегда! Миленькое существованіе! А главное, дорогой, есть возможность немножко подумать вообще... Есть возможность почитать. Есть возможность не въ удрученномъ состояніи подумать о Лидушечкѣ. И знаете—я не чувствую даже, что одна; мнѣ кажется, что *здѣсь, когда я одна*—она точно со мной! Ахъ, какъ я хорошо сдѣлала, что уѣхала! Вы не повѣрите, до чего мнѣ лучше именно *одной* жить. *Какой* хочу быть — такой *и могу*! Никому собой глаза не мозолю. Плачу — и никто на меня съ сожалѣніемъ не смотритъ, никому не отравляю собой жизнь... Встаю въ 7 часовъ. Пью кофе и читаю, для себя, для души. Въ 10 часовъ иду гулять—одна, конечно. Паркъ зимой, это—красота. Вы вѣдь, небось, не бывали зимой въ лѣсу? Не знаете, что это за красота, за поэзія? Я никогда не была въ природѣ зимой, и не знаю, когда она прекраснѣе, величественнѣе, таинственнѣе, когда въ полномъ цвѣту, или теперь, вся покрытая снѣгомъ. Не знаю, не могу рѣшить. Въ паркѣ теперь такъ чудно, такъ удивительно красиво! Сажусь на скамеечку и—наслаждаюсь. Кругомъ тишина — но не мертвая тишина, нѣтъ... Это такія хорошія минуты, что, кажется, будь во мнѣ то, что называется талантомъ, то, что вотъ въ васъ, напримѣръ, есть—такъ, Боже, чего бы, кажется, ни написала. Думаю иногда — сидите вы въ Спасской и пишете о религіи... Посиди вы вотъ тутъ часокъ, другой, такъ и о религіи не то бы написали! Право! Нѣтъ, я отсюда не уѣду. Въ Петербургѣ жить не стану. Хоть послѣдніе-то годы жизни душу свою транжирить не стану! А сколько плановъ-то у меня здѣсь рождается! Вы думаете, что я только красотой наслаждаюсь, да о Лидушечкѣ думаю? О Лидушечкѣ думаю, постоянно думаю, съ нею живу, она со мною, всегда, постоянно. Но — думаю и о многомъ другомъ! И о хорошемъ думаю, и, если все будетъ, какъ теперь, такъ устрою чудную вещь! Небывалую у насъ! Да!.. Почитала то, другое, а потомъ и сама выдумала! И если удастся—такъ вотъ и еще дѣло, да какое дѣло-то: всю душу возьметъ. И *никто* не знаетъ что, и не скажу никому, пока не наладится, пока не буду увѣрена, что могу это устроить. И, живя не въ Петербургѣ, на все время хватитъ! Читаю я тутъ: Библію, Джаншіева, „Народное образованіе въ Англіи и Америкѣ“, иностранные журналы, рукописи, корректуры; вышиваю коверъ, вырѣзаю картинки.. Дѣла много! И—есть на все время. Въ январѣ

вы разочекъ пріѣзжайте ко мнѣ. Теперь—я и не зову. Этотъ мѣсяцъ хочется побыть одной".

Здѣсь вся Александра Аркадьевна послѣдняго времени — съ ея неутолимою тоскою по умершей дочери и съ ея энергіей, побуждающей къ созданію новыхъ и новыхъ плановъ. Со смерти дочери эти двѣ враждебныя силы боролись въ ней, но на подмогу къ тоскѣ пришла болѣзнь физическая...

Пожелаемъ „Міру Божію" въ лицѣ наслѣдниковъ Александры Аркадьевны и редактора журнала, В. П. Острогорскаго, возможно счастливо пережить тяжкую потерю.

- - -

В. П. Острогорскаго не слѣдуетъ смѣшивать съ редакторомъ журнала „Образованіе", А. Я. Острогорскимъ, о которомъ мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ.

Въ началѣ нынѣшняго или даже въ концѣ прошлаго года появилось въ газетахъ объявленіе, что въ февральской книжкѣ „Образованія" будетъ напечатанъ разсказъ или повѣсть Л. Н. Толстого „Сорокъ лѣтъ", и, дѣйствительно, февральская книжка „Образованія" вышла съ разсказомъ Л. Н. Толстого, въ сопровожденіи примѣчанія отъ редакціи, о которомъ сейчасъ скажу. По этому поводу г. Ясинскій напечаталъ въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ" слѣдующую замѣтку:

Лѣтомъ 1877 года въ Москвѣ, гдѣ въ то время я помогалъ, послѣ отъѣзда П. А. Кулиша, редактировать А. И. Гатцуку его „Газету", познакомился я съ Н. И. Костомаровымъ, жившимъ въ Лоскутной гостиницѣ, и вмѣстѣ съ художникомъ Л. Л. Бѣлянкинымъ часто бывалъ у историка по вечерамъ. Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ Н. И. Костомаровъ предложилъ для „Газеты" повѣсть „Сорокъ лѣтъ", которая была, разумѣется, охотно принята и съ согласія издателя оплачена, если не ошибаюсь, по разсчету 125 р. съ листа. Вскорѣ затѣмъ она была напечатана.

Левъ Толстой-отецъ приписалъ къ напечатанной повѣсти главу, кое-что измѣнивъ въ повѣсти, и въ такомъ видѣ передѣлка великаго писателя, или, вѣрнѣе, придѣлка,—появилась въ пензенскомъ сборникѣ „Памяти В. Г. Бѣлинскаго" въ 1899 году, т. е. три года тому назадъ.

Сводя вмѣстѣ повѣсть Костомарова (хорошо памятную мнѣ), появившуюся 25 лѣтъ тому назадъ, съ этой приписанной къ ней главой Льва Толстого-отца, появившуюся три года назадъ, почтенная редакція „Образованія", тихимъ манеромъ, ни слова не говоря о Костомаровѣ и о томъ, что приписанная къ повѣсти историка глава уже далеко тоже не новинка, стала объявлять о появленіи въ февральской книжкѣ новаго разсказа Льва Толстого

отца и этимъ, разумѣется, ввела многихъ въ заблужденіе, въ томъ числѣ и нашу газету, такъ какъ, повѣривъ почтенной редакціи, мы въ нашу лѣтопись важнѣйшихъ событій въ жизни Россіи занесли и этотъ литературный фактъ, съ указаніемъ на счастливый журналъ, въ который Левъ Толстой-отецъ отдалъ свое послѣднее произведеніе.

Заблужденіе невольное, быстро разсѣявшееся при выходѣ въ свѣтъ обѣщанной книжки. Спѣшимъ предупредить поэтому нашихъ читателей, что „Сорокъ лѣтъ" не есть разсказъ Льва Толстого-отца, а Костомарова, къ разсказу котораго маститый романистъ написалъ только небольшую главу, уже напечатанную три года назадъ въ пензенскомъ сборникѣ.

Г. Острогорскій возражалъ на это въ газетахъ такъ:

О принадлежности легенды „Сорокъ лѣтъ" Н. И. Костомарову и отношеніи къ ней гр. Л. Н. Толстого нами подробно объяснено на 1-й же страницѣ февральскаго нумера „Образованія". Но, кромѣ того, надо имѣть въ виду еще одно весьма существенное обстоятельство, а именно, что легенда „Сорокъ лѣтъ" напечатана нами съ рукописи, полученной вмѣстѣ съ собственноручнымъ письмомъ гр. Л. Н. Толстого. Въ томъ видѣ, въ какомъ помѣщена въ „Образованіи" легенда „Сорокъ лѣтъ", она появляется впервые, и въ этомъ весь смыслъ помѣщенія ея въ „Образованіи", такъ какъ послѣдняя глава, написанная гр. Толстымъ (напечатанная отдѣльно три года тому назадъ въ „Пензенскомъ сборникѣ", чего мы, къ сожалѣнію, не знали), получаетъ все значеніе только въ связи со всѣмъ разсказомъ Костомарова (сокращеннымъ Толстымъ, кстати сказать, почти на $^2/_3$), за послѣдніе двадцать пять лѣтъ нигдѣ не появлявшимся.

Дѣйствительно, въ редакціонномъ примѣчаніи къ разсказу „Сорокъ лѣтъ" объяснено, что онъ написанъ собственно Костомаровымъ, и редакція даже любезно предупреждаетъ, что приписку Толстого другія изданія перепечатывать могутъ, въ силу разъ навсегда даннаго Львомъ Николаевичемъ разрѣшенія, а большую часть разсказа перепечатывать не имѣютъ права безъ особаго соглашенія со вдовой Костомарова. Такимъ образомъ, пока что, разсказъ „Сорокъ лѣтъ" можно прочитать только въ „Образованіи". Можно думать, что ради сохраненія этой монополіи редакція и открыла, наконецъ, въ февральской книжкѣ свой секретъ, ибо до тѣхъ поръ во всѣхъ объявленіяхъ секретъ оставался секретомъ. Остается невыясненнымъ, что заключало въ себѣ то „собственноручцое письмо" гр. Л. Н. Толстого, при которомъ редакція „Образованія" получила рукопись. Это тѣмъ интереснѣе, что въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ" появилось письмо С. Л. Толстого, въ которомъ онъ, отъ имени отца, сообщаетъ, что авторъ раз-

сказа есть Костомаровъ, а Л. Н. только приписалъ къ нему главу. Однако, и послѣ этого редакція „Образованія“ печатала объявленія, въ которыхъ „тихимъ манеромъ, ни слова не говоря о Костомаровѣ“, доводила до свѣдѣнія читающей публики, что февральская книжка съ разсказомъ Л. Л. Толстого продается тамъ-то по 1 рублю. Такими пріемами можно, вѣроятно, собрать довольно много рублей, но едва-ли можно пріобрѣсти чье-нибудь уваженіе.

Называть старый, напечатанный уже разсказъ Костомарова, къ которому гр. Толстой приписалъ одну главу (одну изъ 14—и, 4 страницы изъ 43-хъ), также уже напечатанную, разсказомъ Толстого,—это такая недостойная спекуляція именемъ маститаго писателя, на которую, конечно, „собственноручное письмо“ послѣдняго не уполномочивало г. Острогорскаго.

Что же касается самого разсказа, то не удивительно, что гр. Толстой увлекся фабулой Костомарова: ее можно бы было резюмировать поговоркой, стоящей въ заглавія одного изъ учительныхъ разсказовъ Толстого: „Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ“. По, приписывая свои четыре странички къ сорока костомаровскимъ, Толстой естественно долженъ былъ вести изложеніе въ тонѣ и стилѣ Костомарова, то-есть спуститься до манеры второстепеннаго беллетриста, какимъ былъ покойный историкъ. Разсказъ сухъ и художественными красотами не блещетъ.

VIII *).

Еще матеріалы для біографіи Г. И. Успенскаго.

Слишкомъ десять лѣтъ тому назадъ Успенскій умеръ, какъ писатель и общественный дѣятель, и для него настала долгая, мучительная, полная страшныхъ видѣній духовная ночь, съ короткими промежутками просвѣтленія, въ своемъ родѣ не менѣе страшными и мучительными. Теперь навѣки закрылись эти прекрасные скорбные глаза. Не жалѣть бы объ этомъ надо, а радоваться,—человѣкъ упокоился, Но вѣдь именно „упокоился", а не успокоился; цѣною жизни куплено прекращеніе страданій. И какъ ни свыклись мы съ мыслью, что онъ конченный человѣкъ, его смерть не могла не ударить больно по сердцамъ знавшихъ его лично или даже только по его писаніямъ,—это вѣдь былъ „властитель думъ" своего времени, къ слову котораго прислушивались съ трепетнымъ вниманіемъ. Затянутые въ водоворотъ текущихъ дѣлъ, мы стали даже забывать или уже забыли этого давно конченнаго, хотя еще живого человѣка. Смерть воскрешаетъ его, и, можетъ быть, только теперь настало время полнаго подсчета того, что онъ намъ далъ и что мы въ немъ еще десять лѣтъ тому назадъ потеряли.

Какъ будто и начинается этотъ подсчетъ...

Успенскій отказался отъ публичнаго празднованія двадцатипятилѣтняго юбилея своей литературной дѣятельности на томъ основаніи, что слово „юбилей" риѳмуетъ съ непріятнымъ словомъ „мавзолей". Въ послѣднее время мы были очень богаты юбилеями, и если не мавзолеями, то похоронами. Въ этихъ торжественныхъ случаяхъ, искренно или лицемѣрно, умно или глупо, правдиво или лживо, говорятся похвальныя рѣчи; вспоминаются или выдумываются достой-

---

*) Апрѣль, 1902 г.

ныя хвалы черты жизни и дѣятельности покойника или юбиляра. Бываютъ, однако, исключенія. Относительно юбилеевъ исключеніе составляетъ г. Андреевскій, который всегда ухитряется сказать юбиляру какую-нибудь непріятность, а относительно похоронъ... Говорились рѣчи и на могилѣ Успенскаго. Я не слыхалъ ихъ. Какъ это ни страннымъ покажется кому-нибудь, я былъ къ нему такъ близокъ въ жизни, что мнѣ жутко было близко подойти къ той ямѣ, въ которую его свалила смерть. Я не слыхалъ, но мнѣ разсказывали. Одинъ ораторъ говорилъ, что покойникъ былъ грѣшникъ, и болѣзнь ему была послана свыше во искупленіе грѣховъ или въ наказаніе за нихъ... О! всѣ вѣдь мы грѣшники; полагаю, ораторъ, такъ смѣло распоряжающійся высшими велѣніями, не безъ грѣха тоже, и благо ему, если на его душѣ даже вдвое больше грѣховъ, чѣмъ на душѣ Успенскаго... Другой ораторъ сказалъ приблизительно слѣдующее: талантъ Успенскаго былъ не выше средняго, но его искренность и чуткость и т. д. Этотъ другой ораторъ былъ извѣстный библіографъ Д. П. Сильчевскій. Очень почтенный библіографъ, но ему не мѣшаетъ иногда вспомнить слова, сказанныя великимъ художникомъ хорошему сапожнику: ne sutor supra crepidam. Нѣсколько болѣе понимающій въ этихъ вещахъ, В. Г. Короленко въ краткой рѣчи, сказанной въ засѣданіи полтавскаго музыкально-драматическаго кружка, выразился такъ: „Въ могилу сошелъ крупный, — по моему мнѣнію, — великій талантъ“. Да, это былъ великій талантъ, и даже г. Сильчевскій понималъ бы это, если бы не несчастныя условія всей жизни Успенскаго, благодаря которымъ этотъ великій талантъ являлся въ истерзанномъ видѣ...

Въ газетахъ, столичныхъ и провинціальныхъ, появилось множество некрологовъ, статей, замѣтокъ, воспоминаній о покойномъ. Все это пока очень бѣгло и отрывочно, но, надо надѣяться, будетъ обработано, дополнено, приведено въ порядокъ. Только я совѣтовалъ бы тому, кто возьметъ на себя эту обработку, не очень довѣрять этому газетному матеріалу. Въ составѣ его есть вещи очень интересныя и цѣнныя, но есть и много вздора, даже до странности пошлаго и не соотвѣтствующаго ни простой фактической истинѣ, ни достоинству только что зарытаго въ землю писателя. Напримѣръ, въ одной газетѣ разсказанъ такой анекдотъ. Крамской написалъ портретъ Успенскаго. Выставку, на которой появился этотъ портретъ, посѣтилъ и Глѣбъ Ивановичъ. Здѣсь къ нему подошелъ какой-то водочный заводчикъ С. и, отрекомендовавшись большимъ почитате-

лемъ его произведеній, заявилъ, что онъ только что купилъ его портретъ. Когда Успенскій узналъ, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло, онъ спросилъ заводчика-мецената, гдѣ онъ въ свою очередь можетъ купить его портретъ, хотя бы фотографическій. Тотъ удивился: „что это вамъ вздумалось?“ — „Да я тоже большой почитатель вашихъ произведеній“, — отвѣчалъ Успенскій. Соль этого анекдота заключается въ намекѣ на злоупотребленіе покойнаго писателя спиртными напитками, о которомъ я уже говорилъ въ прошлый разъ. Но сочинитель анекдота, очевидно, не имѣетъ понятія о духовномъ обликѣ Успенскаго, если предполагаетъ возможнымъ для него такое пошлое остроуміе, да еще въ бесѣдѣ съ незнакомымъ человѣкомъ. При томъ же обстановка анекдота сплошной вздоръ: единственный портретъ Успенскаго, бывшій на выставкѣ, писанъ не Крамскимъ, а Ярошенкомъ, и не водочный заводчикъ С. купилъ его, а извѣстная харьковская дѣятельница по народному образованію Х. Д. Алчевская.

Но подобные анекдоты еще съ полъ-горя,—въ нихъ разобраться не трудно. Гораздо хуже проскальзывающія въ газетахъ нареканія на редакціи періодическихъ изданій, въ которыхъ работалъ Успенскій, на Литературный Фондъ, на друзей покойнаго, отчасти на семью, которые будто бы были, мягко выражаясь, недостаточно внимательны къ нему. Хуже эти нареканія въ двоякомъ отношеніи. Во-первыхъ, они затушевываютъ ту атмосферу глубокаго уваженія и искреннѣйшей любви, которую Успенскій умѣлъ, вовсе, впрочемъ, объ этомъ не думая, создавать около себя и какъ писатель, и какъ чѣловѣкъ (мы, его пріятели, часто шутили на тему о „глѣбъ-гвардіи“). Во-вторыхъ, не трудно провѣрить, былъ-ли когда-нибудь на выставкѣ портретъ Успенскаго работы Крамскаго и былъ-ли онъ купленъ водочнымъ заводчикомъ С.; но вовсе не такъ легко говорить о денежной или какой другой помощи знаменитому писателю. Я вынужденъ, однако, сказать объ этомъ нѣсколько словъ.

Я не знаю условій, на которыхъ Успенскій продалъ изданіе своихъ сочиненій И. М. Сибирякову и потомъ Ф. Ф. Павленкову (а также и прежнимъ издателямъ, Базунову и др.). Т. е. я, пожалуй, и знаю ихъ, много разъ слышалъ отъ него самого, но никогда не могъ уразумѣть. Вообще, мудрено было уразумѣть его финансовые планы. Не смотря на неустанную работу и хорошій гонораръ (въ „Отечественныхъ Запискахъ“ высшій, какой только платился журналомъ, равный гонорару Салтыкова), онъ, какъ я уже говорилъ въ прошлый разъ, всегда нуждался въ деньгахъ, нуждался всегда сей-

часъ, сію минуту, не думая о будущемъ. Этимъ, конечно, пользовались ловкіе люди, какъ ни старались оберечь его близкіе къ нему. Вотъ, напримѣръ, сохранившаяся въ его бумагахъ записка Некрасова:

„Глѣбъ Ивановичъ, по документамъ вашимъ я убѣдился, что ваши сочиненія могутъ быть выручены отъ Базунова; тоже думаетъ Унковскій. Мы уговорились съ нимъ пересмотрѣть еще вмѣстѣ эти документы, позвать Базунова, устыдить его и взять отъ него записку. Но вотъ въ чемъ дѣло: вы не такъ поняли ту роль, которую я могу взять на себя въ качествѣ издателя: я не желаю *покупать* у васъ ваши сочиненія, я думалъ издать ихъ на свой счетъ, выручить свои деньги и затѣмъ остальной доходъ предоставить автору. Если вамъ это неудобно и вы можете найти для себя условія, болѣе подходящія, то не стѣсняйтесь. Деньгами наличными я въ сіе время бѣденъ".

Очевидно, планъ практическаго, но доброжелательнаго Некрасова былъ выгоденъ для Успенскаго, но результатовъ этого плана пришлось бы ждать, а деньги нужны сію минуту; и Успенскій предпочелъ остаться въ тискахъ Базунова, можетъ быть, прибавившаго, благодаря настояніямъ Некрасова и Унковскаго, грошъ къ тѣмъ двумъ грошамъ, за которые онъ купилъ изданіе. Не таковы были, разумѣется, мотивы Сибирякова и Павленкова. Напротивъ, въ ихъ дѣйствіяхъ видна даже какая-то излишняя опека и заботливость о будущемъ Успенскаго и его семьи, но, повторяю, я никогда не могъ понять этихъ сдѣлокъ и объ издателяхъ сочиненій Успенскаго вообще не намѣренъ распространяться.

Что касается Литературнаго Фонда, то я могу лишь заявить, что онъ не разъ выручалъ Успенскаго въ трудную минуту, а во время его болѣзни высылалъ на его надобности въ больницы, гдѣ онъ содержался, извѣстную сумму ежемѣсячно. Правда, эта сумма была очень не велика, но она шла исключительно на нѣкоторыя мелкія личныя нужды покойнаго, на табакъ и т. п. Матеріальныхъ заботъ не онъ, главнымъ образомъ, требовалъ, а его семья (жена и пятеро малолѣтнихъ дѣтей), оставшаяся съ его болѣзнью безъ всякихъ средствъ. Честь поддержки этой семьи до того момента, когда дѣти станутъ на ноги, взялъ на себя кружокъ друзей. Съ этою цѣлью собранъ былъ изъ единовременныхъ и періодическихъ взносовъ особый „капиталъ семьи Успенскаго", хранившійся въ Литературномъ Фондѣ, но совершенно отъ него независимый, при помощи котораго

задача и была благополучно выполнена. Первоначально планъ поддержки былъ разсчитанъ на шесть лѣтъ, но приливъ данниковъ любви и уваженія къ Успенскому оказался достаточнымъ для расширенія задачи до восьми лѣтъ; и трогательно было видѣть въ спискѣ этихъ добровольныхъ данниковъ рядомъ съ тысячными вкладчиками—вкладчиковъ грошовыхъ.

Наконецъ, врачи. Успенскій былъ въ трехъ больницахъ: очень не долго у д-ра Фрея въ Петербургѣ, затѣмъ въ Новгородской Колмовской больницѣ, которою завѣдывалъ д-ръ Синани, и, наконецъ въ Новознаменской больницѣ, находившейся подъ управленіемъ д-ра Реформатскаго. Какъ относился къ Успенскому знавшій его еще до болѣзни Б. Н. Синани, мы отчасти увидимъ изъ дневника послѣдняго, предоставленнаго имъ въ мое пользованіе. А д-ръ Реформатскій, перешедшій изъ Новознаменской больницы на другое мѣсто не задолго до смерти Успенскаго, говорилъ мнѣ, что ему было особенно тяжело разставаться съ Глѣбомъ Ивановичемъ, хотя и трудно приходилось иногда съ нимъ. И я это понимаю. Тѣ злоязычные люди, которые въ свое время палецъ о палецъ не ударили, чтобы какъ-нибудь и чѣмъ-нибудь скрасить тяжкую жизнь Успенскаго, а теперь, когда онъ переселился въ невѣдомую страну, „иде же нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе“, и когда ему уже ничего не нужно, клевещутъ на близкихъ къ нему, — эти люди не имѣютъ понятія о томъ, какъ неотразимо обаятельна была личность покойнаго; какъ никто, приближавшійся къ нему, не могъ не испытывать на себѣ этого обаянія...

Когда я въ прошлый разъ писалъ объ Успенскомъ, я былъ далекъ отъ мысли, что какъ разъ ко дню выхода моей статьи въ мартовской книжкѣ „Русскаго Богатства“ онъ будетъ уже мертвъ. Не то, чтобы я этого боялся или ждалъ, просто не думалъ. Случайно скопились у меня три собранія его писемъ, и я ими воспользовался, чтобы напомнить читающей публикѣ о заживо-умершемъ писателѣ. Теперь въ моихъ рукахъ есть новые біографическіе матеріалы, но біографіи Успенскаго я всетаки не берусь написать, пусть они такъ и остаются матеріалами.

На первомъ мѣстѣ здѣсь стоитъ собственная автобіографическая записка, составленная имъ для Ф. Ф. Павленкова, послѣдняго издателя его сочиненій, желавшаго издать и его біографію. Отдѣльныя мѣста изъ этой записки не разъ цитировались, но цѣликомъ она не была до сихъ поръ напечатана. Вотъ она.

„Ф. Ф.! Вы хотите имѣть отъ меня біографическія свѣдѣнія обо мнѣ самомъ. Не разъ уже я получалъ предложенія отъ составителей разныхъ біографическихъ словарей, иногда даже съ приложеніемъ таблицъ, разграфленныхъ, какъ участковые листки: „Лѣта. Гдѣ родился. Званіе. Мѣсто ученія. Давно-ли почувствовалъ стремленіе“ и т. д. И при всемъ моемъ желаніи, я никогда не могъ удовлетворить желаній господъ составителей словарей. Не знаю, могу-ли исполнить и ваше желаніе, такъ какъ никакихъ мало-мальски опредѣленныхъ и кратко выраженныхъ подробностей моей нравственной жизни—никакимъ образомъ невозможно изложить въ краткой замѣткѣ; надобно перебрать все, что я написалъ, указать каждую страницу, объяснить, отчего она написана такъ, а не иначе—чтобы видѣть, какія условія жизни заставили меня и жить, и думать именно такъ, какъ я думалъ и какъ писалъ. Личныя подробности моей біографіи въ родѣ того, что родился я 14 ноября 1840 г. въ Тулѣ и тамъ учился въ гимназіи до 56 года, послѣ чего переѣхалъ и поступилъ въ Черниговскую гимназію, оттуда въ 61 году поступилъ въ с.-петербургскій университетъ, оттуда перешелъ въ московскій, гдѣ благополучно курса и не окончилъ,—такія подробности, съ присовокупленіемъ свѣдѣній о моей жизни въ семьѣ, въ семейной обстановкѣ, все это, разсказанное во всѣхъ подробностяхъ, рѣшительно не имѣетъ въ себѣ даже и зародыша того, изъ чего сложилась моя литературная жизнь. Вся моя личная жизнь, вся обстановка моей личной жизни, лѣтъ до 20-ти, обрекала меня на полное затменіе ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятій, неразвитость и вообще отдаляла отъ жизни бѣлаго свѣта на неизмѣримое разстояніе. Я помню, что я плакалъ безпрестанно, но не зналъ, отчего это происходитъ. Не помню, чтобы до 20 лѣтъ сердце у меня было когда-нибудь на мѣстѣ. Вотъ почему, когда „насталъ 61 годъ“, взять съ собою „въ дальнюю дорогу“ что-нибудь впередъ изъ *моего личнаго прошлаго* было рѣшительно невозможно—ровно ничего, ни капельки; напротивъ, для того, чтобы *жить* хоть какъ-нибудь, надобно было непремѣнно до послѣдней капли *забыть все* это прошлое, истребить въ себѣ всѣ внѣдренныя имъ качества. Нужно было еще перетерпѣть все то раззореніе невольной неправды, среди которой пришлось жить мнѣ годы дѣтскіе и юношескіе, надо было потратить годы на эти непрестанные похороны людей, среди которыхъ я выросъ, которые исчезали со свѣта безропотно, какъ погибающіе среди моря, зная, что никто не можетъ имъ помочь и спасти

что „не тѣ времена“. Самая безропотность погибавшихъ людей, явное сознаніе, что все, что въ нихъ есть и чѣмъ они жили—неправда и ложь, и безпомощность ихъ, уже одно это прямо убѣждало людей моего возраста и обстановки жизни, что изъ *прошлаго* нельзя и не надо, и не возможно оставить въ себѣ даже самомалѣйшаго воспоминанія; ничѣмъ изъ этого прошлаго нельзя было и думать руководиться въ томъ новомъ, которое „будетъ“, но которое рѣшительно еще неизвѣстно. Слѣдовательно, начало моей жизни началось только *послѣ забвенія моей собственной біографіи,* а затѣмъ и личная жизнь, и жизнь литературная стали созидаться во мнѣ одновременно *собственными средствами*; въ опустошенную отъ личной біографіи душу я пускалъ только то, что во всѣхъ смыслахъ противорѣчило неправдѣ; каждая „малость“, которая радовала душу, гдѣ бы я ее ни нашелъ—попадала теперь непремѣнно въ мою новую душевную родословную. Лицо, котораго я могъ не видѣть никогда, но обликъ и сущность котораго я чувствовалъ всѣмъ сердцемъ—мой родной, родственникъ, другъ. Что-бы ни случилось, я знаю, что „*онъ*“ есть, а стало-быть, не надо и робѣть. Личная душевная жизнь и неразрывная съ ней литературная работа поддерживались во мнѣ и подкрѣплялись долгіе годы безъ всякой личной или нравственной съ чьей-нибудь стороны поддержки, и такъ было до 68 года, когда я уже сталъ ощущать и нравственную поддержку добрыхъ и симпатичныхъ мнѣ людей. Но лѣтъ семь—съ 62-го по 68-ой—во мнѣ было упорное желаніе не ослабѣть въ неотразимомъ сознаніи, что у меня никакой прошлой біографіи нѣтъ... Одиночество въ этомъ отношеніи было полное. Съ крупными писателями я не имѣлъ никакихъ связей, а мои товарищи люди старше меня лѣтъ на десять—почти всѣ безъ исключенія погибали на моихъ глазахъ, такъ какъ пьянство было почти чѣмъ-то неизбѣжнымъ для тогдашняго талантливаго человѣка. Всѣ эти подверженные сивушной гибели люди были уже извѣстны въ литературѣ, и живи они въ наше время, когда можно на полной свободѣ „плѣнять своимъ искусствомъ свѣтъ“—они бы написали много изящныхъ произведеній; но захватила ихъ новая жизнь, такая, что завтрашній день не могъ быть даже и предвидѣнъ — и талантливые люди почувствовали, что имъ не угнаться за толпой, начинающей жизнь безъ всякихъ литературныхъ традицій, должны были чувствовать въ этой оживавшей толпѣ свое полное одиночество... Сколько ни проявляй искусства въ поэмѣ, романѣ — „*они*“ даже и не почувствуютъ... Спивавшихся съ кругу

талантливѣйшихъ людей было множество, начиная съ такой потрясающей въ этомъ отношеніи фигуры, какъ П. И. Якушкинъ. Въ такомъ видѣ въ пору было „опохмѣлиться", „очухаться", очувствоваться — и какая ужъ тутъ „литературная школа"! Похвальбы въ пьяномъ видѣ было много; посуловъ — еще больше, анекдотовъ — видимо невидимо, а такъ чтобы отъ всего этого повеселѣть—нѣтъ, этого не скажу. Даже малѣйшихъ опредѣленныхъ взглядовъ на общество, на народъ, на цѣли русской интеллигенціи ни у кого рѣшительно не было. Не мудрено, что ясно сознаваемое горе заливалось сивухой самыми талантливыми людьми.

„Созиданіе собственной своей новой духовной жизни привело меня къ мысли, что мнѣ нечего дѣлать среди этихъ талантливыхъ страдальцевъ. Положимъ, что я хлопочу около какого-нибудь дѣйствительно талантливаго человѣка, провожая его домой и усаживая „со шкандаломъ" на извозчикѣ, или обороняя отъ „грубаго дворника" и уговаривая не дѣлать мордобитія; но вѣдь это уже въ двадцатый разъ и можетъ надоѣсть, наконецъ... Положимъ, что вотъ и этотъ знакомый писатель тоже человѣкъ огромнаго дарованія; но что же мнѣ-то дѣлать, если я, придя къ нему поговорить, вижу, что онъ „не въ себѣ".

„— Слышишь, — спрашиваетъ талантливый другъ, — какъ меня такой-то редакторъ ругаетъ?

„Редакторъ, который ругаетъ, живетъ на Сергіевской; а тотъ, кто слышитъ его ругательства—въ Дмитровскомъ переулкѣ...

„— Ишь лаетъ! А небось, до сихъ поръ восьми рублей не отдаетъ... Ухъ, какъ зашумѣлъ!..

„Еще двѣ-три фразы, и вы видите, что человѣкъ въ бѣлой горячкѣ. Надобно идти къ доктору, тащить его въ больницу и лѣчить... А вылѣчится — жена не пускаетъ пріятелей къ мужу. Да и онъ боится ихъ, какъ огня, и самъ не идетъ никуда, боясь запить.

„Несомнѣнно, народъ этотъ былъ душевный, добрый и глубоко талантливый; но питейная драма, питейная болѣзнь, похмѣлье и вообще разслабленное состояніе, извѣстное подъ названіемъ „послѣ вчерашняго", занимало въ ихъ жизни слишкомъ большое мѣсто. Не было у нихъ читателя, они писали неизвѣстно для кого и хвалили только другъ друга... Одиночество талантливыхъ людей вело ихъ къ трактирному оживленію и шуму. Ко всему этому надобно прибавить, что въ годы 1863—1868 все въ журнальномъ мірѣ падало, разру-

шалось и валилось. „Современникъ“ сталъ тусклъ и упалъ во мнѣніи живыхъ людей, отводя по полъ-книги на безплодныя литературныя распри, а потомъ былъ и закрытъ. Закрыто и „Русское Слово“, и вообще мало-мальски видные дѣятели разбрелись, *исчезли*. Начали появляться какія-то темныя изданія съ темными издателями... Одинъ изъ нихъ, напримѣръ, когда пришли описывать его за долги, сталъ на глазахъ пристава ѣсть овесъ, прикинувшись помѣшаннымъ (Артоболевскій). Когда, наконецъ, въ 1868 г. основались новыя „Отечественныя Записки“, первые годы въ нихъ тоже было мало уюта... Все, что собралось, было значительно поломано нравственно и физически, пока, наконецъ, дѣло не стало на широкую дорогу. Пока оно складывалось, жить въ неустановившемся и неуютномъ обществѣ большей частью до послѣдней степени изломанныхъ писателей (съ новыми я едва встрѣчался еще), не было никакой возможности, и я уѣхалъ за границу. За границей я былъ два раза въ 1871 г., послѣ Коммуны, при чемъ видѣлъ избитый и прусскими, и коммунарскими бомбами и пулями городъ, видѣлъ, какъ приговариваютъ къ смерти сапожниковъ и башмачниковъ; въ другой разъ я прожилъ тамъ подрядъ два года, по временамъ только пріѣзжая въ Россію. Въ это время я былъ въ Лондонѣ. Я мало писалъ объ этомъ, но многому научился, много записалъ добраго въ мою душевную родословную книгу навсегда... Затѣмъ прямо изъ Парижа я поѣхалъ въ Сербію и въ Пештѣ встрѣтилъ *нашихъ*. И объ этомъ я *мало* писалъ, но много передумалъ и навѣки много опять-таки взялъ въ свою душевную родословную. Затѣмъ подлинная правда жизни повлекла меня къ *источнику*, т е. къ мужику. По несчастью, я попалъ въ такія мѣста, гдѣ *источника* видно не было... Деньга привалила въ эти мѣста, и я видѣлъ только, до чего можетъ дойти бездушный мужикъ при деньгахъ. Я здѣсь, въ теченіе $1^1/_2$ года, не зналъ ни дня, ни ночи покоя. Тогда меня ругали за то, что я не люблю народъ. Я писалъ о томъ, какая онъ свинья, потому что онъ дѣйствительно творилъ преподлѣйшія вещи. Но мнѣ нужно было знать *источникъ* всей этой хитроумной механики народной жизни, о которой я не могъ доискаться никакого простого слова и нигдѣ. И вотъ я изъ шумной, полупьяной, развратной деревни забрался въ лѣса Новгородской губерніи, въ усадьбу, гдѣ жила только одна крестьянская семья. На моихъ глазахъ дикое мѣсто стало оживать подъ сохой пахаря, и вотъ я тогда въ первый разъ въ жизни увидѣлъ дѣйстви-

тельно *одну подлинную важную черту въ основахъ жизни русскаго народа*—именно, власть земли.

„Такимъ образомъ, вся моя личная біографія, примѣрно до 1871 г., рѣшительно должна быть оставлена безъ всякаго вниманія; вся она была сплошнымъ затрудненіемъ „жить и думать“ и поглощала множество силъ и времени на ея окончательное забвеніе. Все же, что накоплено мною „собственными средствами“ въ опустошенную забвеніемъ прошлаго совѣсть, все это пересказано въ моихъ книгахъ, пересказано поспѣшно, какъ пришлось, но пересказано все, чѣмъ я *жилъ* лично. *Такимъ образомъ, вся моя новая біографія, послѣ забвенія старой, пересказана почти изо дня въ день въ моихъ книгахъ. Больше у меня ничего въ жизни личной не было и нѣтъ.* Много это или мало—судить не мнѣ“.

Отмѣтимъ, прежде всего, одно фактическое недоразумѣніе. Успенскій пишетъ, что онъ родился 14 ноября 1840 года; такъ значится и въ исторіи новѣйшей русской литературы А. М. Скабичевскаго, очевидно со словъ приведенной автобіографической записки, которая была ему извѣстна. Но въ іюньской книжкѣ „Русскаго Богатства“ 1894 г была напечатана статья близкаго родственника и товарища дѣтства Успенскаго, озаглавленная „Глѣбъ Ивановичъ Успенскій“ и подписанная псевдонимомъ „Дм. Васинъ“. Въ ней находимъ слѣдующую поправку: „Г И. Успенскій родился въ г. Тулѣ, 13 октября 1843 г. (а не 14 ноября 1840 г., какъ сказано въ „Исторіи новѣйшей литературы“ А. М. Скабичевскаго“). А въ упомянутомъ дневникѣ Б. Н. Синани подъ 5 іюля 1894 г., между прочимъ, записано: „Читалъ (Успенскій) „Русское Богатство“, которое выпросилъ у меня нѣсколько дней тому назадъ, узнавъ, что тамъ (въ 6-мъ номерѣ) есть о немъ біографическая замѣтка. До того онъ ничего не читалъ (Кстати: до сихъ поръ онъ продолжаетъ не писать ничего, даже своей семьѣ) *). Подали завтракъ, не отказался (NB. Относительно дня его рожденія, которое, по словамъ его двоюроднаго брата, автора замѣтки, не вѣрно показано у Скабичевскаго, Гл. Ив. далъ слѣдующее объясненіе. Родился онъ, дѣйствительно, не 14 ноября, а 13 октября. Скабичевскій введенъ въ ошибку тѣмъ,

*) Это относится, разумѣется, только къ данному моменту, къ серединѣ іюля 1894 г. Раньше (какъ и позже) онъ и читалъ, и писалъ письма.

Н. М.

что Гл. Ив. празднуетъ день своего рожденія 14 ноября. Сталъ онъ это дѣлать въ виду того, что 15 ноября день рожденія Михайловскаго. Онъ выбралъ для себя 14 ноября, чтобы праздновать его вмѣстѣ съ Михайловскимъ, чтобы празднество шло два дня подъ рядъ, какъ бы безъ перерыва, слитно. Годъ рожденія 1840, а не 1843)".

Исторія съ переносомъ самимъ Успенскимъ *дня* его рожденія совершенно вѣрна, но относительно *года* правъ, кажется, авторъ замѣтки, напечатанной въ „Русскомъ Богатствѣ": Глѣбъ Ивановичъ, вопреки его собственному показанію въ автобіографической запискѣ и въ разговорѣ съ Б. Н. Синани, родился, кажется, въ 1843, а не въ 1840 г. Это, впрочемъ, подробность, не имѣвшая въ глазахъ Успенскаго никакого значенія, какъ это видно и изъ автобіографической записки, и изъ самого факта свободнаго распоряженія днемъ рожденія. Да это и не важно вообще для біографіи, столь бѣдной внѣшними событіями и столь богатой внутреннимъ содержаніемъ. Къ сожалѣнію, и въ этомъ послѣднемъ отношеніи автобіографическая записка даетъ немного, да и то, что она даетъ, нѣсколько смутно Попробуемъ, однако, установить еще нѣкоторыя хронологическія данныя, хоть приблизительно.

Примѣрно до 20-ти лѣтъ, до поступленія въ 1861 г. въ университетъ, жизнь обрекала Успенскаго, „на полное затменіе ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятій", онъ „не помнитъ, чтобы до 20-ти лѣтъ сердце у него было когда-нибудь на мѣстѣ". Въ чемъ состоялъ ужасъ этого существованія,—не видно изъ автобіографической записки, и объясненія надо искать въ раннихъ произведеніяхъ Успенскаго. По свидѣтельству упомянутаго родственника его, г. Дм. Васина, многія отдѣльныя мѣста „Нравовъ Растеряевой улицы", „Раззоренья", „Новыхъ временъ, новыхъ заботъ" — представляютъ собою художественную переработку подлинныхъ фактовъ семейной хроники. Общій выводъ, къ которому приходитъ г. Васинъ, таковъ: „Со стороны отца Гл. И—ча являются люди науки, и, напротивъ, родныя матери были поклонниками искусства. Эти наука и искусство послужили какъ бы элементами для возсозданія такого писателя, который, на самомъ дѣлѣ, представляетъ изъ себя и художника, и глубокаго мыслителя" („Русское Богатство" 1894, іюнь, стр. 59). Для самого Успенскаго, какъ мы сейчасъ увидимъ, его генеалогія освѣщалась нѣсколько иначе, да и въ замѣткѣ г. Васина проскальзываетъ много мрачнаго, не имѣющаго ничего общаго ни

съ наукой (ограничивавшейся, впрочемъ, семинаріей и, самое большое, духовной академіей), ни съ искусствомъ. Сопоставляя автобіографическую записку Успенскаго съ отдѣльными мѣстами „Нравовъ Растеряевой улицы“ и проч., имѣющими характеръ художественной обработки подлинныхъ фактовъ, мы можемъ видѣть, въ чемъ состоялъ тотъ ужасъ существованія въ дѣтствѣ и ранней молодости нашего писателя, о которомъ онъ самъ говоритъ. Среда, въ которой росъ нервный, впечатлительный мальчикъ, въ которой онъ „плакалъ безпрестанно“, въ которой онъ „не помнитъ“, чтобы сердце у него когда-нибудь было на мѣстѣ“, была типичною средою дореформеннаго канцелярско-семинарскаго быта. Когда такъ называемые шестидесятые годы пошатнули устои этого быта, и Успенскій поступилъ, какъ разъ въ годъ освобожденія крестьянъ, въ университетъ, его первою задачею стало, какъ онъ выражается, „забвеніе своей собственной біографіи“. Увы! это ему не вполнѣ удалось даже до конца жизни... Когда въ 1889 г. покончилъ самоубійствомъ его двоюродный братъ, очень талантливый, но нравственно заживо погибшій Н. В. Успенскій, Глѣбъ Ивановичъ писалъ мнѣ: „Сегодня я положительно не могъ сомкнуть глазъ всю ночь подъ вліяніемъ самыхъ мрачныхъ воспоминаній о Николаѣ Успенскомъ. Сейчасъ (10 часовъ) меня одолѣваетъ сонъ, и если я засну и просплю панихиду,—вы на меня не сердитесь. Писать я ничего о немъ не буду. Это значило бы вспомнить всю подлость прошлаго, которое я всячески боялся вспоминать. Зачѣмъ это теперь возобновлять? Я и такъ едва живъ“.

Надо, однако, замѣтить, что Николай Успенскій напоминалъ ему не только ужасы дѣтства и ранней гимназической молодости. Въ томъ новомъ періодѣ его жизни, который начался со вступленія въ университетъ, тоже не все радость была. Первое время онъ пробавлялся корректурной и мелкой, болѣе или менѣе литературной работой, и только разставшись съ университетомъ, отдался литературѣ вполнѣ. Къ этому времени и относятся его воспоминанія о пьяныхъ талантахъ, среди которыхъ онъ былъ одинокъ и безпомощенъ. Изъ этихъ погибшихъ талантовъ онъ поминаетъ одного Якушкина. Но самымъ близкимъ къ нему человѣкомъ былъ, уже просто по родственнымъ отношеніямъ, Николай Успенскій. Я познакомился съ Глѣбомъ Ивановичемъ въ 1868 г, когда, съ переходомъ „Отечественныхъ Записокъ“ въ руки Некрасова, начался третій періодъ его жизни, и не помню, чтобы встрѣчался у него съ Николаемъ

Успенскимъ. Но онъ не разъ прямо съ дрожью говорилъ мнѣ о своей былой близости съ этимъ утопленнымъ въ водкѣ талантомъ. Впослѣдствіи, оглядываясь на 1862 — 1868 годы, Успенскій далъ чудныя страницы, характеризующія это время, какъ время „болѣзни совѣсти". Старые устои разваливались и разваливались, „гармонія свиного элемента" дала множество трещинъ, и совѣсть настойчиво заговорила о неправой жизни, и этотъ настойчивый голосъ больно отзывался въ душахъ. Не всѣ и не съ разу находили путь жизни, сколько-нибудь удовлетворяющій требованіямъ разбуженной совѣсти, не всѣ даже понимали, что творится въ ихъ головахъ и сердцахъ; въ числѣ ихъ были и пьянствующіе таланты, съ которыми судьба свела Успенскаго, — съ верхами литературы и общественной жизни, гдѣ процессъ обновленія происходилъ сознательно, онъ былъ мало знакомъ. Да и въ обновленныхъ въ 1868 г. „Отечественныхъ Запискахъ" для него „первые годы тоже было мало уюта"...

Возвращаюсь къ „генеалогіи" Глѣба Ивановича, какъ она освѣщалась для него самого. Приведу выписку изъ вышеупомянутаго дневника Б. Н. Синани. 22 сентября 1892 г., на другой же день послѣ поступленія Успенскаго въ Колмовскую больницу, въ дневникѣ записано:

... „утромъ, сейчасъ послѣ завтрака, онъ самымъ простымъ и толковымъ образомъ по собственной иниціативѣ сообщилъ мнѣ о своемъ происхожденіи. Отецъ его изъ духовнаго званія, мать изъ рода Соколовыхъ. Семья отца обилуетъ сумасшедшими. Одинъ братъ отца былъ архимандритомъ и умеръ сумасшедшимъ. Другой братъ отца кончилъ жизнь самоубійствомъ. Вообще съ отцовской стороны много ненормальностей (и, повидимому, больному несимпатичнаго). Со стороны матери родные все народъ даровитый: одинъ былъ живописцемъ, другой музыкантомъ, многіе писателями и сотрудничали въ „Современникѣ". Повидимому, симпатіи его лежатъ всецѣло на сторонѣ материнской линіи.

„Теперь перейду къ разговору вечернему. Изложить его слова въ томъ порядкѣ и въ томъ безсвязномъ видѣ, какъ онъ ихъ говорилъ, я не могу. Я позволю себѣ систематизировать ихъ. Нужно еще отмѣтить то обстоятельство, что его нужно считать личностью совершенно отличною отъ людей нашего типа, привыкшихъ думать мыслями. Онъ производитъ впечатлѣніе такого человѣка, который только и можетъ мыслить (если можно такъ выразиться) образами. Эта особенность развита у него въ такой степени, что для насъ она

можетъ казаться почти непонятною и въ нормальномъ его состояніи. Тѣмъ болѣе она кажется таковою въ теперешнемъ его состояніи. Итакъ, его языкъ образовъ я долженъ буду излагать языкомъ понятій.

„Съ самаго его заболѣванія и до сихъ поръ въ его сознаніи идетъ борьба между двумя началами: началомъ справедливости и началомъ, не ясно выражаемымъ, но противоположнымъ первому. Ему кажется, что его *я* раздвоенное, состоящее изъ двухъ личностей, борющихся другъ съ другомъ. Первая личность есть *Глѣбъ* (Успенскій), вторая личность есть Глѣбъ *Ивановичъ* Успенскій, и даже проще и выразительнѣе *Ивановичъ* (NB. Отецъ матери назывался Глѣбомъ, Ивановичъ отъ Ивана, значитъ, отца его). Какъ ни борется Глѣбъ, но ему очень трудно не только уничтожить, убить Ивановича, но даже устоять противъ власти его. Со времени его болѣзни борьба между ними идетъ ожесточенная. Случалось, что Глѣбъ, какъ будто, отвоевывалъ свое существованіе, пріобрѣталъ свою половину, но это оставалось не долго. Ивановичъ снова вторгался въ его область, пренебрегая всякими уговорами, всякими условными компромиссами, часто разрушалъ ихъ и заполонялъ Глѣба. При полномъ его торжествѣ больной не только казался себѣ, но и въ дѣйствительности являлся въ самыхъ несимпатичныхъ, безобразныхъ, отвратительныхъ видахъ, до буквальнаго образа свиньи включительно съ ея и черепомъ, и мордою, и хребтомъ, и ребрами, и даже перестановкою верхнихъ конечностей снаружи внутрь. Такъ какъ превращеніе въ свинью является наиболѣе крайнею формою выраженія побѣды Ивановича, то я объ этомъ и буду говорить главнымъ образомъ. Повидимому, всякій разъ, какъ настроеніе его ухудшалось и соотвѣтственно съ этимъ въ сознаніи его начинали преобладать представленія мрачнаго характера, въ его самознаніи и самоопредѣленіи все болѣе и болѣе преобладала личность Ивановича. Однажды ночью онъ, наконецъ, отрекся отъ самого себя, отъ Глѣба въ пользу Ивановича. Какъ только онъ подписалъ это отреченіе „отъ самого себя въ свою же пользу“, съ нимъ началось превращеніе въ отрицательномъ направленіи. Утромъ слѣдующаго дня онъ ощущалъ, какъ хребетъ его и ребра стали твердые, крѣпкіе, окостенѣвшіе (оскотинился?) и т. д. Какъ онъ ни боролся, но руки его такъ и тянулись къ тому, чтобы сростись съ грудью и направиться впередъ. Онъ употреблялъ неимовѣрныя усилія вернуть ихъ въ нормальное положеніе, хоть сколько-нибудь перетянуть ихъ назадъ, но

когда это ему не удавалось, онъ тогда-то, повидимому, и совершалъ свои насилія надъ самимъ собою: старался разбить себѣ голову, перерѣзывалъ себя пополамъ вдоль всего тѣла, перерѣзывалъ себѣ горло, огнемъ жегъ себя, чувствовалъ, какъ онъ горитъ. Иногда ему казалось, что онъ въ большей или меньшей степени достигаетъ цѣли, что если не внутри, то хотя снаружи слѣзаетъ съ него его отрицательное я. Бывали случаи, когда сквозь мракъ заполняющей и заполнившей его отрицательной его личности пробивался свѣтлый лучъ въ образѣ то дѣйствительныхъ лицъ, какъ Короленко, Вольфсонъ *), то фантастическихъ образовъ, какъ ангелъ, какъ монахиня Маргарита. Бывало, они отстоятъ Глѣба, но потомъ опять все это рухнетъ, и Ивановичъ вступаетъ въ полное владѣніе. Торжество Ивановича не ограничивалось однимъ отрицательнымъ превращеніемъ его личности въ смыслѣ его самооцѣнки, самопониманія, самоопредѣленія. Онъ совершалъ чудовищныя преступленія. Онъ, напримѣръ, убилъ своихъ дѣтей, свою семью, перетравилъ ихъ всѣхъ до единаго стрихниномъ. Больной прибавляетъ, что потомъ каждый разъ удивлялся, какимъ образомъ онъ все еще оказывается въ живыхъ. При этомъ припоминаетъ случай, какъ онъ у Фрея, при мнѣ (кажется, 1 іюля) отнесся къ своему сыну, явившемуся къ нему на свиданіе для опроверженія его бреда о томъ, что вся его семья отравлена стрихниномъ. Онъ помнитъ, какъ онъ встрѣтилъ его угрюмо и съ неудовольствіемъ по поводу того, что онъ живъ. Вообще замѣчательно, что въ памяти его сохранились всѣ, даже малѣйшія впечатлѣнія изъ внѣшняго міра, дошедшія тогда до его сознанія. Мало этого, онъ довольно хорошо помнитъ свое поведеніе и даже слова во время самыхъ острыхъ періодовъ своей болѣзни. Не совсѣмъ ясно припоминаетъ онъ только детали бредовъ, отличавшихся крайнею сложностью и быстрою смѣною представленій, хотя въ то время представленія эти отличались такой яркой образностью, что при его разсказѣ они кажутся похожими на сложныя галлюцинаціи, т. е. образы эти имъ объективировались во внѣ его. Повидимому, каждое представленіе у него имѣетъ склонность сопровождаться галлюцинаціями (или псевдогаллюцинаціями) тѣхъ органовъ чувствъ, которыя играютъ роль въ образованіи этихъ представленій. Этимъ должно, я думаю, объяснить одновременное существованіе въ его бредахъ галлюцинацій и зрѣнія, и слуха, и чувствительности, и общаго

*) Женщина-врачъ, очень уважаемая Успенскимъ.

чувства. Онъ воочію видитъ какую-нибудь личность, слышитъ ея слова и въ то же время получаетъ и ощущенія осязательныя и мышечныя, какъ напримѣръ, въ слѣдующемъ случаѣ: стоитъ передъ нимъ кто-то (кажется, монахиня Маргарита), приказываетъ ему вытянуть руки ладонями вверхъ и дать ихъ оплевать. Больной и видитъ, и чувствуетъ, какъ ладони его сплошь покрыты толстымъ слоемъ плевковъ. Ему приказываютъ поднести руки къ лицу и обмазать его этой гадостью. Онъ это исполняетъ. Подобными путями ему случалось на время воскресить въ себѣ Глѣба или совѣсть, но не надолго. Вскорѣ опять вступалъ въ свои права Ивановичъ".

Позже, когда бредъ Глѣба Ивановича принялъ мистическій характеръ, у д-ра Синани находимъ такую запись:

„Бредъ его относительно людей, если его осмыслить, можно изложить слѣдующимъ образомъ. Когда говорятъ Глѣбъ Ивановичъ Успенскій, Александра Васильевна Успенская, Александръ Глѣбовичъ Успенскій и т. п., то эти лица являются самыми ординарными субъектами, лицами, ничего незначущими, ничего почти нестоющими, обладающими всевозможными несовершенствами. Назвавши ихъ обычными ихъ именами, отчествами и фамиліями, ихъ лишаютъ всякихъ высшихъ духовныхъ качествъ. Если же ихъ называть только именами, то они освобождаются отъ всякихъ качествъ, присущихъ отдѣльнымъ индивидуумамъ, свойственнымъ обыкновеннымъ человѣческимъ существамъ; тогда они являются носителями высокихъ духовныхъ качествъ, характеризующихъ тѣхъ святыхъ, которые носятъ эти имена, и не только одного какого-нибудь святого, но и всѣхъ вообще великихъ людей подъ тѣми же именами".

Къ мистическому бреду Успенскаго мы еще вернемся. Теперь для насъ важно подчеркнуть его отдѣленіе личнаго имени отъ отчества и его отрицательное отношеніе къ послѣднему, доходившее до упорной борьбы между свѣтлымъ Глѣбомъ и представителемъ мрака и зла—Ивановичемъ. Читатель видитъ, что весь ужасъ „генеалогіи" или первыхъ главъ біографіи Успенскаго, отъ котораго у него до 20 лѣтъ „сердце было не на мѣстѣ" и который онъ старался съ корнемъ вырвать изъ своей памяти, всплылъ таки въ немъ въ мучительныхъ формахъ бреда. Но я думаю, что и раньше онъ былъ мученикомъ больной совѣсти, принявшей въ бреду форму борьбы Глѣба съ Ивановичемъ, лично ему принадлежащаго духовнаго начала и полученнаго по наслѣдству. Какъ ни фантастична мысль Успенскаго, но въ ней есть зерно истины. Критико-біографическій

пріемъ, обращающій писателя въ какую-то безплотную математическую точку—центръ перекрещивающихся вліяній наслѣдственности и среды, выкуриваетъ изъ него весь личный ароматъ, все, чѣмъ онъ отличается отъ людей, находящихся подъ тѣми же вліяніями и что онъ часто сознательно враждебно противопоставляетъ этимъ вліяніямъ. Можно, пожалуй, возразить, что условія среды и особенно наслѣдственности лишь въ очень рѣдкихъ, даже исключительныхъ случаяхъ тождественны для разныхъ людей. Уже одна разница въ возрастѣ родителей старшихъ и младшихъ дѣтей создаетъ различныя условія зачатія и утробной жизни, а, слѣдовательно, и различную наслѣдственность. Но мы никогда не будемъ въ состояніи проникнуть въ эти таинственные узлы сложныхъ комбинацій и свести къ нимъ индивидуальныя особенности даннаго лица. Какъ бы ни углублялся нашъ анализъ вліяній наслѣдственности и среды, всегда останется нѣчто такое, что мы должны признать личной красотой или безобразіемъ, личной заслугой или грѣхомъ человѣка. Памятуя освѣщеніе, данное самимъ Успенскимъ своей „генеалогіи", надо признать, что по наслѣдству онъ получилъ, вмѣстѣ съ художественнымъ талантомъ, зачатки психической неуравновѣшенности и „свиного элемента", какъ выражается дьяконъ въ разсказѣ „Неизлѣчимый"; лично же ему, Глѣбу, принадлежитъ борьба съ этимъ свинымъ элементомъ и страстная жажда душевнаго равновѣсія, гармоніи, какъ въ себѣ самомъ, такъ и въ окружающей жизни... Въ этихъ страстныхъ поискахъ равновѣсія и въ этой борьбѣ—будемъ говорить съ „Ивановичемъ"—заключается вся біографія Успенскаго, начиная съ дѣтскаго или ранняго юношескаго возраста, когда онъ „безпрестанно плакалъ, не зная, отчего это происходитъ", продолжая всею его литературною дѣятельностью и кончая тяжелымъ временемъ помраченія сознанія.

Чтобы оцѣнить, во что обходилась Успенскому эта его внутренняя жизнь, надо принять въ соображеніе его „обнаженные нервы", — я не знаю никого, къ кому это, изобрѣтенное кѣмъ-то изъ нашихъ ломающихся декадентовъ выраженіе такъ подходило бы. Одно изъ самыхъ раннихъ его писемъ къ женѣ (1868 г.) содержитъ въ себѣ, въ перемежку съ разными ласковыми словами, такія сообщенія и восклицанія: „Вдругъ сію минуту (11 часовъ ночи) хлынулъ страшный дождь, до ужаса страшный, просто ужасъ, ужасъ. Я боюсь тушить свѣчу... Молнія! Смерть моя, и громъ. Ужасъ. Ей Богу, я умру!" Онъ боялся собакъ, лошадей, крутыхъ спусковъ съ

горъ, во время купанья кричалъ, входя въ воду, и т. п. Обобщить все это простымъ словомъ „трусость", однако, нельзя. Во-первыхъ, онъ боялся не только за себя. Ѣздить съ нимъ на извозчикѣ бывало иногда истиннымъ мученьемъ, пополамъ со смѣхомъ. Опасности чудились ему постоянно, и не только для себя, но и для другихъ: ѣдущій впереди сѣдокъ, пересѣкающій конку въ добрыхъ трехъ саженяхъ отъ нея, приводилъ его въ волненіе: сейчасъ попадетъ подъ конку! Затѣмъ, въ немъ проявлялись иногда черты, которыя уже никакъ не мирятся съ трусостью Одинъ нашъ общій пріятель, А. И. Иванчинъ-Писаревъ, разсказывалъ мнѣ, какъ однажды въ Парижѣ, на его глазахъ и отчасти изъ-за него, разгнѣванный грубостью полицейскаго сержанта, Глѣбъ Ивановичъ схватилъ его за шиворотъ и уже замахнулся палкой; исторія кончилась благополучно, благодаря вмѣшательству стоявшихъ поблизости французовъ, узнавшихъ, что сержантъ имѣетъ дѣло съ иностранцами. Обыкновенно деликатный и кроткій („зачѣмъ я буду будить въ человѣкѣ свинью?" — говорилъ онъ въ объясненіе своей, даже чрезмѣрной деликатности),—онъ иногда способенъ былъ на рѣзкія вспышки, въ которыхъ потомъ всегда каялся. Однажды онъ буквально выгналъ отъ себя нѣкоего г. Z, въ которомъ свинья проснулась уже слишкомъ явственно. Черезъ нѣсколько дней послѣ этого онъ писалъ мнѣ: „Кажется, я окончательно скоро исчезну съ лица земли. Цѣлые дни не могу встать съ постели. Оттого и къ вамъ не иду. Z прислалъ мнѣ письмо, но я его не читалъ. Я такъ боленъ, что боюсь, если онъ меня огорчитъ, — совсѣмъ не буду въ состояніи работать". Рѣшившись, наконецъ, распечатать письмо, онъ остался доволенъ его содержаніемъ, и дѣло кончилось миромъ. Вообще въ примѣненіи къ нему мудрено говорить о трусости или смѣлости. Все дѣло было въ обнаженныхъ нервахъ, которые разно, въ ту или другую сторону, но всегда сильно реагировали на впечатлѣнія.

И вотъ представьте себѣ такого человѣка, переживающимъ бредъ избіенія всей семьи и всѣхъ друзей или собственнаго превращенія въ свинью. А между тѣмъ, всѣ эти ужасы, и еще большіе, представляли собою только фантастически комбинированныя и преувеличенныя волненія, переживаемыя Успенскимъ и въ здоровомъ состояніи. Въ корнѣ Глѣбъ Ивановичъ оставался и больнымъ все тѣмъ же Глѣбомъ Ивановичемъ, какимъ мы его знали здоровымъ,—все такъ же возвышенно настроеннымъ, все такъ же занятымъ борьбою со зломъ и мракомъ, которая теперь только вся обратилась внутрь его

собственной души, наконецъ, даже все такъ же талантливымъ, потому что нѣкоторыя изъ его безумныхъ фантазій поражаютъ своею оригинальной красотой.

Въ прошлый разъ я приводилъ отрывокъ изъ его письма къ г-жѣ N, въ которомъ онъ кается, что былъ у нея „въ пьяномъ видѣ". Но что же онъ дурнаго или унизительнаго сдѣлалъ въ этомъ пьяномъ видѣ? Ничего подобнаго. Изъ того же письма видно, что онъ „прорицалъ о литературѣ и о дамахъ, которыхъ надо удержать въ предѣлахъ серьезнаго интереса". Такъ и больной онъ устремлялъ свое вниманіе исключительно на высокія темы. Дневникъ д-ра Синани переполненъ медицинскими подробностями, между которыми есть и физически нечистоплотныя, и въ другихъ отношеніяхъ неудобоназываемыя. И, не смотря на это, читая дневникъ, вы все время находитесь въ нѣкоторой возвышенной сферѣ, обволакивающей, проникающей собою и преобразующей грязныя подробности, — онѣ растворяются въ ея чистотѣ.

Читатель обратилъ, можетъ быть, вниманіе на поминающуюся въ дневникѣ монахиню Маргариту, которая помогала несчастному въ борьбѣ съ „Ивановичемъ". Эта монахиня Маргарита играла вообще большую роль въ его бредовыхъ идеяхъ. Въ дневникъ занесена, между прочимъ, слѣдующая его запись: „Выходъ. Всѣ колокола (сегодня воскресенье) прозвонили мнѣ: Во время оно Глѣбъ Ивановичъ Успенскій былъ вознесенъ на небеса во вселенную и былъ онъ здѣсь въ образѣ монахини Маргариты въ братскомъ союзѣ съ инокомъ рабомъ Божіимъ Глѣбомъ. Вселенная въ небесахъ я видѣлъ (дальше не разборчиво). А теперь онъ сидитъ за столомъ совсѣмъ"... На этомъ запись обрывается. Объ этой монахинѣ Маргаритѣ онъ и мнѣ много разъ разсказывалъ, очень картинно описывая ея появленіе. Она посѣщала его еще въ больницѣ д-ра Фрея, принося съ собой утѣшеніе и ободреніе. Никакой монахини Маргариты онъ, кажется, не зналъ, по крайней мѣрѣ, я раньше никогда не слыхалъ отъ него этого имени. Это было чистѣйшее созданіе его больной фантазіи. Не смотря на живописное изображеніе ея появленія, наружности ея я такъ и не знаю; знаю только, что въ ней были собраны и какъ-то спаяны всѣ лучшія стороны всѣхъ лучшихъ извѣстныхъ ему женщинъ, при чемъ онъ перечислялъ ихъ поименно.

Надо замѣтить, что въ здоровомъ состояніи Успенскій былъ совершенно равнодушенъ къ религіознымъ вопросамъ. Не то, чтобы

онъ не вѣрилъ въ бытіе божіе или въ истинность христіанскихъ догматовъ, или сомнѣвался въ нихъ, — просто онъ не останавливался на этихъ предметахъ. Нѣкоторыхъ св. русскихъ угодниковъ онъ высоко чтилъ за то, что они „зоологическую правду" народной жизни старались поднять до высоты христіанской морали. Особенно ему нравилась народная легенда о св. Николаѣ Чудотворцѣ и св. Касьянѣ: первый явился къ Богу въ грязной и изорванной одеждѣ, потому что проводилъ время въ трудѣ, и за это Богъ предоставилъ ему много праздниковъ въ году; Касьянъ же предсталъ въ новомъ и блестящемъ нарядѣ, и за это ему данъ только одинъ праздникъ въ четыре года. Все это не имѣло никакого отношенія къ религіознымъ догматамъ и обрядамъ. Но въ больницѣ (въ Колмовской уже) его охватило мистически религіозное настроеніе, а затѣмъ онъ сталъ исполнять и церковные обряды. Дѣло началось на почвѣ все той же внутренней борьбы съ „Ивановичемъ".

Но здѣсь намъ нужно сдѣлать довольно большое отступленіе.

Временами Глѣбу Ивановичу становилось лучше. Въ дневникѣ д-ра Синани встрѣчается, напримѣръ, такая запись: „Продолжаетъ писать. Читаетъ, повидимому, очень толково. Отзывы о писателяхъ и т. п. отличаются обстоятельностью, увѣренностью, знаніемъ дѣла. Вообще производитъ впечатлѣніе крайне отрадное. Что то будетъ? Неужели Глѣбъ Ивановичъ поразитъ насъ и поправится настолько, что будетъ даже писать по прежнему? Я боюсь даже мечтать объ этомъ". Но, очевидно, докторъ мечталъ, и оптимистическій взглядъ, хотя и очень рѣдко, подсказывался не только объективными данными, а и любовнымъ отношеніемъ врача къ больному. Какъ-бы то ни было, но больному становилось временами настолько лучше, что онъ ѣздилъ, съ провожатыми, конечно, въ Новгородъ, посѣщалъ тамъ знакомыхъ, бывалъ на земскихъ собраніяхъ, отпускался къ себѣ въ Чудово, откуда дѣлалъ довольно большія экскурсіи, ѣздилъ и въ Петербургъ. Въ большинствѣ случаевъ дальнія поѣздки оканчивались худо. Вотъ нѣсколько записей д-ра Синани:

„*24/IV* (1893). Глѣбъ Ивановичъ сегодня отправился пѣшкомъ въ Чудово въ сопровожденіи Степанова.

„*29/IV*. Вернулся со мной обратно.

„*5/V*. Выписался въ Чудово. Сопровождаетъ его Степановъ.

„*9/VI*. Сегодня пришлось привести его обратно въ Колмово. Жизнь въ семьѣ оказалась для него крайне неблагопріятною. Съ первыхъ же дней совмѣстной жизни съ женою онъ разочаровался

въ одномъ изъ сильно занимавшихъ его желаній... Подъ вліяніемъ отчаянія онъ 11 мая сильно размозжилъ себѣ мягкія части темени камнемъ. Когда я пріѣхалъ къ нему, онъ сожалѣлъ, что онъ такъ поступилъ, объяснилъ свой поступокъ кратковременнымъ сумасшествіемъ и при этомъ, какъ-бы въ объясненіе мотивовъ, приведшихъ его въ это состояніе, проговорилъ слѣдующую фразу: „что-же? Писатель я не писатель, отецъ я не отецъ—семью мою содержатъ другіе, а не я, мужъ я не мужъ; никому я не нуженъ, а только въ тягость". Чѣмъ дальше, тѣмъ больше было поводовъ для разочарованій. Появились угрюмость, молчаливость, неудовлетворенность, досада на себя и на окружающихъ, раздражительность. Появились дерганье себя за бороду, бормотанье про себя фразъ вродѣ слѣдующихъ: „3000 въ годъ", „Сашечка пріѣдетъ", „пошелъ вонъ" и т. п., шушуканье, выдыханіе вродѣ свиста, встряхиваніе головой и т. п. насильственныя движенія, царапанье раны. Наконецъ, сталъ себѣ наносить сильные удары по головѣ, по вискамъ, стремленіе размозжить себѣ голову палкою. Нѣсколько дней тому назадъ еще можно было слышать такія фразы въ его бормотаньи: „Сашечка пріѣдетъ", „надо жить", рядомъ со словами: „пошелъ вонъ". Раздражительность дошла до того, что онъ сталъ покрикивать на окружающихъ, гнать вонъ жену и дѣтей. Аффекты гнѣва все усиливались, билъ себя, угрожалъ убить себя, убить наиболѣе близкихъ ему членовъ семьи, разъ они чѣмъ-нибудь ему противорѣчили. Сонъ сталъ плохъ, все требовалъ Sulfonal'а, который, однако, мало ему помогалъ. То и дѣло угощалъ себя пощечинами. Уже онъ не слушался и меня. При мнѣ сдѣлалъ страшную сцену своей семьѣ, гналъ жену вонъ за то, что она вызвала меня, нагналъ ужасъ на домашнихъ; когда я объявилъ ему, что я его возьму обратно въ Колмово, то онъ закричалъ и на меня и, наконецъ, сталъ гнать вонъ и меня, угрожая убить и меня, и дѣтей, и себя. Само собою разумѣется, что себѣ онъ наносилъ при этомъ отчаянныя пощечины. Состояніе его дома можно характеризовать въ краткихъ словахъ такимъ образомъ: сознаніе ясное, бредовыхъ идей незамѣтно, насильственныя представленія, насильственныя дѣйствія, крайняя раздражительность, наклонность къ аффектамъ гнѣва, переходящимъ сейчасъ же въ нѣжность, ласку, самообвиненіе, но на очень короткое время; стремленіе къ самоувѣченію, самобичеванію, недовольство собою, не исключающее досады на другихъ, не исключающее протеста противъ другихъ за неисполненіе его желаній, угрозы имъ

и даже готовность оскорбить ихъ не только словами, но и дѣйствіемъ. Замѣчательная память!"

Однако, въ эту же іюньскую поѣздку, а именно послѣ прогулки изъ Чудова въ Грузино, у него былъ моментъ необыкновеннаго блаженства, который онъ потомъ часто вспоминалъ. Б. Н. Синани записываетъ:

„Воскресаютъ воспоминанія преимущественно тѣхъ сценъ, которыя доставляли ему чувство блаженства, восторга, напр. Маргарита, но особенно состояніе того вечера послѣ Грузина. Вернулся онъ тогда изъ Грузина съ мрачными мыслями. Но вотъ ночью онъ сталъ испытывать удивительное явленіе превращенія во всемъ тѣлѣ. По всему тѣлу стало разливаться, начиная съ ногъ, какъ электрическій токъ, что-то хорошее, теплое. Онъ весь преобразился, онъ чувствовалъ себя счастливымъ, онъ воскресъ, онъ чувствовалъ себя такъ, какъ никогда за всѣ свои 50 лѣтъ. Онъ былъ совершенно чистъ, безъ пятнышка, совсѣмъ святой. Онъ долженъ былъ сохранить это состояніе навсегда, *навѣки*. Онъ долженъ былъ встать и пойти къ женѣ, но онъ этого почему-то не сдѣлалъ. Продолжалъ лежать, и вотъ онъ сталъ чувствовать, какъ у него то тамъ, то здѣсь потрескиваетъ черепъ, настроеніе ухудшается, въ голову забираются мрачныя мысли. Трещалъ, трещалъ черепъ и дотрещался до того, что слѣдующее утро онъ сталъ разбивать его. Онъ не долженъ былъ этого дѣлать, не долженъ былъ предаваться отчаянію по случаю прохожденія того удивительнаго состоянія. Онъ ошибочно думалъ, что это состояніе исчезло совсѣмъ. Оно не исчезло. Оно осталось въ немъ. Доказательство хоть то, что онъ вспоминаетъ и воспоминаніе вызываетъ въ немъ теперь то же состояніе. Онъ вѣритъ, что будетъ испытывать это состояніе все чаще и больше, и что въ концѣ концовъ онъ въ немъ укрѣпится, и онъ окажется окончательно и навсегда *воскресшимъ* и какъ человѣкъ, и какъ писатель. И будетъ онъ *чистымъ, святымъ*, будетъ писать".

Кромѣ постояннаго, упорнаго сосредоченія мысли на необходимости и обязанности „окончательно воскреснуть", Глѣбъ Ивановичъ употреблялъ и нѣкоторые механическіе пріемы для достиженія этой цѣли. Между прочимъ, за время болѣзни у него развилась странная привычка постоянно что-то шептать про себя. Д-ру Синани онъ однажды объяснилъ, что при этомъ онъ „ведетъ борьбу съ тьмою, не совсѣмъ еще исчезнувшею изъ его головы". „Въ тѣ моменты, когда онъ кажется окружающимъ страннымъ, онъ ведетъ борьбу,

онъ содѣйствуетъ упроченію своего воскресенія, счастія. Когда другимъ кажется, что онъ свиститъ, дуетъ и т. п., онъ дѣлаетъ свое дѣло въ пользу искорененія дурного, мрачнаго, темнаго (точно опредѣлить не можетъ) тѣмъ, что шепчетъ: „честью и совѣстью". А когда онъ вскидываетъ голову, онъ какъ бы отмахивается отъ мрачнаго и шепчетъ: „счастіе". Теперь онъ убѣжденъ, что хорошее въ немъ не погибло, что оно восторжествуетъ окончательно. „Добросовѣстность,—говоритъ,—никогда не исчезала у меня окончательно". Будетъ такъ, что въ немъ останутся только честь, совѣсть, любовь, счастіе и т. п., и онъ будетъ писать. Повидимому, онъ какъ бы то и дѣло производитъ надъ собою эксперименты самовнушенія". Однако, иногда онъ прибѣгалъ и къ болѣе грубымъ средствамъ: колотилъ себя по головѣ съ цѣлью выбить оттуда дурныя мысли...

А затѣмъ его бредовыя идеи окрасились мистическимъ цвѣтомъ. Вотъ одно изъ его писемъ къ женѣ: „Увѣряю тебя, дорогая моя, горячая любовь къ Богу съ каждой минутой охватываетъ меня все больше и больше. Величайшее счастье жить на бѣломъ свѣтѣ, свѣтлое далекое будущее обрадуетъ всѣхъ, кто меня любитъ, кто возлагаетъ на меня большія надежды. А я люблю всѣхъ и воскресаю въ любви ко всѣмъ страждущимъ и обремененнымъ". И т. д. Д-ру Синани онъ говорилъ въ это время, что „воскресъ въ любви къ Богу. Бога,—читаемъ далѣе въ дневникѣ,—понимаетъ въ пантеистическомъ смыслѣ и примѣшиваетъ къ нему любовь и безконечность, не то какъ аттрибуты, не то какъ синонимы. Выходитъ поэтическое, довольно стройное міросозерцаніе, мало похожее на величавый слабоумный бредъ паралитика. Говоря о безконечности, о мірахъ и т. п., прибавляетъ, что все это у него въ головѣ, въ головѣ его вселенная со звѣздами и т. п.". Еще далѣе онъ сталъ „ангеломъ Господнимъ всемогущимъ", стали ангелами и святыми всѣ близкіе къ нему, и, даже пылая негодованіемъ на Б. Н. Синани, онъ писалъ ему въ такой формѣ: „Ангелу Господню Борису. Позвольте просить васъ написать мнѣ, какая власть руководитъ вами надо мной, всемогущимъ ангеломъ-хранителемъ,—по власти Господа Бога или по вашему своеволію? Ангелъ Господень Глѣбъ".

Надо, однако, имѣть въ виду слѣдующую оговорку дневника: „Слова геній, ангелъ, даже Богъ и т. п. эпитеты, приписываемые имъ себѣ и близкимъ ему лицамъ, вовсе не должны быть понимаемы, какъ грубый бредъ вообще, и какъ бредъ величія въ частности. Сегодня, между прочимъ, онъ употребилъ слово Богъ въ примѣненіи

къ крестьянину, при чемъ, по обыкновенію, не могъ обойтись безъ того, чтобы не назвать крестьянина по фамиліи (Углановъ). Общій смыслъ его фантазій слѣдующій: люди сотворены такъ, что въ нихъ заложены всѣ основанія къ всестороннему совершенствованію, къ высокому развитію ихъ духовныхъ (умственныхъ, нравственныхъ и эстетическихъ) способностей до такой степени, что они могутъ подняться до степени ангеловъ и даже выше. Когда люди свободны отъ вліянія насилія, порока, земного, они способны быстро развиваться духовно, подниматься все выше и выше къ небесамъ, все больше и больше уподобляться высшимъ небеснымъ существамъ, принимать (духовно) все высшіе и высшіе размѣры. Въ то же время организація ихъ (духовная) становится все сложнѣе, утонченнѣе, нѣжнѣе, чувствительнѣе. Для того, чтобы удержаться на достигнутой высотѣ, необходимо, чтобы ничѣмъ не нарушалась полнѣйшая гармонія въ ихъ организаціи, необходимо, чтобы ихъ нисколько не касалось вліяніе земного, порочнаго, насильственнаго. Чуть ихъ коснулось что нибудь низменное, они сразу начинаютъ быстро терять свои небесныя качества и принимаютъ грубыя формы и размѣры земныхъ существъ, обыкновенныхъ людей. Называя тѣ или другія лица, приписывая имъ тѣ или другіе эпитеты, онъ, какъ видно, имѣетъ въ виду не конкретное ихъ состояніе въ данную минуту, а ихъ потенціальную способность".

Въ этой мистически расцвѣченной фантазіи нетрудно усмотрѣть тотъ идеалъ, который манилъ къ себѣ Глѣба Ивановича и въ здравомъ состояніи, приближеніе къ которому онъ видѣлъ въ укладѣ мужицкой жизни, въ Венерѣ Милосской, въ „дѣвушкѣ почти монашескаго типа" и осуществленія котораго въ самомъ себѣ онъ такъ страстно желалъ. Оно наступило, наконецъ, это осуществленіе, но уже въ безумной фантазіи. Да и то фантазія эта не разъ разбивалась о страшныя видѣнія, въ которыхъ всѣ близкіе являлись или злодѣями, разбойниками, развратниками, преступниками или жертвами злодѣйствъ и преступленій; и самъ онъ оказывался злодѣемъ, разбойникомъ (подъ нѣкоторыми записками онъ такъ и подписывался: „Разбойникъ"), который убилъ или погубилъ, ограбилъ и т. п. всю свою семью, „зарѣзалъ свой умъ, свою душу"...

Но да идутъ мимо насъ эти ужасы, доводившіе страдальца до послѣднихъ предѣловъ отчаянія. Мнѣ хочется вспомнить, въ заключеніе, Успенскаго счастливымъ, — насколько можетъ быть счастливъ несчастный, то есть въ красивой, поднимающей больной духъ фантазіи.

Это было въ одинъ изъ его пріѣздовъ изъ Колмова въ Петербургъ. Онъ заѣзжалъ ко мнѣ почти каждый день, а кромѣ того, я въ этотъ же пріѣздъ видѣлъ его дважды въ большихъ собраніяхъ, гдѣ онъ непремѣнно хотѣлъ быть, не смотря на убѣжденія не ѣздить,—на одномъ студенческомъ вечерѣ въ дворянскомъ собраніи и на большомъ обѣдѣ въ ресторанѣ (боюсь ошибиться, но, помнится, это былъ юбилей А. М. Скабичевскаго). На вечерѣ молодежь, давно не видавшая своего любимца или даже только по писаніямъ знавшая его, окружила его густой стѣной. Всегда застѣнчивый, тутъ онъ былъ особенно смущенъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ пріятно взволнованъ, взволнованъ такъ сильно, что его пришлось скоро увести. На обѣдѣ или, точнѣе, послѣ обѣда, когда встали изъ за стола и разбились по кучкамъ, волненіе его достигло высшей степени, сначала онъ что-то шепталъ, а потомъ сталъ громко и возбужденно говорить о томъ, что всѣ присутствующіе—ангелы; и опять пришлось увести его. Ко мнѣ онъ пріѣзжалъ обыкновенно вечеромъ и долго разсказывалъ о томъ, что съ нимъ происходитъ и что еще будетъ происходить. Говорилъ, напримѣръ, что видитъ на потолкѣ или сквозь потолокъ звѣзды, и когда я спрашивалъ,—отчего же я то ихъ не вижу, да и никто, кромѣ него, не видитъ, онъ отвѣчалъ: „мнѣ это дано".—„Почему же, Глѣбъ Ивановичъ, вамъ дано, а мнѣ не дано, и такому-то, и такому-то не дано?"—„Потому что я много пережилъ, чего никто не переживалъ, вѣдь вы знаете, я сумасшедшимъ былъ". И затѣмъ шелъ художественный разсказъ о монахинѣ Маргаритѣ, которая являлась къ нему съ утѣшеніемъ и поддержкой. Иногда разговоръ начинался съ какой-нибудь текущей житейской темы, или съ воспоминанія о комъ-нибудь или о чемъ-нибудь, но быстро переходилъ къ тѣмъ же звѣздамъ, видимымъ сквозь потолокъ, иди къ другимъ предметамъ, которые ему „дано" видѣть или ощущать. Такъ онъ много разъ возвращался къ своей способности летать. Онъ утверждалъ, что ему „дано" дышать не такъ, какъ дышемъ всѣ мы, легкими: онъ дышетъ всѣмъ тѣломъ, у него и ноги наполнены воздухомъ, и ему ничего не стоитъ подняться за облака и „быстро-быстро" долетѣть до любой звѣзды. На выраженіе сомнѣнія, онъ отвѣчалъ все тѣмъ же: „мнѣ дано", и дано именно за пережитыя имъ страданія. Свою способность летать онъ намѣренъ былъ пустить въ ходъ на благо всего человѣчества и, говоря объ этомъ, онъ рисовалъ грандіозную картину: когда настанетъ время, онъ видимо для всѣхъ поднимется на воздухъ и

облетитъ вокругъ земного шара, и этотъ подвигъ такъ поразитъ людей, что всѣ насильники и злодѣи устыдятся, а всѣ униженные и оскорбленные воспрянутъ духомъ, и на землѣ наступитъ царствіе Божіе... Въ промежуткахъ разговора онъ что-то шепталъ, но я не могъ разобрать ни одного слова. Прощаясь, онъ всегда обѣщалъ скоро опять пріѣхать, потому что ему еще много надо мнѣ разсказать, но разсказывалъ опять то же самое съ легкими варьяціями. У него я избѣгалъ бывать, чтобы не попасть какъ-нибудь не вовремя, а когда случалось, то слышалъ тѣ же рѣчи или, напримѣръ, такія: возьметъ, бывало, на руки своего младшаго сына и предлагаетъ мнѣ убѣдиться, что въ немъ нѣтъ вѣса, потому что онъ— ангелъ... Ничто земное, низменное для него не существовало, онъ былъ весь въ высшихъ слояхъ духовной атмосферы и былъ счастливъ—не надолго...

IX *).

О г. Розановѣ, его великихъ открытіяхъ, его маханальности и философической порнографіи.—Нѣсколько словъ о г. Мережковскомъ и Л. Толстомъ.

Поле россійской словесности становится все обширнѣе и необозримѣе. То и дѣло появляются на немъ огромныя, чрезвычайныя силы, появляются, расцвѣтаютъ, приносятъ плоды, а вы иной разъ только случайно и post factum узнаете о великомъ событіи. Такъ именно случилось недавно со мной.

Совершенно случайно попался мнѣ на глаза одинъ изъ выпусковъ „Сочиненій Сергѣя Шарапова", изданный еще въ прошломъ 1901 г. и озаглавленный „Сугробы", а въ этихъ „Сугробахъ" остановила на себѣ мое вниманіе статья „Жмеринскіе львы и буйствующій В. В. Розановъ. Походъ противъ него протоіерея Дернова и генерала Кирѣева". Остроуміе г. Шарапова, его сравненіе г. Розанова съ львами, убѣжавшими на станціи Жмеринкѣ изъ какого-то бродячаго цирка—нисколько не занимательно. Не занимательно для меня было и двойственное отношеніе г. Шарапова къ г. Розанову. Я и раньше зналъ, что авторъ „Сугробовъ" признаетъ за г. Розановымъ „власть надъ умами и сердцами", „сильную и яркую мысль" и проч. и въ то же время разрѣшаетъ себѣ подвергать его „тѣлесному наказанію безъ поврежденія мягкихъ частей" и одобряетъ, когда другіе его „отшлепываютъ, приподнявъ полу халата" (подлинныя выраженія г. Шарапова). Но въ „Сугробахъ" говорится о „новой концепціи христіанства", представленной г. Розановымъ, и то, что сообщается объ этой „новой концепціи", меня чрезвычайно заинтересовало. Но какъ познакомиться съ нею не черезъ посредство г. Шарапова а изъ первыхъ рукъ? Г. Шараповъ пишетъ:

---

*) Августъ 1902 г.

„Этотъ строй мыслей нашелъ свое выраженіе въ многочисленныхъ статьяхъ Розанова, разбросанныхъ въ журналахъ и газетахъ самаго разнообразнаго направленія, начиная отъ „Новаго Времени“, „Биржевыхъ“ и „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ и кончая „Гражданиномъ“ и самыми незамѣтными провинціальными изданіями. Печаталъ розановскія статьи и я въ „Русскомъ Трудѣ“ – каюсь“. Какъ же, спрашивается, поймать концепсію г. Розанова? Мнѣ указали на книгу этого писателя „Въ мірѣ неяснаго и не рѣшеннаго“, въ которой, дескать, содержится если не все, о чемъ писалъ г. Шараповъ въ „Сугробахъ“, то самое существенное. Слѣдуя этому указанію, я и узналъ о великихъ явленіяхъ въ области русской литературы, которыя приняли въ моихъ глазахъ уже по истинѣ гигантскіе размѣры, когда я познакомился съ огромнымъ томомъ г. Мережковскаго „Религія Л. Толстого и Достоевскаго“.

Книга „Въ мірѣ неяснаго и не рѣшеннаго“ содержитъ въ себѣ не только статьи самого г. Розанова, предварительно напечатанныя въ разныхъ изданіяхъ, но еще рядъ „полемическихъ матеріаловъ“, рядъ статей и писемъ разныхъ авторовъ, возражающихъ г. Розанову или выражающихъ ему свое сочувствіе и поддерживающихъ его мнѣнія. Г. Розановъ присоединяетъ въ свою очередь къ этимъ „полемическимъ матеріаламъ“ свои примѣчанія, а иногда выходитъ и еще многоэтажнѣе, такъ какъ г. Розановъ дѣлаетъ примѣчанія къ примѣчаніямъ г. Шарапова, въ журналѣ котораго печатались и нѣкоторыя собственныя статьи г. Розанова, и нѣкоторые изъ полемическихъ матеріаловъ. Нельзя сказать, чтобы эта архитектура книги была очень красива и удобна. Кромѣ того, въ книгѣ и много лишняго, то есть не имѣющаго ни малѣйшаго отношенія къ обсуждаемымъ въ книгѣ вопросамъ. Мы узнаемъ, напримѣръ, что „младшая изъ трехъ дочерей“ одного изъ корреспондентовъ г. Розанова, П. А. Кускова, по имени Марѳа, „замужъ выходитъ за одного изъ здѣшнихъ помѣщиковъ“, а самъ П. А. Кусковъ „на Іоническихъ островахъ не былъ, попалъ изъ Одессы въ Ниццу“; что у другого корреспондента, В. К. Петерсена, „утонула молодая племянница и умеръ старшій племянникъ, чудный мальчикъ христіанскаго воспитанія и образа мыслей“, и т. п. Всѣ эти домашнія радости и горести, можетъ быть, и очень интересны и важны сами по себѣ, но едва-ли нужны для уразумѣнія „новой концепціи христіанства“. Г. Розановъ и самъ понимаетъ, что эти подробности лежатъ „внѣ темы“, но, говоритъ, такая ужъ у меня „знойная привязанность не къ одному

дѣлу, а и къ поэзіи вкругъ дѣла", „ибо вѣдь эти племянники и племянницы въ несчастіи—они люди, и намъ слѣдуетъ, хоть и не зная ихъ, сказать: „со святыми упокой". Доброе дѣло, конечно, только я не знаю, почему г. Розановъ не приглашаетъ насъ за одно пожелать счастливаго супружества младшей изъ трехъ дочерей П. А. Кускова Марѳѣ и поскорбѣть о томъ, что самъ П. А. Кусковъ не попалъ на Іоническіе острова. Но какъ обогатилась бы русская литература, если бы всѣ мы, писатели, обладали знойною привязанностью г. Розанова къ бездѣлью и доводили до свѣдѣнія читающей публики о бракосочетаніяхъ, смертяхъ, болѣзняхъ, путешествіяхъ и проч своихъ добрыхъ знакомыхъ и ихъ родственниковъ!

Впрочемъ, благодаря знойной потребности г. Розанова, мы подчасъ получаемъ свѣдѣнія уже несомнѣнно огромной важности.

У г. Розанова есть „усердный поклонникъ и почитатель", какъ онъ самъ подписывается въ письмахъ, протоіерей А. У—скій. Завязавъ съ г. Розановымъ переписку, онъ пожелалъ, между прочимъ, узнать его общественное положеніе и, узнавъ, пишетъ: „Такъ вотъ вы гдѣ? чиновникомъ состоите? А я полагалъ, что вы служите по учебному вѣдомству. Ну, что же? Дѣло доброе. Нынѣ чиновничій міръ далъ много писателей съ пророческимъ направленіемъ... Къ этой плеядѣ пророковъ принадлежите и вы. Да, нынѣ вѣкъ пророковъ. Недаромъ В. С. Соловьевъ такъ любитъ употреблять это слово. Вѣроятно, будущій историкъ нашихъ дней начнетъ свое сказаніе о нихъ такими словами: „Въ то время, когда пастыри душъ человѣческихъ превратились въ пастырей однихъ только кармановъ человѣческихъ, для управленія человѣческими душами сталъ Господь воздвигать пророковъ".

Это уже не бракосочетаніе младшей изъ трехъ дочерей г. Кускова и не неудавшаяся поѣздка на Іоническіе острова. Это нѣчто поразительное, какъ по своему значенію, такъ и по своей неожиданности—я увѣренъ—для огромнаго большинства читателей. Въ самомъ дѣлѣ, мы такъ привыкли жаловаться на всяческую современную скудость, мы даже успѣли надоѣсть другъ другу хныканьемъ на эту тему, а оказывается, что нашъ вѣкъ есть вѣкъ пророковъ! Мы привыкли соединять съ эпитетомъ „чиновническій" по малой мѣрѣ непохвальный смыслъ. „Чиновническое отношеніе къ дѣлу" значитъ на нашемъ обиходномъ языкѣ отношеніе формальное, бездушное. Оказывается, что изъ этой именно среды воздвигаются пророки!.. И вотъ одинъ изъ нихъ г. Розановъ, тотъ самый г. Ро-

зановъ, котораго г. Шараповъ отшлепываетъ, приподнявъ полу халата... Пусть послѣ этого повторяютъ, что никто въ своей землѣ пророкомъ не бывалъ!

Естественно, что корреспонденты г. Розанова приносятъ ему „искреннюю и глубокую признательность за многіе часы истиннаго удовольствія и наслажденія", испытанные ими при чтеніи его произведеній; что письма его они „хранятъ, какъ драгоцѣнность", и обращаются къ нему съ такими восторженными восклицаніями: „Ну, что за прелесть! Что за роскошь! Такъ и расцѣловалъ бы васъ за эту статью! Вѣдь вы открываете своего рода Америку". Или: „два вашихъ фельетона—безсмертны и неумирающи". Въ виду знойной потребности г. Розанова, неудивительно, пожалуй, и то, что онъ самъ же и предаетъ гласности всѣ эти восторги. Но достойно вниманія, что „прелесть", „роскошь", новыя Америки и т. п. имѣются въ произведеніяхъ не только самого г. Розанова, а и многихъ его корреспондентовъ и авторовъ „полемическихъ матеріаловъ". Вотъ, напримѣръ, нѣкоторыя изъ примѣчаній г. Розанова къ статьѣ г. Колышко „Бракъ, какъ религія и жизнь": „Вотъ не только богатое, но богатѣйшее выраженіе, *слово,* которое стоитъ *дѣла*". „Раздѣленіемъ этимъ г. Колышко дѣлаетъ новый шагъ въ проблемѣ брака".— „Вотъ прекрасная мысль, прямо сказанная!"—„Все это мѣсто замѣчательно и *ново по тону,* какъ я не умѣлъ сказать".—„Вотъ прелестная мысль!"—„Могу сказать только: браво!"—„Вотъ геніальная мысль, необыкновенно много объясняющая въ исторіи европейской семьи!" — „Все это очень важно". — „Конечно, конечно! Это необыкновенно важное замѣчаніе". — „Все это — святыя истины". — „Все это мѣсто и ниже строки—глубоко".—„Вѣрная и поразительная картина павшей семьи".—„Замѣчательно цѣнная мысль".—Или вотъ еще отмѣтки, которыми г. Розановъ сопровождаетъ одно изъ писемъ г. У—скаго: „Прекрасно, глубокомысленнно. И я всегда думалъ.. "—„Глубина изъ глубинъ".—„Все это мѣсто удивительно. Такъ и я всегда думалъ".

Итакъ, читатель, передъ нами богатѣйшая розсыпь новыхъ Америкъ, прекрасныхъ, прелестныхъ, геніальныхъ мыслей, необыкновенно важныхъ, увлекательныхъ, глубокомысленныхъ замѣчаній, вѣрныхъ и поразительныхъ картинъ... И скажите по совѣсти, — знали ли вы о существованіи этой Голконды? Я—откровенно каюсь — не зналъ. Мало того: я всегда вѣрилъ, что „можетъ собственныхъ Платоновъ и быстрыхъ разумомъ Невтоновъ россійская земля рождать", но

чтобы эти Платоны и Невтоны были такъ близко, совсѣмъ рядомъ, стоитъ только перешагнуть „Сугробы“ г. Шарапова,—это мнѣ и въ голову не приходило. Кто же могъ, въ самомъ дѣлѣ, думать, что въ „Новомъ Времени“, „Гражданинѣ“, „Русскомъ Трудѣ“, въ которыхъ мы привыкли встрѣчать что угодно, только не прекрасныя и геніальныя мысли, онѣ разсыпаны цѣлыми горстями, и даже до „глубины глубинъ“?! Теперь все это болѣе или менѣе собрано въ книгѣ „Въ мірѣ неяснаго и не рѣшеннаго“, къ которой мы съ подобающимъ благоговѣніемъ и приступимъ. Но прежде надо сдѣлать маленькую оговорку. Всѣ эти взаимные комплименты г. Розанова и его корреспондентовъ, которые знойная потребность нашего автора непремѣнно должна доводить до всеобщаго свѣдѣнія, какъ будто нѣсколько напоминаютъ сказаніе о кукушкѣ, которая хвалитъ пѣтуха за то, что хвалитъ онъ кукушку. Оно и похоже на то. Но надо отдать справедливость г. Розанову: онъ печатаетъ и перепечатываетъ не одни комплименты и хвалы себѣ. Такъ, онъ сообщаетъ, напримѣръ, слѣдующее „письмо-строку“, полученное имъ на другой день послѣ напечатанія одной изъ его статей: „В. В. Подъ гнетомъ духа любодѣянія написаны ваши послѣднія статьи. М. С-въ“. И къ этому письму-строкѣ г. Шараповъ приписываетъ такое примѣчаніе: „Вѣрно, вѣрно, истинная правда! Я очень досадую на себя, что рѣшился печатать ваши статьи, почтеннѣйшій Василій Васильевичъ! Каюсь, передъ сдачей въ наборъ не дочиталъ до конца, да вѣдь и почеркъ вашъ отчаянный! Когда мнѣ подали корректуру № 50—51, и я прочелъ, какъ сладко разглагольствуете вы о „противуестественномъ“, я взялъ перо и началъ вымарывать, смягчать и накладывать фиговые листья. И всетаки „духа любодѣйнаго“ выкурить не могъ“. Далѣе г. Шараповъ заявляетъ: „мы съ вами вотъ уже три номера подъ рядъ угощаемъ читателя порнографіей, хотя бы и философической“ Въ свою очередь и П. А. Кусковъ (тотъ самый, который не попалъ на Іоническіе острова, и младшая изъ трехъ дочерей котораго выходитъ за здѣшняго помѣщика), по поводу „письма-строки“ спрашиваетъ г. Розанова: „Кто это вамъ такъ ясно, кратко и мѣтко высказалъ впечатлѣніе, произведенное на него вашими статьями о полѣ? Грѣшный человѣкъ, я подумалъ то же самое: подъ гнетомъ духомъ любодѣянія“!..

Неожиданность за неожиданностью...

Чтобы добраться до сердцевины книги г. Розанова, надо преодолѣть не только многоэтажное построеніе изъ статей самого автора,

возраженій на нихъ и сочувственныхъ статей и писемъ, примѣчаній къ нимъ и примѣчаній къ примѣчаніямъ; не только пеструю чащу сообщеній „внѣ темы“ о судьбѣ дѣтей, племянниковъ и племянницъ корреспондентовъ автора; о разныхъ эпизодахъ изъ его собственной жизни и жизни его родственниковъ (напримѣръ, сообщеніе о томъ, какъ покраснѣла его трехлѣтняя дочь, когда врачъ, „среди другого осмотра, раскрылъ и сталъ осматривать ея genitalia)“; наконецъ, не только рядъ неожиданностей отъ глубины глубинъ до порнографіи. Есть и еще трудно преодолимыя препятствія. Они заключаются, какъ въ самомъ ходѣ мысли г. Розанова, такъ и въ способѣ его изложенія.

Одна изъ статей г. Розанова („Бракъ и христіанство“) оканчивается пожеланіемъ читателю „крѣпкой и осторожной мысли“. Въ одномъ изъ примѣчаній къ полемической статьѣ г. Н. Аксакова „О бракѣ и дѣвствѣ“ г. Розановъ пишетъ: „Все это довольно толково и умно, и мы радуемся, что *пристальностью* (курсивъ, и вездѣ выше, принадлежитъ г. Розанову) разсмотрѣнія одной темы привели даже антагонистовъ автора къ необходимости разсуждать, наконецъ, точно и внимательно“. Въ дѣйствительности, г. Розановъ не обладаетъ ни тою „пристальностью разсмотрѣнія“, которую находитъ въ себѣ, ни тою „крѣпкою и осторожною мыслью“, которой онъ желаетъ своему читателю, ни той „точностью и внимательностью разсужденія“, которую онъ будто бы внушилъ „даже“ (!) своимъ антагонистамъ. Въ области вопросовъ, занимающихъ г. Розанова, едва ли найдется другой писатель, столь же невнимательный къ фактамъ дѣйствительности и логикѣ выводовъ, столь же неточный въ своей мысли и ея словесномъ выраженіи. Съ разбѣгу и безъ оглядки—это могло бы быть девизомъ г. Розанова и какъ мыслителя, и какъ писателя.

Какъ-то, въ одной изъ своихъ прежнихъ статей, г. Розановъ построилъ нѣкоторое теоретическое зданіе на томъ фактѣ, что Руже-де-Лиль написалъ во всю свою жизнь только одну марсельезу. И совсѣмъ бы все хорошо вышло, если бы Руже-де-Лиль дѣйствительно только разъ въ жизни былъ композиторомъ и ничего, кромѣ марсельезы, не сочинилъ, но онъ написалъ много и очень разнообразныхъ музыкальныхъ произведеній. Г. Розановъ могъ о нихъ не знать; но, казалось бы, та „пристальность разсмотрѣнія“, которою онъ хвалится, та „точность и внимательность разсужденія“, которую онъ внушаетъ другимъ, обязываетъ предварительно ознакомиться съ тѣмъ, о чемъ собираешься говорить... Въ другой разъ, разсуждая о

свойствахъ ума и характера наслѣдственнаго духовенства, прошедшаго семинарскую школу, г. Розановъ иллюстрировалъ свои положенія, между прочимъ, примѣрами Ришелье, Мазарини и Шелгунова... Съ разбѣгу онъ не замѣтилъ, что это иллюстраціи совершенно не подходящія, такъ какъ всѣ три названныя лица—чистокровные дворяне и въ семинаріи не бывали. Такими подвигами пристальности, точности, внимательности, осторожности переполнена и книга „Въ мірѣ неяснаго и не рѣшениаго". Исчерпать въ этомъ отношеніи книгу до дна—нѣтъ ни возможности, ни, конечно, надобности. Но на двухъ трехъ образцахъ мы остановимся съ нѣкоторою „пристальностью".

По соображеніямъ, которыя мы, можетъ быть, поймемъ ниже (а, можетъ быть, такъ и не поймемъ), г. Розановъ считаетъ нужнымъ остановить вниманіе читателя на „загадкѣ", которой „никто не разобралъ", а именно: „что такое *лицо* въ насъ?" Разгадка такова: лицо есть „точка, гдѣ тѣло начинаетъ „говорить", къ которой и сами мы говоримъ, „обращается"; точка, гдѣ прерывается нѣмота, откуда прорывается мысль: гдѣ начинается *особливость* и кончается безразличіе". Давъ это опредѣленіе, г. Розановъ замѣчаетъ, что и другія части человѣческаго тѣла, въ несравненно меньшей степени, но обладаютъ извѣстною выразительностью. Таковы локоть и плечо, но въ особенности кисть руки и ступня ноги. „Въ кисти руки,—говоритъ г. Розановъ,—есть явно *затылочная*, покрытая легкимъ пушкомъ часть, и *личная*, лицо, ладонь, голая. Будемъ внимательны къ наблюденіямъ и не глухи къ мелочамъ человѣческихъ инстинктовъ: привѣтствуя, мы касаемся рукою руки и не дотрогиваемся (?), но прикладываемъ ладонь къ ладони, которыя сжимаютъ одна другую. Образовалась *фразировка* рукопожатій, безъ придумыванія, *само собой*: руки ласкаются. Холодно, при почтительности, цѣлуя руку, мы ее цѣлуемъ въ глухую *затылочную* часть (верхнюю, съ пушкомъ); но поразительно, что въ нѣгѣ и страсти мы повертываемъ ее, довольно неудобно для нея, и цѣлуемъ въ лицо, въ ладонь, гдѣ сплетаются таинственныя линіи, задатки чертъ лица. Въ минуту особо горячей молитвы мы почему-то „воздѣваемъ руки"; руки кого-то *ищутъ*, *тянутся* къ кому-то; и станемъ слѣдить, до чего это любопытно: мы обѣ кисти руки повертываемъ ладонями къ образу, св. Лику; т. е. мы *становимся* на молитву всѣми въ себѣ лицами (священникъ во время херувимской пѣсни)".

Станемъ, въ самомъ дѣлѣ, слѣдить, до чего это выходитъ лю-

бопытно у г. Розанова. Оставимъ пока въ сторонѣ все, что мы цѣлуемъ и вообще дѣлаемъ „въ нѣгѣ и страсти". Этотъ пріятный сюжетъ г. Розановъ постоянно и не случайно, а принципіально сопоставляетъ и связываетъ съ молитвою, и мы еще съ нимъ встрѣтимся. Остановимся на молитвѣ. Что въ молитвѣ люди такъ или иначе воздѣваютъ руки, это вѣрно, но, не говоря о томъ, что мы и въ самомъ обыкновенномъ разговорѣ жестикулируемъ руками, г. Розановъ подчеркиваетъ значеніе именно *ладони* руки, слѣдовательно рука въ цѣломъ въ его разсужденіи не при чемъ. А что касается ладоней, то священникъ во время херувимской, по разъ навсегда установленному ритуалу, дѣйствительно обращаетъ, говоря языкомъ г. Розанова, „всѣ свои лица къ св. Лику". Но это дѣлаетъ именно священникъ и именно во время херувимской. „Мы" же, то есть вообще христіане, поступаемъ на молитвѣ какъ разъ наоборотъ: или складываемъ ладонь съ ладонью, то есть закрываемъ свои ручныя „лица", одно другимъ, или, осѣняя себя знаменіемъ креста, опять же обращаемъ почти закрытую перстосложеніемъ ладонь къ себѣ; иные, въ особенности католики, въ молитвенномъ экстазѣ бьютъ себя въ грудь, или, скорбя о грѣхахъ своихъ, закрываютъ лицо руками, при чемъ ладоней не выворачиваютъ. До чего это любопытно...

Покончивъ съ „эмбріонами" лицъ, то есть съ ладонью руки и ступней ноги (краткости ради пропускаемъ курьезы о ступнѣ), г. Розановъ переходитъ къ полному, настоящему лицу...

„Есть, — разсуждаетъ онъ, — лица *мужскія* и *женскія*, но нѣтъ лицъ „математическихъ" и „филологическихъ". Я хочу сказать, что строеніе лица не обусловлено вовсе предметами и характеромъ теоретической дѣятельности человѣка, какъ можно было бы ожидать по его положенію и, казалось бы, тѣсной зависимости отъ головного мозга; но есть что-то въ немъ, указывающее на зависимость его отъ пола, текучесть изъ пола. Есть лица отроческія, юношескія, мужскія, старческія; но и отрочество, и юность, и мужество, и старость суть *стадіи въ жизни пола*, его утренняя дремота, поздній сонъ, его день и зной полудня. Нѣтъ вовсе „музыкальныхъ" и „живописныхъ" лицъ, но есть „цѣломудренныя" и „развратныя": очевидно, что лицо есть отсвѣтъ пола, его далеко отброшенное, но точное и собранное, сосредоточенное устремленіе... Левъ Толстой, столь геніальный въ психическомъ анализѣ, собственно вездѣ даетъ намъ психологію возраста и пола; напримѣръ, нарисовавъ столько поразительно жизненныхъ фигуръ — Наташа, Соня, кн. Марья въ

„Войнѣ и мирѣ“, Долли, Китти, Анна, Варенька въ „Ан. Карениной“—онъ даже не упоминаетъ ни объ одной изъ нихъ, была ли она чему-нибудь выучена. Такъ сказать, „филологическія“ и „математическія“ черты въ лицѣ человѣческомъ у него вовсе отсутствуютъ; но вся полнота выраженія лица сохранилась при этомъ; много выигравъ въ жизненности, онѣ ничего не утратили въ осмысленности... Вся почти необозримая по разнообразію дѣятельность Толстого примыкаетъ къ темѣ „Дѣтства и отрочества“. „Крейцерова соната“, напримѣръ,—что она такое, какъ не „плачъ неутѣшной души“ надъ поруганнымъ въ мірѣ материнствомъ, надъ оскверняемыми въ самыхъ его родникахъ „дѣтствомъ“ и „отрочествомъ“... Толстой не знаетъ, т. е. онъ отвергаетъ иную психологію, кромѣ какъ психологію пола и возраста; но если взять и весь кругъ его заботъ, тревогъ, его ожесточенности противъ „нашей цивилизаціи“, „плодовъ“ нашего „просвѣщенія“, не трудно открыть ихъ всѣхъ общій родникъ въ страхѣ и отвращеніи къ тому же загрязненному или безъ вниманія обходимому „дѣтству“ и всему, что его вынашиваетъ, т. е. къ человѣку въ рождающихъ его глубинахъ... Толстой непрерывно внимаетъ полу“.

Нелегко разобраться во всей этой путаницѣ, не сразу даже поймешь, почему г. Розанову вздумалось ставить вопросъ именно такъ, какъ онъ его ставитъ. Филологическихъ и математическихъ лицъ, дѣйствительно, нѣтъ, какъ нѣтъ и лицъ музыкальныхъ и живописныхъ, а мужскія и женскія и, пожалуй, цѣломудренныя и развратныя — существуютъ. Но что изъ этого слѣдуетъ? и почему г. Розанову понадобились въ данномъ случаѣ филологія и математика? „Строеніе лица“ зависитъ отъ множества условій, въ томъ числѣ, конечно, и отъ пола, нагляднымъ свидѣтельствомъ чего служатъ такъ называемые вторичные половые признаки, — присутствіе и отсутствіе бороды. Но совершенно неизвѣстно почему передъ умственнымъ взоромъ г. Розанова стоитъ дилемма: или полъ, или „предметъ и характеръ теоретической дѣятельности“. Тѣмъ болѣе это странно, что головной мозгъ, который, какъ мы вѣроятно увидимъ, вообще не въ авантажѣ у г. Розанова обрѣтается, вѣдаетъ не одну теоретическую дѣятельность. Что умственное напряженіе, въ особенности въ ряду поколѣній, накладываетъ на человѣческое лицо свою печать, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія, хотя это часто маскируется разными пертурбаціонными вліяніями, и хотя, съ другой стороны, искать въ лицѣ отраженія той или другой спе-

ціальной отрасли знаній, есть нелѣпость, которую не стоило ни предпринимать, ни опровергать. Во всякомъ случаѣ, какъ мужскія, такъ и женскія лица одинаково бываютъ умныя и глупыя, суровыя и нѣжныя, властныя и кроткія, жестокія, звѣрскія, мрачныя, веселыя и т. д., и т. д. Все это г. Розановъ заслонилъ для себя измышленными имъ самимъ „филологическими“ и „математическими“ чертами, отсутствіе которыхъ въ героиняхъ Толстого онъ такъ побѣдоносно констатируетъ. Достойно вниманія, что онъ ищетъ ихъ только въ героиняхъ Толстого, въ женщинахъ, хотя распространяетъ свое сужденіе на оба пола; между тѣмъ, въ описаніи наружности Сперанскаго, напримѣръ, или генерала Пфуля онъ бы могъ, пожалуй, найти и отраженіе предмета и характера теоретической дѣятельности. А что на лицахъ свѣтскихъ героинь гр. Толстого (при томъ, какъ въ „Войнѣ и мирѣ“, начала прошлаго вѣка) не отразился предметъ и характеръ ихъ теоретической дѣятельности, такъ это, я полагаю, объясняется довольно просто: ни филологіей, ни математикой и никакой иною теоретическою дѣятельностью эти дамы не занимались. Не смущаютъ г. Розанова и лица дѣтскія, отроческія, мужскія, старческія,—все это, говоритъ, стадіи въ развитіи пола, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ между ребенкомъ, юношей, старикомъ нѣтъ никакой разницы, кромѣ ихъ отношенія къ половой жизни. „И станемъ слѣдить, до чего это любопытно“. Объявивъ возрастъ исключительно стадіей въ развитіи жизни пола, г. Розановъ говоритъ, что „Толстой, столь геніальный въ психическомъ анализѣ, собственно вездѣ даетъ намъ психологію возраста и пола“. Затѣмъ оказывается, что этой темѣ посвящена „почти вся необозримая дѣятельность Толстого“. И, наконецъ, рѣшительное утвержденіе: „Толстой непрерывно внимаетъ полу“. Ну, а психологія властолюбія, честолюбія, патріотизма, психологія толпы, увлекаемой примѣромъ и проч.? Какъ все это выразилось у Толстого въ изображеніи Наполеона, Платона Каратаева, гр. Ростопчина, героевъ севастопольскихъ разсказовъ, въ сценахъ убійства Верещагина, Шенграбенскаго сраженія, психологія „Люцерна“ и т. д., и т. д. безъ конца? На этотъ вопросъ г. Розановъ можетъ отвѣтить, что и здѣсь „не трудно открыть общій родникъ въ страхѣ и отвращеніи къ тому же загрязненному или безъ вниманія обходимому „дѣтству“ и всему, что его вынашиваетъ, т. е. къ человѣку въ рождающихъ его глубинахъ“. Но развѣ это отвѣтъ?

Еще примѣръ:

„Мозгъ самый тяжелый былъ у Кювье; но слѣдующій за нимъ по тяжести былъ мозгъ одной помѣшанной женщины, высокія способности которой ничѣмъ не были засвидѣтельствованы; выраженіе разорванности между душой и мозгомъ довольно доказательное. Рядомъ съ этимъ самое прекрасное лицо есть лицо Рафаэля. Его геній тѣмъ высокъ, что не былъ вовсе геній порядка логическаго, но геній образовъ, созерцаній, таинственныхъ молитвъ, для которыхъ онъ не нашелъ словъ и, какъ бы взявъ краски съ цвѣтка, собралъ ихъ въ дивныя картины. Единственное въ исторіи лицо, но чѣмъ оно собственно насъ поражаетъ? Одною странною и немного сверхъестественною въ себѣ чертою: это лицо *дѣвушки*, посаженное на мужчину. Присутствіе обоихъ половъ въ одномъ существѣ, двуполость въ индивидуумѣ — невольно въ немъ останавливаетъ. Т. е., какъ мы можемъ догадываться, лицо перваго по богатствамъ души человѣка, *самаго небеснаго*, свидѣтельствуетъ о странной раздвоенности его души въ начала мужское и женское и, вѣроятно, соотвѣтственно этому, о *постоянномъ и сильнѣйшемъ въ немъ половомъ возбужденіи utriusque sexus*“...

Курсивъ послѣдней, истинно-поразительной фразы принадлежитъ не г. Розанову, а мнѣ. Я хотѣлъ бы, чтобы она запечатлѣлась въ памяти читателя. Но она входитъ въ составъ того, что г. Шараповъ называетъ „порнографіей, хотя бы философической“ и что составляетъ сердцевину мысли г. Розанова, до которой мы еще не добрались.

Откуда г. Розановъ получилъ свѣдѣніе, что самый тяжелый, послѣ Кювье, мозгъ былъ у какой-то помѣшанной женщины,—я не знаю. Можетъ быть, изъ того же источника, изъ котораго онъ узналъ, что Руже-де-Лиль не написалъ ничего, кромѣ марсельезы, и что Ришелье и Мазарини были изъ семинаристовъ. Но если это и вполнѣ достовѣрный фактъ, то онъ еще ровно ничего не говоритъ въ пользу „разорванности между душой и мозгомъ“. Во-первыхъ, вѣжливо говоря, смѣшно основывать что бы то ни было на единичномъ, хотя бы не подлежащемъ ни малѣйшему сомнѣнію фактѣ, которому противостоятъ тысячи другихъ фактовъ, давно получившихъ полное и всестороннее объясненіе. Во-вторыхъ, психическое разстройство нерѣдко настигаетъ высоко одаренныхъ людей, къ которымъ принадлежала, можетъ быть, и помѣшанная женщина съ тяжелымъ мозгомъ. Въ-третьихъ, едва ли найдется нынѣ хоть одинъ

человѣкъ, утверждающій зависимость высокихъ умственныхъ способностей непосредственно и исключительно отъ вѣса мозга. Курьезенъ далѣе этотъ внезапный переходъ отъ вѣса мозга Кювье и помѣшанной женщины къ наружности Рафаэля: „*Рядомъ съ этимъ* самое прекрасное лицо есть лицо Рафаэля". Право, это напоминаетъ гоголевскую шишку на носу алжирскаго бея. И что это значитъ: „самое прекрасное лицо", „единственное въ исторіи лицо"? Очевидно, выводя эти слова перомъ на бумагѣ, г. Розановъ не давалъ себѣ никакого отчета въ томъ, что онъ пишетъ, а писалъ именно съ разбѣгу и безъ оглядки, „маханально", какъ говоритъ одинъ купецъ у Островскаго. Въ самомъ дѣлѣ, значитъ ли это, что г. Розановъ сдѣлалъ смотръ *всѣмъ* лицамъ *въ исторіи* (подумайте!), и остановился на лицѣ Рафаэля, какъ на „самомъ прекрасномъ" и „единственномъ"? Но если бы это и было возможно, то это было бы дѣломъ личнаго понятія о красотѣ и личнаго вкуса г. Розанова, каковой вкусъ навѣрное идетъ въ разрѣзъ со вкусомъ не только древнихъ египтянъ, ассирійцевъ, грековъ, персовъ и проч. и современныхъ китайцевъ, негровъ, индѣйцевъ и т. д., но и огромнаго большинства соотечественниковъ г. Розанова, вкусы которыхъ, по крайней мѣрѣ, соизмѣримы. Вообще, возможно ли указать „самое прекрасное лицо" не то что въ тысячелѣтіяхъ исторіи, а даже, напримѣръ, въ современной Россіи, или хоть въ большомъ общественномъ собраніи вродѣ театральнаго зала? Вѣдь и при выдачѣ премій за красоту жюри колеблются и препираются...

Читатель скажетъ, можетъ быть, что я ужъ пересаливаю въ пристальности вниманія къ вздорамъ г. Розанова. Но какъ же иначе быть, если этотъ маханальный писатель совершаетъ цѣлый переворотъ въ религіи, если его статьи „безсмертны и неумирающи"?

Намъ надо еще заглянуть на тѣ высоты, — до которыхъ иногда достигаетъ манера изложенія г. Розанова. Онъ самъ ихъ хорошо знаетъ. Такъ, въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ: „Пусть будутъ прощены мои неуклюжіе глаголы!.. пока же, пока еще найдешь „языкъ простой и голосъ мысли благородной", а до времени употребляешь первыя попавшіяся, раскосо-стоящія слова, чтобы указать новое и неожиданное, что на ступеняхъ видишь". А одно изъ примѣчаній автора къ полемическимъ матеріаламъ оканчивается такъ: „Мы немножко бредимъ, но это—матеріи, гдѣ только бредя—„набредаешь" на истину". Хорошо, похвально, конечно, что г. Розановъ сознаетъ неуклюжесть своихъ глаголовъ и смиренно проситъ

простить его: всякій пишетъ, какъ можетъ, какъ умѣетъ. Но если г. Розановъ можетъ писать лучше, толковѣе, точнѣе, внимательнѣе, если ему доступенъ „языкъ простой и голосъ мысли благородной“ и только по торопливости пускаетъ онъ въ ходъ первыя попавшіяся раскосо-стоящія слова, такъ это вовсе не хорошо, и въ особенности, когда рѣчь идетъ о новомъ и неожиданномъ. И зачѣмъ такъ торопиться? Поспѣшишь — людей насмѣшишь: сообщишь нѣчто столь новое и неожиданное, напримѣръ, о Руже-де-Лиль, о Ришелье и Мазарини, о Рафаэлѣ, что и на правду не похоже. Еще хуже, разумѣется, когда человѣкъ, по той-же торопливости, сознательно печатаетъ завѣдомый бредъ, утѣшая при этомъ читателя: это я такъ, временно, въ ожиданіи той истины, на которую набреду въ будущемъ. Это уже не смиренное признаніе въ томъ или другомъ своемъ изъянѣ, а, напротивъ, чрезвычайное высокомѣріе и презрительное отношеніе къ читателю.

То, что самъ г. Розановъ справедливо называетъ неуклюжими глаголами и бредомъ, заинтересованный читатель найдетъ на стр. 127 и 221—222. Я же обращу его вниманіе на каламбуръ о бредѣ, которымъ авторъ разсчитываетъ набрести на истину. Когда человѣкъ идетъ не отъ факта къ факту и не отъ мысли къ мысли по логической между ними связи, а отъ слова къ слову по звуковому ихъ сходству,—получается каламбуръ, который можетъ быть остроуменъ и забавенъ въ качествѣ „игры ума“, но которому никто не придаетъ серьезнаго, научнаго или философскаго значенія. У господина же Розанова, при его маханальности, многочисленные каламбуры играютъ роль серьезныхъ аргументовъ. Бредъ, какъ путь къ истинѣ, соблазнилъ его потому, что ему пришло въ голову слово „брести“, но, разъ возникнувъ, эта звуковая ассоціація кажется ему вполнѣ убѣдительною. Вотъ другой, болѣе сложный примѣръ каламбурной маханальности, который кстати можетъ служить и образчикомъ бреда, хотя на этотъ разъ г. Розановъ и не признаетъ его за таковой: „Въ обрѣзаніи устанавливалось вѣчное (и невольное) созерцаніе Бога какъ бы черезъ кольцо здѣсь срѣзанное, и это до такой степени связывало Бога съ точкой обрѣзанія, что теизмъ—сексуализировался, а sexus—теитизировался. И такъ—уже въ тысячелѣтіяхъ, такъ—уже невольно! Тутъ получилось вѣчное зеркало созерцаній, изъ коего не умѣлъ и никогда не могъ выйти семитъ: всякая мысль о полѣ („сонныя мечтанія“) пробуждала мысль о Богѣ, теряла жесткое выраженіе (намъ извѣстной) чувственности и раство-

рялась въ богообращенности, не отрицаясь (здѣсь взялъ меня Господь); обратно, о Богѣ мысль—побуждала вспомнить свой полъ, и, можетъ быть, даже навѣрное — будила „мечтаніе". Двое малютокъ въ одной люлькѣ—ласкаются рученками. Не сочинить этого, a priori не сотворить; *не изъ чего сотворить*—иначе какъ черезъ „обрѣзаніе" Богу, „ветхій завѣтъ". Я беру и *чиню себѣ перо*: вотъ подобіе и аллегорія „срѣзанія", „чиненія" себѣ Израиля, и Богъ зналъ, гдѣ „зачинить" его въ союзъ вѣчный и нерасторжимый, и до *дна* проникающій".

Дешифрировать эти каламбуры, равно какъ и весь этотъ бредъ—я не берусь.

„Порнографія, хотя и „философическая" и „любодѣйный духъ", прикрытый фиговыми листьями работы г. Шарапова, — не думаю, чтобы главнымъ образомъ въ этомъ состояло неприличіе г. Розанова, какъ писателя. Неприличенъ онъ прежде всего своею нечистоплотною маханальностью: тою развязностью, съ которою онъ пускаетъ въ обращеніе небывалые факты собственнаго сочиненія или дѣлаетъ достовѣрныя, но ни для кого не интересныя, сообщенія о подробностяхъ житья-бытья своихъ знакомыхъ; тою небрежностью, съ которою онъ пишетъ „первыя попавшіяся слова", не давая себѣ труда въ нихъ вдуматься, и даже прямо и просто бредъ свой печатаетъ. Все это гораздо неприличнѣе, чѣмъ, напримѣръ, явиться въ общество въ халатѣ или съ изъянами въ родѣ незастегнутыхъ пуговицъ тамъ, гдѣ имъ полагается быть застегнутыми. Костюмъ есть дѣло условное, халатъ для европейца и азіата не одно и то же, тогда какъ выплескивать изъ себя на бумагу для всеобщаго свѣдѣнія всякій вздоръ всегда и вездѣ одинаково нечистоплотно; нечистоплотно, недобросовѣстно и оскорбительно для читателя. Есть очень „знойныя потребности", которыя, однако, всенародно не удовлетворяются. Г. Розановъ не знаетъ въ литературномъ отношеніи никакихъ границъ. Помните, напримѣръ, какъ онъ однажды обратился къ Толстому съ нотаціей, одинаково изумительной, какъ по формѣ, такъ и по содержанію: онъ печатно говорилъ съ „великимъ писателемъ русской земли" на „ты" и рылся въ интимнѣйшихъ подробностяхъ его личной жизни. Не помню, гдѣ было напечатано это единственное въ своемъ родѣ произведеніе русской литературы, во всякомъ случаѣ отвѣтственность за него, равно какъ и за всѣ другіе курбеты г. Розанова—всѣ эти выдуманные факты, каламбур-

ные аргументы, первыя попавшіяся слова, бреды—должна быть распредѣлена между нимъ и тѣми редакціями, которыя либо совсѣмъ безданно, безпошлинно пропускаютъ его писанія, либо, какъ г. Шараповъ, спохватываются, уже достаточно угостивши читателя „философической порнографіей".

Надо, впрочемъ, сказать, что философическая порнографія г. Розанова есть дѣло очень сложное и далеко не все въ ней заслуживаетъ запоздалаго негодованія г. Шарапова. Г. Шараповъ утверждаетъ, что г. Розановъ проповѣдуетъ „полную свободу половыхъ отношеній". Это неправда или, по крайней мѣрѣ, недоразумѣніе. Г. Розановъ горячо стоитъ за семью и, какъ увидимъ, готовъ приносить ей даже чрезмѣрныя жертвы; онъ негодуетъ противъ такъ называемыхъ романовъ въ жизни; слова „отецъ", „мать", „дѣти" — для него священны. Онъ съ умиленіемъ рисуетъ картины то, какъ мы имѣли случай видѣть, двухъ дѣтей, ласкающихся рученками въ люлькѣ—и даже ни къ селу, ни къ городу,—то престарѣлыхъ, любящихъ другъ друга супруговъ. Въ связи съ этимъ онъ возстаетъ противъ взгляда на половыя отношенія, какъ на что-то само по себѣ нечистое, постыдное, унижающее человѣка. Этотъ законъ природы или, какъ онъ предпочитаетъ выражаться, Божій законъ, и если въ практическомъ его осуществленіи бываетъ нѣчто грязное, мерзкое, унизительное, то это зависитъ не отъ него самого, а отъ тѣхъ рамокъ, отъ тѣхъ условій, въ которыхъ онъ осуществляется. Отрицательное отношеніе къ самому источнику жизни вызываетъ лишь массу лжи, лицемѣрія, фарисейства, страданій и преступленій. Такова исходная точка г. Розанова. Отсюда идутъ два ряда его мыслей, весьма неравноцѣнныхъ, хотя оба они кажется, въ одинаковой мѣрѣ возмущаютъ г. Шарапова и другихъ оппонентовъ г. Розанова. Съ одной стороны, г. Розановъ рѣшаетъ съ своей точки зрѣнія нѣкоторые житейскіе вопросы (о разводѣ, о незаконныхъ или, какъ нынѣ называетъ ихъ законодатель, внѣбрачныхъ дѣтяхъ, объ истинномъ цѣломудріи), при чемъ обнаруживаетъ — что бы ни говорили его оппоненты—много здраваго смысла и гуманности, хотя и облекаетъ ихъ, къ сожалѣнію, подчасъ въ свойственную ему сумбурную форму. Съ другой стороны, онъ строитъ нѣкоторое головоломное метафизическое зданіе, въ родѣ вавилонской башни, основаніе которой должно корениться въ землѣ, а вершина упираться въ небо. Онъ хочетъ, говоря его собственными словами, „теитизировать полъ и сексуализировать религію". Здѣсь то и заключается то, что не безъ

основанія можно назвать философической порнографіей г. Розанова. Я думаю, однако, что отвѣтственность за нее лежитъ совсѣмъ не въ „духѣ любодѣянія", который будто бы обуялъ почтеннаго автора, а все въ томъ же легкомысліи и высокомѣріи, съ которыми онъ считаетъ возможнымъ или нужнымъ доводить до свѣдѣнія читателей всякія „первыя попавшіяся слова".

Изложить основныя мысли г. Розанова чрезвычайно трудно или даже прямо невозможно, какъ благодаря вышеуказаннымъ свойствамъ его мышленія и писанія, такъ и вслѣдствіе скользкости темы, многія подробности которой подлежатъ изложенію только въ спеціальныхъ ученыхъ трактатахъ и учебникахъ. Онъ самъ пишетъ о нѣкоторыхъ такихъ подробностяхъ, что „эти тайны такъ жгутъ языкъ, что о нихъ нельзя собственно говорить: и языкъ „прильпе къ гортани", и бумага подъ чернилами горитъ, тлѣетъ, проваливается" (117). Кромѣ того, для меня лично существуетъ еще одно затрудненіе. Свою „теитизацію пола и сексуализацію религіи" г. Розановъ производитъ въ рамкахъ христіанства, что и составляетъ „новую концепцію христіанства". Онъ, его единомышленники и противники аргументируютъ не только доводами отъ разума, или данными историческими, естественно-научными, собственными психологическими наблюденіями, а и евангельскими и ветхозавѣтными текстами. Для меня, какъ я уже заявилъ въ „Отрывкахъ о религіи", — а настоящія замѣтки могутъ обратиться въ одинъ изъ такихъ отрывковъ, — это область неприкосновенная. Не берусь судить, кто изъ противниковъ правъ въ своихъ толкованіяхъ различныхъ мѣстъ Ветхаго и Новаго Завѣта, и вообще, не коснусь „новой концепціи *христіанства*".

Я понимаю, что спеціалисты по христіанской догматикѣ могутъ одни восхищаться толкованіями г. Розанова, другіе возмущаться ими, хотя, признаюсь, меня нѣсколько удивляетъ появленіе въ качествѣ такихъ спеціалистовъ г. Шарапова или г. Колышко, извѣстныхъ, кажется, съ другой стороны. Во всякомъ случаѣ для меня эта полемика не существуетъ. Но вавилонская башня г. Розанова, эта теитизація пола и сексуализація религіи затрагиваетъ разнообразныя области, не имѣющія никакого непосредственнаго отношенія къ христіанству, въ которыхъ, однако, глубомысленный авторъ тоже выдвигаетъ „новыя концепціи" и дѣлаетъ замѣчательныя открытія.

Къ сожалѣнію, неясны главные термины, которыми оперируетъ г. Розановъ. Онъ нигдѣ не даетъ сколько-нибудь точнаго опредѣленія, что такое съ его точки зрѣнія религія и что такое полъ. Мо-

жетъ быть, онъ потому не находитъ нужнымъ дать такое опредѣленіе, что считаетъ его всѣмъ извѣстнымъ, а можетъ быть, его собственныя на этотъ счетъ понятія не совсѣмъ ясны. На послѣднюю мысль наводитъ то странное примѣненіе словъ „религія", „религіозный" и т. п., которое онъ иногда дѣлаетъ. Такъ, нанесенный теченіемъ мысли на слово „взоръ", онъ останавливается для слѣдующихъ размышленій: „Какая глубина въ этомъ словѣ „взоръ": вѣдь тутъ—глазное яблоко; одна, казалось бы, физіологія; но въ этой „физіологіи" есть скорбь, есть безутѣшное—есть духъ, высоко духовное, по коему мы и переименовываемъ анатомическое „глазное яблоко" въ почти религіозное „взоръ". (103). И все это вздоръ. Никогда и ни при какихъ обстоятельствахъ мы „глазное яблоко" не переименовываемъ во „взоръ",—мы можемъ бросить взоръ, бросить взглядъ, но бросить глазное яблоко не можемъ. Далѣе, почему во „взорѣ" г. Розановъ усматриваетъ непремѣнно скорбь и безутѣшное? Оно, пожалуй, есть въ тѣхъ „взорахъ усталыхъ" по случаю „ночей безумныхъ", о которыхъ поется въ извѣстномъ романсѣ Апухтина, но едва ли за то тутъ есть что-нибудь религіозное. Впрочемъ, съ спеціальной точки зрѣнія г. Розанова, можетъ быть, и есть, ну а тѣ лукавые, свирѣпые, веселые и т. п. взоры, о которыхъ мы говоримъ постоянно? Что касается пола, то г. Розановъ довольствуется наборомъ словъ въ такомъ родѣ: „кто же не понимаетъ, что полъ есть пульсація, есть древнѣйшій въ природѣ ритмъ"; или: „то темное и разлитое въ существѣ нашемъ, что мы называемъ поломъ"; или еще: полъ есть „точка, покрытая темнотой и ужасомъ, красотой и отвращеніемъ". И вотъ, эти-то двѣ туманности г. Розановъ желаетъ сблизить, слить воедино, такъ сказать, взаимно пропитать ихъ одну другою.

„Сближеніе половъ *свято* или *мерзость*?"—такъ формулируетъ одинъ изъ авторовъ „полемическихъ матеріаловъ", г. Гатчинскій отшельникъ, вопросъ, о которомъ препираются г. Розановъ съ единомышленниками, съ одной стороны, г. Шараповъ, Кусковъ и проч.—съ другой Самъ г. Гатчинскій отшельникъ полагаетъ, что вопросъ неправильно поставленъ, ибо, дескать, понятіе *святости* и *мерзости* неприложимо къ тому, что просто *физіологично*. Я думаю, что это вѣрно относительно растительнаго и низшаго животнаго міра; но для человѣка на извѣстной ступени развитія сближеніе можетъ быть и свято, и мерзко, смотря по той роли, которую въ немъ играетъ, кромѣ физіологіи, еще психологія. И если бы

г. Розановъ стоялъ на этой точкѣ зрѣнія, то, независимо, конечно, отъ того сумбура, которымъ онъ окружаетъ здравую мысль, я привѣтствовалъ бы его борьбу съ аскетизмомъ и его неизбѣжными спутниками, лицемѣріемъ и ложью. Но г. Розановъ идетъ дальше, гораздо дальше, и при томъ совершенно въ сторону. Для него сближеніе, само по себѣ, какъ продолженіе или повтореніе акта божественнаго творчества, есть нѣчто мистическое, а въ его органахъ, въ „томъ темномъ и разлитомъ въ существѣ нашемъ, что мы называемъ поломъ", онъ видитъ орудія, которыми приподнимается завѣса, отдѣляющая доступный нашимъ внѣшнимъ чувствамъ и нашему ограниченному разуму міръ явленій отъ „ноуменовъ", отъ сущности вещей. Поэтому онъ устраиваетъ нѣкоторое соперничество между головнымъ мозгомъ и поломъ, при чемъ дѣлаетъ въ разныхъ областяхъ знанія удивительныя открытія, которыя и излагаетъ своей маханальной манерой первыми попавшимися словами. Удивительно уже самое сопоставленіе и противопоставленіе головного мозга и пола, органа, занимающаго извѣстное опредѣленное мѣсто въ организмѣ подлежащаго мѣрѣ, вѣсу, химическому анализу и т. д., и чего-то „темнаго и разлитаго въ существѣ нашемъ". Но дѣло становится, можетъ быть, еще удивительнѣе, когда логическая нескладица такого сопоставленія какъ будто сглаживается и мы узнаемъ, что полъ имѣетъ свои „два кульминаціонныя выраженія въ лицѣ и знакахъ пола". Такимъ образомъ, „полъ" локализируется и сопоставленію съ головнымъ мозгомъ подлежитъ „лицо" (какъ помнитъ читатель, лицъ у насъ собственно пять: настоящее лицо, да двѣ ладони, да двѣ ступни, — но это мы, краткости ради, оставимъ въ сторонѣ) и „знаки пола". Г. Розановъ согласенъ, что „есть безспорная зависимость между тѣломъ, corpus, какъ музыкальнымъ инструментомъ огромной сложности струнъ, и между мозговыми массами, гдѣ какъ бы собрана въ небольшомъ объемѣ ихъ всѣхъ клавіатура"; но,—говоритъ, — „зависимость отъ этихъ массъ собственно „души струящейся" гораздо темнѣе и даже вовсе сомнительна. Напримѣръ, это: „диктуетъ совѣсть, перомъ сердитый водитъ умъ", или у того же поэта и въ томъ же стихотвореніи: „И міръ *мечтою благородной* предъ нимъ *очищенъ и обмытъ*"—какъ-то ужасно трудно отнести къ „извилинамъ" „бѣлаго" или „сѣраго" вещества мозга. Еще такъ называемую статическую, неподвижную сторону души, что-нибудь вродѣ Аристотельскихъ силлогизмовъ... можно представить себѣ неподвижно „отъ вѣка" лежащею въ мозговыхъ массахъ, но

„Міръ *мечтою*“, т. е. *вихрь*, таинственный утренній вѣтерокъ, который даже въ чисто умственной работѣ *ворошитъ* и *перебираетъ* силлогизмы... нельзя отнести туда, какъ нельзя отнести сонъ и бодрствованіе“. Сообщивъ нѣсколько высоко цѣнныхъ и совершенно новыхъ мыслей о снѣ и бодрствованіи, а также о томъ, что въ нѣкоторыхъ половыхъ аномаліяхъ психіатръ ищетъ разъясненій у акушера,—все это, впрочемъ, на одной страничкѣ,—г. Розановъ заключаетъ: „душа въ ея динамическомъ смыслѣ, какъ „вѣтерокъ“ мыслей, какъ „крылышки“ около силлогизмовъ, которыя уносятъ ихъ туда и сюда—вовсе и нисколько не имѣетъ своимъ сѣдалищемъ мозгъ, но то темное и разлитое въ существѣ нашемъ, что мы называемъ „поломъ“ и что имѣетъ въ лицѣ и знакахъ пола только два кульминаціонныя свои выраженія... Психическая дѣятельность, представляя какъ бы гуттенберговскій переводъ гіероглифовъ пола, струится съ лица, какъ „мысленный свѣтъ“, какъ ароматъ „доброты“ и „ласки“, страха за ближняго, готовностей для него: „Тс... Тс... Ромео, это ты?“ Неужели это „въ мозгу вырабатывается“? Конечно—это стекаетъ съ лица. Лицо живетъ, играетъ, движется, говоримъ ли мы, пишемъ ли сочиненія, скорбимъ ли, радуемся ли: „душа“ есть „жизнь“ лица, „отблескъ“ духовный съ „одушевленныхъ“ его линій, струйка, стекающая съ многозначительныхъ его точекъ со „сморщеннаго“ чела, съ „ласковаго“ взора“.

Во всей этой цитатѣ курсивы и ковычки принадлежатъ г. Розанову, очевидно, отмѣчая собою особенно значительныя и характерныя для авторской мысли выраженія. Но что собственно значатъ всѣ „вѣтерки“, „крылышки“, „вихри“, всѣ эти эпитеты въ родѣ „струящаяся“ душа? Что это за процессъ, которымъ „стекаетъ съ лица“ какой-то „мысленный свѣтъ“ и „ароматъ доброты“? Почему умъ Аристотеля имѣетъ своимъ сѣдалищемъ головной мозгъ, а „сердитый умъ“ поэта—„кульминаціонныя точки пола“? Все это не больше, какъ „слова, слова, слова“, прикрывающія собою нѣчто дѣтски невѣжественное. Но г. Розановъ такъ вѣритъ въ свои слова, слова, слова, что, какъ мы видѣли, усмотрѣвъ въ портретѣ Рафаэля лицо дѣвушки и не имѣя, кромѣ этого своего усмотрѣнія, никакихъ данныхъ, смѣло говоритъ о „постоянномъ и сильнѣйшемъ въ немъ половомъ возбужденіи utriusque sexus“. Для рѣшенія естественно возникающаго вопроса—что это значитъ и какъ это возможно, я предложилъ бы избрать коммиссію изъ свѣдущихъ людей, въ которую рекомендовалъ бы членами одного изъ редакторовъ изданій, въ ко-

торыхъ печатались произведенія г. Розанова, напримѣръ, кн. Мещерскаго и г. Колышко, утверждающаго, что нынѣ и вообще „часто не различишь, гдѣ начинается мужчина и гдѣ кончается женщина“ (стр. 83, „Полемическіе матеріалы“).

Маханально покончивъ съ головнымъ мозгомъ и лицомъ, г. Розановъ столь же маханально справляется съ „отдѣлившимися и главными, нижними точками пола“. Мы и здѣсь получаемъ рядъ замѣчательныхъ и совершенно неожиданныхъ открытій, изъ которыхъ я могу представить читателю лишь немногія. И да простится мнѣ обиліе цитатъ: читатель, я думаю, и самъ убѣдился, что передавать идеи г. Розанова своими словами — невозможно. Прежде всего мы получаемъ любопытнѣйшее сопоставленіе лица и „главныхъ нижнихъ точекъ пола“. Дѣло въ томъ, что „фигура человѣка „по образу и подобію“ имѣетъ въ себѣ какъ бы внутреннюю ввернутость и внѣшнюю вывернутость — въ двухъ расходящихся направленіяхъ. Одна образуетъ въ ней феноменальное лицо, обращенное по сю сторону, въ міръ „явленій“; другая образуетъ лицо ноуменальное, уходящее въ „тотъ“ міръ, къ какимъ-то не-астрономическимъ звѣздочкамъ, не нашихъ садовъ лиліямъ“. „Лицомъ мы только достигаемъ, отгадываемъ, догадываемся, любопытствуемъ; напротивъ здѣсь—абсолютное молчаніе, но исполненное какого-то таинственнаго ритма, пульсаціи; самая форма—пустоты, полости, въ противоположность „выпуклостямъ“, „уплотненіямъ“, изъ сочетанія которыхъ составлено лицо; „пустота“, т. е. начинающееe *отрицаніе матеріи*, противоположный уплотненію полюсъ... Это есть противоположный логическому порядку міръ, гдѣ нѣтъ вовсе познаваемыхъ феноменовъ и начинаются собственно зиждительные ноумены“.

Въ этой цитатѣ каждое слово—перлъ. Такъ какъ о ноуменахъ намъ ничего неизвѣстно и не можетъ быть извѣстно, то предоставимъ ихъ въ полное распоряженіе г. Розанова, пусть онъ ихъ помѣщаетъ, куда хочетъ. Но почему „здѣсь“ „нѣтъ вовсе познаваемыхъ феноменовъ?“ Они есть, ихъ изучаютъ анатомія, физіологія и нѣкоторыя ихъ спеціальныя отрасли. И г. Розановъ самъ это знаетъ, онъ брякнулъ свое нелѣпое отрицаніе съ разбѣгу, маханально. Точно также маханально распредѣленіе „пустотъ“, которыхъ будто бы нѣтъ въ лицѣ (ротъ, носовыя, ушныя полости), и „выпуклостей“, которыхъ будто бы нѣтъ „здѣсь“. Но мимо эти маленькіе вздоры и перейдемъ къ важному открытію г. Розанова въ области общей біологіи. Помнится, въ одной изъ своихъ прежнихъ статей г. Ро-

зановъ глубоко презиралъ Дарвина, и конечно, англійскій натуралистъ вполнѣ заслуживаетъ презрѣнія русскаго философа. Пресмыкаясь въ мірѣ феноменовъ, англійскій натуралистъ копилъ и громоздилъ одинъ на другой мелкіе факты для доказательства родства такихъ то и такихъ то растительныхъ видовъ, такихъ то и такихъ то животныхъ, и лишь убѣжденный этою подавляющею массою фактовъ, высказалъ гипотезу о происхожденіи видовъ вообще. Г. Розановъ, которому, если позволено будетъ такъ выразиться, на феномены наплевать, потому что онъ силенъ если не знаніемъ ноуменовъ, то „тайнымъ касаніемъ" къ нимъ, рѣшаетъ вопросъ гораздо проще, а именно: „Полъ въ растеніи есть только временный феноменъ; это—„распускающійся" и „опадающій" цвѣтокъ: остальное время года есть *живое,* но оно не имѣетъ выявленныхъ *точекъ сосредоточенія* пола. Но вотъ, цвѣтокъ (растенія) раздѣляется: его вѣнчикъ, лепестки, даже тычинки и пестики, вся „видная" часть, всякое въ немъ „выраженіе", „сказываніе" о себѣ — сохраняютъ верхнее, переднее положеніе; напротивъ, все внутреннее уже въ цвѣткѣ, полости оплодотворенія и плодоношенія относятся назадъ. Едва этотъ чудный фактъ, въ сущности раздѣленіе цвѣтка, произошелъ — существо начинаетъ *шевелиться, бѣгать, испытывать страхъ,* когда его ловятъ, *ловить* — когда оно *голодно.* Мы получаемъ *планъ животнаго,* собственно развившійся изъ цвѣтка: лицо, *личико* въ немъ—существующее въ зачаткѣ у насѣкомаго, у раковъ, у „долгоносика"—суть *преобразованные наружные покровы пола,* отчего оно и бываетъ мужское и женское; а собственно внутреннія половыя части—есть затаившійся внутрь плодникъ и „чрево" (стр. 8).

Видите, какъ просто: нѣкоторое измѣненіе во „внутреннихъ ввернутостяхъ и внѣшнихъ вывернутостяхъ", и растеніе превращается въ животное. Куда же Дарвину до такой геніальной простоты! Есть въ книгѣ г. Розанова еще одно мѣсто, пожалуй, еще болѣе посрамительное для медленной работы Дарвина, но я его приводить не буду,—очень ужъ скользкая тема (сюда именно относятся фиговые листья фабрикаціи г. Шарапова). Такія болѣе или менѣе рискованныя мѣста въ изобиліи разсыпаны по всей книгѣ г. Розанова, что и даетъ поводъ нѣкоторымъ изъ его противниковъ обличать его въ порнографіи и „блудодѣйномъ духѣ". Я думаю, что обвиненіе это ставится слишкомъ круто. Г. Розановъ и самъ понимаетъ возможность и даже какъ бы законность подоб-

ныхъ нареканій. „Не заблуждаюсь ли я? — спрашиваетъ онъ. — Не гублю ли душу свою безсмертную и съ нею вмѣстѣ души своихъ читателей, за кои по существу дѣла авторъ всегда отвѣтственъ? Что область блужданій на обыкновенное (феноменальное) сужденіе „грязновата“ — это то я видѣлъ; но вѣдь и вся цѣль поисковъ была—найти, не *загрязнена* ли она только, такова ли она an und für sich въ до-мірной истинѣ своей. И если „нѣтъ“—*очистить*. Но это очищеніе невозможно было произвести одною только философіей, по существу холодною и лишь пролетающею *около* темы (можетъ быть,—*мимо* ея): нужно было, т. е. была задача—снизойти и чуть-чуть уничижиться *самому* передъ темою. Какъ бы взявъ священную бороду, начать отирать ею точку всеобщаго тысячелѣтняго плеванія, столь важную вмѣстѣ точку! „Погибни мое имя, но воскресни вещь“... Это и было причиною, что я не только писалъ о темѣ, но и сливалъ свое лицо съ нею, какъ бы говоря всякому, желающему оскорбить ее: „*я*—тутъ, человѣкъ; до извѣстной степени философъ, мудрецъ“ (129—130). Этотъ мудрецъ, презирающій „обыкновенное, феноменальное сужденіе“, мирящійся только на „до-мірной“ истинѣ и обтирающій ради нея своей священной бородой загаженныя мѣста,—это наивно, до комизма наивно, но „любодѣйнаго духа“ тутъ нѣтъ. Своимъ стремленіемъ „теитизировать полъ и сексуализировать религію“ г. Розановъ напоминаетъ нѣкоторымъ изъ возражающихъ ему древніе сладострастные культы, въ которыхъ „знаки пола“ были предметами мистическаго поклоненія. На это у г. Розанова есть только одно возраженіе, очень неосновательное, которое при томъ и возраженіемъ нельзя, собственно, назвать. Онъ говоритъ: „Ну, что кромѣ *слова* мы знаемъ о „культѣ Phallus'а“? Это какъ надгробная надпись: „подъ симъ камнемъ лежитъ тѣло Ивана Иваныча“. Но кто онъ былъ, и что съ нимъ было—уже *прохожій* (мы) не знаетъ!“ (93). Нѣтъ, кое-что мы знаемъ, и очень жаль, что этого не знаетъ г. Розановъ, хотя бы уже потому, что знаніе это,—конечно, только „феноменальное“!—дало бы ему матеріалъ для настоящаго возраженія. Сладострастные культы древности, имѣя въ большинствѣ случаевъ оргіастическій и экстатическій характеръ, не знали тѣхъ строго опредѣленныхъ рамокъ умѣренности и аккуратности, которыя настойчиво рекомендуетъ г. Розановъ. Такъ, напримѣръ, онъ пишетъ: „Вотъ первая *особенная проблема* мірского житія: въ какія времена и съ какимъ духомъ можно приблизиться брачному къ женѣ своей? Едва я задаю себѣ

этотъ вопросъ, какъ отвѣчаю: не въ опьяненіи, не въ объяденіи, не въ усталости, не въ раздраженіи и лукавствѣ" (253). Г. Розановъ стоитъ за воздержность, руководствуясь при этомъ отчасти церковными правилами, а отчасти физіологическими соображеніями: „То, что не вѣнчаютъ въ Великій постъ—есть всеобщее и всему народу указаніе разрывать фактическое супружество на семь недѣль. Теперь, если взять шесть дней недѣли воздержанія, то уже для самыхъ пылкихъ силъ оно возможно" (148). Г. Розановъ скорбитъ объ отсутствіи готовыхъ „краткихъ молитвословій *передъ* и *послѣ*" (178). „Собственно *утренняя* и *вечерняя* молитвы и должны бы быть составлены *въ отношеніи къ этому акту,* возможному въ нощи, какъ важнѣйшему самаго сна" (198). „Демонъ ни противъ чего такъ не ухищряется, какъ противъ полового акта: „тутъ бы надо поберечь человѣка, а ужъ тамъ я погублю его!" Поэтому *одно* изъ направленій молитвы *передъ* „сближеніемъ" должно быть *противъ* Веліара, къ отогнанію его злыхъ кововъ. „Зову тебя, Вѣчный Боже, дабы ты оградилъ меня и ее отъ лукавыхъ кововъ"... Но тутъ, вообще, нуженъ геній слова, и мы умолкаемъ по безсилію" (199). Вся эта строго обдуманная и требующая большой выдержки обстановка не имѣетъ ничего общаго съ культами Ваала, Астарты, Вакха-Діонича, нашего Ярилы и проч., и проч. Далѣе, характерная черта этихъ культовъ—о чемъ мы впослѣдствіи будемъ говорить подробнѣе—есть жестокость: истязанія, самоистязанія, кровопролитіе. Г. же Розановъ, какъ христіанинъ, проповѣдуетъ кротость, любовь къ ближнимъ, смиреніе, и жестокъ онъ развѣ только по отношенію къ школьникамъ, пороть которыхъ, по его мнѣнію, необходимо. Наконецъ, тѣ культы представляютъ собою либо обломокъ глубокой старины до-патріархальнаго быта, либо безсознательный протестъ противъ семейныхъ узъ, тогда какъ для г. Розанова семья есть святыня. Одна изъ его статей такъ и называется „Семья, какъ религія". Тотъ актъ, на возвеличеніе котораго онъ потратилъ столько мудрости и ради котораго готовъ испачкать свою священную бороду, цѣненъ и важенъ для него не самъ по себѣ, а какъ актъ дѣторожденія, „сотворенія душъ". Для него „Библія есть универсальная педагогика (=дѣто-вожденіе) и даже, пожалуй, универсально-родильный домъ" (260). Къ подножію семьи повергаетъ онъ и отечество, и человѣчество. Именно въ этомъ смыслѣ надо понимать такое, напримѣръ, его замѣчаніе: „Отечество всегда продавалось ради любви, и это хорошо: „хотятъ штурмо-

вать ихъ городъ, а тамъ—мой возлюбленный; предупрежу ихъ городъ, чтобы не удался штурмъ, и не убили моего возлюбленнаго". И хорошо что такъ. Все—осколками у ногъ любви; и безъ всего человѣкъ проживетъ, а безъ любовности онъ сейчасъ бы умеръ" (220). Въ этой тирадѣ слова „возлюбленный". „любовь", „любовность" слѣдуетъ разумѣть въ связи съ отцовствомъ и материнствомъ. И, можетъ быть, дѣло было бы яснѣе, если бы г. Розановъ привелъ не столь поэтическую иллюстрацію къ своей мысли, а указалъ бы, напримѣръ, на казнокрада или взяточника, обкрадывающаго казну (какая разница между этимъ обкрадываніемъ и „продажею отечества"?) или берущаго взятки ради семьи—„ребятишкамъ на молочишко"...

Боюсь, читатель на меня въ претензіи. Боюсь, онъ недоволенъ тѣмъ, что я на пространствѣ съ лишкомъ печатнаго листа занималъ его вниманіе очевиднымъ вздоромъ. И развѣ въ современной жизни нѣтъ ничего, болѣе достойнаго отклика и освѣщенія, чѣмъ этотъ мудрецъ, котораго, не смотря на его священную бороду, всякій г. Шараповъ можетъ отшлепать, приподнявъ полу халата? чѣмъ это перенесеніе функцій головного мозга во „внутреннія ввернутости и внѣшнія вывернутости", всѣ эти бреды и первыя попавшіяся раскосо-стоящія слова о возбужденіяхъ utriusque sexus, о созерцаніи сквозь кольцо обрѣзанія и проч., и проч.? О, да въ жизни есть много яркаго, что и съ положительной, и съ отрицательной точки зрѣнія несравненно значительнѣе писаній г. Розанова. Но литература не всегда можетъ откликаться на то яркое, что совершается въ жизни, а въ самой литературѣ писанія г. Розанова представляютъ собою явленіе во всякомъ случаѣ замѣчательное. Можетъ быть, и правъ одинъ изъ авторовъ „полемическихъ матеріаловъ, говоря: „опровергать наборъ фразъ г. Розанова, отожествлявшаго христіанскія и ветхозавѣтныя воззрѣнія на бракъ съ культомъ Ваала и Астарты (это-то, какъ мы видѣли, напраслина. Н. М.) и по невѣдѣнію искажавшаго безусловно всѣ историческіе факты, будто бы служившіе ему опорой, возможно было бы только въ формѣ остроумно-ѣдкаго фельетона" (235). Но обратите вниманіе на несущіеся къ г. Розанову хвалебные гимны, и подносимые ему вѣнцы безсмертія. Вотъ и г. Мережковскій проводитъ такую параллель: „Ничше, со своими откровеніями новаго оргіазма, „святой

плоти и крови", воскресшаго Діониса—на Западѣ; а у насъ въ Россіи, почти съ тѣми же откровеніями—В. В. Розановъ, русскій Ничше. Я знаю,—продолжаетъ г. Мережковскій,—что такое сопоставленіе многихъ удивитъ; но когда этотъ мыслитель, при всѣхъ своихъ слабостяхъ, въ иныхъ прозрѣніяхъ столь же геніальный, какъ Ничше, и, можетъ быть, даже болѣе, чѣмъ Ничше, самородный, первозданный въ своей анти-христіанской сущности, будетъ понятъ,—то онъ окажется явленіемъ, едва ли не болѣе грознымъ, требующимъ большаго вниманія со стороны церкви, чѣмъ Л. Толстой, не смотря на всю теперешнюю разницу въ общественномъ вліяніи обоихъ писателей" („Религія Л. Толстого и Достоевскаго", XXXIII—XXXIV). Не мое дѣло судить о томъ, что подлежитъ большему, что—меньшему вниманію церкви, и я позволю себѣ только маленькую поправку къ словамъ г. Мережковскаго. Никакого „оргіазма" въ „геніальныхъ прозрѣніяхъ" г. Розанова нѣтъ, напротивъ, какъ мы видѣли, онъ требуетъ трезвости („не въ опьянѣніи"), умѣренности, воздержности (семь недѣль великаго поста и шесть дней недѣли), аккуратности (разъ навсегда данное молитвословіе „передъ и послѣ"). Что „первозданнаго" въ „сущности" г. Розанова я не знаю, да и первозданности этой не понимаю, но эпитетъ „анти-христіанскій" здѣсь совсѣмъ неумѣстенъ. Г. Розановъ во всеуслышаніе исповѣдуетъ христіанское ученіе и претензія его—правда, очень большая — не идетъ дальше „новой концепціи христіанства", т. е. вящшаго утвержденія его на незамѣченныхъ другими основахъ. Но это мимоходомъ. Заслуживаетъ или не заслуживаетъ г. Розановъ хвалы съ точки зрѣнія г. Мережковскаго,—хвала на лицо. А хвала г. Мережковскаго чего-нибудь стоитъ. „Насъ мало, но съ каждымъ днемъ все больше",—заявляетъ онъ (XXXIV). И онъ не совсѣмъ не правъ. Въ прошломъ или въ началѣ нынѣшняго года въ Петербургѣ образовалось „религіозно-философское общество", видными членами и, если не ошибаюсь, членами совѣта котораго состоятъ и г. Розановъ, и г. Мережковскій. Но и помимо того вліянія, которое они имѣютъ или могутъ имѣть въ средѣ этого кружка, нѣкоторые болѣе общіе ихъ взгляды, независимо отъ нихъ самихъ, получаютъ на нашихъ глазахъ болѣе или менѣе широкое распространеніе. Не они одни ищутъ путей въ область завѣдомо невѣдомыхъ „ноуменовъ", какъ пишетъ г. Розановъ, или „нуменовъ", по правописанію г. Мережковскаго. Есть въ нашей современной общественной атмосферѣ что-то такое, что отвращаетъ

людей отъ „феноменовъ", явленій, и устремляетъ ихъ въ „по ту сторонній" міръ нуменовъ, ими самими признаваемый недосягаемымъ, вслѣдствіе чего мысль ихъ по необходимости принимаетъ мистическій характеръ полу-вѣры, полу-якобы-знанія. Признавая лежащее въ основѣ христіанства откровеніе, они, однако, не довольствуются имъ и стремятся собственными силами проникнуть въ сокровенную сущность вещей. Любопытно, что къ этому тяготѣютъ, между прочимъ, и нѣкоторые недавніе ярые сторонники и проповѣдники экономическаго матеріализма: salto mortale, очень характерное для исторіи русской мысли и поучительный примѣръ для всѣхъ скороспѣлыхъ творцовъ „новыхъ словъ". Я не говорю, что эти еще недавно столь непреклонные и непримиримые матеріалисты совершенно совпадаютъ въ своихъ теперешнихъ воззрѣніяхъ съ г. Розановымъ или г. Мережковскимъ (не вполнѣ совпадаютъ, какъ увидимъ, и они). Можетъ быть, дѣло и до этого дойдетъ, можетъ быть, и ихъ съ теченіемъ времени постигнетъ перенесеніе функцій головного мозга на „знаки пола", но пока рѣчь идетъ только о тяготѣніи къ „до-мірной истинѣ" и презрительномъ отношеніи къ „обыкновенному, феноменальному сужденію". Не думаю, чтобы это теченіе увлекло многихъ, массу, какъ это было когда-то съ увлеченіемъ идеями Писарева или недавно—марксизмомъ. Но оно существуетъ, и если не измѣнятся общія условія русской жизни, то съ нимъ, вѣроятно, сольются въ ближайшемъ будущемъ отдѣльныя струи въ родѣ мэоновъ г. Минскаго, разныхъ толковъ декадентства, ничшеанства въ нѣкоторыхъ русскихъ толкованіяхъ и т. п.

Здоровая и разумная часть писаній г. Розанова—его отношеніе къ аскетизму и связанному съ нимъ лицемѣрію или страданію, и вытекающіе отсюда практическіе выводы о разводѣ, о внѣбрачныхъ дѣтяхъ и проч.—отнюдь не составляютъ какой-нибудь новости въ русской литературѣ. Въ старые годы уже „дѣти" въ „Отцахъ и дѣтяхъ" Тургенева все это знали. Новъ лишь антуражъ, обстановка, въ которой здравыя мысли являются въ изложеніи г. Розанова. Быть можетъ, для извѣстнаго круга читателей важно и полезно, что мысли эти подкрѣпляются у него словами Ветхаго и Новаго Завѣта,—объ этомъ я не берусь судить. Но обо всемъ остальномъ можно сказать стариннымъ изреченіемъ: все хорошее здѣсь не ново, а все новое—нехорошо. Мало сказать: не хорошо. Хорошее у г. Розанова совершенно завалено сумбурно-ноуменальными сугробами, черезъ которые читателю приходится перебираться, еже-

минутно увязая по поясъ. Самъ-то г. Розановъ летаетъ по этимъ сугробамъ съ изумительною легкостью. На то у него „крылышки“ и „вѣтерокъ“... я хотѣлъ сказать: вѣтерокъ въ головѣ, но вспомнилъ, что голова, по толкованію г. Розанова, тутъ не при чемъ, а все дѣло въ „знакахъ пола“. Развязность, съ которою г. Розановъ предъявляетъ себя читающей публикѣ—хотя бы и публикѣ „Новаго Времени“, „Гражданина“ и „Русскаго Труда“ — есть тоже своего рода признакъ времени. Разумѣю не то, что г. Розановъ часто ведетъ рѣчь о предметахъ неудобосказуемыхъ, для которыхъ, по его собственнымъ словамъ, „въ спеціальныхъ книгахъ употребляютъ термины латинскаго, т. е. мертваго, не ощущаемаго нами съ живостью языка“. Это можетъ быть оправдано искренностью и чистотою намѣреній. Но никакихъ оправданій нѣтъ для всѣхъ тѣхъ маханальностей — вплоть до настоящаго бреда, о которыхъ у насъ была рѣчь выше.

Мы наканунѣ пятидесятилѣтія со времени появленія въ печати перваго произведенія гр. Л. Н. Толстого,—„Дѣтство и отрочество“. Пятьдесятъ лѣтъ работы для автора и пятьдесятъ лѣтъ художественнаго наслажденія и взволнованной мысли для русскаго общества... Мнѣ не разъ приходилось писать о Толстомъ, то восторгаясь имъ, то съ болью въ сердцѣ отшатываясь отъ него. Толстой и теперь высказываетъ подчасъ мысли, съ которыми мудрено согласиться, мало того,—противъ которыхъ мудрено не протестовать. Но Толстой есть Толстой, нѣчто огромное, чему равнаго въ русской литературѣ нѣтъ. И вотъ что мы, между прочимъ, читаемъ въ вышеупомянутой книгѣ г. Мережковскаго: „Князь Мышкинъ“ („Идіотъ“ Достоевскаго), хотя и „бѣдный“, всетаки подлинный рыцарь, — въ высшей степени народенъ, потому что въ высшей степени благороденъ, ужъ конечно, болѣе благороденъ, чѣмъ такіе разбогатѣвшіе на счетъ своихъ рабовъ помѣщики-баре, какъ Левины или Ростовы, Толстые, потомки петровскаго, петербургскаго „случайнаго“ графа Петра Андреевича Толстого, получившаго свой титулъ, благодаря успѣхамъ въ сыскныхъ дѣлахъ „Тайной Канцеляріи“ („Религія Толстого и Достоевскаго“, 252). Эта не требующая комментаріевъ, безобразно-неистовая выходка—одна изъ многихъ въ книгѣ г. Мережковскаго — тѣмъ непристойнѣе, что авторъ знаетъ огромность человѣка, на котораго онъ, карликъ, съ такимъ бѣшенствомъ замахивается. Только замахивается, потому что этимъ нельзя ударить

Толстого, слишкомъ хорошо знающаго цѣну, по его выраженію, „поколѣній лордовъ“. Пусть, какъ продолжаетъ г. Мережковскій, князь Мышкинъ есть „русскій исконный князь и не отрекается отъ своего княжества“, — это его дѣло. Толстой есть Толстой, и это наше, читательское, дѣло. Намъ все равно, графъ онъ или не графъ, были ли его предки исконные или случайные люди. Припоминая весь пятидесятилѣтній путь литературной дѣятельности „великаго писателя русской земли“, мы видимъ, что и въ своихъ великихъ произведеніяхъ, и въ своихъ ошибкахъ, часто очень крупныхъ, всегда, отъ первой до послѣдней написанной имъ строчки, онъ былъ и есть *самъ*, считающійся только съ собственною своею совѣстью, неподкупной ни для предразсудковъ своей среды, ни для предразсудковъ, такъ сказать, міровыхъ, не разъ мѣнявшій свои взгляды, но никогда не отступавшій отъ нихъ подъ какимъ бы то ни было внѣшнимъ давленіемъ. Въ этомъ смыслѣ онъ для насъ больше, чѣмъ великій писатель. Онъ—какъ бы живой, облеченный въ плоть и кровь символъ достоинства печатнаго слова.

X *).

О г. Мережковскомъ.—О жестокости, сладострастіи и проч.

Книга г. Мережковскаго „Религія Л. Толстого и Достоевскаго“ составляетъ второй томъ сочиненія „Христосъ и Антихристъ въ русской литературѣ. Л. Толстой и Достоевскій“. Въ первомъ томѣ Толстой и Достоевскій занимали г. Мережковскаго, какъ люди и художники, во второмъ идетъ рѣчь о нихъ, какъ „религіозныхъ мыслителяхъ“. Давая въ библіографическомъ отдѣлѣ „Русскаго Богатства“ отчетъ о первомъ томѣ, мы отказались отъ обсужденія точки зрѣнія автора въ виду ея крайней неясности и въ надеждѣ, что она выяснится во второмъ томѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы указали на извѣстную цѣнность нѣкоторыхъ изъ узоровъ, вышитыхъ г. Мережковскимъ на этомъ туманномъ фонѣ, хотя рядомъ съ ними были и совершенно другого сорта узоры. То, что было названо у насъ узорами, представляетъ собою отдѣльныя критическія замѣчанія о Толстомъ и Достоевскомъ, иногда очень тонкія и вѣрныя, иногда грубыя и произвольныя, но въ большей своей части они были или казались результатомъ очень тщательнаго и даже какъ бы слишкомъ тщательнаго изученія. Нѣкоторые читатели находили, что г. Мережковскій переходитъ за предѣлы благопристойности, безцеремонно роясь въ душѣ Толстого. Этотъ упрекъ не совсѣмъ справедливъ. Для своихъ выводовъ г. Мережковскій пользовался біографическими матеріалами, уже опубликованными самимъ Толстымъ, его родственниками и почитателями, и собственно отъ себя ни одного новаго факта не привелъ, и не его вина, если Толстой давно живетъ точно подъ стеклянным колпакомъ. Порицанія заслуживаетъ не это повтореніе давно обнародованныхъ фактовъ въ лично г. Мережковскому

*) Сентябрь 1902 г.

принадлежащемъ освѣщеніи, а какой-то до странности злобный характеръ, который по временамъ принимаетъ это освѣщеніе. Г. Мережковскій писалъ въ первомъ томѣ: „я сознаю, что по первой главѣ моего изслѣдованія читатель можетъ заподозрить меня въ предубѣжденіи противъ Л. Толстого въ пользу Достоевскаго. Но если я былъ одностороннимъ, даже какъ будто несправедливымъ, то это— преднамѣренно и предварительно; я не остановлюсь на этой ступени изслѣдованія". И онъ, дѣйствительно, не останавливается. Но и воздавая должное Толстому, онъ прорывается, какъ въ первомъ, такъ и во второмъ томѣ, злобными противъ него выходками, образчикъ которыхъ мы видѣли въ прошлый разъ. Мы этимъ образчикомъ и удовольствуемся, минуя всѣ этого рода узоры г. Мережковскаго.

При чтеніи второго тома мы нѣсколько усомнились въ томъ, что въ основаніи иногда удачныхъ отдѣльныхъ критическихъ замѣчаній лежитъ тщательность или даже чрезмѣрная тщательность изслѣдованія. Дѣло въ томъ, что г. Мережковскій склоненъ, подобно г. Розанову, къ каламбурному мышленію, то есть къ мышленію по пути не логической и фактической связи между мыслями или фактами, а звукового сходства между словами.

Достоевскій замѣтилъ какъ-то, что главныя дѣйствующія лица въ романахъ и повѣстяхъ Толстого по происхожденію принадлежатъ къ „средне-высшему" кругу общества. Это выраженіе очень понравилось г. Мережковскому, и онъ, забывая, что въ произведеніяхъ Толстого фигурируютъ, съ одной стороны, и представители такъ называемаго высшаго свѣта вплоть до императоровъ Александра, Наполеона и Франца, а съ другой, всякіе Поликушки и Ерошки,— утверждаетъ уже, что всѣ герои Толстого, какъ и самъ онъ,— „средне-высшаго" круга. Затѣмъ начинаются каламбуры: средне-высшій, срединный, посредственный, „смѣшанный" и, наконецъ, „смѣшной". И такую важность имѣетъ этотъ плохой каламбуръ въ глазахъ г. Мережковскаго, что читатель найдетъ его на стр. 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 356, 361, 367, 373, 387, 389, 445, 456, и, вѣроятно, я нѣсколько страницъ еще пропустилъ. Любопытно, что сочетаніе средне-высшаго, серединнаго и посредственнаго встрѣчается и раньше, напримѣръ, на стр. 80 и др., и лишь на 347 стр. г. Мережковскій наталкивается мыслью на нѣкоторое звуковое сходство словъ—„смѣшанный" и „смѣшной", а разъ натолкнувшись на него, уже безъ устали ѣздитъ на этомъ конькѣ, готовый видѣть въ немъ даже что-то „нуменальное". Тяготѣя вмѣстѣ съ г. Розано-

вымъ къ „по-ту-стороннему знанію“, къ „нуменамъ“, къ сокровенной сущности вещей, онъ на дѣлѣ удовлетворяется звуковымъ составомъ словъ, которыя, будучи переведены на какой-нибудь другой языкъ, утратятъ и свое звуковое сходство. И многое изъ того, что казалось намъ у г. Мережковскаго результатомъ внимательнаго изученія, есть въ дѣйствительности случайная игра словъ. Иногда случай наталкиваетъ его на дѣйствительно любопытныя, хотя и не первостепенной важности совпаденія.

Небезынтересно, напримѣръ, его указаніе на то, какъ часто фигурируетъ въ произведеніяхъ Достоевскаго безобразное и злое животное въ родѣ паука, тарантула, фаланги, скорпіона. Такъ Ипполитъ въ „Идіотѣ“ видитъ во снѣ животное „въ родѣ скорпіона, но не скорпіона, а гаже и гораздо ужаснѣе“; въ „Бѣсахъ“ Лиза говоритъ Ставрогину: „мнѣ всегда казалось, что вы ведете меня въ какое-нибудь мѣсто, гдѣ живетъ огромный злой паукъ въ человѣческій ростъ, и мы тамъ всю жизнь будемъ на него глядѣть и бояться его“; въ „Преступленіи и наказаніи“ Свидригайловъ представляетъ себѣ вѣчность въ видѣ „одной комнатки, этакъ въ родѣ деревенской бани, закоптѣлой, а по всѣмъ угламъ пауки“; „Подростокъ“ въ злую минуту чувствуетъ въ себѣ „душу паука“; Дмитрій Карамазовъ разсказываетъ: „Разъ меня фаланга укусила, я двѣ недѣли отъ нея въ жару пролежалъ, ну такъ вотъ и теперь вдругъ за сердце, слышу, фаланга укусила, злое то насѣкомое“; онъ же декламируетъ стихи: „насѣкомымъ сладострастье, ангелъ Богу предстоитъ“; въ извѣстной пушкинской рѣчи, по поводу „Египетскихъ ночей“, Достоевскій уже отъ себя говоритъ о „сладострастіи пауковой самки, съѣдающей своего самца“. Кирилловъ въ „Бѣсахъ“ говоритъ: „Я всему молюсь. Видите паукъ ползетъ по стѣнѣ, я смотрю и благодарен ему за то, что онъ ползетъ“. „И здѣсь — паукъ“, съ торжествомъ замѣчаетъ г. Мережковскій. Положимъ, что въ этомъ послѣднемъ случаѣ паукъ вызываетъ не страхъ и отвращеніе, а, напротивъ, благодарность; положимъ, далѣе, что паукъ—не насѣкомое, но это не важно. Достоевскій часто ставилъ дѣйствующихъ лицъ своихъ романовъ въ сходныя и почти тождественныя положенія и влагалъ имъ въ уста сходныя и даже прямо одни и тѣ же слова. Эти пункты, которыми онъ, значитъ, особенно дорожилъ, представляютъ для изслѣдователя особенный интересъ. Можетъ быть, къ числу ихъ принадлежитъ и фактъ, прослѣженный г. Мережковскимъ. Но слово „паукъ“ вызываетъ въ памяти критика драку пауковъ, ко-

торою забавлялся Спиноза, затѣмъ сама философія Спинозы представляется ему въ видѣ „висящей въ воздухѣ, тонкой и прозрачной паутины геометрическихъ линій—теоремъ, постулатовъ, схолій, а въ центрѣ паутины самъ паукъ Спиноза“ или его „Субстанція“; припоминается въ оторванномъ отъ сосѣднихъ фразъ видѣ выраженіе Ничше: „Gott wurde Spinne“, и у автора является удивительный вопросъ: не есть ли этотъ такъ часто повторяющійся у Достоевскаго паукъ—предсказанный Апокалипсисомъ „Звѣрь, выходящій изъ бездны передъ кончиною міра“? И во всякомъ случаѣ, набравъ въ разныхъ мѣстахъ столько пауковъ и паутины, г. Мережковскій считаетъ себя въ правѣ объявить, что паукъ Достоевскаго есть „нуменальный образъ“. Что это значитъ—„нуменальный образъ“—онъ не объясняетъ, хотя оно и не мѣшало бы.

Въ „Бѣсахъ“ юродивая Марья Лебядкина передаетъ свой разговоръ съ одной старицей. „Богородица что есть, какъ мнишь?—спросила старица.—Великая мать, отвѣчаю, упованіе рода человѣческаго.—Такъ, говоритъ, Богородица великая мать сыра земля есть, и великая въ томъ для человѣка радость заключается“. Это опредѣленіе полоумной старицы поднимаетъ въ мозгу г. Мережковскаго цѣлый запутанный переплетъ изъ словъ „мать“ и „земля“. Тутъ и языческая Magna Mater, и „подземныя таинства“, и слова Заратустры: „bleibt mir treu der Erde“, и слова старца Зосимы: „землю цѣлуй“ и проч. При этомъ смыслъ словъ „мать“ и „земля“ или игнорируется, или искажается. Г. Мережковскій цитируетъ, между прочимъ, слѣдующій отрывокъ изъ бесѣды Ивана Карамазова съ братомъ Алешей: „Не хочу я, чтобы мать (—) обнималась съ мучителемъ, растерзавшимъ ея сына! Не смѣетъ она прощать ему! Если хочетъ, пусть проститъ за себя, пусть проститъ мучителю материнское безмѣрное страданіе свое; но страданіе своего растерзаннаго ребенка она не имѣетъ права простить мучителю, хотя бы самъ ребенокъ простилъ ихъ ему“. Тамъ, гдѣ у меня стоитъ знакъ (—), г. Мережковскій вставляетъ отъ себя такой комментарій: „здѣсь, конечно, разумѣетъ онъ (то есть Иванъ Карамазовъ или самъ Достоевскій) „Великую Матерь“, „упованіе рода человѣческаго“. Г. Мережковскому хочется и сюда, хоть какъ-нибудь бокомъ, пристегнуть философію полоумной старицы и юродивой Лебядкиной. Въ дѣйствительности, Иванъ Карамазовъ говоритъ, какъ, вѣроятно, помнитъ читатель, совсѣмъ не о какой-то полуязыческой, полухристіанской Великой Матери, а просто о кресть-

янкѣ, на глазахъ которой помѣщикъ затравилъ собаками ея восьмилѣтняго сына.

Таковы узоры. Попутно мы встрѣтимся съ ними, вѣроятно, и ниже, а теперь перейдемъ къ фону книги г. Мережковскаго. Къ сожалѣнію, онъ во второмъ томѣ этого огромнаго труда не только не выясняется, какъ мы разсчитывали, говоря о первомъ, но, если это возможно, еще болѣе затуманивается. Какая-то сложная и, очевидно, очень дорогая автору идея безсильно бьется въ каждой строкѣ книги, ища и не находя себѣ выхода. Онъ безъ счета повторяетъ одни и тѣ же выраженія,—собственныя и чужія,—которыя кажутся ему исчерпывающими и рѣшающими; мечетъ громы гнѣва, льетъ слезы умиленія и восторга, спускаетъ съ туго натянутой тетивы стрѣлы ироніи,—и изо всего этого всетаки ничего не выходитъ. И хотя онъ не разъ говоритъ отъ имени какой-то сильной, если не количествомъ, то качествомъ группы единомышленниковъ, онъ приходитъ въ концѣ концовъ къ тому грустному заключенію, что „все равно сейчасъ никто или почти никто не услышитъ", то есть не пойметъ его. Я думаю, что и это много. Я думаю, что и самъ себя г. Мережковскій не совсѣмъ понимаетъ, что, впрочемъ, не мѣшаетъ существованію его единомышленниковъ, ибо много нынѣ людей, которыхъ непонятное притягиваетъ именно какъ непонятное.

Г. Мережковскій—человѣкъ необыкновенно впечатлительный и стремительный. Не разъ уже мѣнялъ онъ свой духовный обликъ, и всякій разъ это было подъ впечатлѣніемъ какого-нибудь рѣзкаго толчка, полученнаго со стороны. Получивъ откуда-нибудь этотъ толчокъ, онъ съ такою быстротой несется въ данномъ направленіи, что не успѣваетъ хорошенько оглянуться, вдуматься въ свои мысли, и въ такомъ недодуманномъ видѣ торопливо излагаетъ ихъ въ печати. Въ послѣднее время онъ получилъ съ разныхъ сторонъ два такихъ толчка и потому съ головокружительною быстротой, такъ что въ глазахъ рябитъ, вертится, какъ волчокъ, на одномъ мѣстѣ. Одинъ изъ этихъ толчковъ данъ Ничше, другой—можетъ быть, Достоевскимъ, а можетъ быть, только г. Розановымъ. Съ послѣднимъ у него во всякомъ случаѣ много общаго. Онъ называетъ „вопросъ пола" „по преимуществу нашимъ (то есть г. Мережковскаго и К°) новымъ вопросомъ, отъ котораго зависитъ все будущее христіанства", и тѣмъ самымъ примыкаетъ къ „новой концепціи христіанства" г. Розанова. Не касаясь христіанства, какъ мы это и относительно г. Розанова сдѣлали, и, выдѣляя затѣмъ основное житейское положеніе г. Мережков-

скаго изъ окружающаго его мистическаго тумана, мы получимъ очень простую и здравую мысль: требованія плоти сами по себѣ не только не постыдны, но такъ же естественны, законны, такъ же, если угодно „святы" („святая плоть" — одно изъ излюбленныхъ выраженій г. Мережковскаго), какъ и требованія духа. Люди, для которыхъ природа человѣка представляетъ собою нѣчто единое, „цѣлокупное", а не раздѣленное какою-то непереходимою трещиною на духъ и тѣло, не найдутъ въ этомъ положеніи ничего новаго или трудно постигаемаго. Трудности начинаются за предѣлами этого общаго положенія, въ частностяхъ, когда вслѣдствіе сложности жизни приходится жертвовать однимъ требованіемъ природы ради другого, признаваемаго высшимъ или же только неотложнымъ. Можно бы было вполнѣ сочувствовать нѣкоторымъ разсужденіямъ г. Мережковскаго о „Крейцеровой сонатѣ" или „Аннѣ Карениной", какъ и нѣкоторымъ соображеніямъ г. Розанова о правахъ плоти, если бы эти разсужденія и соображенія не были облечены въ совершенно ненужную мистическую одежду. А для обоихъ этихъ почтенныхъ писателей это даже не одежда, а именно самая суть дѣла. Но въ этой сути они не совсѣмъ сходятся. Г. Розановъ вводитъ въ свою „новую концепцію" неудобопонятную „религію пола", текстами св. писанія (кромѣ собственныхъ открытій въ области біологіи) стараясь доказать что аскетическая мораль есть резузьтатъ ошибочнаго и именно односторонняго пониманія христіанства. Г. Мережковскій же видитъ „новую концепцію" въ сліяніи, въ высшемъ „синтезѣ" этой признаваемой и имъ односторонности съ односторонностью языческою или „анти-христіанскою".

Сообразно этому центръ вниманія г. Розанова составляетъ семья, ради которой дозволительно, какъ мы видѣли, „продать" отечество; г. же Мережковскій провидитъ „всемірное единеніе", ради котораго все позволено", и неудачные образцы котораго даны въ римской имперіи, въ папствѣ, въ имперіи Наполеона, а окончательно создастся оно на русской почвѣ.

Въ 1896 г. былъ напечатанъ романъ г. Мережковскаго „Отверженный" или „Смерть боговъ". Въ предисловіи авторъ объяснилъ, что романъ этотъ есть первая часть трилогіи „Христосъ и Антихристъ", въ которой будутъ изображены три момента изъ исторіи борьбы христіанства и язычества. Съ тѣхъ поръ появилась и вторая часть трилогіи—„Воскресшіе боги". Третья часть—„Петръ и Алексѣй"—не вышла до сихъ поръ, вѣроятно, потому, что, готовя ее,

авторъ увлекся новой грандіозной задачей, которую и рѣшаетъ въ двухтомномъ сочиненіи „Христосъ и Антихристъ въ русской литературѣ". Повидимому, это увлеченіе было результатомъ нѣкоторой перемѣны взглядовъ г. Мережковскаго. Намѣчая въ предисловіи къ „Отверженному" содержаніе третьей части трилогіи, г. Мережковскій говорилъ, между прочимъ, о „новыхъ галилеянахъ, народныхъ герояхъ Льва Толстого и Достоевскаго, нерѣдко темныхъ, слабыхъ и немудрыхъ, но открывающихъ божественную тайну міра въ страданіяхъ и любви". Теперь для г. Мережковскаго иначе освѣщаются какъ „народные герои" Льва Толстого и Достоевскаго, такъ и вообще вся ихъ литературная дѣятельность. И онъ съ обычною своею стремительностью предъявляетъ намъ это новое освѣщеніе, откладывая окончаніе трилогіи на неопредѣленное время; тѣмъ болѣе, что во второй части онъ настолько запутался въ историческихъ подробностяхъ и мелочахъ, что изъ-за нихъ еле усмотрѣть можно идею романа, а въ своемъ новомъ трудѣ онъ возвращается къ тому же сопоставленію или противопоставленію Христа и Антихриста.

Уже въ планѣ трилогіи заставляло призадуматься слѣдующее обстоятельство. Г. Мережковскій имѣетъ въ виду „вѣчную борьбу двухъ началъ, двухъ истинъ, двухъ міровъ", вѣчную и всемірную или даже „премірную"—странный терминъ, принадлежащій ему вмѣстѣ съ г. Розановымъ. Но, не говоря о томъ, что борьбѣ этой, какъ увидимъ, предстоитъ конецъ, и чуть ли не очень близкій, въ „высшемъ синтезѣ" враждующихъ началъ, она ведется на пространствѣ лишь такъ называемаго цивилизованнаго міра и лишь между греко-римскимъ язычествомъ и христіанствомъ. Всѣ другіе виды язычества, равно какъ юдаизмъ, буддизмъ, магометанство, которые въ совокупности исповѣдываются въ настоящее время 70-ю процентами населенія земного шара, остаются внѣ кругозора г. Мережковскаго; какова ихъ роль во всемірной и премірной борьбѣ,—неизвѣстно. И любопытно, что, цѣпляясь вездѣ, гдѣ только можно, за слово „антихристъ",*) г. Мережковскій обходилъ молчаніемъ Вл. Соловьева, для ко-

*) Вездѣ, гдѣ можно и даже гдѣ нельзя. Часть неоконченной книги Ничше „Der Wille zur Macht" озаглавлена „Der Antichrist". Г. Мережковскій переводитъ это заглавіе словомъ „Антихристъ", какъ если бы у Ничше шла рѣчь объ опредѣленной личности, имѣющей явиться передъ концомъ міра. Въ дѣйствительности Antichrist у Ничше буквально значитъ „анти-христіанинъ", а переводитъ это слово слѣдуетъ: «анти-христіанство» или: „противъ христіанства". Съ другой стороны, упоминая о Петрѣ Великомъ и Наполеонѣ,

тораго грядущее пришествіе антихриста какъ-то связывалось съ пробужденіемъ Китая и Японіи и новымъ нашествіемъ монголовъ, чуждыхъ какъ христіанскому, такъ и греко-римскому міру. Задача г. Мережковскаго безпорно очень грандіозна, но „вѣчность“ и „всемірность“ или „премірность“ тутъ всетаки не при чемъ. Размышляя о судьбахъ всего „міра“, онъ оперируетъ надъ весьма въ сущности малою частью исторіи человѣчества, да и ту суживаетъ, наконецъ, до того, что разрѣшенія „вѣчнаго“ противорѣчія между язычествомъ и христіанствомъ, Христомъ и антихристомъ, ждетъ, чуть ли не отъ завтрашняго дня, и произойдетъ оно, по его мнѣнію, гдѣ-то совсѣмъ близко около него, въ Россіи. Во всякомъ случаѣ, онъ-то уже предчувствуетъ его, различаетъ очертанія того „символа“, въ которомъ оно выразится...

Въ задаткѣ онъ, этотъ символъ, по мнѣнію г. Мережковскаго, уже имѣется у насъ въ поэзіи Пушкина. Но Пушкинъ намекнулъ только на великую тайну и унесъ ее съ собой въ могилу. Изъ него вышли Толстой и Достоевскій, „близкіе и противоположные другъ другу, какъ двѣ главныя, самыя могучія вѣтви одного дерева, расходящіяся въ противоположныя стороны своими вершинами, сросшіяся въ одномъ стволѣ своими основаніями“. Они какъ бы подѣлили между собою великое наслѣдство Пушкина, усвоивъ себѣ одинъ— Толстой, „тайновидецъ плоти“—языческую радость плотскаго бытія и довѣрія къ жизни, другой—Достоевскій, „тайновидецъ духа“— христіанское углубленіе въ радости и скорби духа. При ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, однако, что, не смотря на все величіе ихъ вклада въ литературу не только русскую, но и всемірную, оба они не только односторонни, а и въ своей односторонности непослѣдовательны. Толстой двойственъ. Онъ великъ въ своей безсознательной языческой стихіи, напоминая собою одно изъ своихъ собственныхъ лучшихъ созданій—дядю Ерошку въ „Казакахъ“. Старикъ Ерошка—здоровый, сильный, жизнерадостный, умный, есть осколокъ языческой младенчески-животной жизни, въ которой добро и зло еще не раздѣлились. Онъ живетъ и мыслитъ „по ту сторону добра и зла“. Вспоминая одного пріятеля, онъ говоритъ: „молодецъ былъ, пьяница, воръ, охотникъ, — ужъ какой охотникъ; я его всему научилъ“. Онъ и себя аттестуетъ также: „я настоящій джигитъ былъ:

въ которыхъ простой русскій народъ и раскольничьи начетчики видѣли антихристовъ, г. Мережковскій ни слова не говоритъ о Неронѣ и Магометѣ, которыхъ признавали антихристами многіе авторитеты.

пьяница, воръ, табуны въ горахъ отбивалъ, пѣсенникъ, на всѣ руки былъ"; „я человѣкъ веселый". Онъ обѣщаетъ „достать красавицу" Оленину и на замѣчаніе послѣдняго, что вѣдь это грѣхъ, возражаетъ: „Грѣхъ? Гдѣ грѣхъ? На хорошую дѣвку поглядѣть грѣхъ? Погулять съ ней грѣхъ? Али любить ее грѣхъ? Это у васъ такъ? Нѣтъ, отецъ мой, это не грѣхъ, а спасенье. Богъ тебя сдѣлалъ, Богъ и дѣвку сдѣлалъ. Такъ на хорошую дѣвку смотрѣть не грѣхъ. На то она и сдѣлана, чтобы ее любить, да на нее радоваться". „Все Богъ сдѣлалъ на радость человѣку. Ни въ чемъ грѣха нѣтъ. Хоть со звѣря примѣръ возьми. Онъ и въ татарскомъ камышѣ живетъ, и въ нашемъ. Куда придетъ, тамъ и домъ. Что Богъ далъ, то и лопаетъ. А наши говорятъ, что за это будемъ сковороды лизать. Я такъ думаю, все одна фальшь, что уставщики говорятъ". „Ты свинью убить хочешь, а она по лѣсу гулять хочетъ. У тебя такой законъ, а у нея такой законъ. Она свинья, а все она не хуже тебя, такая же тварь Божія".

Такъ вотъ этотъ дядя Ерошка кажется г. Мережковскому воплощеніемъ лучшей, „языческой" стороны Толстого; въ ней онъ живетъ одною жизнью съ природой, ею великъ въ непосредственныхъ созданіяхъ своего творчества. Но это его безсознательная стихія, съ которою чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе и упорнѣе борется его христіанское или яко-бы христіанское сознаніе. Оно яко-бы христіанское, потому что, по мнѣнію г. Мережковскаго, Толстой неправильно толкуетъ ученіе Христа, во-первыхъ, упраздняя его божественный характеръ, и во-вторыхъ, сводя его исключительно на аскетическую мораль отреченія отъ благъ жизни. И въ этомъ отношеніи г. Мережковскій не находитъ достаточно словъ для характеристики фальшивости, грубости, цинизма, узости и проч. пониманія Толстого. Относительно Достоевскаго онъ не позволяетъ себѣ ничего подобнаго. Онъ замѣчаетъ, однако, что и этотъ „тайновидецъ духа", проникнувшій въ сокровеннѣйшія глубины человѣческой души и вмѣстѣ съ тѣмъ приподнявшій завѣсу, скрывавшую отъ насъ грядущія судьбы человѣчества, — непослѣдователенъ. Въ чемъ тутъ дѣло, мы увидимъ ниже. Во всякомъ случаѣ наступитъ время, — и оно близко, — когда оправдается хорошенькое символическое стихотвореніе г-жи Гиппіусъ „Электричество", разъ пятнадцать цитируемое г. Мережковскимъ:

Двѣ нити вмѣстѣ свиты,
Концы обнажены.

То „да“ и „нѣтъ“ не слиты,
Не слиты—сплетены.
Ихъ темное сплетенье
И тѣсно и мертво;
Но ждетъ ихъ воскресенье,
И ждутъ онѣ его:
Концы соприкоснутся,
Проснутся „да“ и „нѣтъ“,
И „да“ и „нѣтъ“ проснутся
И смерть ихъ будетъ Свѣтъ.

Противоположныя односторонности Толстого и Достоевскаго, христіанство и язычество, „святой Духъ“ и „святая Плоть“, Христосъ и Антихристъ сольются и наступитъ... Свѣтъ? Не знаю, можетъ быть, и Мракъ, мракъ небытія. Не знаю также, какую роль сыграетъ при этомъ русская литература, въ лицѣ Достоевскаго и Толстого достигшая всемірнаго значенія.

Въ самомъ началѣ перваго тома книги г. Мережковскаго (стр. 5) читаемъ:

Если пророчество Достоевскаго: «Россія скажетъ величайшее слово всему міру, которое тотъ когда-либо слышалъ»—оказалось преждевременнымъ, то лишь потому, что самъ онъ не договорилъ этого слова до конца, не довелъ своего сознанія до послѣдней степени возможной ясности, испугался послѣдняго вывода изъ собственныхъ мыслей, сломилъ ихъ остріе, притупилъ ихъ жало,—дойдя до самаго края бездны, отвернулся отъ нея, и, чтобы не упасть, снова ухватился за неподвижныя, окаменѣлыя историческія формы славянофильства; тѣ самыя, для разрушенія которыхъ онъ, можетъ быть, сдѣлалъ больше, чѣмъ кто-либо. Нужна, въ самомъ дѣлѣ, великая ясность и трезвость ума, чтобы безъ головокруженія, безъ опьянѣнія народнымъ тщеславіемъ, признать всемірность идеи, открывающейся въ русской литературѣ. Можетъ быть, для нашего слабаго и болѣзненнаго поколѣнія въ этомъ признаніи больше страшнаго, чѣмъ соблазнительнаго,—разумѣю страшную, почти невыносимую тяжесть отвѣтственности.

Итакъ, пророчество Достоевскаго было только преждевременно, но оно исполнится, русской литературѣ предстоитъ великая задача продолженія и объединенія дѣла Толстого и Достоевскаго. И, возвращаясь къ этой мысли въ концѣ перваго тома (стр. 366), г. Мережковскій увѣщеваетъ „русскихъ людей новаго религіознаго сознанія“ торопиться, потому что иначе будетъ уже поздно. „Русскимъ людямъ новаго религіознаго сознанія слѣдуетъ помнить, что отъ какого-то неуловимаго движенія воли въ каждомъ изъ нихъ,—отъ движенія атомовъ, можетъ быть, зависятъ судьбы европейскаго міра“.

Но въ концѣ второго тома (стр. 526 и далѣе) оказывается, что „Анна Каренина“ и „Братья Карамазовы“ — „двѣ крайнія, высшія точки, до которыхъ достигла русская литература“.

За этими двумя вершинами начинается перевалъ черезъ какой-то великій горный кряжъ, то постепенный, то стремительный спускъ, начинается непоправимое одичаніе, запустѣніе, какъ бы внезапное изсякновеніе всѣхъ живыхъ родниковъ русскаго слова... Самое важное изъ происходящаго нынѣ въ Россіи происходитъ внѣ литературы, помимо нея, даже вопреки ей; великое русло жизни уклонилось въ сторону, глубокія воды отхлынули, и литература осталась на мели. То, о чемъ теперь мы говоримъ и думаемъ, важнѣе того, о чемъ мы пишемъ. Самаго важнаго и нужнаго не принимаетъ, не выноситъ современная литература: это—жидкость такой плотности, что предметы съ удѣльнымъ вѣсомъ пробки и щепокъ всплываютъ на ея поверхность, а все болѣе твердое, вѣское идетъ ко дну. Двадцать лѣтъ со дня смерти Достоевскаго и отреченія Л. Толстого отъ художественнаго творчества намъ нужно было, чтобы понять, что это такъ, что въ настоящее время мы переживаемъ не случайное „вырожденіе“, не временный „упадокъ“, не навѣянное, будто бы, съ Запада „декаденство“, а давно подготовлявшійся, естественный и необходимый *конецъ русской литературы*, (курсивъ г. Мережковскаго). Намъ страшно въ этомъ признаться, но, можетъ быть, конецъ русской литературы, то есть великаго русскаго созерцанія, есть начало великаго русскаго дѣйствія.

Итакъ, г. Мережковскій читаетъ отходную той самой русской литературѣ, которой только что рекомендовалъ взять на себя, и при томъ немедленно, великую задачу. Русская литература кончилась или кончается, такъ что и труду г. Мережковскаго предстоитъ либо въ видѣ пробки плавать на поверхности, либо утонуть на днѣ. Печально!.. „Писалъ—не гулялъ!“ какъ говорятъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ мужики о составителяхъ толстыхъ лексиконовъ. И вдругъ—либо пробка, либо какъ ключъ ко дну!.. Правда, въ концѣ цитаты г. Мережковскій подставляетъ вмѣсто русской литературы „великое русское созерцаніе“ и утѣшаетъ насъ грядущей замѣной его „великимъ русскимъ дѣйствіемъ“. Этимъ въ принципѣ утѣшиться, конечно, можно, — въ принципѣ, потому что позволительно сомнѣваться, чтобы то, что г. Мережковскій называетъ великимъ дѣйствіемъ, было и въ самомъ дѣлѣ велико. Однако, неужто въ этомъ дѣйствіи такъ-таки и нѣтъ мѣста слову, литературѣ? Но за то почти вѣрно, что „то, о чемъ мы теперь говоримъ и думаемъ, важнѣе и нужнѣе того, о чемъ мы пишемъ“,—почти вѣрно, потому что есть счастливыя исключенія. Вотъ хоть бы самого г. Мережковскаго: вѣдь онъ написалъ свои безъ малаго 1000 печатныхъ страницъ

именно о томъ, что онъ считаетъ наиболѣе важнымъ и нужнымъ. Мы, не составляющіе исключенія изъ указаннаго имъ правила, можемъ завидовать ему, какъ и другимъ счастливцамъ, но если правило указано имъ вѣрно, то истолковано оно совсѣмъ не вѣрно, лучше сказать, совсѣмъ не истолковано. Почему, въ самомъ дѣлѣ, мы можемъ говорить и думать о томъ, что считаемъ важнымъ, а пишемъ... ну хоть о внутреннихъ ввернутостяхъ и внѣшнихъ вывернутостяхъ г. Розанова? Руки у насъ отвалились, или письменно излагать свои собственныя мысли мы разучились? Вѣдь о ввернутостяхъ и вывернутостяхъ не разучились же, почему же о важномъ то, что сами считаемъ важнымъ и нужнымъ, о чемъ и говоримъ и думаемъ, — писать не можемъ? Мудрый Эдипъ, разрѣши! А и не хитрая, казалось бы, задача.

И еще разъ обращается г. Мережковскій къ концу русской литературы, но на этотъ разъ не всей литературы, а только декадентской, хотя приходитъ къ выводу, еще болѣе широкому. „Мы — „декаденты", „упадочники", — съ скромною гордостью или съ горделивою скромностью говоритъ онъ, - хотя, можетъ быть, и „декадентство" наше есть нѣчто родное, народное, русское, не извнѣ, а изнутри идущее, не изъ Западной Европы, а изъ глубины, изъ самыхъ кровныхъ материнскихъ нѣдръ русской земли; можетъ быть, и наше „декадентство" есть также нѣчто исторически-естественное, необходимое, ибо что же мы такое, какъ не естественный и необходимый *конецъ русской литературы*, которая сама есть конецъ чего-то еще большаго?"

Если вся литература наполнится „фіолетовыми руками на эмалевой стѣнѣ", „тѣнью несозданныхъ созданій", „на льду олеандрами", „мертвецами, освѣщенными газомъ", незакрытыми, „блѣдными ногами" и прочими и прочими продуктами декадентскаго творчества, съ придачей внутреннихъ ввернутостей и внѣшнихъ вывернутостей, то, несомнѣнно, это будетъ концомъ русской литературы. Но я думаю, что не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюетъ г. Мережковскій. И когда эти пузыри, выскочившіе на теперешней стоячей водѣ, благополучно лопнутъ, русская литература, думаю, не пострадаетъ. Но какой „конецъ еще чего-то большаго" знаменуютъ или предуказываютъ собою эти пузыри? — „конецъ міра, конецъ всемірной исторіи", совершенно серьезно отвѣчаетъ г. Мережковскій. Народится, а, можетъ быть, уже и народился Антихристъ и — „конецъ всему"... Да, если всему конецъ, то, надо полагать, будетъ конецъ и

г. Бальмонту, и г-жѣ Гиппіусъ, и г. Емельянову-Коханскому, и г. Мережковскому, и г. Розанову. Они сами это знаютъ. Г. Мережковскій съ пророческимъ паѳосомъ говоритъ отъ ихъ лица: „Мы вѣримъ въ конецъ, видимъ конецъ, хотимъ конца, ибо мы сами — конецъ или, по крайней мѣрѣ, начало конца. Въ глазахъ нашихъ выраженіе, котораго еще не было въ глазахъ человѣческихъ: въ сердцахъ нашихъ — чувство, котораго никто изъ людей не испытывалъ вотъ уже девятнадцать вѣковъ".

Нельзя не повѣрить людямъ съ такимъ выраженіемъ глазъ, но если такъ близокъ „конецъ всемірной исторіи", „конецъ всего", то въ чемъ же должно состоять „великое русское дѣйствіе", которое замѣнитъ собою „великое русское созерцаніе"? Конецъ, неизбѣжный, непредотвратимый, казалось бы, можно именно только созерцать, пока не закроются всѣ выразительные и невыразительные глаза...

О пришествіи Антихриста у насъ еще будетъ рѣчь. Къ нему надо подготовиться.

Когда-то я назвалъ Достоевскаго „жестокимъ талантомъ". Слово это вообще, кажется, привилось, но время отъ времени раздавались противъ него негодующіе голоса. Мнѣ ни разу, однако, не попадались какія-нибудь возраженія, опроверженія, что-нибудь доказательное и мотивированное. Видно, что слово не нравится, но никто даже не пытается объяснить, почему оно не нравится, и тѣмъ менѣе доказать, что оно невѣрно. Вотъ и г. Мережковскій и въ первомъ, и во второмъ томѣ своей книги не разъ возвращается къ этому слову, видимо имъ недовольный, но не представляетъ ни одного возраженія, а лишь иронизируетъ, прибавляя для пущей ироніи къ эпитету „жестокій" слово „*только* жестокій". Позволю себѣ замѣтить почтенному автору, что я никогда не называлъ Достоевскаго *только* жестокимъ талантомъ. Напротивъ, съ ясностью, не оставляющею мѣста никакимъ сомнѣніямъ и перетолкованіямъ, я ставилъ это *только* совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ. Именно, оговорившись, что я не берусь исчерпать всего Достоевскаго, я предложилъ читателю „посмотрѣть *только* на тѣ черты... которыя оправдываютъ заглавіе статьи, жестокій талантъ" (Сочиненія, V, 5). А вотъ образчики ироніи г. Мережковскаго: „Существуютъ простодушные читатели съ размягченною дряблою современною чувствительностью, которымъ Достоевскій всегда будетъ

казаться „жестокимъ“, только „жестокимъ талантомъ“. И въ самомъ дѣлѣ, въ какія невыносимо безвыходныя, неимовѣрныя положенія ставитъ онъ своихъ героевъ. Чего онъ только надъ ними не продѣлываетъ. Черезъ какія бездны нравственнаго паденія, духовныя пытки, не менѣе ужасныя, чѣмъ тѣлесная пытка Ивана Ильича, доводитъ онъ ихъ до преступленія, самоубійства, слабоумія, бѣлой горячки, сумасшествія... Да, во истину это—палачъ, сладострастникъ мучительства, Великій Инквизиторъ душъ человѣческихъ,—„жестокій талантъ“ (I, 286). Пустивъ далѣе стрѣлу въ читателей, „одаренныхъ такъ называемою „душевною теплотою“, которую иногда хотѣлось бы назвать „душевною оттепелью“, г. Мережковскій прибавляетъ: „можетъ быть, они и правы, можетъ быть, дѣйствительно Достоевскій жестокъ, даже болѣе жестокъ, хотя ужъ, конечно, и болѣе милосердъ, чѣмъ они могутъ себѣ представить“.

Мимоходомъ сказать, я не знаю, почему г. Мережковскій такъ напираетъ на „современную чувствительность“ и „размягченность“. Пусть онъ припомнитъ хоть англо-бурскую войну во всѣхъ ея подробностяхъ или недавнія китайскія событія, доселѣ не завершенныя и грозящія новыми вспышками, кажется, не чувствительности и размягченности, пусть вообще оглянется вокругъ себя и—утѣшится. Но какъ характерно для г. Мережковскаго, да и для всѣхъ господъ, проникающихъ въ міръ „нуменовъ“, это порханіе черезъ феномены, черезъ явленія, казалось бы, достаточно яркія и громкія: кругомъ призывы къ оружію, пальба, окровавленные трупы, а они, съ своего, какъ выражается одинъ субъектъ у Успенскаго, „птичьяго дуазо“, ничего не видятъ и не слышатъ,—какая, дескать, дряблость, размягченность, чувствительность... Теперь, впрочемъ, дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что Достоевскій-то вѣдь всетаки оказывается жестокъ, даже „болѣе жестокъ“, только онъ, кромѣ того, еще милосердъ. Это, во всякомъ случаѣ, не опроверженіе. А если тутъ припуталась сбивающая съ толку иронія, то вотъ что пишетъ г. Мережковскій уже безъ малѣйшей тѣни ироніи: „Описаніе самоубійства Кириллова – это *одно изъ тѣхъ созданій Достоевскаго* (курсивъ, какъ и дальше въ этой цитатѣ,—мой), гдѣ онъ переступаетъ за предѣлы искусства; это то, о чемъ нельзя писать, почти говорить нельзя: это цинично, *жестоко*, можетъ быть, преступно, не только художественно, но и нравственно преступно. Это своего рода *вивисекція*, анатомическое разсѣченіе живой души: заглядывая въ эту зіяющую рану, окровавленныя внутренности человѣческой

души, мы *съ отвращеніемъ и съ любопытствомъ ужаса* слѣдимъ за ихъ послѣдними содроганіями" (II, 446). Неужели же и г. Мережковскій „простодушенъ"?! Неужели и этотъ желѣзный, непреклонный, въ непроницаемую броню одѣтый человѣкъ заразился презрѣнною „современною чувствительностью"?! Никогда не повѣрю!.. А, впрочемъ, какъ не повѣрить, когда фактъ на лицо? Но почему же г. Мережковскій не говоритъ о жестокости Достоевскаго прямо и просто, безъ гримасъ? Почему это странно двойственное, не прямое отношеніе къ предмету, его сильно занимающему, мало того,— къ одному изъ центральныхъ пунктовъ всей его работы?

Въ „Братьяхъ Карамазовыхъ" есть странный разговоръ почти еще подростка Алеши Карамазова съ такимъ же еще почти подросткомъ Лизой Хохлаковой. Г. Мережковскій приводитъ слѣдующіе два отрывка изъ него.

— Есть минуты, когда люди любятъ преступленіе,—задумчиво проговорилъ Алеша.

— Да, да, вы мою мысль сказали, любятъ, всѣ любятъ, и всегда любятъ, а не то что „минуты". Знаете, въ этомъ всѣ какъ будто когда-то условились лгать, и всѣ съ тѣхъ поръ лгутъ. Всѣ говорятъ, что ненавидятъ дурное, а про себя всѣ его любятъ. Послушайте, теперь вашего брата судятъ за то, что онъ отца убилъ, и всѣ любятъ, что онъ отца убилъ.

— Любятъ, что отца убилъ?

— Любятъ, всѣ любятъ. Всѣ говорятъ, что это ужасно, но про себя ужасно любятъ. Я первая люблю.

— Въ вашихъ словахъ про всѣхъ есть нѣсколько правды,—проговорилъ тихо Алеша.

— Ахъ, какія у васъ мысли!—взвизгнула въ восторгѣ Лиза.—Это у монаха-то!

Разговоръ продолжается въ томъ же тонѣ, и, наконецъ, Лиза спрашиваетъ:

— Алеша, правда ли, что жиды на Пасху дѣтей крадутъ и рѣжутъ?

— Не знаю.

— Вотъ у меня одна книга, я читала про какой-то гдѣ-то судъ, и что жидъ четырехлѣтнему мальчику сначала всѣ пальчики обрѣзалъ на обѣихъ ручкахъ, а потомъ распялъ на стѣнѣ, прибилъ гвоздями и потомъ сказалъ на судѣ, что мальчикъ умеръ скоро, черезъ четыре часа. Эка скоро! Говоритъ, стоналъ, все стоналъ, а тотъ стоялъ и на него любовался. Это хорошо.

— Хорошо?

— Хорошо. Я иногда думаю, что я сама распяла. Онъ виситъ и стонетъ, а я сяду противъ него и буду ананасный компотъ ѣсть. Я очень люблю ананасный компотъ. Вы любите?

Алеша молчалъ.

Г. Мережковскій приводитъ только два эти клочка изъ разговора Алеши съ Лизой, а остальное пропускаетъ. Между тѣмъ, и въ остальномъ есть любопытныя черточки. Такъ, Лиза выражаетъ желаніе: „Хочу, чтобы меня кто-нибудь истерзалъ, женился на мнѣ, а потомъ истерзалъ, обманулъ, ушелъ и уѣхалъ". Или: „Я все хочу зажечь домъ. Я воображаю: какъ это я подойду и зажгу потихоньку, непремѣнно, чтобы потихоньку. Они-то тушатъ, а онъ-то горитъ. А я знаю да молчу". Про нѣкоего Колганова Лиза говоритъ: „онъ какъ кубарь; завертѣть его и спустить, и стегать, стегать, стегать кнутикомъ. Выйду за него замужъ, всю жизнь буду спускать". „Я хочу дѣлать злое",—говоритъ она далѣе. Въ концѣ разговора Лиза дала Алешѣ письмо для передачи брату его, Ивану. А сама, тотчасъ по уходѣ Алеши, пріотворила капельку дверь, вложила въ щель свой палецъ и, захлопнувъ дверь, изо всей силы придавила его. „Секундъ черезъ десять, высвободивъ руку, она тихо, медленно прошла на свое кресло, сѣла, вся выпрямившись, и стала пристально смотрѣть на свой почернѣвшій пальчикъ и на выдавившуюся изъ подъ ногтя кровь. Губы ея дрожали и она быстро-быстро шептала про себя: „Подлая, подлая, подлая!" Алеша исполнилъ ея порученіе. Иванъ тотчасъ узналъ ея почеркъ. „А, это отъ того бѣсенка!—разсмѣялся онъ злобно и, не распечатавъ конверта, вдругъ разорвалъ его на нѣсколько кусковъ и бросилъ на вѣтеръ. Клочья разлетѣлись.—Шестнадцати лѣтъ еще нѣтъ, кажется, и уже предлагается!—презрительно проговорилъ Иванъ.—„Какъ предлагается?"—воскликнулъ Алеша.—Извѣстно, какъ развратныя женщины предлагаются". Алеша пораженъ, но Иванъ круто обрываетъ разговоръ, отказываясь дать какія-нибудь объясненія. Позже, уже послѣ бесѣды своей съ чортомъ, Иванъ возвращается къ этому предмету. „Что ты давеча мнѣ говорилъ про Лизу?—началъ онъ.—Мнѣ нравится Лиза. Я сказалъ тебѣ про нее что-то скверное. Я солгалъ, мнѣ она нравится". Но опять разговоръ оборвался и перешелъ на другое, и далѣе, до самаго конца романа, ни взаимныя отношенія Ивана и Лизы, ни сама она уже не поминаются, если не считать, что она прислала цвѣтовъ на гробъ Ильюшечки. Весь эпизодъ съ письмомъ такъ, неразъясненный, и утонулъ безслѣдно въ послѣднихъ событіяхъ романа.

Лиза—больная дѣвочка. Во-первыхъ, она паралитичка,—у нея ноги парализованы, во-вторыхъ, въ ней сидитъ зачатокъ какой-то психической болѣзни; это ей и Алеша говорилъ. Дѣло, можетъ

быть, въ переживаемомъ ею критическомъ возрастѣ (ей четырнадцать лѣтъ), и мы имѣемъ одинъ изъ тѣхъ, случаевъ, когда, по справедливому замѣчанію г. Розанова, „психіатръ обычно ищетъ помощи и указаній, разъясненій у акушера", у гинеколога. Но г. Мережковскій не любитъ простыхъ объясненій. „Веревка—вервіе простое". а надо подыскать что-нибудь „нуменальное", „премірное". По его мнѣнію, поведеніе Лизы отнюдь нельзя объяснить „одною случайною (?) болѣзнью", какъ не объясняется оно и „случайнымъ пошлымъ развратомъ" или „случайными порочными вліяніями". Признавая въ Лизѣ „нѣчто похожее на садизмъ, сладострастно-жестокое, паучье", онъ рѣшительно утверждаетъ что „это въ ней—самое первоначальное, первозданное, премірное, предшествующее какой бы то ни было нравственности, волѣ, сознанію, идущее, можетъ быть, изъ тѣхъ же мистическихъ глубинъ, изъ которыхъ вышло и ея цѣломудріе". Какъ смотрѣлъ на дѣло самъ Достоевскій,—мы не знаемъ. потому что образъ Лизы остался незаконченнымъ и выяснился бы только въ ненаписанной, но уже намѣченной части „Братьевъ Карамазовыхъ", гдѣ—можно догадываться—Лизѣ предстояло играть одну изъ первыхъ ролей, рядомъ съ Алешей. Во всякомъ случаѣ, въ Лизѣ, даже незаконченной, имѣются всѣ элементы, особенно занимавшіе Достоевскаго, въ зачаточномъ видѣ, конечно, потому что всетаки дѣвочка, почти ребенокъ.

Въ статьѣ „Жестокій талантъ" я по особымъ соображеніямъ не касался послѣднихъ и наиболѣе сильныхъ произведеній Достоевскаго, лишь оговариваясь, что и въ нихъ, и даже въ большей степени, онъ блещетъ все тѣмъ же жестокимъ талантомъ. Возвращаясь попутно къ Достоевскому теперь, черезъ двадцать лѣтъ, я не беру назадъ ничего изъ того, что писалъ тогда, но имѣю нѣчто прибавить,—уже не о талантѣ его, который продолжаю дерзать называть жестокимъ, а объ одной чертѣ въ содержаніи именно позднѣйшихъ, сильнѣйшихъ его произведеній.

„Дикая, безпредѣльная власть. хоть надъ мухой,—своего рода наслажденіе"; „человѣкъ деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ"; „человѣкъ иногда до страсти любитъ страданіе",—таковы афоризмы, предвосхищенные героями „Игрока" и „Записокъ изъ подполья" у Ничше и приложимые къ большинству героевъ Достоевскаго. Приложимы они къ Лизѣ Хохлаковой. Желаніе выйти замужъ, чтобы сдѣлать изъ мужа кубарь и „стегать, стегать, стегать его кнутиковъ"; аппетитъ, съ которымъ она въ мечтѣ

ѣстъ ананасный компотъ предъ лицомъ распятаго ею, стонущаго мальчика и проч., — что это, какъ не подтвержденіе афоризмовъ: „дикая, безпредѣльная власть, хоть надъ мухой — своего рода наслажденіе“ и „человѣкъ деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ“. А физическая боль, намѣренно и добровольно причиненная себѣ Лизой прищемленіемъ пальца, и духовная казнь руганью „подлая, подлая, подлая“ — не свидѣтельствуетъ ли о томъ, что „человѣкъ иногда до страсти любитъ страданіе“? Такого рода примѣровъ жажды власти и мучительства, какъ и самомучительства, приведено въ статьѣ „Жестокій талантъ“ достаточно. Но въ Лизѣ Хохлаковой есть черты, которыхъ мы тамъ не коснулись. Въ ней, какъ и г. Мережковскій признаетъ, сидитъ зародышъ маркиза де-Сада, который, послѣ цѣлаго ряда гнусностей въ половой сферѣ, былъ казненъ за ужасающія звѣрства, совершенныя имъ надъ жертвами его сладострастія. Это разъ. Затѣмъ, опять таки въ зародышѣ, въ задаткѣ, въ Лизѣ есть склонность къ религіознымъ эксцентричностямъ. Ей иногда снится такой сонъ: ее обступаютъ со всѣхъ сторонъ черти, хотятъ схватить, уже хватаютъ, а она вдругъ перекрестится, и черти отступаютъ, но не уходятъ совсѣмъ, а стоятъ въ дверяхъ и по угламъ; потомъ ей вдругъ вздумается вслухъ бранить Бога, и черти опять подступаютъ, хватаютъ, а она опять перекрестится. Любопытно, что сонъ этотъ, который Лиза разсказываетъ Алешѣ Карамазову, бываетъ и у него. Въ немъ и на яву происходитъ рядъ колебаній между Богомъ и чортомъ; ему же Достоевскій, устами другихъ дѣйствующихъ лицъ романа, предсказываетъ, что и въ немъ проснется карамазовское сладострастно-жестокое „насѣкомое“.

Это сочетаніе властнаго мучительства, самомучительства, сладострастія и религіозныхъ волненій проходитъ черезъ всѣ позднѣйшія произведенія Достоевскаго. Иногда одного какого-нибудь изъ этихъ элементовъ не достаетъ, иногда всѣ они на лицо. О Карамазовыхъ, имя которыхъ обратилось въ нарицательное для обозначенія сочетанія „идеала Мадонны съ идеаломъ Содомскимъ“ и въ которыхъ, по ихъ собственному сознанію, сидитъ „жестокое и сладострастное насѣкомое“, краткости ради, говорить не буду. Приведу только одно замѣчаніе Ивана Карамазова:

Я положительно утверждаю, что есть особенное свойство у многихъ въ человѣчествѣ—это любовь къ истязанію дѣтей, но однихъ дѣтей. Ко всѣмъ другимъ субъектамъ человѣческаго рода эти же самые истязатели относятся

даже благосклонно и кротко, какъ образованные и гуманные европейскіе люди, но очень любятъ мучить дѣтей, любятъ даже самихъ дѣтей въ этомъ смыслѣ. Тутъ именно незащищенность то этихъ созданій и соблазняетъ мучителей, ангельская довѣрчивость дитяти, которому некуда дѣться и не къ кому идти,—вотъ это то и распаляетъ гадкую кровь истязателя. Во всякомъ человѣкѣ, конечно, таится звѣрь—звѣрь гнѣвливости, звѣрь сладострастной распаляемости отъ криковъ истязуемой жертвы, звѣрь безъ удержу спущеннаго съ цѣпи, звѣрь нажитыхъ въ развратѣ болѣзней, подагръ, больныхъ печенокъ и проч.

Такіе звѣри несомнѣнно существуютъ. Таковъ былъ, напримѣръ, знаменитый современникъ Іоанны д'Ааркъ, маршалъ Жиль де-Лаваль де-Ре, гнусно изнасиловавшій и до смерти замучившій въ теченіе восьми лѣтъ восемьсотъ мальчиковъ и дѣвочекъ. Трупы замученныхъ сжигались, но нѣкоторыя особенно красивыя головки сохранялись на память. Онъ былъ поклонникомъ красоты, этотъ сверхъ-звѣрь — потому что просто звѣрь на такую сложную гнусность неспособенъ — и въ оправданіе свое ссылался на искушенія дьявола, какъ бы подтверждая изреченіе Дмитрія Карамазова: „Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тутъ дьяволъ съ Богомъ борется, а поле битвы — сердца людей". Если, однако, подобные изверги и сквернятъ время отъ времени лѣтопись человѣческихъ дѣлъ, то едва ли нужно доказывать произвольность обобщенія Ивана Карамазова: „свойство многихъ въ человѣчествѣ", „во всякомъ человѣкѣ". Тѣмъ не менѣе, это убѣжденіе раздѣляютъ и нѣкоторыя другія дѣйствующія лица романовъ и разсказовъ Достоевскаго, съ тою разницею, что они еще раздвигаютъ предѣлы обобщенія: не „однихъ дѣтей", а всякую тварь любитъ мучить человѣкъ, въ томъ числѣ и самого себя. Самъ Достоевскій, съ особеннымъ вниманіемъ вглядываясь въ людскую жестокость, почти всегда осложняетъ ее сладострастіемъ, самомучительствомъ и религіозными эксцентричностями.

Свидригайловъ, холодно-жестокій циникъ, бьетъ и, повидимому, убиваетъ свою жену, и не ее одну; пытается изнасиловать Дуню Раскольникову; растлѣваетъ дѣвочку (сцена этого растлѣнія, въ виду ея жестокаго реализма, не появилась въ печати); его циничный разсказъ о невѣстѣ вызываетъ замѣчаніе Раскольникова: „чудовищная разница лѣтъ и развитій возбуждаетъ въ васъ сладострастіе". Вмѣстѣ съ тѣмъ, Свидригайловъ самъ называетъ себя „отчасти мистикомъ" и говоритъ о „прикосновеніи къ мірамъ инымъ".

Ставрогина, властнаго и „злобнаго“, Шатовъ уличаетъ въ томъ, что онъ „принадлежалъ въ Петербургѣ къ скотскому сладострастному обществу“, что маркизъ де-Садъ „могъ бы у него поучиться“, что онъ „заманивалъ и развращалъ дѣтей“. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ есть, или былъ носителемъ нѣкоторой оригинальной религіозной идеи, о которой мы узнаемъ изъ отрывочныхъ сообщеній его учениковъ. Способный на всякую жестокость, онъ и на себя можетъ наложить мучительную эпитемью. Вытерпѣвъ пощечину отъ поклоняющагося ему Шатова, онъ, по словамъ Достоевскаго, былъ въ положеніи „человѣка, который схватилъ бы, напримѣръ, раскаленную до красна желѣзную полосу и зажалъ въ рукѣ съ цѣлью измѣрить свою твердость и затѣмъ, въ продолженіе десяти секундъ, побѣждалъ бы нестерпимую боль“. (Вспомните прищемленный палецъ Лизы Хохлаковой). Г. Мережковскій комментируетъ этотъ эпизодъ такъ: „Многолѣтнее самоумерщвленіе, медленный искусъ отшельниковъ сосредоточилъ Ставрогинъ въ эти страшныя десять секундъ, прошелъ его весь до конца“.

Отецъ „Подростка“, Версиловъ, носилъ вериги и „мучилъ себя дисциплиной, вотъ той самой, которую употребляютъ монахи“; онъ постоянно колеблется между горячей вѣрой въ Бога, и невѣріемъ, доходя до кощунства; онъ знаетъ „паучью“ любовь — ненависть и „по дѣвочкамъ, по неоперившимся дѣвочкамъ“ бѣгалъ. Самъ Подростокъ мечтаетъ о богатствѣ, огромномъ Ротшильдовскомъ, но единственно ради власти надъ людьми, даже ради одного сознанія своего могущества. „Съ самыхъ первыхъ мечтаній моихъ, — говоритъ онъ, — т. е. чуть ли не съ самаго дѣтства, я иначе не могъ вообразить себя, какъ на первомъ мѣстѣ, всегда и во всѣхъ оборотахъ жизни“ (Вспомните Раскольникова, о которомъ потомъ). „Я не знаю,—разсуждаетъ Подростокъ послѣ первой встрѣчи съ женщиной, насчетъ которой у него есть особые планы, — я не знаю, можетъ ли паукъ ненавидѣть ту муху, которую намѣтилъ и ловитъ! Миленькая мушка! Мнѣ кажется, жертву любятъ; по крайней мѣрѣ, можно любить. Я же вотъ люблю моего врага; мнѣ, напримѣръ, ужасно нравится, что она такъ прекрасна. Мнѣ ужасно нравится, сударыня, что вы такъ надменны и величественны... вы моя жертва... Какъ обаятельна эта мысль!“ „Мнѣ мерещилась женщина, гордое существо высшаго свѣта, съ которою я встрѣчусь лицомъ къ лицу; она будетъ презирать меня, смѣяться надо мной, какъ надъ мышью, даже не подозрѣвая, что я властелинъ судьбы ея...

Эта мысль пьянила меня... Я ненавидѣлъ эту женщину, но уже любилъ ее, какъ мою жертву".

Въ „Подросткѣ" есть одно побочное, вводное лицо — Ламбертъ. Это товарищъ Подростка по пансіону, часто билъ его, но былъ какъ-то привязанъ къ нему. Когда онъ ѣздилъ на конфирмацію, то къ нему пріѣхалъ его духовникъ, аббатъ Риго, поздравить съ первымъ причастіемъ, и они обнимались и оба плакали отъ умиленія; но потомъ Ламбертъ объявилъ, что все, что аббатъ говорилъ о причастіи,—вздоръ. Однажды онъ, укравъ у матери пятьсотъ рублей, повезъ съ собой Подростка кутить. Началось съ того, что Ламбертъ купилъ канарейку, привязалъ ее ниткой къ дереву и въ упоръ выстрѣлилъ въ нее изъ ружья. Потомъ поѣхали въ гостиницу, взяли номеръ, пили шампанское и пригласили извѣстнаго сорта даму. Ламбертъ раздѣлъ ее до гола и сталъ дразнить и ругать, а потомъ хлестать по голымъ плечамъ хлыстомъ. Въ концѣ романа Ламбертъ является главою шайки отъявленныхъ негодяевъ, занимающихся, между прочимъ, и такими гнусностями, на которыя авторъ рѣшается только намекнуть, хотя одинъ изъ этихъ негодяевъ очень трогательно говоритъ о Богѣ и о божественномъ. Любовница Ламберта съ ужасомъ разсказываетъ о его свирѣпости, но остается его покорной рабой.

Такъ занимало Достоевскаго сочетаніе въ разныхъ пропорціяхъ жажды власти, жестокости, самомучительства, сладострастія и религіознаго, точнѣе, мистическаго элемента. Психіатрія свидѣтельствуетъ, что такое сочетаніе, дѣйствительно, существуетъ, иногда въ формахъ еще болѣе ужасныхъ, чѣмъ тѣ, какія далъ Достоевскій, хотя она, психіатрія, и не согласится на обобщеніе: многіе изъ человѣчества, каждый человѣкъ; она, напротивъ, признаетъ подобныя явленія болѣзненными исключеніями. Исторія, съ своей стороны, укажетъ намъ рядъ не только одинокихъ изверговъ во вкусѣ Ставрогина или Ламберта, но и массовыхъ явленій этого рода, принимавшихъ въ древности, а отчасти и въ средніе вѣка, и въ новое время характеръ опредѣленнаго религіознаго культа.

Г. Мережковскій неправильно ставитъ аскетизмъ исключительно на счетъ христіанства. Онъ былъ хорошо знакомъ и язычникамъ, съ тою разницею, что въ языческихъ культахъ посты, бдѣнія, самобичеванія, вообще всякаго рода умерщвленіе плоти сочетались съ ея разнузданностью, выражавшеюся въ для насъ непонятно безстыдныхъ символахъ, жестахъ, поступкахъ. Такъ, во дворѣ Храма

Сирійской богини (Dea Syra) стояли два высокихъ столба, воздвигнутые по преданію Вакхомъ послѣ его возвращенія изъ Индіи. На этихъ столбахъ два раза въ годъ помѣщались люди и въ теченіе недѣли оставались тамъ безъ сна,—по необходимости, потому что, уснувъ, они должны были свалиться съ высоты и разбиться. Чѣмъ не христіанскіе столпники первыхъ вѣковъ? Но дѣло въ томъ, что столбы, на которыхъ происходили эти благочестивыя упражненія были—фаллусы. Празднества въ честь Великой Матери, которую г. Мережковскій, во славу словесности, ставитъ рядомъ съ Божіей Матерью, „упованіемъ рода человѣческаго" и „матерью сырой землей", сопровождались невѣроятно-отвратительными ужасами: полуголые жрецы, возбужденные пѣніемъ, музыкой и плясками, бичевали себя, наносили себѣ раны ножами и пили текущую изъ ранъ кровь и затѣмъ одни оскопляли себя, а другіе предавались распутству. О римскихъ вакханаліяхъ, обнаруженныхъ властями около 180 до Р. Х., имѣется подробный разсказъ Тита-Ливія. Въ этомъ тайномъ обществѣ происходили всякія гнусности: женщины и мужчины обезчещивались, а сопротивляющихся убивали, вообще „ничто не считалось непристойнымъ". И все это совершалось подъ покровомъ божества.

Кое-какіе факты этого же рода я приводилъ въ статьѣ „О буддизмѣ" („Сочиненія" VI). Спрашивается, какъ объяснить это сочетаніе, по выраженію Крафта-Эбинга, „преувеличеннаго религіознаго рвенія", жестокости, самомучительства и сладострастія,—комбинацію, хорошо извѣстную историкамъ, психіатрамъ, художникамъ въ родѣ Достоевскаго, но нѣкоторыя подробности которой кажутся на первый взглядъ до невозможности, до немыслимости противоестественными.

Найти это объясненіе у г. Мережковскаго—нельзя надѣяться. Объяснить что-нибудь значитъ свести непонятное и неизвѣстное къ чему-нибудь извѣстному и понятному, съ соблюденіемъ, разумѣется, извѣстныхъ предосторожностей, дабы не утратился самый смыслъ того, что подлежитъ объясненію. Г-нъ же Мережковскій такъ тяготѣетъ къ непонятному и неизвѣстному, что, сказавъ: „это мистично", или: „это нуменально, премірно, первозданно" и т. п., полагаетъ свою задачу разрѣшенною. Такъ что и обращаться къ нему за помощью намъ не зачѣмъ, да онъ и отказалъ бы намъ въ ней, потому что слишкомъ презираетъ все понятное и слишкомъ цѣнитъ все непонятное.

Обратимся къ Достоевскому. Это—беллетристъ и лишь въ „Дневникѣ писателя“ говоритъ лично отъ себя, да и тамъ часто вкладываетъ собственныя излюбленныя мысли своимъ художественнымъ созданіямъ. Но въ данномъ случаѣ это для насъ не важно: отъ кого-бы мы ни получили нужное объясненіе, лишь бы получить.

Въ „Подросткѣ“ нѣкій молодой человѣкъ Васинъ сообщаетъ герою романа свои мысли объ его отцѣ, Версиловѣ: „Онъ—очень гордый человѣкъ, а многіе изъ очень гордыхъ людей любятъ вѣрить въ Бога, особенно нѣсколько презирающіе людей. У многихъ сильныхъ людей есть, кажется, натуральная какая-то потребность—найти кого-нибудь или что-нибудь, предъ чѣмъ преклониться. Сильному человѣку иногда очень трудно переносить свою силу... Тутъ причина ясная: они выбираютъ Бога, чтобъ не преклоняться передъ людьми, разумѣется, сами не вѣдая, какъ это въ нихъ дѣлается; преклоняться передъ Богомъ не такъ обидно. Изъ нихъ выходятъ чрезвычайно горячо вѣрующіе,—вѣрнѣе сказать, горячо желающіе вѣрить; но желанія они принимаютъ за самую вѣру. Изъ этакихъ особенно часто бываютъ подъ конецъ разочаровывающіеся“.

Нѣкоторый намекъ на эту же мысль есть въ рѣчахъ другого дѣйствующаго лица „Подростка“, не имѣющаго ничего общаго съ Васинымъ,—Макара Ивановича. Но съ насъ довольно и приведеннаго. Прежде всего, что такое у героевъ Достоевскаго „сильный человѣкъ“? Одинъ изъ бывшихъ учениковъ и почитателей Ставрогина, Шатовъ, говоритъ о его „безпредѣльной силѣ“, и самъ Ставрогинъ заявляетъ, что онъ „пробовалъ вездѣ свою силу, она оказывалась безпредѣльною“. Другому почитателю, Кириллову, Ставрогинъ самъ же говоритъ: „я знаю, что я ничтожный характеръ, но я не лѣзу въ сильные“, и Кирилловъ подтверждаетъ: „и не лѣзьте, вы не сильный человѣкъ“. Версиловъ говоритъ о себѣ, что онъ „безконечно силенъ“. Но онъ силенъ способностью пассивнаго сопротивленія, которую мы не безъ основанія привыкли называть слабостью. „Я,—говоритъ онъ,—силенъ непосредственною силою уживчивости съ чѣмъ бы то ни было“; „я могу чувствовать преудобнѣйшимъ образомъ два противоположныхъ чувства въ одно и то же время“. Г. Мережковскій этому очень радъ, какъ и всякой трещинѣ, которая цѣнна именно тѣмъ, что ея края съ теченіемъ времени стянутся „высшимъ синтезомъ“,—„двѣ нити вмѣстѣ свиты, не свиты—сплетены“ и т. д. Но намъ-то всетаки нужно знать, что разумѣетъ Васинъ подъ словомъ „сильный человѣкъ“. Мы знаемъ, что физи-

чески сильный человѣкъ можетъ быть слабъ духомъ, что сильный чувствомъ бываетъ слабъ умомъ, что бываетъ вѣрна характеристика поэта: „страсти могучи, воля слаба", словомъ, возможны очень разнообразныя и рѣзко между собою различающіяся приложенія эпитета „сильный". О какой же силѣ идетъ рѣчь въ данномъ случаѣ? Отвѣта надо искать уже не у Васина, потому что онъ не углубляется въ эту тему, а у другихъ дѣйствующихъ лицъ Достоевскаго. И я думаю, что отвѣтъ этотъ данъ уже приведенными афоризмами: „дикая, безпредѣльная власть хотя бы надъ мухой есть своего рода наслажденіе"; „человѣкъ—деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ"; „человѣкъ до страсти любитъ страданіе". Возможностью властвовать, мучить другихъ и себя веригами и эпитемьями мучить мѣряется та сила, о которой говоритъ Васинъ. Возможность же эта дается иногда даже просто физическими условіями, какъ въ случаѣ мучительства дѣтей, о которомъ съ такимъ негодованіемъ говоритъ Иванъ Карамазовъ, или Ротшильдовскимъ богатствомъ, о которомъ мечтаетъ Подростокъ, или общественнымъ положеніемъ, или обаяніемъ женской красоты, или особенными качествами духа, какъ это было съ самимъ Достоевскимъ и его жестокимъ талантомъ. Не смотря на всѣ свои ироническія гримасы, г. Мережковскій признаетъ, что Достоевскій бывалъ не просто жестокъ, а даже „преступно" жестокъ въ своихъ мучительныхъ картинахъ и образахъ; и, конечно, не могъ и самъ не испытывать мученій, вынашивая и мысленно переживая эти ужасы; и точно также несомнѣнно, что, властвуя надъ читателемъ своимъ талантомъ, онъ испытывалъ особое наслажденіе — припомните „Униженныхъ и оскорбленныхъ" и разсказъ Ивана Петровича о слезахъ Наташи. Наконецъ, на самомъ Достоевскомъ оправдываются и слова Васина о „горячей вѣрѣ, вѣрнѣе, горячемъ желаніи вѣрить въ Бога" и о „разочарованіи" такихъ „сильныхъ" людей. Достоевскій съ сердитою ироніей писалъ какъ-то о дуракахъ и пошлякахъ, которые „попрекали его ретроградною вѣрою въ Бога", тогда какъ, дескать, онъ дошелъ до своей вѣры сквозь тьму такихъ глубокихъ сомнѣній, какихъ не переживалъ ни одинъ атеистъ. Я не знаю, кто попрекалъ его „ретроградною вѣрою", да по условіямъ нашей печати попреки въ такихъ выраженіяхъ и невозможны. Я съ своей стороны думаю, что Достоевскій въ теченіе всей жизни, до конца дней своихъ именно страстно желалъ вѣрить и постоянно колебался между вѣрою и невѣріемъ, раздавая то и другое во временное пользованіе своимъ дѣйствующимъ лицамъ. Во

всякомъ случаѣ мысль его была постоянно устремлена въ эту сторону.

Итакъ, вотъ найденное нами у Достоевскаго или, вѣрнѣе, выведенное изъ него объясненіе сочетанія религіозной эксцентричности, жестокости и самомучительства. Но мы не коснулись еще одного элемента занимающей насъ комбинаціи — сладострастія. Разумѣю не то сладострастіе, которое составляетъ естественно-законную сторону половой любви и тонетъ въ ней, а сладострастіе братьевъ Карамазовыхъ, маленькой Лизы Хохлаковой, Ставрогина, Свидригайлова, Версилова, Подростка, Ламберта, героя „Записокъ изъ подполья", „Игрока"; сладострастіе, сопряженное со злобой, ненавистью, жестокостью, мучительствомъ.

Попробуемъ всетаки заглянуть въ г. Мережковскаго — это одна изъ излюбленнѣйшихъ его темъ, онъ, да вотъ еще г. Розановъ — спеціалисты по „вопросу пола", отъ котораго зависитъ „все будущее христіанства".

На стр. 473—474 идетъ рѣчь о „святомъ сладострастіи". „Зачѣмъ лицемѣрить"? — говоритъ г. Мережковскій: безъ него „въ условіяхъ человѣческой природы невозможно то окончательное безвозвратное, до разрыва самыхъ кровныхъ узъ, отеческихъ и материнскихъ („покинетъ человѣкъ отца и мать") прилѣпленіе половъ, о которомъ говоритъ Господь: „они уже не два, а одна *плоть*", не одна *душа*, а одна *плоть;* сначала одна плоть, а потомъ уже и одна душа. Таинство брака есть, преимущественно и прежде всего, таинство плоти, тутъ не отъ духа къ плоти, а, наоборотъ, отъ плоти къ духу устремляется святость. Соединеніе душъ возможно и внѣ брака, но совершенно святое единеніе плоти съ плотью не можетъ быть внѣ таинства брака. Господь не только не отвергъ, не проклялъ, но принялъ, какъ незыблемое основаніе бытія, благословилъ и озарилъ до конца своимъ божескимъ сознаніемъ тайну пола—то первозданное, огненное, стихійное, что, безъ этого свѣта божескаго сознанія, всегда казалось и будетъ казаться злымъ, страшнымъ, оргійно-разрушительнымъ, звѣрскимъ".

Такимъ образомъ, „святое сладострастіе" возможно только въ бракѣ и при томъ въ христіанскомъ бракѣ. На него не могутъ разсчитывать ни внѣ-брачныя сожительства христіанъ, ни браки не-христіанъ. Но обратите вниманіе на маленькую двусмысленность, похожую, пожалуй, на лазейку, въ послѣднихъ словахъ цитаты: сожительство внѣ христіанскаго брака не всегда *было* и *будетъ* „злымъ,

страшнымъ" и т. д., а только „всегда *казалось* и будетъ *казаться*". То, что намъ „кажется", вѣдь это только феномены, явленія, а въ мірѣ нуменовъ дѣло обстоитъ, можетъ быть, и иначе. Мы уже знаемъ, что, кромѣ „святого", есть еще „паучье" сладострастіе, и оно представляетъ собою нѣчто премірное, нуменальное, предшествующее всякой нравственности, даже сознанію и вѣрѣ. Развѣ можно наложить руку на нуменъ, на сущность вещей? Указаніе на эту невозможность можно найти, напримѣръ, въ слѣдующихъ словахъ г. Мережковскаго: „Въ сладострастіи (*слово это я, конечно, понимаю здѣсь въ самомъ глубокомъ мистическомъ смыслѣ*) есть нѣчто „чуждое", по замѣчанію Китти, нечеловѣческое, *какъ будто* „звѣрское" (470). Но,—продолжаетъ авторъ, — это только съ толстовской аскетической точки зрѣнія „звѣрское" значитъ „скотское", постыдное, скверное, и недаромъ дядя Ерошка, это воплощеніе лучшей стороны Толстого, говоритъ, что звѣрь такая же Божья тварь, какъ и человѣкъ. Въ чемъ именно состоитъ „самый глубокій мистическій смыслъ" слова „сладострастіе", — г. Мережковскій такъ и не сообщаетъ своимъ читателямъ. А между тѣмъ, есть и еще какое-то „новое, почти никому еще невѣдомое сладострастіе"—въ безплотной и, слѣдовательно, казалось бы, лишенной страдострастія любви князя Мышкина къ Аглаѣ (456—457)...

Нѣтъ, напрасно мы тревожили г. Мережковскаго. Вернемся опять къ Достоевскому.

Властныхъ и жестокихъ женщинъ у Достоевскаго не мало. Полина, Грушенька, Настасья Филипповна, жена Трусоцкаго („Вѣчный мужъ"), да и „мадонна" Аглая и другія колеблются между любовью и ненавистью и на разные лады мучатъ и своихъ возлюбленныхъ, и своихъ соперницъ, и самихъ себя. Но въ нихъ не хватаетъ „преувеличеннаго религіознаго рвенія", и полностью вся наша комбинація имѣется, кажется, только въ одной изъ героинь Достоевскаго, да и то въ неразвернувшихся еще чертахъ,—въ малолѣтней или несовершеннолѣтней Лизѣ Хохлаковой. А самое выразительное опредѣленіе смысла и характера половыхъ отношеній находимъ у мужчины, именно у героя „Записокъ изъ подполья". Онъ знаетъ, что женщина „изъ любви нарочно человѣка можетъ мучить", а о мужской любви, въ предѣлахъ своего личнаго опыта, говоритъ слѣдующее: „Любить у меня значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь даже себѣ представить не могъ иной любви и до того дошелъ, что иногда теперь думаю, что лю-

бовь-то и состоитъ въ добровольно дарованномъ отъ любимаго предмета правѣ надъ нимъ тиранствовать".

И здѣсь, значитъ, мы имѣемъ все ту же жажду первенства, власти, ту же „силу", измѣряемую степенью и количествомъ причиняемыхъ ею страданій; а затѣмъ сюда приложимо и все вышеприведенное разсужденіе Васина. Еще одно маленькое замѣчаніе. „Сильные" люди обуреваются религіозными эксцентричностями или „преувеличеннымъ религіознымъ рвеніемъ", потому что не хотятъ поклониться людямъ, но женщины, по наблюденію одного изъ героевъ Достоевскаго, постоянно ищутъ человѣка, передъ которымъ онѣ могли бы преклониться, „жертвою" котораго онѣ могли бы сдѣлаться. Можетъ быть, именно поэтому среди героинь Достоевскаго одна Лиза Хохлакова является носительницей религіозной эксцентричности.

Таково психологическое объясненіе, — если это можно назвать объясненіемъ, — которое не дано Достоевскимъ, но можетъ быть выведено изъ совокупности рѣчей его героевъ, для связи между жаждою власти, мучительствомъ, самомучительствомъ, сладострастіемъ и „преувеличеннымъ религіознымъ рвеніемъ".

Къ нему близко подходитъ психологическое же объясненіе Ничше. И для Ничше стремленіе къ первенству, жажда власти (Wille zur Macht) есть коренное, говоря языкомъ г. Мережковскаго, первозданное, хотя и едва-ли „премірное" свойство человѣческой природы, на основаніи котораго должна быть произведена „переоцѣнка всѣхъ нашихъ цѣнностей". Эта жажда власти требуетъ жестокости, какъ свидѣтельства силы. „Видъ страданія доставляетъ наслажденіе, причиненіе страданія доставляетъ наслажденіе сугубое". „Мы хотимъ, чтобы нашъ видъ причинялъ другому страданіе и возбуждалъ въ немъ зависть и чувство своего безсилія и упадка; мы хотимъ заставить его просмаковать горечь его судьбы". Здѣсь же лежитъ источникъ и самомучительства, жестокой аскетической практики умерщвленія плоти. Подвергая свою плоть разнымъ лишеніямъ и терзаніямъ, умерщвляя ее, человѣкъ уподобляется хищному звѣрю, заключенному въ клѣтку, который яростно ломаетъ рѣшетки этой клѣтки. Онъ при этомъ наслаждается сознаніемъ власти надъ самимъ собой и превосходствомъ надъ другими, неспособными на такіе подвиги. Подъ всѣмъ этимъ, какъ видитъ читатель, могли бы подписаться многіе герои Достоевскаго, если не онъ самъ. Но сладострастію Ничше удѣляетъ гораздо меньше вниманія, чѣмъ нашъ

романистъ, а кромѣ того у него отсутствуетъ мистическій элементъ „сильныхъ“ людей. Поэтому его объясненіе,—если опять-таки это дѣйствительно объясненіе и если признать, что Wille zur Macht дѣйствительно есть коренное „первозданное“ и всеопредѣляющее свойство человѣческой природы, — обнимаетъ не всѣ элементы нашей комбинаціи.

Не всѣ они обнимаются и культурно-историческимъ объясненіемъ, въ силу котораго тѣсная связь жестокости и сладострастія есть пережитокъ того времени, когда люди-самцы вели кровавые бои изъ-за самокъ, да и самку добывали насиліемъ, съ бою. Установившаяся въ тѣ отдаленныя времена связь между жестокостью и сладострастіемъ расшаталась послѣдующимъ ходомъ исторіи, но и нынѣ время отъ времени вспыхиваетъ въ отдѣльныхъ случаяхъ съ былою яркостью.

Приведу еще одно курьезное объясненіе, данное довольно извѣстнымъ Густавомъ Егеромъ, разоблаченіемъ открытій и изобрѣтеній котораго занялся одно время покойный Манасеинъ, даже до судебнаго процесса.

Въ книгѣ „Entdeckung der Seele“, Егеръ развиваетъ слѣдующія мысли.

„Душа“ есть одна изъ составныхъ частей протоплазмы, проявляется она запахомъ испареній и вкусомъ мяса того или другого животнаго, взаимныя отношенія которыхъ и опредѣляются ими. Для травояднаго непріятны, отвратительны вкусъ и запахъ хищника, вслѣдствіе чего оно бѣжитъ отъ него, тогда какъ хищникъ, наоборотъ, наслаждается вкусомъ и запахомъ травояднаго. Когда хищникъ пожираетъ травоядное, то протоплазма послѣдняго теряетъ свою „душу“, которая путемъ ассимиляціи преобразуется въ душу хищника. Различныя обстоятельства въ жизни животнаго видоизмѣняютъ характеръ вещества его „души“, то усиливая, то ослабляя пріятность или непріятность его вкуса и запаха для другого, приходящаго въ соприкосновеніе съ нимъ животнаго. Такъ, между прочимъ, въ животномъ, подъ вліяніемъ страха, образуется особое вещество, Angststoff, усиливающее его пріятность для пожирающаго его врага. Егеръ сообщаетъ такія соображенія нѣкоего д-ра Плячека. Кошка, прежде чѣмъ съѣсть мышь, долго играетъ съ ней, причиняя ей большія мученія, дабы приправить добычу этимъ пріятнымъ на вкусъ и обоняніе Angststoff'омъ, веществомъ страха. Тигръ съ этою же цѣлью часто на далекое разстояніе уноситъ свою жертву

живьемъ, вмѣсто того, чтобы на мѣстѣ покончить съ нею ударомъ своей могучей лапы или зубовъ. Одинъ особенно кровожадный видъ медвѣдя пожираетъ добычу медленно, по частямъ, отрывая отъ живого тѣла кусокъ за кускомъ, наслаждаясь образующимся при этомъ Angststoff'омъ. Эти свирѣпые гастрономы, въ своемъ родѣ не хуже человѣка, умѣютъ приправить свое кушанье пріятными для нихъ специями. Съ своей стороны Егеръ, вполнѣ соглашаясь съ Плячекомъ, говоритъ, что онъ не имѣлъ случая заняться изслѣдованіемъ — не вызываетъ-ли въ жестокихъ людяхъ такой же „симпатіи" запахъ страха (Angststoff) ихъ жертвъ, — будь это животныя или люди. Но,—прибавляетъ онъ,—я былъ бы очень удивленъ, если бы это оказалось невѣрнымъ и относительно такихъ звѣрей, какъ Неронъ, Калигула и т. п. Половыя отношенія также опредѣляются пріятностью или непріятностью, симпатичностью или антипатичностью запаховъ самца и самки, мужчины и женщины. Вообще говоря, самецъ относится къ самкѣ въ томъ же родѣ, какъ хищникъ къ травоядному, но тутъ положеніе осложняется нѣкоторыми особенностями въ исторіи развитія обоихъ половъ, о чемъ мы распространяться не будемъ. Во всякомъ случаѣ родственность сладострастія и жестокости, не подлежащая для Егера сомнѣнію, имѣетъ, по его мнѣнію, свое основаніе въ запахѣ выдѣленій...

Позволю себѣ, наконецъ, напомнить, въ самыхъ общихъ и бѣглыхъ чертахъ, объясненіе, когда-то предложенное мною. Существуютъ извѣстныя нормы для удовлетворенія потребностей человѣческой природы. Переходя за предѣлы этихъ нормъ, человѣкъ испытываетъ чувство пресыщенія. Онъ, такъ сказать, объѣлся, ему ничто не мило въ той сферѣ, гдѣ онъ съ такою жадностью искалъ наслажденій, и онъ не только отказывается отъ нихъ, но идетъ навстрѣчу лишеніямъ, ищетъ казни для той плоти, которая соблазнила его. Но тотъ же результатъ получается и въ противоположномъ случаѣ хроническаго неудовлетворенія потребностей. Зовущія къ себѣ, но не дающіяся наслажденія кажутся человѣку грѣховными, онъ стремится затушить требованія своей природы, для чего опять-таки отдается болѣе или менѣе жестокой аскетической практикѣ. Но и въ томъ и въ другомъ случаѣ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, возможны бурные, безпорядочные взрывы подавленной природы, вслѣдствіе чего крайности умерщвленія плоти и крайности ея разнузданности стоятъ такъ часто рядомъ. И такъ какъ онѣ чередуются помимо сознанія и воли, то человѣкъ склоненъ относить

ихъ къ нѣкоторой человѣческой, фантастической высшей силѣ въ родѣ Великой Матери Кибелы и т. п.

Я не имѣю теперь возможности развивать это ядро теоріи въ подробностяхъ (кое-что читатель найдетъ въ моихъ старыхъ статьяхъ),—мы и безъ того далеко отошли отъ г. Мережковскаго. Это, впрочемъ, вѣроятно, случится и въ слѣдующій разъ, ибо темы г. Мережковскаго гораздо интереснѣе того, что онъ на эти темы пишетъ.

XI *).

О Достоевскомъ и г. Мережковскомъ.

Въ одной изъ бесѣдъ Ивана Карамазова съ братомъ Алешей есть, между прочимъ, одно интересное мѣсто: „Вѣдь русскіе мальчики какъ до сихъ поръ орудуютъ? Иные то есть? — говоритъ Иванъ. — Вотъ, напримѣръ, здѣшній вонючій трактиръ, вотъ они и сходятся, засѣли въ уголъ. Всю жизнь прежде не знали другъ друга, а выйдутъ изъ трактира, сорокъ лѣтъ не будутъ знать другъ друга, ну и что-жъ, о чемъ они будутъ разсуждать, пока поймали минутку въ трактирѣ-то? О міровыхъ вопросахъ, не иначе: есть ли Богъ, есть ли безсмертіе? А которые въ Бога не вѣруютъ, ну тѣ о соціализмѣ или анархизмѣ заговорятъ, о передѣлкѣ всего человѣчества по новому штату, такъ вѣдь это одинъ же чортъ выйдетъ, все тѣ же вопросы, только съ другого конца. И множество, множество самыхъ оригинальныхъ русскихъ мальчиковъ только и дѣлаютъ, что о вѣковѣчныхъ вопросахъ говорятъ у насъ въ наше время“. Алеша соглашается съ этимъ. „Да,—говоритъ онъ,—настоящимъ русскимъ вопросы о томъ: есть ли Богъ, есть ли безсмертіе, или, вотъ какъ ты говоришь, вопросы съ другого конца, конечно, первые вопросы и прежде всего, да такъ и надо“. Надо замѣтить, что Иванъ Карамазовъ вполнѣ сочувствуетъ „русскимъ мальчикамъ“, самъ себя къ нимъ причисляетъ и противопоставляетъ имъ „стариковъ“, которые „теперь (въ концѣ 70-хъ годовъ) всѣ полѣзли вдругъ практическими вопросами заниматься“.

Оставляя въ сторонѣ „русскихъ мальчиковъ“ или „молодую Россію“, какъ ихъ тутъ-же называетъ Иванъ Карамазовъ, слѣдуетъ замѣтить, что самого Достоевскаго всегда очень занимали „вѣко-

---

*) Октябрь 1902 г.

вѣчные“ вопросы; и именно въ двойной постановкѣ ихъ Иваномъ Карамазовымъ. Подъ „практическими“ вопросами, которые Иванъ Карамазовъ презрительно предоставляетъ старикамъ, слѣдуетъ разумѣть вопросы практическіе въ тѣсномъ смыслѣ—хозяйственные, техническіе. Свое вниманіе Достоевскій устремляетъ на широкія общія основанія общественной жизни, такъ или иначе, но постоянно связывая ихъ съ „вѣковѣчными“ вопросами о Богѣ, безсмертіи и проч. И тѣмъ не менѣе трудно съ опредѣленностью сказать, что именно онъ обо всемъ этомъ думалъ.

Въ 1875 г., по поводу моей статьи о его романѣ „Бѣсы“, онъ писалъ: „Смѣю увѣрить г. Н. М., что „ликъ міра сего“ мнѣ самому даже очень не нравится. Но писать и доказывать, что соціализмъ вовсе не формула атеизма, а атеизмъ вовсе не главная, не основная сущность его — это чрезвычайно поразило меня въ писателѣ, который, повидимому, такъ много занимается этими темами“. Достоевскій выражалъ тогда сожалѣніе, что не удосужился возразить мнѣ и обѣщалъ вернуться къ вопросу о взаимныхъ отношеніяхъ атеизма и соціализма. Но обѣщанія этого онъ не исполнилъ, и мы имѣемъ только отрывочныя замѣчанія его на эту тему, вдобавокъ большею частью не прямо отъ своего имени имъ изложенныя, а вложенныя въ уста разныхъ дѣйствующихъ лицъ его романовъ и повѣстей. Это, конечно, еще болѣе затрудняетъ возможность разобраться въ его мысляхъ.

Что касается „лика міра сего“, то, полный всякаго рода несовершенствъ и изъяновъ, онъ безъ сомнѣнія „очень не нравился“ Достоевскому, да едва ли можно найти хоть одного человѣка, которому бы онъ очень нравился. Но именно поэтому выраженіе Достоевскаго слишкомъ обще, неопредѣленно и безсодержательно. Всѣмъ не нравится ликъ міра сего, всѣ желали бы видѣть его лучшимъ, чѣмъ онъ есть въ настоящую минуту, но вопросъ въ степени и характерѣ этого недовольства,—въ какой мѣрѣ и съ какой точки зрѣнія не нравятся тѣ или другія черты лика, во имя какихъ началъ онѣ отрицаются. И вотъ эти-то, повидимому, частности и подробности, въ которыхъ, однако, заключается суть дѣла, остаются у Достоевскаго неразъясненными; тѣмъ болѣе, что, какъ уже сказано, не всегда легко извлечь его собственныя мысли изъ рѣчей его дѣйствующихъ лицъ.

Въ „Идіотѣ“ Евгеній Павловичъ Радомскій высказываетъ мысль, несомнѣнно, близкую автору, о томъ, что у насъ „нападеніе на су-

ществующіе порядки есть нападеніе на самую сущность нашихъ вещей, на самыя вещи, а не на одинъ только порядокъ, не на русскіе порядки, а на самую Россію". Россія же должна непоколебимо вѣрить въ себя, въ свое великое призваніе, потому что,—читаемъ въ „Дневникѣ писателя" за 1877 годъ,—„всякій великій народъ вѣритъ и долженъ вѣрить, если только хочетъ быть долго живъ, что въ немъ-то, и только въ немъ одномъ, и заключается спасеніе міра, что живетъ онъ на то, чтобы стоять во главѣ народовъ, пріобщить ихъ всѣхъ къ себѣ воедино и вести ихъ, въ согласномъ хорѣ, къ окончательной цѣли, всѣмъ имъ предназначенной". Такъ было нѣкогда съ древнимъ Римомъ, съ Римомъ католическимъ, съ Франціей, съ Германіей; теперь наступилъ чередъ Россіи, начало чего Достоевскій видѣлъ въ послѣдней русско-турецкой войнѣ, предсказывая, что ею начнется новая эра всемірной исторіи. Подтвержденіемъ этого служилъ для него не только объективный ходъ событій, какъ онъ ему представлялся, а и нѣкоторыя свойства національнаго русскаго духа, между прочимъ, самое невѣріе въ грядущее верховенство Россіи. Вы, — говорилъ онъ, обращаясь къ скептикамъ,—вѣрите въ грядущее объединеніе всѣхъ націй въ общечеловѣческой цивилизаціи; но эта вѣра и есть національная русская идея, и „слафянофилы и націоналисты вѣрятъ точь въ точь тому же самому, какъ и вы, да еще покрѣпче вашего". Это придавало въ глазахъ Достоевскаго идеѣ народа въ смыслѣ націи какое-то мистическое освѣщеніе. Говоря о Герценѣ и другихъ эмигрантахъ 40-хъ годовъ, онъ писалъ въ „Дневникѣ писателя" за 1873 годъ: „Герцену какъ будто сама исторія предназначила выразить собою въ самомъ яркомъ типѣ этотъ разрывъ съ народомъ огромнаго большинства образованнаго нашего сословія. Въ этомъ смыслѣ это типъ историческій. Отдѣляясь отъ народа, они естественно потеряли и Бога. Безпокойные изъ нихъ стали атеистами, вялые и спокойные — индиферентными". Князь въ „Идіотѣ" сочувственно приводитъ слова какого-то купца-старообрядца: „Кто почвы подъ собой не имѣетъ, тотъ и Бога не имѣетъ", или: кто отъ родной земли отказался, тотъ и отъ Бога своего отказался". Шатовъ въ „Бѣсахъ" утверждаетъ то же самое: „У кого нѣтъ народа, у того нѣтъ и Бога. Знайте навѣрно,—продолжаетъ онъ,—что всѣ тѣ, которые перестаютъ понимать свой народъ и теряютъ съ нимъ свои связи, тотчасъ же по мѣрѣ того теряютъ и вѣру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными". И затѣмъ Шатовъ

объединяетъ выше приведенную мысль самого Достоевскаго и свою собственную, прибавляя къ нимъ еще мысли Ставрогина. Выходитъ такъ: русскій народъ есть „теперь на всей землѣ единственный народъ-богоносецъ, грядущій обновить и спасти міръ именемъ новаго бога и ему единому даны ключи жизни и новаго слова... атеистъ не можетъ быть русскимъ... не православный не можетъ быть русскимъ... Богъ есть синтетическая личность всего народа, взятаго съ начала его и до конца. Никогда еще не было, чтобы у всѣхъ или у многихъ народовъ былъ одинъ общій богъ, но всегда и у каждаго былъ особый. Признакъ уничтоженія народностей, когда боги начинаютъ становиться общими. Когда боги становятся общими, то умираютъ боги и вѣра въ нихъ вмѣстѣ съ самими народами. Чѣмъ сильнѣе народъ, тѣмъ особливѣе его богъ... Народъ—это тѣло Божіе. Всякій народъ до тѣхъ поръ только и народъ, пока имѣетъ своего бога особаго, а всѣхъ остальныхъ боговъ на свѣтѣ исключаетъ безъ всякаго примиренія; пока вѣруетъ въ то, что своими богами побѣдитъ и изгонитъ всѣхъ остальныхъ боговъ“ и т. д. и т. д. Выслушавъ эту пламенную рѣчь, которою Шатовъ напоминаетъ Ставрогину и его собственныя мысли, Ставрогинъ обливаетъ оратора холодной водой вопроса: „Вѣруете вы сами въ Бога или нѣтъ?“ Къ удивленію, Шатовъ затрудняется отвѣтомъ. „Я вѣрую въ Россію, — говоритъ онъ, — я вѣрую въ ея православіе... Я вѣрую въ тѣло Христово... Я вѣрую, что новое пришествіе совершится въ Россіи... Я вѣрую...“ „А въ Бога, въ Бога?“—нетерпѣливо перебиваетъ Ставрогинъ. „Я... я *буду* вѣровать въ Бога“,—отвѣчаетъ Шатовъ.

Отмѣтивъ, что и старецъ Зосима въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ говоритъ о русскомъ „народѣ“: „сей народъ богоносецъ“,—остановимся на минуту.

Ясно, что благоприличный Евгеній Павловичъ Радомскій, развратный злодѣй Ставрогинъ, эпилептическій князь Мышкинъ, честный фанатикъ Шатовъ, святой старецъ Зосима, всѣ они, не смотря на крайнее разнообразіе ихъ духовныхъ физіономій, выражаютъ мысль, принадлежащую самому Достоевскому, только иногда въ болѣе рѣзкой формѣ, въ какой самъ онъ, можетъ быть, и не рѣшился бы ее высказать. Но что значитъ странный отвѣтъ Шатова: „я вѣрую въ Россію, въ ея православіе, въ тѣло Христово, въ то, что новое пришествіе совершится въ Россіи“, а въ Бога еще только *буду* вѣровать? да и это сказано съ запинкой и послѣ усиленнаго настоянія

Ставрогина. Значитъ, можно вѣровать въ православіе, не вѣруя въ Бога? Какъ это ни странно, но такое, казалось бы, невозможное положеніе было знакомо Достоевскому по собственному опыту. Г. Мережковскій удивляется тому, что Достоевскій „остался въ лонѣ *историческаго* православія", не смотря на всѣ свои сомнѣнія и колебанія относительно „вѣковѣчныхъ" вопросовъ о Богѣ и безсмертіи; удивляется и скорбитъ, подчеркивая слово *историческій,* такъ какъ онъ, г. Мережковскій, исповѣдуетъ, вмѣстѣ съ г. Розановымъ, „новую концепцію христіанства", которая и есть истинное православіе. Скорбь г. Мережковскаго—его дѣло, и намъ незачѣмъ въ него вмѣшиваться, но удивленія указанный фактъ, дѣйствительно, заслуживаетъ. Надо же, однако, какъ-нибудь постараться сдѣлать его понятнымъ, какъ-нибудь свести концы съ концами въ этомъ странномъ противорѣчіи. Дѣло въ томъ, что хотя „ликъ міра сего" и не очень нравился Достоевскому, но въ своихъ общихъ чертахъ „русскіе порядки" были для него неприкосновенны; нападать на нихъ значитъ, какъ мы видѣли, съ его точки зрѣнія нападать на Россію и лишать ее той своеобразной мессіанической роли всемірной объединительницы и спасительницы, которую онъ ей предрекалъ. И православіе, какъ одна изъ основъ „русскихъ порядковъ", было для него именно поэтому неприкосновенно. Оно ставило точку къ рѣшенію вѣковѣчныхъ вопросовъ „съ другого конца". Тутъ не было мѣста ни колебаніямъ, ни сомнѣніямъ, которыя всю жизнь одолѣвали его въ будто бы тѣхъ же вопросахъ съ противоположнаго конца. „Меня всю жизнь Богъ мучилъ",—говоритъ въ „Бѣсахъ" Кирилловъ, и это смѣло могъ сказать о себѣ самъ Достоевскій. Онъ былъ правъ, когда говорилъ, что прошелъ страшную школу религіозныхъ сомнѣній, но ошибался, когда утверждалъ, что въ концѣ концовъ выбрался на твердый берегъ вѣры. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ сильныхъ людей (чѣмъ-нибудь сильныхъ, Достоевскій былъ силенъ своимъ страшнымъ талантомъ), о которыхъ говоритъ Версиловъ: они страстно хотятъ вѣрить и принимаютъ свои желанія за вѣру. Какъ Антей въ борьбѣ съ Геркулесомъ получалъ силу, только касаясь ногами своей матери земли, и терялъ ее, будучи поднятъ на воздухъ, такъ Достоевскій получалъ свою вѣру, только когда Богъ становился для него „синтетическою личностью націи", а въ отвлеченномъ отъ „русскихъ порядковъ" видѣ онъ лишь „мучилъ" его. Слѣды этой мучительной внутренней борьбы повсюду разсыпаны у Достоевскаго. Его главныя дѣйствующія лица, вплоть до Алеши Карамазова, или

задаютъ, или выслушиваютъ вопросъ: „вѣруете ли вы въ Бога?“ или заявляютъ о своемъ невѣріи, или говорятъ о Богѣ и вѣрѣ въ него такъ замысловато, что выходитъ по малой мѣрѣ двусмысленно. Въ этомъ отношеніи особенно достойны вниманія рѣчи Кириллова въ „Бѣсахъ“, котораго авторъ надѣлилъ неумѣніемъ правильно выражаться по-русски, очевидно, именно, затѣмъ, чтобы внѣшнимъ образомъ замаскировать двусмысленность его рѣчей. „Бога нѣтъ, но онъ есть“,—говоритъ Кирилловъ. „Богъ необходимъ, а потому долженъ быть, но я знаю, что его нѣтъ и не можетъ быть“. О Ставрогинѣ онъ выражается такъ: „Ставрогинъ, если вѣруетъ, то не вѣруетъ, что онъ вѣруетъ; если же не вѣруетъ, то не вѣруетъ, что онъ не вѣруетъ“. Сомнѣнія и колебанія Достоевскаго отражаются даже въ ядовитыхъ репликахъ Смердякова, которому старикъ Григорій можетъ отвѣтить только пощечиной за неимѣніемъ возраженій; но особенно въ знаменитомъ „бунтѣ“ Ивана Карамазова, отнюдь не одиноко стоящемъ,—въ менѣе яркой формѣ этотъ „бунтъ“ и раньше воспроизводился Достоевскимъ—въ „Необходимомъ объясненіи“ Ипполита въ „Идіотѣ“, въ „Дневникѣ писателя“ 1876 г. (глава „Приговоръ“).

Та страстность, съ которою ведутся „бунтовщиками“ ихъ бунтовскія рѣчи, не оставляетъ мѣста сомнѣніямъ въ томъ, что сюда вложено авторское задушевное, что это мучительно переживается самимъ Достоевскимъ. Бунтовщики вѣрятъ въ бытіе личнаго божественнаго Творца міра, но вѣра эта колеблется въ нихъ существующею въ этомъ мірѣ массою безцѣльнаго, съ человѣческой точки зрѣнія, зла и страданія, которому они не находятъ оправданія. Временами міръ представляется имъ какимъ-то „бѣсовскимъ хаосомъ“, какъ Ивану Карамазову, „дьяволовымъ водевилемъ“, какъ Кириллову, „наглой пробой, чтобы только посмотрѣть: уживется ли подобное (человѣку) существо на землѣ или нѣтъ“, какъ самоубійцѣ въ „Дневникѣ писателя“. И эти кощунственныя мысли рвутъ имъ сердце, они страстно ищутъ выхода изъ одолѣвающихъ ихъ мучительныхъ противорѣчій и сомнѣній, и, наконецъ, находятъ его,—но не для себя. Человѣкъ—говорятъ они,—есть существо, ограниченное тремя измѣреніями эвклидовой геометріи, и въ своей ограниченности не можетъ понять царящей во вселенной гармоніи. Но есть „міры иные“, недоступные человѣку, гдѣ всѣ противорѣчія сглаживаются и цѣли каждаго явленія, кажущагося намъ злодѣйствомъ или страданіемъ, получаютъ свое объясненіе. Но для „малосильнаго и

маленькаго, какъ атомъ, человѣческаго эвклидовскаго ума" эти міры недоступны и, собственно говоря, не существуютъ; доступно только сознаніе возможности ихъ существованія. Затѣмъ, однако, мелькаетъ надежда и на доступность, по крайней мѣрѣ, отчасти.

Старецъ Зосима въ одной изъ своихъ „бесѣдъ и поученій" („О молитвѣ, о любви и о соприкосновеніи мірамъ инымъ") пишетъ: „Многое на землѣ отъ насъ скрыто, но взамѣнъ того дано намъ тайное, сокровенное ощущеніе живой связи нашей съ міромъ инымъ, съ міромъ горнимъ и высшимъ, да и корни нашихъ мыслей и чувствъ не здѣсь, а въ мірахъ иныхъ. Вотъ почему и говорятъ философы. что сущности вещей нельзя постичь на землѣ. Богъ взялъ сѣмена изъ міровъ иныхъ и посѣялъ на сей землѣ и взростилъ садъ свой, и взошло все, что могло взойти, но взрощенное живетъ и живо лишь чувствомъ соприкосновенія своего таинственнымъ міромъ инымъ; если ослабѣваетъ или уничтожается въ тебѣ сіе чувство, то умираетъ и взращенное въ тебѣ. Тогда станешь къ жизни равнодушенъ и даже возненавидишь ее". Такимъ образомъ, по крайней мѣрѣ, „чувства соприкосновенія" человѣкъ не лишенъ, оно роднитъ его съ этими таинственными иными мірами. А при нѣкоторыхъ особенныхъ условіяхъ и прямо приподнимается завѣса, отдѣляющая жалкій человѣческій эвклидовскій умъ отъ иныхъ міровъ. Любопытно въ этомъ отношеніи одно не лишенное остроумія разсужденіе Свидригайлова. „Я согласенъ,—говоритъ онъ Раскольникову,—что привидѣнія являются только больнымъ; но вѣдь это только доказываетъ, что привидѣнія могутъ являться только больнымъ, а не то, что ихъ нѣтъ самихъ по себѣ... Привидѣнія—это, такъ сказать, клочки и отрывки другихъ міровъ, ихъ начало. Здоровому человѣку, разумѣется, ихъ незачѣмъ видѣть, потому что здоровый человѣкъ есть наиболѣе земной человѣкъ, а, стало быть, долженъ жить одною здѣшнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну, а чуть заболѣлъ, чуть нарушился нормальный земной порядокъ въ организмѣ, тотчасъ и начинаетъ сказываться возможность иного міра, и чѣмъ больше боленъ, тѣмъ и соприкосновеній съ другимъ міромъ больше, такъ что, когда умретъ совсѣмъ человѣкъ, то прямо и перейдетъ въ другой міръ".

Если Ставрогинъ говоритъ о болѣзни вообще, какъ о состояніи, въ которомъ становится возможнымъ общеніе съ „по-ту-стороннимъ" по терминологіи гг. Розанова и Мережковскаго, міромъ, то князь „идіотъ" указываетъ на спеціальный случай нарушенія нормальнаго

земного порядка въ организмѣ, особливо способствующій такому общенію. Это—эпилепсія или падучая, и въ древности, и у многихъ современныхъ народовъ считавшаяся и считающаяся „священной“ болѣзнью. Причины такого отношенія къ эпилепсіи легко понять, читая описаніе ея у Достоевскаго: „Въ это мгновеніе вдругъ чрезвычайно искажается лицо, особенно взглядъ. Конвульсіи и судороги овладѣваютъ всѣмъ тѣломъ и всѣми чертами лица. Страшный, невообразимый и ни на что непохожій вопль вырывается изъ груди; въ этомъ воплѣ вдругъ исчезаетъ какъ бы все человѣческое, и никакъ невозможно, по крайней мѣрѣ, очень трудно наблюдателю вообразить и допустить, что это кричитъ этотъ же самый человѣкъ. Представляется даже, что кричитъ какъ бы кто-то другой, находящійся внутри этого человѣка. Многіе. по крайней мѣрѣ, такъ изъясняли свое впечатлѣніе, на многихъ же видъ человѣка въ падучей производитъ рѣшительный и невыносимый ужасъ, имѣющій въ себѣ даже нѣчто мистическое“. Таковы эпилептическіе припадки для сторонняго наблюдателя. Но Достоевскій былъ слишкомъ знакомъ съ ними по тяжкому личному опыту, чтобы ограничиться этимъ внѣшнимъ, объективнымъ описаніемъ. Въ припадкѣ падучей у князя Мышкина „какъ бы воспламенялся мозгъ и съ необыкновеннымъ порывомъ напрягались разомъ всѣ жизненныя силы его. Ощущеніе жизни, самосознанія почти удесятерялось въ эти мгновенія, продолжавшіяся, какъ молнія. Умъ, сердце озарялись необыкновеннымъ свѣтомъ; всѣ волненія, всѣ сомнѣнія его, всѣ безпокойства какъ бы умиротворялись разомъ, разрѣшались въ какое-то высшее спокойствіе, полное ясной, гармоничной радости и надежды. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствіемъ той окончательной секунды (никогда не болѣе секунды), съ которой начинался самый припадокъ. Эта секунда была, конечно, невыносима“,—невыносима своею ослѣпительною яркостью и полнотою совмѣщавшейся въ ней жизни.

Какъ и Свидригайлову, Мышкину приходитъ въ голову соображеніе, что вѣдь это болѣзнь, нарушеніе нормальнаго состоянія, и поэтому никакого „высшаго бытія“ онъ въ эту минуту не переживаетъ. Но, какъ и Свидригайловъ, онъ отвергаетъ это соображеніе, хотя и по другимъ мотивамъ. Какое мнѣ дѣло,—говоритъ онъ,—до того, что это ненормальное напряженіе, „если самый результатъ, если минута ощущенія, припоминаемая и разсматриваемая уже въ здоровомъ состояніи, оказывается въ высшей степени гармоніей, красотой, даетъ неслыханное и негаданное дотолѣ чувство полноты,

мѣры, примиренія и восторженнаго молитвеннаго слитія съ самымъ синтезомъ жизни". Достоевскій называетъ эти выраженія кн. Мышкина „туманными", но, говоритъ, самому ему они „казались очень понятными, хотя еще слишкомъ слабыми". „За этотъ моментъ можно всю жизнь отдать",—говоритъ Мышкинъ,—„въ этотъ моментъ мнѣ какъ-то становится понятно необычайное слово о томъ, что *времени больше не будетъ*".

Это необычайное слово вспоминается и Кириллову: „въ Апокалипсисѣ ангелъ клянется, что времени больше не будетъ",—говоритъ онъ. Кирилловъ тоже страдаетъ эпилепсіей или находится наканунѣ заболѣванія. Во всякомъ случаѣ, ему знакомо то состояніе блаженства, о которомъ говоритъ кн. Мышкинъ, и описываетъ его онъ почти слово въ слово, какъ тотъ. Разница только, во-первыхъ, въ томъ, что моментъ невыносимаго блаженства тянется у Кириллова нѣсколько дольше (5—10 секундъ), что, конечно, не важно; а во-вторыхъ, въ томъ, что Кирилловъ предвидитъ такое физическое измѣненіе природы человѣка, которое дастъ ему „вѣчную жизнь",—„не будущую вѣчную, а здѣшнюю вѣчную",—поясняетъ онъ. Въ этомъ новомъ физическомъ видѣ тѣ блаженныя секунды станутъ для человѣка вполнѣ выносимыми, нормальными, человѣкъ будетъ богомъ...

Таковъ рядъ мыслей Достоевскаго или его дѣйствующихъ лицъ, который слѣдуетъ поставить рядомъ съ его (или опять-таки его дѣйствующихъ лицъ) убѣжденіемъ въ томъ, что человѣкъ по самой природѣ своей любитъ мучить другихъ и самъ мучиться, что жестокость и сладострастіе суть его основныя свойства. Я оговариваюсь: Достоевскаго или его дѣйствующихъ лицъ,—но, благодаря существованію „Дневника писателя", нѣтъ сомнѣнія, что въ основаніи своемъ это мысли самого Достоевскаго. Только нѣкоторыя крайнія формы ихъ, представляя собою всетаки авторскую, хотя и завѣдомо фантастическую мечту, авторское, хотя и неясное чаяніе, усвоены имъ тому или другому дѣйствующему лицу. Съ какого-нибудь, напримѣръ, Кириллова, въ виду его психической болѣзни, природнаго косноязычія, взволнованности по поводу предстоящаго его самоубійства,—нельзя требовать логики, ясности мысли и изложенія. Однако, и въ этомъ намѣренно криво устроенномъ зеркалѣ отражается авторъ. Но въ этомъ какъ бы прятаньи за спиной своихъ собственныхъ созданій нельзя видѣть результатъ трусости,—Достоевскій вообще ею не страдалъ и, напротивъ, даже

щеголялъ эксцентричностью и парадоксальностью; но свои сомнѣнія онъ естественно влагалъ въ уста и лицамъ сомнительнымъ.

Эту же черту встрѣчаемъ мы и еще въ одномъ циклѣ его идей, къ которому теперь и обратимся.

„Ликъ міра сего очень не нравится“ Достоевскому, но вмѣстѣ съ тѣмъ „русскіе порядки“ представляются ему неприкосновенными настолько, что „нападеніе“ на нихъ, чисто словесное, было въ его глазахъ равно воинствующему атеизму, нападенію на самого Бога; правда, того особеннаго, исключительнаго Бога, который недоступенъ и враждебенъ Богамъ другихъ народовъ, но который долженъ ихъ, однако, объединить и спасти. Значитъ, ликъ міра сего не хорошъ въ той мѣрѣ, въ какой онъ несовмѣстимъ съ русскими порядками и противорѣчитъ имъ. Это прежде всего ликъ европейскаго міра. Западная Европа отнюдь не на всемъ своемъ длинномъ и трудномъ историческомъ пути вызывала въ Достоевскомъ отрицательныя чувства. Она представлялась ему „великимъ кладбищемъ“, гдѣ похоронены и его, Достоевскаго, свѣтлыя надежды (это же говорятъ Версиловъ и Иванъ Карамазовъ), но въ настоящемъ онъ видитъ въ ней мало хорошаго, а въ ближайшемъ будущемъ пророчитъ ей разгромъ и полное паденіе. Кромѣ этого общаго пророчества, онъ высказывалъ не мало частныхъ политическихъ предсказаній, назначая очень близкіе сроки ихъ исполненія. Ни одно изъ нихъ пока не исполнилось, да и не предвидится ихъ исполненія; и наоборотъ, ни одно изъ крупныхъ политическихъ событій, потрясшихъ въ послѣднее время міръ, не было имъ предвидѣно. Одно изъ своихъ пророчествъ онъ вложилъ въ 1871—1872 г. въ уста едва ли не отвратительнѣйшаго изъ героевъ „Бѣсовъ“—Петра Верховенскаго; при томъ въ формѣ не столько пророчества, сколько проекта. „Я думаю отдать міръ папѣ,—говоритъ Верховенскій.—Пусть онъ выйдетъ пѣшъ и босъ и покажется черни: „Вотъ, дескать, до чего меня довели!“ и все повалитъ за нимъ, даже войско. Папа вверху, мы кругомъ, а подъ нами Шигалевщина. Надо только, чтобы съ папой internationale согласились; такъ и будетъ. А старикашка согласится мигомъ. Да другого ему и выхода нѣтъ, вотъ помяните мое слово“. Верховенскій развиваетъ этотъ проектъ Ставрогину, но и самъ сомнѣвается въ его осуществимости: „глупо? говорите, глупо или нѣтъ?“ спрашиваетъ онъ, а Ставрогинъ и слушать его не хочетъ. Но черезъ нѣсколько лѣтъ, въ „Дневникѣ писателя“ 1876 г. (Мартъ, „Сила мертвая и силы грядущія“) До-

стоевскій уже отъ своего собственнаго имени и довольно пространно развиваетъ мысль узколобаго и наглаго негодяя Петра Верховенскаго въ видѣ пророчества. „Потерявъ союзниковъ-царей,— читаемъ тамъ,—католичество несомнѣнно бросится къ демосу". И Достоевскій сочиняетъ за папу „льстивую" рѣчь, съ которою тотъ обратится къ демосу, и говоритъ: „безъ сомнѣнія, демосъ приметъ предложеніе". Любопытно слѣдующее замѣчаніе, сопровождающее это предсказаніе: „Я уже разъ говорилъ обо всемъ этомъ, но говорилъ мелькомъ въ романѣ. Пусть мнѣ простятъ мою самонадѣянность, но я увѣренъ, что все это осуществится въ Западной Европѣ въ той или другой формѣ". Позволительно предположить, что такой увѣренности у Достоевскаго не было, когда онъ влагалъ свою мысль въ уста узколобаго Верховенскаго. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что, возвращаясь вновь къ этой идеѣ въ „Дневникѣ писателя" 1877 г. (Май—іюнь „И сердиты и сильныя"), Достоевскій употребляетъ уже не столь рѣшительныя выраженія: „Если папство когда-нибудь будетъ покинуто и отброшено правительствами міра сего то весьма и весьма *можетъ случиться*, что оно бросится въ объятія соціализма и соединится съ нимъ воедино. Папа выйдетъ ко всѣмъ нищимъ пѣшъ и босъ" и т. д.

Частности той легкомысленной политической диссертаціи, въ которую, тоже какъ частность, вкраплено это предсказаніе, для насъ не интересны. Общая же мысль Достоевскаго состоитъ въ томъ, что идея всемірнаго единенія людей есть коренная и неистребимая идея человѣчества—иногда всего человѣчества, такъ что и Тамерланы и Чингисъ-Ханы служили ей, иногда только европейскаго человѣчества, иногда только арійской расы. Впервые идею эту осуществила римская имперія. Съ паденіемъ Рима, идея возродилась въ видѣ всемірнаго единенія во Христѣ. Но на этотъ разъ великая идея воплотилась въ двухъ формахъ, — римско-католической и восточно-православной. Католицизмъ объявилъ христіанство неосуществимымъ безъ всемірной свѣтской, государственной власти папы, и является въ этомъ смыслѣ прямымъ наслѣдіемъ языческой римской монархіи. Ея же идею усвоила себѣ и великая французская революція, и современный европейскій соціализмъ. Восточный христіанскій идеалъ исключительно духовнаго всемірнаго единенія во Христѣ остался неприкосновеннымъ. Достоевскій называетъ его „русскимъ соціализмомъ". „Цѣль и исходъ русскаго соціализма,—пишетъ онъ въ единственномъ номерѣ „Дневника" за 1881 годъ,—всенародная

и вселенская Церковь, осуществленная на землѣ, поколику земля можетъ вмѣстить ее. Я говорю про неустанную жажду въ народѣ русскомъ, всегда въ немъ присущую, великаго, всеобщаго, всенароднаго, всебратскаго единенія во имя Христово. И если нѣтъ еще этого единенія, если не созиждилась еще Церковь вполнѣ, уже не въ молитвѣ одной, а на дѣлѣ, то всетаки инстинктъ этой Церкви и неустанная жажда ея, иной разъ даже почти безсознательная, въ сердцѣ многомилліоннаго народа нашего несомнѣнно присутствуетъ. Не въ коммунизмѣ, не въ механическихъ формахъ заключается соціализмъ народа русскаго: онъ вѣритъ, что спасется лишь въ концѣ концовъ всесвѣтнымъ единеніемъ во имя Христово. Вотъ нашъ русскій соціализмъ".

Западный идеалъ христіанства получаетъ оригинальное освѣщеніе въ знаменитой „поэмѣ" Ивана Карамазова „Великій инквизиторъ". Это, собственно, не христіанство, а такая поправка къ нему, которая изгоняетъ самого Христа. Католичество отвергло Христа и приняло „умнаго и могучаго духа", искушавшаго Христа въ пустынѣ. Оно вооружилось мечомъ и облеклось въ порфиру римскаго кесаря и основало земное царство. Изъ любви и снисхожденія къ людямъ, силы которыхъ Христосъ слишкомъ высоко оцѣнивалъ, оно поддѣлало ученіе Христа и вмѣсто свободы, которой онъ хотѣлъ, потребовало отъ паствы послушанія. Дѣло это еще далеко не закончено, но Великій инквизиторъ не сомнѣвается въ томъ, что оно будетъ благополучно доведено до конца. Передъ нимъ рисуется картина многомилліоннаго робкаго и покорнаго людского стада, гордящагося могуществомъ своихъ вождей, которые устроятъ земное царство этихъ глупыхъ и слабыхъ барановъ и позволятъ имъ даже грѣшить, взявъ на себя ихъ грѣхи. „Мы все разрѣшимъ,—говоритъ Великій инквизиторъ Христу,—и они повѣрятъ рѣшенію нашему съ радостію, потому что оно избавитъ ихъ отъ великой заботы и страшныхъ теперешнихъ мукъ рѣшенія личнаго и свободнаго. И всѣ будутъ счастливы, всѣ милліоны существъ, кромѣ сотни управляющихъ ими. Ибо лишь мы, мы, хранящіе тайну, только мы будемъ несчастны. Будетъ тысячи милліоновъ счастливыхъ младенцевъ и сто тысячъ страдальцевъ, взявшихъ на себя проклятіе познанія добра и зла. Тихо умрутъ они, тихо угаснутъ во имя Твое и за гробомъ обрящутъ лишь смерть. Но мы сохранимъ секретъ и для ихъ же счастія будемъ манить ихъ наградою небесною и вѣчною. Ибо, если бъ, и было что на томъ свѣтѣ, то ужъ, конечно, не для такихъ, какъ они .

Не таковъ восточно-православный идеалъ христіанства—„русскій соціализмъ“ тожъ. Его девизъ есть свобода, а не послушаніе, не покорность; братское единеніе, а не раздѣленіе на горсть управляющихъ и милліоны рабовъ. „Не можетъ одна малая часть человѣчества владѣть всѣмъ остальнымъ человѣчествомъ, какъ рабомъ, а вѣдь для этой единственной цѣли и слагались до сихъ поръ *всѣ* гражданскія (уже давно не христіанскія) учрежденія Европы, теперь совершенно языческой“ („Дневникъ писателя“, 1880, августъ). Правда, спускаясь съ высоты идеала въ низины дѣйствительности, Достоевскій обличаетъ отколовшихся отъ „русскихъ порядковъ“ „демократовъ“ и „либераловъ“ въ томъ, что они тянутъ къ „господчинѣ“, и противопоставляетъ имъ европейскихъ демократовъ, всегда стоящихъ за народъ, за массу, или, по крайней мѣрѣ, опирающихся на нее. Но отдѣльные выродки идутъ, пожалуй, и дальше. Таковъ въ „Бѣсахъ“ Шигалевъ. Этотъ полоумный человѣкъ сочиняетъ проектъ, довольно похожій на идеалъ Великаго инквизитора. Надо только имѣть въ виду, что, по его признанію, онъ „запутался въ собственныхъ данныхъ и его заключеніе въ прямомъ противорѣчіи съ первоначальной идеей, изъ которой онъ выходитъ“. Съ одной стороны, онъ проповѣдникъ равенства, во имя котораго „Цицерону отрѣзывается языкъ, Копернику выкалываются глаза, Шекспиръ побивается камнями“. Но, съ другой стороны, онъ совершенно въ духѣ Великаго инквизитора проектируетъ раздѣленіе человѣчества на двѣ неравныя части. „Одна десятая доля получаетъ свободу личности и безграничное право надъ остальными девятью десятыми. Тѣ же должны потерять личность и обратиться въ родѣ какъ въ стадо и при безграничномъ повиновеніи достигнуть рядомъ перерожденій первобытной невинности, въ родѣ какъ бы первобытнаго рая, хотя, впрочемъ, и будутъ работать“. И, какъ опять-таки у Великаго инквизитора, „желаніе и страданіе для насъ (для избранныхъ), а для рабовъ Шигалевщина“,– комментируетъ Петръ Верховенскій.

Ту же идею раздѣленія людей на два разряда исповѣдуетъ и Раскольниковъ. Для него человѣчество раздѣляется на необыкновенныхъ людей, геніевъ или вообще способныхъ сказать новое слово, и людей обыкновенныхъ, „дрожащую тварь“, могущую только повиноваться или быть жертвою первыхъ. А эти жертвы, и часто кровавыя, необходимы, потому что необыкновенные люди по необходимости же преступники, разрушители установившагося, привычнаго для окружающихъ. Имъ не то что разрѣшается, а они сами разрѣ-

шаютъ себѣ переступить обязательный для обыкновенныхъ людей законъ, пролить кровь, принести въ міръ великое страданіе, и человѣчество оправдываетъ ихъ въ концѣ концовъ, вѣнчаетъ ихъ лаврами, рукоплещетъ, молится на нихъ. Передъ Раскольниковымъ витаетъ образъ Наполеона, безъ зазрѣнія совѣсти лившаго кровь, „дрожащей твари“ и ею возвеличеннаго. Но самъ Раскольниковъ, убивъ старуху закладчицу, не выдержалъ, совѣсть замучила его, онъ покаялся, принялъ каторгу, какое законное возмездіе за свой грѣхъ, и оказался, такимъ образомъ, обыкновеннымъ человѣкомъ.

Чувство грѣха, жажду искупленія его страданіямъ, работу совѣсти, Достоевскій очень высоко цѣнилъ *). Онъ видѣлъ въ ней преимущественно народную русскую черту. „Звѣрства въ народѣ много, — писалъ онъ въ „Дневникѣ“ 1877 г. (май — іюль), но не указывайте на него. Это звѣрство — тина вѣковъ, она вычистится. И не то бѣда, что есть еще звѣрство; бѣда въ томъ, если звѣрство вознесено будетъ, какъ добродѣтель. Я видалъ и разбойниковъ, страшно много надѣлавшихъ звѣрства и павшихъ развращенною и ослабѣвшею волею своею ниже всего низкаго; но эти развращенные и столь упавшіе звѣри знали, по крайней мѣрѣ, про себя, что они звѣри, и чувствовали, сколь упали они, и въ минуты чистыя и свѣтлыя, которыя и звѣрямъ посылаетъ Богъ,—сами умѣли осудить себя, хотя часто не въ силахъ уже были подняться. Другое дѣло, когда звѣрство воздвигается надъ всѣми, какъ идолъ, и люди ему поклоняются, считая себя именно за это „добродѣтельными“. Или: „На Западѣ, гдѣ хотите и въ какомъ угодно народѣ,—развѣ меньше пьянства и варварства, не такое же развѣ звѣрство, и при томъ ожесточеніе (чего нѣтъ въ нашемъ народѣ) и уже истинное, заправское невѣжество, настоящее непросвѣщеніе, потому что иной разъ соединено съ такимъ беззаконіемъ, которое уже не считается тамъ грѣхомъ, а именно стало считаться правдой, а не грѣхомъ. Но пусть, пусть всетаки въ нашемъ народѣ звѣрство и грѣхъ, но вотъ что въ немъ есть неоспоримо: это именно то, что онъ, въ своемъ цѣломъ по крайней мѣрѣ (и не въ идеалѣ только, а въ самой заправской дѣйствительности), никогда не принимаетъ, не приметъ и не захочетъ принять своего грѣха за правду! Онъ согрѣшитъ, но всегда скажетъ, рано-ли, поздно-ли: я сдѣлалъ неправду.

---

*) См. объ этомъ, между прочимъ, интересную книжку г. Волжскаго „Два очерка объ Успенскомъ и Достоевскомъ“. Спб 1902.

Если согрѣшившій не скажетъ, то другой за него скажетъ, и правда будетъ восполнена. Грѣхъ есть смрадъ, и смрадъ пройдетъ, когда возсіяетъ солнце вполнѣ. Грѣхъ есть дѣло преходящее, а Христосъ вѣчное. Народъ грѣшитъ и пакостится ежедневно, но въ лучшія минуты, въ Христовы минуты, онъ никогда въ правдѣ не ошибется" („Дневникъ" 1880, августъ).

Мнѣ очень жаль, если читатель пробѣжалъ все вышеизложенное мелькомъ, на томъ основаніи, что все это ему уже хорошо знакомо, все это онъ читалъ у самого Достоевскаго. Чтеніе чтенію рознь. И нынѣ, когда звѣзда Достоевскаго, повидимому, вновь загорается, и онъ можетъ стать предметомъ такого же слѣпого увлеченія, какими у насъ въ разное время были и есть Дарвинъ, Толстой, Марксъ, Ничше, — очень не вредно выдѣлить нѣкоторыя его основныя идеи, заваленныя въ его огромномъ литературномъ наслѣдствѣ иллюстрирующими образами и картинами несравненной художественной силы и второстепенными мыслями и замѣчаніями. Я это и старался сдѣлать, воздерживаясь отъ какихъ бы то ни было критическихъ замѣчаній и совершенно минуя подробности въ родѣ постояннаго смѣшенія національнаго, съ одной стороны, съ народнымъ, а съ другой—съ соціальнымъ и т. п.

Приведенныя идеи Достоевскаго составляютъ тотъ инструментъ, на которомъ г. Мережковскій разыгрываетъ сіи варьяціи усиленно и до надоѣдливости часто нажимая на однѣ клавиши, еле касаясь и даже совсѣмъ обходя другія. Такая неравномѣрность зависитъ отъ двухъ причинъ. Во-первыхъ, подъ рѣчами Достоевскаго и его героевъ слышится трепетъ сомнѣній и колебаній, принимающій иногда характеръ настоящей бури, а г. Мережковскаго скептицизмъ не мучаетъ, у него есть своя догма, очень туманная, очень запутанная на посторонній глазъ, но вполнѣ его удовлетворяющая, благодаря его способности довольствоваться словами, если они, независимо отъ ихъ смысла, красиво укладываются рядомъ. Во-вторыхъ, сюда вмѣшалось вліяніе Ничше, побуждающее г. Мережковскаго, усиленно подчеркивая пункты сходства между нѣмецкимъ мыслителемъ и русскимъ романистомъ, въ то же время ставить въ нѣкоторыхъ мѣстахъ плюсъ или минусъ тамъ, гдѣ у Достоевскаго стоитъ, наоборотъ, минусъ или плюсъ, а иное и совсѣмъ обходить молчаніемъ.

Мы видѣли, что г. Розановъ усмотрѣлъ что-то „почти религіозное“ въ словѣ „взоръ“. Такое же странное отношеніе къ терминамъ „религія“, „религіозный“ встрѣчаемъ и у г. Мережковскаго. Онъ приводитъ, напримѣръ, слѣдующее мѣсто изъ разговора Раскольникова съ Разумихинымъ въ „Преступленіи и наказаніи“: „Истинно великіе люди, мнѣ кажется, должны ощущать на свѣтѣ великую грусть,—прибавилъ онъ (Раскольниковъ) вдругъ, задумчиво, *даже не въ тонъ разговора*“. Подчеркнувъ послѣднія слова, г. Мережковскій замѣчаетъ: „Странное это сказано слово „не въ тонъ разговора“: оно какъ будто нечаянно сорвалось у Раскольникова. По-ту-стороннее, почти религіозное слово“. Что слова: „великіе люди должны ощущать великую грусть“ сорвались у Раскольникова нечаянно,—это вполнѣ вѣроятно, и, надо думать, именно это и хотѣлъ сказать Достоевскій, отмѣтивъ, что они были сказаны не въ тонъ разговора. Но что въ нихъ „по-ту-сторонняго, то есть лежащаго за предѣлами опыта и наблюденія, и религіознаго или почти религіознаго? и почему эпитеты „по-ту сторонній“ и „религіозный“ тождественны? и что собственно значитъ выраженіе „религіозное слово“? какъ вообще слово, обыкновенное человѣческое слово можетъ быть религіознымъ или почти религіознымъ? На всѣ эти вопросы мы не получимъ отвѣтовъ изъ книги г. Мережковскаго, потому что онъ, подобно г. Розанову, нигдѣ не даетъ своего опредѣленія религіи, хотя и много говоритъ о религіозномъ сознаніи, о религіи Богочеловѣка и религіи Человѣкобога, о религіи Наполеона и проч. и написалъ слишкомъ 500 печатныхъ страницъ на тему „Религія Л. Толстого и Достоевскаго“. Въ одномъ мѣстѣ онъ приводитъ опредѣленіе, данное Толстымъ: „Сущность религіи состоитъ въ отвѣтѣ на вопросъ, зачѣмъ я живу и какое мое отношеніе къ окружающему меня безконечному міру. Вся же метафизика религіи, всѣ ученія о божествахъ, о происхожденіи міра суть только различные по географическимъ, этнографическимъ и историческимъ условіямъ сопутствующіе религіи признаки“,—„то есть, говоря проще и откровеннѣе, суть вздоръ“,—иронически прибавляетъ г. Мережковскій. Я не считаю опредѣленіе Толстого удовлетворительнымъ, но думаю, что то, что онъ называетъ метафизикой религіи, есть дѣйствительно ея измѣняющійся сообразно географическимъ, этнографическимъ, историческимъ, соціальнымъ условіямъ элементъ. И неизвѣстно, почему г. Мережковскій полагаетъ, что съ точки зрѣнія Толстого эта „метафизика ре-

лигіи" есть вздоръ. Разумѣется, намъ можетъ казаться вздоромъ ученіе какихъ нибудь дикарей о происхожденіи міра и божествахъ; но для нихъ это не вздоръ, а нѣчто удовлетворяющее ихъ младенческій разумъ, связанное съ ихъ отношеніями къ своимъ и чужимъ и указующее имъ путь жизни. Да не вздоръ это и для насъ, по крайней мѣрѣ, съ исторической точки зрѣнія, какъ историческій матеріалъ, хотя, конечно, не въ этихъ ученіяхъ сущность религіи. И во всякомъ случаѣ, читая разсужденія Толстого о религіи, мы можемъ съ нимъ соглашаться или не соглашаться, но мы, по крайней мѣрѣ, знаемъ, о чемъ онъ говоритъ. О писаніяхъ г. Мережковскаго этого отнюдь нельзя сказать. Мы, напримѣръ, рѣшительно не знаемъ, что уполномочиваетъ его называть „почти религіознымъ" только что приведенное изреченіе Раскольникова, вѣрное или невѣрное, но представляющее собою вполнѣ обыкновенное словесное выраженіе итога вполнѣ обыкновенныхъ наблюденій и размышленій.

Далеко не всѣ этого рода неясности г. Мережковскаго, но хоть нѣкоторую часть ихъ можно свести къ ходячему, но совершенно невѣрному и произвольному отождествленію понятій религіи и вѣры. Въ „Отрывкахъ о религіи" я уже имѣлъ случай обращать вниманіе читателей на это обстоятельство. Вѣра, какъ и знаніе, входитъ въ составъ религіи, представляя собою, однако, лишь одинъ изъ ея элементовъ. Можно исповѣдывать извѣстное вѣроученіе и дѣйствительно вѣровать, и вмѣстѣ съ тѣмъ не имѣть религіи, ибо вѣра безъ дѣла мертва есть. Это даже очень обыкновенный случай. Человѣкъ религіозенъ лишь въ той мѣрѣ, въ какой его этическіе идеалы, его пониманіе добра и зла и его поведеніе находятся въ гармоніи съ его міропониманіемъ, состоитъ ли послѣднее изъ вѣрованій, или знаній, или изъ комбинаціи тѣхъ и другихъ. Религія начинается тамъ, гдѣ вѣра или знаніе, согласованныя съ нравственными идеалами человѣка, властно побуждаютъ человѣка къ дѣйствію въ извѣстномъ направленіи. Поэтому понятія вѣры и религіи отнюдь не покрываютъ другъ друга, какъ и вообще часть не можетъ покрыть цѣлое. Упуская это изъ виду, г. Мережковскій слишкомъ злоупотребляетъ словами „религія", „религіозный", придавая имъ не надлежащее значеніе и тѣмъ запутывая свою и безъ того запутанную мысль.

Этому же способствуетъ у него смѣшеніе религіи и религіознаго съ мистикой и мистическимъ (Съ этой именно точки зрѣнія

онъ особенно негодуетъ на Толстого, не находя въ его ученіи мистическихъ элементовъ). Мистицизмъ предполагаетъ возможнымъ познаніе путемъ не опыта, наблюденія и комбинирующаго ихъ разума, но и не разъ навсегда даннаго откровенія, а непосредственнаго общенія съ божествомъ; познаніе скрытаго отъ насъ „по-ту-сторонняго", „нуменальнаго" міра. Мистицизмъ часто сопутствуетъ различнымъ религіямъ, но это вовсе не обязательно, и смѣшивать ихъ нѣтъ никакого основанія. Былъ ли мистикомъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова Достоевскій,—сказать трудно. Отъ себя лично онъ осторожно говорилъ только о „касаніи къ мірамъ инымъ", о необходимости для человѣка помнить объ ихъ существованіи, иначе сказать,—объ ограниченности нашего „эвклидовскаго" ума. Безпутному и распутному Свидригайлову предоставляетъ онъ намекать на остроумную теорію привидѣній, какъ „клочковъ" этихъ міровъ, являющихся ненормальнымъ, больнымъ людямъ. Судя, однако, по тѣмъ пустякамъ, о которыхъ бесѣдовали съ Свидригайловымъ его привидѣнія, они не вынесли „съ той стороны" ничего такого, что превышало бы границы „эвклидовскаго" ума. Значительнѣе чортъ, являвшійся больному Ивану Карамазову, но, во-первыхъ, авторъ не выдаетъ его за выходца „съ той стороны", а во-вторыхъ, и онъ не сообщилъ ничего разрѣшающаго противорѣчія, сомнѣнія и колебанія Карамазова. Страдающій „священною болѣзнью", князь-„идіотъ" и кандидатъ въ эпилептики, Кирилловъ испытываютъ въ извѣстные моменты невыносимое для нормальнаго земного человѣка блаженство, въ которомъ гармонически разрѣшаются или, вѣрнѣе, утопаютъ, исчезаютъ всѣ этого рода противорѣчія и сомнѣнія, но если это и отраженіе гармоніи „иныхъ міровъ", то это всетаки только ощущеніе „касанія"; ничего не вынесли „съ той стороны" Мышкинъ и Кирилловъ, кромѣ того, что „та сторона" существуетъ и что въ ней нѣтъ многаго, что терзаетъ и мучитъ земного человѣка съ его эвклидовскимъ умомъ. Кирилловъ думаетъ, что, для постиженія всего скрытаго отъ человѣка, онъ долженъ перемѣниться физически, и надѣется, что такъ и будетъ, но и онъ, столь категорическій въ своихъ рѣчахъ вообще, съ сомнѣніемъ спрашиваетъ Ставрогина, какъ тотъ думаетъ,—возможно ли это? Достоевскаго несомнѣнно влекло къ „инымъ мірамъ", но онъ всегда сознавалъ невозможность въ нихъ проникнуть и постоянно терзался мыслью объ этой недостижимости; онъ желалъ вѣрить, что тамъ имѣется оправданіе господствующему на землѣ злу и страданію, но

и въ этомъ отношеніи колебался и твердо стоялъ только на „касаніи", то есть на признаніи слабости, ограниченности человѣческаго ума, условности и относительности всѣхъ нашихъ понятій. Все цѣнное, что оставилъ намъ его геній, равно какъ и всѣ его ошибки, со включеніемъ его неудачныхъ политическихъ предсказаній, было плодомъ его земныхъ наблюденій и тяжкаго личнаго опыта. Тономъ пророка, которому открыто нѣчто, отъ вѣка для другихъ сокровенное, онъ отъ своего имени никогда не говорилъ,—такъ говорятъ только нѣкоторыя дѣйствующія лица его романовъ.

Г. Мережковскій могъ бы быть однимъ изъ такихъ дѣйствующихъ лицъ. Онъ говоритъ о чортѣ, объ Антихристѣ, о грядущемъ въ близкомъ будущемъ концѣ міра и т. п., ссылаясь при этомъ на „по-ту-сторонній міръ нуменовъ", какъ будто побывалъ тамъ, какъ будто на немъ осуществилась надежда Кириллова, и онъ перемѣнился физически и видитъ поверхъ опыта и наблюденія, или какъ будто самъ Богъ открылъ ему двери въ ту сторону. Но такъ какъ ни того, ни другого нѣтъ, то онъ принужденъ всетаки прибѣгать къ обыкновенному человѣческому разсужденію и разсуждаетъ, напримѣръ, такъ. Человѣкъ есть существо, ограниченное извѣстными физическими условіями; съ перемѣною этихъ условій (г. Мережковскій очень сочувственно относится къ идеѣ Кириллова и даже, повидимому, считаетъ ее аксіомой), для человѣка станетъ яснымъ и допустимымъ многое такое, что онъ сейчасъ, по своей ограниченности, правомѣрно считаетъ неяснымъ и недопустимымъ; и вотъ ему станетъ ясно, понятно то-то и то-то, что уже и теперь ясно и понятно г. Мережковскому. На это можно бы было возразить, конечно, очень многое. Даже допуская возможность такой физической перемѣны человѣка, которая совершенно измѣнитъ формы его мышленія (допуская, напримѣръ, что, по предположенію Кириллова и г. Мережковскаго, „время погаснетъ въ умѣ"), — какое основаніе думать, что перемѣна эта откроетъ намъ новые горизонты, а не затемнитъ и нынѣ существующіе? Г. Мережковскій, презирающій слово „прогрессъ" и самое понятіе о немъ, казалось бы, долженъ допустить и такую возможность. Но и не касаясь вопроса о прогрессивности или регрессивности измѣненія, вообще почему окажется при немъ возможнымъ то, что считаетъ уже теперь возможнымъ ограниченный г. Мережковскій, а не какая бы то ни было другая фантазія какого-нибудь столь же и

тѣми же условіями ограниченнаго человѣка? Въ сферѣ невозможнаго все одинаково возможно. Всѣ подобныя замѣчанія г. Мережковскій встрѣтитъ, конечно, градомъ жестокихъ словъ: пошлость, Смердяковскій здравый смыслъ, смѣшанно смѣшная середина, и все это съ паѳосомъ человѣка, побывавшаго „на той сторонѣ", который не брезгаетъ, однако, и неудачными попытками „по-сюсторонняго", обыкновеннаго логическаго разсужденія, равно какъ и ссылками на земные авторитеты. Правда, съ этими авторитетами онъ разрѣшаетъ себѣ вполнѣ свободное обращеніе...

Признакъ приближающагося конца міра, — говоритъ г. Мережковскій — „и есть эта вдругъ сразу на всѣхъ крайнихъ высшихъ точкахъ человѣческаго духа забрежжившая мысль о концѣ. „*Der Mensch ist Etwas, das überwunden sein muss. Человѣкъ есть то, что надо преодолѣть*, такъ говоритъ Заратустра-Ничше. „*Родъ человѣческій долженъ прекратиться*" — соглашается съ Ничше Толстой. „*Конецъ міра идетъ*"—соглашается и Достоевскій. Всѣ трое точно сговорились въ этомъ самомъ смѣшномъ и невѣроятномъ для современныхъ людей безконечнаго „прогресса", самомъ страшномъ и достовѣрномъ для насъ пророчествѣ: *близокъ всему конецъ*" (529).

Вглядимся въ цитаты г. Мережковскаго. Заратустра-Ничше, дѣйствительно, говоритъ, что человѣкъ muss überwunden sein, и это одна изъ излюбленнѣйшихъ и характернѣйшихъ для Ничше мыслей; но она не имѣетъ ни малѣйшаго отношенія ни къ близкому, ни къ отдаленному концу міра. Мало того, Ничше является въ этомъ случаѣ сторонникомъ какъ разъ той идеи „прогресса", которую г. Мережковскій не можетъ оставить безъ ироническихъ кавычекъ. По мысли Ничше, человѣкъ долженъ быть отодвинутъ новымъ, болѣе совершеннымъ видомъ —„сверхъ-человѣка", которому предстоятъ многія лѣта на землѣ. Такимъ образомъ, произвольно вырвавъ отдѣльную фразу Ничше, г. Мережковскій толкуетъ ее какъ разъ наоборотъ тому, что тотъ хотѣлъ сказать. Да и въ такомъ толкованіи эта фраза отнюдь не потверждаетъ пророчества г. Мережковскаго: не извѣстно когда имѣющее произойти „преодолѣніе" человѣка и „*близкій конецъ всему*"—не одно и то же. Г. Мережковскій вообще не церемонится съ цитатами, хотя и печатаетъ ихъ курсивомъ и заключаетъ ихъ въ кавычки,—все признаки нарочитой точности. Такъ, словъ, приписанныхъ имъ Толстому, у Толстого нѣтъ. Въ данномъ случаѣ это, пожалуй, и неважная неточность, потому

что словами этими всетаки выражается мысль Толстого, но, будучи опять-таки вырвана изъ цѣлаго, она въ такомъ видѣ скрываетъ кое-что очень важное. Въ „Крейцеровой сонатѣ“ Позднышевъ, въ отвѣтъ на замѣчаніе собесѣдника, говоритъ: „Зачѣмъ ему продолжаться, роду-то человѣческому?“ И далѣе: „Родъ человѣческій прекратится? Да неужели кто-нибудь, какъ бы онъ ни смотрѣлъ на міръ, можетъ сомнѣваться въ этомъ? Вѣдь это такъ же несомнѣнно, какъ смерть. Вѣдь по всѣмъ ученіямъ церковнымъ придетъ конецъ міра и по всѣмъ ученіямъ научнымъ неизбѣжно то же самое“. Позднышевъ неточно выражается: и церковныя, и научныя ученія говорятъ о концѣ не *міра*, а только земли, съ концомъ которой начнется вѣчная жизнь по однимъ ученіямъ, не прекратится жизнь небесныхъ тѣлъ — по другимъ. Отъ себя, въ „Послѣсловіи къ Крейцеровой сонатѣ“ Толстой выражается точнѣе: „Уничтоженіе рода человѣческаго не есть понятіе новое для людей нашего міра, а есть для религіозныхъ людей догматъ вѣры, для научныхъ же людей неизбѣжный выводъ наблюденій объ охлажденіи солнца“. Итакъ, Толстой вовсе не выдаетъ себя за пророка, который, въ единеніи съ Ничше и Достоевскимъ (не считая г. Мережковскаго), возвѣстилъ людямъ новое ученіе о концѣ человѣческаго рода. И, дѣйствительно, всѣ вѣрующіе христіане знаютъ эту будто бы новость, знаютъ ее и люди науки; новость только въ томъ, что *близокъ* конецъ, при томъ *всему*. Для вѣрующихъ христіанъ это новость потому, что имъ сказано: „не вѣстени дня, ни часа“, для людей науки потому, что по ихъ приблизительныхъ разсчетамъ землѣ остается жить милліоны лѣтъ,—и неужели человѣчество осуждено въ теченіе этихъ милліоновъ читать и слушать поэзію и прозу господъ декадентовъ, „упадочниковъ“, которыми, по словамъ г. Мережковскаго, — уже начинается конецъ міра?! Многогрѣшенъ человѣческій родъ, но такая кара была бы поистинѣ слишкомъ жестокою... Замѣтимъ, что и Толстой не говоритъ о *скоромъ* концѣ, онъ, подобно всѣмъ смертнымъ,—не знаетъ этого, и, такимъ образомъ, изъ „всѣхъ крайнихъ точекъ человѣческаго духа“ (не считая опять-таки г. Мережковскаго), на которыхъ „вдругъ сразу“ забрежжила мысль о близкомъ концѣ, остается одинъ Достоевскій. Этотъ будто бы прямо сказалъ: „конецъ міра идетъ“. Пишу *будто бы*, потому что у самого Достоевскаго такихъ словъ нѣтъ, хотя, можетъ быть, кто-нибудь изъ его дѣйствующихъ лицъ, подобныхъ г. Мережковскому, и говорилъ это.

Любопытно еще вотъ что. И Позднышевъ, и Толстой ничего

не знаютъ о путяхъ, ведущихъ къ концу, и не предсказываютъ, а выражаютъ желаніе, чтобы путь этотъ состоялъ въ прекращеніи дѣторожденія, благодаря исчезновенію половой жизни, той половой жизни, которой гг. Розановъ и Мережковскій поютъ гимны и на которой, главнымъ образомъ, основывается ихъ „новая концепція христіанства". И г. Мережковскій горячо протестуетъ противъ „Крейцеровой сонаты", но это не мѣшаетъ ему схватить изъ нея одну строчку, тѣснѣйшимъ образомъ связанную съ цѣлымъ, чтобы указать и въ Толстомъ своего единомышленника.

Г. Мережковскій не церемонится и съ временемъ, какъ оно, впрочемъ, и естественно для человѣка, увѣреннаго, что вотъ-вотъ „время погаснетъ въ умѣ". Мы видѣли, что появленіе въ русской, и именно въ русской, литературѣ декадентовъ знаменуетъ собою начало конца „всемірной исторіи" и вообще „всего", и конецъ этотъ такъ близокъ, что людямъ „новаго религіознаго сознанія" надо куда-то очень торопиться, иначе поздно будетъ. А между тѣмъ, какія колоссальныя дѣла должны они совершать въ столь короткій промежутокъ времени! Они должны добиться „всемірнаго объединенія людей", о каковомъ объединеніи въ настоящую минуту нельзя вѣдь еще и мечтать, а прежде еще надо основать въ Россіи царство легендарнаго „пресвитера Іоанна", обратить государство въ церковь. Затѣмъ они должны пережить, а, можетъ быть, и изъ своей среды выставить Антихриста. Да, можетъ быть, и изъ своей среды. По крайней мѣрѣ, я, прочитавъ внимательно обширное сочиненіе г. Мережковскаго, принужденъ допустить и такую возможность.

Г. Мережковскій очень негодуетъ на Толстого за изображеніе Наполеона въ „Войнѣ и мирѣ", — слишкомъ непочтительно это изображеніе. Толстой не понялъ, да по своему „средне-высшему" положенію и умонастроенію и не могъ понять великаго французскаго императора. За то его превосходно понялъ, если не Достоевскій, то Раскольниковъ, признавшій въ немъ одного изъ тѣхъ „необыкновенныхъ" людей, которые правомѣрно шагаютъ черезъ кровь и жизнь обыкновенныхъ. Но у Наполеона не хватило пороху основать свою религію; хотя онъ и мечталъ объ этомъ, но боялся показаться смѣшнымъ. Кажется, именно поэтому Наполеону, по словамъ г. Мережковскаго, всетаки „далеко до Антихриста", хотя чутье русскихъ простолюдиновъ и не совсѣмъ, дескать, обманывало ихъ, когда они называли его Антихристомъ. Значитъ онъ во всякомъ случаѣ изъ той породы, которая дастъ міру Антихриста, такъ

сказать, подобіе его. Но что такое Наполеонъ? „Сверхъ-человѣкъ", стоявшій „по ту сторону добра и зла", которому было „все позволено", носитель „морали господъ", презиравшій „рабскую мораль" христіанства и демократіи, шагавшій черезъ нее безъ зазрѣнія совѣсти. Все это признаетъ г. Мережковскій, а такъ какъ все это составляетъ идеалъ и той помѣси декадентства и ничшеанства, представитель которой есть г. Мережковскій, то я и считаю возможнымъ нарожденіе Антихриста именно въ этой средѣ.

Тѣмъ болѣе, что и задачи у Наполеона и русскихъ людей „новаго религіознаго сознанія"—общія: основать всемірное объединеніе людей. Разница лишь въ томъ, что Наполеонъ боялся показаться смѣшнымъ. Хорошо было, — говорилъ онъ, — Александру Македонскому, покоривъ Азію, объявить себя сыномъ Юпитера: ему повѣрили, а „если бы я вздумалъ объявить себя сыномъ Бога-отца и назначить благодарственное богослуженіе по этому поводу, — нѣтъ такой рыночной торговки въ Парижѣ, которою я не былъ бы освистанъ". Г. Мережковскій только этотъ страхъ смѣшного положенія и считаетъ пятномъ на памяти Наполеона. И онъ, пожалуй, правъ съ своей точки зрѣнія, потому что русскіе люди новаго религіознаго сознанія совершенно свободны отъ этого страха. Правда, никто изъ нихъ, — по крайней мѣрѣ, изъ тѣхъ, которые гуляютъ на волѣ, а не пользуются услугами психіатровъ въ больницахъ,— еще не объявлялъ себя Богомъ, но нельзя всетаки не изумляться безстрашію, напримѣръ, украшеннаго „священной" бородой Розанова, теитизирующаго полъ и сексуализирующаго религію. Г. Мережковскій тоже не боится быть смѣшнымъ, но, не смотря на гремящій тонъ его рѣчей, онъ больше жалокъ въ своихъ усиліяхъ слѣпить что-то цѣльное изъ христіанства и язычества, Христа и Антихриста, Достоевскаго и Ничше. И мнѣ кажется, онъ могъ бы сказать о своемъ міровоззрѣніи приблизительно то же самое, что говоритъ о своей „системѣ" Шигалевъ на вечерѣ у Виргинскаго:

„Такъ какъ будущая общественная форма необходима именно теперь, когда всѣ мы, наконецъ, собираемся дѣйствовать, чтобъ ужъ больше не задумываться, то я и предлагаю собственную мою систему устройства міра. Вотъ она! — стукнулъ онъ по тетради. – Я хотѣлъ изложить собранію мою книгу по возможности въ сокращенномъ видѣ; но вижу, что потребуется множество изустныхъ разъясненій, а потому все изложеніе потребуетъ, по крайней мѣрѣ, десяти вечеровъ, по числу главъ моей книги. (Послышался смѣхъ). Кромѣ того, объявляю заранѣе, что система моя не окончена. (Смѣхъ

опять). Я запутался въ собственныхъ данныхъ, и мое заключеніе въ прямомъ противорѣчіи съ первоначальной идеей, изъ которой я выхожу. Выходя изъ безграничной свободы, я заключаю безграничнымъ деспотизмомъ. Прибавляю, однако жъ, что, кромѣ моего разрѣшенія общественной формулы, не можетъ быть никакого".

Слушатели смѣялись надъ Шигалевымъ, но онъ безъ боязни и смущенія принялъ этотъ смѣхъ. Онъ дѣйствительно смѣшонъ, но его и пожалѣть можно...

Распутать всю путаницу г. Мережковскаго я не берусь, не берусь даже изложить ее въ сколько-нибудь связномъ видѣ, да и какъ это сдѣлать съ писателемъ, для котораго логика есть пошлость, а слово замѣняетъ мысль? Пусть читатель довольствуется приведенными образцами, а я въ заключеніе остановлюсь только на нѣкоторыхъ пунктахъ сходства и различія между Ничше и Достоевскимъ, въ которыхъ путается г. Мережковскій.

Оба, и Ничше, и Достоевскій, останавливаются на жаждѣ власти, жестокости и сладострастіи, какъ на свойствахъ человѣческой природы. Но Ничше поэтизируетъ эти свойства, требуетъ имъ простора, видитъ въ нихъ залогъ великаго будущаго,—сверхъчеловѣка, которому принадлежитъ власть надъ толпою, исповѣдующей „рабскую мораль". Достоевскій, напротивъ, какъ мы видѣли, утверждаетъ, что „не можетъ одна малая часть человѣчества владѣть всѣмъ остальнымъ человѣчествомъ, какъ рабомъ", и такъ или иначе посрамляетъ гордыню своихъ жестокихъ и сладострастныхъ героевъ. Совѣсть есть для Ничше одна изъ подробностей рабской морали, и онъ приглашаетъ людей помѣститься „по ту сторону добра и зла", тогда какъ Достоевскій въ особенную хвалу русскому народу ставитъ присущее ему будто бы преимущественно предъ всѣми другими народами чувство грѣха, сознаніе разницы между „грѣхомъ" и „правдой"; и въ частности Раскольникова, возмнившаго себя Наполеономъ, онъ заставляетъ смириться, покаяться, и въ этомъ покаяніи найти свое возрожденіе. Ничше настаивалъ на „переоцѣнкѣ всѣхъ цѣнностей". Достоевскій же находилъ, что въ ученіи Христа всѣмъ цѣнностямъ разъ навсегда дана вѣрная оцѣнка, и даже допускалъ возможность вѣры въ Христа, и именно въ православной формѣ, безъ настоящей вѣры въ Бога. Ничше говорилъ: „bleibt treu der Erde", будьте вѣрны землѣ, и Достоевскій многихъ изъ своихъ героевъ заставляетъ „цѣловать землю"; но Ничше имѣетъ при этомъ въ виду полноту земной жизни, „земные"

интересы въ противоположность „небеснымъ“, тогда какъ Достоевскій, напротивъ, поклонялся „землѣ“, какъ родинѣ, отечеству, въ которомъ Богъ. И Достоевскій, и Ничше знали, что есть нѣчто недоступное ограниченному разуму человѣка, но Достоевскій всю жизнь терзался этою недоступностью, тогда какъ Ничше спокойно объявлялъ, что не хочетъ уподобляться тѣмъ египетскимъ юношамъ, которые стремились увидѣть Изиду безъ покрывала.

Вотъ въ общихъ чертахъ тѣ кнутики, которые съ разныхъ сторонъ подстегиваютъ кубарикъ г. Мережковскаго, заставляя его вертѣться на мѣстѣ. Къ этому надо еще прибавить его способность и склонность одурманиваться страшными словами. И вотъ, когда онъ, наконецъ, подобно дервишу, завертится до потери сознанія и одурманитъ себя до того, что „время погаснетъ въ умѣ“ — ему въ полномъ безпорядкѣ являются видѣнія: Антихристъ, пресвитеръ Іоаннъ,—восточный папа, въ противоположность западному не царствующій священникъ, а священствующій царь, и, наконецъ, онъ самъ г. Мережковскій, подъ ручку съ г-жею Гиппіусъ и г. Розановымъ, какъ знаменія конца—excusez du peu—всемірной исторіи. И онъ въ изступленіи кричитъ: мы—декаденты, мы—упадочники! мы—конецъ! а стало быть, и „всему конецъ“!

XII *).

Объ исторіи русской живописи г. Александра Бенуа и о современныхъ настроеніяхъ.

Недавно вышелъ въ изданіи товарищества „Знаніе“ второй томъ „Исторіи русской живописи въ XIX вѣкѣ“ г. Александра Бенуа. Мнѣ не извѣстенъ первый томъ этого сочиненія, но лежащую передо мной книгу я прочиталъ съ величайшимъ интересомъ.

Прежде всего въ книгѣ меня поразило презрительное и вообще враждебное отношеніе автора къ литературѣ, насколько она вліяла и вліяетъ на русскую живопись, или даже насколько такъ или иначе русская живопись вообще сближается по своимъ задачамъ съ русской литературой. Можетъ быть, конечно, меня это поразило потому, что я самъ писатель, но думаю, что это должно броситься въ глаза каждому читателю, такъ какъ г. Бенуа ведетъ эту линію съ первыхъ же страницъ своей книги.

Пагинація второго тома „Исторіи русской живописи въ XIX вѣкѣ“ начинается съ 133 страницы, и уже на 136-й читаемъ: „Достаточно было одного толчка, чтобы Ѳедотовъ съ безусловною ясностью увидалъ, въ чемъ именно его назначеніе. Великій знатокъ русской жизни помогъ ему разобраться въ самомъ себѣ. Крыловъ, первый начинатель всего истинно-русскаго движенія въ литературѣ, былъ такъ пораженъ и восхищенъ жизненностью и характерностью набросковъ и каррикатуръ Ѳедотова, что даже преодолѣлъ свою классическую лѣнь и написалъ ему письмо, которое, наконецъ, открыло Ѳедотову глаза“.

Казалось бы, чего лучше? Писатель открылъ живописцу глаза на его настоящее назначеніе, литература оказала услугу живописи...

---

*) Декабрь 1902.

Однако, это не такъ просто, какъ кажется поверхностному взгляду. Дѣло въ томъ, что „совѣтъ, данный Крыловымъ Ѳедотову, исходилъ отъ литератора, весь вѣкъ, съ виду благодушно, но язвительно по существу насмѣхавшагося надъ скверностью русской жизни, и этотъ совѣтъ литератора привилъ и художнику литературную точку зрѣнія на живопись. Ѳедотовъ, пошедшій по стопамъ милыхъ сердцу его голландцевъ, отступилъ отъ ихъ завѣтовъ, увлекся методическимъ проповѣдничаньемъ Гогарта, оставилъ въ сторонѣ чисто-живописныя задачи и взялъ въ руки не однѣ кисти и палитру, а еще розгу и указку“ (137). Маленькое противорѣчіе между этими двумя цитатами, раздѣленными всего одной страницей, не смущаетъ г. Бенуа, и въ дальнѣйшемъ обзорѣ произведеній Ѳедотова онъ уже твердо стоитъ на вредоносности литературы для живописи. Ѳедотовъ „былъ сбитъ съ толку своей литературностью“ (138). „Если по заданію эти картины („Свѣжій кавалеръ“, „Сватовство маіора“ и проч.) и стояли выше прежнихъ сепій и акварелей художника, то и онѣ не менѣе ихъ были пропитаны литературнымъ духомъ“ (140). „Можно предположить, что со временемъ Ѳедотовъ отдѣлался бы совсѣмъ отъ того литературнаго характера, который вредитъ его картинамъ въ чисто-художественномъ отношеніи“ (на той же стр.). Ѳедотовъ, „безспорно находившійся одно время подъ сильнымъ вліяніемъ Гоголя, въ сущности не любилъ Гоголя. Его простая и нѣжно любящая натура была оскорблена тѣмъ неистовымъ глумленіемъ, тѣмъ безпощаднымъ бичеваніемъ, которыя скрыты подъ веселымъ тономъ „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“ (все тамъ же).

Другое дѣло Перовъ. Онъ стоитъ на первомъ мѣстѣ „среди тѣхъ, которые перешли отъ добродушной безобидной насмѣшки Ѳедотова къ угрюмой бичующей проповѣди въ духѣ „прогрессивной“ печати 60-хъ годовъ“ (157). Картина Перова, „появившаяся въ годъ освобожденія крестьянъ, не имѣла и слѣда сентиментальности, но была дерзкой, вполнѣ „Базаровской“, по рѣзкости, выходкой. „Проповѣдь въ селѣ“ изображена въ окончательно мрачныхъ краскахъ. Нѣтъ ни малѣйшаго просвѣта. И священно-служители, и мужики, и помѣщики представлены въ такомъ непривлекательномъ видѣ, что, глядя на эту картину, зрителю остается только придти въ отчаяніе. Не за что уцѣпиться, не на чемъ утѣшиться. Все въ Россіи, судя по этой картинѣ, оказывалось, совершенно такъ же, какъ въ романахъ Писемскаго, никуда не годнымъ, все зданіе культуры требовало ломки и переустройства... Въ 1862 г.,

какъ разъ въ самый тревожный для русской жизни годъ, Перовъ выставилъ двѣ картины, которыя по своей отчаянной рѣзкости могли бы вполнѣ выдержать сравненіе съ самыми мрачными обличительными сочиненіями русской направленской литературы того времени" (157—158). Позже, въ „Охотникахъ на привалѣ" и „Рыболовѣ" Перовъ „отказался отъ указки и гражданскихъ слезъ, но вмѣсто того, чтобы заняться просто дѣйствительностью, простой *живописью* (курсивъ г. Бенуа), онъ все же остался на чисто-литературной почвѣ и принялся смѣшить зрителей пустяшными разсказиками" (161).

„Большинство реалистовъ 60-хъ годовъ перенесло чисто-литературные пріемы въ живопись, принялось въ картинахъ, изображающихъ дѣйствительность, разсказывать, учить и смѣшить. Кто былъ постарше, тѣ пѣли на разные лады грустную пѣсенку Некрасова, кто помоложе, тѣ сочиняли разудало-ядовитые куплеты на злобы дня... Сердце Стасова и ему подобныхъ радовалось, глядя на мрачнаго „Знахаря" Мясоѣдова, на грустно-чувствительную сцену „Пасха нищаго Якобія", на „Трехъ мужиковъ" Петрова—первый проблескъ въ живописи грубаго народничества въ духѣ Глѣба Успенскаго" (164—165).

„Передвижники" сдѣлали большое и доброе дѣло, освободивъ русскую живопись отъ академической условности, но бѣда и вредъ ихъ въ томъ, что они поддались вліянію литературы: „они хотѣли переобразовать русское общество, пособить старшимъ братьямъ-литераторамъ" (195). Теперь этотъ гнетъ литературы сброшенъ, живопись стала свободна. Напримѣръ, Левитанъ, „геніальный, широкій, здоровый и сильный поэтъ — родной братъ Кольцову, Тургеневу, Тютчеву. Въ извѣстномъ отношеніи, какъ художникъ, тѣсно сжившійся съ природой, безхитростный и глубокій, онъ, пожалуй, даже превосходитъ ихъ. Но это сравненіе съ литераторами, если и является само собой при взглядѣ на его пейзажи, то вовсе не означаетъ, чтобъ въ немъ была хоть капля литературности" (229). Точно также „искусство Сѣрова ничего не имѣетъ въ себѣ литературнаго" (233). И „искусство Сомова ничего не имѣетъ въ себѣ литературнаго" (273).

Г. Бенуа указываетъ и моментъ, когда совершилась эта эмансипація живописи отъ литературы. „Въ 80-хъ годахъ, — говоритъ онъ,—когда у общества была отнята и послѣдняя надежда на участіе его въ государственномъ переустройствѣ, когда всѣ въ силу

того малу-по-малу охладѣли къ суетнымъ вопросамъ политики, когда, послѣ двадцатилѣтней бури, наступило надолго почти полное умиротвореніе, то тутъ въ этомъ затишьѣ все громче стала слышаться рѣчь тѣхъ русскихъ людей, которымъ до сихъ поръ внимали какъ-то разсѣянно и мимоходомъ. Звѣзды Некрасовыхъ, Щедриныхъ, Писаревыхъ и Добролюбовыхъ стали меркнуть одна за другой, и только теперь стали оцѣнивать по должному священныя слова Толстого, Вл. Соловьева, Страхова, Тютчева, Тургенева, Фета, Майкова и величайшаго среди нихъ великаго художника-пророка Достоевскаго... Съ тѣхъ поръ явилась возможность и для живописи освободиться отъ указки литературы и искать своихъ собственныхъ путей" (194).

Чтобы надлежащимъ образомъ оцѣнить значеніе этой тирады, надо принять во вниманіе нѣкоторыя замѣчанія г на Бенуа объ отдѣльныхъ художникахъ и картинахъ. Такъ, говоря о покойномъ Ярошенкѣ, къ которому онъ вообще относится довольно презрительно, г. Бенуа отмѣчаетъ извѣстную картину „Всюду жизнь" слѣдующей аттестаціей: „Единственно Ярошенко изъ своихъ товарищей подошелъ, такимъ образомъ, хоть отчасти, въ намѣреніяхъ, къ автору „Мертваго дома" (188). Подъ „товарищами" Ярошенки здѣсь разумѣются только передвижники, такъ какъ изъ позднѣйшихъ художковъ нѣкоторые очень прислушиваются къ Достоевскому. О г. Суриковѣ читаемъ: „Суриковъ близокъ по духу мистику и реалисту Достоевскому. Лучше всего это сходство замѣтно въ его женскихъ типахъ, какъ-то странно соединяющихъ въ себѣ религіозную экстатичность и глубокую, почти сладострастную чувственность. Это тѣ же „хозяйки", „Грушеньки", „Настасьи Филиповны"... Достоевскій сказалъ, что нѣтъ ничего фантастичнѣе реальности. Это въ особенности подтверждаютъ картины Сурикова" (218). И г. Нестеровъ „является рядомъ съ Суриковымъ, единственнымъ русскимъ художникомъ, хотя отчасти приблизившимся къ высокимъ божественнымъ словамъ „Идіота" и „Карамазовыхъ" (242). Если, однако, только гг. Суриковъ и Нестеровъ приблизились собственно къ Достоевскому, то, вообще говоря, „въ наше время... все, что было молодого и свѣжаго, ринулось въ объятія мистики" (226).

Итакъ, живопись эманципировалась отъ литературы тогда, когда „звѣзды Некрасовыхъ, Щедриныхъ, Писаревыхъ и Добролюбовыхъ" померкли и замѣнились „священными словами Толстого, Вл. Соловьева, Страхова, Тютчева, Тургенева, Фета, Майкова и величайшаго среди нихъ великаго художника-пророка Достоевскаго..." И

г. Бенуа серьезно увѣренъ, что замѣна однихъ литературныхъ вліяній другими литературными есть освобожденіе отъ литературы... Мнѣ кажется, что это умозаключеніе свидѣтельствуетъ только объ освобожденіи самого г-на Бенуа отъ логики. Но умозаключеніе это достойно вниманія не только съ чисто логической стороны, а и со стороны тѣхъ фактовъ, которые легли въ его основаніе.

Въ предисловіи къ недавно вышедшему второму тому „Исторіи живописи" Мутера редакторъ перевода, г. Бальмонтъ, выражаетъ благодарность „извѣстному художнику и писателю по художественнымъ вопросамъ Александру Николаевичу Бенуа" за сдѣланныя имъ указанія относительно перевода и выбора иллюстрацій къ книгѣ Мутера. Я долженъ признаться, что, какъ художникъ, г. Бенуа мнѣ совсѣмъ не извѣстенъ, а какъ съ писателемъ по художественнымъ вопросамъ, я съ нимъ знакомъ только по второму тому „Исторіи русской живописи въ XIX вѣкѣ" Охотно сознаюсь въ своемъ невѣжествѣ и готовъ вѣрить, что въ дѣлѣ живописи г. Бенуа есть судья вполнѣ компетентный, хотя и въ этомъ отношеніи меня берутъ нѣкоторыя сомнѣнія. Но, что касается литературы, то, отнюдь не эманципировавшись отъ ея воздѣйствія,—да и какой смыслъ въ этой эманципаціи?—г. Бенуа представляется въ этой области невиннымъ младенцемъ, развязно болтающимъ на темы, о которыхъ онъ не имѣетъ никакого понятія. Взять хоть бы вышеприведенную его выходку о „грубомъ народничествѣ въ духѣ Глѣба Успенскаго". Если захватанный и дружескими, и вражескими руками и потому совершенно неопредѣленный терминъ „народничество" и приложимъ съ необходимыми оговорками къ писаніямъ Успенскаго, то эпитетъ „грубое" народничество свидѣтельствуетъ именно только о невинности и вмѣстѣ съ тѣмъ развязности г-на Бенуа. Даже въ періодъ усиленной полемики съ народничествомъ (теперь этимъ дѣломъ занимается, кажется, только г. А. Б. въ „Мірѣ Божіемъ") его противники выдѣляли Глѣба Успенскаго, именно какъ писателя необыкновенно тонкаго. Доказывать г-ну Бенуа совершенную нелѣпость этой его выходки я не буду. Порекомендую только ему, какъ „извѣстному художнику и писателю по художественнымъ вопросамъ", прочитать статью А. Г. Горнфельда „Эстетика Глѣба Успенскаго" въ сборникѣ „На славномъ посту". Остановлюсь нѣсколько подробнѣе на приводимомъ г-номъ Бенуа спискѣ писателей, „священныя слова" которыхъ замѣнили будто бы померкшія звѣзды Некрасова и Щедрина. Какъ помнятъ читатели, это все люди,

во-первыхъ, чуждые „суетнымъ вопросамъ политики“, а во-вторыхъ, люди, которымъ „до тѣхъ поръ внимали какъ-то разсѣянно и мимоходомъ“. Въ спискѣ г-на Бенуа, дѣйствительно, есть писатели, болѣе или менѣе удовлетворяющіе обоимъ этимъ условіямъ. Таковъ, напримѣръ, Страховъ. Но вѣдь его, можетъ быть, и „священнымъ“ словамъ и теперь внимаютъ такъ же разсѣянно и такъ же мимоходомъ, какъ и при его жизни. Доказательствомъ можетъ служить хотя бы огромный двутомный трудъ г. Мережковскаго о Достоевскомъ и Толстомъ, въ которомъ ни единаго раза не поминается Страховъ, хотя оба названные великіе писатели были предметомъ его постояннаго восторженнаго вниманія. Интересно было бы знать, когда именно Достоевскому, Тургеневу, Толстому „внимали разсѣянно и мимоходомъ“. Какъ извѣстно, первыя же произведенія этихъ писателей—„Бѣдные люди“, „Записки охотника“, „Дѣтство и отрочество“—вызвали настоящій восторгъ. Но, можетъ быть, эта „разсѣянность“ наступила позже, напримѣръ, когда Добролюбовъ писалъ свою знаменитую статью о „Наканунѣ“ или когда Писаревъ съ молодою рьяностью ломалъ копья за „Отцовъ и Дѣтей“? Это наводитъ на другой рядъ вопросовъ: былъ ли Тургеневъ чуждъ „суетныхъ вопросовъ политики“, когда давалъ свою „Аннибалову клятву“ борьбы съ крѣпостнымъ правомъ, когда вплоть до „Нови“ такъ или иначе откликался на волновавшія общество общественные вопросы? Былъ ли ихъ чуждъ Достоевскій, изображая мракъ „Мертваго дома“, влагая въ уста Раскольникову политическую идею, воспроизводя политическій процессъ въ „Бѣсахъ“, по своему рѣшая восточный и другіе политическіе вопросы въ „Дневникѣ писателя“? Былъ ли чуждъ Толстой въ своихъ статьяхъ о народномъ образованіи, о голодѣ, о непротивленіи злу, о государствѣ, о женскомъ вопросѣ и проч., проч., и проч? Думаю, отвѣтъ не подлежитъ никакому сомнѣнію: Тургеневъ. Достоевскій, Толстой вызывали и восторги, и нареканія, но *никогда* имъ не внимали разсѣянно и мимоходомъ, и *никогда* они не были чужды „суетнымъ вопросамъ политики“, хотя всѣ они, каждый по своему, стояли на извѣстной теоретической высотѣ, открывавшей имъ болѣе или менѣе широкіе горизонты.

Особенно курьезно видѣть въ спискѣ г-на Бенуа рядомъ, бокъ о бокъ имена Тургенева и Фета. Будучи личнымъ пріятелемъ поэта розы и соловья, и вмѣстѣ съ тѣмъ очень взыскательнаго помѣщика, Тургеневъ, однако, рѣзко расходился съ нимъ во мнѣніяхъ, какъ насчетъ суетной политики, такъ и насчетъ теоретическихъ вопросовъ,

въ томъ числѣ и вопроса о задачахъ искусства. Такъ, однажды онъ писалъ Фету: „Я говорю, что художество такое великое дѣло, что цѣлаго человѣка едва на него хватаетъ со всѣми его способностями, между прочимъ, и съ умомъ. Вы поражаете умъ остракизмомъ и видите въ произведеніяхъ художества только безсознательный лепетъ спящаго". Или въ другой разъ: „вы закоренѣлый и остервенѣлый крѣпостникъ, консерваторъ и поручикъ стариннаго закала".—Казалось бы, въ виду хотя бы даже только этихъ двухъ отрывковъ изъ переписки, мудрено ставить Тургенева и Фета за ту общую скобку, за которую г. Бенуа, точно въ насмѣшку надъ обоими, поставилъ ихъ совсѣмъ рядомъ.

Такова степень основательности сужденій г-на Бенуа о литературѣ. Надѣюсь, что въ области живописи онъ больше у себя дома, хотя, не смотря на пускаемый имъ фейерверкъ изъ именъ старыхъ и новыхъ, русскихъ и иностранныхъ художниковъ и художественныхъ школъ, а также техническихъ или, какъ онъ самъ въ одномъ мѣстѣ выражается, quasi-техническихъ терминовъ,—меня и въ этомъ отношеніи берутъ нѣкоторыя сомнѣнія. Съ приличествующей мнѣ, какъ профану, скромностью, умолчу, однако, о нихъ. Пусть вся эта сторона книги г-на Бенуа безупречна.

Меня занимаютъ здѣсь не достоинства и недостатки того или другого художника, той или другой картины съ точки зрѣнія г-на Бенуа, а самая эта точка зрѣнія. Что бы онъ ни говорилъ о „сочныхъ мазкахъ" такого-то живописца или о „вкусныхъ краскахъ" такого-то или, напримѣръ, о „неподдѣльной ломанности и искреннемъ жеманствѣ" г. Сомова (273), мы, профаны, посѣщающіе художественныя выставки, руководствуемся при оцѣнкѣ картинъ собственными вкусами: восхищаемся однимъ, смѣемся надъ другимъ, проходимъ мимо третьяго и т. д. И презираетъ же насъ за это г. Бенуа! Мы, по его мнѣнію, „грубая, равнодушная, невѣжественная толпа, занятая низменными будничными интересами и ничего общаго съ высокимъ и свѣтлымъ дѣломъ познанія красоты не имѣющая" (190); мы пользуемся „глупѣйшей кличкой „декадентство" (223); мы еще разъ „грубая и пошлая толпа" (273). И т. д., и т. д. Можетъ быть, это ужъ черезчуръ бранчливо и не свидѣтельствуетъ даже о дѣйствительномъ великолѣпіи г-на Бенуа. Во всякомъ случаѣ, это безцѣльно: какъ бы низменны ни были наши понятія о красотѣ, отказаться отъ нихъ мы не можемъ, пока они не измѣнятся, а фейерверки г. Бенуа измѣнить ихъ безсильны. И по-

томъ—почему кличка „декаденты“—глупѣйшая, когда г. Мережковскій только что съ истерической похвальбой кричалъ: „мы — декаденты! мы — упадочники!“ и когда самъ г. Бенуа не разъ употребляетъ эту кличку въ своей книгѣ? Или въ устахъ его она умнѣетъ?

Г. Бенуа стоитъ за свободу: художникъ долженъ свободно, безъ чьей бы то ни было сторонней „указки“ выражать свои чувства. Прекрасно, но да позволено будетъ и намъ обходиться безъ указки г-на Бенуа, не подвергаясь за это чуть не площадной ругани. Думаю, что это тѣмъ болѣе намъ позволительно, что указку нашего автора уразумѣть чрезвычайно трудно.

Г. Бенуа — изъ „модерновъ“, и потому жестоко расправляется съ своими предшественниками, какъ съ академизмомъ, такъ и съ тѣмъ, что онъ называетъ „литературнымъ направленствомъ“, „общественнымъ направленствомъ“ и просто „направленствомъ“. Но что касается положительной стороны его книги, то она поистинѣ неуловима. Задачу и дѣятельность современныхъ художниковъ, по словамъ г-на Бенуа, „иначе, какъ довольно таки туманнымъ терминомъ: служенія красотѣ, искусству, не назовешь“ (225). Можно порадоваться, что терминъ этотъ—мимоходомъ сказать, отнюдь не современный, не новый, а, напротивъ, очень и очень старый—признанъ, наконецъ, довольно туманнымъ. И, конечно, туманность эта не разсѣется, а, можетъ быть, даже еще болѣе сгустится оттого, что г. Бенуа время отъ времени прибавляетъ къ существительному „красота“ прилагательное „мистическая“. Гораздо яснѣе другое, уже вполнѣ категорическое опредѣленіе: „Живописецъ непремѣнно долженъ быть декораторомъ: украсителемъ сценъ,—*все назначеніе его въ этомъ*“ (283). Если къ этому прибавить: „по вкусу или по заказу владѣльцевъ стѣнъ“, — потому что вѣдь безъ ихъ согласія это невозможно, — то ничего мистическаго тутъ не окажется. Простое житейское дѣло. Не думаю, однако, чтобы это обстоятельство способствовало подъему искусства на ту надзвѣздную высоту, на которой его хочетъ видѣть г. Бенуа. Онъ презираетъ тѣ „соціально-педагогическія идейки“, которыми, по его словамъ, исключительно руководились старые художники, „изъ принципа“ давая плохо написаныя картины. Онъ „тяготится тѣмъ подчиненіемъ суетнымъ интересамъ, которое было въ художествѣ 60-хъ годовъ“. Слова, „содержательныя картины“, „идейныя картины“ онъ ставитъ въ ироническія кавычки, потому что, все это такая суетная мелочь въ

сравненіи съ вѣчными задачами искусства, лежащими въ комбинаціяхъ линій, формъ и красокъ, каковыя комбинаціи и образуютъ собою „мистическое начало красоты". Служители этой красоты царятъ столь высоко, что для нихъ даже не существуетъ наша житейская толкотня, какъ бы ни казалась она намъ, профанамъ, ужасною или возвышенною, и какія бы тысячи и милліоны людей она ни захватывала. „Содержанія,—говоритъ г. Бенуа,—ищутъ и наши времена, и даже самымъ ревностнымъ образомъ, но мы теперь подъ содержаніемъ понимаемъ нѣчто безконечно болѣе широкое, нежели ихъ (старыхъ художниковъ) соціально-педагогическія идейки. Мы видимъ *содержаніе* не въ однѣхъ только общественныхъ проповѣдяхъ, но и во всякомъ красочномъ и декоративномъ эффектѣ. Мы находимъ его и въ соблазнительной (почему соблазнительной?) округлости греческой вазы, и въ сказочной пестротѣ персидскаго ковра, и въ вѣерахъ Ватто и Кондера, такъ же, какъ и въ Страшномъ Судѣ Микель-Анджело и въ Angelus Милле" (145). Такимъ образомъ, съ возвышенной точки зрѣнія мистической красоты персидскій коверъ и Страшный Судъ Микель-Анджело нѣкоторымъ образомъ уравниваются. Оно и неудивительно: стѣну можно украсить и тѣмъ, и другимъ, и, какъ украшеніе, какъ „красочный и декоративный эффектъ", коверъ на взглядъ многихъ владѣльцевъ стѣнъ можетъ оказаться предпочтительнѣе. Но всетаки, нѣтъ-ли въ „Страшномъ Судѣ" чего-нибудь, кромѣ линій и красокъ?" чего-нибудь не эстетически только, а при посредствѣ эстетики способнаго волновать милліоны вѣрующихъ людей? и не вложилъ-ли въ него самъ художникъ своего рода „соціально-педагогической идейки"? Я знаю, какъ отвѣтили бы на эти вопросы Толстой, Тургеневъ, Достоевскій, „священнымъ" словамъ которыхъ будто бы внимаетъ г. Бенуа, но какъ отвѣтитъ самъ онъ—не знаю. То-есть, пожалуй, и знаю, но знаю также, что отвѣтъ этотъ не будетъ уже столь прямолинеенъ, чтобы при посредствѣ его предстояло упереться въ стѣну, украшенную персидскимъ ковромъ. Иронизируя надъ общественнымъ настроеніемъ 60-хъ и 70-хъ годовъ, г. Бенуа пишетъ, между прочимъ: „художникамъ предписывалось приглядываться исключительно къ земнымъ потребностямъ. Имъ рекомендовалось прочесть собравшемуся народу изъ общедоступныхъ книжекъ что-либо поучительное, стоящее вполнѣ на высотѣ послѣднихъ передовыхъ идей и сдѣлать это яснымъ языкомъ, не мудрствуя лукаво. Вотъ если бы художники могли пробудить въ публикѣ ненависть

къ тьмѣ или заставить любить просвѣщеніе (*въ пониманіи позитивной науки*) — это было бы дѣломъ"! (144). Поставленныя г-мъ Бенуа въ скобки и подчеркнутыя мною слова чрезвычайно для него характерны. Противъ того, чтобы „заставить любить" *духовное* просвѣщеніе, онъ ничего не имѣетъ. Какъ бы, однако, высоко ни ставили мы духовное или истинное, какъ его называлъ Достоевскій, просвѣщеніе, какъ бы ни предпочитали мы его просвѣщенію свѣтскому („въ пониманіи позитивной науки"), — по отношенію къ „декоративнымъ и красочнымъ эффектамъ", и то, и другое находятся въ совершенно одинаковомъ положеніи. И для того, чтобы ввести въ задачи искусства „мистическую" идею, надо нарушить его предѣлы со стороны линій, формъ и красокъ. Въ дѣйствительности, г. Бенуа это и дѣлаетъ, воздавая, напримѣръ, хвалу содержанію картинъ г. Нестерова изъ жизни святыхъ, независимо отъ исполненія, или, опять-таки независимо отъ исполненія, негодуя на нѣкоторыя картины старыхъ художниковъ изъ быта духовенства. Такимъ образомъ, столь рѣшительное опредѣленіе художника, какъ „украсителя" стѣнъ исключительно при помощи декоративныхъ и красочныхъ эффектовъ, въ которыхъ, дескать и состоитъ все „содержаніе" искусства,—оказывается невыдержаннымъ.

Но г. Бенуа идетъ и еще дальше въ дѣлѣ измѣны своимъ собственнымъ тезисамъ. Признавая въ г. Рѣпинѣ крупный талантъ, онъ полагаетъ, однако, что это талантъ, покалѣченный литературными вліяніями. „Литературная сторона его картинъ и даже портретовъ,— говоритъ г. Бенуа, — непріятно колетъ глаза; а въ иныхъ случаяхъ представляется просто невыносимой. Со всѣхъ сторонъ до насъ доносятся скучныя *убѣжденія* (курсивъ г-на Бенуа), забытыя, завядшія *слова*" (180). Живопись, *все назначеніе* которой исчерпывается украшеніемъ стѣнъ красочными эффектами, естественно не должна пытаться *убѣждать* зрителей въ чемъ бы то ни было. Это уже будетъ не художество, а литературная указка, соціально-педагогическія идейки и тому подобная презрѣнная мелочь и чепуха. Но въ такомъ случаѣ что же значитъ такое, напримѣръ, замѣчаніе г-на Бенуа: „Въ „Садкѣ" (г. Рѣпина) насъ поражала выдержанность колорита, въ „Іоаннѣ" и „Казакахъ"—сочность и размахъ кисти, славныя, ясныя краски. Во имя всего этого мы готовы были простить, какъ полное отсутствіе сказочности въ первой картинѣ, такъ и случайность, эпизодичность и *неубѣдительность* въ двухъ послѣднихъ" (178). Или еще объ одной картинѣ все того же г. Рѣпина:

„Картина превзошла самыя грустныя ожиданія своей роковой неудачностью, своей безусловной *неубѣдительностью*“ (184). Можно было предположить, что подчеркнутыя слова имѣютъ въ данномъ случаѣ какое-то особенное значеніе, не имѣющее ничего общаго съ тѣмъ „убѣжденіемъ“, противъ котораго только что протестовалъ авторъ. Но вотъ любопытное разсужденіе г-на Бенуа о знаменитомъ „Степкѣ Растрепкѣ“:

„Степка-Растрепка — безусловно геніальное произведеніе, и въ доказательство можно сослаться на то, что оно, единственное изъ безчисленныхъ дѣтскихъ иллюстрацій, врѣзывается навсегда въ память, оно единственное не перестаетъ быть занимательнымъ и курьезнымъ. Очень примитивно нарисованъ филистеръ, отправляющійся въ зеленомъ сюртукѣ на охоту, но вѣдь превратился же этотъ филистеръ въ вѣчный, неизсякаемо-комичный типъ; очень грубо нарисованъ папенька, укоризненно вопрошающій своего сына: „Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will?“, но другого „папеньку“ себѣ и вообразить нельзя; очень уродливы цари, царевичи, царевны, странные пейзажи и зданія на лубкахъ, а между тѣмъ, они остаются въ памяти, мало-по-малу очищаются въ собственной фантазіи отъ грубости и безобразія, и превращаются въ настоящіе, *вполнѣ убѣдительные* образы. (Курсивъ, какъ и ниже, принадлежитъ г-ну Бенуа). Какъ же можно говорить о томъ, что здѣсь мы не имѣемъ дѣла съ *художественнымъ* произведеніемъ“ (260).

Итакъ, твердыня линій, формъ и красокъ, исчерпывающихъ все назначеніе живописи, разрушается самимъ ея глашатаемъ: очень плохой рисунокъ и очень грубыя краски могутъ дать истинно художественное, даже геніальное произведеніе, если оно „вполнѣ убѣдительно“...

Г. Бенуа—рѣшительный врагъ утилитаризма, какъ начала, унижающаго искусство, ввергающаго его въ болото „земныхъ потребностей“ и „суетныхъ интересовъ“. О томъ, не есть ли и эстетическая потребность — потребность земная, а интересъ къ тлѣнной красотѣ—интересъ суетный, не есть ли, наконецъ, украшеніе стѣнъ цѣль утилитарная, — обо всемъ этомъ г. Бенуа не задумывается. Онъ просто пишетъ: „Въ сущности, такъ называемая „художественная промышленность“ и такъ называемое „чистое искусство“ — сестры-близнецы одной матери — красоты, до того похожія другъ на друга, что и отличить одну отъ другой иногда очень трудно, до того близкія, что и разграничить сферу одной отъ сферы другой невозможно“ (252). Дѣло, однако, въ томъ, что отъ предметовъ художественной промышленности мы естественно требуемъ не только декоративныхъ и красочныхъ эффектовъ, а и удобства,

цѣлесообразности, приспособленности къ извѣстному практическому назначенію, а всѣ эти — требованія, если не ошибаюсь, утилитарныя...

Я не исчерпалъ всей принципіальной мѣшанины г-на Бенуа, да и не имѣлъ такого намѣренія. Сказаннаго, полагаю, достаточно, чтобы читатель согласился съ тѣмъ, что общая точка зрѣнія почтеннаго автора „Исторіи русской живописи въ XIX вѣкѣ" дѣйствительно неуловима. Ясно только одно: г. Бенуа есть представитель, можетъ быть, вождь и, во всякомъ случаѣ, теоретикъ нѣкотораго новаго теченія,—новаго, въ которомъ замѣтны, однако, и очень старыя струи. Началомъ этого новаго теченія онъ считаетъ, примѣрно, середину 80-хъ годовъ, когда живопись освободилась отъ „литературы и школьной указки". Мнѣ кажется, что, независимо отъ того легкомыслія, которое обнаруживаетъ г. Бенуа въ своихъ сужденіяхъ о литературѣ, вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ литературы и живописи вообще освѣщается имъ совершенно неправильно. Связь между этими двумя сферами никогда не порывалась, и не трудно видѣть, что „новое" искусство, группирующееся нынѣ, главнымъ образомъ, около журнала „Міръ искусства" и на его выставкахъ, имѣетъ въ немъ и въ раздѣляющихъ его взгляды своего выразителя и, пожалуй, руководителя; въ томъ смыслѣ, въ какомъ извѣстная часть литературы 60-хъ, 70-хъ годовъ руководила передвижниками. Вѣрнѣе же сказать, литература и живопись находятся всегда въ нѣкоторомъ взаимодѣйствіи, одна другую наводя, одна другую отражая и имѣя подъ собою одну и ту же почву болѣе или менѣе широко распространеннаго общественнаго настроенія. Въ одномъ мѣстѣ г. Бенуа какъ будто понимаетъ это. Мы видѣли, что онъ говоритъ о 80-хъ годахъ, какъ о времени, „когда у общества была отнята и послѣдняя надежда на участіе его въ государственномъ переустройствѣ, когда всѣ въ силу того мало-по-малу охладѣли къ суетнымъ вопросамъ политики". Съ этихъ поръ и расчистилась дорога для того искусства, апологетомъ котораго является передъ нами г. Бенуа. Это вѣрно. Но совершенно невѣрно, будто въ это же время и по тѣмъ же обстоятельствамъ стали слышаться дотолѣ будто бы не слышные голоса Тургенева и проч. Это просто даже до странности вздорная фантазія г-на Бенуа. Въ это время, параллельно тому, что происходило въ живописи, и въ литературѣ пошли „новыя" теченія, отрицательно суммировавшіяся формулой „отказъ отъ наслѣдства", а въ положительную сторону выражавшіяся „теоріей свѣтлыхъ явле-

ній", „реабилитаціей дѣйствительности", „чистымъ искусствомъ", декадентствомъ, экономическимъ матеріализмомъ, нигилизмомъ, мистицизмомъ. Словомъ, одна и та же причина произвела одни и тѣ же слѣдствія. какъ въ живописи, такъ и въ литературѣ. Когда г. Бенуа говоритъ, что „въ наше время все, что было молодого и свѣжаго, ринулось въ объятія мистики" (226), онъ ошибается. Далеко не все молодое и свѣжее ударилось въ мистицизмъ, а съ другой стороны, ударилось въ него, можетъ быть, и молодое годами, но уже усталое, разочарованное, не свѣжее. И это одинаково, какъ въ живописи, такъ и въ литературѣ.

Достойно вниманія, что г. Бенуа самъ указываетъ черты именно усталости, дряхлости, несвѣжести въ современной живописи, въ которой все такъ, по его же словамъ, свѣжо и молодо. „Доля упадочности,—пишетъ онъ,—доля болѣзненности безъ сомнѣнія находится въ современномъ художественномъ творчествѣ" (252). Еще опредѣленнѣе выражается онъ, говоря о картинахъ г. Сомова, котораго онъ цѣнитъ необыкновенно высоко: „за нимъ послѣднее слово,—онъ, покамѣстъ, за 10 лѣтъ, самое яркое, отрадное и типичное явленіе въ нашей живописи" (273). Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ причисляетъ его къ тѣмъ художникамъ, которыхъ „слѣдовало бы назвать истинными декадентами, не въ томъ, разумѣется, смыслѣ,—торопится онъ прибавить,—что ихъ искусство означаетъ упадокъ художественнаго мастерства, но въ томъ, что они въ своемъ до послѣднихъ предѣловъ утонченномъ, болѣзненно-чуткомъ, горячечно-прекрасномъ и загадочномъ творчествѣ полнѣе другихъ отражаютъ самый духъ своего изнѣженнаго, душевно растерзаннаго, истеричнаго времени"(171). Проникая сквозь картины г. Сомова до самаго нутра художника, г. Бенуа находитъ тамъ „положеніе души, возможное только въ эпохи старческой дряхлости, близости къ смерти, въ эпохи отчаянія" (272 - 273). Итакъ, молодое и свѣжее превращается однимъ почеркомъ пера въ старчески дряхлое.... Удивительная легкость мыслей у теоретика новаго искусства! И давно-ли, кажется, искусство освободилось отъ литературы и расправило собственныя мощныя крылья, поднявшія его въ высь эфира чистой красоты, а г. Бенуа уже провидитъ его окончательное паденіе. Сперва онъ говоритъ объ этомъ условно, какъ о возможности: „Очень *можетъ быть*, что *со временемъ* и на нашъ періодъ будетъ указано, какъ на новый банкротъ русскаго искусства" (223). Но на послѣдней, 274-й, страницѣ книги возможность уступаетъ мѣсто увѣренности, и часть

смерти новаго искусства указывается уже не неопредѣленнымъ выраженіемъ „со временемъ", а такъ: „*Навѣрное за дверью* стоитъ реакція. Послѣ періода разброда (или индивидуализма, какъ иногда выражается г. Бенуа, что не мѣшаетъ представителямъ новаго искусства жаться къ г. Дягилеву съ его журналомъ и выставками) наступитъ новая форма синтеза, хотя бы одинаково отдаленная отъ тѣхъ двухъ родовъ художественнаго синтеза, которые царили до сихъ поръ въ русскомъ искусствѣ: отъ академизма и общественнаго направленства. Историческая необходимость, историческая послѣдовательность требуетъ, чтобы на смѣну тонкому *эпикурейству* нашего времени, крайней изощренности человѣческой личности, изнѣженности, болѣзненности и одиночеству—снова наступилъ періодъ поглощенія человѣческой личности *во имя общественной пользы*". И „слѣдующій, вѣроятно, *противоположный* фазисъ искусства будетъ отличаться яркостью и силой".

Читатель благоволитъ обратитъ вниманіе на подчеркнутыя мною въ этой цитатѣ слова. Если рѣчь идетъ объ *эпикурействѣ* въ настоящемъ и *общественной пользѣ* въ будущемъ, то при чемъ же пламенный протестъ противъ утилитаризма? Если въ декоративныхъ и красочныхъ эффектахъ найдена вѣчная единственная задача живописи, то какъ возможенъ *противоположный* фазисъ, который *навѣрное за дверью стоитъ?*

Когда „молодое и свѣжее" считаетъ открытое или воспринятое имъ „новое слово" послѣднимъ, окончательнымъ словомъ, — это естественно. Теоретически молодость знаетъ, конечно, что историческій процессъ не можетъ же остановиться на ея сегодняшнихъ идеалахъ и вѣрованіяхъ, что вѣка и вѣка, которые еще предстоитъ жить человѣчеству, будутъ имѣть свою исторію; но сегодняшняя истина или то, что считается истиной, такъ ослѣпительно ясно и прекрасно, что на практикѣ совершенно заслоняетъ собою болѣе или менѣе отдаленное будущее.. И пылкая молодость ликуетъ и, ликуя, несетъ жертвы на алтарь того, что такъ ясно и прекрасно. Повторяю, это естественно, иначе и быть не можетъ. Но молодое и свѣжее г-на Бенуа есть, какъ мы видѣли, старческое и дряхлое, и потому столь же естественно, что оно провидитъ свой близкій конецъ; быть можетъ, усталое, отжившее, не живши,—даже хочетъ близкаго конца, смерти, хотя бы вотъ потому, что слѣдующій, „противоположный фазисъ" предъявитъ „яркость и силу". И если при этомъ оно выступаетъ въ книгѣ г-на Бенуа такимъ побѣдно

гордымъ аллюромъ, такъ это потому, что почтенный авторъ не умѣетъ связать свои концы съ концами. Г. Мережковскій — тотъ связалъ свой и своихъ единомышленниковъ конецъ съ концомъ мірового процесса, а потому никакой противоположной яркости и силы не ждетъ, и это свидѣтельствуетъ о его непреклонной вѣрѣ въ исповѣдуемую имъ *сейчасъ* истину. У г-на Бенуа такой вѣры, очевидно, нѣтъ, и всѣ его фейерверки ничего не стоятъ...

Въ оцѣнкѣ искренности вѣры, исповѣдываемой г. Мережковскимъ, я подчеркнулъ слово *сейчасъ*. Дѣло въ томъ, что на памяти даже молодыхъ людей г. Мережковскій уже не одинъ разъ радикально измѣнялъ свое міросозерцаніе, и никто—ниже онъ самъ—не поручится за то, что его теперешній декадентскій мистицизмъ или мистическое декадентство продержится въ немъ до завтрашняго дня. И это чрезвычайно характерно не только для г. Мережковскаго, но и для нашего времени вообще.

„Все течетъ", какъ сказалъ древній философъ, и задача каждой теоріи, каждаго ученія—всеобъемлющаго или распространяющагося на извѣстный спеціальный кругъ фактомъ—состоитъ въ томъ, чтобы дать отвѣтъ на выдвигаемые данной исторической минутой вопросы при помощи средствъ, имѣющихся въ распоряженіи этой данной минуты. Пройдетъ она, наступитъ слѣдующая, и отвѣты получатся иные, да и вопросы выдвинутся, можетъ быть, не тѣ, что волновали и мучили людей въ свое время. Смѣна міросозерцаній, ломка стараго и возникновеніе „новыхъ словъ" есть дѣло неизбѣжное. Но историческая минута можетъ длиться десятки и сотни лѣтъ, и если, напримѣръ, паденіе крѣпостного права, всѣ послѣдствія котораго и доселѣ еще не изжиты нами, было моментомъ, рѣзко раздѣлившимъ „отцовъ" и „дѣтей", то въ дальнѣйшей нашей исторіи, безспорно богатой событіями огромной важности, не было, однако, уже ничего, что съ такою же рѣзкостью опредѣлило бы раздоръ сосѣднихъ по времени поколѣній. Это не значитъ, конечно, чтобы за весь этотъ періодъ мы должны были неподвижно стоять на одной и той же точкѣ, или чтобы не было никакой борьбы между различными міросозерцаніями. Но для рѣзкаго раздора между „старымъ" и „новымъ", казалось бы, не было причины, по крайней мѣрѣ, такой яркой, какою было паденіе крѣпостного права.

Вотъ что, между прочимъ, читаемъ въ статьѣ г-на П. Г. „Къ характеристикѣ нашего философскаго развитія", напечатанной въ только что вышедшемъ сборникѣ „Проблемы идеализма": „Марк-

сизмомъ, народившимъ изъ своихъ нѣдръ метафизику, русскій позитивизмъ закончилъ полный кругъ своего развитія. Контизмъ Вл. Ал. Милютина, матеріализмъ (естественно-научный) Герцена, Чернышевскаго и Писарева, соціологическій субъективизмъ Лаврова и Михайловскаго, діалектическій марксизмъ Бельтова и позитивно-критическій марксизмъ Струве — вотъ его различныя выраженія и въ то же время этапы, имѣющіе различное содержаніе и потому различную цѣнность, но, по своему философскому зерну, тождественные" (87). А между тѣмъ, сколько ожесточеннѣйшихъ, чисто философскихъ битвъ происходило между представителями этихъ тождественныхъ по своему философскому зерну ученій. И замѣчательно: болѣе ранніе, говоря языкомъ г-на П. Г., „этапы" слѣдовали одинъ за другимъ почти незамѣтно и во всякомъ случаѣ безъ той рѣзкости и стремительности, какая отличаетъ этапы позднѣйшіе. Такъ было, впрочемъ, въ періодъ позитивизма, нынѣ,—по словамъ г-на П. Г.,— окончательно похороненнаго; но и въ наступившемъ періодѣ метафизики „этапы" будутъ, повидимому, смѣнять другъ друга не съ такою рѣзкостью, но съ не меньшею стремительностью. Открываетъ собою этотъ новый періодъ тотъ самый г. Струве, которымъ закончился послѣдній этапъ предыдущаго періода. Г. Струве стоялъ сначала на точкѣ зрѣнія „позитивно-критическаго марксизма". „Лишь очень внимательный и чуткій читатель, — говоритъ г. П. Г.,—могъ и тогда уже уловить въ рѣзкихъ рѣшеніяхъ Струве скрывавшуюся за ними внутреннюю неувѣренность въ правильности найденнаго исхода, мучившую автора, но имъ не сознанную и заглушенную; некритическая насильственность этого исхода должна была, однако, обнаружиться. Пересмотрѣвъ свое рѣшеніе, Струве отъ него отказался и, не признавъ возможнымъ ни критическаго воздержанія, ни психологическаго субъективизма, — открыто перешелъ къ метафизикѣ, т. е., отставъ отъ позитивизма, въ *философскомъ* (курсивъ г-на П. Г.) отношеніи пересталъ быть и марксистомъ. Выраженіемъ этого поворота явилась книга Бердяева съ предисловіемъ Струве. Бердяевъ обнаруживаетъ въ своей книгѣ еще двойственное отношеніе къ метафизикѣ, Струве рѣшительно отдается ей" (90).

Я не думаю, что г. Струве пересталъ быть марксистомъ только въ философскомъ отношеніи, да и г. П. Г. говоритъ далѣе о „необходимости дальнѣйшаго пересмотра *всѣхъ* сторонъ самаго молодого изъ выступавшихъ у насъ философскихъ міровоззрѣній". Дѣло, впрочемъ, не въ этомъ. Въ литературномъ отношеніи г. Струве очень молодъ, но извѣстною долею своего небольшого литератур-

наго багажа онъ уже принадлежитъ къ „отцамъ", новымъ, молодымъ отцамъ, конечно. Г. Бердяевъ еще моложе, но и онъ успѣлъ пережить извѣстную внутреннюю ломку и спѣшитъ въ тѣхъ же „Проблемахъ идеализма" оговориться: „со времени появленія моей книги я далеко ушелъ впередъ въ томъ направленіи, которое было мною только намѣчено... Я признаю, что на моей книгѣ отразились недостатки переходнаго состоянія мысли отъ позитивизма къ метафизическому идеализму и спиритуализму, къ которому я теперь окончательно пришелъ" (95). И всетаки міросозерцаніе гг. Струве и Бердяева не можетъ считаться „самымъ молодымъ изъ выступившихъ у насъ философскихъ міросозерцаній". Не говоря о томъ, что самимъ г-ну Струве и въ особенности г. Бердяеву предстоятъ еще новые „этапы" въ близкомъ будущемъ, недавно въ Одессѣ вышли двѣ книжки, — М. Э. Гуковскаго „Новыя вѣянія и настроенія" и Г. Пекатароса „Современныя настроенія",—въ которыхъ есть нѣчто еще болѣе новое и молодое.

Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что въ литературѣ появляется за разъ нѣсколько различныхъ мнѣній о практическихъ-ли вопросахъ текущаго дня, или о высшихъ проблемахъ философіи и религіи. Но поистинѣ изумительна та стремительность, съ которою у насъ въ настоящее время различныя міросозерцанія смѣняютъ одно другое, стараясь при этомъ въ особенности подчеркнуть свою современность, молодость, новость. Какъ будто и дѣло-то все не въ истинѣ, а въ новости. Самое слово „новый" пріобрѣтаетъ въ глазахъ нѣкоторыхъ авторовъ какую-то особенную привлекательность, и они прилагаютъ его даже совсѣмъ не къ мѣсту. Вотъ, напримѣръ, г. Булгаковъ радуется, какъ чему-то новому, книжкѣ Carring'a „Das Gewissen im Lichte der Geschichte, socialistischer und christlicher Weltanschaung" (1891 г.). Книжка эта небезынтересная, но видѣть въ ней „симптомъ нравственнаго перелома, совершающагося въ настоящее время въ западно-европейскомъ обществѣ" („Проблемы идеализма", 46)—нѣтъ рѣшительно никакого основанія. Проповѣдуемый Каррингомъ христіанскій соціализмъ отнюдь не есть новость въ Европѣ, гдѣ, дѣйствительно, послѣднею новостью является волна—я готовъ сказать—эпидемія ничшеанства, одинаково враждебнаго какъ соціализму, такъ и христіанству. А у насъ еще Достоевскій горячо возставалъ противъ объединенія этихъ двухъ элементовъ...

Но здѣсь я вступаю въ область вопросовъ, для обсужденія которыхъ удѣлю другое время.

XIII *).

Г. Ашешовъ о Некрасовѣ.—Г. Мережковскій объ отцахъ и дѣтяхъ.—Г. Туганъ-Барановскій о самомъ себѣ.—Г. П. Г. о г. Струве.—Г. Пекаторосъ о современныхъ настроеніяхъ.— М. Э. Гуковскій о новыхъ вѣяніяхъ и настроеніяхъ.

Въ своихъ декабрьскихъ номерахъ всѣ журналы и газеты посвятили болѣе или менѣе обстоятельныя статьи памяти Некрасова по поводу двадцатипятилѣтія со дня его смерти. Исключеніе представляетъ „Русская Мысль", ограничившаяся напечатаніемъ нѣсколькихъ незначительныхъ писемъ покойнаго поэта, изъ которыхъ одно сопроводила по малой мѣрѣ страннымъ примѣчаніемъ. Бѣгло передавъ одинъ старый разсказъ про Некрасова, почтенный журналъ прибавляетъ: „Эту темную, некрасивую исторію, въ свое время возбуждавшую много толковъ и сплетенъ въ литературныхъ кругахъ, теперь нѣтъ интереса разсказывать, тѣмъ болѣе, что до правды все равно не добраться". „Нѣтъ интереса разсказывать", и однако, почтенный журналъ разсказалъ; „до правды все равно не добраться", и однако, тѣнь брошена...

Изъ статей, посвященныхъ памяти Некрасова, меня больше другихъ заинтересовала статья г. Ашешова „Поэзія совѣсти", напечатанная въ журналѣ „Образованіе".

Статья г. Ашешова раздѣляется на двѣ главы или части. Первая называется „Некрасовъ — человѣкъ", вторая — „Некрасовъ — поэтъ". Существующими попытками разобраться въ сложномъ образѣ Некрасова, какъ человѣка, — признавая за нѣкоторыми изъ нихъ большія достоинства, — г. Ашешовъ не удовлетворенъ. Такъ, Достоевскій „далъ блестящую художественную гипотезу о творчествѣ, душѣ и нравственномъ обликѣ Некрасова. Но эта гипотеза,

*) Январь, 1903 г.

при всей своей глубокой и заманчивой красотѣ, при всей своей силѣ и экспрессивности, остается только гипотезой, при внимательномъ разсмотрѣніи нисколько не приближающей насъ къ разгадкѣ". Поэтому г. Ашешовъ желаетъ дать свой литературный портретъ поэта. Онъ говоритъ: „сдѣлаемъ попытку (и это будетъ только гипотезой) уяснить себѣ психическій образъ поэта мести, печали и гнѣва, пѣвца обездоленной Руси и народнаго трибуна, которому „неизвѣстный другъ" бросилъ въ лицо (?) свое знаменитое „Не можетъ быть", а извѣстные друзья — обвиненіе въ томъ, что его поэзія — „не выраженіе порыва искренняго чувства и полета *безкорыстной* мысли, а просто *лицемѣрное* литературное краснобайство, *разсчитанное* самымъ *холоднымъ* образомъ" *).

Казалось бы, если характеристика Некрасова, сдѣланная Достоевскимъ, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, не достигаетъ цѣли, потому что „остается только гипотезой", то зачѣмъ намъ характеристика, сдѣланная г. Ашешовымъ, которая есть тоже „только гипотеза"? Какъ бы то ни было, „гипотеза" г. Ашешова по существу ничѣмъ не отличается отъ того, что было давно высказано въ литературѣ. Въ самомъ дѣлѣ, назвать Некрасова „homo duplex,—а къ этому собственно и сводится гипотеза г. Ашешова, — не значитъ сказать что-нибудь непредвидѣнное не только хоть бы тѣмъ же Достоевскимъ, но и любымъ изъ читавшихъ „Рыцаря на часъ" и другія покаяннныя стихотворенія Некрасова. Это одинъ изъ варьянтовъ общепризнанной, самимъ поэтомъ съ необыкновенною силою яркостью выраженной мысли. Мы ничего, разумѣется, не имѣемъ противъ подобныхъ варьянтовъ, но не видимъ резона противополагать ихъ другимъ, неудовлетворяющимъ г. Ашешова, характеристикамъ Некрасова, какъ человѣка. Въ подробностяхъ, однако, есть кое-что, исключительно г. Ашешову принадлежащее.

Онъ указываетъ нѣсколько причинъ образованія того, по его мнѣнію, пробѣла въ нашей литералурѣ, который онъ думаетъ восполнить своей „гипотезой": во-первыхъ, недостатокъ біографическихъ матеріаловъ, во-вторыхъ, — соображенія тактическаго характера. „Когда грязныя руки потянулись къ Некрасову, когда его имя стали трепать скулодробительные органы общественной мысли распутнаго толка, — естественно противники такой вакханаліи должны были сдерживаться и изъ мотивовъ такта объ одномъ умалчивать,

*) М. Антоновичъ и Ю. Жуковскій въ „Матеріалахъ для характеристики современной литературы" (въ 1869 г.).

а о другомъ говорить въ смягченномъ тонѣ, терпѣливо ожидая лучшихъ временъ, когда для объективной правды народятся равноправныя условія... И это понятно... Но это не исключаетъ возможности быть правдивымъ... Соображенія тактичности осложняются въ данномъ случаѣ еще нѣкоторыми привходящими фактами, весьма грустнаго свойства. Дѣло въ томъ, что разбить статую Некрасова пытались и пытаются не только потомки Святополка Окаяннаго въ публицистикѣ, но и люди „своего стана", „нашего берега". Съ окаянными публицистами борьба—по крайней мѣрѣ, теоретическая—весьма недолга. Но „нашебережные" представляютъ собою силу очень серьезную и щекотливую". „Правда, это было давно",—прибавляетъ г. Ашешовъ, указывая на брошюру гг. Антоновича и Жуковскаго, изъ чего, повидимому, слѣдуетъ, что статую Некрасова разбить не *пытаются*, а только *пытались*.

Матеріалы для біографіи Некрасова совсѣмъ уже не такъ скудны, какъ это кажется г. Ашешову, но это не важно. Что же касается тактическихъ соображеній, то они были очень естественны при жизни поэта, но затѣмъ въ нихъ не было никакой надобности. Въ дѣйствительности тѣневыя стороны личности Некрасова давно у всѣхъ передъ глазами, и я рѣшительно не понимаю, какія у г. Ашешова основанія думать, что друзья и почитатели Некрасова, говоря о немъ, не были „правдивы". Повидимому, г. Ашешовъ имѣетъ здѣсь въ виду разоблаченія гг. Антоновича и Жуковскаго. Эти „нашебережные", какъ ихъ называетъ нашъ авторъ, представляютъ собою, по его мнѣнію, какъ мы сейчасъ видѣли, силу „очень серьезную и щекотливую". О щекотливости этой силы судить не берусь, да, признаться, и не понимаю, что значитъ щекотливая сила, а о ея серьезности готовъ и теперь повторить сказанное мною больше десяти лѣтъ тому назадъ: по эффекту, на который разсчитывали гг. Антоновичъ и Жуковскій, ихъ памфлетъ оказался „хлопушкой, брошенной шаловливой дѣтской рукой подъ поѣздъ". Г. Ашешовъ съ этимъ не согласенъ. Нѣтъ, — говоритъ онъ, — не хлопушка это была, „а серьезный литературно-общественный инцидентъ, безпримѣрный по смѣлости его иниціаторовъ и по почину апеллированія къ общественному суду, какъ рѣшителю дѣйствій писательской совѣсти". „Правда,—соглашается г. Ашешовъ,—„хлопушка ничему не помѣшала", правда, „даже злѣйшіе враги не утилизировали" вышеупомянутой брошюры, но „злая накипь все же осталась". Почему хлопушка ничему не помѣшала и почему даже злѣйшіе враги ею

не воспользовались, это слишкомъ ясно изъ собственнаго разсказа г. Ашешова: „Въ *1868 г.* Некрасовъ взялъ у Краевскаго, пользовавшагося самой отрицательной репутаціей, въ аренду „Отечеств. Записки"; *въ журналѣ предполагалось участіе М. Антоновича и Ю. Жуковскаго, но эта комбинація не состоялась. Въ 1869 г. эти же два журналиста и опубликовали свои „Матеріалы", въ которыхъ выставили цѣлый рядъ обвиненій противъ Некрасова*". Стоитъ только сопоставить подчеркнутыя мною слова, чтобы убѣдиться въ слишкомъ уже низменномъ источникѣ памфлета, который поэтому и не могъ возбудить ни довѣрія, ни сочувствія. Нынѣ г. Ашешовъ извлекаетъ изъ него слѣдующій „*важный* пунктъ обвиненій, адресованный Некрасову": „Вы въ одномъ собраніи формально отреклись отъ вашихъ сотрудниковъ, высоко поднявшихъ и обогатившихъ вашъ журналъ, утверждали, что вы ни душой, ни тѣломъ неповинны въ томъ, что дѣлалось въ журналѣ, что они держали васъ въ рукахъ... что вы давно хотѣли, но не могли отдѣлаться отъ нихъ".

И г. Ашешовъ серьезно думаетъ, что это „важный пунктъ обвиненій", предъявленный „очень серьезною силой", а не простая сплетня уже по самой формѣ своей! И что почитатели Некрасова, не придававшіе этой сплетнѣ значенія, тѣмъ болѣе, что они же не старались скрыть дѣйствительно большіе и несомнѣнные грѣхи поэта,—что почитатели эти были недостаточно „правдивы"!

Много грѣховъ лежитъ на душѣ Некрасова, и нѣтъ никакой надобности преувеличивать ихъ число и значеніе. Нѣтъ надобности утверждать,—какъ это дѣлаетъ г. Ашешовъ,—что „на всемъ психическомъ строѣ" Некрасова „должна была отразиться наслѣдственность по развратному и пьяному отцу", когда мы никакихъ данныхъ для обвиненія поэта въ развратѣ и пьянствѣ не имѣемъ. Нѣтъ надобности и безъ того достаточно извѣстную черту Некрасова усугублять такими великолѣпными обвиненіями: „Съ точки зрѣнія практичности Некрасовъ поступалъ вполнѣ пристойно, когда занялся издательствомъ сборниковъ и альманаховъ. Былъ запросъ времени на эти изданія... Но эта практичность дисгармонировала со славными традиціями литературы, съ нашими лучезарными преданіями и лучезарными порывами сдѣлать изъ писательскаго дѣла высокую миссію, благородный долгъ, безкорыстное служеніе". Г. Ашешовъ забываетъ, что всѣ эти славности и лучезарности не мѣшали издавать альманахи и сборники и Карамзину („Аониды"), и

Бестужеву съ Рылѣевымъ („Полярная Звѣзда"), и Дельвигу („Сѣверные цвѣты") и проч , и проч., и Бѣлинскому не мѣшали мечтать о сборникѣ „Левіафанъ". Да и чѣмъ собственно отличается по существу изданіе альманаха или сборника отъ изданія журнала? А къ изданію Некрасовымъ „Современника" и „Отечественныхъ Записокъ" г. Ашешовъ никакого минуса не приставляетъ. Кстати объ „Отечественныхъ Запискахъ". Какъ извѣстно, Некрасовъ добровольно предложилъ своимъ ближайшимъ сотрудникамъ, Салтыкову и Елисееву, участіе въ доходахъ съ этого журнала. Фактъ это общеизвѣстный, но почему-то неупоминаемый счетчиками доходовъ Некрасова, хотя, сколько я знаю, единственный въ исторіи нашей журналистики. Я отнюдь не хочу пѣть хвалу безкорыстію Некрасова, но если, во имя правдивости, изъ дали временъ вытаскиваются на бѣлый свѣтъ какія-то сплетни, то почему бы, кажется, не вспомнить и указанный сейчасъ фактъ, даже нотаріальнымъ порядкомъ засвидѣтельствованный.

Переходя ко второй части статьи г. Ашешова, — „Некрасовъ — поэтъ",—мы и здѣсь найдемъ кое-что доселѣ о Некрасовѣ несказанное. Я остановлюсь лишь на одномъ изъ такихъ пунктовъ. Но прежде обращу вниманіе на заглавіе статьи г. Ашешова. Она называется „Поэзія совѣсти", и въ текстѣ читаемъ, напримѣръ, между прочимъ: „Въ основу поэзіи Некрасова легла совѣсть". Или: „Его совѣсть была совѣстью русскаго общества"; „многосторонній и гибкій талантъ, отзывчивый на всѣ стороны жизни, начиная отъ мужицкой и вплоть до буржуазной и сановной, освѣщалъ всѣ эти стороны свѣтомъ своей совѣсти и совѣсти общественной". Въ этихъ словахъ есть извѣстная, даже очень большая доля правды. Но вѣдь вотъ самъ же г. Ашешовъ въ разныхъ мѣстахъ своей статьи называетъ Некрасова „поэтомъ мести, печали и гнѣва"; значитъ на Некрасовской лирѣ были, кромѣ струны совѣсти, натянуты и другія, и, сосредоточивая свое вниманіе на „поэзіи совѣсти", г. Ашешовъ суживаетъ ея роль и значеніе. А это обстоятельство позволяетъ почтенному автору воспѣть Некрасову слѣдующій, чреватый отрицаніемъ гимнъ въ прозѣ: „Въ моменты весны русской общественности пришелъ поэтъ и сталъ пѣть дивныя пѣсни, скорбныя думы. Его тоскливая совѣсть такъ удивительно сливалась съ совѣстью общественною, переживавшею кризисъ покаянія за долги исторіи. И поэтъ могучими стихами облегчилъ этотъ кризисъ". Далѣе идетъ еще пламеннѣе и краснорѣчивѣе, но я не даромъ

замѣтилъ, что этотъ краснорѣчивый гимнъ чреватъ отрицаніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, если дѣло идетъ о какомъ-то уже пережитомъ кризисѣ, то естественно, увѣнчавъ Некрасова лаврами, воздвигнувъ ему монументъ головокружительной высоты, — прибавить: но намъ онъ уже болѣе не нуженъ, нашему уму и сердцу онъ уже ничего не говоритъ. Приблизительно такъ и поступаетъ г. Ашешовъ.

„Общественная совѣсть и совѣсть поэта вели къ народу вообще, къ неопредѣленной крестьянской массѣ".

„Эта любовь къ народу и эта вѣра были смутны и неопредѣленны, ибо были лишь романтическими терминами народничества безъ яснаго анализа по существу. Наше народничество — мы говоримъ, конечно, не о грязныхъ его хвостахъ—запечатлѣно романтизмомъ, а нѣкоторые моменты его въ семидесятыхъ годахъ и былиннымъ героизмомъ, отъ котораго вѣетъ величавостью сѣдыхъ временъ. Некрасовъ, какъ и романтики народничества, даже тѣ, которые рѣзко подчеркивали свое тяготѣніе къ опредѣленному трудящемуся слою, представленіе о народѣ имѣли слишкомъ общее, быть можетъ, только немногимъ болѣе рельефное, чѣмъ люди сороковыхъ годовъ, когда они мечтали объ освобожденіи крестьянъ, какъ массы вообще, независимо отъ составляющихъ ее элементовъ".

„Страданія народа" останутся на безконечно долгое время острою темою литературы вообще, поэзіи въ частности, останутся вездѣ и всюду, гдѣ останется неразрѣшеннымъ нынѣшній соціальный вопросъ. Но на пространствѣ его эволюціи каждый періодъ вкладываетъ въ него свое содержаніе, а это содержаніе съ Некрасовскихъ временъ значительно измѣнилось. Загадочный сфинксъ изъ сплошной черной массы распался на слои, и терминъ „народъ" (какъ и „любовь къ народу") потерялъ теперь ту высоту звука, какую онъ имѣлъ въ семидесятыхъ годахъ. Съ момента освобожденія крестьянъ до нынѣшняго времени протекъ слишкомъ продолжительный періодъ времени, чтобы народная масса оставалась тою же неизмѣнною, нуждающеюся въ общей альтруистической опекѣ интеллигенціи. На первый планъ выдвинулся теперь трудъ внѣ-сословныхъ классовъ, и онъ дѣлался и дѣлается центромъ жизненныхъ интересовъ, симпатій и антипатій, содѣйствія и противодѣйствія. Но и въ этихъ новыхъ предѣлахъ есть много различныхъ ступеней, положеній, оттѣнковъ, чтобы можно было окрестить ихъ однимъ терминомъ. Но какъ бы то ни было, общая альтруистическая опека интеллигенціи должна уступить мѣсто признанію самодѣятельности и развитія автономной трудовой личности, которая сама себя опредѣлитъ, что, конечно, не исключаетъ возможности равноправнаго сотрудничества высшихъ культурныхъ силъ. Съ этой точки зрѣнія, всякая поэзія народной скорби „вообще" не можетъ уже удовлетворить современное поколѣніе. Послѣднее уже переросло ее, и помочи общихъ туманныхъ порывовъ могутъ только натрудить ему плечи. У насъ такъ много насущныхъ задачъ, такъ много неотложной дѣятельной работы, что неопредѣленная скорбь „вообще" о народѣ, какой-то байронизмъ Яро-

славской губерніи былъ бы не только излишнимъ и безполезнымъ, но и вреднымъ".

„Нѣсколько застывшее въ теченіе послѣднихъ періодовъ общество занято теперь анализомъ многихъ началъ и крѣпкихъ корней. Корни эти вынимаются изъ глубины дремавшей мысли, отряхивается съ нихъ земля, счищаются всякіе наросты, и мысль пытливо изслѣдуетъ сущность того, что вросло въ насъ, охватило насъ. Опаснѣе всего въ такіе моменты повторять старые лозунги. Старые лозунги безъ провѣрки, безъ очистки анализомъ — метафизика. Метафизика, правда, красивая вещь. Но она—шуршаніе мысли, которая ходитъ вокругъ да около искомаго икса, замѣняя кружевомъ словъ формулу точнаго, какъ химическій, анализа сущности".

„Для неопредѣленной тоски и скорби о неопредѣленномъ народѣ настала теперь ликвидирующая исторія Уже давно идетъ провѣрка „старыхъ корней" такого типа, а такъ какъ Некрасовъ въ нашемъ культурномъ обществѣ пользуется большимъ обаяніемъ, и такъ какъ именно съ нимъ связаны эти блуждающіе термины о скорби, то необходимо разобраться на этотъ разъ серьезнѣе и глубже. Необходимо отграничить байронизмъ и сантиментальничанье отъ идейной и моральной сущности того, что мы называемъ защитою трудовыхъ слоевъ и автономной личности. Какъ романтикъ неопредѣленной народной скорби, Некрасовъ устарѣлъ. Его тоска не можетъ развивать элементы нашего міросозерцанія, стремящагося быть точнымъ и опредѣленно-устойчивымъ. Ей надо сойти изъ отвлеченныхъ высотъ на землю и опредѣленно указать, къ кому именно она направляется и во имя какихъ идеаловъ она изливается. Въ процессѣ, который теперь совершается, ясно видно стремленіе трудовой единицы выдти на автономный путь. Этотъ мотивъ, вполнѣ естественно, былъ чуждъ Некрасовской поэзіи. Теперь, наоборотъ „народной" поэзіей можетъ быть лишь та, которая основнымъ мотивомъ выдвинетъ эту жажду трудовой единицы быть хозяиномъ въ жизни. Этотъ мотивъ очень ясно сквозитъ у Горькаго—романтика pur sang".

„За исключеніемъ этой особенности (неопредѣленности народной скорби и самаго народа), у Некрасова все же остается цѣлое колоссальное богатство мотивовъ, въ которыхъ ярко свѣтится любовь не къ народу вообще. а къ обездоленнымъ, несчастнымъ и униженнымъ".

Да не посѣтуетъ на меня читатель за эту длинную выписку. Очень она длинна, но за то читатель видитъ все ядро мысли автора, завернутое имъ въ цвѣтную оболочку хвалебныхъ словъ, перерѣзанное въ разныхъ мѣстахъ такими же хвалебными прожилками. Дѣло въ томъ, что у г. Ашешова бойкое перо, я бы сказалъ: неудержимо бойкое. Красивыя или, по крайней мѣрѣ, громкія фразы, льются съ этого пера сами собой, и автору жалко ихъ вычеркнуть даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ вполнѣ неумѣстны. Выше я отмѣтилъ одну изъ такихъ фразъ вопросительнымъ знакомъ. Г. Ашешовъ пишетъ, что „неизвѣстный другъ" *бросилъ Некрасову въ лицо свое знаменитое „Не можетъ быть"*. Несвѣдую-

щій человѣкъ можетъ подумать, что „неизвѣстный другъ“ нанесъ Некрасову какое-то оскорбленіе, тогда какъ въ дѣйствительности его стихотвореніе было знакомъ сочувствія и ободренія. Но „бросилъ въ лицо“ — это такъ картинно! Такова же фраза о „байронизмѣ Ярославской губерніи“. „Бросивъ ее въ лицо“ поэту, авторъ тотчасъ же самъ почувствовалъ ея неумѣстность, но, вмѣсто того, чтобы просто выкинуть ее, онъ принимается усиленно расшаркиваться передъ Некрасовывъ: „*Во избѣжаніе недоразумѣній*, спѣшу оговориться, что эта фраза менѣе всего посягаетъ на авторитетъ поэзіи Некрасова. Я слишкомъ благоговѣйно чту его и слишкомъ многимъ ему обязанъ, чтобы ради краснаго словца пустить дешевую стрѣлу въ дорогое имя. Пѣсни Некрасова звучатъ для меня не только какъ музыка поэзіи народныхъ мотивовъ, какъ произведенія поэта, первыми прочитанныя мною сознательно и вдумчиво. Онѣ звучатъ для меня, какъ отголосокъ свѣтозарной юности, когда я, на свѣтломъ побережьи грезъ, полныхъ весенняго очарованія, переживалъ и радостныя, и угрюмыя думы о дѣланіи жизни я искалъ ключа... И если я нѣсколько рѣзко отзываюсь о неопредѣленной скорби и о какомъ-либо губернскомъ или уѣздномъ байронизмѣ, то лишь для того, *чтобы выяснить нѣкоторыя недоразумѣнія*“.

„Свѣтозарная юность“, „свѣтлое побережье грезъ“, „весеннее очарованье“, — все это превосходно, но вѣдь красное-то словцо и дешевая стрѣла ими не отмѣняются. И если г. Ашешовъ пустилъ въ ходъ свой байронизмъ Ярославской губерніи, *чтобы выяснить нѣкоторыя недоразумѣнія*, а потомъ *во избѣжаніе редоразумѣній* нашелъ нужнымъ сообщить нѣчто о своей свѣтозарной юности, то не проще ли было зачеркнуть этотъ „байронизмъ“. Тѣмъ болѣе, что это „красное словцо“ не только не можетъ устранить какія бы то ни было недоразумѣнія, а можетъ, напротивъ, наплодить ихъ.

У нашего автора есть другое, гораздо болѣе удачное красное словцо—„шуршаніе мысли“. Примѣняетъ онъ его неправильно,—къ метафизикѣ. Метафизика слишкомъ тяжеловѣсна, чтобы къ ней можно было приложить такое, если позволено будетъ такъ выразиться, легкокрылое выраженіе. Но самое выраженіе удачно и больше всего подходитъ оно къ разсужденіямъ г. Ашешова, хотя онъ и не хочетъ „ходить вокругъ да около искомаго икса, замѣняя кружевомъ словъ формулу точнаго, какъ химическій, анализа сущности“. Взять хоть бы тотъ же „байронизмъ Ярославской гу-

берніи". Что это значитъ? въ чемъ не то, что соль, а просто даже смыслъ этого выраженія? Г. Ашешовъ хочетъ торжества „автономной личности". Но вѣдь байронизмъ и есть апологія автономной личности, правда, личности исключительной, въ родѣ нынѣшняго „сверхъ-человѣка", гордо противопоставляющей себя всему міру и презирающей радости и горести толпы,—мотивъ, совершенно чуждый Некрасову. А при чемъ тутъ Ярославская губернія, — уже совершенно понять нельзя. Словомъ, „байронизмъ Ярославской губерніи" есть не болѣе, какъ шуршаніе мысли, и изъ такихъ шуршаній и состоитъ главнымъ образомъ статья г. Ашешова, насколько она орагинальна, а не представляетъ собою удачныхъ или неудачныхъ варьянтовъ давно сказаннаго.

Стремясь къ „точному и опредѣленно-устойчивому міросозерцанію", къ „формулѣ точнаго, какъ химическій, анализа сущности", г. Ашешовъ, отъ имени „современнаго поколѣнія", сдаетъ въ архивъ огромную часть поэзіи Некрасова, но даруетъ жизнь мотивамъ сочувствія „не къ народу вообще, а къ обездоленнымъ, несчастнымъ и униженнымъ". Онъ полагаетъ, что послѣдніе по своему содержанію и характеру болѣе точны и опредѣленны, чѣмъ имѣющіе въ виду „народъ вообще". Позволю себѣ замѣтить почтенному автору, что есть униженные и униженные, несчастные и несчастные. Въ концѣ концовъ, очень униженными оказываются нѣкоторые самодуры Островскаго, очень несчастливъ биржевой игрокъ, раззорившійся на неудачной спекуляціи, и т. п. Но муза мести не скорбѣла о такихъ несчастныхъ и униженныхъ, и намъ не завѣщала скорбѣть. И, думаю, муза мести была права, разумѣя подъ несчастными не несчастныхъ „вообще". Пусть не пеняетъ на меня г. Ашешовъ за приставку слова „вообще": я говорю въ видахъ „точнаго, какъ химическій, анализа", который и онъ имѣлъ въ виду, приставляя это слово къ слову „народъ". Народъ Некрасова былъ не „народомъ вообще", а всею совокупностью трудящихся классовъ. И если Некрасовъ пѣлъ по преимуществу о горестяхъ и рѣдкихъ радостяхъ крестьянъ, какъ класса, ему съ дѣтства особенно близкаго и знакомаго, то изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что онъ проглядѣлъ „различныя ступени, положенія, оттѣнки", которыя такъ ясно видитъ г. Ашешовъ. Мнѣ даже какъ-то странно напоминать, что Некрасовъ зналъ о существованіи Власа того времени, когда онъ „слылъ кащеемъ-мужикомъ": „у всего сосѣдства бѣднаго скупитъ хлѣбъ, а въ черный годъ не повѣритъ гроша мѣднаго, втрое съ

нищаго сдеретъ". Власъ покаялся, но Некрасовъ зналъ и нераскаянныхъ, зналъ, что они могутъ слагаться въ цѣлые „разбойничьи хоры". Вспомните въ „Юбилярахъ и тріумфаторахъ" бывшаго бурлака Савву, провозглашающаго на Лукулловскомъ пирѣ тостъ за „братьевъ-мужиковъ", и „Христова мужичка" Шкурина, разжившагося со свиной щетины. Вспомните про пѣсню на томъ пиршествѣ:

Два-три подрядчика съ дѣдушкой Саввой
Въ пѣніе душу кладутъ;
Спой такъ пѣвецъ,—наградили бы славой!
За сердце звуки берутъ!
Что-жъ это, Господи! Всѣхъ задушевнѣй
Шкурина голосъ звучитъ!
Вѣетъ лѣсами, рѣкою, деревней,
Русской истомой томитъ!
Все въ этой пѣснѣ: тупое терпѣніе,
Долгое рабство, укоръ...
Чуть и меня не привелъ въ умиленіе
Этотъ разбойничій хоръ!

И послѣ этой смѣло задуманной и ярко написанной картины „разбойничьего хора" изъ „Христовыхъ мужичковъ", поющаго настоящую народную, за душу хватающую пѣсню, г. Ашешовъ говоритъ о „народѣ вообще"! „Всѣ сословные классы" существовали и при крѣпостномъ правѣ, а съ момента освобожденія стали обозначаться съ быстро возрастающею ясностью, и ихъ не могъ не видѣть Некрасовъ. Но, конечно, онъ и теперь, если бы дожилъ до настоящей минуты и прочиталъ статью г. Ашешова,—подивился бы странному утвержденію своего критика, что вопросъ о сословномъ положеніи крестьянства упраздненъ жизнью; хотя не хуже его зналъ, что Шкурины и Саввы легко перешагиваютъ черезъ этотъ порогъ.

Какихъ-нибудь четыре—пять лѣтъ тому назадъ, когда у насъ еще были въ ходу словечки въ родѣ „деревенскій идіотизмъ", „мужикъ есть мелкій буржуа", и т. п., когда серьезно рекомендовалось забыть о существованіи крестьянства и сосредоточить вниманіе исключительно на фабричныхъ рабочихъ,—могла бы явиться чрезвычайно интересная статья о Некрасовѣ. Тема ея была бы, конечно, та же самая, что у г. Ашешова: Некрасовъ устарѣлъ. Но она была бы интересна своею прямолинейною опредѣленностью, своею наивною рѣзкостью и откровенностью. Къ сожалѣнію, тѣ словечки не дожили до двадцатипятилѣтія смерти Некрасова, когда приходится такъ или иначе высказаться о музѣ мести и печали, и, такимъ

образомъ, капризная судьба лишила насъ курьезнѣйшаго литературнаго эпизода. „Міръ Божій“ напечаталъ, правда, у себя статью о Некрасовѣ г. Кранихфельда, въ которой авторъ сообщаетъ намъ, что покойный поэтъ, „слѣдуя Карлейлю“, „создалъ цѣлый культъ героевъ“ изъ интеллигенціи (а вовсе не культъ мужика или „народа вообще“, какъ говорятъ иные!). Этотъ культъ героевъ „совершенно скрывалъ отъ него возможныя историческія перспективы“. Такими скромными словами оканчивается статья г. Кранихфельда, и поневолѣ мечтаешь о тѣхъ молніяхъ мысли г. Тугана-Барановскаго или г. Струве, которыя засверкали бы по поводу годовщины смерти Некрасова на страницахъ того же „Міра Божія“ всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ...

Что же касается г. Ашешова, то, не смотря на его страстную жажду опредѣленности и точности, онъ до такой степени не точенъ и не опредѣлененъ, что точно въ какой-то непроницаемой мантильѣ изъ нѣсколькихъ слоевъ „кружева словъ“ передъ нами красуется. Кромѣ уже приведенныхъ примѣровъ, остановимся еще на одномъ.

Въ пику отсталому и устарѣлому Некрасову, г. Ашешовъ рѣшительно объявляетъ, что „общая альтруистическая опека интеллигенціи должна уступить мѣсто признанію самодѣятельности развитія автономной трудовой личности, которая сама себя опредѣляетъ, что, конечно, не исключаетъ возможности равноправнаго сотрудничества высшихъ культурныхъ силъ“. Долженъ сознаться, я ничего не понимаю въ этой фразѣ. Не понимаю, что значитъ „общая альтруистическая опека“, не понимаю, въ какомъ смыслѣ „признаніе самодѣятельности“ можетъ быть выставлено въ пику поэзіи Некрасова, не понимаю, что значитъ, въ устахъ г. Ашешова, „автономная трудовая личность“. Послѣдняго выраженія тѣмъ болѣе не понимаю, что г. Ашешовъ его поясняетъ; мы видѣли—какъ поясняетъ: „Теперь „народной“ поэзіей можетъ быть лишь та, которая основнымъ мотивомъ выдвинетъ эту жажду трудовой единицы быть хозяиномъ въ жизни. Этотъ мотивъ очень ясно сквозитъ у Горькаго,—романтика pur sang“. — Раньше г. Ашешовъ очень недружелюбно относился къ романтизму и романтикамъ, какъ мѣшающимъ „ясному анализу по существу“, а тутъ отсылаетъ насъ къ романтику, да еще pur sang. Но это не важно. А, дѣйствительно, важно слѣдующее Г. Горькій крупный талантъ, но ему предстоитъ еще будущее, и въ этомъ будущемъ, мнѣ кажется, серьезный переломъ. Какъ бы

то ни было, до настоящей минуты „основнымъ мотивомъ“ его творчества была отнюдь не „автономная трудовая единица“. Можно разно смотрѣть на босяка, автономно раздающаго и получающаго всяческія поруганія, автономно отправляющагося въ кутузку, автономно пьянствующаго, и т. п., но это во всякомъ случаѣ не „трудовая единица“ и даже не просто безработный, а прямо презирающій трудъ, что многіе изъ героевъ г. Горькаго выражаютъ категорически. Г. Горькій подчеркиваетъ въ нихъ силу, въ чемъ бы она ни состояла и на что бы она ни была направлена, силу, дѣлающую изъ нихъ своего рода сверхъ-человѣковъ, гордо презирающихъ всѣхъ и все. А это ведетъ къ „босяцкому байронизму“, каковой гораздо больше къ лицу многимъ произведеніямъ г. Горькаго, чѣмъ нелѣпый „байронизмъ Ярославской губерніи“ къ поэзіи Некрасова.

Г. Ашешовъ говоритъ отъ имени „современнаго поколѣнія“: оно не удовлетворяется музой мести и печали, Некрасовъ, значительной долей своей поэзіи, устарѣлъ для него... Жаль, что г. Ашешовъ не остановился на анализѣ, - хотя бы и не столь точномъ, какъ химическій, — понятія: „современное поколѣніе“, потому что „современное поколѣніе вообще“ немножко неясно. Когда-то мы отлично знали, что надо разумѣть подъ этими двумя словами, но нынѣ ими обозначаются вещи весьма различныя. Въ предыдущей главѣ этой книги мы видѣли заявленіе г. Александра Бенуа: звѣзда Некрасова, въ числѣ другихъ старыхъ звѣздъ, закатилась потому, что „все молодое и свѣжее бросилось въ объятія мистики“. Правда, тутъ же оказалось, что, по словамъ самого почтеннаго критика, это молодое и свѣжее страдаетъ старческою дряхлостью, но г. Бенуа имѣетъ въ виду всетаки современное поколѣніе. То-ли оно самое, отъ лица котораго сдаетъ въ архивъ Некрасова г. Ашешовъ? Далѣе. Г. Ашешовъ чрезвычайно презираетъ метафизику, которая, хотя и „красивая вещь“, но есть не болѣе, какъ „шуршаніе мысли“, а „старые“, „избитые лозунги—та же метафизика“. Но гг. Струве, П. Г., Бердяевъ и др. утверждаютъ, что, напротивъ, отрицаніе метафизики есть „старый лозунгъ“, а современное поколѣніе рѣшительно къ ней поворачиваетъ. Допустимъ, что для „современныхъ поколѣній“ г-дъ Бенуа и Струве Некрасовъ такъ же устарѣлъ, какъ и для современнаго поколѣнія г. Ашешова, и что, какъ бы ни различно относились они къ другимъ вещамъ,—на устарѣлости музы,

мести и печали они сходятся. Но вотъ, на недавнихъ литературныхъ вечерахъ въ память двадцатипятилѣтія смерти Некрасова я видѣлъ толпу юношей и молодыхъ дѣвушекъ,—несомнѣнныхъ представителей современнаго поколѣнія,— видѣлъ ихъ горящія одушевленіемъ лица, слышалъ ихъ крики и громы апплодисментовъ, въ особенности, когда одинъ изъ чтецовъ закончилъ словами Некрасова:

Пускай намъ говоритъ измѣнчивая мода,
Что тема старая—„страданія народа"
И что поэзія забыть ее должна.
Не вѣрьте юноши, не старѣетъ она!

И я не знаю, правъ-ли г. Ашешовъ... Но передо мной лежатъ нѣкоторые матеріалы для анализа—конечно, не столь точнаго, какъ химическій, я такихъ претензій не имѣю — для анализа того, что называется современнымъ поколѣніемъ. Я хочу подѣлиться ими съ читателемъ.

Въ прошломъ году г. Мережковскій предложилъ „Литературному Фонду" прочитать въ его пользу лекцію о Толстомъ. Содержаніе и характеръ этой лекціи были извѣстны комитету „Фонда", такъ какъ г. Мережковскій только что передъ тѣмъ прочелъ ее въ петербургскомъ Философскомъ Обществѣ. Какъ учрежденіе, чуждое всякой партійности, комитетъ „Фонда" не счелъ для себя возможнымъ воспользоваться предложеніемъ г. Мережковскаго, и лекція не состоялась. Обиженный авторъ разослалъ по нѣкоторымъ редакціямъ протестъ подъ заглавіемъ: „Отцы и дѣти русскаго либерализма", въ которомъ взглянулъ на свое фіаско, какъ на одинъ изъ эпизодовъ борьбы между „отцами" и „дѣтьми". Заявивъ, что разницы между русскими „либералами" и русскими „консерваторами" онъ не видитъ, г. Мережковскій продолжаетъ: „По мѣрѣ того, какъ прежняя граница между „либералами" и „консерваторами" стирается, выступаетъ новое, гораздо болѣе жизненное, хотя еще не сознанное раздѣленіе между старымъ и молодымъ поколѣніемъ, между „отцами" и „дѣтьми" русскаго либерализма. „Отцы" либералы съ каждымъ днемъ все болѣе кажутся дѣтямъ своимъ „консерваторами", а теперешніе отцы, подобно отцамъ всѣхъ временъ, считаютъ дѣтей своихъ непокорными блудными дѣтьми, „нигилистами", отступниками (въ политикѣ отцы — „народники", дѣти — „марксисты", въ искусствѣ—„реалисты" и „декаденты", въ философіи — „позитивисты" и „мистики"); считаютъ ихъ даже людьми „по ту сторону

добра и зла", — къ числу послѣднихъ, кажется, въ настоящую минуту отнесенъ и я. Я не обманываю себя: „отцы" либерализма не поймутъ меня, просто не услышатъ, потому-ли, что нѣтъ у меня словъ для ихъ ушей, или потому, что у нихъ нѣтъ ушей для моихъ словъ. Но я теперь и обращаюсь не къ „отцамъ", а къ „дѣтямъ", къ моимъ сверстникамъ".

Однако, и сверстники не выразили сочувствія г. Мережковскому: одни просто промолчали, а другіе даже очень сурово отъ него отмахнулись и одобрили поступокъ „Литературнаго Фонда"; и удивительно, что г. Мережковскій не предвидѣлъ такого результата своего протеста, въ самомъ основаніи котораго лежитъ странное недоразумѣніе. Совершенно понятно, почему сюда приплетена борьба отцовъ и дѣтей. Комитетъ „Фонда" ежегодно обновляется на одну треть по выбору общаго собранія, и для членовъ его нѣтъ ни максимальнаго, ни минимальнаго возраста. Г. Мережковскому подъ сорокъ лѣтъ,—возрастъ хорошій и для нашего брата-старика даже завидный,—хотя и не очень ужъ юный,—и его сверстники совсѣмъ не рѣдкость въ комитетѣ „Фонда". Въ своемъ отказѣ отъ услугъ г. Мережковскаго комитетъ руководствовался исключительно литературнымъ приличіемъ, и сводить дѣло на борьбу поколѣній нѣтъ никакихъ основаній.

Тѣмъ не менѣе, въ протестѣ г. Мережковскаго есть одна чрезвычайно интересная подробность. Это именно противопоставленіе „отцовъ", какъ народниковъ, реалистовъ и позитивистовъ, „дѣтямъ", какъ марксистамъ, декадентамъ и мистикамъ. Оставимъ „отцовъ" въ сторонѣ и сосредоточимъ свое вниманіе исключительно на „дѣтяхъ", на „современномъ поколѣніи". Спрашивается, возможно ли въ немъ, въ этомъ поколѣніи, сочетаніе такихъ разнохарактерныхъ элементовъ, какіе усвоиваетъ ему г. Мережковскій? Если бы мы задали этотъ вопросъ года три—четыре тому назадъ кому-нибудь изъ „учениковъ", ну хоть г. Тугану-Барановскому, онъ съ негодованіемъ отвѣтилъ бы, что это невозможно, что цѣльное ученіе Маркса нельзя разрывать на части и, заимствуя изъ него „политику", быть въ то же время декадентомъ и мистикомъ. Однако, устами младенцевъ говоритъ истина, и доля ея есть въ странномъ, на первый взглядъ, утвержденіи г. Мережковскаго. У насъ, несомнѣнно, есть люди, въ просторныхъ головахъ которыхъ какъ-то уживаются марксизмъ, декадентство, мистицизмъ и даже еще болѣе сложныя сочетанія: недаромъ г. Мережковскій замѣчаетъ, что, кромѣ того,

„считаютъ ихъ людьми по ту сторону добра и зла". И это есть, и разное другое. Какъ ни странно такое совмѣстительство несовмѣстимаго, ему, мнѣ кажется, не трудно найти объясненіе. Читатель помнитъ, надѣюсь, указаніе г. Бенуа: „въ 80-хъ годахъ, когда у общества была отнята и послѣдняя надежда на участіе въ государственномъ переустройствѣ", — „все молодое и свѣжее бросилось въ объятія мистики". Указаніе это требуетъ поправокъ. Во-первыхъ, „молодое и свѣжее" было, какъ мы видѣли, можетъ быть, и молодо, но отнюдь не отличалось свѣжестью. Во-вторыхъ, мистицизмъ, какъ болѣе или менѣе широко захватившая русскихъ людей волна, есть явленіе совсѣмъ недавнее. Ему предшествовали, начиная съ 80-хъ годовъ, многія другія „новыя слова". Тутъ было и „новое слово" „Недѣли", и „реабилитаціи дѣйствительности", и „свѣтлыхъ явленіяхъ", и толстовство въ смыслѣ „непротивленія злу", и „новая мозговая линія" г. Волынскаго, и марксизмъ, и „босячество", и декадентство, и ничшеанство, и, наконецъ уже, мистицизмъ. Все это, съ чрезвычайною быстротою, перекатываясь другъ черезъ друга, въ свое время производило болѣе или менѣе значительный шумъ и оставляло въ просторныхъ головахъ извѣстный осадокъ. Въ настоящее время можно считать совсѣмъ забытыми недѣльное „новое слово", теорію „непротувленія злу" и „новую мозговую линію" г. Волынскаго, хотя послѣдній имѣетъ право гордиться, прислушиваясь къ нѣкоторымъ новѣйшимъ рѣчамъ, а можетъ быть, впрочемъ, и скорбѣть: несправедливая судьба, давно утопивъ его въ Летѣ, передала слѣдующіе ему лавры другимъ... Какъ бы то ни было, и послѣ него „волна на волну набѣгала, волна погоняла волну" съ такою быстротою, что люди, жаждущіе новыхъ словъ, не успѣвали не то что пару сапогъ износить въ промежуткахъ между двумя новыми теченіями, а просто опомниться. Въ результатѣ и получилась та разностильная меблировка просторныхъ головъ, которая радуетъ сердце г. Мережковскаго.

Мнѣ кажется, что радоваться тутъ нечему. Я совершенно устраняю вопросъ о достоинствѣ всѣхъ этихъ послѣдовательно увлекавшихъ насъ волнъ. Пусть всѣ онѣ равно прекрасно удовлетворяютъ запросы ума и сердца, или пусть каждая послѣдующая дѣлаетъ это лучше предыдущей, и мы въ сказочныхъ семимильныхъ сапогахъ несемся къ идеалу истины и справедливости. Пусть такъ. Но къ этому идеалу, во всякомъ случаѣ, не имѣетъ никакого отношенія тотъ даже не эклектизмъ, а просто сумбуръ, который слагается изъ

AUTHOR
TITLE
NAME
ADDRESS
PHONE
DATE
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES
LOCATION
CALL NUMBER
VOLUME

ній. Скажутъ, можетъ быть, что такіе
зрые годы бывали. И у Тургенева,
„дѣтей“, есть Ситниковъ, на визит-
амилія напечатана по-французски на
вязью на другой; есть Евдокія Кук-
Жоржъ Зандъ, потому что та не
время какъ вы хотите безъ этого?“
ъ модный романсъ „Дремлетъ сонная
сумбурные люди, компрометирующіе
своимъ прикосновеніемъ, всегда воз-
стоятельствахъ представляютъ собою
рзинку исторіи, вмѣщающую разные
мнѣнія, что нынѣ ихъ больше и сум-
-нибудь,—въ зависимости отъ обилія
словъ“ и чрезвычайной быстроты и
гъ друга смѣняютъ.

можно презирать, какъ презираетъ
енецъ Аркадій, можно смѣяться надъ
ющими ихъ разноцвѣтными перьями.
сть люди, искренно и страстно ищу-
вало бы подумать вождямъ новыхъ
хъ словъ. О нихъ и о самихъ себѣ.
ющія письма Бѣлинскаго, когда онъ,
глядываясь на свой вчерашній день,
„проклиналъ свое стремленіе къ примиренію съ гнусной дѣйстви-
тельностью“, скорбѣлъ объ „отвратительныхъ мерзостяхъ, сказан-
ныхъ имъ печатно“, громилъ свои „ужасныя заблужденія“. Это по-
нятно. Если всякій коренной внутренній переломъ тяжело пережи-
вается, то тѣмъ горше долженъ расплачиваться за него писатель,
въ особенности вліятельный писатель, вождь, за которымъ шли, ко-
тораго слушали, который отвѣтственъ за многія души и передъ
многими душами. И какъ бы ни былъ ослѣпителенъ новый свѣтъ,
возсіявшій передъ писателемъ, скорбь о минувшемъ заблужденіи
должна его грызть...

Должна?

Передо мной лежитъ только что изданная редакціей „Міра
Божія“ книга г. Тугана-Барановскаго „Очерки изъ новѣйшей исто-
ріи политической экономіи“. Въ предисловіи къ ней, между прочимъ,
читаемъ: „Я никогда не былъ правовѣрнымъ ученикомъ Маркса, но

еще очень недавно чувствовалъ себя гораздо ближе къ марксистамъ, чѣмъ теперь. Я избѣгалъ называть себя марксистомъ, но общественное мнѣніе признало меня таковымъ—и я не протестовалъ противъ этого. Дальнѣйшее развитіе моихъ взглядовъ привело меня, однако, мало-по-малу, къ полному разрыву съ ортодоксальнымъ марксизмомъ, который, по моему глубокому убѣжденію, сдѣлалъ свое дѣло и никакой будущности не имѣетъ... Такимъ образомъ, я разошелся съ своими прежними идейными товарищами и расхожусь съ ними все больше и больше. Мои прежніе теоретическіе друзья становятся моими врагами. Объ этомъ я не могу не пожалѣть, но такъ какъ твердая и вѣчная истина не можетъ не быть единственнымъ маякомъ добросовѣстнаго ученія, то я и буду продолжать, насколько мнѣ позволяютъ силы и умѣнье, по своему искать объективной истины, не игнорируя критики, но и не отклоняясь ради нея отъ своего пути".

А на послѣдней страницѣ „Очерковъ изъ новѣйшей исторіи политической экономіи" напечатано: „Старое рушится и отовсюду растутъ побѣги новой жизни. Идетъ новый міръ, создаются новыя формы искусства, крѣпнутъ новыя теченія философской и научной мысли, развивается въ нѣдрахъ стараго новый соціальный строй. Уступаетъ напору жизни и застывшая догма марксизма. Величественное теоретическое зданіе, воздвигнутое авторомъ „Капитала", даетъ одну трещину за другой, обваливается и, если пока держится, то лишь потому, что еще не созрѣла новая соціальная система, долженствующая замѣнить ветшающій марксизмъ... По своимъ философскимъ предпосылкамъ новая доктрина должна явиться прямой противоположностью соціальному матеріализму".

Въ декабрѣ 1895 г. (статья „Значеніе экономическаго фактора въ исторіи" въ „Мірѣ Божіемъ"), въ апрѣлѣ 1896 (тамъ же статья „Экономическій факторъ и идеи") и позже, напримѣръ, въ январѣ, февралѣ 1899 г. (статья „Споры о фабрикѣ и капитализмѣ" въ „Началѣ") г. Туганъ-Барановскій выступалъ провозвѣстникомъ экономическаго или соціальнаго матеріализма. Это было „новое направленіе", какъ называлъ его тогда самъ г. Туганъ-Барановскій, рѣшительно утверждая основной догматъ марксизма: „Философія, наука, искусство, политическія учрежденія, обычаи, нравы, всѣ самыя возвышенныя проявленія человѣческаго духа имѣютъ свои корни въ условіяхъ хозяйства". И вообще г. Туганъ-Барановскій былъ однимъ изъ самыхъ ярыхъ „учениковъ", доходя въ своемъ

экономическомъ матеріализмѣ до послѣднихъ предѣловъ грубой прямолинейности. Но вотъ прошло три—пять лѣтъ, и „новое“ ученіе становится „ветшающимъ марксизмомъ“... Гордо поднятое знамя спускается однимъ изъ знаменоносцевъ. Мало того: „новая (то-есть уже самая новая) доктрина должна явиться *прямою противоположностью* соціальному матеріализму“!

Мимоходомъ сказать, какъ сходны даже въ мелкихъ подробностяхъ всѣ эти открытія новыхъ словъ. Вы помните, что и г. Бенуа, превознеся новое слово въ искусствѣ, тутъ же утверждаетъ, что „за дверью стоитъ реакція“ и что насъ ждетъ „слѣдующій, вѣроятно, *противоположный* фазисъ искусства“.

Какъ уже сказано, я теперь не вхожу въ оцѣнку „новаго“ и *противоположнаго* самаго новаго по существу. Я только отмѣчаю необычайную быстроту и рѣзкость ихъ смѣны и предлагаю подумать о судьбѣ тѣхъ, кто внимаетъ этимъ новымъ и противоположнымъ самымъ новымъ глаголамъ. Вѣдь и фасоны дамскихъ туалетовъ, не говоря уже о мужскихъ, мѣняются, пожалуй, не быстрѣе. Прогрессъ дѣло хорошее, но если молодой человѣкъ кончаетъ гимназію при новомъ курсѣ, а университетъ при самомъ новомъ противоположномъ, изъ-за котораго уже выглядываетъ самоновѣйшій, то это не прогрессъ, а зигзагъ, и рядъ такихъ зигзаговъ ни къ чему, кромѣ верхоглядства или скептическаго равнодушія, привести не можетъ. Разумѣется, если заблужденіе сознано, оно должно быть отброшено немедленно, но представителямъ новыхъ словъ не мѣшало бы осторожнѣе плевать въ колодцы, изъ которыхъ имъ приходится потомъ пить, что нынѣ дѣлается съ поразительно легкимъ сердцемъ.

Я еще разъ прошу читателя припомнить страстныя самобичеванія Бѣлинскаго и затѣмъ перечитать вышеприведенную исповѣдь г. Тугана-Барановскаго. Теперь, когда передъ почтеннымъ авторомъ рисуется нѣчто противоположное новое, онъ прощается съ своими „идейными товарищами“, прибавляя, впрочемъ, что никогда и не былъ ихъ идейнымъ товарищемъ: правда, его называли марксистомъ, но онъ только не протестовалъ противъ этого, а въ дѣйствительности таковымъ не былъ (такъ что неизвѣстно даже, съ кѣмъ и зачѣмъ онъ прощается); онъ былъ и есть „добросовѣстный ученый“ и всегда имъ останется... Видите, какъ это просто, легко, пріятно, какъ это далеко отъ драмы, которую переживалъ Бѣлинскій, именно въ силу своей „добросовѣстности“...

И точно такъ же г. Струве, за котораго говоритъ, впрочемъ, г.

П. Г. („Къ характеристикѣ нашего философскаго развитія“ въ „Проблемахъ идеализма“). Г. Струве тоже былъ марксистомъ и также пересталъ имъ быть, но,—говоритъ г. П. Г.,—„очень внимательный и чуткій читатель могъ и тогда уже уловить въ рѣзкихъ рѣшеніяхъ Струве скрывавшуюся за ними внутреннюю неувѣренность въ правильности найденнаго исхода, мучившую автора, но имъ не сознанную и заглушенную; некритическая насильственность этого исхода должна была, однако, обнаружиться“. Г. Струве высказывалъ „рѣзкія“ рѣшенія въ марксистскомъ духѣ, но проникающій въ его душу г. П. Г. видѣлъ за этими рѣзкостями „неувѣренность“, и если этого не видѣли многіе и многіе, соблазненные рѣзкостью, такъ это потому, что они были не „очень внимательны и чутки“. Г. же Струве можетъ съ чистою совѣстью пить изъ заплеваннаго имъ колодца...

Но въ чемъ же состоитъ различіе между вчера новымъ, а сегодня ветшающимъ марксизмомъ, съ одной стороны, и сегодняшнимъ противоположнымъ новымъ—съ другой. На вопросъ этотъ во всей его обширности я не берусь отвѣтить, а приведу лишь кое-что, и то больше въ интересахъ дальнѣйшаго изложенія.

Комментируя и объясняя взгляды Маркса, Энгельсъ писалъ: „Согласно законамъ буржуазнаго хозяйства, большая часть продукта, произведеннаго рабочимъ, принадлежитъ не ему. Если мы говоримъ — это несправедливо, этого не должно быть, то до всего этого хозяйству нѣтъ никакого дѣла. Мы выражаемъ лишь то, что данный экономическій фактъ противорѣчитъ нашему нравственному чувству. Марксъ основывалъ свои соціальныя требованія не на этомъ, а на необходимости крушенія капиталистическаго строя, которое съ возрастающей силой происходитъ на нашихъ глазахъ“.

Вмѣстѣ съ знаменитой метафорой: экономика есть фундаментъ а религія, право, наука, искусство — надстройка,—это убѣжденіе Маркса въ непререкаемой точности его соціальнаго предвидѣнія, было усвоено нашими „учениками“, и въ томъ числѣ г. Туганомъ-Барановскимъ, соотвѣтственно упростившись въ ихъ умахъ. Не дальше, какъ въ 1899 г. г. Туганъ-Барановскій такъ формулировалъ „новый принципъ, универсальный и могущій служить солиднымъ базисомъ для общественной дѣятельности“: „Принципомъ этимъ является не только признаніе законосообразности историческаго процесса, но и опредѣленное представленіе о его направленіи. Новое міросозерцаніе основывается на глубокой увѣренности, что какъ бы мы ни были слабы, побѣда останется за нашими идеалами, ибо таковы

неизбѣжные законы исторической эволюціи". И г. Туганъ-Барановскій подтрунивалъ надъ „утопистами", идеалы которыхъ расходятся съ дѣйствительностью, съ фактическимъ ходомъ вещей.

„Новое направленіе въ нашей общественной жизни еще только складывается", — писалъ онъ въ томъ же 1899 г. Увы! черезъ три года оно уже развалилось, и нынѣ, въ „Очеркахъ изъ новѣйшей исторіи политической экономіи", г. Туганъ-Барановскій пишетъ: „Вопросъ заключается въ данномъ случаѣ не въ томъ, существуетъ ли соціальная необходимость или нѣтъ, подчиненъ ли историческій процессъ закону причинности или не подчиненъ. Этотъ вопросъ давно уже рѣшенъ философской и научной мыслью въ утвердительномъ смыслѣ... Могу ли я *хотѣть*, могу ли я напрягать свои силы для достиженія того, что я сознаю, какъ необходимо долженствующее произойти? Вотъ въ чемъ вопросъ. И мы должны на него отвѣтить категорическимъ — нѣтъ!.. Хотя будущее такъ же подчинено закону причинности, какъ и прошедшее, хотя будущія событія съ такой же роковой необходимостью вытекаютъ изъ настоящихъ, какъ настоящія изъ прошедшихъ, все же психологическая неувѣренность въ будущемъ навсегда останется основаніемъ нашей дѣятельности... Не соціальное предвидѣніе, а соціальный идеалъ является верховнымъ вождемъ въ соціальной борьбѣ. Познаніе есть только вѣрный слуга, выполняющій приказанія своего владыки. Но этотъ сверхъопытный владыка—соціальный идеалъ не создается руками своего слуги".

И т. д., и т. д. Паѳосъ вчерашняго марксиста поднимается все выше и выше. Онъ требуетъ неустанной борьбы съ дѣйствительностью, даже когда „погасла послѣдняя искра" надежды на осуществленіе идеала, ибо „нравственный долгъ безпощаденъ и повелѣваетъ намъ quand même, во что бы то ни стало продолжать борьбу, которая должна кончиться только съ жизнью". Онъ уличаетъ марксистовъ въ несправедливости и вредоносности ихъ „презрительнаго отношенія къ соціальному идеализму вообще и къ идеализму великихъ утопистовъ въ частности". „Безъ энтузіазма,— восклицаетъ онъ, — безъ безкорыстнаго, религіознаго подчиненія себя, своей личности, всѣхъ интересовъ, всей своей жизни чему-то болѣе высокому, чѣмъ мы сами, нельзя достигнуть великихъ соціальныхъ цѣлей, которыя марксизмъ получилъ, какъ драгоцѣнное наслѣдіе, отъ утопистовъ. А только идеалъ — прекраснѣйшее до-

стояніе нашего духа — можетъ порождать энтузіазмъ. Борьба съ идеализмомъ ведетъ къ равнодушію къ широкимъ общественнымъ задачамъ, требующимъ самоотверженной работы и самопожертвованія личности".

Вотъ, значитъ, самоновѣйшее противоположное... Можетъ показаться, что оно отдаетъ очень старымъ, и именно опять-таки тѣмъ колодцемъ, въ который г. Туганъ-Барановскій плевалъ съ особеннымъ усердіемъ. Но пусть, довѣримъ почтенному автору: пусть онъ и теперь такъ же новъ, какъ былъ противоположно новъ три года тому назадъ. Но я боюсь, что ему завтра же придется еще разъ обновиться, и опять въ противоположную сторону. Это случится, какъ только онъ познакомится съ Ничше, который, повидимому, остается пока внѣ его кругозора, или, по крайней мѣрѣ, со статьей г. Бердяева „Этическая проблема въ свѣтѣ философскаго идеализма" въ „Проблемахъ идеализма". Авторъ этой статьи точно все въ зеркало смотрится: не отсталъ ли онъ отъ г-на Струве? Вровень ли съ нимъ идетъ г. Булгаковъ? Достаточно ли онъ вообще самостоятеленъ и оригиналенъ? Это не мѣшаетъ ему просто перелагать блестящія рѣчи автора „Заратустры" на свой тусклый языкъ. Это не помѣшаетъ и г. Тугану-Барановскому узнать, что „безкорыстное, религіозное подчиненіе себя, своей личности, всѣхъ интересовъ, всей своей жизни чему-то болѣе высокому, чѣмъ мы сами", „самопожертвованіе личности" и т. п.,— все это ist altmodisch. И когда г. Туганъ-Барановскій это узнаетъ, онъ поспѣшитъ переодѣться, оставаясь, конечно, „добросовѣстнымъ ученымъ".

Въ прошломъ году въ Одессѣ вышла книжка г. Пекатороса „Современныя настроенія (Діалоги)". Содержаніе—бесѣда нѣсколькихъ человѣкъ на тему о томъ, „какъ нужно жить и что нужно дѣлать". Въ числѣ собесѣдниковъ есть Челкаловъ, „блѣдный человѣкъ съ испитымъ лицомъ и съ загадочнымъ, порою презрительнымъ взглядомъ, одѣтъ въ рубаху съ косымъ воротомъ, подпоясанную ремешкомъ". Онъ говоритъ, между прочимъ, такія рѣчи: „Есть на свѣтѣ соколы и есть ужи пресмыкающіеся! Не быть ужу соколомъ и не въ моготу соколу пресмыкаться!.. Смѣлымъ мы пѣсню поемъ!.. У кого сила есть — тому воля, у кого силы нѣтъ— тому футляръ! И напрасно противъ этого идти! За себя стойте, себѣ жизнь отвоевывайте, а другіе пусть сами о себѣ думаютъ!"—

Другой собесѣдникъ, Дѣдовъ, „сѣдой старикъ съ крупными чертами лица, въ рубахѣ и лаптяхъ“, разсуждаетъ такъ: „Не сложная культура нужна людямъ, а первобытная простота, простой здоровый трудъ, природа, и, главное, связь съ людьми, любовь къ людямъ и ко всему живому прежде всего, любовь безграничная, не позволяющая дѣлать насиліе даже для защиты своего ребенка, даже для самозащиты, не позволяющая убійства даже для удовлетворенія голода: убійство животныхъ для ѣды ихъ мяса—деморализуетъ человѣка. Наша культура—ушла отъ естественной жизни, наша культура это ядъ, который погубитъ человѣчество, если оно не свернетъ назадъ“. И т. д. — Въ бесѣдѣ участвуетъ еще Клермонтъ, „блѣдный молодой человѣкъ“. Современному человѣку, — говоритъ онъ, — „нужны тонкіе оттѣнки цвѣтовъ и звуковъ, тонкіе, едва уловимые переливы, ему нужна опьяняющая музыка звуковъ и цвѣтовыхъ нюансовъ, запаховъ, вкусовъ и осязаній. Ему нуженъ особый, едва теперь предугадываемый новымъ искусствомъ, міръ легкій, таинственный, міръ неразгаданныхъ грезъ, міръ, создаваемый искусствомъ, экстазомъ, опьяненіемъ, міръ, который неизмѣримо лучше обыкновенной грубой природы! И это во всемъ. Мы не можемъ теперь любить женщину грубой, примитивной любовью! Намъ нужно теперь особое обаяніе, нужно не самое обладаніе — оно утратило интересъ и прелесть — нужно постоянное стремленіе къ обладанію, какъ къ чему-то особенному, невыразимому, таинственному! Не самая любовь, а только отдаленный ея ароматъ, ароматъ опьяняющій... Нужна теперь мечта, красота, миражъ, нѣчто сверхъ чувственное“. Изъ дальнѣйшаго разговора выясняется, что Клермонтъ претендуетъ на званіе „сверхъ-человѣка“ и въ качествѣ таковаго „хочетъ прежде всего своего собственнаго счастія. Съ какой стати я долженъ любить своего ближняго? Съ какой стати я добровольно отдамъ ему то, что принадлежитъ мнѣ, хотя бы по насильственному праву?“

Не будемъ вглядываться въ остальныхъ собесѣдниковъ г. Пекатороса (ихъ остается еще три). Авторъ не имѣетъ никакихъ художественныхъ претензій и желалъ, повидимому, только дать разнымъ „современнымъ настроеніямъ“ вполнѣ высказаться. Но форма „діалоговъ“ представляетъ для этого и свои удобства, и свои неудобства. Собесѣдники г. Пекатороса остаются каждый при своемъ, но послѣднее слово, безъ спора, авторъ предоставляетъ нѣкоему Зосимову, излагающему очень туманную доктрину, похожую на то,

что столь же туманно говоритъ г. Мережковскій о единеніи Богочеловѣка и Человѣкобога, о грядущемъ исчезновеніи представленія о времени и пространствѣ и т. п. Зосимову никто не возражаетъ, хотя рѣчь его вовсе ужъ не такъ побѣдоносна, но никто съ нимъ и не соглашается: авторъ просто опускаетъ занавѣсъ, можетъ быть, просто потому, что надо же его когда-нибудь опустить. Но и остальные собесѣдники остаются иногда безъ возраженій на такихъ пунктахъ, которые могли бы ихъ поставить въ затруднительное положеніе.

Напримѣръ, Челкаловъ рѣшаетъ вопросъ о любви и бракѣ такъ: „Въ любви весь смыслъ тотъ, что она счастье даетъ. Я люблю, счастье это чувствую, хорошо мнѣ сидѣть на мѣстѣ—сижу, разлюбилъ или надоѣло, — что тутъ разговаривать? расправилъ крылья, и все тутъ!“ — „А она?“ — спрашиваетъ нѣкто Ладовъ.— „Она? Она то же, какъ и я! ей надоѣло — пусть улетаетъ! Свобода обоюдная. Пожили вмѣстѣ, были счастливы и слава Богу. Зачѣмъ же дальше-то канитель тянуть!“ Ладовъ не догадывается спросить: „а оно?“, то есть ребенокъ, дитя или дѣти? хотя было бы очень любопытно выслушать на этотъ счетъ мнѣніе Челкалова. Другой примѣръ. Когда сверхъ-человѣкъ Клермонтъ излагаетъ свои требованія сверхъ-чувственныхъ наслажденій, одинъ изъ собесѣдниковъ замѣчаетъ: „Хорошо, вы будете жить по вашему, — до этого собственно никому нѣтъ дѣла,—жизнью утонченной, сверхъчувственной, прекрасно! босяки живутъ тоже по своему — великолѣпно! Только скажите, пожалуйста, на какія средства вы будете жить? Босяки не мирятся съ жизнью, вы тоже, тѣ довольствуются коркой хлѣба, сороковкой водки, да босяцкой свободой; работаютъ плохо, безпорядочно — это ихъ дѣло, за то и живутъ плохо — по нашему пониманію. Вы другое дѣло, вы хотите сверхъ-чувственной жизни, утонченной, съ полутонами, съ особыми запахами и вкусами. Сдѣлайте одолженіе, живите! Но... на какія средства?“ — И этотъ любопытный вопросъ остается опять-таки безъ отвѣта. Сверхъ-человѣкъ переспрашиваетъ съ недоумѣніемъ: „Какъ на какія средства?“ Его собесѣдникъ поясняетъ свой вопросъ, казалось бы, и безъ того никакихъ недоумѣній не возбуждающій, входитъ въ подробности, отвлекается въ сторону, въ разговоръ вмѣшивается третье лицо, затрагивая новую тему, и сверхъ-человѣкъ такъ и не сообщаетъ, на какія средства онъ будетъ вести сверхъ-человѣческую жизнь.

Этотъ маленькій вопросъ о средствахъ не приходилъ въ голову сверхъ человѣка Клермонта, не приходилъ онъ и въ голову автора книги „Новыя вѣянія и настроенія“ (Одесса 1903), М. Э. Гуковскаго. Изъ предисловія издателя узнаемъ, что Гуковскій, молодой человѣкъ 24 хъ лѣтъ, покончилъ съ собой самоубійствомъ, не доведя до конца начатаго труда. А онъ жаждалъ жизни и жизнь улыбалась ему. Издатель, г. Хмѣльницкій, сообщаетъ, между прочимъ, слѣдующую трогательную подробность: „За нѣсколько часовъ до смерти онъ написалъ мнѣ изъ Люцерна письмо, въ которомъ проситъ напечатать и издать этотъ трудъ, обративъ выручку отъ продажи на устройство народной библіотеки въ какомъ-либо селеніи“. Покойникъ много работалъ. Не смотря на свою молодость, онъ успѣлъ уже издать цѣлый рядъ небольшихъ сочиненій, большею часть переводныхъ, изъ которыхъ многія самъ же и перевелъ или снабдилъ ихъ вступительными статьями, писалъ и въ мѣстныхъ газетахъ. Онъ былъ несомнѣнно даровитъ, хотя его „Новыя вѣянія и настроенія“ представляютъ собою работу слишкомъ зелено-юношескую и не оригинальную, чтобы можно было по ней судить о дѣйствительныхъ размѣрахъ его дарованія. Г. Хмѣльницкій говоритъ о „смѣлости и мѣстами нѣкоторой парадоксальности сужденій“ молодого автора. Дѣло, однако, въ томъ, что въ настоящее время у насъ уже не требуется большой смѣлости для варьяцій на темы, данныя Ничше, съ одной стороны, и декадентами—съ другой,—это достаточно проторенная дорога,—а изъ такихъ именно варьяцій и состоитъ книга Гуковскаго.

Надо отдать справедливость безвременно погибшему молодому писателю. Выступая въ качествѣ, главнымъ образомъ, художественнаго критика апологетомъ „новыхъ вѣяній и настроеній“, онъ отнюдь не обольщается настоящимъ и больше возлагаетъ надежды на будущее. Онъ говоритъ о людяхъ, которые „всегда стремятся присосѣдиться къ самому, самому послѣднему теченію, и поэтому теперь, когда въ обществѣ чувствуется потребность въ новыхъ словахъ, въ искренней, правдивой оригинальности, имъ приходится манерничать и оригинальничать, такъ какъ они лишены яркой художественной индивидуальности. Это кривлянье и манерничанье, несомнѣнно присущее многимъ новымъ художникамъ, легли тяжкимъ позорнымъ пятномъ на все молодое искусство“. И не разъ возвращается Гуковскій къ этой темѣ, твердо, однако, вѣруя, что въ не-

далекомъ будущемъ „появятся настоящее новое искусство и настоящіе новые люди“.

Три вещи дороги „современному поколѣнію“, какъ его представляетъ себѣ Гуковскій: во-первыхъ — правда, во-вторыхъ — свобода, въ третьихъ — сила, и соотвѣтственно этому у него три врага: ложь, рабство, слабость. Многіе и прежде, конечно, боролись съ этими врагами, но современное поколѣніе иначе, по новому ихъ понимаетъ. Такъ, правдой въ искусствѣ считалась вѣрная передача изображаемаго, будутъ ли то внѣшніе предметы, событія или движенія человѣческой души; современное же искусство не гонится за правдой изображенія, а требуетъ лишь правдиваго отраженія личнаго настроенія художника. Свобода разумѣлась прежде главнымъ образомъ въ политическомъ или вообще гражданскомъ смыслѣ, какъ свобода той или другой угнетаемой группы — національной, сословной, классовой, профессіональной; современное поколѣніе не цѣнитъ этой свободы, ему нужна личная свобода отъ всѣхъ условностей долга, обязанности по отношенію къ какой бы то ни было группѣ, свобода всѣхъ „инстинктовъ“. Сила цѣнилась прежде въ зависимости отъ того, какъ и къ чему она прилагается; для современнаго поколѣнія она представляетъ цѣнность сама по себѣ, какъ таковая.

Надо замѣтить, что, развивая эти положенія, Гуковскій старается до извѣстной степени приладиться къ воззрѣніямъ, которымъ онъ противополагаетъ свое новое, и дѣлаетъ это сознательно. „Въ молодомъ порывѣ—говоритъ онъ, — многіе заходятъ ужъ слишкомъ далеко, стараются какъ можно скорѣе разорвать съ прошлымъ, затоптать въ грязь то, чему еще такъ недавно всѣ поклонялись, уничтожить свои недавніе идеалы... Мы, однако, не должны чуждаться всего новаго направленія, всѣхъ молодыхъ желаній и стремленій только потому, что въ нихъ есть нѣкоторыя непріятныя, рѣзкія, а подчасъ даже уродливыя черты“. Поэтому Гуковскій по временамъ пытается смягчить свои въ основѣ отнюдь не оригинальныя, но часто очень рѣзкія сужденія. Напримѣръ: „Эпоха революцій возбудила въ обществѣ цѣлый рядъ надеждъ, которыя не оправдались; утратили въ извѣстной степени свое обаяніе парламентаризмъ и всеобщая подача голосовъ; ушла въ область преданія былая идеализація толпы и народа, а вмѣстѣ съ тѣмъ мы перестали расточать прекрасныя слова о долгѣ личности передъ народомъ, о необходимости служенія ему и т. д., и т. д. *Я вовсе не хочу сказать, что*

эти старыя идеи сдѣлались ненужными, что ихъ пора выбросить за бортъ, я полагаю только, что онѣ не могутъ уже одушевлять васъ, что мы не можемъ жить только ими однѣми, такъ какъ онѣ сдѣлались слишкомъ обыденными, слишкомъ общеизвѣстными, и служеніе имъ, ихъ осуществленіе перешло изъ сферы подвижничества въ область обыкновенной сѣренькой практической дѣятельности".

При всемъ интересѣ, который въ разныхъ отношеніяхъ представляютъ нѣкоторыя сужденія Гуковскаго, я не буду слѣдить за всѣми ими, тѣмъ болѣе, что — еще разъ напоминаю читателю — въ сегодняшнихъ замѣткахъ не беру на себя критики различныхъ новыхъ теченій. Теперь меня другое занимаетъ. Поэтому приведу только одну группу мнѣній такъ рано погибшаго юноши:

„Въ былое, еще очень недавнее время, человѣкъ видѣлъ цѣль своей жизни, своего существованія въ трудѣ, выполненіи обязанностей, служеніи долгу и обществу. Конечно, и теперь мы продолжаемъ трудиться, работать, служить обществу, приносить ему пользу, но все это не удовлетворяетъ насъ, не заполняетъ цѣликомъ нашего существованія. Теперь мы смотримъ на все это, именно какъ на обязанности, на долгъ, которые иногда, даже нерѣдко, кажутся намъ скучными, тяжелыми, и мы очень часто желали бы освободиться отъ нихъ, зажить широкою, вольною жизнью безъ всякихъ обязанностей и труда".

„Современный человѣкъ стремится къ свободѣ, и поэтому онъ не хочетъ знать такихъ словъ, какъ долгъ, обязанности, жертва, слова эти кажутся ему ненужными, устарѣвшими, и онъ хочетъ освободиться отъ нихъ. Словъ этихъ не можетъ признавать свободный человѣкъ, такъ какъ служеніе долгу не совмѣстимо съ свободой, уничтожаетъ послѣднюю. Утрачивая, однако, вѣру въ значеніе всѣхъ этихъ словъ, мы этимъ самымъ устраняемъ и прописную мораль съ ея шаблоннымъ различіемъ между добромъ и зломъ, между хорошимъ и дурнымъ... Каждый настоящій человѣкъ идетъ свободно и гордо своей дорогой, не зная внутренней борьбы, ни кому, ни во имя чего не принося жертвъ, не зная долга и обязанностей".

„Если отцы всегда считали нужнымъ служить какой-нибудь задачѣ, то ихъ дѣти ужъ совершенно инымъ образомъ относятся къ жизни... „Я молодъ! — говоритъ Эргардтъ (въ драмѣ Ибсена „Боркманъ"). Я тоже хочу жить! Жить собственной жизнью!.. Я не хочу теперь работать! Вѣдь я молодъ! До сихъ поръ я не сознавалъ этого. Но теперь это чувство проникаетъ меня насквозь. Я не хочу работать! Только жить, жить!.." Слова эти характерны не только для Эргардта, но для всего молодого поколѣнія".

Итакъ: современное поколѣніе г. Ашешова имѣетъ своимъ идеаломъ „автономную трудовую личность"; современное поколѣніе Гуковскаго согласно съ этимъ относительно автономіи

личности, но исключаетъ изъ своего идеала трудъ, — трудъ и нравственный долгъ и жертву; современное поколѣніе г. Тугана-Барановскаго требуетъ жертвъ отъ личности во имя долга; современное поколѣніе г. Бердяева ставитъ на высокій пьедесталъ личность и отвергаетъ жертву, признавая, однако, нравственный долгъ, основъ для котораго ищетъ не на землѣ, а въ надзвѣздныхъ сферахъ; современное поколѣніе г. Ашешова совершенно отрицаетъ экскурсіи въ надзвѣздныя сферы, видя въ нихъ лишь шуршаніе мысли; не взываетъ къ надзвѣзднымъ сферамъ и молодое поколѣніе Гуковскаго, но за то тѣмъ громче вопіютъ о нихъ „дѣти" г. Мережковскаго и современное поколѣніе „Новаго пути", о коотромъ я было совсѣмъ забылъ... Можно опасаться, что „современное поколѣніе" всѣхъ этихъ господъ есть совсѣмъ не современное поколѣніе, и что каждый изъ нихъ либо сообщаетъ намъ „сны сердца своего", либо выдаетъ малую часть за цѣлое, дѣлаетъ поспѣшное и неосновательное обобщеніе малаго количества фактовъ, наблюденныхъ въ какомъ-нибудь уголкѣ. Есть, впрочемъ, еще третій исходъ—мѣшанина, въ которой всякого жита по лопатѣ. Но и это состояніе умовъ есть, надо надѣется, тоже частное явленіе, обобщенію не подлежащее.

Вѣроятную причину этой мѣшанины, поскольку она дѣйствительно существуетъ, поскольку г. Мережковскій правъ, усвоивая „современнымъ дѣтямъ" несовмѣстимые элементы мысли и чувства, мы видѣли. Она состоитъ въ той чрезвычайной быстротѣ, съ которою вотъ уже много лѣтъ смѣняются у насъ „новыя слова", оставляя послѣ себя каждое извѣстный слѣдъ въ душѣ молодыхъ поколѣній. Но затѣмъ возникаетъ вопросъ: отъ чего зависитъ эта самая быстрота и рѣзкость обновленій, такъ часто переходящихъ въ „противоположное"? Если бы глашатаи всѣхъ этихъ новыхъ словъ мѣняли свои убѣжденія ради какихъ-нибудь стороннихъ, корыстныхъ цѣлей, то это не представляло бы особеннаго интереса: ренегаты всегда были, есть они, конечно, и теперь, но съ ними и разговоръ другой. Интересно именно то, что въ данномъ случаѣ съ жердочки на жердочку противоположную прыгаютъ люди искренніе, безкорыстные, если, можетъ быть, и подкупаемые соблазномъ роли вождя, „властителя думъ", какъ у насъ принято говорить, то всетаки вѣрящіе въ свою миссію. Они мѣняютъ одно міросозерцаніе на другое, искренно признавъ свою ошибку, хотя, какъ мы видѣли на примѣрѣ г. Тугана-Барановскаго, иногда при этомъ слишкомъ ужъ любуются на себя, упуская изъ виду, что они не только сами ошибались, но и другихъ

ввели въ соблазнъ. Разумѣется, заблужденіе должно быть отвергнуто, но почему нынѣ такъ часты эти заблужденія—и такъ не долго живутъ убѣжденія?

Растеніе, имѣющее корни въ землѣ, живетъ столько, сколько ему полагается природой; растеніе, у котораго срѣзаны корни, гибнетъ раньше своего срока. Я думаю, что наши новѣйшія новыя слова суть нѣчто въ родѣ этихъ растеній, у которыхъ нѣтъ корней. Г. Бенуа вѣрно указалъ дату, съ которой „все молодое и свѣжее бросилось въ объятія"—не одного мистицизма, а цѣлаго ряда новыхъ словъ, изъ которыхъ каждое отцвѣтало, не успѣвши расцвѣсть, ибо ни у одного изъ нихъ не было корней. Что у нихъ корня не было, это свидѣтельствуется уже самою кратковременностью ихъ существованія, конецъ которому кладутъ сами ихъ глашатаи черезъ три-четыре года. И дѣло доходитъ, наконецъ, до того, что послѣднее „дитя", Гуковскій,—для котораго г. Туганъ-Барановскій есть не только „отецъ" въ качествѣ сегодняшнаго идеалиста, но и „дѣдъ" въ качествѣ вчерашняго матеріалиста,—не можетъ отвѣтить на вопросъ, заданный сверхъ-человѣку Клермонту: на какія средства вы будете жить новою широкою и цвѣтной жизнью, если не хотите работать? Не можетъ, потому что жить безъ работы, значитъ жить на чужой счетъ, а для этого нужно или довольствоваться босяцкой сороковкой съ соленымъ огурцомъ на закуску и съ перспективой кутузки за воровство или нищенство; или же имѣть гарантированныя общественнымъ строемъ права. Въ первомъ случаѣ мудрено жить широкой цвѣтной жизнью, во-второмъ—нельзя не опираться на гарантируюую общественную форму, а то и другое не удовлетворяетъ Гуковскаго.

Гуковскій былъ искреннее, талантливое, полное силъ „дитя", но кончилъ онъ самоубійствомъ, такъ или иначе не справившись съ жизнью, въ которую вступалъ подъ гордымъ знаменемъ правды, свободы и силы...

XIV *).

Къ воспоминаніямъ М. А. Антоновича о Некрасовѣ.

Въ „Журналѣ для всѣхъ“ напечатаны воспоминанія М. А. Антоновича о Некрасовѣ. Воздавъ Некрасову должное, какъ высокоталантливому поэту и умному и энергичному редактору, г. Антоновичъ переходитъ къ послѣднимъ днямъ „Современника“, возрожденію „Отечественныхъ Записокъ“ и къ эпизоду своего и г. Жуковскаго разрыва съ Некрасовымъ и Елисеевымъ. Я позволю себѣ остановиться на этомъ послѣднемъ моментѣ. Я былъ въ то время начинающимъ писателемъ, а въ редакцію „Отечественныхъ Записокъ“ вступилъ и гораздо позже. Поэтому лично отъ себя не могу внести никакихъ поправокъ или дополненій къ воспоминаніямъ г. Антоновича. Не считаю нужнымъ возвращаться и къ оцѣнкѣ роли Некрасова во всей этой исторіи. Но г. Антоновичъ затрогиваетъ дорогую мнѣ память Г. З. Елисеева, а я имѣю возможность предложить читателю собственное мнѣніе на этотъ счетъ покойника. Эта возможность налагаетъ на меня соотвѣтственную обязанность. Въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ я, говоря о Некрасовѣ и потомъ о Елисеевѣ, не воспользовался этою возможностью, не желая ворошить мелкія дрязги давно минувшихъ дней. Но разъ г. Антоновичъ ихъ коснулся, я прошу читателя выслушать и голосъ Елисеева. Пройдутъ года, и, вѣроятно, немногіе, не станетъ и насъ съ г. Антоновичемъ, и какъ будутъ утилизированы имѣющіеся въ моемъ распоряженіи матеріалы, я не знаю. Поэтому пускаю ихъ въ ходъ теперь же.

Вотъ что пишетъ г. Антоновичъ:

„Мы, сотрудники, остались такимъ образомъ (послѣ закрытія

---

*) Февраль 1903 г.

„Современника"), какъ раки на мели, безъ дѣла. Въ общемъ интересѣ мы дали слово дѣйствовать дружно, *сообща, всею артелью, не запродаваться никуда въ одиночку, а сразу, гуртомъ* *). Въ этомъ соглашеніи Салтыковъ не участвовалъ и, кажется, даже не зналъ о немъ. Вполнѣ полагаясь на своихъ сотоварищей и вѣрно разсчитывая на то, что разъ артель гдѣ-нибудь пристроится, и я буду пристроенъ,—я беззаботно отправился за границу и пробылъ тамъ довольно долго. Спустя нѣсколько времени, мои товарищи по „Современнику" сообщили мнѣ, что у Некрасова есть планъ издавать какой-то журналъ, но что онъ не желаетъ принимать въ этотъ журналъ всю нашу артель, а хочетъ взять только кого-нибудь одного, и для этого обращался ужъ то къ г. Пыпину, то къ г. Ю. Жуковскому, но они *не согласились идти въ одиночку и, дѣйствуя сообща, предложили Некрасову* такія условія, на которыя онъ не соглашался. Переговоры съ ними велись довольно долго, но не привели ни къ чему. Наконецъ, товарищи огорошили меня извѣстіемъ, что Некрасовъ соединился съ Краевскимъ въ „Отечественныхъ Запискахъ", что *Елисеевъ отбился отъ артели* и вступилъ въ сепаратное соглашеніе съ этими союзниками. Эта комбинація казалась намъ чудовищною, неестественною, невозможною. Соединяются два полюса, два отъявленныхъ врага, личныхъ и литературныхъ, два журнальныхъ соперника, два ожесточенныхъ конкуррента, и связующимъ звеномъ между ними служитъ *нашъ* Елисеевъ. Не хотѣлось вѣрить такому химерическому союзу. Особенно я не хотѣлъ вѣрить, чтобы Елисеевъ рѣшился на такой шагъ, не посовѣтовавшись со мною или хоть не увѣдомивши меня объ немъ. Однако, скоро оказалось, что этотъ союзъ, эта невозможная комбинація состоялась. Явилось объявленіе объ изданіи „Отечественныхъ Записокъ", въ которомъ было напечатано чернымъ по бѣлому, что въ нихъ будутъ помѣщаться стихи Некрасова и статьи Елисеева. Это чудо поразило насъ и поставило втупикъ, не смотря на то, что мы были уже нѣкоторымъ образомъ предупреждены о немъ.

„Особенно смущало насъ при этомъ и наводило насъ на разныя подозрѣнія то, что Некрасовъ не хотѣлъ взять всей нашей артели, а взялъ съ собою въ журналъ Краевскаго только одного изъ нашихъ. Мы рѣшили, что въ журналѣ появятся пѣсни уже на перестроенной лирѣ, и въ немъ будетъ проводиться контрабанда Краев-

*) Курсивъ, какъ и ниже, мой. *Н. М.*

скаго подъ флагомъ Некрасова и Елисеева; что принципіальныхъ уступокъ со стороны Краевскаго не можетъ быть; что журналъ будетъ пѣть въ унисонъ съ „Голосомъ", этимъ „куринымъ эхомъ", какъ прозвалъ его Салтыковъ. Мы поэтому были увѣрены, что Елисеевъ не будетъ имѣть вліянія въ журналѣ и что онъ взятъ, такъ сказать, для фирмы, для вывѣски, для символическаго указанія на то, что въ „Отечественныхъ Запискахъ" будетъ нѣчто, напоминающее о „Современникѣ". *И предчувствія наши подтверждались первыми книжками „Отечественныхъ Записокъ" новой редакціи.* — Меня лично этотъ инцидентъ поразилъ въ самое чувствительное мѣсто, порвалъ дорогую сердечную связь. Съ Елисеевымъ я былъ въ болѣе близкихъ, болѣе дружественныхъ отношеніяхъ, чѣмъ съ остальными товарищами, былъ очень привязанъ къ нему, и мы всегда дѣйствовали заодно, сообща, вмѣстѣ работали въ „Очеркахъ", вмѣстѣ, общими силами поддерживали „Вѣкъ"; во всякихъ вопросахъ и спорахъ были на одной сторонѣ. И вдругъ послѣ всего этого другіе товарищи всегда держали меня au courant всѣхъ своихъ литературныхъ и журнальныхъ плановъ и переговоровъ и, наконецъ, мы всею артелью поступили въ одинъ несчастный журналъ,—а онъ, не сказавши и не написавши мнѣ ни единаго слова, оставилъ артель и вступилъ въ сепаратную сдѣлку. Этого я бы скорѣе могъ ожидать отъ другихъ товарищей, а отъ него никогда. И однако же...

„Подъ живымъ, неотразимымъ впечатлѣніемъ отъ всѣхъ указанныхъ инциндентовъ, движимые всякими сомнѣніями и опасеніями, и поддаваясь влеченію взволнованнаго, возмущеннаго и оскорбленнаго чувства, мы съ Ю. Г. Жуковскимъ рѣшились издать извѣстную полемическую брошюру противъ Некрасова: „Матеріалы для характеристики современной русской литературы. I. Литературное объясненіе съ Н. А. Некрасовымъ. М. А. Антоновича. II. Post-scriptum. Содержаніе и программа „Отечественныхъ Записокъ" за прошлый годъ. Ю. Г. Жуковскаго". Эта брошюра въ свое время надѣлала много шуму и возбудила сильное неудовольствіе противъ насъ со стороны защитниковъ Некрасова, ставившихъ намъ въ безчестіе нашу брошюру".

Свою статью г. Антоновичъ оканчиваетъ такъ: „Я откровенно сознаюсь, что мы ошиблись относительно Некрасова: онъ не измѣнилъ себѣ и своему дѣлу, но продолжалъ вести его горячо, энергично и успѣшно,—за что ему слава, честь и вѣчная память въ лѣтописяхъ русской литературы". Но г. Антоновичъ находитъ, что и

онъ съ г. Жуковскимъ, по крайней мѣрѣ, заслуживаютъ снисхожденія, и безпристрастные люди должны признать, что „не обладая даромъ пророчества и предвидѣнія, они имѣли достаточно основанія поступать въ данный моментъ такъ, какъ они поступали".

Повинную голову и мечъ не сѣчетъ. Я только о Елисеевѣ, по скольку онъ затрогивается воспоминаніями г. Антоновича.

Прежде всего отмѣчу одно странное недоразумѣніе. Г. Антоновичъ говоритъ, что сотрудники „Современника", послѣ закрытія этого журнала, сложились въ „артель", „дали слово дѣйствовать дружно, сообща", „не запродаваться никуда въ одиночку, а сразу, гуртомъ". Г. Антоновичъ не перечисляетъ этихъ сотрудниковъ поименно, а говоритъ только, что Елисеевъ „отбился отъ артели", одинъ Елисеевъ, а г. Жуковскій остался въ ея составѣ, вслѣдствіе чего и выступилъ совокупно съ г. Антоновичемъ въ обличительно-полемической брошюрѣ. Между тѣмъ, во второй, принадлежащей перу г. Жуковскаго, части этой брошюры, между прочимъ, читаемъ: „Годъ спустя (послѣ закрытія „Современника") г. Некрасовъ счелъ нужнымъ возобновить со мною знакомство; рѣчь шла о новомъ журналѣ, и я объяснилъ ему совершенно прямо все, на что онъ можетъ разсчитывать съ моей стороны. Я объяснилъ ему, что не соглашусь на прежнюю роль, на прежнее положеніе, что если я составлю въ его журналѣ отвѣтственное лицо передъ публикой, то я буду сообразно мѣрѣ моего въ немъ участія хозяиномъ не только литературной его части, но и *его доходовъ*" (стр. 127). И далѣе, обзывая „фиглярствомъ" содержаніе первыхъ номеровъ „Отечественныхъ Записокъ", г. Жуковскій писалъ: „Не допустить этого фиглярства можно было, только будучи хозяиномъ самаго журнала, наравнѣ съ г. Некрасовымъ. Этого-то положенія я требовалъ и это-то мое требованіе не могло уже войти въ разсчетъ г. Некрасова, а потому и посложило *настоящей причиной разрыва*" (194). И еще дальше: „Я дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ *лично отъ себя и только за себя*, не думая при этомъ устраивать никакихъ новыхъ порядковъ въ литературѣ и новыхъ издательскихъ основаній, которыя до меня совершенно не касаются, а ограждалъ *только себя* отъ старыхъ" (196).

Итакъ, во-первыхъ: „истинной причиной разрыва" были совсѣмъ не грѣхи Некрасова, а его отказъ предоставить г. Жуковскому половину доходовъ; во-вторыхъ, г. Жуковскій никакой артели въ виду не имѣлъ, а дѣйствовалъ лично отъ себя и только за себя. И когда теперь г. Антоновичъ утверждаетъ, что гг. Пыпинъ и Жуковскій

„не согласились идти въ одиночку“, то ему, очевидно, измѣняетъ память, ибо въ 1869 году г. Жуковскій бокъ-о-бокъ съ нимъ, подъ одной съ нимъ обложкой утверждалъ противное: онъ, по крайней мѣрѣ, соглашался, только на условіи половинныхъ доходовъ съ журнала.

Это подтверждаетъ и Елисеевъ въ анонимной статьѣ „Отвѣтъ на критику“, напечатанной въ апрѣльской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1869 г. Ниже я приведу болѣе подробный разсказъ Елисеева объ этомъ дѣлѣ, найденный мною въ его посмертныхъ бумагахъ. Теперь же обращу вниманіе читателя на соображенія и предчувствія г. Антоновича съ товарищами насчетъ перемѣны фронта тѣхъ изъ сотрудниковъ „Современника“, которые вошли въ редакцію возрожденныхъ Некрасовымъ „Отечественныхъ Записокъ“. „Предчувствія наши,—говоритъ г. Антоновичъ — подтверждались первыми книжками „Отечественныхъ Записокъ“ новой редакціи“. Къ сожалѣнію, г. Антоновичъ не указываетъ, что именно въ этихъ первыхъ книжкахъ подтверждало его съ товарищами предчувствія. Въ брошюрѣ „Матеріалы“ и т. д. какъ г. Антоновичъ, такъ и г. Жуковскій обдавали содержаніе „Отечественныхъ Записокъ“ великолѣпнымъ презрѣніемъ. Тутъ было и „фиглярство“, и разное другое, но собственно перемѣна фронта усматривалась только въ умолчаніи о Краевскомъ, подъ фиктивномъ редакторствомъ котораго „Отечественныя Записки“ первое время выходили. Ну, а это было, конечно, не указаніе на перемѣну фронта, а просто кляуза. На всякій случай напомню названія главныхъ статей первыхъ четырехъ номеровъ: стихотворенія Некрасова—„Притча о киселѣ“, „Выборъ“, „Судъ“, „Осторожность“, „Пропала книга“, „Сватъ и женихъ“, „Эй Иванъ!“ „Стихотворенія, посвященныя русскимъ дѣтямъ“; поэма А. Жемчужникова „Сны“; романъ Марка Вовчка „Живая душа“; романъ Гирса „Старая и юная Россія“; разсказы и очерки Щедрина „Новый Нарцизъ“, „Старый котъ на покоѣ“, „Письма изъ провинціи“; очеркъ Г. И. Успенскаго „Будка“; повѣсть В. Крестовскаго (псевдонима) „Два памятные дня“; статьи: Елисеева „Производительныя силы Россіи“, „Наказъ императрицы Екатерины“, „Крестьянскій вопросъ“; П. Л. Лаврова „Дидро и Лессингъ“; Костомарова „Новые документы, относящіеся къ исторіи сѣверо-западной Руси“; А. М. Скабичевскаго „Новое время и старые боги“; Д. И. Писарева „Старое барство“ и пр.

Все это было, можетъ быть, очень слабо, очень плохо съ тог-

дашней точки зрѣнія г. Антоновича, но я рѣшительно сомнѣваюсь, чтобы онъ могъ указать въ этомъ спискѣ хоть одну вещь, которая оправдывала бы его и его товарищей „предчувствія"...

Теперь приведу отрывки изъ посмертныхъ бумагъ Елисеева. Къ сожалѣнію, только отрывки, какъ по общимъ условіямъ всякихъ мемуаровъ, требующихъ извѣстнаго времени для опубликованія, такъ и по чисто техническимъ условіямъ рукописей Елисеева. Почеркъ у него былъ отвратительный; часть его бумагъ переписана рукой его жены, весьма безпечной насчетъ грамматики, часть—другой, мнѣ незнакомой рукой, съ пропусками очевидно не разобранныхъ словъ и фразъ; многихъ страницъ недостаетъ, за то есть повторенія.

Послѣ закрытія „Современника" Некрасовъ уѣхалъ изъ Петербурга. Живя въ деревнѣ, онъ было сталъ опять подумывать о журналѣ, о чемъ писалъ и Елисееву. Потомъ онъ пріѣхалъ въ Петербургъ и сообщалъ, что отъ мысли о журналѣ отказался, и думаетъ издавать, какъ въ старые годы, сборники. „Въ концѣ 1867 г.,—пишетъ Елисеевъ,—Некрасовъ снова пріѣхалъ въ Петербургъ и, заявившись ко мнѣ, сказалъ, что онъ, вмѣсто предположеннаго имъ сборника, будетъ издавать журналъ, что есть всѣ данныя надѣяться на успѣхъ, что прежніе сотрудники „Современника", съ которыми онъ видѣлся, согласны въ немъ участвовать, и пригласилъ меня на слѣдующій день къ себѣ для обсужденія разныхъ вопросовъ по устройству новаго журнала, при чемъ сообщилъ мнѣ, что этимъ новымъ журналомъ будутъ „Отечественныя Записки", которыми, какъ намъ всѣмъ было извѣстно, давно уже тяготился Краевскій, занятый изданіемъ „Голоса", и съ удовольствіемъ готовъ былъ отдать ихъ въ аренду, тѣмъ болѣе, что онѣ не доставляли ему почти никакого дохода. Извѣстіе, что мы, бывшіе сотрудники „Современника", будемъ работать въ бывшемъ органѣ Краевскаго, который мы такъ часто осмѣивали и третировали на всевозможные лады, сначала меня немного смущало. Но потомъ я подумалъ: что-жъ тутъ дурного, что мы отнимаемъ органъ у противной намъ партіи и превращаемъ въ органъ своей пратіи? Тутъ мы не только ничего не проигрываемъ, напротивъ—пріобрѣтаемъ. Надо только устроить дѣло такъ, чтобы мы стали въ немъ вполнѣ независимыми отъ собственника журнала. Когда на другой день, въ назначенный часъ я пришелъ къ Некрасову, тамъ было уже нѣсколько человѣкъ. Кромѣ Некрасова, были М. Е. Салтыковъ, Д. И. Писаревъ. Кто былъ еще—не помню. М. А. Антоновичъ не могъ быть, ибо былъ въ то время

за границей. Былъ ли А. Н. Пыпинъ, не могу сказать. Ю. Г. Жуковскій въ своемъ Postscriptum'ѣ къ „Литературному объясненію" г. Антоновича съ Некрасовымъ говоритъ, что онъ въ этомъ собраніи не былъ. И надобно этому вѣрить. Еще до прихода моего началась рѣчь о томъ: брать ли въ аренду „Отечественныя Записки", и всѣ на это согласились, согласился и я. Согласились и на то, чтобы „Отечественнымъ Запискамъ" при новой редакціи дано было направленіе „Современника". Затѣмъ пошелъ вопросъ о томъ, кого выбрать отвѣтственнымъ редакторомъ „О. З." Оказалось, что нельзя было надѣяться, чтобы утвердили кого-нибудь изъ бывшихъ сотрудниковъ „Современника"... Послѣ этого возникъ вопросъ о томъ, нельзя ли остаться подъ отвѣтственной редакціей Краевскаго. Возможность эта прежде мнѣ никогда не приходила въ голову. Ибо имя Краевскаго было въ то время такъ скомпрометировано въ литературныхъ кружкахъ, и при этомъ едва ли оно въ какомъ-нибудь журналѣ подвергалось большему осмѣянію и глумленію, чѣмъ въ „Современникѣ", что мысль о томъ, чтобы сотрудники „Современника" могли очутиться подъ редакціей Краевскаго, являлась contradictio in re, чистымъ безсмысліемъ... Я прямо и рѣшительно сказалъ, что это чистая нелѣпость, это совсѣмъ невозможно! Вслѣдъ за мною и М. Е. Салтыковъ, котораго, вѣроятно, еще до моего прихода Некрасовъ соглашалъ на такую комбинацію, энергически заявилъ: „Это въ самомъ дѣлѣ чортъ знаетъ что! Надо бросить!" Взялъ шапку и хотѣлъ уйти".

Некрасовъ убѣдилъ, однако, протестующихъ тѣмъ соображеніемъ, что Краевскій будетъ отвѣтственнымъ редакторомъ всего на нѣсколько мѣсяцевъ, пока пріищется другой, подходящій редакторъ, и что съ Краевскаго можно взять обязательство не вмѣшиваться въ дѣло.

„Послѣ этого, — продолжаетъ Елисеевъ, — возникъ вопросъ о четвертакѣ, о которомъ доселѣ не упоминалось во время переговоровъ. Г. Жуковскій (на описанномъ собраніи не присутствовавшій. Н. М.) объявилъ, что онъ согласенъ участвовать въ журналѣ только въ томъ случаѣ, когда прибыль журнала будетъ дѣлиться на двѣ половины: одна отдаваться ему, другая Некрасову. Но такъ какъ то или другое количество чистой прибыли зависитъ отъ того или другого количества расходовъ по журналу, то онъ требовалъ, чтобы ему не только открыты были всѣ эти расходы въ предварительной смѣтѣ годового бюджета и въ годовой повѣркѣ

по окончаніи года, но чтобы ему предоставлено было право соглашаться и не соглашаться на эти расходы при самомъ ихъ производствѣ, такъ что онъ могъ положить veto на напечатаніе каждой статьи, на количество оплачиваемаго за нее гонорара, на наемъ каждаго разсыльнаго, котораго онъ призналъ бы лишнимъ и т. д."

Елисеевъ ничего этого не зналъ. Некрасовъ сообщилъ ему объ этихъ условіяхъ г. Жуковскаго лишь при слѣдующихъ обстоятельствахъ:

„Разъ Некрасовъ пріѣзжаетъ ко мнѣ и настоятельно зоветъ ѣхать вмѣстѣ съ нимъ на совѣщаніе объ „Отечественныхъ Запискахъ" къ А. М. Унковскому, гдѣ, дескать, будетъ и Жуковскій. Я долго отказывался отъ поѣздки, говорилъ, что дѣло обойдется и безъ меня, что я впередъ согласенъ со всѣмъ, на чемъ порѣшатъ они съ Жуковскимъ, но Некрасовъ продолжалъ настаивать. Наконецъ, я согласился, и мы поѣхали. Когда мы пришли, Жуковскій былъ уже тамъ. Некрасовъ началъ съ того, что прямо сказалъ Жуковскому, что если онъ, Некрасовъ, и согласится съ нимъ, Жуковскимъ, издавать журналъ съ тѣмъ, чтобы чистая прибыль дѣлилась между ними двоими поровну, то все же надо впередъ опредѣлить, изъ кого составить редакцію и кто будетъ оплачивать ея членовъ. На это Жуковскій отвѣтилъ, что онъ согласенъ, чтобы въ составъ редакціи вошли Пыпинъ и Антоновичъ, и чтобы трудъ ихъ по редакціи оплачивался. „А какъ же Елисеевъ? — спросилъ Некрасовъ,—вѣдь онъ тоже въ составѣ редакціи". „Если вамъ угодно,— отвѣчалъ Жуковскій, — можете оплачивать его изъ своей доли, но я его не имѣлъ въ виду". Эти слова, сказанныя Жуковскимъ въ моемъ присутствіи, такъ поразили меня, такъ показались мнѣ невѣроятными, что если бы мнѣ передавалъ ихъ самъ Некрасовъ и и при этомъ клялся и божился, что онъ слышалъ ихъ отъ Жуковскаго, я никогда бы ему не повѣрилъ".

Затѣмъ Некрасовъ рѣшительно отказался отъ условій, предложенныхъ г. Жуковскимъ, и послѣдній, вмѣстѣ съ г. Пыпинымъ, вошелъ въ составъ редакціи только что основаннаго Тибленомъ „Современнаго Обозрѣнія", изъ которой, впрочемъ, тотчасъ же оба и вышли.

Какъ видитъ читатель, показаніе г. Антоновича о томъ, что Елисеевъ „отбился отъ артели", — не вѣрно, да и едва ли артель существовала. Во всякомъ случаѣ и г. Жуковскій, и Елисеевъ оди-

наково показываютъ, что „настоящей причиной разлада“ былъ вопросъ о доходахъ и что г. Жуковскій дѣйствовалъ „лично отъ себя, и только за себя“.

Въ запискахъ Елисеева есть еще одна очень пикантная подробность, но я ее приводить не буду. Мнѣ вовсе не весело занимать читателя этими старыми дрязгами. Но существуетъ исторія, и если она когда-нибудь займется эпизодомъ возрожденія „Отечественныхъ Записокъ“, такъ пусть же ею будетъ услышанъ голосъ не одного г. Антоновича.

XV. *).

О ликующихъ современникахъ вообще и о „Пѣснѣ гидальго“ г. Случевскаго въ частности.—Объ уравненіи: „сильно=морально и хорошо“.—Изъ исторіи религіи.—О борьбѣ за индивидуальность и о томъ, что значитъ „придать стиль своему характеру“.—„На днѣ“ г. Горькаго.

Среди множества хмурыхъ, недовольныхъ, скорбныхъ, озабоченныхъ, озлобленныхъ русскихъ лицъ вы встрѣчаете тамъ и сямъ, иногда цѣлыми гнѣздами, иногда въ одиночку, физіономіи, сіяющія, какъ новый или тщательно вычищенный мѣдный пятакъ. Присматриваясь къ этимъ физіономіямъ и прислушиваясь къ рѣчамъ ихъ обладателей, вы замѣчаете, что они не тѣмъ главнымъ образомъ довольны, не потому такъ празднично сіяютъ, что ихъ семейныя, торговыя, служебныя или еще какія иныя дѣла идутъ хорошо,—такіе всегда были, а я говорю о настоящемъ времени. Это довольство ходомъ своихъ дѣлъ возможно, конечно, и въ данномъ случаѣ, но есть и еще что-то, что радуетъ и ласкаетъ сердце сіяющихъ людей, о которыхъ я говорю, и наводитъ лакъ на ихъ физіономіи, и заставляетъ васъ, глядя на нихъ, чуть не прикрывать глаза рукой, какъ отъ солнца.

Вотъ стихотвореніе г. Случевскаго, напечатанное въ журналѣ „Новый Путь“, подъ заглавіемъ „Пѣсня гидальго“:

Я—художникъ мгновеній!
Я—пѣвецъ настроеній!
Плавность лебедя, ласточки крылья!
Думъ, отвагой блестящихъ,
Вглубь безумья скользящихъ,
Нѣтъ, ни въ комъ, какъ во мнѣ, изобилья!
Мнѣ—и жены, и дѣвы...
Не по мнѣ перепѣвы...

---

*) Апрѣль 1903 г.

Я одинъ въ цѣломъ божьемъ созданьи!
Разумъ мнѣ не по нраву,
Жизнь и смерть мнѣ въ забаву,
Я—въ грядущихъ вѣкахъ и въ преданьи,
Созданъ весь изъ изъятій,
Полнъ молитвъ и проклятій,
Въ сердцѣ—вѣчныя зори, закаты...
Если любишь тревожность,
Обнимн невозможность
И тогда лишь обнимешь меня ты!

Трудно рѣшить, почему это стихотвореніе называется „пѣсней гидальго", то есть испанскаго дворянина. Ничего спеціально испанскаго, какъ видитъ читатель, въ немъ нѣтъ, и тѣмъ болѣе, значитъ, не приходится искать разгадки въ общественномъ положеніи гидальго. Во всякомъ случаѣ, тотъ гидальго, которому г. Случевскій вложилъ въ уста эту „пѣсню", совсѣмъ не похожъ на обыкновеннаго гидальго, но за то очень похожъ на многихъ современныхъ россійскихъ поэтовъ.

Можетъ показаться, что маститый поэтъ, — правда, и прежде склонный къ экстравагантностямъ, но не до такой степени! — подшутилъ надъ редакціей „Новаго Пути", или же почтенный журналъ сдѣлался жертвой обмана какого нибудь другого шутника и собственнаго преклоненія передъ именемъ г. Случевскаго. Можетъ, далѣе, показаться, что не все въ этой поэтической самоаттестаціи такъ уже лестно. Иной скажетъ, пожалуй: что же хорошаго въ томъ, что такому великолѣпному поэту „разумъ не по нраву"? Пушкинъ недурной вѣдь былъ поэтъ, а пѣлъ хвалу разуму: „да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма!" — Все это можетъ быть и вѣрно, но мало измѣняетъ дѣло. Если приведенное стихотвореніе и шутка, пародія на произведенія современной музы, то пародія удачная; а что Пушкинъ желалъ здравія разуму, а г. Случевскому разумъ не по нраву, такъ это только усугубляетъ типичность стихотворенія или удачность пародіи.

Въ чемъ же, однако, дѣло? Почему такъ гордъ и свѣтелъ поэтъ?

Г. Случевскій, вмѣстѣ со многими другими современниками, открылъ въ себѣ въ одинъ прекрасный день нѣкоторое *я* и пришелъ въ восторгъ. Какъ прапорщикъ, въ первый разъ надѣвшій эполеты, онъ не налюбуется, не наглядится на эту открытую имъ въ себѣ штуку, и кажется ему даже, что онъ „одинъ въ цѣломъ

божьемъ созданьи". Не то, чтобы ужъ такъ въ самомъ дѣлѣ одинъ-одинехонекъ, а кругомъ безбрежная пустыня, — это ужъ очень скучно было бы, да и покрасоваться не передъ кѣмъ. Поэтому въ міровой пустынѣ для него припасены конкурренты, тоже богатые „думами блестящими, въ глубь безумья скользящими", но только не въ такомъ, какъ онъ, изобиліи; припасены еще жены и дѣвы, чтобы ему было кого заключать въ объятія, хотя онѣ-то его обнять не могутъ, потому что это значило бы „обнять невозможность"...

Фихте праздновалъ, какъ день духовнаго рожденія своего сына, тотъ день, когда сынъ въ первый разъ произнесъ слово *я*. Нѣтъ ничего удивительнаго, если русскій человѣкъ празднуетъ именины сердца, открывъ въ себѣ это *я*. Это вѣдь событіе, въ самомъ дѣлѣ, великой важности, во взросломъ человѣкѣ знаменующее пору настоящей зрѣлости, когда появляются *свои* мысли, *свои* чувства и желанія, *своя* воля. Что несетъ съ собою въ міръ это вылупляющееся *я*, — добро или зло, красоту или безобразіе, истину или ложь, — это вопросъ особый. Оставляя пока въ сторонѣ проистекающія отсюда осложненія, нельзя не признать, что люди, цѣлыя общества людей, цѣлые народы иногда слишкомъ долго не только дѣйствуютъ, а и мыслятъ, и чувствуютъ по выраженнымъ или невыраженнымъ предписаніямъ со стороны. Г. Случевскій и прочіе ликующіе современники, конечно, и прежде не сомнѣвались въ существованіи своихъ *я*, когда, напримѣръ, клали свое жалованье, гонораръ, проценты съ капитала въ *свой* карманъ, когда представляли какой нибудь документъ въ полицейскій участокъ или контору нотаріуса для засвидѣтельствованія подписи: *я*, такой-то, имя рекъ, и т. п. Но все это только подчеркивало зависимость мѣстоимѣнія личнаго перваго лица единственнаго числа отъ тысячи стороннихъ силъ и условій, — зависимость столь очевидную, что это мѣстоименіе совершенно въ нихъ тонуло. Всѣ эти документально засвидѣтельствованные имяреки, если и вкусили когда нибудь плодовъ древа познанія добра и зла и оцѣнили ихъ каждый *по своему*, то познаніе либо такъ и осталось познаніемъ, ничѣмъ не отражаясь въ жизни, либо и совсѣмъ, безслѣдно затерлось сторонними силами; и люди мыслили, чувствовали, дѣйствовали, вообще жили ради себя, но *какъ всѣ*. Поэтому г. Случевскій и ликующіе съ нимъ современники имѣютъ полное право праздновать моментъ рожденія въ нихъ личнаго мѣстоименія перваго лица единствен-

наго числа. Да, великій это моментъ сознанія своего личнаго достоинства и личной отвѣтственности передъ этимъ достоинствомъ. И можно бы было снисходительно отнестись къ нѣкоторымъ преувеличеніямъ г. Случевскаго, къ тому слишкомъ ужъ цвѣтному и яркому одѣянію, въ которомъ онъ предъ нами является, — дѣло праздничное. Но, независимо отъ этой кричащей яркости костюма, въ стихотвореніи есть и еще кое-что, мѣшающее намъ радоваться радованію поэта и вмѣстѣ съ нимъ праздновать именины его сердца.

„Я—художникъ мгновеній! я — пѣвецъ настроеній"! — рекомендуетъ себя авторъ стихотворенія. Слѣдовательно, минетъ мгновеніе, явится у поэта новое настроеніе, и сброситъ онъ свой цвѣтной нарядъ, надѣнетъ вицъ-мундиръ подлежащаго вѣдомства и пойдетъ себѣ потихоньку въ канцелярію, либо въ халатъ облачится, и опадетъ великолѣпно раздувшееся *я*, какъ проколотый пузырь... Очень вѣдь ненадежно все, что опредѣляется настроеніемъ и мгновеніемъ, и мы этихъ проколотыхъ пузырей насмотрѣлись въ послѣднее время досыта. Совсѣмъ еще недавно у насъ было очень распространено, грозя даже всю такъ называемую интеллигенцію захватить, настроеніе, прямо противоположное тому, которое лежитъ въ корнѣ стихотворенія г. Случевскаго. Это былъ моментъ не рожденія или пробужденія нашего *я*, а, напротивъ, его похоронъ, сопровождавшихся, однако, тоже ликованіемъ. „Личность есть quantité négligeable", *своихъ* мыслей и чувствъ ни у кого нѣтъ и быть не можетъ—мыслитъ и чувствуетъ группа, а не какое бы то ни было *я*, *свои* дѣйствія тоже не мыслимы, ибо всѣ мы находимся во власти безличнаго, но всемогущаго процесса развитія экономической сущности исторіи. Таковы въ общихъ чертахъ вдохновлявшія насъ недавно идеи, а такъ какъ мы при этомъ твердо знали, что историческій процессъ ведетъ къ правдѣ, добру и свѣту, то хотя и облекали наши *я* въ саваны, готовя ихъ въ страну небытія, но въ то же время ликовали... Таково было настроеніе и длилось оно, исторически говоря, одно мгновеніе...

„Не по мнѣ перепѣвы... Я одинъ въ цѣломъ божьемъ созданьи"!—восклицаетъ далѣе г. Случевскій. Это онъ, увы! неправду восклицаетъ, точно такъ же, какъ и заявляя, что онъ „созданъ весь изъ изъятій". Что особенно поражаетъ въ ликующихъ современникахъ, такъ это совершенное отсутствіе оригинальности, на которую, однако, они именно и бьютъ, Стоитъ только гдѣ нибудь

въ западной Европѣ раздаться сильному, властному голосу, какъ у насъ его послѣднія слова или даже только послѣдніе слоги послѣдняго слова повторитъ тысячекратное послушное эхо, постепенно замирая вдали: экономическій фундаментъ... экономическій фундаментъ... идеологическія надстройки на экономическомъ фундаментѣ.. Или: сверхъ-человѣкъ... сверхъ-человѣкъ... переоцѣнка... переоцѣнка всѣхъ цѣнностей... по ту сторону добра и зла... по ту сторону... Конечно, это и въ западной Европѣ даже слишкомъ часто случается: овца, будь она мериносъ или наша романовская, рѣшетиловская — все равно овца. Но въ Европѣ для овечьихъ умовъ и душъ есть всегда достаточно центровъ притяженія, чтобы они не грудились всѣ въ одну кучу.

Какъ бы то ни было, г. Случевскій, вопреки аттестату, выданному имъ самому себѣ, занимается именно перепѣвами. Казалось бы, какъ оригинально: это „я одинъ въ цѣломъ божьемъ созданьи"! Вѣдь это выдумать надо! Но г. Ѳедоръ Сологубъ раньше г. Случевскаго пѣлъ:

Если бъ хотѣлъ я любить,
Если бы могъ я желать,—
Въ мірѣ кого полюбить,
Въ жизни чего пожелать?
Только Отецъ мой да я,
Больше и нѣтъ никого.

И г. Балтрушайтисъ раньше г. Случевскаго обращался къ какому-то своему другу со словами:

Тебѣ я грезами сродни,
И *въ цѣломъ мірѣ мы одни!*
Мы—вся нарядность бытія,
Насъ въ мірѣ двое: ты да я.

Г-жа Гиппіусъ давно уже „любитъ себя, какъ Бога", г. Бальмонтъ объявилъ: „Высшимъ знакомъ я отмѣченъ". И т. д., и т. д.

Это ликующее настроеніе, европейскіе источники котораго слишкомъ ясны,—что бы ни говорилъ г. Мережковскій о самобытности русской помѣси ничшеанства съ декадентствомъ,—не есть солипсизмъ или иное какое рѣзкое противопоставленіе индивидуальнаго *я* безбрежному *не я*. Упомянутые господа поэты, равно какъ и многіе современные прозаики и многіе современники вообще, признаютъ за своими *я* только „нарядность бытія", именно въ этомъ

отношеніи они единственны. Иначе говоря, они усмотрѣли въ своемъ *я* все наилучшее, всѣ достоинства человѣка.

И читатель не долженъ удивляться, что въ числѣ этихъ достоинствъ нѣтъ разума, а есть, напротивъ, „глубь безумья". Было время, когда разумъ составлялъ нашу гордость, и Линней выдѣлилъ человѣка изъ всего животнаго міра хвастливой кличкой Homo sapiens. Нынѣ, когда современники стремятся занять позицію „по ту сторону добра и зла" и произвести „переоцѣнку всѣхъ цѣнностей", разумъ естественно долженъ былъ утратить свое недавнее значеніе. Польскій представитель помѣси ничшеанства съ декадентствомъ, Пшибышевскій даетъ своему роману заглавіе „Homo sapiens", очевидно, чисто иронически, такъ какъ герой романа руководствуется въ своихъ дѣйствіяхъ исключительно неразумными мотивами, а гидальго г. Случевскаго прямо объявляетъ, что разумъ ему „не по нраву". Двоякого рода недовольство вызываетъ въ настоящее время этотъ былой кумиръ. Одни недовольны тѣмъ, что, ограниченный условіями человѣческой природы, разумъ не въ силахъ раскрыть послѣднія тайны бытія,—эти, отметая разумъ, ищутъ новыхъ путей въ недоступный ему „по-ту-сторонній", сверхчувственный міръ, они готовы сказать вмѣстѣ съ Платономъ, что боги даруютъ мантику лишь человѣку, лишенному разума. Другіе протестуютъ противъ стѣсненій, налагаемыхъ разумомъ на наши инстинктивныя побужденія, которыя, по ихъ предположенію, будучи освобождены отъ гнета разума, должны дать роскошные цвѣты и плоды. Я не знаю, съ какой изъ этихъ двухъ точекъ зрѣнія разумъ не по нраву г. Случевскому (возможно и соединеніе ихъ), но меня будутъ занимать протестанты второго рода.

Они исходятъ изъ Ничше, изъ чего, однако, отнюдь не слѣдуетъ, что несчастный нѣмецкій мыслитель отвѣтственъ за всѣ тѣ глупости, а подчасъ и мерзости, которыя говорятся, пишутся и совершаются во имя его. Г. Невѣдомскій въ предисловіи къ русскому переводу книги Лихтенберже „Философія Ничше" справедливо замѣчаетъ, что Ничше ни отъ кого такъ не открещивался, какъ отъ „сопредѣльныхъ" съ нимъ, такъ сказать, „имморалистовъ"; хотя, надо правду сказать, Ничше не мало и самъ подалъ поводовъ для безобразныхъ выводовъ и толкованій его идей. „Ничше со своимъ „молотомъ"—говоритъ г. Невѣдомскій - очень часто высказывался въ томъ смыслѣ, что распутная сила негодяя привлекательнѣе и выше сократовской посредственности. Именно этотъ эксцессъ пришелся по

вкусу нѣкоторымъ нашимъ „ничшеанцамъ“ или вообще „новымъ людямъ“: у г-жи Гиппіусъ одна героиня, чтобы сдѣлать что-нибудь „сильное“, несетъ грудного ребенка по лѣстницѣ и вдругъ—хлопсъ! кидаетъ его о каменныя ступени“.

Это, конечно, не чрезвычайно умно, но г-жа Гиппіусъ сыграла въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, только роль enfant terrible. Любопытно, что приведенныя слова г. Невѣдомскаго помѣщены въ подстрочномъ примѣчаніи къ слѣдующему мѣсту текста: „Можно не присоединяться къ эксцессамъ Ничше; можно не отдавать, напримѣръ, предпочтенія распутной силѣ какого-нибудь Цезаря Борджіа передъ благонамѣренной, но слабосильной посредственностью „Сократовскаго“ типа (Хотя, оставляя въ сторонѣ личныя симпатіи и моральную оцѣнку,—еще большой вопросъ: кто изъ этихъ двухъ типовъ фактически вреднѣе для жизни? Для насъ это даже не вопросъ: мы присоединяемся къ рѣшенію Ничше)“.—Обратите вниманіе, сколько недоразумѣній въ этихъ нѣсколькихъ строкахъ. Во-первыхъ, сужденіе Ничше о „распутной силѣ“ Цезаря Борджіа есть „эксцессъ“, иначе говоря, Ничше въ этомъ случаѣ, по мнѣнію г. Невѣдомскаго, хватилъ черезъ край,—и, однако, г. Невѣдомскій присоединяется къ рѣшенію Ничше. Во-вторыхъ, Ничше очень отрицательно относится къ Сократу, но та огромная роль, которую онъ отводитъ ему въ исторіи, никоимъ образомъ не вяжется съ слабосильною посредственностью: Сократъ, говоря словами Ничше, наложилъ отпечатокъ своей руки на цѣлые вѣка,—и это, казалось бы, можетъ до извѣстной степени оградить его отъ великолѣпнаго презрѣнія г. Невѣдомскаго. А то—такой маленькій Сократъ и такой большой г. Невѣдомскій,—это даже не смѣшно. Въ-третьихъ, г. Невѣдомскій отдѣляетъ „моральную оцѣнку“ отъ оцѣнки съ точки зрѣнія „вреда для жизни“, тогда какъ для Ничше эти двѣ точки зрѣнія совпадали. Но для насъ здѣсь особенно интересно первое недоразумѣніе, въ связи съ критическимъ замѣчаніемъ г. Невѣдомскаго о какомъ-то беллетристическомъ произведеніи г-жи Гиппіусъ: „эксцессъ“ Ничше насчетъ „распутной силы“ „пришелся по вкусу нѣкоторымъ нашимъ „ничшеанцамъ“ или вообще „новымъ людямъ“, и г. Невѣдомскій этого не одобряетъ, но тотъ же самый эксцессъ и ему самому приходится по вкусу...

Съ легкой руки Ничше, слова „сила“, „сильный“ и проч. производятъ на современниковъ одурманивающее впечатлѣніе, и подъ вліяніемъ этого дурмана теряютъ значеніе тѣ разнообразныя опре-

дѣленія, дополненія, обстоятельства мѣста, времени и образа дѣйствія, которыхъ эти слова требуютъ и безъ которыхъ они, сами по себѣ, не заслуживаютъ ни плюса, ни минуса. Желая устроиться „по ту сторону добра и зла", эти одурманенные люди въ дѣйствительности просто замѣняютъ добро силой и зло слабостью. Пусть это— переоцѣнка моральныхъ цѣнностей, но во всякомъ случаѣ не переправа на ту сторону добра и зла. А какъ терминологія, эта замѣна ведетъ только къ вящшей путаницѣ.

Въ разсказѣ г. Горькаго (котораго г. Невѣдомскій называетъ „самородкомъ ничшеанцемъ") „Ошибка" нѣкто Ярославцевъ, находящійся наканунѣ психическаго разстройства, приходитъ къ той мысли, что „жалость и жестокость — два совершенно однородныхъ слова, синонимы по смыслу". Въ подтвержденіе онъ припоминаетъ слѣдующую когда-то видѣнную имъ сцену. Телка упала въ оврагъ и сломала себѣ переднія ноги. Народъ сбѣжался и съ любопытствомъ смотрѣлъ на мученія бѣднаго животнаго и слушалъ его стоны. Но вотъ появляется кузнецъ Матвѣй съ тяжелой полосой желѣза въ рукахъ. Обругавъ любопытствующихъ зрителей, онъ ударилъ телку своей желѣзиной по головѣ и тѣмъ разомъ положилъ конецъ ея мученіямъ, а затѣмъ спокойно ушелъ. Ярославецъ размышляетъ: „Вотъ онъ какъ жалѣлъ, этотъ Матвѣй! Можетъ быть, онъ такъ же бы поступилъ и съ человѣкомъ, безнадежно больнымъ. Морально это или не морально? *Во всякомъ случаѣ, это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо*" *).

Случай, вспомнившійся Ярославцеву, не представляетъ собою

*) Слѣдуетъ замѣтить, что послѣднихъ, подчеркнутыхъ мною словъ нѣтъ въ новомъ (1903 г.) изданіи разсказовъ г. Горькаго. И это, повидимому, далеко не единственныя строки, вычеркнутыя авторомъ. Я не имѣю ни времени, ни терпѣнія сравнивать все новое изданіе съ прежними, но нѣкоторые пропуски сами бросились мнѣ въ глаза. Такъ, въ разсказѣ „Коноваловъ" авторъ уничтожилъ слѣдующее разсужденіе: „Каждый человѣкъ, боровшійся съ жизнью, побѣжденный ею и страдающій въ безжалостномъ плѣну ея грязи, болѣе философъ, чѣмъ Шопенгауеръ, потому что отвлеченная мысль никогда не выльется въ такую точную и образную форму, въ какую выльется мысль, непосредственно выдавленная изъ человѣка страданіемъ". Подобныя выкидки свидѣтельствуютъ, мнѣ кажется, о совершающемся въ г. Горькомъ переломѣ. Устраненіе уравненія: „сильно = морально и хорошо" — особенно тѣмъ интересно, что вѣдь это говоритъ человѣкъ наканунѣ сумасшествія, которому, слѣдовательно, можно бы было предоставить свободу говорить разныя несообразности. Очевидно, уравненіе представляло хотя отчасти собственную мысль автора, отъ которой онъ нынѣ отказался.

чего-нибудь рѣзко исключительнаго. Лошадей, поврежденныхъ на скачкахъ, собакъ, пораненныхъ нечаянно на охотѣ, для прекращенія мученій, обыкновенно пристрѣливаютъ, а ветеринарамъ поступокъ кузнеца Матвѣя даже слишкомъ понятенъ. Обобщать эти случаи въ уравненіе: жалость = жестокость значитъ совершать чисто словесный фокусъ, ибо обобщеніемъ этимъ устраняется множество случаевъ безжалостной жестокости и безпримѣсной жалости. Далѣе, какъ бы ни поступилъ кузнецъ Матвѣй съ безнадежно больнымъ человѣкомъ, но если бы онъ по злобѣ, корысти или просто ни съ того, ни сего, хватилъ своей желѣзиной, ну хоть автора „Ошибки", передъ которымъ цѣлая цвѣтущая будущность, то это было бы также сильно, но едва ли кто-нибудь назвалъ бы этотъ поступокъ „моральнымъ"...

У г. Горькаго есть страшная страничка съ натуры, озаглавленная „Выводъ": мужикъ наказываетъ жену за измѣну, наказываетъ безжалостно, всенародно и ко всеобщему удовольствію публики, ибо таковъ мѣстный (въ Херсонской губ.) обычай. Истязающій жену мужикъ опирается на двоякую силу: свою физическую силу и силу общественнаго мнѣнія, съ точки зрѣнія котораго такая расправа морально правильна, но авторъ разсказываетъ о ней съ негодованіемъ: съ его точки зрѣнія это сильно, но не морально. Есть у г. Горькаго еще страшный разсказъ „Васька Красный". Герой разсказа— служитель въ публичномъ домѣ и палачъ провинившихся въ чемъ-нибудь его обитательницъ. Въ рукахъ этого звѣря сила физическая, сила, такъ сказать, административная, врученная ему хозяйкой публичнаго дома, и, наконецъ, таинственная сила престижа, такъ какъ дѣвицы трепещутъ при одномъ его имени. И пользуется же этой тройной силой Васька Красный! Но есть маленькая разница между его поведеніемъ и поступкомъ кузнеца Матвѣя: одинъ мучаетъ, другой прекращаетъ мученія...

Казалось бы, это такъ элементарно просто, что даже говорить неловко. Но такова сила дурмана словъ...

„Хорошо только то, что сильно,—говоритъ и г. Невѣдомскій,— сильнымъ же можетъ быть лишь то, что самопроизвольно, свободно, что является результатомъ свободной дѣятельности *инстинктовъ* и потребностей". Покойный Гуковскій въ книгѣ „Новыя вѣянія и настроенія", о которой я недавно бесѣдовалъ съ читателемъ, писалъ: „Сила здороваго человѣка въ его любви къ жизни, въ его *инстинктивномъ* стремленіи къ счастію, къ свободѣ. Такой человѣкъ всегда

смѣетъ, всегда имѣетъ силу поступать такъ, какъ ему хочется, сообразно своимъ *инстинктамъ* и стремленіямъ. Мы должны возвратиться назадъ, къ природѣ, къ *инстинктамъ*, стать естественными, болѣе твердыми и жестокими".

Такія рѣчи вы можете нынѣ услышать очень часто, равно какъ и слѣдующія: г. Невѣдомскій негодуетъ на „современную (до Ничше) мораль за то, что во главѣ угла она всегда ставила и ставитъ не начало свободы и права, чести и достоинства личности, а начало обязанности, долга и совѣсти". Или Гуковскій: „Современный (уже Ничшевскій) человѣкъ стремится къ свободѣ, и поэтому онъ не хочетъ знать такихъ словъ, какъ долгъ, обязанности, жертва, слова эти кажутся ему ненужными, устарѣвшими, и онъ хочетъ освободиться отъ нихъ. Словъ этихъ не можетъ признавать свободный человѣкъ, такъ какъ служеніе долгу несовмѣстимо съ свободой, уничтожаетъ послѣднюю. Утрачивая, однако, вѣру въ значеніе этихъ словъ, мы этимъ самымъ устраняемъ и прописную мораль съ ея шаблоннымъ различіемъ между добромъ и зломъ, между хорошимъ и дурнымъ... Каждый настоящій человѣкъ идетъ свободно и гордо своей дорогой, не зная внутренней борьбы, никому, ни во имя чего не принося жертвъ, не зная долга и обязанностей"...

Прежде, чѣмъ идти дальше, позволю себѣ сдѣлать слѣдующее замѣчаніе. Что между людьми, именующими себя послѣдователями Ничше, есть настоящіе негодяи, это несомнѣнно; но въ большинствѣ, и въ особенности среди русскихъ ничшеанцевъ, это чистые словесники. Въ какой мѣрѣ отвѣтственъ за эту словесность самъ Ничше, — этого вопроса я лишь отчасти коснусь ниже; во всякомъ случаѣ, большинство нашихъ ничшеанцевъ, я увѣренъ, никакому обвиненію въ „имморализмѣ" на дѣлѣ не подлежатъ. Ихъ словесность есть словесность, и только. Это своего рода лицемѣріе на выворотъ. Эти неистовые враги „добра", отрицающіе совѣсть, проповѣдующіе „священную жестокость" и проч., и проч., суть овцы, одѣтыя въ модную волчью шкуру. И если кое-кто изъ нихъ, можетъ быть, и обдѣлываетъ свои маленькія дѣлишки, опираясь и ссылаясь на *новые* принципы, то дѣлалъ бы то же самое и приспособляясь къ изгибамъ ходячей морали.

Выше, въ началѣ статьи было сказано, что моментъ пробужденія личнаго мѣстоименія перваго лица есть моментъ сознанія своего личнаго достоинства и личной отвѣтственности передъ этимъ до-

стоинствомъ. Современники, какъ видитъ читатель, высоко ставя достоинство своего *я*, не желаютъ обременять его отвѣтственностью, ибо долгъ, совѣсть, обязанность—все вѣдь это формы отвѣтственности. Вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ какъ разумъ имъ „не по нраву", они (напоминаю, въ теоріи, словесно) отдаются на волю своихъ инстинктовъ и настроеній, что, конечно, очень удобно. Отсюда празднованіе именинъ сердца по случаю открытія личнаго мѣстоименія перваго лица единственнаго числа: открыта, собственно, безотвѣтственность инстинктовъ каждаго *я*, вслѣдствіе чего оно и кажется столь нарядным и единственнымъ „въ цѣломъ Божьемъ созданьи"... Передъ кѣмъ или передъ чѣмъ можетъ быть отвѣтственъ единственный въ мірѣ человѣкъ?

Г. Невѣдомскій (все въ томъ же предисловіи къ книгѣ Лихтенберже) очень недоволенъ слѣдующими моими словами: „Нравственность безспорно начинается съ того момента, когда человѣкъ надѣваетъ на свое *я* какую бы то ни было узду, когда онъ соглашается поступиться чѣмъ-нибудь изъ своихъ желаній во имя чего-нибудь, признаваемаго имъ высшимъ, святымъ, неприкосновеннымъ: до этого момента мы имѣемъ только нравы". („Литературныя воспоминанія и современная смута", II, 390).

Поставивъ меня рядомъ съ Кантомъ, а мою „узду" съ его категорическимъ императивомъ (и присоединивъ затѣмъ, какъ сейчасъ увидимъ, еще Сократа, — компанія вообще недурная), г. Невѣдомскій предается разнымъ сарказмамъ на тему объ „уздѣ", „тугой уздѣ", „недоуздкѣ" и проч. Слѣдить за всѣми этими его игривостями я не буду, но кое-что изъ нихъ привести надо. Между прочимъ, г. Невѣдомскій говоритъ: „Ничше про обоихъ (т. е. про Канта и меня) сказалъ бы, что они аскеты, можетъ быть, пустилъ бы въ обоихъ „декадентомъ" и напомнилъ бы, что онъ не одинъ разъ предупреждалъ насъ, что и священникъ, и философъ-моралистъ, и демократъ, (хотя бы послѣдній былъ авторомъ „Борьбы за индивидуальность")—что все это одно и то же, жизненные „синонимы". И развѣ онъ былъ бы ужъ такъ совершенно неправъ? Почему бы въ самомъ дѣлѣ Н. К. Михайловскому не сказать такъ: „нравственность начинается тамъ, гдѣ начинаются безкорыстныя, альтруистическія побужденія" (ужъ если обязателенъ альтруизмъ)?"

Почему бы мнѣ не сказать такъ, какъ подсказываетъ г. Невѣдомскій? Да просто потому, что я такъ не думаю. Я имѣлъ въ

виду общую формулу нравственности, а потому и говорилъ о *какой бы то ни было* уздѣ, о *какомъ-нибудь* желаніи, о *чемъ-нибудь* признаваемомъ высшимъ и святымъ. Въ эти общія и съ виду неопредѣленныя рамки могутъ входить и альтруистическія побужденія, но эти же рамки вмѣщаютъ въ себѣ и діаметрально-противоположное содержаніе, въ томъ числѣ и мораль Ничше.

Хотя Ничше и утверждалъ, что современное человѣчество черезчуръ сердобольно относится къ слабымъ и неудачникамъ, къ которымъ, дескать, слѣдуетъ, наоборотъ, относиться съ „священною жестокостью", но вѣдь это, по малой мѣрѣ, не совсѣмъ вѣрно. На нашихъ глазахъ англичане отнюдь не сердобольно расправились съ слабыми и неудачливыми бурами, равно какъ европейцы съ китайцами, да и тѣ, въ свою очередь, когда могли, охулки на руки не клали. А въ современной частной жизни съ ея бѣшеной конкурренціей и съ ея общимъ укладомъ, въ которомъ на каждомъ шагу „сила солому ломитъ", такихъ примѣровъ не оберешься. Вообще на недостатокъ жестокости въ современномъ обществѣ жаловаться трудно. И если г. Невѣдомскій не испыталъ на себѣ жестокости какой-нибудь „силы" и самъ лично, вольно или невольно, не причастенъ къ таковой, то его можно поздравить, какъ довольно рѣдкое исключеніе. Таковы современные нравы, отнюдь не согласующіеся съ современною, такъ сказать, оффиціально признанною нравственностью. Эта нравственность можетъ восторжествовать надъ нравами лишь подъ условіемъ „узды" для современныхъ аппетитовъ (кто и во имя чего можетъ наложить узду, — это вопросъ особый, котораго мы коснемся ниже). Но и мораль Ничше—ибо она у него есть, и онъ лишь по недоразумѣнію называетъ себя имморалистомъ— несетъ съ собою узду. И съ общей принципіальной точки зрѣнія разница между его моралью и моралью „современною" совсѣмъ не такъ рѣзка, какъ это кажется г. Невѣдомскому, когда онъ говоритъ: „Тутъ надо выбирать: либо „разсчетливый" Сократъ съ уродливымъ тѣломъ, искусно задрапированнымъ въ складки бѣлаго хитона, и съ „уздой" Н. К. Михайловскаго въ рукѣ; либо не только уздой, но и одеждой тяготящійся, божественно нагой, божественно свободный „расточитель" Діонисъ".

Какъ поэтическое произведеніе, эта группа символовъ, можетъ быть, и превосходна (сомнѣваюсь, впрочемъ), но за то въ другихъ отношеніяхъ она, надо правду сказать, никуда не годится. Діонисъ былъ богъ и потому, какъ выражается одинъ изъ мужиковъ въ

„Плодахъ просвѣщенія“, ему „клейматъ позволялъ“ ходить нагишомъ; а изъ нашихъ смертныхъ современниковъ даже Ѳедоръ Карамазовъ, не смотря на все свое безстыдство, просилъ не подстрекать его показываться „въ натуральномъ видѣ“. И, во всякомъ случаѣ, выбирать надо не между уздой и божественной наготой, а между той или другой уздой.

Діонисъ есть „богъ инстинкта“, по опредѣленію г. Невѣдомскаго, а Ничше служитель этого бога инстинкта. И г. Невѣдомскій, вдохновляемый имъ, требуетъ свободы всѣхъ инстинктовъ и превознесенія ихъ надъ идеей долга, во имя котораго будто бы вся современная мораль отрицаетъ инстинкты и подлинныя человѣческія чувства, надѣваетъ на нихъ „узду“ или, по малой мѣрѣ, „недоуздокъ“.

Припомнимъ же нѣкоторыя изъ изреченій Ничше.

„Все человѣчество *должно* неустанно работать надъ тѣмъ, чтобы воспитать нѣсколько великихъ личностей, это его задача и другой задачи у него нѣтъ“. — „Горести влачащихъ тяжелое существованіе тружениковъ *должны* еще возрасти, чтобы дать возможность небольшому числу людей-олимпійцевъ создать прекрасный міръ искусства“.—„Мы можемъ сравнить торжествующую культуру съ побѣдителемъ во время тріумфальнаго шествія, который, весь въ крови своихъ жертвъ, тащитъ въ рабство за своей колесницей толпу привязанныхъ къ ней побѣжденныхъ“.—„Слабые и неудачники *должны* погибнуть,— это первое положеніе нашей любви къ человѣку, и *надо* еще помогать ихъ гибели“. — „Умѣть страдать — это еще немного: въ этомъ искусствѣ доходятъ подчасъ до настоящаго мастерства слабыя женщины и даже рабы. Но не гибнуть отъ глубокой тоски и неувѣренности въ себѣ въ то время, когда причиняешь великую боль и слышишь крики этой боли, — вотъ великое, вотъ область великаго“.

Читатель, даже только по наслышкѣ знакомый съ писаніями Ничше, знаетъ, что я еще долго могъ бы приводить изъ нихъ цитаты этого рода. Но для моей ближайшей цѣли достаточно и этого, и я приведу еще только одинъ изъ комментаріевъ г. Невѣдомскаго: „Сверхъ-человѣкъ, по ученію Заратустры, *долженъ* воспитать въ себѣ настолько „надежную и долгую“ волю, чтобы умѣть весело смѣяться и отдаваться беззаботной радости ребенка наперекоръ обстоятельствамъ, даже наперекоръ судьбѣ“.

Я не касаюсь здѣсь вопроса о томъ, вѣрны или невѣрны при-

веденные взгляды Ничше. Я только утверждаю, что всѣ эти „долженъ“, „должно“, „надо“, „должны“ налагаютъ на человѣка „узду“, при томъ очень „тугую“. Г. Невѣдомскому не нравится это слово, и я предоставляю ему выбрать другое, лишь бы это было только слово, не измѣняющее мысли. Прежде всего ясно, что Ничше хочетъ въ сильныхъ людяхъ или „господахъ“, какъ онъ ихъ называетъ, обуздать, подавить чувство состраданія или жалости къ слабымъ и неудачникамъ, къ „влачащимъ тяжелое существованіе труженикамъ“, къ тѣмъ, кому „причиняется великая боль“. И Ничше разсказалъ намъ, чего стоило Заратустрѣ обуздать свое чувство состраданія (эпизодъ съ „самымъ уродливымъ изъ людей“). Затѣмъ, по Ничше, сильный человѣкъ долженъ обуздать, подавить въ себѣ весь тотъ комплексъ инстинктовъ и чувствъ, который мѣшаетъ людямъ „весело смѣяться и отдаваться беззаботной радости ребенка наперекоръ обстоятельствамъ и даже судьбѣ“. Это предписанія для сильныхъ, господъ, ну, а о слабыхъ или „рабахъ“ и говорить нечего. Всѣ эти „влачащіе тяжелое существованіе труженики“ должны обуздать въ себѣ чувства зависти, мести, скорби, негодованія, пожалуй, даже ощущенія голода и холода, дабы на ихъ счетъ росла и цвѣла горсть „людей-олимпійцевъ“. Пусть все это дѣйствительно такъ и должно быть, но вѣдь это всетаки *долгъ*, „узда“. Наконецъ, самъ г. Невѣдомскій цитируетъ слѣдующее мѣсто изъ „Götzendämmerung“: „Всякая натуралистическая мораль, т. е. всякая здоровая мораль служитъ жизненному инстинкту: каждое велѣніе жизни исполняется ею въ видѣ созданія соотвѣтствующаго правила (канона) о „должномъ“ и „недолжномъ“, а всякое препятствіе и все враждебное жизни отстраняется при этомъ съ пути жизни. Наоборотъ, противоестественная мораль, т. е. почти вся мораль, какая до сихъ поръ преподавалась, почиталась и проповѣдывалась, идетъ наперекоръ жизненнымъ инстинктамъ,—она, то въ скрытомъ видѣ, то открыто и дерзко, произноситъ осужденіе инстинкту“.

Такимъ образомъ, и „натуралистическая“ мораль которой держится Ничше, и „противоестественная“, которую онъ отрицаетъ,— обѣ имѣютъ свои „каноны“, свои „должно“ и „не должно“. „Противоестественная“ мораль стремится наложить узду на „жизненные инстинкты“, и это сочетаніе словъ Ничше часто замѣняетъ однимъ словомъ „инстинкты“. Въ дѣйствительности же, онъ знаетъ и нежизненные и подлежащіе съ его точки зрѣнія обузданію инстинкты. Таковы именно „рабскіе“ или „стадные“ инстинкты (къ числу ихъ

онъ относитъ, между прочимъ, и состраданіе), противъ которыхъ онъ постоянно мечетъ громы и молніи.

Здѣсь кстати будетъ припомнить одинъ разсказъ Геродота. Однажды скифы на долго задержались въ далекомъ военномъ походѣ. Оставшіеся дома рабы ихъ воспользовались ихъ отсутствіемъ, захватили въ свои руки власть, поженились на скифскихъ женахъ, народили дѣтей, которые выросли уже свободными людьми, и когда скифы вернулись, эта молодежь не хотѣла имъ повиноваться. Скифы стали хлопать бичами,—обычнымъ орудіемъ наказанія рабовъ, и этого было достаточно, чтобы рабскіе инстинкты проснулись въ дѣтяхъ рабовъ... Какъ бы ни было велико наше довѣріе къ природѣ человѣка и къ его природнымъ инстинктамъ, слѣдуетъ помнить, что „натуральнаго" человѣка нигдѣ нѣтъ, ибо общественныя отношенія наложили на него свои разнообразныя печати и привили ему соотвѣтственные инстинкты очень различной цѣнности.

Достойно вниманія, что, воздавъ хвалу „любимому противоположенію Ничше природы—человѣку, Діониса—Сократу", г. Невѣдомскій замѣчаетъ: „Но, конечно, строгой философской оцѣнки это противоположеніе не выдерживаетъ: гдѣ кончается „природа" и инстинктъ и гдѣ начинается „искусственно приспособленный къ обществу" человѣкъ? Куда, напримѣръ, въ какую изъ противоположныхъ категорій отнести перешедшіе уже на степень инстинктовъ соціальные навыки? - все это вопросы не легко разрѣшимые". Ну, а трудно разрѣшимые вопросы г. Невѣдомскій предпочитаетъ оставлять нерѣшенными. И пока онъ занимаетъ эту небезвыгодную позицію, я могу повторить свою формулу нравственности: она начинается тамъ, гдѣ человѣкъ надѣваетъ на себя какую бы то ни было узду, соглашается поступаться чѣмъ-нибудь изъ своихъ желаній во имя чего-нибудь высшаго, святого; до этого момента мы имѣемъ только нравы. А кончится нравственность въ томъ идеальномъ, пожалуй, божественномъ мірѣ мечты, гдѣ человѣку не придется отказываться ни отъ одного изъ своихъ желаній, и гдѣ поэтому Діонисъ можетъ ходить нагишомъ...

Но кто и во имя чего можетъ наложить узду нравственности? Для отвѣта на этотъ вопросъ мы должны сдѣлать большое отступленіе.

Въ прибавленіи ко второму тому знаменитыхъ „Soirées de Saint-Pétersbourg", озаглавленномъ „Eclaircissement sur les sacrifices",

Жозефъ де-Местръ съ негодованіемъ возстаетъ противъ извѣстнаго изреченія: primus in orbe deos fecit timor. Не страхъ,—говоритъ онъ,—а, напротивъ, радость бытія породила религію и составляетъ основу ея. Тѣмъ не менѣе,—продолжаетъ онъ со свойственнымъ ему капризнымъ произволомъ мысли, — люди всегда были увѣрены въ той „страшной истинѣ, что они живутъ подъ рукой нѣкоторой гнѣвной силы, которая можетъ быть умилостивлена только жертвами". Согласно вѣрованіямъ, проходящимъ красною нитью черезъ всю исторію человѣчества отъ первобытной древности до нашихъ дней, боги добры, и за все благое, что мы имѣемъ въ жизни, мы должны бытъ имъ благодарны, но боги вмѣстѣ съ тѣмъ справедливы, а люди виновны, грѣшны, и должны умилостивлять боговъ и искупать свои вины. Грѣхъ коренится въ самой природѣ человѣка, именно „въ *чувственномъ началѣ* (le principe sensible), въ *жизни*, наконецъ, въ *душѣ* (l'âme), которую древніе такъ тщательно отличали отъ *духа* (l'esprit), или разума (l'intelligence)". Древніе не могли себѣ представить какую-нибудь прямую связь между духомъ и тѣломъ, такъ что душа была для нихъ нѣкоторою посредствующею силою, въ которой коренится духъ, какъ сама она коренится въ тѣлѣ. Подборомъ цитатъ изъ Иліады и Одиссеи Местръ доказываетъ, что въ случаяхъ твердыхъ рѣшеній боги и герои Греціи постановляютъ эти рѣшенія въ „разумѣ" своемъ, тогда какъ въ иныхъ случаяхъ боги и герои колеблются, и затѣмъ происходитъ уже совмѣстное рѣшеніе „души и разума". Въ первомъ случаѣ они „едины", во второмъ—какъ бы раздвоены. Что хотятъ сказать словами: такой-то побѣдилъ, переселилъ себя? Это значитъ, что человѣкъ можетъ быть и сильнѣе, и слабѣе самого себя, другими словами: въ немъ заключены какъ бы два существа. „Если бы человѣкъ былъ единъ,—говорилъ Гиппократъ,—онъ никогда бы не болѣлъ, потому что нельзя найти причину болѣзни въ единомъ". Двойственность человѣка такъ очевидна, что, какъ замѣчаетъ Паскаль, нѣкоторые предполагали существованіе въ человѣкѣ духъ душъ, ибо не могли себѣ представить, чтобы единое существо было способно къ такимъ единовременнымъ противорѣчіямъ, какія мы наблюдаемъ въ человѣкѣ. Въ немъ происходитъ постоянная борьба между двумя различными, болѣе или менѣе самостоятельными началами. Местръ называетъ ихъ то „двумя душами", то „тѣломъ и духомъ", то „разумомъ и страстями", то „тѣло" замѣняется у него „органами животныхъ функцій", или „жизнью", или, наконецъ, „кровью". Какъ бы то ни было, для него

этою именно двойственностью природы человѣка объясняется постоянно наблюдаемая нами внутренняя борьба побужденій въ человѣческой жизни; благодаря ей, человѣкъ можетъ одновременно тяготѣть къ добру и злу, любить и ненавидѣть одинъ и тотъ же предметъ, одновременно испытывать страданіе и наслажденіе, заразъ хотѣть и не хотѣть чего-нибудь, и т. д. Древніе египтяне, передъ бальзамированіемъ трупа, вынувъ изъ него внутренности („органы животныхъ функцій") и обмывъ ихъ пальмовымъ виномъ, помѣщали ихъ въ особый ящикъ, надъ которымъ произносили слѣдующую молитву: „Солнце, верховный владыка, даровавшій мнѣ жизнь! благоволи принять меня къ себѣ. Я неизмѣнно слѣдовалъ культу моихъ отцовъ; я всегда почиталъ родителей, никого не убивалъ. Если же я совершилъ другіе грѣхи, то не самъ собою, а вотъ *этими вещами*". И вслѣдъ затѣмъ „эти вещи", то есть внутренности, бросались въ воду. Но останавливаться на „этихъ вещахъ", какъ на причинѣ грѣховъ, вовсе не въ видахъ Местра; ихъ, равно какъ и тѣло, душу, страсти, ему нужно замѣнить чѣмъ то другимъ, и онъ неожиданно заключаетъ: „Такъ какъ человѣкъ грѣшенъ своимъ *чувственнымъ началомъ, своимъ тѣломъ, своею жизнью*, то проклятіе падало на кровь, ибо кровь была началомъ жизни или, вѣрнѣе, кровь была жизнь". Этотъ неожиданный скачокъ въ сторону подтверждается нѣсколькими текстами Ветхаго Завѣта и ссылкой на слова одного анатома конца XVIII столѣтія. А затѣмъ все идетъ уже, какъ по маслу, въ желательномъ для автора направленіи. Оказывается, что именно кровью, и только кровью, какъ принципомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ символомъ грѣха, искупается грѣхъ, при чемъ невинная кровь можетъ быть пролита за виновную. „Такъ люди всегда вѣрили и будутъ вѣрить",—рѣшительно объявляетъ Местръ. Отсюда кровавыя жертвоприношенія, изъ которыхъ особенно выразительнымъ автору представляется одинъ изъ обрядовъ культа Митры: кающійся грѣшникъ помѣщался въ ямѣ, накрытой продыравленными досками; на этотъ дырявый помостъ вводилось жертвенное животное и убивалось; кровь безчисленными каплями стекала на кающагося и давала ему очищеніе отъ грѣха.

Но религіозное рвеніе древнихъ требовало не только животныхъ жертвъ, а и человѣческихъ. Это „ужасное суевѣріе" естественно родилось изъ той же „врожденной человѣку" (Местръ на этомъ настаиваетъ) идеи возможности замѣны одной крови другою и, не смотря на всѣ протесты разума и сердца, получило „къ стыду

человѣчества" всеобщее распространеніе. Люди руководились при этомъ, повидимому, двумя соображеніями. Во первыхъ, принося въ жертву человѣка въ особенно трудные для цѣлаго общества моменты, напримѣръ, передъ отправленіемъ на войну или въ осажденномъ непріятелемъ городѣ и т. п., думали, что въ сравненіи съ важностью цѣли и человѣческая жертва не будетъ чрезмѣрною. Во-вторыхъ, подъ рукой были люди, уже осужденные на смерть политическимъ закономъ или обычаемъ, — преступники, плѣнные иноплеменники. Почему же не принести ихъ въ жертву богамъ, которымъ кровавыя жертвоприношенія всегда пріятны? Это, какъ уже сказано, есть „ужасное суевѣріе" и „стыдъ человѣчества". Но, апологетъ войны и палача, Местръ видитъ въ этомъ суевѣріи и позорѣ долю и какъ бы предчувствіе правды, осуществившейся искупительнымъ пролитіемъ святой крови на Голгофѣ, послѣ котораго стали уже совершенно безсмысленными и безусловно преступными человѣческія жертвоприношенія.

Кромѣ свойственныхъ Местру логическихъ скачковъ и кроваваго идеализма, къ этому его разсужденію можно подойти съ разныхъ сторонъ, между прочимъ, и съ фактической. Въ этомъ отношеніи прежде всего поражаетъ отсутствіе и намека на существованіе у разныхъ народовъ безкровныхъ жертвъ, какъ умилостивительныхъ, искупительныхъ, такъ и благодарственныхъ. Мы знаемъ, что многіе древніе народы, какъ и многіе современные дикари или полудикари, приносили и приносятъ въ жертву богамъ плоды, цвѣты, благовонія, вино, масло, табакъ, драгоцѣнные камни, разныя символическія изображенія. Знаемъ далѣе, что и человѣкъ приносился часто въ жертву безъ кровопролитія: жертвы бросались въ воду, зарывались живьемъ въ землю, подвергались удушенію, замуровывались въ каменныя стѣны, сожигались. Вообще, хотя кровь и жизнь дѣйствительно часто отождествляютъ въ первобытномъ мірѣ, но собственно въ жертвоприношеніяхъ кровь отнюдь не играетъ такой исключительной роли, какую ей приписываетъ Местръ.

Жертвоприношеніе всегда представляетъ собою одну сторону обмѣна между людьми и богами; и человѣкообразные боги, которымъ приносятся жертвы, естественно требуютъ того, что нравится самимъ людямъ,—начиная съ элементарныхъ чувственныхъ удовольствій и кончая сложными духовными наслажденіями, какія даются выраженіями любви, преданности, почтенія. Какъ и въ обыкновен-

ной мѣновой сдѣлкѣ, боги и люди торгуются или прямо даютъ настоящую цѣну, обманываютъ другъ друга или свято исполняютъ договоръ; а въ случаѣ нарушенія договора, человѣкъ подвергается гнѣву бога, который требуетъ, кромѣ назначеннаго эквивалента, новой жертвы—искупительной; но и, обратно, не воздавшій должное за жертву богъ терпитъ поруганіе отъ человѣка. Извѣстенъ разсказъ Гезіода о томъ, какъ Прометей обманулъ Зевеса и какъ тотъ разгнѣвался, открывъ обманъ: раздѣливъ убитаго и разрубленнаго быка на двѣ части, Прометей положилъ на одной сторонѣ лучшіе, наиболѣе вкусные куски, прикрывъ ихъ сверху плохими, а на другой сторонѣ расположилъ разные сорта наоборотъ, и предложилъ богу выбрать самому. Во всемъ этомъ эпизодѣ и помину нѣтъ собственно о крови, рѣчь идетъ, какъ сказали бы мы теперь, просто о говядинѣ перваго и второго сорта. Нѣтъ рѣчи о крови и въ разсказѣ Овидія о томъ, какъ Нума торговался съ Юпитеромъ, хотя здѣсь поминаются разные предметы: богъ требуетъ головы, Нума обѣщаетъ головку чесноку; богъ поясняетъ, что ему нужно нѣчто живое, Нума прибавляетъ къ обѣщанному рыбу; Юпитеръ говоритъ, что ему требуется нѣчто человѣческое, Нума прибавляетъ человѣческихъ волосъ.

Всегда сохраняя характеръ обмѣна, жертвоприношенія претерпѣваютъ, однако, въ этихъ предѣлахъ значительныя измѣненія какъ въ формѣ, такъ и въ содержаніи. Местръ имѣетъ преимущественно въ виду жертвоприношеніе въ искупленіе грѣха. По существу искупительная жертва ничѣмъ не отличается отъ другихъ жертвоприношеній. Точно также представляетъ она собою одну сторону мѣновой сдѣлки,—только на этотъ разъ люди и боги обмѣниваются не благами, а зломъ: за нарушеніе божескихъ велѣній или оскорбленіе божества человѣкъ платится тѣмъ или другимъ ущербомъ для себя; и точно такъ жертва отнюдь не исключительно и обязательно кровавая,—въ этомъ случаѣ наряду съ другими видами жертвъ получаетъ особенное развитіе жертва аскетическая, разнаго рода болѣе или менѣе тяжелыя лишенія, эпитемьи, самоистязанія.

Есть, однако, въ изложенной теоріи Местра одна сторона, независимо отъ его собственнаго толкованія, фактически вполнѣ достовѣрная.

Благодаря Тайлору, Спенсеру, Леббоку, Бастіану и др., мы имѣемъ огромную коллекцію фактовъ, иллюстрирующихъ возникновеніе понятія о душѣ у первобытныхъ людей. Сонъ, во время ко-

тораго человѣкъ какъ бы раздваивается: одинъ остается неподвиженъ, а другой гдѣ-то витаетъ, разговаривая и слушая разговоры, сражаясь съ врагами и убѣгая отъ нихъ, и т. д.; обмороки, летаргія, экстазы и другія болѣзненныя явленія, во время которыхъ наблюдается то же раздвоеніе: человѣкъ временно уходитъ куда-то „изъ себя"; тѣнь человѣка (какъ и другихъ предметовъ, живыхъ и мертвыхъ), неотступно преслѣдующая его и куда-то исчезающая на ночь, чтобы при первомъ солнечномъ лучѣ опять пристать къ своему двойнику; эхо, повторяющее гдѣ-то далеко каждый крикъ, оставаясь невидимымъ; отраженіе въ зеркальной поверхности воды и проч.,— все это въ совокупности достаточно объясняетъ первобытный дуализмъ души и тѣла, который затѣмъ получаетъ опору какъ въ религіозныхъ вѣрованіяхъ, такъ и въ самомъ общественномъ строѣ съ его раздѣленіемъ труда на физическій и умственный. Но этого мало. Сама душа, какъ справедливо указываетъ Местръ, для многихъ древнихъ народовъ представляетъ собою нѣчто множественное, по крайней мѣрѣ, двойственное. Местръ останавливается главнымъ образомъ на классическомъ мірѣ, лишь изрѣдка и мимоходомъ отмѣчая ту же идею у древнихъ египтянъ и индусовъ. Но у Тайлора мы найдемъ примѣры, взятые изъ гораздо болѣе широкой области. Такъ, туземцы острововъ Фиджи различаютъ „темную душу"— тѣнь человѣка и „свѣтлую" — его отраженіе въ водѣ или въ зеркалѣ, и судьба этихъ душъ послѣ смерти человѣка не одинакова. Малагазцы говорятъ, что saina или умъ человѣка исчезаетъ послѣ смерти безслѣдно, aina или жизнь превращается въ воздухъ, а matoatoa или духъ носится надъ могилой. У алгонкиновъ только одна душа отдѣляется во время сна для сновидѣній, а другая остается при тѣлѣ, и послѣ смерти онѣ опять-таки удаляются въ разныя стороны. Нѣкоторые народы раздѣляютъ душу на три, даже на четыре самостоятельныхъ начала. Одна изъ душъ представителя племени дакота послѣ смерти остается при тѣлѣ, другая—въ его домѣ или селеніи, третья отлетаетъ въ воздухъ, четвертая—въ страну духовъ. И т. д., и т. д. Эта идея множественности душъ отнюдь не составляетъ исключительной собственности современныхъ дикарей и древнихъ высоко цивилизованныхъ народовъ. Она знакома и европейскому средневѣковью, въ которомъ пользовалось авторитетомъ Аристотелево дѣленіе души на растительную, ощущающую и мыслящую. Современные мистики, опираясь въ особенности на явленія гипнотизма, предчувствій, вѣщихъ сновъ и т. п., стараются придать

научный обликъ дѣленію души на эмпирическую, имѣющую общеніе съ внѣшнимъ міромъ при посредствѣ органовъ чувствъ, нервовъ и мозга, и трансцендентальную, не нуждающуюся ни въ какомъ посредствѣ для общенія съ самою сущностью вещей, лежащею по ту сторону явленій. Знаменитая теософка Блавацкая представляла себѣ человѣка состоящимъ даже изъ семи самостоятельныхъ началъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, четыре должны быть поставлены на счетъ тому, что обыкновенно называется душой. Местръ приводитъ слова Паскаля о существующихъ въ душѣ человѣка единовременно противорѣчіяхъ, казалось бы, недопустимыхъ въ единомъ существѣ. Но у Паскаля можно найти и гораздо болѣе выразительныя мѣста въ этомъ родѣ „Междоусобная борьба разума со страстями,—говоритъ онъ, — стала причиной того, что тѣ, кто желалъ сохранить миръ, раздѣлились на двѣ школы. Одни рѣшили отречься отъ страстей и стать богами, другіе—отречься отъ разума и стать скотами Но ни тѣ, ни другіе не могли исполнить свое желаніе: разумъ вѣчно живетъ, обличая низость и несправедливость страстей и смущая покой тѣхъ, которые предаются имъ; страсти тоже постоянно живы, даже въ тѣхъ, кто хочетъ отречься отъ нихъ“ („Мысли о религіи“. Переводъ Первова). И мы понимаемъ, что хочетъ сказать этимъ привычнымъ намъ, образнымъ языкомъ Паскаль, какъ понимаемъ и „двѣ души“, живущія „въ груди“ Фауста, какъ понимаемъ и выраженіе поэта: „страсти могучи, воля слаба“, и проч. Каждый изъ насъ, по собственному опыту, знаетъ часто мучительный разладъ между различными способностями души.

Этими способностями духа мы привыкли считать разумъ, чувство, волю, придавая каждой изъ нихъ извѣстную самостоятельность, благодаря которой между ними и возможны различныя враждебныя столкновенія. Современная психологія, однако, отрицаетъ раздѣльное существованіе этихъ способностей.

Для Гефдинга („Очерки психологіи, основанной на опытѣ“, переводъ подъ редакціей Я. Колубовскаго, 3-е изданіе) „разладъ между различными частями или способностями душевной жизни опровергается безусловнымъ единствомъ сознательной жизни“. „Нельзя указать ни на одно состояніе, которое всецѣло было бы или чистымъ представленіемъ, или чувствованіемъ, или хотѣніемъ“. „Нѣтъ познанія безъ чувства, нѣтъ познанія безъ воли, нѣтъ чувства безъ познанія“. Это не какія-нибудь отдѣльныя, самостоятельныя способности, а лишь „психологическіе элементы“, — „различныя стороны

или свойства состояній сознанія или явленій его". Эта точка зрѣнія, плодотворная во многихъ отношеніяхъ, не устраняетъ, однако, возможности внутренняго разлада, и Гефдингъ признаетъ что „мы въ правѣ при психологическомъ изслѣдованіи брать за основаніе трехчастное дѣленіе". „Не бываетъ мышленія безъ всякаго чувства, чего такъ часто требовали спекулятивные философы", но борьба разума со страстями вполнѣ возможна, только подъ нею „слѣдуетъ подразумѣвать собственно борьбу между чувствами, связанными съ разумными разсужденіями, и чувствами посильнѣе, но связанными съ меньшимъ количествомъ элементовъ мысли и обозначаемыми словомъ страсть". И, начавъ съ *безусловнаго* единства духа (стр. 70), Гефдингъ кончаетъ заявленіемъ: „Мы должны допустить, что единство, синтезъ не представляетъ собою чего-нибудь абсолютнаго — оно всегда *относительно и неустойчиво* (114). Стоя на точкѣ зрѣнія безусловнаго единства, онъ указывалъ на низшія ступени развитія жизни (въ ребенкѣ), гдѣ различіе „психологическихъ элементовъ" выступаетъ не съ такою отчетливостью, какъ на высшихъ, что, дескать, объясняется общимъ закономъ эволюціи, въ силу котораго неопредѣленное и однородное предшествуетъ опредѣленному и разнородному. А становясь на точку зрѣнія единства относительнаго, онъ уже говоритъ, что относительность эта „обнаруживается, и далеко не въ незначительной степени, въ началѣ сознательной жизни, когда разсѣянныя и разрозненныя ощущенія и влеченія выступаютъ, повидимому, безъ внутренней связи и единства". „Нѣкоторые изслѣдователи, — продолжаетъ Гефдингъ,—даже высказывали мнѣніе, что единства сознанія не бываетъ съ самаго начала. Въ такомъ случаѣ, они думали, что душевная жизнь начинается съ разрозненныхъ и самостоятельныхъ ощущеній, которыя мало-по-малу объединяются и получаютъ связь (Vierordt, Physiologie des Kindesalters). Другіе приписываютъ маленькому ребенку нѣсколько разныхъ *я* (*я* большого мозга, *я* спинного мозга, кромѣ того, *я* для каждаго центра органовъ чувствъ), которыя сливаются будто бы впослѣдствіи (Preyer, Die Seele des Kindes)". Гефдингъ не допускаетъ такого слитія нѣсколькихъ *я* въ одно цѣлое, но находитъ всетаки, что „сильнѣе нельзя выразить спорадическій характеръ первичной сознательной жизни".

Но въ мысли Прейера есть нѣчто и кромѣ удачнаго выраженія факта несовершенности индивидуальнаго *я* ребенка. Признаніе разума, чувства и воли не отдѣльными какими-нибудь самостоятель-

ными способностями, а лишь психологическими элементами, всегда въ той или другой пропорціи сосуществующими и неотдѣлимыми, очень важно; однако, будемъ ли мы ихъ называть способностями или элементами, они и ихъ взаимныя отношенія,—фигурально выражаясь, — дружественныя или враждебныя, остаются предѣломъ, его же психологія не прейдеши. Но, какъ справедливо говоритъ Гефдингъ, „только временно психологія, направляемая интересомъ извращеннаго спиритуализма, пыталась отдѣлить свой предметъ отъ физіологіи“ и, прибавлю я, біологіи вообще, равно какъ и соціологіи, о чемъ, впрочемъ, и Гефдингъ упоминаетъ. Біологія же учитъ насъ, что каждый индивидуальный организмъ состоитъ изъ индивидуальностей низшаго порядка, сохраняющихъ извѣстную степень самостоятельности и, пожалуй, зачаточную форму сознанія. Но при этомъ организмъ тѣмъ выше, тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ болѣе ему, какъ цѣлому, подчинены его части. Въ свою очередь, индивидуальный организмъ можетъ входить въ составъ высшей, общественной индивидуальности или цѣлой системы таковыхъ, составляющихъ предметъ соціологіи. Не повторяя здѣсь многочисленныхъ фактовъ, на которыхъ основано это обобщеніе и которые читатель можетъ найти въ моихъ старыхъ статьяхъ, позволю себѣ напомнить такой мой общій выводъ въ примѣненіи къ человѣку.

Тяготѣя, въ силу закона развитія, все къ большей сложности и цѣльности, то есть къ количественному увеличенію и качественной подчиненности частей, всякая индивидуальность враждебно сталкивается съ входящими въ ея составъ, равно какъ и съ тѣми, въ составъ которыхъ она сама входитъ. Исторія жизни во всемъ ея разнообразіи, со всей ея красотой и безобразіемъ состоитъ изъ ряда возникающихъ отсюда побѣдъ и пораженій. Борьба ведется съ перемѣннымъ счастіемъ: одолѣваетъ то одна, то другая ступень индивидуальности. Но борьба не прекращается. Пораженная, разбитая сторона или какъ бы выжидаетъ благопріятныхъ обстоятельствъ для заявленія себя, или, наталкиваясь на неодолимую преграду для своего развитія, ищетъ, по крайней мѣрѣ, какого-нибудь обхода. Человѣкъ, какъ индивидъ, человѣческая личность представляетъ собою одну изъ ступеней индивидуальности (пятую, по классификаціи Геккеля). Въ составъ его входятъ индивидуальности четырехъ низшихъ порядковъ, а надъ нимъ высится индивидъ шестого порядка— общество (колонія), различныя формы котораго опять представляютъ собою систему обнимающихъ одна другую степеней индивидуально-

сти, между которыми опять идетъ своя борьба. Борьба за индивидуальность, возникающая для человѣческой личности изъ этого, отведеннаго ей природой положенія обязательна, очевидно, въ двухъ направленіяхъ. Во-первыхъ, личность должна безпощадно подчинять себѣ, какъ цѣлому, всѣ входящія въ ея составъ низшія индивидуальности; должна, слѣдуя старому девизу - divide et impera, строго проводить раздѣленіе труда между своими органами, требуя отъ нихъ напряженной спеціальной работы въ ея личности, интересахъ. Во-вторыхъ, личность должна противодѣйствовать тому, чтобы римскій девизъ „divide et impera" прилагался къ ней самой со стороны какой бы то ни было высшей индивидуальности, какими бы пышными именами она ни называлась. Этими двумя требованіями въ сущности исчерпывается антропологическая или—что тоже, какъ въ буквальномъ, такъ и въ условномъ смыслѣ слова — гуманная точка зрѣнія на міръ. Всякія другія точки зрѣнія будутъ лишь попытками стать либо выше, либо ниже той ступени индивидуальности, на которой человѣкъ стоитъ по самой природѣ своей, а слѣдовательно, не приличествуютъ человѣческой мысли.

Какъ видитъ читатель, въ общемъ это довольно близко къ Ничшевской теоріи автономной, себѣ лишь довлѣющей личности. Но здѣсь возникаетъ вопросъ: человѣкъ есть существо сложное, его единство или, говоря славянофильскимъ, не хорошимъ словомъ, цѣлокупность—относительна; разумъ, чувство и воля комбинированные въ разныхъ пропорціяхъ, могутъ тянуть его въ разныя стороны; и гдѣ же въ человѣческой личности тотъ центръ, тотъ верховный судья, который долженъ разрѣшать подобные конфликты? Ничше называетъ его то *я*, то ставитъ и надъ *я* господина, который называется *самъ*. По опредѣленію самого Ничше, этотъ „самъ" есть наше „тѣло" и его „великій разумъ", въ противоположность „малому разуму", который мы называемъ „умомъ". А, по объясненію г. Невѣдомскаго, „самъ" есть „все тотъ-же богъ Діонисъ, все тотъ-же богъ природы и инстинкта". Велико довѣріе Ничше къ природѣ и къ инстинктамъ, но, какъ мы видѣли, онъ допускалъ расцѣнку инстинктовъ сообразно тому, споспѣшествуютъ ли они „совокупности жизни" (Gesammtleben) или, напротивъ, урѣзываютъ ее. Наши же ничшеанцы поютъ гимны инстинктамъ вообще, и если, напримѣръ, г. Невѣдомскій останавливается на мысли о томъ, что инстинкты бываютъ разной цѣнности, то, за трудностью разрѣшенія этого вопроса, проходитъ мимо него. Вопросъ, дѣйстви-

тельно, не легкій, и затрудненіе встрѣчается уже при самомъ приступѣ къ нему. Въ самомъ дѣлѣ, разъ существуютъ инстинкты различной цѣнности, вся лирика Заратустры на тему о „тѣлѣ“ и его „великомъ разумѣ“ ни на шагъ не подвигаетъ насъ впередъ, и передъ нами стоитъ все тотъ же вопросъ, только въ новомъ костюмѣ: гдѣ въ человѣкѣ тотъ верховный судья, которому приличествуетъ произвести классификацію и расцѣнку инстинктовъ? Самъ по себѣ „инстинктивизмъ“, какъ немножко неуклюже выражается г. Невѣдомскій, помочь намъ тутъ не можетъ, такъ какъ въ инстинктахъ именно и предстоитъ разобраться. Если сказать, что работу эту уже сдѣлалъ за насъ Ничше, указавъ объективное мѣрило цѣнности инстинктовъ въ ихъ пользѣ или вредѣ для жизни, то, не говоря уже о трудности примѣненія этого общаго принципа къ отдѣльнымъ частнымъ случаямъ,—самъ же Ничше добылъ, обосновываетъ и защищаетъ его сознательно, а для практическаго проведенія его въ жизнь нужна воля, и обращаются, какъ Ничше, такъ и его критика и комментаторы, къ нашему сознанію и къ нашей волѣ; инстинктъ же есть нѣчто безсознательное и мимовольное.

Въ „Fröhliche Wissenschaft“ есть слѣдующій, приводимый и г. Невѣдомскимъ афоризмъ съ характернымъ заглавіемъ „Одно нужно“: „Придать стиль своему характеру — это великое и рѣдкое искусство!.. По окончаніи такой работы человѣкъ убѣждается, что его побуждалъ къ ней все тотъ же вкусъ, который опредѣляетъ и порождаетъ въ немъ великое и малое и управляетъ великимъ и малымъ: хорошій ли то вкусъ—это далеко не столь важно, какъ принято думать,—довольно уже того, что это — вкусъ!“ Мимоходомъ сказать, сентенція эта благословляетъ, между прочимъ, стили и вкусы „раба“ и лицемѣра, которыхъ громитъ Ничше. Но во всякомъ случаѣ, выработка „стиля“ есть „искусство“, это „работа“. Герой романа Пшибышевскаго „Homo sapiens“ несомнѣнно „стильная“ фигура. Онъ пьяница, лжецъ, развратникъ, предатель, но считаетъ себя сверхъ-человѣкомъ, да и другіе признаютъ его таковымъ, хотя его сверхъ-человѣчество выражается только побѣдами надъ женскими сердцами, при чемъ побѣды эти достигаются пакостными средствами. Допустимъ, (чего самъ Ничше, конечно, не допустилъ бы), что всѣ эти мерзости и слабости, при нынѣшней переоцѣнкѣ всѣхъ цѣнностей, не должны называться слабостями и мерзостями, а слѣдуетъ ихъ считать проявленіемъ силы, стоящей выше добра и зла, по ту сторону ихъ. Но спрашивается, какая же это сила, когда герой ро-

мана, какъ трость, колеблемая вѣтромъ, или какъ щепка въ водоворотѣ, не можетъ устоять передъ какимъ бы то ни было соблазномъ, состоитъ ли онъ въ стаканѣ коньяку или въ первой встрѣчной женщинѣ. Это своего рода „стиль", но стиль тряпки, и ужъ, конечно, ему не достигнуть именно того, что, по мнѣнію Ничше, „одно нужно": „великое и рѣдкое искусство" работы надъ собой. Пусть въ концѣ этой работы окажется, что все дѣло во „вкусѣ", каковъ бы онъ ни былъ, но вѣдь работа-то всетаки нужна,—*одно* нужно.

Физіологи сказали бы, что въ героѣ романа Пшибышевскаго относительно бездѣйствуютъ высшіе нервные центры сознанія и воли, лежащіе въ сѣромъ веществѣ мозговыхъ полушарій, вслѣдствіе чего на всей своей вольной волѣ, не контролируемые, и не регулируемые, усиленно работаютъ низшіе центры, заложенные въ спинномъ мозгу и другихъ подчиненныхъ частяхъ нервно-мозговой системы и завѣдующіе рефлексами и инстинктами. Есть насѣкомое, изъ прямокрылыхъ, такъ называемый Богомолъ (Mantis religiosa), въ которомъ центры, непосредственно управляющіе половою дѣятельностью, до такой степени независимы отъ высшихъ центровъ, что если ему совсѣмъ отрѣзать голову, онъ ищетъ самку, находитъ ее и совершаетъ половой актъ. Герой Пшибышевскаго есть нѣчто въ родѣ этого насѣкомаго. То въ его „тѣлѣ", что одно властно контролируетъ и регулируетъ всѣ наши позывы и инстинкты, и объединяетъ истинное *я*, въ немъ подавлено въ угоду фигурально выражаясь по самой природѣ вещей подчиненнымъ *я*. Между тѣмъ, именно высшее, центральное и объединяющее *я* и есть мѣрило личнаго достоинства человѣка и естественный верховный судья въ случаяхъ душевныхъ конфликтовъ.

На этомъ мы пока кончимъ,—мнѣ еще нужно сказать нѣсколько словъ о надѣлавшей шуму пьесѣ г. Горькаго „На днѣ". Прибавлю только, во избѣжаніе недоразумѣній, что при выработкѣ стиля своего характера дѣло идетъ совсѣмъ не о подавленіи всѣхъ инстиктовъ и потребностей, къ чему такъ склонна аскетическая мораль и что даетъ такую богатую пищу сарказмамъ и негодованію нашихъ ничшеанцевъ, а только о регулированіи ихъ. При этомъ, однако, нѣкоторые инстинкты, какъ, напримѣръ, тотъ, который заставилъ свободныхъ дѣтей скифскихъ рабовъ смириться передъ простымъ хлопаньемъ бичей, несомнѣнно должны быть подавлены, съ чѣмъ, надо думать, согласятся и ничшеанцы. Между аскетическою моралью

и „эксцессами“ Ничше въ сторону „распутной силы“—дистанція огромнаго размѣра, и нѣтъ никакого резона выбирать только между ними.

Читая „На днѣ“ г. Горькаго, я съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ остановился на одной изъ авторскихъ ремарокъ. Описывается обстановка третьяго акта: „Пустырь, засоренное разнымъ хламомъ и заросшее бурьяномъ дворовое мѣсто“ и т. д. И въ концѣ: „На бревнѣ сидятъ рядомъ Наташа и Настя. На дровняхъ Лука и Баронъ. Клещъ лежитъ на кучѣ дерева у правой стѣны. Въ окнѣ у земли—*рожа* Бубиова“. Эта „рожа“ представляетъ нововведеніе въ драматургіи. Почему, конечно, не быть нововведеніямъ и въ этой области, какъ и во всякой другой. Нѣмецкіе критики, восторгаясь произведеніемъ г. Горькаго, едва ли не всѣ, однако, признаютъ, что это не драма, и авторъ не драматургъ. Да вѣдь онъ и самъ называетъ свою пьесу не драмой, даже не пьесой, а „картинами“. И разъ эти „картины“ даютъ то, что, по словамъ нѣмецкой критики, даетъ „На днѣ“, то этотъ новый родъ драматургіи столь же законенъ, какъ и обычныя формы драмы Но эта фамильярная „рожа“ въ авторской ремаркѣ, это подчеркнутое вмѣшательство автора, нетерпимое въ драмѣ, гдѣ образы должны говорить сами за себя, намекаетъ, мнѣ кажется, на такія особенности таланта г. Горькаго, которыя позволяютъ сказать, что онъ сдѣлалъ ложный шагъ, ступивъ на поприще драматурга. Но вмѣстѣ съ тѣмъ я думаю, что онъ долженъ былъ сдѣлать этотъ ложный шагъ, побуждаемый отчасти опять таки особенностями своей писательской физіономіи. И сдѣлать этотъ ложный шагъ онъ долженъ былъ именно теперь, когда въ немъ, какъ выше замѣчено, совершается какой-то переломъ.

При той головокружительной быстротѣ, съ которою г. Горькій пріобрѣлъ популярность не только въ Россіи, а и въ Европѣ,—чему, мимоходомъ сказать, много способствовали, какъ особенности его собственной біографіи, такъ и характеръ общественнаго слоя, выбраннаго имъ для художественной эксплуатаціи, — трудно было съ увѣренностью разобраться въ его литературномъ багажѣ. Онъ, такъ сказать, ошеломилъ читающую публику, и читатели, и критики интересовались больше портретной галлереей героевъ произведеній г. Горькаго, чѣмъ имъ самимъ, какъ писателемъ, не смотря на интересъ къ его біографіи. Теперь, когда міръ его героевъ, какихъ мы до сихъ поръ отъ него получили, повидимому, исчерпанъ „до дна“,

и ему предстоитъ либо безъ конца варьировать одни и тѣ же типы, одни и тѣ же мотивы, либо направить свое вниманіе въ какую-нибудь другую сторону, наступила пора пристальнѣе вглядѣться въ его писательскую физіономію. Матеріаловъ для этого имѣется достаточно.

Художественное дарованіе г. Горькаго стоитъ внѣ всякихъ сомнѣній. Это талантъ оригинальный и сильный, отдѣльными искорками сказывающійся даже въ слабыхъ произведеніяхъ. Но безупречныхъ въ художественномъ отношеніи вещей у него очень мало, и любопытно, что онѣ, какъ, напримѣръ, „Ярмарка въ Голтвѣ", „Скуки ради", меньше всего обращаютъ на себя вниманіе читателей. Въ большинствѣ произведеній г. Горькаго его крупное художественное дарованіе составляетъ какъ бы прибавку къ чему-то, иногда, какъ, напримѣръ, въ „Читателѣ", доводимую имъ до послѣдняго minimum'а. Въ самомъ дѣлѣ, „Читатель" есть въ сущности ни больше, ни меньше, какъ яркая публицистическая статья объ обязанностяхъ литературы, вставленная въ тоненькую-тоненькую беллетристическую рамку, пожалуй, и совсѣмъ не нужную: мысли аллегорическаго незнакомца авторъ могъ бы прямо отъ себя изложить въ этой самой формѣ, безъ ущерба для дѣла, тѣмъ болѣе, что это несомнѣнно его собственныя мысли. Давно уже замѣчено, что дѣйствующія лица разсказовъ (и драмъ) г. Горькаго сравнительно гораздо больше говорятъ, чѣмъ дѣйствуютъ. Даже въ большихъ его повѣстяхъ, какъ „Ѳома Гордѣевъ", „Трое", гдѣ есть весьма сильныя дѣйствія, вплоть до убійства, разговоровъ всетаки больше, и они значительнѣе. Дѣло въ томъ, что при всемъ своемъ несомнѣнномъ художественномъ дарованіи, *по темпераменту* г. Горькій больше публицистъ, чѣмъ художникъ.

Считаю нужнымъ оговориться. Въ статьѣ „Къ характеристикѣ нашего философскаго развитія" (въ „Проблемахъ идеализма") г. П. Г. очень озабоченъ точнымъ опредѣленіемъ рубрикъ, подъ которыя должны быть подведены ученый, философъ и публицистъ, и, между прочимъ, пишетъ: „Чтобы быть публицистомъ, не нужно разбирать по статьямъ ни таможенный тарифъ, ни даже положеніе о земскихъ учрежденіяхъ. Но публицистъ современной Россіи не можетъ игнорировать, долженъ затронуть и освѣтить съ принципіальной точки зрѣнія и протекціонизмъ, и мѣстное самоуправленіе, какъ практическія проблемы, какъ проблемы политики". Я этого не думаю, и, во всякомъ случаѣ, говоря, что у г. Горькаго темпераментъ публициста, разумѣю не тяготѣніе его къ рѣшенію вопро-

совъ именно о протекціонизмѣ и мѣстномъ самоуправленіи. Можетъ быть, я не знаю, г. Горькій, отдавшись на волю своего темперамента, займется когда-нибудь и ими, но есть вѣдь много и другихъ „практическихъ проблемъ“ — мнѣ даже неловко ихъ перечислять, такъ это элементарно — и къ принципіальному освѣщенію нѣкоторыхъ изъ нихъ именно и тяготѣетъ г. Горькій въ силу своего темперамента.

Тяготѣніе это и сказывается въ многочисленныхъ рѣчахъ дѣйствующихъ лицъ г. Горькаго на темы о положеніи безработныхъ, о взаимныхъ отношеніяхъ различныхъ классовъ общества, о будущности русской буржуазіи, о правахъ и обязанностяхъ литературы, о современныхъ задачахъ морали. Правда, собесѣдники въ разсказахъ г. Горькаго поднимаютъ эти вопросы на такую высоту, съ которой почти незамѣтны контуры непосредственной злобы дня, и потому слѣдуетъ, можетъ быть, къ его публицистикѣ прибавлять эпитетъ „философская“. Но хлопоты г-на П. Г. о точномъ распредѣленіи вѣдомствъ науки, философіи и публицистики кажутся мнѣ вообще праздными, и какъ есть научная философія, такъ возможна и философская публицистика.

Какъ бы то нн было, темпераментъ г. Горькаго сказывается прежде всего чрезмѣрнымъ обиліемъ въ его разсказахъ разговоровъ на философско-публицистическія темы. Это уже само по себѣ, какъ всякая чрезмѣрность, наноситъ ущербъ художественной сторонѣ разсказовъ. Но этого мало. Всѣ эти говорильщики, за очень рѣдкими исключеніями, говорятъ однимъ и тѣмъ же языкомъ, который есть языкъ самого г. Горькаго, вслѣдствіе чего, мимоходомъ сказать, онъ такъ легко поддается переводу на иностранные языки и вообще пониманію иностранцевъ,—пониманію, не совсѣмъ, впрочемъ, вѣрному: нѣкоторые нѣмецкіе критики находятъ, что въ послѣднемъ драматическомъ произведеніи его обнаружена вся глубина духа русскаго народа... Что глубину духа русскаго народа слѣдуетъ искать „на днѣ“, это въ устахъ иностранца тѣмъ понятнѣе, что, какъ пишутъ нѣмецкіе критики, самыми восторженными поклонниками пьесы г. Горькаго оказались „безупречно одѣтые молодые люди, финансисты и свѣтскія дамы“, — „передъ которыми, — прибавляетъ г. Э. П. въ статьѣ, напечатанной въ „Мірѣ Божіемъ“, — Горькій развернулъ совершенно новый и неизвѣстный имъ доселѣ міръ и нарисовалъ трагедію жизни, надъ которою они никогда не задумывались до этой минуты“.

Намъ нѣмецкіе финансисты и свѣтскія дамы, какъ и нѣмецкіе критики въ оцѣнкѣ духа русскаго народа, не указъ. Мы не можемъ не замѣтить, что дѣйствующія лица и разсказовъ, и драмъ г. Горькаго слишкомъ часто не только говорятъ языкомъ г. Горькаго, какъ бы ни былъ онъ неумѣстенъ въ устахъ какого-нибудь Коновалова или Орлова, но и излагаютъ мысли г. Горькаго, и часто столь же неумѣстно. Въ „На днѣ" есть дѣйствующее лицо татаринъ, настоящій вѣрующій мусульманинъ, который тутъ же, въ пьесѣ, истово молится въ урочный часъ. Среди озлобленныхъ скептиковъ-русскихъ товарищей по ночлежкѣ онъ одинъ утверждаетъ, что надо играть въ карты „честно", жить „по закону" и проч. „Магометъ далъ коранъ—говоритъ онъ,—сказалъ: вотъ законъ! Дѣлай, какъ написано тутъ! Потомъ *придетъ время,—коранъ будетъ мало... время дастъ свой законъ, новый... Всякое время дастъ свой законъ*". Это, конечно, слова не вѣрующаго мусульманина, а самого г. Горькаго, выдѣляющіяся изъ рѣчи татарина, какъ заплатка совсѣмъ другого цвѣта. Подобныя заплаты занимаютъ у г. Горькаго иногда цѣлыя страницы, цѣлые ряды страницъ, такъ что изъ-подъ нихъ, наконецъ, даже совсѣмъ не видно подлинной одежды изображаемаго лица. Г. Горькаго можно открыть не только въ Коноваловѣ или Орловѣ, но и въ Маякинѣ и „Проходимцѣ", и въ Лукѣ и Сатинѣ, какъ ни мало, казалось бы, общаго между этими фигурами.

Сочетаніе энергическаго публицистическаго темперамента съ незауряднымъ художественнымъ дарованіемъ могло бы имѣть чрезвычайно благопріятные результаты, какъ для беллетристики г. Горькаго, такъ и для его публицистики, если бы онъ когда-нибудь къ ней обратился. Къ сожалѣнію, и тому, и другому препятствуютъ изъяны мыслительнаго багажа талантливаго писателя. Прежде всего, онъ мало знаетъ жизнь. Онъ хорошо знакомъ съ постоянно эксплуатируемымъ имъ бытомъ „бывшихъ людей", но, какъ бы ни былъ этотъ уголокъ жизни интересенъ и значителенъ въ томъ или другомъ отношеніи, это всетаки только уголокъ жизни. И это само по себѣ еще не бѣда: образы и картины изъ этого міра сохраняютъ свой интересъ и свою значительность, какъ частность, независимо отъ другихъ сторонъ жизни. Но г. Горькій вынесъ изъ своихъ наблюденій извѣстное теоретическое освѣщеніе, распространяемое имъ и на всю жизнь, получающую вслѣдствіе этого одностороннюю окраску. А главное — онъ до сихъ поръ самъ не разобрался въ этомъ теоретическомъ освѣщеніи.

Въ „Проходимцѣ" Промптовъ говоритъ: „Знаете ли вы, что та-

кое идеалъ? Хе! Это просто костыль, придуманный въ ту пору, когда человѣкъ сталъ плохимъ скотомъ и началъ ходить на однѣхъ заднихъ ногахъ. Поднявъ голову отъ сѣрой земли, онъ увидалъ надъ ней голубое небо и былъ ослѣпленъ великолѣпіемъ его ясности. Тогда онъ, по глупости, сказалъ себѣ--я достигну его. И съ той поры онъ шляется по землѣ съ этимъ костылемъ, держась при помощи его до сего дня все еще на заднихъ лапахъ. Вы не подумайте, что и я тоже лѣзу на небо—никогда не ощущалъ такого желанія... я это такъ сказалъ, *для краснаго словца*".

„Красныя словца",—вотъ чѣмъ необыкновенно богатъ г. Горькій. Свои или вообще приходящія ему въ голову мысли онъ облекаетъ въ форму остроумныхъ, красивыхъ, яркихъ афоризмовъ, сравненій, краткихъ притчъ, поговорокъ. Онъ такъ богатъ этими блестками, что разсыпаетъ ихъ даже съ чрезмѣрною расточительностью, надѣляя ими всѣхъ своихъ дѣйствующихъ лицъ безъ разбора и не давая себѣ отчета, насколько они умѣстны въ тѣхъ или другихъ устахъ. И, подкупленный яркостью, красотою, остроуміемъ выраженія, читатель не всегда можетъ рѣшить, кому принадлежитъ данная мысль—автору или такому-то дѣйствующему лицу. Скажу больше,—самъ авторъ не всегда можетъ въ этомъ разобраться. Его волнуетъ извѣстный вопросъ, онъ склоняется къ опредѣленному рѣшенію, наконецъ, рѣшилъ его для себя и высказываетъ отъ своего собственнаго имени или влагаетъ его въ уста одного изъ дѣйствующихъ лицъ въ оригинальной, красивой формѣ. Но вдругъ ему приходитъ въ голову такое же красивое выраженіе, такое же „красное словцо" въ противоположномъ смыслѣ, и, подкупаемый имъ, онъ опять колеблется...

Въ „Картинахъ" „На днѣ" мы имѣемъ варьяцію на тему, много разъ занимавшую г. Горькаго. И центральный идейный интересъ пьесы, и отдѣльныя подробности, и дѣйствующія лица—все это намъ знакомо. Я не буду разсказывать содержаніе „Картинъ", такъ какъ огромному большинству читателей, оно, конечно, извѣстно. Я только приведу въ связь основные мотивы пьесы съ нѣкоторыми другими произведеніями г. Горькаго.

Проститутка Настя разсказываетъ о страстной, чистой и взаимной любви, которая связывала ее съ какимъ-то не то Гастономъ, не то Раулемъ. Это „сонъ сердца" бѣдной Насти: никакого Рауля или Гастона у нея не было, и весь ея романъ вычитанъ изъ настоящаго бульварнаго романа „Роковая любовь". Но ей, въ ея грязной

и смрадной жизни, такъ хочется вѣрить этой красивой лжи, и она вѣритъ...—Въ разсказѣ „Болесь“ тоже проститутка сама себѣ пишетъ нѣжныя письма отъ небывалаго пламеннаго друга-любовника,—ей хочется вѣрить плѣнительной лжи, и она вѣритъ.—Въ „Коноваловѣ“ авторъ сообщаетъ, въ качествѣ своего наблюденія, что въ босяцкихъ разсказахъ о себѣ „ужасная, даже потрясающая правда фантастически перепутывается съ самою наивною ложью“. А самъ Коноваловъ предъявляетъ и посильное оправданіе этой лжи: „Какъ можно не вѣрить человѣку? Даже если видишь — вретъ онъ, вѣрь ему. То есть, слушай и старайся понять, почему онъ вретъ? Иной разъ вранье-то лучше правды объясняетъ человѣка... Да и какую мы всѣ про себя правду можемъ сказать? Самую пакостную. А соврать можно хорошо“. И еще: „Если у человѣка въ жизни не было ничего хорошаго, онъ вѣдь никому не повредитъ, коли самъ для себя выдумаетъ какую ни то сказку, да и станетъ разсказывать ее за быль. Разсказываетъ и самъ себѣ вѣритъ, будто такъ оно и было—вѣритъ, ну ему и пріятно“. Однако, Коноваловъ восторгается Рѣшетниковскими „Подлиповцами“ именно потому, что „это все правда. Вѣдь это какъ есть настоящіе люди... всамдѣлишніе мужики... И совсѣмъ, какъ живые и голоса, и рожи“.—Неизвѣстно, читала ли „Подлиповцевъ“ „Варенька Олесова“, но произведеніями изъ крестьянской жизни вообще она недовольна. „Книжки,—говоритъ она. — Выдумано. Про крестьянъ, напримѣръ.. Развѣ они такіе, какъ въ книжкахъ? Про нихъ все съ жалостью пишутъ, да этакими дурачками ихъ дѣлаютъ... не хорошо! Люди читаютъ—думаютъ и въ самомъ дѣлѣ такъ, и не могутъ по настоящему понять крестьянина“. Но та же Варенька отдаетъ рѣшительное преимущество французскимъ бульварнымъ романамъ передъ русскими, собственно потому, что „русскіе не выдумываютъ ничего интереснаго. У французовъ герои настоящіе, они и говорятъ не такъ, какъ всѣ люди, и поступаютъ иначе. Они всегда храбрые, влюбленные, веселые... а у насъ герои—простые человѣчки, безъ смѣлости, безъ пылкихъ чувствъ, какіе-то некрасивые, жалкенькіе—самые настоящіе люди и больше ничего... И никогда, читая русскую книжку, не забудешь о настоящей жизни,—развѣ это хорошо?.. Зачѣмъ писать книжки, если не можешь сказать ничего необыкновеннаго?“—Въ сказкѣ „О чижѣ, который лгалъ, и о дятлѣ любителѣ истины“ Чижъ, посрамленный „черствыми сердцемъ и позорно-мелкими“ птицами, съ грустью сознается: „Я солгалъ, да я солгалъ, по-

тому что мнѣ неизвѣстно, что тамъ за рощей, но вѣдь вѣрить и надѣяться такъ хорошо! Я же только и хотѣлъ пробудить вѣру и надежду—и вотъ почему я солгалъ... Онъ, дятелъ, можетъ быть, и правъ, но на что нужна его правда, когда она камнемъ ложится на крылья и не позволяетъ высоко взлетать на небеса?"—„Врать умѣючи—высокое наслажденіе,—философствуетъ „Проходимецъ". Если врешь и видишь, что тебѣ вѣрятъ, чувствуешь себя приподнятымъ надъ людьми, а чувствовать себя выше людей—удовольствіе рѣдкостное! Овладѣть ихъ вниманіемъ и мыслить про себя—дурачье! А одурачить человѣка всегда пріятно. Да и ему, человѣку-то, тоже вѣдь пріятно слышать ложь, хорошую ложь, которая его по шерсткѣ гладитъ. И, можетъ быть, всякая ложь хороша или же, наоборотъ, все хорошее ложь. Едва ли на свѣтѣ есть что нибудь болѣе стоющее вниманія, чѣмъ разныя людскія выдумки: мечты, грезы и прочее такое... Нельзя же быть врагомъ огня только за то, что онъ иногда жжется, нужно помнить, что онъ всегда грѣетъ,—такъ ли? Ну вотъ, по сей причинѣ и ложь нельзя называть вредной, поносить ее всячески, предпочитать ей истину; еще неизвѣстно вѣдь, что она такое, эта истина, никто не видалъ ея паспорта, и, можетъ быть, она, по предъявленіи документовъ, чортъ знаетъ чѣмъ окажется... Не вѣрьте человѣку! Ибо всегда, когда онъ о себѣ разсказываетъ, онъ лжетъ! Лжетъ въ несчастіи, чтобъ возбудить къ себѣ болѣе состраданія, въ счастіи, чтобъ ему больше завидовали, и во всѣхъ случаяхъ—чтобы увеличить вниманіе къ себѣ". Въ „Читателѣ" незнакомецъ, аллегорически изображающій совѣсть писателя, говоритъ ему: „Мы, кажется, снова хотимъ грезъ, красивыхъ вымысловъ, мечты и странностей, ибо жизнь, созданная нами, бѣдна красками, тускла, скучна! Дѣйствительность, которую мы когда-то такъ горячо хотѣли перестроить, сломала и смяла насъ. Что же дѣлать? Попробуемъ, быть можетъ, вымыселъ и воображеніе помогутъ человѣку подняться не надолго надъ землей и снова высмотрѣть на ней свое мѣсто, потерянное имъ. Твое перо слабо ковыряетъ дѣйствительность, тихонько ворошитъ мелочи жизни. и, описывая будничныя чувства будничныхъ людей, ты открываешь ихъ уму, быть можетъ, и много низкихъ истинъ, но можешь ли ты создать для нихъ хотя бы маленькій возвышающій душу обманъ? Нѣтъ! Ты увѣренъ, что это полезно рыться въ мусорѣ буденъ и не умѣть находить въ нихъ ничего, кромѣ печальныхъ крохотныхъ истинъ, устанавливающихъ только то, что человѣкъ золъ, глупъ, безчестенъ, что онъ вполнѣ и всегда

зависитъ отъ массы внѣшнихъ условій, что онъ безсиленъ и жалокъ одинъ и самъ по себѣ". И т. д.

Я могъ бы еще продолжать эту хрестоматію, но пора вернуться къ пьесѣ г. Горькаго.

Разсказу проститутки Насти о любви къ ней Рауля-Гастона вѣритъ только странникъ Лука. То есть и онъ не вѣритъ, а совершенно въ духѣ Коновалова и даже почти въ тѣхъ же выраженіяхъ убѣждаетъ спептиковъ, насмѣхающихся надъ Настей: „Уважьте человѣку, не въ словѣ дѣло, а почему слово говорится", и далѣе: „она вѣдь для своего удовольствія слезы льетъ... чѣмъ тебѣ это вредно?" Самое же Настю онъ утѣшаетъ: „Я знаю. Я вѣрю! Твоя правда, а не ихняя... Я вѣрю! Въ лаковыхъ сапогахъ, говоришь, ходилъ? А-яй-ай! Ну, и ты его тоже любила?" Этотъ хитроумный старичокъ вѣритъ ли, не вѣритъ ли самъ тому, что говоритъ,—неизвѣстно, но всѣхъ убѣждаетъ вѣрить „въ сны сердца своего". „Ты мнѣ повѣрь,—говоритъ онъ Васькѣ Пеплу.—И чего тебѣ правда больно нужна... подумай-ка! Она правда то, можетъ, обухъ для тебя". „Ты вѣрь",—говоритъ онъ умирающей Аннѣ. „Ты почаще напоминай ему, что онъ хорошій парень,—убѣждаетъ онъ Наташу выходить замужъ за Ваську Пепла,—чтобы онъ, значитъ, не забывалъ про это! Онъ тебѣ повѣритъ". Актера онъ заставляетъ повѣрить въ возможность возрожденія. И на вопросъ Пепла: „Богъ есть"? даетъ кощунственно уклончивый отвѣтъ: „коли вѣришь, есть; не вѣришь, нѣтъ. Во что вѣришь, то и есть". И всѣмъ соночлежникамъ этотъ хитроумный старичокъ нравится. Хотя нѣкоторые и уличаютъ его во враньѣ, но добродушно и даже съ похвалой. „Ты, братъ, молодецъ!—одобряетъ его Васька Пепелъ.—Врешь ты хорошо, сказки говоришь пріятно! Ври, ничего, мало, братъ, пріятнаго на свѣтѣ". А слесарь Клещъ вспоминаетъ Луку такъ: „Правды онъ не любилъ, старикъ-то... Очень противъ правды возставалъ... такъ и надо! Вѣрно,—какая тутъ правда? И безъ нея дышать нечѣмъ".

Повидимому, Лука есть представитель „возвышающаго душу обмана", который писательская совѣсть такъ страстно и краснорѣчиво противопоставляетъ „печальнымъ крохотнымъ истинамъ" въ „Читателѣ". И многіе читатели и зрители склонны видѣть въ немъ положительный типъ. Мнѣ кажется, что это объясняется еще и тѣмъ, что авторъ больше, чѣмъ кому нибудь, предоставилъ красивыхъ, мѣткихъ и остроумныхъ словечекъ. Онъ ими такъ и сыплетъ. Я затруднился бы, однако, сказать, что таково намѣреніе автора, уже

просто потому, что Лука наговорилъ много, а сдѣлалъ только одно дѣло: облегчилъ смерть Анны. Весь мракъ и грязь жизни „на днѣ", какъ былъ до него, такъ и остался послѣ его ухода и даже усугубился: актеръ удавился; Васька Пепелъ убилъ хозяина ночлежки; хозяйка искалѣчила Наташу,—словомъ, всѣ навѣянные Лукой золотые сны пошли прахомъ, и ничему его „вранье" не помогло. Онъ оказывается даже косвеннымъ виновникомъ этого усугубленнаго кровью мрака и грязи: онъ поманилъ актера возрожденіемъ, послѣ чего тому жизнь стала окончательно невыносимою; онъ поманилъ Ваську Пепла и Наташу грезой счастливой жизни, послѣ чего отношенія обострились до убійства и искалѣченія. И этихъ тяжеловѣсныхъ фактовъ не въ силахъ стереть защита его Сатинымъ. „Старикъ не шарлатанъ!—восклицаетъ Сатинъ,—что такое правда? Человѣкъ—вотъ правда! Онъ это понималъ... вы—нѣтъ! Вы тупы, какъ кирпичи. Я понимаю старика... да! Онъ вралъ, но это изъ жалости къ вамъ, чортъ васъ возьми! Есть много людей, которые лгутъ изъ жалости къ ближнему... Я знаю! я читалъ! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгутъ! Есть ложь утѣшительная, ложь примиряющая. Ложь оправдываетъ ту тяжесть, которая раздавила руку рабочаго, и обвиняетъ умирающихъ съ голоду... Я знаю ложь. Кто слабъ душой и кто живетъ чужими соками, тѣмъ ложь нужна... однихъ она поддерживаетъ, другіе прикрываются ею. А кто самъ себѣ хозяинъ, кто независимъ и не жретъ чужого, зачѣмъ тому ложь? Ложь—религія рабовъ и хозяевъ. Правда—богъ свободнаго человѣка!"

Защита эта довольно-таки двусмысленна, но, можетъ быть, въ Сатинѣ всетаки скорѣе, чѣмъ въ Лукѣ, слѣдуетъ признать положительный типъ въ смыслѣ выразителя собственныхъ взглядовъ автора. Но и это какъ-то неловко въ виду того, что Сатинъ проповѣдуетъ презрѣніе къ труду и участвуетъ въ шулерскомъ обыгрываніи рабочаго человѣка, то есть самъ „жретъ чужое". А между тѣмъ, авторъ и еще какую-то смутную, но несомнѣнир свою мысль влагаетъ въ уста Сатина. „Человѣкъ—вотъ правда! Что такое человѣкъ? Это не ты, не я, не они... нѣтъ! Это ты, я, они, старикъ, Наполеонъ, Магометъ... въ одномъ! *(Очерчиваетъ пальцемъ въ воздухѣ фигуру человѣка)*. Понимаешь? Это огромно! Въ этомъ всѣ начала и концы. Все въ человѣкѣ, все для человѣка! Существуетъ только человѣкъ, все же остальное—дѣло его рукъ и его мозга! Чело-вѣкъ! Это великолѣпно! Это звучитъ гордо! Чело-вѣкъ!" И т. д.

Можетъ быть, за этой пьяной риторикой скрывается и очень цѣнная мысль, но въ такомъ видѣ это что-то недоговоренное, недодуманное. И мнѣ кажется, что она вставлена въ пьесу по той же причинѣ, по которой и свои блестки г. Горькій разсыпаетъ безъ соображенія о томъ, насколько они тому или другому дѣйствующему лицу приличествуютъ: онъ не разобрался въ своихъ собственныхъ взглядахъ. Онъ только теперь въ нихъ, повидимому, разбирается, отказываясь, какъ мы видѣли, отъ мысли: „что сильно, то и хорошо", или отъ убѣжденія, что босяки философствуютъ лучше, чѣмъ Шопенгауеръ. Этотъ пересмотръ идейнаго багажа еще имъ не законченъ, а въ такой моментъ драматическая форма особенно удобна для не-драматурга по самому характеру таланта. Она позволяетъ спрятаться за спину дѣйствующихъ лицъ и на нихъ свалить всякія недодуманности. Я не то, конечно, хочу сказать, что г. Горькій намѣренно, съ этою именно цѣлью выбралъ драматическую форму. Нѣтъ, это дѣлается само собой, инстинктивно. Это называется движеніемъ по линіи наименьшаго сопротивленія...

Видѣлъ я „На днѣ" и на сценѣ, въ исполненіи труппы московскаго художественнаго театра. Пьеса отъ этого не выиграла. Московскіе артисты были въ общемъ далеко ниже своей репутаціи.

XVI *).

Новый взглядъ на происхожденіе общества.

Вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ — какъ фактически-данныхъ, такъ и идеальныхъ — личности, индивида и общества, естественно всегда занимавшій мыслящихъ людей, въ послѣднее время привлекаетъ къ себѣ особенно много вниманія. Въ значительной степени онъ обязанъ этимъ интересу, возбужденному философіей Ничше. Но и независимо отъ нея, онъ продолжаетъ горячо дебатироваться и сторонниками, и противниками органической теоріи общества, и изслѣдователями такъ называемой коллективной психологіи, и моралистами разныхъ школъ, и политическими теоретиками, и юристами. Окончательное и общепризнанное рѣшеніе проблемы, если оно когда-нибудь и будетъ дано, во всякомъ случаѣ, еще очень далеко отъ насъ. Не говоря о самостоятельныхъ умахъ, вновь и вновь принимающихся за пересмотръ задачи, то или другое ея рѣшеніе едва успѣваетъ получить широкую популярность, какъ его вытѣсняетъ новое и часто прямо противоположное, съ чѣмъ мы, русскіе, даже слишкомъ хорошо знакомы. Недавно умершій нѣмецкій ученый Генрихъ Шурцъ, въ своемъ интересномъ предсмертномъ трудѣ (Altersklassen und Männerbünde. Eine Darstellung der Grundformen der Gesellschaft. Berlin, 1902), полагаетъ, что мы переживаемъ или уже пережили моментъ завершенія послѣдней изъ тѣхъ двухъ крайностей, среди которыхъ вращались до сихъ поръ, другъ друга перебивая, различныя рѣшенія основного вопроса соціологіи. Первая изъ этихъ крайностей, все сводящая къ нашему *я*, какъ единственно достовѣрному во всей пестротѣ бытія, и представляющая общество какъ бы функціей индивида, достигла своего высшаго выраженія въ ученіи

---

*) Сентябрь, 1903 г.

Руссо объ общественномъ договорѣ. Затѣмъ маятникъ откачнулся въ противоположную сторону, до другой крайности, по которой индивидъ есть только продуктъ своей среды, функція общества, его создающаго и во всѣхъ отношеніяхъ его опредѣляющаго, такъ что и мыслитъ, и дѣйствуетъ не индивидъ, а общество, проявляющее въ немъ свою мысль и волю. „Предстоитъ,—заключаетъ Шурцъ,— дальнѣйшая, свободная и вспомоществуемая новыми средствами работа по изысканію истины, которая лежитъ не въ той и не въ другой крайности".

Предстоитъ дальнѣйшая работа, это несомнѣнно. Но, не говоря о слишкомъ рѣзкой схематичности, съ которою изложена мысль Шурца, можно съ увѣренностью сказать, что онъ не правъ, утверждая, что нами уже изжиты обѣ указанныя имъ крайности. Повидимому, напротивъ, маятникъ опять откачнулся къ первой крайности, и ея не чуждъ самъ Шурцъ, хотя спеціальный, чисто этнографическій или, точнѣе, этнологическій характеръ его книги и закрываетъ собою эту черту; до такой степени закрываетъ, что намъ едва-ли даже понадобится подчеркивать ее. Но если индивидуализмъ Ничше былъ встрѣченъ одними рѣшительно враждебно, другими критически, но съ признаніемъ высокой цѣнности нѣкоторыхъ его идей,—то въ обширномъ слоѣ такъ называемой просвѣщенной, интеллигентной публики, слишкомъ пристально слѣдящей за умственной модой, онъ былъ принятъ съ распростертыми объятіями. Мало того, онъ успѣлъ уже истрепаться, обтереться, какъ монета, побывавшая въ тысячахъ рукъ и кошельковъ. Какъ это часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, особенно привились два наиболѣе слабые пункта Ничше, а именно ученіе о сверхъ-человѣкѣ и противоположеніе индивидуализма альтруизму. Логически альтруизму можетъ быть противопоставленъ только эгоизмъ. Индивидуализмъ есть понятіе гораздо болѣе широкое по объему и глубокое по содержанію, такъ что слѣдуетъ, по малой мѣрѣ, различать индивидуализмъ эгоистическій и индивидуализмъ альтруистическій. (Читатель благоволитъ припомнить хоть статью Фулье „Ничше о Гюйо", напечатанную въ № 1 „Русскаго Богатства" за 1903 годъ). Но это различіе, конечно, слишкомъ тонко для держателей стертой монеты, и они, напротивъ, стараются еще выскрести все на той же монетѣ — кто декадентскіе узоры, кто узоры идеалистической метафизики,—и тѣ, и другіе, мимоходомъ сказать, особенно ненавистны Ничше. Это не мѣшаетъ нашимъ доморощеннымъ сверхъ-человѣ-

камъ гордо разгуливать въ видѣ павлиновъ, раскрывшихъ свой цвѣтной хвостъ. И если индивидуализмъ получаетъ нынѣ распространеніе и популярность, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ далеко превосходящія тѣ, которыми онъ пользовался въ моментъ, завершившійся, по мнѣнію Шурца, общественнымъ договоромъ Руссо, то, не смотря на это, а вѣрнѣе именно поэтому, онъ болѣе чѣмъ когда-нибудь, нуждается въ выясненіи. Нѣкоторые матеріалы для такого выясненія мы хотимъ предложить вниманію читателей, а именно по вопросу о самомъ происхожденіи общества.

Человѣка внѣ общества мы не знаемъ. И даже въ моменты, казалось бы, полнаго одиночества человѣкъ находится въ постоянномъ мысленномъ общеніи съ другими людьми, любимыми или ненавистными: тоскуетъ въ разлукѣ, радуется при мысли о свиданіи или, наоборотъ, волнуется при этой мысли страхомъ, обидой, горемъ, вспоминаетъ полученныя имъ оскорбленія, мечтаетъ о мести, переживаетъ общеніе, давно похороненное, и даже сквозь тьму вѣковъ поддерживаетъ общеніе съ тѣми или другими историческими и порожденными творческой фантазіей личностями. Что же именно составляетъ тотъ цементъ, который связываетъ людей другъ съ другомъ и побуждаетъ ихъ—равно какъ и животныхъ—складываться въ общества? Понятно, что искать этого корня общежитія въ чувствахъ злобы или ненависти нельзя, сами по себѣ это чувства разъединяющія, а не объединяющія, они возникаютъ уже въ готовомъ обществѣ. И даже Ничше, при всей своей склонности къ реабилитаціи злобныхъ чувствъ, видитъ источникъ общежитія не въ нихъ, а въ слабости, побуждающей людей „жаться" другъ къ другу.

Было время, когда первоначальною формою общества признавалась семья, и именно въ патріархальной ея формѣ. Время это прошло, успѣли расшататься и нѣкоторыя теоріи, смѣнившія этотъ взглядъ. Но и донынѣ крѣпко держится мысль о семейныхъ—родительскихъ и супружескихъ чувствахъ, какъ объ источникѣ всѣхъ общественныхъ чувствъ, общественнаго инстинкта. Вотъ нѣсколько образчиковъ изъ новѣйшей литературы (о болѣе старой нечего и говорить):

„Самый лучшій примѣръ того, какъ природа можетъ проложить и образовать основу тому, что этически важно или нужно,— говоритъ Гефдингъ,—даетъ слѣдующее обстоятельство: наиболѣе задушевное и совершеннѣйшее изъ всѣхъ родовъ человѣческихъ обществъ обязано своимъ возникновеніемъ одному изъ сильнѣйшихъ

инстинктовъ человѣческой природы. Царство человѣчности, этотъ высочайшій идеалъ этики, имѣло въ семейныхъ отношеніяхъ не только свой зародышъ и постоянный источникъ, но, когда семейная любовь достигла своей высочайшей формы,—она осуществилась въ семьѣ такъ, какъ невозможно указать ни въ какой другой общественной формѣ. Развитіе всѣхъ другихъ общественныхъ формъ измѣряется по той степени, въ какой онѣ напоминаютъ сердечность и крѣпость семейныхъ отношеній... Всеобщее человѣколюбіе есть только расширеніе того чувства, которое возникло въ семьѣ,—расширеніе, которое, конечно, не всегда происходитъ безостановочно, но, тѣмъ не менѣе, всегда имѣетъ своимъ предшественникомъ зародышъ, заложенный въ болѣе тѣсномъ кругу отношеній" (Этика. Переводъ Л. Е. Оболенскаго. Стр. 153, 155).

У Бурдо читаемъ: „Единство индивидуальности становится двойственностью въ двухполой парѣ, а затѣмъ множественностью въ потомствѣ. Все дальнѣйшее развитіе въ нарожденіи общества вытекаетъ изъ этой начальной группы, безъ которой невозможно было бы никакое общество" (Вопросъ о жизни. Переводъ Е. Предтеченскаго. Стр. 76).

У Сутерланда: „Родительская симпатія является основой всѣхъ другихъ симпатій, а симпатія вообще составляетъ основу всего моральнаго чувства... Но существуетъ другая форма симпатіи, возникающая между самими родителями, развитіе которой способствуетъ удивительнымъ образомъ, почти удвоиваетъ дѣйствительность материнской и отцовской любви" (Происхожденіе и развитіе нравственнаго инстинкта. Переводъ Н. Кончевской. Стр. 165, 166).

Читатель знаетъ, что я могъ бы значительно увеличить число подобныхъ цитатъ. Выражаемое ими мнѣніе принадлежитъ къ самымъ распространеннымъ не только въ такъ называемой большой публикѣ, но и въ мірѣ науки и философской мысли. Недавно, однако, двое нѣмецкихъ ученыхъ, совершенно другъ отъ друга независимо и съ разныхъ точекъ зрѣнія, но одинаково рѣшительно провели рѣзкую границу между семейными и собственно общественными инстинктами. Это, во-первыхъ, Аммонъ („Die Gesellschaftsordnung und ihre natürliche Grundlage. Entwurf einer Social-Anthropologie" и „Der Ursprung der socialen Triebe" въ Zeitschrift für Socialwissenschaft" за 1901 годъ) и вышеупомянутый Шурцъ. Работы Аммона извѣстны мнѣ только по указанію Шурца, который, повидимому, и самъ былъ знакомъ только со второй половиной

статьи въ Zeitschrift für Socialwissenschaft, и по краткому изложенію г. Гальперина въ „Обзорѣ соціологической литературы за 1901 г.“ (Екатеринославъ, 1902) *). Упоминаю о нихъ ради слѣдующаго заключенія Шурца: „Приведенныя соображенія (мы ихъ увидимъ. Н. М.) были уже изложены, когда появилась статья Аммона. Въ ней Аммонъ, исходя изъ другой точки зрѣнія, приходитъ къ такому же заключенію о различіи между семейнымъ и общественнымъ инстинктомъ. Онъ рѣшительно утверждаетъ, что „общественные инстинкты не имѣютъ ничего общаго съ семейными и совершенно отъ нихъ независимы. Общественные инстинкты могутъ быть на лицо при отсутствіи семьи, семейные—при отсутствіи общества“. Такое совпаденіе результатовъ изслѣдованія можетъ служить доказательствомъ вѣрности вывода“.

Обратимся къ Шурцу. Какъ уже сказано, сочиненіе его имѣетъ спеціально этнографическій характеръ и завалено подавляющею массою фактическаго матеріала, касающагося „возрастныхъ классовъ“ (Altersklassen) и „союзовъ мужчинъ“ (Männerbünde) у разныхъ народовъ всѣхъ пяти частей свѣта. Но въ начальныхъ главахъ книги изложены общіе взгляды автора.

Культурный человѣкъ,—говоритъ Шурцъ,—входитъ въ составъ цѣлаго ряда общественныхъ группъ. Онъ членъ семьи, которая въ свою очередь связана съ другими семьями какой-нибудь территоріальной единицы, націи, церковнаго союза; онъ можетъ быть временнымъ или постояннымъ членомъ военнаго сословія и, въ составѣ его, той или другой его подгруппы, можетъ быть чиновникомъ и въ качествѣ такого подниматься по ступенямъ служебной іерархіи, можетъ быть членомъ гимнастическаго общества, акціонерной компаніи и т. д. Даже, сойдя съ законнаго пути, онъ можетъ попасть въ шайку воровъ или разбойниковъ, пока государство не помѣститъ его въ общество обитателей тюрьмы. Всегда и вездѣ онъ состоитъ въ тѣхъ или другихъ отношеніяхъ съ разными обществами, хотя бы жертвуя нѣсколько грошей на благотворительность или уплачивая ихъ въ кассу своей партіи. И если бы культурный человѣкъ черпалъ

*) Предлагаемая статья была уже написана, когда я познакомился съ новой книгой г. Гальперина: „Современная соціологія (Обзоръ соціологической литературы за *1902 г.*)“. Перенеся сюда изъ предыдущаго „Обзора“ свой отчетъ о трудахъ Аммона цѣликомъ, авторъ присоединилъ къ нему и отчетъ о книгѣ Шурца, котораго онъ, мимоходомъ сказать, называетъ *Шюртцъ* (по-нѣмецки Schurtz, безъ Umlaut'a).

все свое содержаніе изъ общественной среды, то онъ состоялъ бы изъ лоскутьевъ всякаго вида и всѣхъ цвѣтовъ. До извѣстной степени онъ именно таковъ. Но есть въ немъ нѣкоторое *я*, которое мало пострадаетъ, если онъ сброситъ съ себя большую часть этихъ лоскутьевъ. Конечно, то, что глубоко коренится въ прошедшихъ поколѣніяхъ, не легко сбросить, какъ и то, что воспринято въ дѣтствѣ изъ окружающей среды и стало частью души. Но къ этой средѣ принадлежатъ не только современники; книги, авторы которыхъ давно умерли, могутъ оставить по себѣ болѣе сильныя впечатлѣнія, чѣмъ длиннѣйшія рѣчи несимпатичныхъ учителей и воспитателей; памятники прошлаго, говорящіе о величіи, могутъ незамѣтно вліять на душевную жизнь и, затѣмъ, внезапно блеснуть въ сознаніи. Сила вліянія различныхъ общественныхъ средъ очень различна. Нельзя, повидимому, и сравнивать значенія, напримѣръ, національныхъ вліяній и вліянія какого-нибудь кружка любителей пѣнія. Мы знаемъ, однако, людей, способныхъ совершенно проникнуться чуждыми имъ по рожденію національными чертами, а съ другой стороны, есть люди, на которыхъ дѣла ихъ кружка вліяютъ сильнѣе, чѣмъ какія бы то ни было другія общественныя отношенія. Надо признать во всякомъ случаѣ, что существуютъ въ высшей степени различныя по своему происхожденію и первоначальному значенію общественные союзы, но что это первоначальное ихъ значеніе еще не предуказываетъ ихъ исторической роли: слѣды позже возникшихъ союзовъ могутъ переселить въ душѣ человѣка и даже совсѣмъ вытѣснить изъ нея впечатлѣнія болѣе ранней и коренной общественной среды.

Читателямъ моихъ статей знакомы эти соображенія; въ полемикѣ съ положеніями: „личность есть quantité négligeable“ и „мыслитъ не человѣкъ, а группа, къ которой онъ принадлежитъ“, намъ не разъ приходилось указывать на множество концентрическихъ и перекрещивающихся группъ, въ составъ которыхъ входитъ современный культурный человѣкъ. Все это множество разнообразныхъ союзовъ, не позволяющихъ свести психическое содержаніе личности къ содержанію одной какой-нибудь группы, само собой дѣлится на два отдѣла: во-первыхъ, кровные или родственные союзы, имѣющіе въ своемъ основаніи функціи размноженія и не подлежащіе свободному выбору индивидуума; во-вторыхъ, тѣ, въ которые индивидуумъ вступаетъ болѣе или менѣе добровольно. Первые Шурцъ называетъ естественными, вторые искусственными.

Онъ оговаривается, однако, что послѣднее выраженіе не совсѣмъ правильно, и предлагаетъ употреблять названія: Geschlechtsverbände („половые" союзы, что едва-ли также правильно) и Geselligkeitsverbände (общественные союзы), или же „первичные" и „вторичные". Вновь возникающіе путемъ брака союзы занимаютъ промежуточное положеніе, но и вообще нельзя установить рѣзкую границу между этими двумя видами общества. Крайнія формы опредѣляются легко, но между ними находится рядъ смѣшанныхъ формъ. За образецъ крайней формы можно взять, напримѣръ, маленькую семью какого-нибудь народца вродѣ бушменовъ, состоящую сплошь изъ кровныхъ родственниковъ и поддерживающую съ другими человѣческими группами лишь самыя поверхностныя отношенія. Здѣсь о выборѣ не можетъ быть и рѣчи, и пребываніе въ родственной средѣ разумѣется само собой. Съ другой стороны, можно себѣ представить общество, преслѣдующее цѣли заморской торговли и состоящее изъ представителей разныхъ народностей,—англичанъ, русскихъ, китайцевъ, персовъ и т. д. Здѣсь, повидимому, взаимная связь членовъ общества очень слаба. И, однако, члены эти могутъ всю душу свою класть въ то или другое предпріятіе общества, совершенно упуская изъ вида всѣ другія связи и отношенія и даже дѣйствуя въ ущербъ наиболѣе, повидимому, прочнымъ и кореннымъ изъ нихъ. Такъ англичанинъ, какъ членъ этой компаніи, можетъ участвовать въ продажѣ оружія народу, съ которымъ его отечество находится въ войнѣ. Но и только что упомянутая бушменская семья не неразрывна. Отдѣльные ея члены могутъ попасть въ плѣнъ къ другому народу и тамъ, вдали отъ своихъ, болѣе или менѣе приспособиться къ условіямъ чужой жизни; могутъ вступить тамъ въ бракъ съ представительницей другой расы и т. д. Существуютъ даже противообщественныя натуры, совершенно удаляющіяся отъ общенія съ людьми, какъ индусскіе кающіеся или христіанскіе анахореты. И при чемъ останется тутъ,—иронически спрашиваетъ Шурцъ,—таинственная душа группы, которою мыслитъ и дѣйствуетъ индивидуумъ?

Случается, что оба вида общественныхъ союзовъ болѣе или менѣе совпадаютъ. Такъ, напримѣръ, въ какомъ-нибудь маленькомъ городкѣ образуется музыкальный кружокъ. Члены этого послѣдняго суть, по всей вѣроятности, соотечественники, и въ этомъ смыслѣ отдаленно связаны узами крови. Однако, непосредственной причиной образованія кружка послужили не эти узы крови, отступающіе въ этомъ случаѣ совсѣмъ на задній планъ, а единство вкусовъ, на-

клонностей, призванія. Даже родные братья могутъ въ общественномъ отношеніи идти совершенно разными дорогами. Чисто на кровномъ родствѣ, по крайней мѣрѣ, повидимому, основывается родъ, эта выступающая за предѣлы семьи общественная организація. Но замѣчательно, что съ развитіемъ культуры она постепенно уступаетъ мѣсто болѣе свободнымъ союзамъ. Если гдѣ и сохранились родовыя организаціи, то основою ихъ служатъ не родственныя отношенія, а матеріальные интересы сословія и семейной собственности. Вообще, узы крови и собственно склонность къ общенію имѣютъ между собою мало общаго.

Ко всему этому Шурцъ прибавляетъ еще одно соображеніе, играющее въ его теоріи особенно важную роль. Онъ указываетъ на слабость общественныхъ склонностей у представительницъ женскаго пола. Это звучитъ парадоксомъ, — говоритъ онъ, — но надо различать естественныя и искусственныя, первичныя и вторичныя общественныя связи. Только послѣднія и имѣются въ виду авторомъ, когда онъ утверждаетъ, что въ мужчинѣ общественныя склонности сильнѣе, чѣмъ въ женщинѣ. „Нѣкоторыя женскія черты,—говоритъ онъ,—могутъ при поверхностномъ наблюденіи затушевать этотъ фактъ: материнская любовь съ сопровождающею ее готовностью жертвовать собой ради другихъ, а также извѣстные недостатки (Untugenden), какъ болтливость, страсть къ нарядамъ, пустое любопытство, побуждающее больше, чѣмъ нужно, интересоваться чужими дѣлами и легко превращающееся въ сплетничанье, — могутъ показаться свидѣтельствами сильнаго общественнаго чувства. Но уже тотъ общеизвѣстный фактъ, что женщины рѣдко дружатъ между собою, что онѣ, напротивъ, съ трудомъ преодолѣваютъ взаимное недовѣріе и даже недоброжелательство, наводитъ на сомнѣніе, такъ какъ общественный инстинктъ долженъ бы былъ сближать подобное съ подобнымъ, что мы дѣйствительно видимъ у мужчинъ. Одного взгляда на дѣйствительную жизнь достаточно, чтобы убѣдиться въ малосиліи женщинъ въ дѣлѣ образованія обществъ. Изъ безчисленныхъ вторичныхъ союзовъ подавляющее большинство принадлежитъ мужчинамъ; немногіе союзы, въ которыхъ выступаютъ исключительно женщины или на равныхъ правахъ съ мужчинами, представляютъ собою только слабое подражаніе чисто мужскимъ обществамъ; вполнѣ самостоятельныхъ женскихъ созданій этого рода почти нѣтъ. Съ другой стороны, половыя чувства и особенно родительская любовь, составляющія корень естественныхъ группъ, раз-

виты въ женщинахъ сильнѣе и разностороннѣе, чѣмъ въ мужчинахъ, и несомнѣнно существующая въ женскомъ полѣ потребность въ обществѣ развита именно въ этомъ направленіи."

Было бы очень соблазнительно,—замѣчаетъ Шурцъ,—свести разнообразными путями возникающіе вторичные общественные союзы къ союзамъ семейнымъ, но это невозможно; и именно это неправильное обобщеніе имѣло своимъ результатомъ безплодную точку зрѣнія, въ силу которой индивидъ объявляется простой функціей „общества". Ошибочность этой точки зрѣнія выясняется при взглядѣ на міръ животныхъ. Лишь нѣкоторые, правда, очень многочисленные виды животныхъ выработали себѣ общественный инстинктъ, становящійся иногда непреодолимою силою, которая, какъ у домашнихъ овецъ, можетъ повести къ полному подавленію индивидуальной самостоятельности. Среди какъ высшихъ, такъ и низшихъ животныхъ есть виды общественные и не общественные. Послѣдніе, повинуясь половому инстинкту, а также часто и родительскому, соединяются во временныя небольшія группы, но эти слабые зачатки не развиваются въ болѣе крупныя и прочныя общественныя единицы. Какъ мало половыя связи имѣютъ общаго съ общественными, видно на примѣрѣ многихъ низшихъ животныхъ, размножающихся не половымъ путемъ, а дѣленіемъ и почкованіемъ и, однако, образующихъ, какъ полипы, въ своемъ родѣ очень развитыя общества.

Центръ всѣхъ тяготѣній женщины („оставляя въ сторонѣ ненормальные или патологическіе экземпляры",—замѣчаетъ Шурцъ въ скобкахъ) лежитъ въ сферѣ половой жизни, тогда какъ мужчина вноситъ въ свою дѣятельность общественный элементъ единенія подобнаго съ подобнымъ, и любовь къ женщинѣ есть для него только эпизодъ. Въ этомъ заключается глубокая, почти неустранимая противоположность между обоими полами, ведущая то къ трагическимъ, то къ комическимъ столкновеніямъ. Но, разумѣется, и между мужчинами не у всѣхъ одинаково развито общественное чувство, и отсюда рождаются противорѣчія, имѣющія важное значеніе для хода культуры. Рядомъ съ общественною склонностью, предполагающею подчиненіе личности большинству, развиваются то инстинктъ власти, господства, то жажда индивидуальной свободы, и, такимъ образомъ, въ результатѣ получается чрезвычайно пестрая картина.

Какъ ни интересна мысль Шурца о рѣзко различномъ двоякомъ происхожденіи общества—путемъ родительски-семейныхъ связей и путемъ вольныхъ союзовъ,—надо признать, что вышеприведенныя его разсужденія о женщинѣ довольно таки банальны. Онъ ссылается, въ подтвержденіе, на великолѣпную прозу Шопенгауэра и Ничше, на красивые стихи Леопарди, даже на знаменитое „où est la femme?"—въ чемъ нѣтъ никакой надобности, такъ какъ все это есть давнишнее достояніе толпы. Но онъ не ограничивается этими банальностями, а приводитъ и доводы отъ науки. Доводы эти двоякаго рода. Во-первыхъ, этнографическіе, составляющіе развитіе и фактическое подтвержденіе его замѣчанія о слабости, немногочисленности и неоригинальности вторичныхъ, вольныхъ женскихъ союзовъ; къ этимъ доводамъ мы вернемся ниже. Во-вторыхъ, въ главѣ „Значеніе половыхъ различій", онъ дѣлаетъ экскурсію въ область біологіи. Мы этой экскурсіи совсѣмъ не тронемъ, такъ какъ она не оригинальна и вдобавокъ оканчивается слѣдующимъ замѣчаніемъ: „Ревнивый характеръ самцовъ способствуетъ образованію семей, но не большихъ общественныхъ союзовъ. Если, не смотря на это, въ человѣчествѣ именно мужчина является носителемъ общественной склонности, то это есть результатъ вторичнаго развитія. Драчливый характеръ мужского пола, самъ по себѣ враждебный общественности, повидимому, легко принимаетъ другое направленіе, какъ только главною задачею становятся не борьба съ соперниками, а защита отъ внѣшнихъ враговъ и охота,—и та, и другая естественно выпадающія на долю мужчины. Передъ враждебными ордами и огромными животными ледяного періода одинокій человѣкъ былъ безсиленъ; здѣсь только тѣсное сближеніе, братское и самоотверженное единеніе могло вести къ цѣли. Постепенно эта сторона мужского характера заняла первое мѣсто и сильно заглушила старую ревность. Конечно, и теперь иной крестьянскій парень до полусмерти избиваетъ соперника, но на внѣшнихъ враговъ онъ идетъ съ нимъ рядомъ, тѣсно съ нимъ связанный сознаніемъ высшаго и сильнѣйшаго единства. Естественно, что это качество можетъ съ теченіемъ времени преобразоваться, какъ это было со многими другими, постепенно перейти къ женскому полу, такъ что различіе между полами на этомъ пунктѣ сгладится; но для этого нужно долгое время, а мы здѣсь интересуемся только данными отношеніями." Любопытно еще слѣдующее замѣчаніе Шурца: „У европейскихъ культурныхъ народовъ, у которыхъ трудъ — въ томъ числѣ и механическій — стано

вится все болѣе почетнымъ дѣломъ, вмѣстѣ съ тѣмъ все улучшается положеніе женщины, потому что въ трудѣ женщина равна мужчинѣ, а въ механически-точномъ исполненіи обязанностей даже превосходитъ его".

Такимъ образомъ, біологическая экскурсія Шурца, имѣвшая цѣлью показать, что характеръ женщины есть нѣчто самою природою разъ навсегда предопредѣленное, бьетъ мимо цѣли. Не въ обиду будь сказано прекрасному полу, въ мнѣніи Шурца есть извѣстная доля правды, но изъ этого не слѣдуетъ, что женщина всегда была и всегда будетъ такою, какова она, вообще говоря, теперь въ такъ называемомъ культурномъ обществѣ. Надо признать, что половыя особенности женщины кладутъ на нее свою печать, но надо также признать, что характеръ ея достаточно гибокъ, а сила культуры достаточно могуча, чтобы произвести въ немъ измѣненія, какихъ мы даже предвидѣть не можемъ; и Шурцъ, очевидно, слишкомъ торопится обзывать „близорукимъ и плоскимъ" взглядъ, по которому современная женщина есть продуктъ воспитанія въ длинномъ ряду поколѣній. И, однако, онъ еще разъ возвращается къ своей мысли о рѣзкомъ, въ самой природѣ заложенномъ не только различіи, но и антагонизмѣ между мужчинами и женщинами.

Шурцъ слишкомъ человѣкъ факта, чтобы отрицать присутствіе элемента благожелательности въ томъ цементѣ, который связываетъ людей въ общества; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ слишкомъ находится подъ вліяніемъ Ничше, о которомъ, впрочемъ, едва упоминаетъ, чтобы обойти отрицательные элементы въ отношеніяхъ человѣка къ человѣку. Онъ пишетъ: „Съ присущею ему склонностью къ общественной жизни, человѣкъ охотно соединяется съ человѣкомъ, онъ радъ подобному себѣ *). Это не должно, однако, скрывать отъ насъ того факта, что вмѣстѣ съ тѣмъ ничто не становится человѣку такъ непріятнымъ и даже отвратительнымъ, какъ именно человѣкъ". Положеніе это, можетъ быть, казалось бы, иллюстрировано множествомъ фактовъ, такъ какъ несомнѣнно, ни одно явленіе природы не способно вызвать въ насъ столько злобы, ненависти, отвращенія, презрѣнія, какъ человѣкъ при извѣстныхъ условіяхъ. Но, страннымъ образомъ, Шурцъ останавливается только на растущемъ вмѣстѣ съ культурою физическомъ отвращеніи къ нечистоплотности и къ виду и запаху человѣческихъ отдѣленій и выдѣленій. Стран-

*) Hat Freude an seinesgleichen.

ность эта объясняется тѣмъ, что нашъ авторъ находитъ удобнымъ повернуть разговоръ съ этого пункта на свою излюбленную тему о различіи и антагонизмѣ между мужчиной и женщиной. Безъ сомнѣнія,—говоритъ онъ,—оба пола „способны взаимно восполнять и обогащать другъ друга; но *когда восполненіе не удается или не имѣется въ виду*, ихъ различіе легко переходитъ въ антипатію". „Женщина обладаетъ болѣе богатыми половыми функціями, а вмѣстѣ съ ними и непріятною стороною животной жизни. Какъ разъ то, что составляетъ очарованіе въ глазахъ чувственно-возбужденнаго мужчины, становится по отрезвленіи противнымъ". Съ своей стороны и женщина, правда, въ меньшей степени, часто непріятно возбуждается активною чувственностью мужчины. Столь же велика, если еще не болѣе значительна, психическая противоположность между полами. И здѣсь есть нѣчто чарующее, легко превращающееся въ непріятное. То, что рисуется поэту чудной загадкой, въ глазахъ разочарованнаго является нелогичнымъ, капризнымъ, безхарактернымъ существомъ, отклоняющимъ мужчину отъ его стремленія къ высшимъ цѣлямъ. Съ своей стороны и женщина, смотря по настроенію, видитъ въ мужчинѣ то грубость, то спокойную силу, то заносчивость, то правомѣрное самосознаніе, то ослѣпленіе, то глубокую проницательность. „*Тамъ, гдѣ въ брачныхъ отношеніяхъ преобладаетъ чувственность*, эти колебанія и разочарованія особенно часты, какъ съ безпощадною ясностью показалъ это Толстой въ своей „Крейцеровой сонатѣ".

Двѣ только что подчеркнутыя мною фразы Шурца опредѣлительно указываютъ условія, отъ которыхъ зависятъ случаи взаимной антипатіи людей, соединенныхъ половою любовью, а слѣдовательно, и тѣ ограниченія, которымъ подлежитъ тезисъ Шурца: когда взаимное восполненіе не удается или не имѣется въ виду; когда въ брачныхъ отношеніяхъ преобладаетъ чувственность — иначе говоря, когда людей связываютъ только половыя отношенія, а во всѣхъ остальныхъ они чужіе другъ другу. Художественная литература даетъ этому много иллюстрацій, въ своемъ родѣ даже болѣе яркихъ, чѣмъ „Крейцерова соната". Таковы, напримѣръ, отношенія гр. Мюффа и Нана у Золя или Санина и Полозовой у Тургенева. У того же Тургенева герой „Переписки" Алексѣй Петровичъ такъ резюмируетъ свой любовный опытъ съ пустенькой итальянской танцовщицей: „Любовь даже не чувство, она — болѣзнь... Въ любви нѣтъ такъ называемаго свободнаго

соединенія душъ и прочихъ идеальностей, придуманныхъ на досугѣ нѣмецкими профессорами... и недаромъ поэты толкуютъ о цѣпяхъ, налагаемыхъ любовью. Да, любовь — цѣпь, и самая тяжелая". Если чувственность составляетъ естественную и необходимую основу любви, то человѣкъ существо слишкомъ сложное, чтобы любовь могла исчерпываться чувственностью. Разумъ, чувство и воля требуютъ своей доли участія въ томъ „восполненіи", о которомъ говоритъ Шурцъ, и когда эти алканія высшихъ способностей духа остаются неудовлетворенными, — любовь дѣйствительно становится „болѣзнью" и „цѣпью", въ бряцаніи которой слышится и злоба, и отвращеніе, но разорвать которую, по крайней мѣрѣ у многихъ, не хватаетъ силъ. При современныхъ условіяхъ это очень обыкновенный случай, но изъ этого не слѣдуетъ, что такое положеніе вещей составляетъ предѣлъ, его же не прейдетъ человѣчество на дальнѣйшемъ пути своего развитія. И самъ Шурцъ, не смотря на свою вѣру въ непоколебимость природныхъ данныхъ,—мимоходомъ сказать, странно контрастирующую съ его убѣжденіемъ, что девизомъ этнолога должно быть древнее изреченіе: „все течетъ",—самъ Шурцъ провидитъ на этомъ пунктѣ въ будущемъ нѣчто отличное отъ настоящаго. Говоря о такъ называемомъ „феминистскомъ" движеніи, онъ замѣчаетъ, что, за исключеніемъ патологическихъ случаевъ, женщина, уподобляясь мужчинѣ, выигрываетъ (мужчина, уподобляясь женщинѣ, проигрываетъ) и что на этомъ пути „половая антипатія" должна, по крайней мѣрѣ, ослабѣть, если не исчезнуть.

Итакъ, общество имѣетъ двоякій источникъ: кровныя узы, связывающія людей помимо ихъ воли и выбора, и удовлетворяющія собственно общественному инстинкту, болѣе или менѣе подлежащія свободному выбору. Половыя связи составляютъ нѣчто промежуточное, такъ какъ, будучи сами по себѣ, если не въ дѣйствительности, то въ возможности, дѣломъ свободнаго выбора, онѣ вмѣстѣ съ тѣмъ кладутъ начало узамъ по крови. Впрочемъ, половыя связи, какъ таковыя, независимо отъ семейныхъ, Шульцъ склоненъ и совсѣмъ не включать въ кругъ отношеній общественныхъ. Какъ бы то ни было, своимъ взглядамъ на происхожденіе общества, несомнѣнно очень цѣннымъ, онъ придаетъ едва-ли не чрезмѣрное значеніе. Онъ пишетъ въ предисловіи: „Выводы, которые могутъ

сдѣлать изъ этой книги о сущности и будущности культурнаго общества, я на этотъ разъ едва намѣтилъ. Здѣсь я хотѣлъ бы, по крайней мѣрѣ, указать на то, что альтруистическое ученіе о нравственности подлежитъ отнынѣ основательному пересмотру, такъ какъ изъ полового и семейнаго инстинкта, съ одной стороны, и чисто общественной склонности съ другой — должны вытекать два очень различные и часто совершенно противоположные рода нравственныхъ законовъ. Борьба между этими нравственными законами часто обращала на себя вниманіе и поэтически воспроизводилась, но разумѣніе ея дѣйствительнаго значенія возможно только на основаніи освѣщенныхъ мною фактовъ. И не только въ области морали, но и во всѣхъ сферахъ человѣческой дѣятельности даетъ себя знать противоположность этихъ двухъ направленій, созидая и разрушая общественныя формы".

Что ходячая, якобы альтруистическая и вся изъѣденная молью лжи и лицемѣрія мораль требуетъ пересмотра, въ этомъ для людей яснаго сознанія и до появленія книги Шурца не было сомнѣнія. И книга эта ничего не даетъ собственно по этому вопросу, она даже совсѣмъ не затрогиваетъ его. Если же Шурцъ говоритъ о „едва намѣченныхъ" имъ выводахъ относительно „сущности и будущности культурнаго общества", то общій итогъ этихъ выводовъ сводится къ слѣдующему положенію: „Вся исторія культуры сопровождается и во многихъ отношеніяхъ опредѣляется освободительной борьбой, цѣль которой состоитъ въ разложеніи слишкомъ узкихъ и мало подвижныхъ естественныхъ союзовъ и въ замѣнѣ ихъ свободными и болѣе приспособленными къ культурному развитію группами". Въ этомъ отношеніи Шурцъ, дѣйствительно, дѣлаетъ нѣсколько интересныхъ указаній.

Позволю себѣ напомнить, что слишкомъ тридцать лѣтъ тому назадъ, въ своей юношеской работѣ „Что такое прогрессъ?", я писалъ о двухъ рѣзко различныхъ формахъ общественности, а именно по типамъ простого и сложнаго сотрудничества, и различными сочетаніями этихъ двухъ типовъ объяснялась для меня вся исторія человѣчества (Позже эта теорія, сохраняя свои существенныя черты, развилась въ теорію борьбы за индивидуальность). При этомъ исходною точкою общества сложнаго сотрудничества признавались семейныя—брачныя и кровныя отношенія, а подъ именемъ обществъ простого сотрудничества разумѣлись вольные союзы охотниковъ и воиновъ. Между прочимъ, читаемъ: „Если въ союзъ

простого сотрудничества вступаютъ нѣсколько семейныхъ дикарей, участвующихъ такимъ образомъ и въ системѣ простого, и въ системѣ сложнаго сотрудничества, то для нихъ слагаются два совершенно различныхъ кодекса" (Сочиненія, I, 86). Мысль эта иллюстрировалась единовременнымъ существованіемъ Запорожской сѣчи съ ея демократически-республиканскимъ строемъ и отсутствіемъ женщинъ, и казаковъ-горожанъ, земледѣльцевъ и пастуховъ. „Самособою разумѣется что эта организація казачества можетъ дать только слабое понятіе какъ о первобытной жизни, съ одной стороны, такъ и о дальнѣйшихъ, болѣе развитыхъ формахъ простого и сложнаго сотрудничества" (87).

Общая руководящая мысль Шурца почти буквально такова же, но онъ подходитъ къ ней на основаніи колоссальнаго фактическаго матеріала, правда, исключительно этнографическаго и очень однообразнаго. Это огромное собраніе свѣдѣній о существующихъ у разныхъ народовъ, рядомъ съ семьей и ея производными, — „возрастныхъ классовъ" и союзовъ мужчинъ съ ихъ видоизмѣненіями въ формѣ клубовъ и тайныхъ обществъ. Всѣ эти классы, союзы и общества Шурцъ, въ противоположность брачнымъ и кровнымъ узамъ, называетъ „симпатическими", основанными на чисто общественномъ инстинктѣ и болѣе или менѣе добровольными. Ихъ можно бы было назвать братскими, если бы не основная тенденція Шурца отдѣлить ихъ отъ всяческихъ кровныхъ союзовъ. Было бы утомительно, да и не нужно знакомить читателей со всей массой собранныхъ въ книгѣ Шурца фактовъ. Мы остановимся только на нѣкоторыхъ изъ нихъ.

У всѣхъ почти дикихъ народовъ моменты наступленія половой зрѣлости отмѣчаются особыми празднествами, религіозными церемоніями, обрѣзаніемъ, измѣненіями въ костюмѣ и т. п. И съ этого момента юношѣ разрѣшаются половыя сношенія съ ровесницами, точнѣе съ созрѣвшими для половой жизни дѣвушками. Но это — практика свободной любви, а не настоящая брачная жизнь, которая наступаетъ позже, иногда гораздо позже, когда мужчина заработаетъ трудомъ или военной добычей достаточно средствъ для выкупа жены у ея семьи. Холостые юноши образуютъ особый классъ, живутъ отдѣльно отъ своихъ семей, въ общемъ помѣщеніи, куда иногда допускаются и женатые мужчины. Но послѣдніе составляютъ уже новый возрастный классъ. Затѣмъ слѣдуетъ старческій возрастъ, характеризующійся угасаніемъ половой способности и общимъ

ослабленіемъ силъ. Судьба старцевъ очень различна. Иногда они оказываются безполезнымъ бременемъ для племени, и ихъ убиваютъ или предоставляютъ имъ добровольно покончить жизнь; иногда, напротивъ, въ нихъ цѣнится житейская опытность, а еще иногда ихъ просто выбрасываютъ изъ общества. „Выброшенные старцы вновь соединяются въ убогія общества, подобно средневѣковымъ прокаженнымъ или слѣпымъ нищимъ въ Китаѣ, чтобы закончить горестный остатокъ существованія въ видѣ печальнѣйшаго возрастнаго класса. Это объединеніе несчастныхъ и заброшенныхъ показываетъ, какъ глубоко вкоренена въ самое существо человѣка общественность, какъ испытанное оружіе въ борьбѣ за существованіе. Кого общество выталкиваетъ, тотъ примыкаетъ къ подобнымъ ему несчастнымъ и ждетъ отъ нихъ, если не помощи, то участія, проистекающаго изъ тѣхъ же страданій и тѣхъ же надеждъ“.

Приведенныя слова Шурца подчеркиваютъ то, что онъ считаетъ сущностью „симпатическихъ“ или вторичныхъ союзовъ: тяготѣніе подобнаго къ подобному, независимо отъ кровныхъ узъ. При образованіи такихъ группъ возрастъ играетъ важную, но не единственную роль. Всякая сила, въ чемъ бы она ни состояла, выдѣляетъ изъ рядовъ общества ея носителей, безотносительно къ ихъ возрасту, и затѣмъ они образуютъ новую группу. Эта склонность къ единенію съ себѣ подобными свойственна, однако, преимущественно только мужчинамъ, женщины почти совсѣмъ лишены ея, и оттого такъ малочисленны и слабы женскія симпатическія группы. Правда, мужчина драчливъ и ревнивъ, но относительно половой ревности онъ же выработалъ рядъ ограниченій, предоставивъ, наприемѣръ, свободную любовь холостымъ, и установилъ болѣе или менѣ строгіе брачные порядки. Его „драчливость выражается болѣе во взаимной ревности группъ, тогда какъ женская имѣетъ чисто личный или семейный характеръ. Мужчина съ охотою борется за „хорошее дѣло“, то есть, за честь и благо свободныхъ общественныхъ группъ, а въ своей возвышеннѣйшей формѣ развитія—за благо всего человѣчества, отвѣтственнымъ членомъ котораго онъ себя чувствуетъ“. И, какъ истый нѣмецъ, Шурцъ иллюстрируетъ эти свои положенія объединеніемъ Германіи „durch Blut und Eisen“, или, говоря словами либретто „Жизнь за царя“, „послѣ драки молодецкой“.

Празднества по случаю наступленія половой зрѣлости, совпадающаго обыкновенно съ моментомъ пригодности къ воинскому дѣлу,

имѣютъ торжественный, но отнюдь не исключительно радостный характеръ. Юноши, кромѣ болѣе или менѣе долгаго предшествующаго торжесту поста, претерпѣваютъ, какъ извѣстно, разныя мучительныя истязанія. Такъ, у нѣкоторыхъ австралійскихъ племенъ имъ выбиваютъ передніе зубы, продыравливаютъ носъ и губы, ихъ безпощадно бичуютъ; у сѣверо-американскихъ индѣйцевъ мучаютъ муравьями и осами, вытягиваютъ подвѣшиваніемъ грудные и ручные мускулы и т. п. Претерпѣніе всѣхъ этихъ часто жесточайшихъ мучительствъ должно служить доказательствомъ выносливости, необходимой воину. Юноша, не выдержавшій пытокъ, не допускается въ союзъ себѣ подобныхъ по возрасту и развитію. Всѣ эти церемоніи не разъ описывались, но Шурцъ особенно останавливается на тѣхъ подробностяхъ, которыми символизируется отграниченіе мужского пола отъ женскаго. У разныхъ народовъ это дѣлается разно: то юноши являются на торжество въ женскихъ одеждахъ, которыя женщинами же и срываются съ нихъ; то женщины совсѣмъ не допускаются присутствовать на празднествѣ; то юноши продѣлываютъ комедію смерти и воскресенія. Это послѣднее знаменуетъ возрожденіе къ новой жизни: до этихъ поръ мальчики были на одномъ положеніи съ своими сверстницами и жили въ семьяхъ, при матеряхъ, а отнынѣ семейныя узы, представительницей которыхъ является женщина, разрываются, юноши становятся членами чисто общественной „симпатической“ группы. Живутъ они, какъ уже сказано, въ отдѣльномъ общемъ помѣщеніи; въ немъ же проводятъ большую часть своего времени и женатые мужчины. Тутъ рѣшаются военные вопросы, тутъ хранится оружіе, тутъ собираются для бесѣдъ и проч., и въ концѣ концовъ собирающаяся въ этихъ „мужскихъ домахъ“ наиболѣе вліятельная часть племени имѣетъ гораздо болѣе общаго между собой, чѣмъ съ своими женами. Шурцъ съ большою тщательностью слѣдитъ за дальнѣйшею судьбою этихъ „мужскихъ союзовъ“, отмѣчая ихъ перекрещивающіяся столкновенія съ семейнымъ началомъ.

Въ Африкѣ существовалъ могущественный воинственный народъ Dschagga, который въ періодъ своего процвѣтанія не былъ народомъ въ обыкновенномъ смыслѣ слова, то есть, большимъ союзомъ, состоящимъ изъ семей и родовъ. Это было своего рода разбойничье общество, состоявшее, правда, изъ мужчинъ, женщинъ и дѣтей, но послѣднія не были потомки взрослаго населенія: собственныя дѣти Dschagga убивались тотчасъ послѣ рожденія, а на мѣсто

ихъ брались подростки изъ побѣжденныхъ и истребленныхъ племенъ. Такимъ образомъ, избѣгался трудъ воспитанія, и населеніе численно увеличивалось, собственно говоря, не размножаясь. Нѣчто подобное практиковалось и въ нынѣшнія времена нѣкоторыми воинственными кафрами. Мирные жители одного изъ Соломоновыхъ островов во избѣжаніе хлопотъ о воспитаніи также убиваютъ своихъ новорожденныхъ, покупая себѣ подростковъ у другихъ племенъ. Возможность такихъ явленій показываетъ,—говоритъ Шурцъ,—какъ сильны общественныя склонности въ сравненіи съ родственными: воинственная группа, члены которой совсѣмъ не родня другъ другу и должны бы были другъ друга ненавидѣть, образуютъ благодаря привычкѣ, воспитанію и общественному инстинкту, замкнутое цѣлое, чувствующее и дѣйствующее заодно, какъ и народъ, возникшій естественнымъ путемъ. Шурцъ оговаривается, что въ этихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло, пожалуй, скорѣе съ нравственнымъ оскудѣніемъ (Verlumpung), чѣмъ съ побѣдой мужского общественнаго идеала надъ женскимъ, или свободной группировки надъ кровными узами. Но вотъ, въ древней Спартѣ дѣти возможно рано отрывались отъ семьи и группами отдавались на воспитаніе представителей государственной власти, и это было вполнѣ сознательное и цѣлесообразное подчиненіе семейныхъ чувствъ интересамъ воинственной общины. Въ европейскихъ государствахъ школа, распредѣляющая дѣтей и юношей по однороднымъ группамъ, также представляетъ опору общественному чувству противъ семейныхъ вліяній. И страннымъ образомъ соединяющій въ себѣ отголоски ничшеанства съ грубоватымъ нѣмецкимъ патріотизмомъ, Шурцъ заключаетъ эти соображенія хвалою „прекрасному обычаю прусскихъ государей отдавать своихъ принцевъ въ высшія школы, гдѣ они входятъ въ составъ однородныхъ группъ“.

Прусскіе принцы слушаютъ лекціи въ университетахъ наравнѣ съ сыновьями простыхъ смертныхъ, а прусскія принцессы получаютъ, кажется, исключительно домашнее, семейное воспитаніе. Но дочери простыхъ смертныхъ обучаются и воспитываются въ различныхъ училищахъ, пансіонахъ, институтахъ и разныхъ другихъ наименованій низшихъ, среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, при чемъ также складываются въ однородныя по возрасту, знанію и способностямъ группы, иногда вмѣстѣ съ юными представителями другого пола, иногда совершенно изолированно. Объ этомъ Шурцъ даже не упоминаетъ, хотя съ его точки зрѣнія представляло бы

особенный интересъ рѣшеніе вопроса,—какъ отзывается на женщинахъ эта оторванность отъ вліяній семьи и замѣна ихъ вліяніемъ „симпатической“ группы. Вообще, что касается женщины, то всѣ относящіеся къ нимъ факты, параллельные тѣмъ, которые особенно занимаютъ нашего автора, когда дѣло идетъ о мужчинахъ, онъ проходитъ какъ-то бѣгомъ. Такъ, напримѣръ, онъ указываетъ, что и дѣвушки, достигшія зрѣлости, подвергаются жестокимъ пыткамъ: ихъ заставляютъ поститься, держатъ въ одиночномъ заключеніи, бичуютъ и натираютъ потомъ раны перцемъ и т. п., и затѣмъ происходятъ извѣстныя церемоніи; но въ то время, какъ изъ празднованія мужской зрѣлости онъ дѣлаетъ цѣлый рядъ вѣрныхъ или невѣрныхъ выводовъ (мы привели далеко не всѣ), объ этихъ женскихъ испытаніяхъ и празднествахъ онъ только упоминаетъ. Мы узнаемъ, далѣе, что у многихъ народовъ существуютъ женскія параллели для мужскихъ домовъ, мужскихъ союзовъ, клубовъ и тайныхъ обществъ, что есть и случаи совмѣстной, но не на половыхъ отношеніяхъ основанной жизни и дѣятельности мужчинъ и женщинъ. Но все это отмѣчается мимоходомъ, и Шурцъ довольствуется указаніемъ на слабость, малую вліятельность, неоригинальность этихъ явленій. Эти-то свойства женскихъ союзовъ и составляютъ для него научное подтвержденіе его взглядовъ на роль и характеръ женщины.

Вообще, надо сказать, что огромный фактическій матеріалъ, собранный Шурцемъ, разработанъ имъ далеко неравномѣрно. Нѣкоторыя частности обставлены у него даже съ излишнею роскошью, тогда какъ иные, весьма важные вопросы чуть затронуты. Такъ, напримѣръ, его оригинальные взгляды на происхожденіе и значеніе рода требовали бы гораздо болѣе обстоятельной разработки. Но насъ здѣсь интересуютъ только тѣ два основные столпа, на различныхъ комбинаціяхъ которыхъ онъ строитъ все сложное зданіе общества и всю исторію культуры. Думаю, что его разграниченіе семейныхъ и чисто общественныхъ „симпатическихъ“ чувствъ должно стать прочнымъ и плодотворнымъ достояніемъ науки. Но въ его изложеніи эта мысль требуетъ большихъ и серьезныхъ поправокъ. Во-первыхъ, на ней есть, по малой мѣрѣ, совершенно ненужный наростъ,—та мизогинія, которая вдохновляетъ его чуть не на каждой страницѣ. Не смотря на постоянное возвращеніе къ тезису о неспособности женщины къ чисто-общественнымъ чувствамъ, онъ не доказалъ его. Пусть въ прошломъ—и въ какомъ

отдаленномъ прошломъ! у разныхъ австралійскихъ и африканскихъ дикарей, живущихъ жизнью чуть не каменнаго вѣка!—женщина есть только самка и, самое большое, мать, хотя позволительно и въ этомъ сомнѣваться; пусть въ извѣстныхъ кругахъ современнаго общества женщина есть, уже безъ всякаго сомнѣнія, самка. Все это еще не рѣшаетъ принципіальнаго вопроса о способности или неспособности женщины къ „симпатическимъ" союзамъ, какъ въ своей, женской средѣ, такъ и безъ различія пола. И мы не мало знаемъ образцовъ и тѣхъ, и другихъ.

Затѣмъ, если, какъ справедливо утверждаетъ Шурцъ, немыслимо видѣть въ супружеской и родительской любви корень всѣхъ общественныхъ чувствъ,—въ выясненіи этого отрицательнаго положенія и состоитъ его главная заслуга,—то не менѣе вѣрно, что невозможно свести всѣ общественныя формы къ переплету двухъ указанныхъ Шурцемъ началъ. Онъ говоритъ, между прочимъ, и характерно именно то, что между прочимъ: „Обособленіямъ и новообразованіямъ внутри естественныхъ группъ противостоятъ явленія, объединяющія различные не родственные между собою союзы въ организмы высшаго порядка. Полное объединеніе получается этимъ путемъ обыкновенно очень поздно и съ большимъ трудомъ. Различныя связанныя между собою группы долго остаются взаимно чуждыми другъ другу и образуютъ въ общемъ организмѣ народа отдѣльныя общественныя наслоенія. Такъ бываетъ, въ особенности, въ случаяхъ насильственнаго объединенія, когда или цѣлый народъ подчиняется другому народу, или же образуется подчиненный слой изъ военноплѣнныхъ. Сюда же относится добровольная иммиграція, какъ это было у насъ съ евреями и цыганами, или въ нѣкоторыхъ странахъ съ армянами. Такъ какъ образующіеся при этомъ новые классы обыкновенно имѣютъ опредѣленный родъ занятій, то легко возникаютъ союзы, подобные кастамъ, которые вдвойнѣ рѣзко выдѣляются изъ остального населенія страны... Всякій кастовый строй, расцвѣтъ котораго мы видимъ въ Индіи, имѣетъ тенденцію сливать естественныя и симпатическія группы воедино, другими словами, совмѣщать одинаковое происхожденіе съ одинаковымъ родомъ занятій и воздвигать почти непреодолимыя границы между отдѣльными классами".

Послѣднее замѣчаніе совершенно вѣрно и принадлежитъ къ числу давно общепризнанныхъ. Но завоеваніе, какъ факторъ возникновенія своеобразныхъ союзовъ, заслуживало бы гораздо боль-

шаго вниманія чѣмъ то, которое ему удѣляетъ Шурцъ. Роль этого элемента въ исторіи, конечно, огромна, между тѣмъ узы, связывающія побѣдителей и побѣжденныхъ, нельзя отнести ни къ кровнымъ, родственнымъ,—такъ какъ тѣ и другія часто принадлежатъ даже къ различнымъ расамъ,—ни къ „симпатическимъ", добровольнымъ. Правда, Шурцъ занятъ преимущественно такъ называемыми первобытными народами и низшими ступенями общежитія, а роль завоеванія вполнѣ обнаруживается только съ образованіемъ государствъ. Но побѣдители и остающіеся при нихъ въ качествѣ рабовъ военноплѣнные существуютъ и на отдаленной зарѣ исторіи. Шурцу и приходится упоминать мимоходомъ о рабахъ. Такъ, въ главѣ о тайныхъ обществахъ, существующихъ у многихъ австралійскихъ и африканскихъ дикарей, онъ говоритъ, что большинство ихъ имѣетъ цѣлью охраненіе нѣкоторыхъ религіозныхъ тайнъ, скрытыхъ отъ непосвященныхъ, главнымъ образомъ, женщинъ и рабовъ. Но если отношеніямъ между мужчинами и женщинами онъ удѣляетъ даже слишкомъ много вниманія, то отношенія между господами и рабами, побѣдителями и побѣжденными остаются у него безъ всякаго освѣщенія. Далѣе, дѣлаетъ же онъ экскурсіи въ исторію культурныхъ народовъ, доходя въ этомъ направленіи, какъ мы видѣли, не только до древней Спарты, но даже до обычая прусскихъ государей отдавать своихъ принцевъ въ университеты. Между тѣмъ, о государствѣ, какъ особой формѣ общественнаго союза, мы находимъ у него только одно замѣчаніе. А именно, говоря о разложеніи родового быта, онъ пишетъ: „Разложеніе можетъ происходить очень различными путями. Укрѣпленіе семейныхъ склонностей и соотвѣтственныхъ общественныхъ формъ часто измѣняетъ родовой бытъ въ томъ направленіи, что материнское право уступаетъ мѣсто патріархальнымъ отношеніямъ, какъ это было въ древней Греціи и въ Римѣ. Инымъ образомъ измѣняется общество подъ вліяніемъ болѣе крѣпкаго сростанія съ территоріей: изъ родовъ вырабатываются, какъ въ большей части Африки, деревенскія общины, внутри которыхъ опять-таки сильнѣе развиваются семейныя начала. А изъ общества и территоріи образуется, какъ блистательно доказалъ Фридрихъ Ратцель, государство, въ которомъ мы имѣемъ великую, всеобъемлющую общественную форму культурнаго міра; и въ немъ родовые союзы оказываются излишними, они замѣняются частью семейными группами, частью же свободными, основанными на чисто общественной склонности".

Несомнѣнно, что тѣ и другія есть въ государствѣ. Допустимъ, что къ нимъ и къ различнымъ комбинаціямъ ихъ можно свести группы профессіональныя, сословныя, классовыя, національныя. Но и за всѣмъ тѣмъ въ государствѣ есть нѣчто, что не можетъ быть сведено ни къ семейнымъ, ни къ добровольнымъ союзамъ, что часто, въ особенности, трудно уживается съ послѣдними и что именно и составляетъ въ немъ формально объединяющее начало. Это—право и обязанность государства принудительно воздѣйствовать какъ на отдѣльныхъ индивидовъ, такъ и на цѣлыя племена, народы и всякаго рода союзы, входящіе въ его составъ, въ интересахъ цѣлаго. Такова теорія. На практикѣ, въ дѣйствительной жизни, интересы цѣлаго не легко уловимы. Они могутъ пониматься и толковаться очень различно и часто подмѣниваются интересами какой-либо одной или нѣсколькихъ группъ, принудительно объединенныхъ государствомъ.

Книга Шурца ничего не даетъ для разъясненія этихъ сложныхъ явленій. А для возвѣщеннаго имъ пересмотра альтруистической морали даетъ только одно: мораль эта вытекаетъ не изъ семейныхъ отношеній, какъ обыкновенно думаютъ, по крайней мѣрѣ, не изъ нихъ однихъ, а и изъ свободнаго тяготѣнія къ себѣ подобныхъ.

XVII. *)

Запоздалые счеты съ г. Батюшковымъ.—О Ѳомѣ и Еремѣ.—Изъ воспоминаній о героическихъ временахъ символизма.—Запоздалые счеты съ г. Мережковскимъ. — „Литературный фондъ“ и „Гражданинъ“.—Два слова о книгѣ К. К. Арсеньева.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ (гл. XV) я сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній о пьесѣ г. Горькаго „На днѣ“. Въ іюньской книжкѣ „Міра Божія“ г. Батюшковъ представилъ нѣсколько возраженій на мои мнѣнія объ этомъ произведеніи. По обстоятельствамъ, для читателя не интереснымъ, я очень поздно познакомился съ этими возраженіями, но считаю нужнымъ представить свое запоздалое объясненіе.

Г. Батюшковъ видѣлъ пьесу г. Горькаго въ Москвѣ, на сценѣ Художественнаго театра, еще до появленія ея въ печати (русской,— по-нѣмецки она была напечатана раньше), и пришелъ какъ отъ самой пьесы, такъ и отъ ея исполненія въ восторгъ, который и изложилъ въ январьской книжкѣ „Міра Божія“. Онъ такъ началъ это изложеніе: „Видѣть новую пьесу М. Горькаго и при томъ въ образцовомъ исполненіи артистовъ Московскаго Художественнаго театра представляется настолько заманчивымъ для всякаго, интересующагося современной сценой, что можно ради этого преодолѣть даже пресловутое петербургское „некогда“ и совершить спеціальную поѣздку въ Москву съ указанной цѣлью“. Такимъ образомъ, онъ ѣхалъ съ предвзятою мыслью объ ожидающемъ его наслажденіи — и получилъ его въ полной мѣрѣ. Могло бы, конечно, быть и иначе: подобныя ожиданія иногда разрѣшаются разочарованіемъ, тѣмъ болѣе сильнымъ, чѣмъ выше было ожидаемое наслажденіе. Съ г. Батюшковымъ этого

---

*) Октябрь 1903 г.

не случилось, и онъ счелъ себя въ правѣ окончить свои январьскія „Театральныя замѣтки“ слѣдующими словами: „Оказанныя всей труппѣ, артистамъ и режиссерамъ оваціи на первомъ представленіи пьесы, и полный, вполнѣ заслуженный тріумфъ автора достаточно свидѣтельствуютъ сами по себѣ о томъ впечатлѣніи, которое производитъ его новое, прекрасное произведеніе“.

Вотъ мысль, съ которою я позволю себѣ не согласиться: оваціи и тріумфы, конечно, свидѣтельствуютъ о впечатлѣніи, которое пьеса *произвела* при такихъ-то и такихъ-то условіяхъ, но еще ничего не говорятъ о томъ, какое она *производитъ*. Для отвѣта на этотъ послѣдній вопросъ одного опыта немножко мало, и г. Батюшкову пришлось очень скоро убѣдиться въ этомъ. „Настоящій праздникъ искусства и человѣчности“, какъ характеризовалъ онъ „незабвенный вечеръ“ перваго представленія пьесы въ Москвѣ, — въ Петербургѣ былъ скорѣе похожъ на сѣрые будни, особенно если принять въ соображеніе тотъ интересъ, который и въ Петербургѣ возбуждаютъ къ себѣ какъ самъ г. Горькій, такъ и Московскій Художественный театръ. Крики публики „довольно!“, перебившіе отчаянные вопли обваренной Наташи, были мало похожи на тріумфы и оваціи, хотя и свидѣтельствовали о силѣ произведеннаго впечатлѣнія. А за исключеніемъ этого эпизода, не повторявшагося, впрочемъ, въ послѣдующія представленія, петербургская публика встрѣтила пьесу довольно холодно, во всякомъ случаѣ, гораздо холоднѣе, чѣмъ московская и чѣмъ та же петербургская публика встрѣчала другія произведенія въ исполненіи труппы Московскаго Художественнаго театра. Равнымъ образомъ и въ петербургской печати восторгъ г. Батюшкова не нашелъ отклика.

Признавая въ іюньской книжкѣ „Міра Божія“ этотъ фактъ, г. Батюшковъ хочетъ прежде всего найти ему объясненіе. Онъ останавливается на разницѣ въ петербургской и московской „атмосферѣ“, на разницѣ „вкусовъ“ москвичей и петербуржцевъ и, въ концѣ концовъ, разумѣется, отбрасываютъ эту гипотезу. Затѣмъ онъ строитъ другую. Онъ, г. Батюшковъ, а равно и москвичи, отозвавшіеся на пьесу оваціями и тріумфами, „не имѣли текста въ рукахъ. Здѣсь же (въ Петербургѣ) пьесу читали и комментировали раньше, чѣмъ ее видѣть на сценѣ. Быть можетъ, и это даже весьма вѣроятно, ожиданія петербуржцевъ были чрезмѣрны, что и повліяло неблагопріятнымъ образомъ на впечатлѣніе отъ спектакля, отъ котораго ожидались какія-то необыкновенныя откровенія, даже послѣ

прочтенія пьесы, и чрезмѣрность ожиданій вызвала нѣкоторое разочарованіе".

Это бываетъ, и я только что говорилъ о подобной возможности, но я не совсѣмъ понимаю, какъ въ данномъ случаѣ предварительное прочтеніе пьесы могло способствовать чрезмѣрнымъ ожиданіямъ. Одно изъ двухъ: „необыкновенныя откровенія" были получены при чтеніи текста пьесы, или они не были получены; и если ихъ ждали „даже послѣ прочтенія", то ждали, значитъ, не отъ самой пьесы, а отъ ея исполненія на сценѣ. Сомнѣваюсь, чтобы именно это хотѣлъ сказать г. Батюшковъ, но доля справедливости въ этомъ, можетъ быть, есть, если, конечно, понизить „необыкновенныя откровенія" на нѣсколько градусовъ. Видѣвшіе пьесу въ обѣихъ столицахъ говорили мнѣ, что въ Москвѣ она шла лучше, и этому можно повѣрить: послѣ нѣсколькихъ десятковъ представленій въ Москвѣ, труппа могла достаточно устать и, если позволено будетъ такъ выразиться, механизировать исполненіе, чтобы оказаться не въ силахъ окрасить имъ изъяны пьесы. Московскимъ тріумфамъ и оваціямъ могли способствовать и другія, случайныя обстоятельства, напримѣръ, присутствіе въ театрѣ автора, который пользуется такою популярностью: оно, конечно, могло подогрѣть атмосферу театральнаго зала.

Я отнюдь, впрочемъ, не стою за эти соображенія: охотно допускаю, что разница между пріемомъ пьесы г. Горькаго въ Петербургѣ и въ Москвѣ объясняется какъ-нибудь совсѣмъ иначе. Какъ бы то ни было, разница эта привела къ тому, что во второй, іюньской своей статьѣ г. Батюшковъ уже не столь рѣшительно отзывается о пьесѣ; по крайней мѣрѣ, говоритъ о ней уже не „отъ всѣхъ и за вся". „Окончательная оцѣнка пьесы,—пишетъ онъ нынѣ,—на нашъ взглядъ, до сихъ поръ еще не сдѣлана и, можетъ быть, не такъ скоро еще будетъ установлена". По этому поводу я могу сказать только одно: окончательная оцѣнка таланта г. Горькаго, идейнаго содержанія его произведеній, его значенія въ литературѣ—дѣйствительно, еще не сдѣлана; но пьеса „На днѣ" сама по себѣ отнюдь не принадлежитъ къ числу тѣхъ крупныхъ литературныхъ явленій, къ оцѣнкѣ и переоцѣнкѣ которыхъ критика возвращается въ теченіе многихъ лѣтъ. И если я теперь, говоря рыцарскимъ языкомъ, поднимаю перчатку, брошенную мнѣ г. Батюшковымъ еще въ іюнѣ, то не ради самой пьесы, а главнымъ образомъ ради одного его возраженія, имѣющаго всѣ признаки побѣдоносности, и, уже только попутно, заодно коснусь нѣкоторыхъ другихъ его мыслей.

Г. Батюшковъ возражаетъ не только мнѣ, а и другимъ петербургскимъ критикамъ „Дна“ (позволю себѣ въ видахъ грамматическаго удобства и въ дальнѣйшемъ изложеніи такъ называть пьесу г. Горькаго), но главнымъ образомъ дѣлаетъ эту честь всетаки мнѣ. Статья его вращается въ сферѣ разсужденій, можетъ быть, правильныхъ, можетъ быть, неправильныхъ, но часто до странности не идущихъ къ дѣлу, и только одно возраженіе имѣетъ характеръ чисто-фактическаго и именно поэтому побѣдоноснаго возраженія.

Я указалъ, между прочимъ, что дѣйствующія лица и разсказовъ, и драматическихъ произведеній г. Горькаго слишкомъ часто не только говорятъ языкомъ автора, какъ бы ни былъ онъ неумѣстенъ въ устахъ какого-нибудь Коновалова или Орлова, но и излагаютъ собственныя мысли его и часто столь же неумѣстно. Какъ иллюстрацію, я привелъ слова крючника-татарина, правовѣрнаго мусульманина въ „Днѣ“: „Магометъ далъ законъ, сказалъ: вотъ законъ! Дѣлай, какъ написано тутъ! *Потомъ придетъ время, Корана будетъ мало... время дастъ свой законъ, новый... Всякое время даетъ свой законъ*“. Подчеркнутыя слова я нашелъ „выдѣляющимися изъ рѣчи татарина, какъ заплата совсѣмъ другого цвѣта“. На этихъ фразахъ лежитъ, и теперь думаю я, печать личныхъ взглядовъ г. Горькаго, едва ли согласимая съ правовѣріемъ проживающаго „на днѣ“ казанскаго или нижегородскаго татарина-крючника.

Г. Батюшковъ съ этимъ не согласенъ. „Напрасно—говоритъ онъ—уважаемый критикъ такъ спѣшитъ съ обобщеніями, не справившись, какъ возникла эта „заплата“ и дѣйствительно ли она неумѣстна. Дѣло въ томъ, что въ самомъ Коранѣ есть мѣста, которыя не только вполнѣ оправдываютъ автора въ томъ, что приписалъ татарину приведенныя фразы, но послѣднее выраженіе татарина почти буквально воспроизводитъ текстъ Корана: „*На всякое время своя священная книга*“ (гл. XIV „Громъ“, стихъ 38. Цитируемъ по переводу Корана Магомета г. Николаева (Москва, 1865), за неимѣніемъ подъ руками другого перевода. Стр. 178). Замѣчаніе татарина, въ общемъ, кажется противорѣчивымъ тому духу религіозной нетерпимости, который мы привыкли связывать съ нашими представленіями объ исламѣ, какъ историческомъ явленіи. Однако, этой нетерпимости на самомъ дѣлѣ уже давно нѣтъ у нашихъ мусульманъ, и непосредственное знакомство съ текстомъ Корана, который заучивается всѣми „правовѣрными“, могло привести и къ

иному пониманію взаимоотношенія разныхъ религій, настоящихъ и будущихъ".

Я долженъ признаться, что г. Батюшковъ правъ: я не „справлялся" съ Кораномъ. Но кое-что о Коранѣ и мусульманахъ я читалъ, случалось и съ свѣдущими людьми на эти темы бесѣдовать, и думаю, что по поводу собственно этого цитированнаго г. Батюшковымъ изреченія Корана имѣлъ бы нѣкоторое право въ свою очередь посовѣтовать ему не спѣшить съ обобщеніями. Изслѣдователи мусульманства говорятъ о необыкновенной трудности перевода и чтенія Корана (см., напримѣръ, А. Мюллера „Исторія ислама", русскій переводъ 1895—1896 г., т. I, стр. 69 и слѣд. или Крымскаго „Мусульманство и его будущность", стр. 11). Допустимъ, что г. Батюшковъ всѣ эти трудности переодолѣлъ, и приведенная фраза представляетъ очень точный переводъ (хотя, если не ошибаюсь, переводъ г. Николаева не считается образцовымъ). Но одна выдернутая изъ Корана фраза, безъ связи съ предыдущимъ и послѣдующимъ, едва ли можетъ служить въ настоящемъ случаѣ надежной опорой. Правда, г. Батюшковъ приводитъ далѣе еще нѣсколько мѣстъ изъ Корана, но тѣ цитаты, какъ сейчасъ увидимъ, совсѣмъ сюда не относятся и ни буквально, ни по своему смыслу не совпадаютъ со словами, вложенными г. Горькимъ въ уста татарину. Что касается религіозной нетерпимости мусульманъ, то эта тема, конечно, очень интересна сама по себѣ, но я не понимаю, зачѣмъ г. Батюшковъ ведетъ о ней рѣчь въ видѣ возраженія мнѣ,—я ея и отдаленнѣйшимъ образомъ не затрогивалъ и совсѣмъ не имѣлъ въ виду. Современныя событія въ Македоніи и въ Марокко показываютъ, что наши привычныя представленія объ исламѣ, какъ объ историческомъ явленіи, относительно нѣкоторыхъ мусульманскихъ странъ и народовъ и до сихъ поръ сохраняютъ свою силу; съ другой стороны, наши поволжскіе татары, дѣйствительно, мало повинны въ грѣхѣ нетерпимости. Нетерпимость однихъ и терпимость другихъ зависятъ отъ разныхъ, очень сложныхъ расовыхъ, историческихъ и бытовыхъ условій, и разбираться въ нихъ здѣсь намъ тѣмъ болѣе нѣтъ резона, что вопросъ, занимающій насъ съ г. Батюшковымъ, есть исключительно внутреннее дѣло самого мусульманства. Вопросъ этотъ таковъ: есть ли Коранъ для правовѣрнаго мусульманина окончательный, разъ на всегда данный „законъ", или онъ, правовѣрный мусульманинъ, можетъ разсчитывать, на основаніи Корана же, на новое откровеніе новый „законъ"?

Какія же тутъ могутъ быть сомнѣнія?—скажетъ читатель, повѣрившій г. Батюшкову: „непосредственное знакомство съ текстомъ Корана, который заучивается всѣми правовѣрными", даетъ въ этомъ отношеніи совершенно опредѣленное указаніе—*„на всякое время своя священная книга"* (гл. XIV и т. д.), что „почти буквально" воспроизводитъ татаринъ, говоря: „придетъ время, Коранъ будетъ мало... время дастъ свой законъ, новый... *всякое время даетъ свой законъ"*.

Аргументъ, ошеломляющій своей неотразимостью, и я, повидимому, совершенно посрамленъ! Какъ я не догадался „справиться" „непосредственно съ текстомъ Корана"!.. И, однако, этотъ столь неотразимый на видъ аргументъ есть нѣчто въ родѣ мыльнаго пузыря, на который нѣтъ даже надобности дуть, чтобы онъ разлетѣлся,—черезъ нѣкоторое время онъ самъ лопается. Какъ уже сказано, г. Батюшковъ приводитъ изъ Корана еще нѣсколько мѣстъ въ защиту своей мысли. Вотъ всѣ эти цитаты, съ соблюденіемъ курсивовъ г. Батюшкова:

Всякій народъ имѣлъ своего пророка,—читаемъ мы въ книгѣ Іона (Коранъ I. с., стр. 150, ст. 48); когда пророкъ являлся также и къ нимъ, то споръ былъ рѣшаемъ справедливо, и они не будутъ судимы неправедно. *„Для всякаго народа мы установили обычай"*. „Если тебя обвинятъ въ обманѣ, о Магомеддъ! размысли, что до нихъ народы Ноя, Ада, Темуда, Авраама, Лота, Медіонитяне обвиняли своихъ пророковъ въ томъ же: Моисей тоже былъ сочтенъ обманщикомъ" (1. с., стр. 242, ст. 43). *„Мы постепенно посылали апостоловъ.* Каждый разъ, какъ посланный являлся передъ народомъ, этотъ считалъ его за обманщика. *Мы повелѣвали одному народу наслѣдовать другому* (стр. 248, ст. 46). „О вы, которые получили Писанія! Зачѣмъ спорите объ Авраамѣ? Пятикнижіе и Евангеліе ниспосланы свыше долго спустя послѣ него. Но поймете ли вы это когда нибудь" (стр. 46, ст. 58).

Хорошо, разумѣется, въ сомнительныхъ случаяхъ справляться съ первоисточникомъ, хотя, можетъ быть, и не съ такимъ, какъ маловразумительный переводъ Николаева. Но приведенныя мѣста изъ Корана и подобныя имъ такъ часто цитируются въ разныхъ сочиненіяхъ объ исламѣ, что мнѣ не предстояло надобности въ спеціальныхъ справкахъ ради нихъ: они мнѣ были хорошо извѣстны до благосклоннаго наставленія г. Батюшкова, и я могу даже дополнить коллекцію его цитатъ нѣкоторыми изреченіями Корана, особенно интересными для христіанъ. Заимствую ихъ изъ біографіи Магомета, написанной Вл. Соловьевымъ для Павленковской біографической библіотеки. Останавливаюсь на этой маленькой книжкѣ потому, что Соло-

вьевъ, какъ онъ самъ говоритъ въ предисловіи, руководствовался разными старыми и новыми переводами Корана на русскій и другіе европейскіе языки, въ томъ числѣ и рекомендованными ему извѣстнымъ оріенталистомъ—бар. Розеномъ. „Исламъ есть религія Ноя, Авраама, Моисея, Іисуса".—„Скажи: мы вѣримъ въ Бога, въ то, что Онъ послалъ намъ, что Онъ открылъ Аврааму, Измаилу, Исааку, Іакову и двѣнадцати колѣнамъ, мы вѣримъ въ священныя книги, полученныя съ неба Моисеемъ, Іисусомъ и пророками, мы не полагаемъ между ними никакого различія—мы Ему предали себя".—„Мухаммедъ только посланникъ Божій; другіе посланники ему предшествовали".—„Послѣ пророковъ Мы послали Марію и Іисуса, чтобы подтвердить Пятикнижіе. Мы дали Евангеліе, которое есть свѣточъ вѣры и печать истины древнихъ писаній. Эта книга просвѣщаетъ и наставляетъ боящихся Господа".—„Пой хвалу Маріи, сохранившей дѣвство свое неприкосновеннымъ. Мы вдохнули въ нее Духа Нашего. Она и Сынъ Ея были дивомъ вселенной".—„Іисусъ, сынъ Маріи, есть посланникъ Всевышняго и Слово Его. Богъ ниспослалъ Его въ Марію. Онъ дыханіе Божіе". И т. д., и т. д.

Всѣ эти изреченія Корана представляли бы большой интересъ, если бы у насъ шла рѣчь о религіозной терпимости или нетерпимости мусульманъ. Но и въ такомъ случаѣ ихъ слѣдовало бы свести на очную ставку съ мусульманскимъ ученіемъ о „священной войнѣ", то-есть истребленіи невѣрныхъ; подъ невѣрными же Магометъ разумѣлъ сначала только язычниковъ, а затѣмъ іудеевъ, которыхъ онъ обличалъ въ извращеніи даннаго имъ отъ Бога закона, и христіанъ въ виду ученія о троичности Бога и поклоненія святымъ угодникамъ. Дѣло, однако, въ томъ, что, какъ уже сказано, я не давалъ г. Батюшкову ни малѣйшаго повода для поученія меня относительно мусульманской терпимости: я ея не касался. Да, въ Коранѣ неоднократно выражается почтеніе къ существовавшимъ *до* Магомета монотеистическимъ религіямъ. Сюда же относятся и тѣ шесть словъ („на всякое время своя священная книга"), которыя въ переводѣ Николаева какъ будто и въ самомъ дѣлѣ совпадаютъ со словами крючника-татарина, но въ которыхъ нѣтъ и намека на *будущее* время, на *новый* „законъ". Г. Батюшковъ и самъ это понимаетъ и потому, начавъ за здравіе, кончаетъ за упокой. Начинаетъ онъ съ того, что слова татарина „почти буквально" воспроизводятъ текстъ Корана, и съ указанія на „непосредственное знакомство съ текстомъ Корана, который заучивается каждымъ правовѣрнымъ", а кончаетъ

такъ: „Приведенныя выраженія (характеризующія отношеніе Корана къ до-магометову единобожію. Н. М.) могли запасть въ голову какому-нибудь мусульманину и привести къ естественному изъ нихъ выводу, что какъ было въ прошломъ, такъ случится и въ будущемъ— „время дастъ свой законъ, новый". *Пусть такое толкованіе представляется ересью* съ точки зрѣнія ортодоксальнаго мусульманства,— оно возможно; оно характеризуетъ живое, индивидуальное пониманіе заученныхъ текстовъ, которые не всегда же усвоиваются въ ихъ цѣлостности и въ связи съ основными догматами даннаго вѣроученія. Это не „заплата", скрывающая, по выраженію г. Михайловскаго „подлинную одежду изображаемаго лица", а именно характерная черта живого лица, съ котораго снята только „условная" одежда, принимаемая за подлинную лишь по традиціоннымъ представленіемъ. А главное, что такая вставка правдоподобна, ибо не произвольна, а указана текстомъ того самаго Корана (и именно въ переводѣ Николаева? Н. М.), на который ссылается татаринъ въ возможномъ личномъ его толкованіи (если не самъ крючникъ дошелъ до этихъ выводовъ, то онъ могъ ихъ услышать отъ какого нибудь толкователя Писанія, каковые имѣются же и среди татаръ, пишущіе и пропагандирующіе свои воззрѣнія)".

Итакъ, хотя проживающій „на днѣ" правовѣрный нижегородскій или казанскій татаринъ-крючникъ „почти буквально" повторяетъ слова Корана, но на самомъ дѣлѣ тѣ шесть словъ Корана, на которыя такъ побѣдоносно указываетъ г. Батюшковъ, имѣютъ совсѣмъ другой смыслъ: въ нихъ нѣтъ обѣщанія или предвидѣнія новаго „закона", имѣющаго замѣнить Коранъ, и такое ихъ толкованіе ошибочно, неправильно. Г. Батюшковъ говоритъ, что такая ошибка „возможна". Конечно, возможна, поле возможныхъ ошибокъ безпредѣльно, но выборъ именно этой ошибки принадлежитъ г. Горькому, и на фонѣ правовѣрія татарина она—да проситъ мнѣ г. Батюшковъ—составляетъ, повторяю, „заплату"; заплату, тѣмъ болѣе бросающуюся въ глаза, что татаринъ играетъ въ пьесѣ роль чисто эпизодическую, онъ только оттѣняетъ своею безхитростною вѣрою въ „законъ" скептическія, озлобленныя и вольнодумныя рѣчи другихъ обитателей „дна"; ему менѣе всего приличествуетъ какая бы то ни была „ересь". Позволю себѣ выразить надежду, что г. Батюшковъ не станетъ меня поучать на ту тему, что мусульманство, дескать, не такъ неподвижно, какъ мы привыкли думать, что въ немъ были и есть секты, толки, ереси, реформаторскія теченія: мнѣ

это столь же хорошо извѣстно, какъ и то, что степень религіозной нетерпимости у разныхъ мусульманскихъ народовъ различна.

Ненужная, хотя, на иной взглядъ, можетъ быть, и искусная диверсія г. Батюшкова въ сторону религіозной терпимости имѣетъ въ возраженіи г. Батюшкова параллели. Остановлюсь на одной изъ нихъ.

Я писалъ, между прочимъ: „Міръ героевъ г. Горькаго, какихъ мы до сихъ поръ отъ него получили, повидимому, исчерпанъ „до дна", и ему предстоитъ либо безъ конца варьировать одни и тѣ же типы, одни и тѣ же мотивы, либо направить свое вниманіе въ какую-нибудь другую сторону". По этому поводу г. Батюшковъ „нѣсколько неудомѣваетъ, чтобы человѣка въ какой бы то ни было сферѣ возможно было такъ быстро исчерпать до дна". И затѣмъ мой почтенный оппонентъ напоминаетъ, что вотъ уже слишкомъ сорокъ лѣтъ прошло со времени „Записокъ мертваго дома", но и Достоевскій не „исчерпалъ" міра преступныхъ и отверженныхъ, что и послѣ него изъ этого міра черпали Короленко, Мельшинъ, Чеховъ, Дорошевичъ. „И мы тогда только повѣримъ, что будетъ исчерпанъ міръ героевъ г. Горькаго, когда не будетъ самаго „дна" и т. д. Въ концѣ концовъ г. Батюшковъ приравниваетъ „дно" г. Горькаго къ Дантову „Аду"...

Этого послѣдняго сравненія я, изъ уваженія къ добрымъ намѣреніямъ г. Батюшкова,—въ нихъ я не сомнѣваюсь,—не трону. Но все остальное напоминаетъ поговорку: я про Ѳому, а онъ про Ерему. Ерема, можетъ быть, и интересный человѣкъ, но диссертація о немъ, въ качествѣ возраженія на то или другое мнѣніе о Ѳомѣ,—кажется мнѣ неумѣстною. Г. Батюшковъ любезно напоминаетъ мнѣ о существованіи „Мертваго дома" Достоевскаго, „Отверженныхъ" Мельшина, очерковъ Короленко, „Сахалина" г. Чехова, „Сахалина" г. Дорошевича, видя въ этихъ произведеніяхъ свидѣтельство неисчерпаемости міра „отверженныхъ" и „бывшихъ людей", доколѣ существуетъ „дно". Психологію каторги и психологію ночлежнаго дома, можетъ быть, не совсѣмъ правильно ставить за одну скобку, но это не важно. Во всякомъ случаѣ, я иду дальше г. Батюшкова и нахожу, что и съ исчезновеніемъ „дна" міръ бывшихъ и отверженныхъ не будетъ исчерпанъ: онъ сохранитъ для насъ историческій интересъ, какъ сохраняетъ его, напримѣръ, каменный вѣкъ, доселѣ эксплуатируемый не только наукой, а и искусствомъ—живописью, поэзіей. Нечего и говорить объ античной культурѣ, феода-

лизмѣ, рыцарствѣ, инквизиціи и проч., и проч., и проч. Все это давно исчезнувшія, но не исчерпанныя явленія. И г. Батюшковъ, конечно, гораздо болѣе правъ, когда тутъ же говоритъ, что „человѣкъ никогда не можетъ быть „исчерпанъ", въ какой бы средѣ и при какихъ условіяхъ мы его ни разсматривали". Это вѣрно, но, къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ тѣмъ и не нужно, какъ возраженіе мнѣ. Г. Батюшковъ, цитируя относящееся сюда мѣсто моей статьи, пропустилъ нѣсколько словъ, которыя объясняютъ мое отношеніе къ „исчерпанности" міра героевъ г. Горькаго. Я писалъ о герояхъ г. Горькаго, *„какихъ мы до сихъ поръ отъ него получили"*, а не вообще отверженныхъ, пропащихъ и бывшихъ людяхъ, какіе даны—и еще будутъ даны — другими художниками. Надѣюсь, разница понятна.

Нынче лѣтомъ мнѣ случилось прочитать въ одной изъ одесскихъ газетъ разсказъ г. Скрибы о посѣщеніи имъ Л. Н. Толстого. Между прочимъ, Толстой спросилъ своего посѣтителя, о чемъ онъ въ послѣднее время писалъ. Тотъ отвѣтилъ, что писалъ онъ о „Днѣ" г. Горькаго и написалъ статью восторженную. На это Толстой замѣтилъ, что пора бы перестать описывать этихъ босяковъ въ романтическихъ плащахъ и шляпахъ съ перомъ. Я не ставлю въ кавычки этой реплики автора „Воскресенія", потому что, не имѣя подъ руками газеты, не могу ручаться за подлинность всѣхъ выраженій, но „шляпу съ перомъ" хорошо помню. Вотъ этотъ-то міръ особенныхъ, горьковскихъ героевъ въ романтическихъ плащахъ и шляпахъ съ перьями я и считаю исчерпаннымъ. Г. Батюшковъ можетъ не соглашаться съ этимъ моимъ мнѣніемъ, но зачѣмъ же говорить про Ерему, когда рѣчь идетъ о Ѳомѣ? Тѣмъ болѣе, если относительно Еремы и нѣтъ никакихъ разногласій? Мало-внимательныхъ читателей этотъ полемическій пріемъ можетъ, конечно, ввести въ заблужденіе, но развѣ этого г. Батюшковъ хочетъ?

Я уже сказалъ, что „Дно" не принадлежитъ къ числу произведеній, вновь и вновь вызывающихъ вниманіе критики, и потому воздержусь отъ дальнѣйшаго пересмотра возраженія г. Батюшкова. Сдѣлаю только одно еще замѣчаніе.

Я выразилъ мнѣніе, что г. Горькій, по характеру своего таланта и темперамента, не драматургъ, что онъ сдѣлалъ ложный шагъ, вступивъ на это поприще, но что вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторыя другія черты его духовной физіономіи вынудили его сдѣлать этотъ ложный шагъ. Эту послѣднюю часть моего мнѣнія, обставленную

извѣстными, правильными или неправильными соображеніями, г. Батюшковъ оставилъ безъ разсмотрѣнія, даже не упомянулъ о ней. Не буду и я къ ней возвращаться. Мнѣніе же о несоотвѣтствіи таланта и темперамента г. Горькаго съ драматической формой г. Батюшковъ оспариваетъ, и именно вотъ какъ: „Если,—говоритъ онъ,—картины г. Горькаго не подходятъ подъ мѣрило обыкновенной, шаблонной драмы, то это не значитъ, чтобы онѣ не имѣли своего raison d'être. Мы всѣ болѣе или менѣе, сознательно или безсознательно, слишкомъ начинены отголосками поэтики Аристотеля, его объясненіемъ, что драма есть прежде всего дѣйствіе, что каждое дѣйствіе имѣетъ начало, середину и конецъ и т. д.". Поговоривъ затѣмъ объ устарѣлости Аристотелевой поэтики, г. Батюшковъ продолжаетъ: „Г. Горькій, вслѣдъ за другими современными драматургами, ищетъ новыхъ формъ, болѣе непосредственнаго изображенія жизни такъ, какъ она есть, а не въ искусственной рамкѣ драматической композиціи. Онъ идетъ за Чеховымъ и выработываетъ новыя схемы. По двумъ произведеніямъ еще нельзя произнести окончательнаго приговора о томъ, что онъ можетъ создать въ области драмы".

Въ послѣднихъ словахъ звучитъ косвенное признаніе нѣкоторой слабости драматическихъ опытовъ г. Горькаго: отъ „обыкновенной, шаблонной" драмы отсталъ, а „новыя схемы", идя за г. Чеховымъ, только еще выработываетъ. Да будетъ путь г. Горькаго свѣтелъ и славенъ, и если онъ создастъ, по новой ли, или по старой схемѣ, настоящую драму, я охотно сознаюсь въ своей ошибкѣ. Но что такое „обыкновенная, шаблонная" драма? Это вѣдь не только г. Викторъ Крыловъ съ братіей, а и Шекспиръ, Мольеръ, Гете, Шиллеръ, Лессингъ. И какъ бы ни устарѣла Аристотелева поэтика, положеніе, выражаемое словами г. Батюшкова: „Драма есть прежде всего дѣйствіе",—останется непоколебимымъ, доколѣ существуетъ драма. То новое, чего ожидаетъ г. Батюшковъ, будетъ, можетъ быть, и превосходно въ своемъ родѣ, но это не будетъ драма, если дѣйствія въ немъ не будетъ или если оно отступитъ на задній планъ. Въ крайнемъ случаѣ, это будетъ „только нѣчто въ родѣ драмы", какъ назвалъ свои неудачные драматическіе опыты Ренанъ, которыми онъ хотѣлъ оживить свои уже никакому эстетическому суду не подлежащіе „Діалоги". Для „обыкновенной, шаблонной" драмы,—среди образцовъ которой есть разная дрянь, но есть и произведенія великихъ художниковъ, въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ и донынѣ дающія обильную пищу уму и сердцу зрителей и творчеству исполнителей,—первая опасность со-

стоитъ въ умаленіи элемента дѣйствія и въ подмѣнѣ его діалогомъ". Но, конечно, опасность возможна и съ разныхъ другихъ, отчасти даже непредвидимыхъ сейчасъ сторонъ.

Въ № 18 (15 сентября) журнала „La Revue" (бывшая Revue des Revues) напечатана интересная статья Адольфа Реттè „Souvenirs sur le symbolisme". Увы! символизмъ, блистающій у насъ яркими цвѣтными знаменами и истерическими криками провозглашающій свою побѣду,—на своей родинѣ, во Франціи, служитъ уже предметомъ воспоминаній! Его оттѣснили, по словамъ автора упомянутой статьи, какіе-то „натуристы", „гуманисты", „французская школа". „Нынѣ", пишетъ Адольфъ Реттè,—„по прошествіи полутора десятка лѣтъ (!) участники битвъ того времени съ улыбкою, на половину меланхолическою, на половину умиленною, вспоминаютъ о томъ жарѣ, съ которымъ они бились". Авторъ и есть одинъ изъ такихъ вспоминающихъ былыхъ символистовъ. Онъ разсказываетъ нѣсколько забавныхъ анекдотовъ, изъ которыхъ я приведу только тѣ, которые относятся къ области „новыхъ схемъ" въ драмѣ.

Первое препятствіе, встрѣченное реформаторами сцены, состояло въ отсутствіи репертуара,—драмъ, кромѣ „обыкновенныхъ, шаблонныхъ", не было, и только Метерлинкъ болѣе или менѣе удовлетворялъ требованіямъ символистовъ. Было, однако, много діалоговъ въ стихахъ и въ прозѣ, авторы которыхъ предлагали свои услуги. Дѣло началось съ декламаціи, напримѣръ, философской поэмы Пьера Килляра „Дѣвушка съ отрѣзанными руками". Затѣмъ пошли дальше. Авторъ вспоминаетъ одинъ утренній спектакль, на которомъ были даны комедія Верлена „Тѣ и другіе", „Полуночное солнце" Катюлла Мендеса, траги-комедія Шарля Мориса „Серафимъ" и декламація поэмы Эдгара По „Воронъ", въ переводѣ Стефана Малларме. „Актеръ, декламировавшій поэму, рычалъ громовымъ голосомъ, совершенно уничтожавшимъ глухой ужасъ, заложенный въ намѣреніяхъ великаго американскаго поэта". Въ другой разъ дана была французская передѣлка „Фауста" Марло и, кромѣ того, декламировалась поэма Артура Рембо „Пьяный корабль", „чрезмѣрный лиризмъ которой нѣсколько смутилъ присутствовавшаго въ театрѣ Франциска Сарсе".

Всѣ эти опыты не удовлетворяли, однако, реформаторовъ, такъ какъ, съ одной стороны, мудрено было пристегнуть къ символи-

стамъ Верлена, Мендеса, Эдгара По и Марло, а съ другой—діалогическія поэмы всетаки были не то, что драмы. Поэтому, стоявшій во главѣ дѣла Поль Форъ, „очень молодой человѣкъ, выпустившій впослѣдствіи нѣсколько довольно пріятныхъ томовъ риѳмованной прозы", рѣшилъ составить спектакль исключительно изъ произведеній символистовъ. Принялись за репетиціи „Слѣпыхъ" Метерлинка, „Le concile féerique" Жюля Лафорга, „Пѣсни пѣсней", въ передѣлкѣ нѣкоего Руанара, и „Chansons de Geste", въ передѣлкѣ Стюарта Меррилля, Герольда и автора воспоминаній. Послѣднему досталось много работы въ качествѣ и режиссера, и вѣтра, дующаго въ „Слѣпыхъ".

Во время представленія „Слѣпыхъ" произошелъ слѣдующій непредвидѣнный случай. По соглашенію съ Метерлинкомъ, реформаторы сдѣлали въ серединѣ пьесы купюру, и такъ, съ этимъ пропускомъ, актеры и заучили свои роли. Но, передавая суфлеру текстъ пьесы, авторъ воспоминаній забылъ отмѣтить въ немъ пропущенное мѣсто. И вотъ, когда дѣло дошло до него, актеры, слыша изъ устъ суфлера незнакомыя имъ слова, замялись и въ недоумѣніи остановились; волновался и суфлеръ. Наконецъ, артистъ, игравшій главную роль, видя, что произошло какое-то недоразумѣніе, повторилъ свою предыдущую реплику, остальные подхватили, но какъ дошло до несчастнаго мѣста, такъ опять произошла заминка. Еще разъ актеры начали снова, и еще разъ тотъ же результатъ. Тогда уже „слѣпые" перестали обращать вниманіе на суфлера, тщетно перелистывавшаго пьесу, въ разсчетѣ найти нужное мѣсто, и кончили безъ его помощи. Въ лѣтописяхъ всѣхъ театровъ имѣются анекдоты этого рода, но тутъ любопытно отношеніе публики къ этому забавному казусу; нашлись зрители, которые увидѣли въ этомъ повтореніи однѣхъ и тѣхъ же репликъ новый художественный пріемъ и остались очень довольны.

Представленіе „Concile féerique" сопровождалось другого рода скандаломъ. Артисткѣ пришлось декламировать слѣдующіе стихи:

La terre, elle est ronde
Comme un pot-au-feu;
C'est un bien pauvre monde
Dans l'infini bleu *)...

*) Боюсь испортить переводомъ эти стихи, сильно напоминающіе произведенія нѣкоторыхъ отечественныхъ нашихъ поэтовъ.

Эти строфы вызвали цѣлую бурю: два присутствовавшіе поэта чуть не подрались изъ-за нихъ: одинъ считалъ ихъ превосходными и видѣлъ въ нихъ глубокій философскій смыслъ, тогда какъ другой объявилъ ихъ невозможно скверными. Среди общаго гвалта и хохота кто-то вскочилъ на стулъ и потребовалъ, чтобы присутствовавшій въ залѣ Сарсе выразилъ свое мнѣніе. Требованіе было подхвачено другими, но Сарсе, самъ отъ души хохотавшій, отказался высказаться о поэзіи Лафорга.

Въ заключеніе шла „Пѣснь пѣсней". Передѣлавшій ее для сцены, Руанаръ раздѣлилъ свою пьесу „на пять частей (parties) и инструментировалъ ее по методѣ, указанной Артуромъ Рембо въ знаменитомъ сонетѣ „Гласныя" и развитой въ прозаическихъ и поэтическихъ произведеніяхъ Гиля. О Рембо и Гилѣ, когда-то очень шумѣвшихъ и въ свое время благополучно канувшихъ въ Лету, читатель найдетъ кое-что во второмъ томѣ моей книги „Литературныя воспоминанія и современная смута". Здѣсь для насъ достаточно вспомнить, что Рембо „изобрѣлъ" цвѣтныя гласныя, утверждая, что звукъ *А* вызываетъ ощущеніе чернаго цвѣта, *Е*—бѣлаго, *И*—краснаго, *О*—голубого, *У*—зеленаго *). И вотъ, Руанаръ устроилъ такъ, что въ первой „части" его передѣлки „Пѣсни пѣсней" преобладалъ звукъ *А*, а въ декораціяхъ и костюмахъ дѣйствующихъ лицъ—черный цвѣтъ; во второй части—звукъ *Е* и бѣлый цвѣтъ и т. д. Кромѣ того, предполагалось, для всестороннаго воздѣйствія на зрителей, обдавать ихъ во время дѣйствія пульверизованными духами, при томъ для каждой части разными, что и было объявлено въ

*) Кстати о Рембо. Онъ написалъ свою авторскую исповѣдь, озаглавивъ ее „Алхимія слова". Въ октябрьскомъ № „Міра Божія" г. Аничковъ (въ статьѣ о Верленѣ) пишетъ: „Алхимія слова" показалась Н. К. Михайловскому „чѣмъ-то въ высокой степени замѣчательнымъ съ психіатрической точки зрѣнія", и это, по мнѣнію г. Аничкова, несправедливо. Исповѣдь Рембо не показалась мнѣ психіатрическимъ документомъ, а, дѣйствительно, представляетъ собою таковой, и Рембо самъ называетъ ее „исторіей одного безумія". Между прочимъ, онъ сообщаетъ о себѣ: „Я кончилъ тѣмъ, что призналъ разстройство моего ума священнымъ. Я ничего не дѣлалъ, раздираемый тяжелой лихорадкой... Мой характеръ портился, я прощался съ міромъ... Въ присутствіи многихъ людей я громко разговаривалъ съ какимъ нибудь моментомъ изъ ихъ другой жизни. Я любилъ свинью... Теперь это прошло. Я умѣю теперь поклоняться красотѣ". Если г. Аничковъ хочетъ реабилитировать „символистовъ", то не слѣдуетъ всетаки хватать въ этомъ направленіи черезъ край и объявлять здравомыслящимъ то, что сами они—и, какъ видитъ читатель, вполнѣ справедливо—признавали своимъ безуміемъ.

афишахъ. Но пульверизаторы оказались недостаточно сильными, такъ что волны духовъ достигали только первыхъ двухъ рядовъ. Тогда задніе ряды потребовали обѣщанныхъ карилопсиса, розовой эссенціи и проч. Поднялся такой гвалтъ, что актеровъ не было слышно, и публика разошлась, не дождавшись конца „Пѣсни пѣсней"...

Авторъ воспоминаній о „героическихъ временахъ символизма", какъ онъ выражается, приводитъ еще нѣсколько забавныхъ анекдотовъ, касающихся другихъ видовъ и формъ литературы. Я ограничился драмой, да и то потому, что къ слову пришлось. Да не подумаетъ, однако, г. Батюшковъ, что я сообщаю все это въ поученіе именно ему. Какъ ни презрительно относится онъ къ „обыкновенной, шаблонной" драмѣ и какъ ни любезенъ онъ съ разными „новыми побѣгами", заслуживающими, по моему мнѣнію, совсѣмъ иного отношенія,—все же онъ, я полагаю, такого новшества, какъ опрыскиваніе зрителей карилопсисомъ и розовой эссенціей, не одобритъ. А опыты такого рода у насъ уже были года три тому назадъ въ спектаклѣ, устроенномъ въ Москвѣ однимъ изъ тамошнихъ „скорпіоновъ". Къ сожалѣнію, я перезабылъ подробности и не могу утверждать, что въ числѣ ихъ были карилопсисъ и розовая эссенція, но глупостей вообще было много, равно какъ и хохота среди зрителей.

Г. же Батюшкова считаю нужнымъ, во избѣжаніе недоразумѣній, предувѣдомить: если онъ пожелаетъ продолжать это, не мною начатое, пререканіе, но при этомъ опять смѣшаетъ Ѳому съ Еремой, то—какъ бы ни былъ Ерема прекрасенъ, добродѣтеленъ и благороденъ,—я уклонюсь отъ дальнѣйшей бесѣды съ почтеннымъ редакторомъ „Міра Божія".

Все по тѣмъ же, неинтереснымъ для читателя обстоятельствамъ, на которыя я сослался въ началѣ настоящихъ замѣтокъ, я запоздалъ отвѣтомъ не одному г. Батюшкову. Не знаю, найдется ли у меня время и охота выплатить всѣ эти недоимки. Но одну изъ нихъ мнѣ хочется погасить сейчасъ, благо рѣчь зашла о символистахъ, а мой кредиторъ—одинъ изъ нихъ. Это г. Мережковскій, который, впрочемъ, теперь уже, можетъ быть, „натуристъ" или „гуманистъ"...

Какъ-то въ маленькой замѣткѣ по поводу пятидесятилѣтія со времени появленія въ печати перваго произведенія Л. Н. Толстого я

назвалъ одну выходку г. Мережковскаго непристойною, и „тѣмъ болѣе непристойною, что авторъ знаетъ огромность человѣка, на котораго онъ, карликъ, съ такимъ бѣшенствомъ замахивается". Г. Розановъ пожелалъ вступиться за г. Мережковскаго, но, какъ это съ нимъ часто случается, попалъ „не въ то мѣсто". А именно онъ сообщилъ, что года три-четыре тому назадъ, въ одномъ частномъ съ нимъ разговорѣ, г. Мережковскій сказалъ буквально: „Конечно! я, пигмей, говорю о гигантѣ Толстомъ" (Хроника журнала „Міръ Искусства", № 2). Не замѣчая, что этимъ разсказомъ онъ только подтверждаетъ мои слова, г. Розановъ воздалъ хвалу скромности г. Мережковскаго. Но послѣдній обидѣлся: онъ заявилъ, что не помнитъ этихъ своихъ словъ, а если и были они сказаны, то совсѣмъ въ другомъ смыслѣ. „Въ освѣщеніи В. В. Розанова", писалъ онъ, „получилась такая картина: въ самой глубинѣ—„гигантъ", что-то въ родѣ Атласа, поддерживающаго небо на плечахъ своихъ,—Л. Толстой; далѣе г. Михайловскій—Полиѳемъ, разбойникъ съ дубиною, нападающій на меня, „пигмея". Между нами В. В. Розановъ, который защищаетъ меня отъ окончательнаго истребленія моимъ собственнымъ ничтожествомъ". Признать эту картину соотвѣтствующею истинному положенію дѣйствующихъ лицъ г. Мережковскій рѣшительно не согласенъ. Онъ „не меньше, чѣмъ г. Михайловскій понимаетъ все величіе Толстого, какъ художника. Передъ этою громадою онъ иногда дѣйствительно чувствуетъ себя, какъ человѣкъ передъ горою, какъ пигмей передъ гигантомъ" (Хроника „Міра Искусства" № 3). Но, продолжаетъ онъ, на этой горѣ стоитъ человѣкъ совершенно такого же роста, какъ и онъ, г. Мережковскій, „какъ всѣ мы грѣшные". Если бы Толстой былъ сверхъ-человѣкъ, онъ преклонился бы передъ нимъ „безъ малѣйшаго хамства", но Толстой только человѣкъ, и г. Мережковскій утверждаетъ, что „изъ, правда, совершенно непроизвольнаго и безсознательнаго раболѣпства произошла та ярость, съ которой поднята была надъ нимъ дубина, столь напугавшая доброе, въ данномъ случаѣ, кажется, слишкомъ доброе сердце В. В. Розанова". Въ слѣдующемъ, 4-мъ № „Хроники журнала „Міръ Искусства" г. Розановъ представилъ свое объясненіе. Онъ извинился передъ г. Мережковскимъ въ томъ, что опубликовалъ нѣсколько словъ изъ частной съ нимъ бесѣды, и выразилъ ту идею, что „вообще, печатныя измѣренія другъ друга некрасивы: всѣ мы малы передъ Богомъ, а въ отношеніи другъ

друга равны, „равны, какъ люди“, по прекраснѣйшему выраженію Мережковскаго“.

Можетъ быть, гг. Розановъ и Мережковскій еще и еще обмѣнялись любезностями насчетъ скромности, добраго сердца и „прекраснѣйшихъ выраженій“. Я не слѣдилъ за продолженіемъ этой оригинальной печатной переписки, не знаю, было ли это продолженіе, не знаю даже, существуетъ ли еще журналъ „Міръ Искусства“ и его „Хроника“. Но мнѣ хочется, хотя и поздно, наказать г. Мережковскаго,—наказать перепечаткою того мѣста изъ его книги „Религія Толстого и Достоевскаго“, которое я призналъ непристойной выходкой и по поводу котораго поднялъ „дубину разбойника Полиѳема“, по изящнѣйшему выраженію г. Мережковскаго.

Надо сказать, что та моя замѣтка, въ которой г. Мережковскій непочтительно названъ карликомъ, содержитъ въ себѣ только *одну* цитату изъ его книги, которую я сейчасъ вновь приведу. Отозвался я объ этой цитатѣ хоть и не съ яростью, но, дѣйствительно, съ негодованіемъ. (См. IX гл., стр. 252—253). Позже (X и XI гл.) я писалъ обо всемъ трудѣ г. Мережковскаго, но тамъ уже не случилось именовать автора карликомъ, хотя, разумѣется, я своего мнѣнія не измѣнилъ.

Вотъ упомянутое, возмутившее меня, мѣсто:

„Князь Мышкинъ („Идіотъ“ Достоевскаго), хотя и „бѣдный“, но всетаки подлинный рыцарь,—въ высшей степени народенъ, потому что въ высшей степени благороденъ, ужъ, конечно, болѣе благороденъ, чѣмъ такіе, разбогатѣвшіе на счетъ своихъ рабовъ, помѣщики-баре, какъ Левины или Ростовы, Толстые, потомки петровскаго, петербургскаго „случайнаго“ графа Петра Андреевича Толстого, получившаго свой титулъ благодаря успѣхамъ въ сыскныхъ дѣлахъ „Тайной Канцеляріи“ („Религія Толстого и Достоевскаго“, 252).

Итакъ, хотя, по прекраснѣйшему выраженію г. Мережковскаго, всѣ люди „равны, какъ люди“, но Л. Толстой далеко не равенъ князю Мышкину. И собственно потому не равенъ, что его пра-прадѣдъ служилъ въ тайной канцеляріи (гдѣ служилъ пра-прадѣдъ князя Мышкина—неизвѣстно, а что предки его владѣли крѣпостными рабами, это болѣе, чѣмъ вѣроятно). Уличить меня въ раболѣпствѣ передъ Толстымъ, хотя бы „совершенно непроизвольномъ и безсознательномъ“, немножко мудрено: я давнымъ давно писалъ о „десницѣ и шуйцѣ“ Толстого и много разъ скорбѣлъ о его разрастаю-

щейся „шуйцѣ“. Не сталъ бы я, разумѣется, упрекать и г. Мережковскаго за критическое отношеніе къ „великому писателю Русской земли“. Но приведенная выходка не есть критика. Такъ разозленныя базарныя торговки ругаются, припоминая грѣхи отцовъ, матерей, тетокъ, дѣдовъ и прадѣдовъ тѣхъ, кого они хотятъ оскорбить. И, конечно, надо обладать очень малымъ ростомъ, чтобы уподобиться обозленной базарной торговкѣ.

Комитетъ общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ, обыкновенно называемаго „Литературнымъ Фондомъ“, обратился недавно въ газеты съ слѣдующимъ объясненіемъ:

Въ № 69-мъ газеты-журнала *Гражданинъ*, въ отдѣлѣ „Дневники“, помѣщена замѣтка объ Обществѣ Литературнаго Фонда, въ которой утверждается, между прочимъ: 1) что Общество это есть „единственное въ Россіи“ учрежденіе, которое „никому не отдаетъ отчета въ своихъ распоряженіяхъ деньгами, ничьему контролю не подлежитъ, никакихъ обязанностей ни передъ кѣмъ не имѣетъ и на вопросъ, куда дѣваются деньги Литературнаго Фонда и цѣлы ли онѣ, отвѣчаетъ вотъ болѣе 40 лѣтъ презрительнымъ: не ваше дѣло!“; 2) что такой же отвѣтъ получаетъ отъ Литературнаго Фонда всякій интересующійся знать, гдѣ та колонія или богадѣльня для престарѣлыхъ писателей, на устройство которой Литературный Фондъ получилъ деньги „по завѣщанію какого-то чудака“; 3) что пособія свои Литературный Фондъ выдаетъ „исключительно людямъ, проявившимъ одно: свое враждебное правительству направленіе“, и отказываетъ всякому неимущему писателю, хотя бы и талантливому, если онъ принадлежитъ „къ благонамѣреннымъ и благожелательнымъ людямъ“; 4) что Литературный Фондъ отказывалъ въ помощи даже Достоевскому, „подъ предлогомъ, что онъ ею уже пользовался, и бросалъ ему въ лицо подачки, какъ нищему, начинающему писателю“.

„По этому поводу комитетъ Литературнаго Фонда считаетъ нужнымъ сообщить слѣдующее:

„1) Утвержденіе, что Литературный Фондъ есть „единственное въ Россіи“ безотчетное и безконтрольное Общество, не имѣетъ подъ собою никакого основанія. Напротивъ того, уставъ Литературнаго Фонда (Высочайше утвержденный 7-го августа 1859 года) по отношенію къ отчетности содержитъ въ себѣ требованія гораздо болѣе строгія, чѣмъ въ большинствѣ благотворительныхъ учрежденій. Комитетъ, управляющій дѣлами Литературнаго Фонда, находится прежде всего подъ контролемъ общаго собранія Общества,—которому четыре раза въ годъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ,—и ежегодно избираемой этимъ собраніемъ ревизіонной коммиссіи (въ выборѣ которой члены комитета не участвуютъ). Ревизіонная коммиссія разсматриваетъ всѣ дѣла, документы и счеты комитета и провѣряетъ денежную кассу и прочее имущество Общества; провѣрка кассы производится и въ теченіе

года, не менѣе трехъ разъ. Затѣмъ, независимо отъ этого внутренняго контроля, Литературный Фондъ подчиненъ и контролю правительственному: на основаніи 45-й ст. устава комитетъ Литературнаго Фонда ежегодно представляетъ министерству народнаго просвѣщенія „подробный отчетъ о дѣйствіяхъ своихъ за истекшій годъ, *съ наименованіемъ* при томъ *всѣхъ* безъ исключенія *лицъ*, получившихъ отъ Общества пособія". Наконецъ, дѣятельность Литературнаго Фонда открыта и широкому общественному контролю, такъ какъ доклады комитета общему собранію дѣлаются въ *публичныхъ засѣданіяхъ*, и подробный годовой отчетъ комитета (вмѣстѣ съ замѣчаніями ревизіонной коммиссіи и заключеніемъ общаго собранія) печатается во всеобщее свѣдѣніе.

„2) Никогда и никому на вопросы о томъ, куда идутъ пожертвованныя Литературному Фонду деньги, комитетъ не отвѣчалъ и не могъ отвѣчать: „не ваше дѣло". Въ частности по отношенію къ употребленію капитала на устройство пріюта для престарѣлыхъ писателей это не могло имѣть мѣста потому уже, что такого капитала Литературный Фондъ пока еще не имѣетъ въ своемъ распоряженіи По завѣщанію покойнаго В. Ѳ. Голубева для названной цѣли пожертвованы 150,000 руб., но въ этой своей части духовное завѣщаніе В. Ѳ. еще не приведено въ исполненіе, и капиталъ для устройства пріюта въ Литературный Фондъ еще не переданъ.

„3) Только въ одномъ отношеніи дѣйствія комитета Литературнаго Фонда не могутъ подлежать полной гласности: комитетъ не имѣетъ ни легальнаго, ни нравственнаго права оглашать *имена* лицъ, обращающихся къ его помощи, и вообще давать какія бы то ни было разъясненія, которыя могли бы разоблачать личныя обстоятельства его кліентовъ. Эта вынужденная сдержанность по отношенію къ чужой тайнѣ нерѣдко сопряжена съ значительными неудобствами для комитета, лишая его возможности *фактически* отвѣчать на обвиненія, почему онъ оказалъ помощь или не оказалъ ея тѣмъ или инымъ лицамъ. Но это не дѣлаетъ ее менѣе для него обязательною.

„Въ данномъ случаѣ, впрочемъ, выдвигаемое *Гражданиномъ* обвиненіе къ Литературному Фонду едва ли нуждается въ какомъ-либо опроверженіи, такъ какъ уже одинъ тотъ фактъ, что о всѣхъ своихъ выдачахъ комитетъ обязанъ давать отчетъ министерству народнаго просвѣщенія, дѣлаетъ совершенно несообразнымъ предположеніе, чтобы такія выдачи могли обращаться систематически, въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, „исключительно на помощь людямъ, проявившимъ свое враждебное правительству направленіе".

„4) Утвержденіе о томъ, что Литературный Фондъ отказывалъ въ помощи Ѳ. М. Достоевскому, уже не въ первый разъ дѣлается *Гражданиномъ*. Еще 9 лѣтъ тому назадъ то же обвиненіе противъ Литературнаго Фонда было высказано авторомъ „Дневниковъ" и тогда же было фактически опровергнуто комитетомъ. На самомъ дѣлѣ Ѳ. М. Достоевскому комитетъ Литературнаго Фонда никогда въ помощи не отказывалъ. Покойный писатель дважды, въ 1863 и въ 1864 гг., обращался въ комитетъ съ просьбами *о ссудѣ*, и оба раза таковая была ему назначена въ указанномъ имъ размѣрѣ. Выданныя ссуды были возвращены, и затѣмъ ни съ какими просьбами къ комитету Ѳ. М. Достоевскій не обращался.

„Обстоятельства, которыми сопровождались два указанные, единственные

случая обращенія Ѳ. М. Достоевскаго къ помощи Литературнаго Фонда такъ излагаются въ печатномъ Сборникѣ „XXV лѣтъ", изданномъ Литературнымъ Фондомъ въ 1884 г. въ память двадцатипятилѣтія своего существованія. Въ помѣщенной въ этомъ сборникѣ „Лѣтописи" Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ (составленной на основаніи подлинныхъ документовъ сенаторомъ Г. К. Рѣпинскимъ и извѣстнымъ писателемъ А. М. Скабичевскимъ), на стр. 46-й находимъ слѣдующее указаніе: „Въ томъ же (1863—1864) году комитетъ впервые отступилъ отъ прежняго своего толкованія устава въ томъ смыслѣ, будто бы онъ не разрѣшаетъ производить ссуды изъ суммъ Общества, и рѣшился выдать одному извѣстному писателю въ ссуду 1,500 р., срокомъ на полгода, подъ обезпеченіе правомъ собственности на всѣ его сочиненія". Далѣе, на стр. 50-й той же „Лѣтописи", читаемъ: „Прошедшій мирно въ 1863 году вопросъ о выдачѣ ссуды изъ суммъ Общества поднялъ затѣмъ цѣлую бурю. 1-го іюня 1864 г. было вновь выдано въ ссуду 1,500 руб. тому же самому писателю, который получилъ такую же ссуму въ прошломъ году и возвратилъ ее ранѣе срока; ссуда эта была выдана за поручительствомъ брата писателя". Ревизіонная коммиссія (состоявшая на этотъ разъ изъ П. В. Анненкова, М. Н. Островскаго, С. С. Дудышкина, Н. Н. Тютчева, П. Н. Меньшикова и И. А. Гончарова) должна была спеціально заняться вопросомъ о ссудахъ, и, между прочимъ, одинъ изъ членовъ ея говорилъ: „Вполнѣ вѣря въ прекрасныя намѣренія комитета, нельзя не пожалѣть, что онъ создалъ вредный прецедентъ произвольнаго присвоенія правъ, ему не принадлежащихъ. Повторенная ссуда въ 1,500 р. тому же лицу должна была тѣмъ болѣе встрѣтить порицаніе, что это лицо было въ то же время членомъ комитета". Комитетъ въ томъ же году состоялъ изъ Е. П. Ковалевскаго (предсѣдатель), кн. Г. А. Щербатова (помощникъ предсѣдателя), Ѳ. М. Достоевскаго (секретарь), И. Н. Березина (казначей), В. Н. Гаевскаго, А. Д. Галахова, К. Д. Кавелина, А. Н. Пыпина и Б. И. Утина.

„Наконецъ, въ подстрочномъ примѣчаніи на стр. 115 „Лѣтописи" мы имѣемъ прямое указаніе на „срочную ссуду, постановленную Ѳ. М. Достоевскому въ размѣрѣ 1,500 руб. въ засѣданіи комитета 23-го іюля 1863 г. и выданную ему подъ залогъ авторскаго права на всѣ его сочиненія".

„Таковы подробности даннаго эпизода. Какъ видно изъ изложеннаго, Ѳ. М. Достоевскому не только не было отказано въ помощи, но, наоборотъ, для удовлетворенія ходайства его комитетъ рѣшился даже нарушить общія существовавшія тогда правила. И если фактъ двухкратной послѣдовательной выдачи Ѳ. М. весьма крупной по тогдашнимъ средствамъ Фонда ссуды и вызывалъ споры и возраженія со стороны нѣкоторыхъ членовъ комитета и ревизіонной коммиссіи, то для этихъ возраженій существовали достаточно вѣсскія основанія, не имѣвшія никакого отношенія къ образу мыслей и политическимъ взглядамъ покойнаго писателя. Не лишнимъ будетъ замѣтить, что въ настоящее время вопросъ о правѣ комитета выдавать ссуды писателямъ изъ суммъ Общества окончательно разрѣшенъ въ положительномъ смыслѣ; но, съ другой стороны, установлено какъ общее, ненарушимое правило, что никто изъ членовъ комитета не можетъ ни въ какой формѣ пользоваться денежною помощью Общества. Между тѣмъ, ссуда Ѳ. М. Достоев-

скому, какъ мы видѣли, выдана была въ то время, когда онъ состоялъ секретаремъ комитета. Все это вмѣстѣ никакъ не говоритъ о какомъ-либо пристрастіи тогдашняго комитета Фонда противъ покойнаго писателя.

„Въ послѣдующіе годы, какъ уже было сказано, Ѳ. М. Достоевскій съ просьбами о помощи къ Литературному Фонду не обращался".

Девять лѣтъ тому назадъ издатель „Гражданина" впервые пустилъ въ ходъ клевету на Литературный Фондъ, которую нынѣ, все въ томъ же свойственномъ ему шутовски-грубомъ тонѣ, повторилъ. Какъ тогда, какъ и теперь, комитетъ Фонда представилъ свое объясненіе, сдержанность и фактическую обоснованность котораго читатели, конечно, оцѣнили. Спрашивается, что дѣлать комитету, если, спустя нѣкоторое время, кн. Мещерскому опять вздумается бросить въ него клеветой? Неужели учрежденію, членами комитета и ревизіонной коммиссіи котораго, въ теченіе чуть не полувѣковой его дѣятельности, перебывали такіе представители русской литературы и науки, какъ Тургеневъ, Гончаровъ, Григоровичъ, Костомаровъ, Бекетовъ, Бестужевъ-Рюминъ, Тютчевъ, Кавелинъ, Некрасовъ, Салтыковъ и проч. и проч.,—неужели ему понадобится еще разъ парировать грязные, совершенно безсмысленные, явно клеветническіе намеки и обвиненія? Все возможно. Злобному усердію, съ которымъ наши добровольцы сыска накидываются на все порядочное, предѣловъ нѣтъ, и никакіе уроки имъ впрокъ не идутъ. Очень рѣдки случаи, когда подобные господа унимаются. Такъ безслѣдно исчезъ съ лица литературы г. Медвѣдскій послѣ того, какъ выпустилъ въ 1896 г. цѣлый зарядъ безсмысленныхъ и невѣжественныхъ доносовъ на „Русское Богатство". Но, напримѣръ, „Московскія Вѣдомости", оскандалившись съ своимъ комически-нелѣпымъ требованіемъ вторичной присяги отъ „Русскихъ Вѣдомостей", только встряхнулись, и опять, опять занялись своимъ мало-достойнымъ литературы дѣломъ. Такъ и кн. Мещерскій: наклеветалъ, получилъ отповѣдь, а черезъ девять лѣтъ, какъ ни въ чемъ не бывало, повторилъ свою клевету. Кн. Мещерскій, накинувшись на такое скромное учрежденіе, какъ Литературный Фондъ, наговорилъ такого вздора, который слишкомъ легко было фактически опровергнуть пунктъ за пунктомъ. Но далеко не всегда въ такомъ положеніи находятся тѣ мимоходящіе, которыхъ ни съ того, ни съ сего, тянутъ къ отвѣту добровольцы сыска. И какъ подумаешь, вся эта безшабашная оргія происходитъ во имя добрыхъ нравовъ и общественнаго блага! И какъ давно она происходитъ, если даже не принимать во вниманіе

временъ Булгарина и Греча. К. К. Арсеньевъ, въ своей недавно вышедшей книгѣ „Законодательство о печати", справедливо говоритъ, что уже со второй половины шестидесятыхъ годовъ нѣкоторые органы печати „слагались мало-по-малу въ русскую литературную полицію"...

О почтенномъ трудѣ К. К. Арсеньева я, къ сожалѣнію, не могу въ настоящую минуту говорить съ тою обстоятельностью, съ какою желалъ бы и какой этотъ трудъ заслуживаетъ. Мы отмѣтимъ только одну его особенность. Книга г. Арсеньева, составляющая первый выпускъ изданія Гершунина и К° „Великія реформы шестидесятыхъ годовъ въ ихъ прошломъ и настоящемъ" (подъ редакціей І. В. Гессена и А. И. Каминка), строго говоря, есть не новая, а въ нѣкоторой своей части даже очень старая книга. И это обстоятельство очень характерно какъ для автора, такъ и для его темы. Книга составилась изъ статей, писанныхъ въ разное время (преимущественно въ „Вѣстникѣ Европы") и теперь только приведенныхъ въ связь и дополненныхъ. Первая изъ статей, написанныхъ авторомъ на тему этой книги, относится, какъ онъ сообщаетъ въ предисловіи, къ 1863 г. Въ теченіе, значитъ, ровно сорока лѣтъ авторъ неуклонно слѣдилъ за всѣми измѣненіями въ нашемъ законодательствѣ о печати (а также и за фантастическими проектами представителей, по его выраженію, „русской литературной полиціи") и за тѣмъ, какъ отражались они на судьбахъ литературы. Маленькое предисловіе къ этому, по своей обстоятельности и добросовѣстности, въ высшей степени цѣнному обзору оканчивается слѣдующими словами: „Въ старости трудно быть оптимистомъ; но я всетаки не теряю надежды, что мнѣ удастся увидѣть возобновленіе дѣла, начатаго въ лучшіе годы русской общественной жизни и съ тѣхъ поръ не только остановившагося, но двинувшагося далеко назадъ".

XVIII *)

Гр. Л. Н. Толстой о ежемѣсячныхъ журналахъ.—Г. Буренинъ о нихъ же.—„Текущіе", „мнимые" и истекшій.—О г. Меньшиковѣ.—О Накрохинѣ и о томъ, кто виноватъ въ его несчастой судьбѣ.—Книга Спенсера „Факты и комментаріи".—О любви къ отечеству и народной гордости.

Нѣкій г. Драгановъ уличилъ меня недавно въ лицемѣріи. А именно: неодобрительно отозвавшись о Л. Н. Толстомъ, я черезъ нѣкоторое время принялъ участіе въ литературномъ вечерѣ въ честь Л. Н. Толстого Я по этому поводу могу сказать только одно: г. Драгановъ, надѣленный, надѣюсь, всѣми добродѣтелями, не блистаетъ умомъ. Но „Вѣстникъ Европы", изъ котораго я узналъ объ уличеніи меня г. Драгановымъ въ лицемѣріи, счелъ нужнымъ пояснить ему, что, можетъ быть, дескать, г. Михайловскій, уважая Толстого вообще, относится отрицательно къ той или другой сторонѣ его дѣятельности въ частности, а, можетъ быть, въ промежутокъ времени между статьей и литературнымъ вечеромъ, измѣнилъ свое мнѣніе о Толстомъ. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ о лицемѣріи не можетъ быть рѣчи...

Полагаю, что не можетъ... Но изъ двухъ предположеній „Вѣстника Европы" я могу принять только первое. Мое мнѣніе о Толстомъ сложилось очень давно, и какъ ни измѣнялся въ послѣднія двадцать лѣтъ самъ Толстой, и какъ ни клянетъ онъ самъ свое прошлое, для меня нѣтъ неожиданностей въ его эволюціи. Онъ представляетъ собою очень сложную фигуру. Онъ, кѣмъ справедливо гордится русская литература передъ цѣлымъ міромъ, высказываетъ подчасъ такія ребячески-странныя мысли, что только развѣ г. Драгановъ и можетъ видѣть лицемѣріе въ томъ, въ чемъ онъ его увидѣлъ.

---

*) Ноябрь 1903 г.

Одну изъ такихъ странныхъ мыслей представляетъ „сообщенное— по словамъ г. Буренина,—недавно въ газетахъ“ мнѣніе гр. Толстого о нашихъ ежемѣсячныхъ журналахъ: „Мнѣ кажется,—сказалъ кому-то Л. Н.,—что издаются и пишутся они не въ Петербургѣ и Москвѣ, почему-то ставящихъ себя во главѣ Россіи, а гдѣ нибудь въ самой глухой провинціи, откуда въ три года ни до какого государства не доскачешь. Какая-то печать глубокаго провинціализма и шаблонности лежитъ на всѣхъ этихъ столичныхъ писаніяхъ и, скажу, провинціализма дурного тона“. „Указывая, — продолжаетъ г. Буренинъ отъ себя, — на обычныя полемики въ нашихъ ежемѣсячникахъ „гг. Благолѣпова и Нелѣпова“, на пережовываніе Богъ знаетъ въ который разъ того, что было высказано Бѣлинскимъ, Добролюбовымъ, Чернышевскимъ, Л. Н. говоритъ, что „дѣлать изъ Бѣлинскаго и Добролюбова какихъ-то пророковъ и апостоловъ по меньшей мѣрѣ смѣшно. Совсѣмъ изъ-за нихъ готовы забыть, что дѣйствительно великаго и существеннаго выдумано и происходитъ у насъ въ Россіи, въ Европѣ и Азіи. Совсѣмъ, говорю я, какъ провинціалы, которые департаментскаго курьера принимаютъ за генерала. Смѣшно это и надо бы всѣмъ на свѣжій воздухъ“.

Я не знаю, кѣмъ и въ какихъ газетахъ было „сообщено“ это сужденіе гр. Толстого; все ли оно тутъ, или это только часть сужденія о нашей литературѣ вообще, въ томъ числѣ и газетной, какъ столичной, такъ и провинціальной, и книжной; вѣрно ли передаетъ г. Буренинъ то, что сообщено въ газетахъ (къ цитатамъ этого писателя, какъ и „Новаго Времени“ вообще, надо относиться съ осторожностью). Но я допускаю, что гр. Толстой могъ высказать такое сужденіе. Съ высоты того пьедестала, на которомъ онъ стоитъ, можетъ быть, дѣйствительно въ нашей журналистикѣ не видно ничего, кромѣ тѣней Бѣлинскаго, Добролюбова и Чернышевскаго, да и тѣ ему представляются чѣмъ-то въ родѣ департаментскихъ курьеровъ. Но мы, внизу живущіе,—положеніе иногда болѣе выгодное для наблюденій,—видимъ нѣчто иное. Я отнюдь не думаю защищать наши ежемѣсячники, всѣ они очень далеки отъ идеала (да не подумаетъ кто-нибудь, что я исключаю „Русское Богатство“), и на это есть свои причины, о которыхъ здѣсь распространяться не приходится. Но обвинять ихъ въ повтореніи давнымъ давно сказаннаго Бѣлинскимъ, Добролюбовымъ и Чернышевскимъ,—по малой мѣрѣ, странно. Къ сожалѣнію, изъ цитатъ г. Буренина не видно, что именно считаетъ гр. Толстой „дѣйствительно великимъ и суще-

ственнымъ, выдуманнымъ и происходящимъ у насъ въ Россіи, въ Европѣ и Азіи". Многое дѣйствительно значительное, что „происхохитъ" въ Россіи, Европѣ и Азіи, въ настоящую минуту находится внѣ компетенціи журналистики за исключеніемъ нѣсколькихъ счастливцевъ, которые, кстати сказать, видятъ въ Бѣлинскомъ, Чернышевскомъ и Добролюбовѣ, подобно гр. Толстому, ни болѣе, какъ департаментскихъ курьеровъ. А что касается того, что „выдумано"... Да вотъ, напримѣръ, гр. Толстымъ было „выдумано" когда-то „толтовство" съ непротивленіемъ злу, неестественностью естества, четырьмя упряжками и проч., и проч. И въ свое время наши ежемѣсячники удѣляли очень много вниманія этой „выдумкѣ" и только съ недавняго сравнительно времени стали обходить почтительнымъ молчаніемъ эти грѣхи великаго писателя. Да и теперь безчисленные репортеры и интервьюеры сообщаютъ urbi et orbi о своихъ бесѣдахъ съ гр. Толстымъ на всевозможныя темы. Правда, ежемѣсячники не участвуютъ въ этихъ бесѣдахъ, но надо принять во вниманіе хотя бы то, что они слишкомъ тяжеловѣсны, чтобы бѣгать въ Ясную Поляну...

На смѣну толстовства, не считая разныхъ мелкихъ и быстро стершихся „новыхъ мозговыхъ линій", явился марксизмъ, марксизмъ обернулся идеализмомъ, идеализмъ осложнился ницшеанствомъ и декадентствомъ... Помилуйте! Какіе же тутъ Бѣлинскій, Чернышевскій, Добролюбовъ! Ихъ еле видно изъ-за этихъ быстро смѣняющихся „выдумокъ", и если бы они встали изъ своихъ гробовъ, они бы только руками развели. А между тѣмъ, все это находило и находитъ своихъ учениковъ и апологетовъ и въ нашихъ ежемѣсячникахъ...

Повторяю, гр. Толстой съ высоты своего пьедестала, почти равной высотѣ птичьяго полета, могъ не замѣтить всего этого. Но г. Буренину эти явленія нашей журналистики очень хорошо извѣстны, онъ самъ не разъ отмѣчалъ ихъ. Да и не мудрено: онъ-то вѣдь не на пьедесталѣ живетъ, а такъ же внизу, какъ и мы, грѣшные, и даже гораздо ниже насъ, ибо, поддержавъ сужденіе гр. Толстого всею мощью своего авторитета, дополнилъ его лужей сплетенъ и „намековъ тонкихъ на то, чего не вѣдаетъ никто". Сомнѣваюсь, чтобы гр. Толстой остался доволенъ такой поддержкой...

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ въ Петербургѣ ходила слѣдующая эпиграмма неизвѣстнаго мнѣ автора:

Бѣжитъ по улицѣ собака,
Идетъ Буренинъ—тихъ и милъ.
Смотри, городовой, однако,
Чтобъ онъ ее не укусилъ!

Для собакъ г. Буренинъ, конечно, никогда не былъ опасенъ, но мимоходящихъ людей онъ и доселѣ наровитъ покусать. Только, увы! зубы у него повыпадали, и онъ напоминаетъ собою ту беззубую Жучку, которая, задыхаясь отъ злости, можетъ только хрипло гавкать на мимоходящихъ. Мимоходящіе не обращаютъ на Жучку вниманія и идутъ себѣ дальше каждый по своему дѣлу, пока, наконецъ, кто-нибудь, выведенный изъ терпѣнія этимъ приставаніемъ, не пнетъ Жучку ногой,—отвяжись, дескать. И знаетъ этотъ выведенный изъ терпѣнія человѣкъ, что Жучка не отвяжется, а еще пуще зальется, наровя хватить беззубымъ ртомъ за икры, да ужъ очень надоѣла.

Вотъ уже года два, если не больше, какъ г. Буренинъ, говоря о нашихъ ежемѣсячникахъ, съ особенно злобною настойчивостью гавкаетъ два слова, точно подрядившись наполнить ими вселенную. Онъ ихъ повторяетъ десятки разъ въ каждомъ фельетонѣ. Это, во-первыхъ, нарѣчіе „мнимо“ въ сопровожденіи прилагательныхъ „либеральный“ и „радикальный“ и, во-вторыхъ, прилагательное „текущій“ въ сопровожденіи существительныхъ „литература“, „литераторъ“. При этомъ слово „текущій“ онъ ставитъ въ язвительно ироническія кавычки, сердито подтрунивая не то надъ самымъ словомъ, не то надъ кѣмъ-то, употребляющимъ его. Но кто же не употребляетъ этого обыкновеннѣйшаго русскаго слова? Конечно, „текущій литераторъ“ есть просто безсмыслица, придуманная г. Буренинымъ для пущей язвительности. Но текущая литература, текущая жизнь, текущая дѣйствительность, текущій годъ—все это сочетанія словъ столь же понятныя, сколь и общеупотребительныя. Почему же г. Буренинъ съ такою настойчивостью и язвительностію прилагаетъ эпитетъ „текущій“ къ нашимъ ежемѣсячнымъ журналамъ, когда онъ въ такой мѣрѣ приложимъ и къ газетамъ, въ томъ числѣ и къ „Новому Времени“? Почему онъ даже сочинилъ „текущаго литератора“? Текущій годъ противополагается истекшему. Очевидно, г. Буренинъ самъ признаетъ себя „истекшимъ“ писателемъ и именно поэтому злобно ворчитъ на мимоходящихъ: текущій, текущій, текущій... Ну, а „мнимо-либеральный“, „мнимо-радикальный“,—эпитеты, столь же надоѣдливо и столь же злобно расточаемые г. Бурени-

нымъ? Не означаютъ ли они, что г. Буренинъ жаждетъ истиннаго либерализма или истиннаго радикализма и, находя ихъ лишь въ „Новомъ Времени", очень сердится? Такъ или иначе, но сердится: мнимые вы, говоритъ, мнимые, мнимые, сто разъ мнимые, десять тысячъ разъ мнимые... А настоящихъ-то, хитрый человѣкъ! не показываетъ, про себя держитъ..

Не одинъ г. Буренинъ такъ недоволенъ ежемѣсячными журналами, недоволенъ и его сотрудникъ, г. Н. Энгельгардтъ. Но этотъ гораздо забавнѣе. Не такъ давно онъ объявилъ, что наши толстые журналы суть—„хулиганы", а просвѣщеніе, благородство, честность, деликатность процвѣтаютъ въ газетахъ и, главнымъ образомъ, конечно, въ „Новомъ Времени". Забавникъ!

Поминаетъ литературныхъ хулигановъ и третій сотрудникъ „Новаго Времени", г. Меньшиковъ. Но на этомъ замѣчательномъ въ своемъ родѣ писателѣ я остановлюсь нѣсколько дольше.

Свою литературную карьеру г. Меньшиковъ началъ, если не ошибаюсь, въ „Недѣлѣ" и ежемѣсячныхъ „Книжкахъ Недѣли". По поводу какой-то его статьи въ „Книжкахъ Недѣли", г. Розановъ, нынѣ помѣщающійся рядомъ съ нимъ подъ гостепріимной кровлей „Новаго Времени" (тамъ это просто, они не хулиганы какіе-нибудь, которые, по словамъ г. Меньшикова, „раздаютъ затрещины и не гоняются за тычкомъ"), обличалъ его въ „прямой и беззастѣнчивой лжи". Но не эти жестокія слова интересны въ статьѣ г. Розанова, а слѣдующая общая характеристика г. Меньшикова:

„Это писатель-мелодистъ; не богата и проста его мелодія:

Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ?

Но она льется, не утомляя и убаюкивая слухъ читателя, изъ страницы въ страницу, изъ книжки въ книжку журнала, переливается изъ одной темы на другую и, кажется, сгинь всѣ сотрудники „Книжекъ Недѣли", г. Меньшиковъ безъ всякаго напряженія ума и утомленія слова могъ бы замѣнить ихъ всѣхъ. Если вы не подвержены чувству умственной скуки, вы никогда не устанете его читать; равно какъ если въ васъ есть этотъ скверный червякъ, вы никогда его читать не начнете".

„Мелодія" писаній г. Меньшикова, пожалуй, и теперь, по перенесеніи ихъ изъ „Недѣли" въ „Новое Время", осталась все тою же; по прежнему она переливается изъ фельетона въ фельетонъ, съ одной темы на другую, и по прежнему внимать ей необыкновенно

скучно. Я, по крайней мѣрѣ, почти всегда отказываю себѣ въ этомъ удовольствіи и, признаюсь, даже съ нѣкоторымъ ужасомъ смотрю на огромные фельетоны, озаглавленные „Изъ писемъ къ ближнимъ“: эка, скуки-то сколько! Но иногда, заинтересовавшись темой, я втягиваюсь въ эту безконечную канитель, какъ невольно втягиваешься въ скучныя, словоточивыя рѣчи Іудушки Головлева. И если г. Розановъ и прежде находилъ „прямую и беззастѣнчивую ложь“ въ чижиковой мелодіи, то теперь г. Меньшиковъ окончательно развернулся, какъ развертывается все въ „Новомъ Времени“. Злобы и лжи въ этомъ елейномъ словоточивомъ писателѣ не меньше, чѣмъ въ грубомъ г. Буренинѣ, въ распоряженіи котораго только и осталось, что пародіи на декадентскія стихотворенія, которыя и сами представляютъ собою пародію на поэзію, да шипѣнія по адресу „текущихъ“ и „мнимыхъ“. Если г. Буренинъ есть истекшій писатель, то г. Меньшиковъ есть писатель неизсякаемый, какъ неизсякаемъ Іудушка Головлевъ, и именно съ тою же смѣсью холодной елейности и холодной злости, которая такъ характерна для безсмертнаго созданія Щедрина. Слова, слова и слова безъ конца льются изъ-подъ пера г. Меньшикова, и ему нѣтъ дѣла до того, что они иной разъ рѣзко противорѣчатъ другъ-другу на одной и той же страницѣ: лишь бы были слова; какъ можно больше словъ.

Недавно умеръ писатель Накрохинъ, умеръ 53-хъ лѣтъ, въ бѣдности и въ больницѣ для душевно-больныхъ. Его бывшіе товарищи по „Недѣлѣ“, гг. Энгельгардтъ и Меньшиковъ посвятили его памяти по статьѣ въ „Новомъ Времени“, г. Энгельгардтъ—краткую, г. Меньшиковъ—по обыкновенію словоточивую. По г. Меньшикову, покойный писатель былъ крупный талантъ и рѣдкой душевной чистоты человѣкъ. Я не зналъ Накрохина, почти ничего не слыхалъ о немъ и изъ его трудовъ знакомъ только съ маленькой книжкой разсказовъ „Идилліи въ прозѣ“, но, кажется, это и все, что послѣ него осталось. Кромѣ того, какъ видно изъ сообщенія г. Меньшикова, Накрохинъ былъ еще редакторомъ беллетристическаго отдѣла въ „Книжкахъ Недѣли“ и однимъ изъ „столповъ“ этого изданія, при томъ довольно долгое время, такъ какъ вступилъ въ редакцію еще при старикѣ, Павлѣ Гайдебуровѣ. Что касается его таланта, то я не думаю, чтобы его можно было назвать крупнымъ, но, въ противоположность большинству расплодившихся нынѣ авторовъ мелкихъ разсказовъ, онъ имѣлъ свою довольно, впрочемъ, блѣдную, физіономію. Г. Меньшиковъ особенно хвалитъ разсказъ „Воръ“. По его

словамъ, нельзя читать этотъ разсказъ „безъ слезъ", „необыкновенной прелестью души, весеннимъ ароматомъ отъ него дышало. Тяжкая драма маленькаго актера разсказывалась съ такимъ милымъ юморомъ и съ тѣмъ жаркимъ сочувствіемъ, какъ когда-то у Диккенса".

Не обладая чувствительной душой г. Меньшикова, я, долженъ покаяться, читалъ разсказъ „Воръ" безъ слезъ. Думаю также, что разстояніе между Накрохинымъ и Диккенсомъ — „дистанція огромнаго размѣра". Но „Воръ" очень типиченъ для Накрохина. Вотъ его содержаніе. Молодой рабочій Савва, жаждущій просвѣщенія, не пьющій и франтоватый, гулялъ въ Екатерингофѣ и, присѣвъ на травку съ книжкой („Фортификація" ему попалась), заснулъ надъ ней. Проснувшись, онъ не нашелъ при себѣ часовъ: ихъ у него, соннаго, кто-то вытащилъ изъ кармана. Часы были грошовые и даже просто никуда не годные, потому что шли, когда имъ вздумается и какъ вздумается, но они составляли предметъ гордости Саввы, и поэтому онъ былъ очень сердитъ на вора. Въ этомъ сердитомъ состояніи онъ зашелъ въ трактиръ и тамъ встрѣтилъ какого-то оборванца, который поразилъ его своимъ разговоромъ: литературный языкъ, новыя для него, Саввы, идеи, какая-то особенная гордость манеръ. Савва подсѣлъ къ оборванцу, угостилъ его водкой, разговорились. Оборванецъ оказался спившимся мелкимъ актеромъ Бѣлесовымъ (по сценѣ Градовъ-Леонскій). Достаточно угостившись и сойдясь съ Саввой „на ты", Бѣлесовъ разсказалъ ему свою исторію: какъ его изъ нѣсколькихъ гимназій выгоняли, какъ онъ совсѣмъ нечаянно женился, какъ умерла его жена, оставивъ ему маленькаго сына, какъ антрепренеры—„чортъ ихъ возьми совсѣмъ подлецовъ!"— не даютъ ему хорошихъ ролей, какъ онъ отъ всѣхъ этихъ горей и бѣдъ пьянствуетъ и какъ, наконецъ, до того дошелъ, что недавно у соннаго мастерового въ Екатерингофѣ часы укралъ... Происходитъ объясненіе, и Савва, только что передъ приходомъ въ трактиръ грозившій избить вора, если бы онъ ему попался, теперь, тронутый разсказомъ Бѣлесова о претерпѣнныхъ и претерпѣваемыхъ имъ бѣдахъ, перелагаетъ гнѣвъ на милость.

Таковы всѣ разсказы Накрохина: какой-нибудь анекдотъ, случайное совпаденіе въ основѣ и мягкій, ласкающій, примирительный моментъ въ концѣ (нѣсколько сложнѣе и лучше другихъ разсказъ „Стихія"). Сдѣлано это всегда прилично, попадаются счастливыя выраженія, удачные отдѣльные образы, но Диккенсъ всетаки самъ по себѣ, а Накрохинъ самъ по себѣ.

Прекраснымъ же душевнымъ качествамъ бѣднаго Накрохина я вполнѣ готовъ вѣрить. Нѣкоторымъ свидѣтельствомъ ихъ служитъ для меня уже то обстоятельство, что Накрохинъ не перекочевалъ, вмѣстѣ съ гг. Энгельгардтомъ и Меньшиковымъ, изъ „Недѣли“ въ „Новое Время“. Правда, для г. Меньшикова разницы между этими двумя органами печати, кажется, нѣтъ. А можетъ быть, впрочемъ, и есть, не знаю. Г. Меньшиковъ пишетъ о „Недѣлѣ“: „Либерализмъ ея отличался гуманностью и широтой, какъ истинно народный либерализмъ... Мы были (и до сихъ поръ остаемся) вѣрными началамъ цивилизаціи, гуманности, культуры добра, мы стояли за человѣческое достоинство, за права простого народа, какъ права націи. Но, какъ и многимъ старымъ либераламъ, намъ казалось, что хорошія цѣли требуютъ хорошихъ средствъ, и радикалы не могли намъ простить этого“.

Вотъ образчикъ словоточивости г. Меньшикова, и попробуйте же въ немъ разобраться, попробуйте ухватиться въ этомъ журчащемъ ручейкѣ словъ за что-нибудь твердое, ясное, опредѣленное, отличающее покойную „Недѣлю“ отъ благополучно здравствующаго „Новаго Времени“. Кто эти „мы“, которые „и до сихъ поръ остаются“ и т. д.? Отречется ли мало почтенная газета, которую нынѣ заливаетъ ручьями и морями словъ г. Меньшиковъ, отъ началъ цивилизаціи, гуманности, культуры добра? Признаетъ ли она себя защитницей дурныхъ цѣлей или дурныхъ средствъ? Правда, г. Меньшиковъ вводитъ въ свою программу либерализмъ, но вѣдь и г. Буренину не даетъ спокойно спать только „мнимый“ либерализмъ. Словомъ, весь потокъ банальныхъ, ничего не значущихъ словъ г. Меньшикова „Новое Время“, какъ и многіе другіе органы, можетъ принять на свой счетъ, тѣмъ болѣе, что „мы были и теперь остаемся“. Въ дѣйствительности же скачокъ изъ „Недѣли“ въ „Новое Время“ есть своего рода salto mortale. Г. Меньшиковъ рискнулъ прыгнуть и остался цѣлъ и невредимъ, а вотъ Накрохинъ не рискнулъ и не уцѣлѣлъ, и г. Меньшиковъ проливаетъ надъ нимъ слезы:

Хоронили нашего бѣднаго рыцаря бѣдно, какъ онъ и жилъ. Отпѣвали, представьте себѣ, за общей обѣдней. Рядомъ съ гробомъ Накрохина въ церкви стояли два чьи-то дѣтскіе крохотные гробика, розовый и бѣлый. До чего это вышло трогательно, и сказать нельзя. Душа его, невинная, какъ у ребенка, пошла, точно окруженная херувимами, среди молитвъ бѣдняковъ. Вѣнковъ тоже не было; былъ лишь маленькій вѣнокъ Общества спасанія на водахъ, гдѣ онъ когда-то служилъ. Изъ товарищей-писателей собрались трое—четверо. Такъ-то оно и лучше. Петербургъ, городъ милліонеровъ, городъ

литературы и гордой интеллигенціи! Ты проспалъ и эти похороны, какъ и жизнь замѣчательнаго человѣка. Ты сумѣлъ только отравить его нуждой и горемъ, ядомъ гнилыхъ своихъ кухмистерскихъ и каторжнаго труда...

Вынесли гробъ изъ церкви—первымъ встрѣтилъ его бюстъ Тургенева, глядѣвшій съ могилы великаго романиста. Когда опустили гробъ въ темную яму, не было рѣчей. Плакала бѣдная жена, мы молчали. Только кучка откуда-то взявшихся кладбищенскихъ ребятишекъ—опять какъ любопытные херувимы, заглядывала въ могилу и щебетала весело.

Спи же мирно, голубчикъ нашъ. Спасибо тебѣ вѣчное за то, что ты посвѣтилъ намъ своею кроткой душою. Этотъ свѣтъ въ нашей памяти, пока мы живы, не погаснетъ.

Я вѣрю искренности скорби г. Меньшикова по случаю смерти Накрохина, который былъ для него, по его словамъ, идеаломъ чести и добра. Но обратите вниманіе, какъ даже въ эти искреннія минуты, г. Меньшиковъ напоминаетъ собою Іудушку Головлева: хоронили бѣдно, отпѣвали, „представьте себѣ!“ за общей обѣдней. Были у покойника товарищи, изъ нихъ иные много пишутъ, хорошіе гонорары получаютъ и могли бы какъ-нибудь получше эту послѣднюю церемонію устроить, да попроще-то оно лучше вышло: съ одного боку розовенькій гробикъ, съ другого бѣленькій гробикъ, и такъ съ херувимами его невинная душенька и вознеслась къ Всевышнему... Вѣнковъ тоже не было. Былъ одинъ маленькій, Общество спасанія на водахъ прислало, а товарищи не принесли,—все рублей 20—25 на цивилизаційцу да на маслице за упокой души останется. И таково хорошо вышло: бюстъ Тургенева при выходѣ изъ церкви покойника встрѣтилъ. Кладбищенскіе херувимы весело щебетали: подайте, Христа ради! И до того это трогательно вышло...

И вдругъ паѳосъ, который вѣдь и Іудушкѣ въ нѣкоторыхъ торжественныхъ случаяхъ не чуждъ былъ: „Ты, Петербургъ, городъ милліонеровъ, городъ литературы и гордой интеллигенціи, ты отравилъ его нуждой и горемъ, ядомъ своихъ гнилыхъ кухмистерскихъ и каторжнаго труда!..“ Позвольте, однако, при чемъ же тутъ милліонеры? Что имъ Гекуба и что они Гекубѣ? Другое дѣло литература и гордая интеллигенція. Но вѣдь не всю же ее можно винить въ отравленіи Накрохина гнилыми кухмистерскими и каторжнымъ трудомъ. Не всю, а только ту часть ея, которая знала прекрасныя качества души покойнаго писателя, высоко цѣнила его умъ, талантъ и работоспособность,—то есть редакцію и сотрудниковъ „Недѣли“ и въ частности тѣхъ, которые, ради пущаго благолѣпія похоронъ среди бѣленькихъ и розовенькихъ гробиковъ и кладбищенскихъ

херувимчиковъ, на маслице да на цивилизаційцу у себя въ карманѣ деньги оставили. Іудушка, который никогда за словомъ въ карманъ не полѣзетъ, можетъ по этому поводу распространиться на тему о тщетѣ пышныхъ похоронъ, хотя только что негодовалъ на то, что Петербургъ „проспалъ" похороны Накрохина. Но дѣло не въ похоронахъ, а въ жизни. Мертвому, конечно, все равно, какъ его хоронятъ, но живому не все равно, какъ ему жить приходится. Накрохину жилось очень скверно, но винить въ этомъ литературу и гордую интеллигенцію тѣмъ паче нѣтъ резона, что, какъ разсказываетъ г. Меньшиковъ, „къ писательскому кругу онъ не подходилъ, сближался очень трудно... Онъ какъ бы боялся этого черезчуръ ужъ пестраго и шумнаго міра". Значитъ, вина отравы нуждой и горемъ, гнилыми кухмистерскими и каторжнымъ трудомъ лежитъ исключительно на тѣхъ, кто вмѣстѣ съ нимъ работалъ, кто зналъ, какъ высокія качества его ума и сердца, такъ и его нужду. Г. Меньшиковъ восклицаетъ: „О, эти гнусныя петербургскія кухмистерскія! Казалось страннымъ, какъ это человѣкъ пожилой, безукоризненной жизни, огромнаго и тонкаго труда, человѣкъ замѣчательнаго таланта шагаетъ по мокрой панели со своей больной печенью въ смрадное заведеніе. Какъ это быть фактическимъ редакторомъ въ старомъ и богатомъ журналѣ и не имѣть права на здоровый, хотя бы мужицкій обѣдъ. *Это одна изъ тайнъ нашего чуднаго времени (курсивъ мой. Н. М.)* Мелкіе приказчики, бѣдняки-студенты, чиновники, интеллигенты—въ ихъ бѣдной толпѣ замѣшивался человѣкъ, который гдѣ нибудь на родинѣ Бурже жилъ бы, какъ герцогъ".

Пусть читатель обратитъ вниманіе на подчеркнутую мною въ этой тирадѣ фразу: „это одна изъ тайнъ нашего чуднаго времени". Какая же тутъ тайна, когда совершенно ясно, что редакція стараго и богатаго журнала, проповѣдывавшаго широкую гуманность, культуру добра и т. д., держала своего фактическаго редактора впроголодь? Г. Меньшиковъ самъ разсказываетъ: „Что очаровало въ Накрохинѣ стараго Гайдебурова—не только талантъ, но и рекомендація его въ томъ вѣдомствѣ, гдѣ онъ служилъ: „работаетъ за четверыхъ". Поступилъ этотъ золотой работникъ на жалованье въ сорокъ рублей и много лѣтъ сидѣлъ на 50, на 75. Это платятъ писарю, а Накрохинъ былъ прирожденный художникъ, человѣкъ изящнаго вкуса, и несъ самую тонкую, самую дорогую службу—редактировалъ беллетристику, читалъ редакторскія корректуры". Ну то-то и есть. При чемъ же тутъ „тайна нашего времени", милліонеры, гордая интел-

лигенція и всѣ прочія слова, слова, слова? Съ свойственною ему способностью нанизывать слова на слова, не заботясь о смыслѣ и правдѣ, а лишь бы выходили предложенія съ подлежащими, сказуемыми, опредѣленіями и дополненіями, г. Меньшиковъ продолжаетъ: „Случалось, ему предлагали прибавить жалованья, онъ пугался этого и отказывался... Никакими силами нельзя было помочь ему, дать, напримѣръ въ долгъ,—онъ обижался и отказывался". Бываютъ люди, до такой степени щепетильные, что отказываются кредитоваться даже у близкихъ людей, у товарищей, но чтобы человѣкъ, „работая за четверыхъ" и находясь въ крайней нуждѣ, отказался отъ предложенной ему законнѣйшей прибавки вознагражденія,—этому я не вѣрю. И имѣю право не вѣрить: принималъ же Накрохинъ увеличеніе жалованья съ 40 рублей на 50, 75... Но допустимъ, что здѣсь нѣтъ „прямой и беззастѣнчивой лжи". Спрашивается, если Накрохинъ былъ такой человѣкъ, что ему „никакими силами" нельзя было помочь даже увеличеніемъ рабочей платы, сколько-нибудь сообразнымъ съ его „каторжнымъ трудомъ", не говоря уже о пріятельскомъ, товарищескомъ кредитѣ, то за что же г. Меньшиковъ гнѣвается на постороннихъ людей? Отъ нихъ-то вѣдь и подавно Накрохинъ не принялъ бы помощи.

Слишкомъ много цвѣтовъ, г. Меньшиковъ! Слишкомъ много цвѣтовъ не только на гробъ Накрохина,—это въ минуту траура простительно,—но и на головы товарищей несчастнаго писателя, что уже совершенно непростительно въ устахъ одного изъ нихъ. Слишкомъ много цвѣтовъ въ эту сторону и слишкомъ много змѣинаго шипа по адресу „тайнъ нашего чуднаго времени", которыя разгадываются такъ просто, и людей, ни сномъ, ни духомъ неповинныхъ въ несчастной судьбѣ Накрохина.

Змѣиный шипъ г. Меньшикова приведеннымъ не ограничивается. Онъ продолжаетъ о Накрохинѣ: „При его положеніи въ редакціи, при его талантѣ ему ничего бы не стоило выдвинуться, „прогремѣть", но для этого нужно было многое, на что Накрохинъ былъ неспособенъ. Чтобы сдѣлать себѣ „карьеру въ печати нынче—нужно окунуться съ головою въ лужу журнализма, примкнуть къ крайней партіи, записаться въ „союзы", бывать на митингахъ нашихъ и обѣдахъ, ухаживать за либеральными дамами и „вождями". Все это скучно и глупо, и Накрохинъ былъ слишкомъ порядоченъ для всего этого".

Тутъ мы опять натыкаемся на лужу сплетень и намековъ тонкихъ

на то, чего не вѣдаетъ никто, которую я изъ брезгливости обошелъ, говоря о г. Буренинѣ. Не трону ея и для г. Меньшикова,—онъ, вѣроятно, думаетъ, что такая лужа есть „хорошее средство для хорошей цѣли", ну и пусть себѣ думаетъ. Я же скажу лишь слѣдующее: Накрохинъ не „прогремѣлъ" и не сдѣлалъ „карьеры" частью потому, что талантъ его былъ для этого недостаточно силенъ и оригиналенъ, а частью потому, что редакція „Недѣли", держа его впроголодь, навалила на него черной работы за четверыхъ. Но что такое „карьера" для писателя? Г. Меньшиковъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи еженедѣльно огромное пространство въ богатѣйшей и распространеннѣйшей изъ нашихъ газетъ. По моему это „карьера" (что онъ выбралъ именно эту газету и что на отведенномъ ему пространствѣ онъ бобы разводитъ, это уже дѣло его вкуса). А между тѣмъ, онъ видимо недоволенъ. Не значитъ ли это, что онъ, подобно щедринскимъ Добродѣтелямъ, втайнѣ завидуетъ Пороку? Не значитъ ли это даже, что онъ не Добродѣтели, а Лицемѣрію подобенъ?

Я остановилъ вниманіе читателей только на двухъ фельетонахъ „Новаго Времени", но очень типичныхъ, какъ для ихъ авторовъ, такъ и для всего облика газеты, хотя, понятное дѣло, и отдаленнѣйшимъ образомъ не исчерпывающихъ всей той отравы, которую „Новое Время" съ изумительно броненосною совѣстью ежедневно вноситъ въ умы и сердца десятковъ тысячъ читателей въ теченіе десятковъ лѣтъ. Особенно подчеркиваю типичность фельетона г. Меньшикова. Онъ посвященъ частному событію,—судьбѣ и смерти мало извѣстнаго писателя,—но въ немъ отразились главныя черты не только автора, а и предоставившаго ему свои столбцы органа. Вѣдь нѣтъ же никакого сомнѣнія въ томъ, что Накрохина заѣздили пріятели-товарищи, которые будто бы „никакими силами" не могли ни помочь ему, ни облегчить его работу за четверыхъ. Но г. Меньшиковъ не только не чувствуетъ по этому поводу ни угрызеній совѣсти, ни гнѣва по адресу редакціи, въ которой работалъ вмѣстѣ съ Накрохинымъ, а пишетъ, при такомъ удобномъ случаѣ, панегирикъ своей гуманности, культурѣ добра и прочимъ добродѣтелямъ; виновниковъ же ищетъ среди какихъ-то милліонеровъ, да совершенно чужихъ покойнику писателей и кстати пускаетъ ядовитыя стрѣлы въ тѣхъ, кто дѣлаетъ „карьеру" въ „союзахъ" и проч. Не достаетъ только, чтобы онъ притянулъ къ отвѣту за Накро-

хина евреевъ, армянъ, финновъ, которые, дѣйствительно, ровно столько же виноваты въ печальной судьбѣ покойнаго, какъ и всѣ обвиняемые г. Меньшиковымъ. И такова обычная тактика „Новаго Времени". Съ видомъ гордаго самодовольства сидя по горло въ лужѣ, оно какъ бы не замѣчаетъ этого, но это не мѣшаетъ ему, то игриво, то злобно, брызгать грязью изъ этой лужи въ мимоходящихъ.

Слѣдовало бы остановиться на патріотизмѣ „Новаго Времени". Это конекъ, который осѣдлывается поочередно чуть не всѣми сотрудниками этой газеты и состоитъ въ томъ, чтобы подъ флагомъ любви къ отечеству, возбуждать вездѣ, гдѣ можно, ненависть къ этому отечеству. Но я принялъ уже достаточную порцію „Новаго Времени". Хочется отдохнуть на чемъ-нибудь почище.

Недавно вышла въ русскомъ переводѣ книга Герберта Спенсера подъ заглавіемъ „Факты и комментаріи". Это—сборникъ небольшихъ статеекъ самаго разнообразнаго содержанія, размѣромъ иногда въ одну, двѣ страницы. Сборникъ можно было бы считать чѣмъ-то вродѣ записной книжки, куда авторъ заносилъ разные матеріалы для своихъ будущихъ работъ, если бы не неоднократныя оговорки, что это скорѣе дополненіе къ его напечатаннымъ уже трудамъ, новыхъ изданій которыхъ онъ, по старости и болѣзненному состоянію, не разсчитываетъ дождаться. О разнообразіи предметовъ, останавливающихъ на себѣ вниманіе престарѣлаго мыслителя (Спенсеръ родился въ 1820 г.), можно судить по заглавіямъ нѣкоторыхъ изъ статей, вошедшихъ въ составъ „Фактовъ и комментаріевъ": „Присутствіе духа", „Искаженіе музыки", „Самопроизвольныя реформы", „Чувство и разумъ", „Государственное народное образованіе", „Стиль", „Любовь къ отечеству", „Субординація", „Предсказаніе погоды", „Санитарное дѣло на теоріи и на практикѣ", „Къ вопросу о наслѣдственности", „Измѣненіе закона объ акціонерныхъ обществахъ", „Кое-какія ереси въ музыкѣ" и т. д.

Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ маленькихъ этюдовъ („Чувство и разумъ", „Цѣль искусства") Спенсеръ протестуетъ противъ преобладающей роли, которая, какъ въ теоріи, такъ и въ педагогической практикѣ, отводится разуму, мыслительному элементу, сравнительно съ эмоціональнымъ чувствомъ. Но въ немъ самомъ интел-

лектуальный элементъ несомнѣнно преобладаетъ. Очень характерна въ этомъ отношеніи одна мимоходомъ сообщаемая имъ автобіографическая черта. Съ 1889 г. онъ проводитъ лѣто на югѣ Англіи въ какой-нибудь усадьбѣ, гдѣ есть молодежь. На свои ежедневныя прогулки въ экипажѣ онъ беретъ обыкновенно съ собой двухъ барышень. Но ему трудно поддерживать или даже слушать непрерывный разговоръ. Поэтому время отъ времени онъ задаетъ своимъ юнымъ спутницамъ такіе вопросы, для отвѣта на которые надо подумать. „При этихъ обстоятельствахъ",—говоритъ онъ, „у меня выработалась мало-по-малу привычка задавать подобные вопросы, какъ для ознакомленія со свѣдѣніями молодыхъ людей, такъ и для упражненія ихъ умственныхъ способностей". И вотъ образчики этихъ вопросовъ: „Отчего утка ходитъ, переваливаясь съ боку на бокъ? Для какихъ именно цѣлей выработались особенности строенія, обусловливающія такую походку?" Или: „Какимъ образомъ жаворонокъ, парящій въ воздухѣ, можетъ безостановочно пѣть въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ?" Или еще: „Коровы и лошади пьютъ воду такимъ же образомъ, какъ и люди, тогда какъ собаки и кошки ее локаютъ. Чѣмъ именно объясняется эта разница?" И т. д. „Меня изумляли и поражали не столько ошибочные отвѣты,—замѣчаетъ Спенсеръ,—сколько выяснившееся изъ нихъ отсутствіе представленія о потребности соотвѣтствія между разсматриваемымъ явленіемъ и предполагаемой для него причиной". Надо, однако, войти и въ положеніе юныхъ спутницъ мыслителя, которыя въ прекрасную погоду и среди красивой мѣстности, естественно настраивающихъ извѣстнымъ образомъ чувства, должны ломать себѣ голову надъ вопросомъ—почему утка ходитъ, переваливаясь съ боку на бокъ?

Въ замѣткѣ „Преувеличенія и неточности", между прочимъ, читаемъ: „Въ порывѣ чувства мы расположены употреблять болѣе сильныя выраженія, чѣмъ бы слѣдовало... Сознаюсь, что я и самъ заслуживаю порицанія за подобныя неточности въ выраженіи мыслей. Перечитывая свои рукописи, я нерѣдко находилъ, напримѣръ, что слова: „очень" и „весьма" употреблялись тамъ безъ надобности". Вотъ до какой степени остерегается англійскій мыслитель отдаться „порыву чувства" или повліять на чувства своего читателя. Онъ хочетъ внушить ему только истину, и тонъ, которымъ онъ задаетъ вопросъ о переваливающейся съ боку на бокъ уткѣ, ничѣмъ не отличается отъ того, которымъ онъ предлагаетъ

новый способъ быстрой и безболѣзненной смертной казни („Пресѣченіе жизни"). Послѣдняя замѣтка сборника („Неразрѣшенные вопросы") оканчивается слѣдующими словами: „За послѣдніе годы сознаніе безначальности, безпричинности и вѣчности бытія безпредѣльнаго пространства порождаетъ во мнѣ чувство, отъ котораго я прихожу въ трепетъ". И больше ни единаго слова о своемъ „трепетѣ" Спенсеръ не говоритъ. Холодно-спокойный тонъ этихъ заключительныхъ словъ статьи, такъ рѣзко контрастирующій съ ихъ содержаніемъ,—точно о совсѣмъ постороннемъ человѣкѣ рѣчь идетъ,—напоминаетъ собою авторскія ремарки въ драматическихъ произведеніяхъ: *(трепещетъ), (стрѣляетъ), (умираетъ)* и т. д.

Это не значитъ, конечно, что Спенсеръ лишенъ способности различать добро и зло. Напротивъ, его по-истинѣ необыкновенная сдержанность и боязнь „преувеличеній и неточностей" придаютъ особенную вѣскость нѣкоторымъ его размышленіямъ на нравственно-политическія темы.

Въ знаменитой статьѣ „О любви къ отечеству и народной гордости"—думаю, впрочемъ, что большинству современниковъ болѣе знакомо это часто поминаемое заглавіе, чѣмъ самое содержаніе статьи—Карамзинъ хвалитъ англичанъ за то, что они „лучше хотятъ свистать и шипѣть по англійски своимъ, нежели говорить чужимъ языкомъ, извѣстнымъ почти всякому изъ нихъ". Карамзинъ видитъ въ этомъ свидѣтельство патріотизма, которымъ англичане вообще славятся. Посмотримъ же, что говоритъ о патріотизмѣ сдержанный, не подкупный для какого бы то ни было краснаго словца и въ своемъ родѣ очень типичный англичанинъ—Спенсеръ.

„Затронутый за живое, если бы кто-нибудь обозвалъ меня не честнымъ или несправедливымъ, я остался бы совершенно равнодушнымъ, если бы обо мнѣ сказали, что я—не патріотъ". Такъ начинается замѣтка „Любовь къ отечеству" въ сборникѣ „Факты и комментаріи". Дѣло въ томъ, что вопросъ о патріотизмѣ представляется Спенсеру въ гораздо болѣе сложномъ видѣ, чѣмъ онъ представлялся Карамзину, хотя тотъ и дѣлилъ любовь къ отечеству на физическую, нравственную и политическую, а Спенсеръ совсѣмъ не касается двухъ первыхъ. Онъ знаетъ многія черты жизни англійскаго народа, „о которыхъ позволительно вспоминать съ гордостью". „Къ такимъ чертамъ,—говоритъ онъ,—принадлежатъ, напримѣръ: давнишняя отмѣна крѣпостного права, давнишнее же развитіе сво-

бодныхъ учрежденій и признаніе народныхъ правъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ это произошло на материкѣ Европы послѣ того, какъ съ упадкомъ феодализма прекратилось прикрѣпленіе народа къ землѣ. Постановляя, что каждый рабъ немедленно освобождается, какъ только ему удалось ощупать у себя подъ ногами англійскую почву; прекращая ввозъ рабовъ въ англійскія колоніи; уплачивая двѣсти милліоновъ рублей за освобожденіе рабовъ въ Вестъ-Индіи и содержа (хотя и въ убытокъ себѣ) цѣлый флотъ для пресѣченія торговли невольниками, мои соотечественники, разумѣется, поступали весьма похвально. Давая у себя пріютъ политическимъ бѣглецамъ и вступаясь за маленькія государства, изнемогавшія въ борьбѣ за свободу, Англія опять-таки обнаруживала благородныя черты, возбуждающія сочувствіе".

Такимъ образомъ, хотя Спенсеръ и заявляетъ, что онъ останется равнодушнымъ, если его назовутъ не патріотомъ, но ему отнюдь не чужды ни любовь къ отечеству, ни народная гордость. Но любовь къ отечеству, какъ и всякая другая любовь, бываетъ разная. Есть люди, по тѣмъ или другимъ побужденіямъ намѣренно закрывающіе глаза на уродливыя или позорныя черты любимаго лица или предмета, есть и искренно слѣпые въ этомъ отношеніи, есть, наконецъ, и такіе, которыхъ подобные изъяны особенно огорчаютъ и оскорбляютъ,—къ чужимъ, далекимъ слабостямъ, и позорамъ они отнеслись бы гораздо холоднѣе. Спенсеръ принадлежитъ къ послѣднимъ. Именно потому, что онъ вовсе не равнодушенъ къ сущности дѣла, онъ говоритъ о нѣкоторыхъ мрачныхъ сторонахъ англійской исторіи и жизни съ негодованіемъ, на какое только способенъ его сдержанный языкъ. „Возгласъ: „За родину, будь она права или нѣтъ!"—говоритъ онъ,—кажется мнѣ положительно мерзостнымъ". Представимъ себѣ,—продолжаетъ онъ,—что Англія „завладѣла чужой территоріей или же навязываетъ съ оружіемъ въ рукахъ свои товары (напр., опіумъ) народу, не желающему допускать ихъ къ себѣ, что она, вступаясь за своихъ резидентовъ, намѣревается „покарать" тѣхъ, кто дерзнулъ противъ нихъ возмущаться, короче, допустимъ, что Англія поступаетъ несправедливо. Что именно означаетъ въ такомъ случаѣ возгласъ: „за родину, будь она права или нѣтъ"? Право тогда оказывается на сторонѣ нашихъ противниковъ, а несправедливость на нашей сторонѣ. Какимъ образомъ слѣдовало бы, при такихъ обстоятельствахъ, точнѣе выразить патріотическія наши пожеланія? Очевидно,

для этого оказались бы самыми подходящими словами: „Долой право! пусть торжествуетъ несправедливость!“... Въ старину вѣрили, а многіе вѣрятъ и до сихъ поръ, въ бытіе олицетвореннаго принципа зла, въ существо, которое повсемѣстно ведетъ борьбу противъ добра и пособляетъ торжеству зла. Трудно было бы короче выразить цѣли и стремленія этого существа, какъ тѣми же словами: „Долой справедливость! пусть торжествуетъ несправедливость!“ Не знаю, понравится ли такъ называемымъ патріотамъ это сопоставленіе“.

Можно съ увѣренностью сказать, что сопоставленіе это не понравится англійскимъ „такъ называемымъ патріотамъ“, собственно потому, что Спенсеръ иллюстрируетъ его примѣрами изъ англійской жизни, но по той же самой причинѣ оно можетъ быть, даже очень понравится германскимъ или какимъ инымъ такъ называемымъ патріотамъ. Особенно, когда Спенсеръ входитъ въ подробности и негодуетъ на способы, какими пріобрѣтены Англіей, подъ именемъ факторій, колоній, протекторатовъ и т. п., слишкомъ восемьдесятъ владѣній, на войну съ бурами, на разнообразныя проявленія растущаго англійскаго имперіализма и т. д. Тутъ всѣмъ не-англійскимъ такъ называемымъ патріотамъ открывается обширное поле для „киваній на Петра“, и они охотно признаютъ, что сопоставленіе англійской политики съ дьяволомъ очень удачно и вѣрно. Это не помѣшаетъ, однако, напримѣръ, германскимъ патріотамъ считать отторженіе Шлезвига отъ Даніи или Эльзаса и Лотарингіи отъ Франціи дѣломъ высшей справедливости.

Спенсеръ возвращается къ этой темѣ и въ другихъ своихъ замѣткахъ. Въ одной изъ нихъ онъ развиваетъ ту мысль, что народы-побѣдители, собственно говоря, такіе же рабы, какъ и покоренные ими народы. Онъ начинаетъ съ образа, часто попадающагося на ассирійскихъ барельефахъ: плѣнника со связанными руками и съ веревкой на шеѣ ведетъ за эту веревку свирѣпый побѣдитель. По толкованію Спенсера, тутъ не одинъ невольникъ, какъ кажется на первый поверхностный взглядъ, а два. „Здѣсь проявляется въ простѣйшей наглядной формѣ міровая истина, заключающаяся въ томъ, что орудія, которыми достигается подчиненіе другихъ, въ свою очередь подчиняютъ себѣ побѣдителя или властелина“. Съ свойственною ему даже въ излишествѣ обстоятельностью Спенсеръ доказываетъ, что ассирійскій побѣдитель такъ же привязанъ къ веревкѣ, какъ и его рабъ: онъ стѣсненъ во всѣхъ своихъ движеніяхъ,

долженъ, если захочетъ напиться изъ протекающаго тутъ же ручейка, предварительно привязать плѣнника, долженъ заботиться не о своемъ только, а и о его прокормленіи и т. д. Этотъ символическій образъ облекается въ живую плоть и кровь на всемъ протяженіи исторіи, начиная съ древнѣйшихъ временъ. „Соотношеніе между покореніемъ чужеземныхъ народовъ и ограниченіемъ свободы самихъ завоевателей свидѣтельствуется, между прочимъ, надписью въ Карнакѣ, повѣствующей о томъ, „какъ горько расплачивался Египетъ за свои завоеванія тяжкими налогами, обусловленными необходимостью содержать многочисленную армію". И самъ владыка фараонъ, державшій, иносказательно выражаясь, на веревкѣ цѣлый рядъ подвластныхъ ему племенъ, отнюдь не былъ свободенъ: каждый часъ его времени, каждый глотокъ его пищи были строго регламентированы закономъ. Таково же было положеніе римскаго императора, бывшаго, по словамъ Гиббона, „первымъ рабомъ установленнаго имъ церемоніала" и сдѣлавшагося подъ конецъ „игрушкою преторіанской гвардіи, которая являлась для него одновременно и средствомъ охраны, и грозной опасностью". Приведя еще нѣсколько подобныхъ фактовъ и соображеній, Спенсеръ возвращается къ своему отечеству и дѣлаетъ примѣрный разсчетъ, во что обходятся англичанину пріобрѣтеніе и содержаніе восьмидесяти слишкомъ англійскихъ колоній, факторій и протекторатовъ. Онъ называетъ „подневольной работой" ту, которая идетъ на уплату налоговъ вмѣсто того, чтобы быть затраченной на улучшеніе жизненныхъ условій самого гражданина и его семьи. И „по мѣрѣ того, какъ въ Великобританіи съ возростаніемъ имперіализма увеличивается количество такой подневольной работы, каждый изъ сыновъ Альбіона становится все въ большей степени рабомъ государства". Къ этому надо еще прибавить тяжесть военной службы. „Участвовавшіе въ южно-африканской войнѣ могутъ удостовѣрить, что, не смотря на красивыя фразы, служба въ британской арміи въ военное время является рабствомъ, худшимъ, чѣмъ то, въ которомъ находились негры у плантаторовъ и, къ тому же, осложняющимся еще рискомъ насильственной смерти".

„Впрочемъ, — заключаетъ Спенсеръ, — даже если бы и удалось уяснить сынамъ Альбіона, въ какой степени условія ихъ жизненной обстановки зависятъ отъ размѣровъ государственныхъ нуждъ, съ возростаніемъ которыхъ должно оставаться все меньше средствъ на удовлетвореніе личныхъ потребностей каждаго гражданина, то это произвело бы въ настоящее время лишь слабое впечатлѣніе. Пока

страсть къ господству беретъ у большинства англичанъ верхъ надъ всѣмъ остальнымъ, они будутъ мириться съ рабствомъ, которое неразлучно съ имперіализмомъ. Для людей, гордящихся чертами характера, свойственными не исключительно человѣку только, а также и грубому звѣрю, для людей, считающихъ храбрость бульдога равноцѣнной мужеству и заимствующихъ понятіе о долгѣ и чести изъ кулачнаго боя на призы, гдѣ участники добровольно подвергаются физической боли, увѣчьямъ и даже рискуютъ жизнью для того, чтобы взять верхъ надъ противникомъ, всѣ приведенныя здѣсь соображенія покажутся не заслуживающими вниманія".

Очень вѣроятно... Но не потому, или, по крайней мѣрѣ, далеко не только потому, что сыны Альбіона, какъ и сыны всякой другой европейской страны, одолѣваются „жаждой господства" и видятъ свою честь въ томъ, чтобы „взять верхъ надъ противникомъ". Этотъ мотивъ въ современныхъ цивилизованныхъ странахъ осложняется гораздо болѣе реальными побужденіями. По Спенсеру выходитъ такъ, что существуетъ Англія и въ ней англичане, „граждане", преслѣдуемые мечтами о господствѣ надъ другими народами и претерпѣвающіе убытки, благодаря имперіалистской политикѣ Англіи. Въ дѣйствительности, англичане отнюдь не всѣ и каждый терпятъ эти убытки. Колоніи, факторіи, протектораты представляютъ собою новые рынки для сбыта англійскихъ товаровъ или же, какъ бывшія бурскія республики, поприще для эксплуатаціи огромныхъ мѣстныхъ богатствъ. Всякаго рода поставщики оружія, одежды, пищевыхъ продуктовъ наживаютъ въ военное время колоссальныя состоянія. Вообще существуютъ группы, и при томъ наиболѣе вліятельныя, лицъ извлекающихъ изъ имперіалистской политики крупныя выгоды. Что они руководствуются совсѣмъ не жаждой господства, это видно изъ примѣра англійскихъ и германскихъ торговыхъ фирмъ, снабжавшихъ Китай оружіемъ и передъ минувшей войной съ Китаемъ, и передъ вѣроятной будущей. Среди нихъ и надъ ними могутъ быть и мечтатели-честолюбцы (какъ, напримѣръ, прозванный африканскимъ Наполеономъ Родсъ), признающіе правильнымъ мнѣніе Людовика XIV, что первое удовольствіе королей состоитъ въ расширеніи владѣній. А ниже ихъ—слѣпая масса, сама по себѣ мирная и ни о какомъ господствѣ не думающая, но легко воспламеняемая злыми словами о чужихъ людяхъ, которыхъ слѣдуетъ покорить, подчинить, хотя подчинены эти чужіе люди будутъ во всякомъ случаѣ не этой слѣпой массѣ, а тѣмъ, кому она и сама подчинена...

IX *).

По поводу одного письма.—Изъ клеветъ Лѣскова.—О такъ называемой благонамѣренности.—О статьѣ г. К. Левина и книжкѣ г. Бориса Гегидзе.

Я получилъ недавно изъ дальней провинціи письмо, которое и доставило мнѣ большое удовольствіе, и вмѣстѣ съ тѣмъ навело на очень грустныя размышленія.

Мой корреспондентъ (сельскій священникъ) прочиталъ въ приложенномъ къ „Нивѣ“ 1902 г. изданіи сочиненій Лѣскова статью или „истинное событіе“, какъ ее называетъ авторъ, „Загадочный человѣкъ“, и смутился однимъ сообщеннымъ тамъ свѣдѣніемъ о Елисеевѣ и Чернышевскомъ. „Я привыкъ,—пишетъ онъ,—съ глубокимъ почтеніемъ относиться къ именамъ этихъ писателей, видя въ этихъ честныхъ и искреннихъ дѣятеляхъ русскаго самосознанія своего рода устои, которые находятся въ основѣ дѣятельности значительной части русской интеллигенціи... И вотъ, уважая Г. З. Елисеева и Н. Г. Чернышевскаго, странно и тяжело читать у Лѣскова въ его „Загадочномъ человѣкѣ“, что оба эти писателя искали сотрудничества при изданіяхъ М. Н. Каткова, редактора „Московскихъ Вѣдомостей“, и что искательства эти были Катковымъ отклонены“. Авторъ письма пытается затѣмъ установить нѣкоторыми хронологическими данными фактическую невозможность того, что сообщаетъ Лѣсковъ, и въ заключеніе пишетъ: „Что же это значитъ? Ужели въ самомъ дѣлѣ это было, и Елисеевъ и Чернышевскій „искали“ у Каткова или же Лѣсковъ въ пылу полемики и озлобленія позволилъ себѣ допустить клевету? И то, и другое одинаково прискорбно! Въ свое время, можетъ быть, и были по этому поводу какія-нибудь разъясненія, чего молодое поколѣніе не знаетъ. Въ

---

*) Январь, 1904 г.

интересахъ справедливости не откажите разъяснить эти сомнѣнія путемъ, какой признаете вы наиболѣе удобнымъ: печатно ли на страницахъ „Русскаго Богатства“ (такъ какъ въ надлежащемъ освѣщеніи сомнительнаго факта нуждаюсь, я думаю, не одинъ я), или же письменно на мое имя“.

Удовольствіе, доставленное мнѣ этимъ письмомъ, понятно само собой, а что касается возбужденныхъ имъ грустныхъ мыслей, то о нихъ рѣчь будетъ ниже. Теперь же припомнимъ всю ту страницу „Загадочнаго человѣка“, на которой Лѣсковъ треплетъ имена не только Елисеева и Чернышевскаго, а и другихъ непріятныхъ ему людей.

„Загадочный человѣкъ“ есть біографія нѣкоего Артура Бенни, имѣющая цѣлью обѣлить память этого несчастнаго человѣка отъ нѣкоторыхъ тяготѣвшихъ на немъ при жизни обвиненій. Но, дѣлая это хорошее дѣло и пылая по этому поводу негодованіемъ противъ „злословія и клеветы“, Лѣсковъ самъ съ поразительною безцеремонностью пускаетъ въ ходъ это презрѣнное оружіе. Этому способствуетъ, во-первыхъ, полубеллетристическій характеръ статьи, вслѣдствіе котораго Wahrheit и Dichtung въ ней перемѣшаны; во-вторыхъ,—отсутствіе хронологическихъ датъ; ихъ замѣняютъ выраженія въ родѣ: „оправившись послѣ болѣзни“, „по возвращеніи изъ Москвы“, „въ это время“ и т. п., но когда человѣкъ оправился отъ болѣзни, когда вернулся изъ Москвы, о какомъ времени идетъ рѣчь,—догадаться нельзя. Именно такимъ оборотомъ начинается интересующая насъ страница:

„Въ это время (когда Бенни „воскресъ изъ мертвыхъ послѣ своей болѣзни“) нѣкто ѣздилъ въ Москву и привезъ оттуда роковое извѣстіе, которому, кажется, невозможно бы и вѣрить: новость заключалась въ томъ, что извѣстный сотрудникъ „Современника“ Г. З. Е—сеевъ былъ—у М. Н. Каткова и просилъ послѣдняго принять его въ число его сотрудниковъ, но... получилъ отъ г. Каткова отказъ. Бенни былъ этимъ жестоко смущенъ: онъ, говоря его словами, всегда вѣрилъ, что „если людишки и плохи, то между ними всетаки *два человѣка* есть“. Эти два человѣка, по его мнѣнію, были г. Чернышевскій и г. Е—сеевъ, изъ которыхъ съ послѣднимъ Бенни лично даже едва ли былъ знакомъ, но объ обоихъ имѣлъ самое высокое мнѣніе, и вотъ одинъ изъ этихъ, самый крѣпкій, идетъ и продается Каткову, котораго имени Бенни не могъ переносить съ тѣхъ поръ, какъ онъ самъ являлся къ редактору „Москов-

скихъ Вѣдомостей". Но этимъ еще все зло не исчерпывалось: помимо ввергавшаго Бенни въ отчаяніе обстоятельства, что Г. З. Е—сеевъ искалъ сотрудничества при изданіяхъ М. Н. Каткова, оказалось, что этого же добивался у редакторовъ „Московскихъ Вѣдомостей" и самъ Н. Г. Чернышевскій и что искательство это тоже было отклонено. Бенни бѣгалъ, освѣдомлялся, возможно ли, слыхано ли что нибудь подобное; и узналъ, что все это и возможно, и слыхано. Съ этой поры его все поражало: онъ, напримѣръ, былъ „пораженъ", что Вас. Ст. Курочкинъ писалъ во время крымской обороны патріотическія стихотворенія, обращавшія на него взыскующее вниманіе начальства, а Г. З. Елисеевъ сочинилъ „жизнеописаніе святителей Григорія, Германа и Варсонофія казанскихъ и свіяжскихъ" и посвятилъ эту книгу „Его Высокопреосвященству Высокороднѣйшему Владиміру, архіепископу Казанскому и Свіяжскому" *). Но что уже совсѣмъ срѣзало Бенни, такъ это нѣкоторыя стихотворенія столь извѣстнаго поэта Н. А. Некрасова. Я говорю о тщательно изъятой Некрасовымъ изъ продажи книжечкѣ, носящей заглавіе „Мечты и звуки". Я уберегъ у себя эту рѣдкость нынѣшняго времени, и Бенни переварить не могъ этой книги и негодовалъ за стихи, впрочемъ, еще не особенно несогласные съ позднѣйшими мечтами и звуками г. Некрасова. Таково, напримѣръ, тамъ стихотвореніе, въ которомъ г. Некрасовъ внушалъ, что

Отъ жажды знанья плодъ не сладокъ!
О, не кичись, средь гордыхъ думъ,
Толпой безсмысленныхъ догадокъ,
Мудрецъ: *безъ Бога прахъ твой умъ!* (Курсивъ Лѣскова).

„Поэтъ, совѣтуя „мудрецу" не упорствовать и не изнурять себя науками, пѣлъ:

Не жди, не мучься, не грѣши:
Съ мольбой возьмись за трудъ по силѣ,
Путь къ знаньямъ *вѣрой* освяти
И съ этимъ факеломъ къ могилѣ,
Всего отгадчицѣ, гряди.

---

*) Въ выноскѣ Лѣсковъ приводитъ самый текстъ посвященія и прибавляетъ: „Этотъ тонъ возмущалъ Бенни, и мнѣ кажется, что такое посвященіе въ самомъ дѣлѣ довольно любопытно, какъ для современниковъ автора, такъ особенно для будущаго историка литературы нашего времени, который по достоинству оцѣнитъ искренность литературныхъ трудовъ этого писателя и прозорливость „снисхожденія, одобрявшаго недостоинства трудившагося".

„Поучая „мудреца“ идти этою дорогою, г. Некрасовъ былъ строгъ и сурово наказывалъ „мудрецу“ даже не любить людей, которые думали бы иначе идти къ „отгадчицѣ“:

И разлюби родного сына
За отступленье отъ Творца“.

Таковы факты, по словамъ Лѣскова, смущавшіе, взволновавшіе и возмущавшіе Бенни

Прежде всего, когда все это происходило? Ни одной даты Лѣсковъ не указываетъ, но, по соображенію событій, о которыхъ идетъ рѣчь въ статьѣ, надо думать, что Бенни „бѣгалъ“, „освѣдомлялся“, „возмущался“, „поражался“ въ 1861—1862 гг. А между тѣмъ, „Мечты и звуки“ изданы въ 1840 г.; Елисеевское жизнеописаніе Гурія (а не Григорія, какъ пишетъ Лѣсковъ), Варсонофія и Германа издано въ 1847 г; „патріотическое“ стихотвореніе Курочкина написано во время „крымской обороны“, то-есть въ 1754—1755 гг.; Чернышевскій началъ работать въ „Современникѣ“ въ 1854 г. и очень скоро занялъ въ немъ первенствующее положеніе, а въ 1862 г. онъ былъ уже арестованъ; Елисеевъ сталъ писать въ „Современникѣ“ въ 1858 г.; а въ 1861 завѣдывалъ уже въ немъ отдѣломъ „внутренняго обозрѣнія“. Сопоставляя эти даты, тщательно скрытыя Лѣсковымъ, позволительно думать, что факты, которые, по его словамъ, возмущали и поражали Бенни, отчасти просто сочинены Лѣсковымъ, а отчасти сочинено имъ это возмущеніе и волненіе Бенни. Самъ Лѣсковъ въ свое время настолько не возмущался и не поражался, что въ 1862 г. въ спискѣ издателей сотрудниковъ газеты „Вѣкъ“, единогласно избравшихъ своимъ редакторомъ Елисеева, имя Лѣскова стоитъ рядомъ съ именемъ Курочкина. А къ Чернышевскому Лѣсковъ, по словамъ его біографа, г. Сементковскаго, и въ 1863 г. относился сочувственно (См. сочиненія Лѣскова изданія 1897 г., стр. XXII предисловія). Позволительно думать, что въ 1870 г., когда написанъ „Загадочный человѣкъ“. Лѣсковъ заднимъ числомъ навязалъ своему, уже умершему, другу Бенни негодованіе, возмущеніе и т. п., для которыхъ, съ его собственной точки зрѣнія въ началѣ 60-хъ годовъ, никакого повода не было.

Но,—скажетъ, можетъ быть, читатель, — пусть Лѣсковъ взвелъ напраслину на Бенни, вложивъ покойнику въ уста выраженіе своей собственной озлобленности и смѣшавъ въ одну кучу факты, отдѣленные одинъ отъ другого почти четвертью вѣка,—все же это

факты. Дѣйствительно, Некрасовъ издалъ книжку стихотвореній „Мечты и звуки", которую потомъ самъ же скупалъ и уничтожалъ; Елисеевъ, дѣйствительно, написалъ жизнеописаніе казанскихъ святителей и посвятилъ его архіепископу Владиміру, Курочкинъ, дѣйствительно, написалъ стихотвореніе, за которое получилъ подарокъ (перстень), наконецъ у Елисеева, дѣйствительно, были переговоры съ Катковымъ о сотрудничествѣ. Но вопросъ: что во всемъ этомъ зазорнаго и позорнаго, удивительнаго и возмутительнаго? И для отвѣта на этотъ вопросъ хронологическія данныя, въ связи, конечно, съ другими обстоятельствами, имѣютъ огромное значеніе.

Соль злостныхъ подчеркиваній Лѣскова состоитъ въ указаніи на измѣну своимъ убѣжденіямъ или лицемѣріе Некрасова, Курочкина, Елисеева, Чернышевскаго. Пересмотримъ же съ этой точки зрѣнія всѣ приведенные факты.

Некрасовъ скупалъ и уничтожалъ экземпляры своей книжки „Мечты и звуки" не потому, что тамъ встрѣчаются слова „Богъ", „Творецъ", „вѣра",—атеистомъ или невѣрующимъ онъ никогда себя не афишировалъ,—а просто потому, что сознавалъ слабость этихъ стиховъ мальчика въ 17, 18 лѣтъ. Но, конечно, придя въ возрастъ, онъ уже не такъ ребячески относился къ „знанію", какъ въ „Мечтахъ и звукахъ". И, кромѣ Лѣскова или, по его словамъ, Бенни, никогда и никто, ни даже злѣйшіе враги Некрасова не подходили къ нему съ упрекомъ съ этой стороны. Нужна была виртуозность Лѣскова, чтобы бросить въ него такимъ просто нелѣпымъ камнемъ. Ни тѣни лицемѣрія, ни намека на измѣну убѣжденіямъ тутъ нѣтъ, и вся инсинуація разсчитана на невѣдующихъ или невнимательныхъ читателей, какихъ, конечно, всегда много: какъ-никакъ, а что-то лишній разъ всетаки брызнуло на музу мести и печали.

В. С. Курочкинъ воспитывался въ кадетскомъ корпусѣ и затѣмъ въ Дворянскомъ полку (Константиновское военное училище). Будучи въ послѣднемъ, тоже мальчикомъ 17—18 лѣтъ, онъ и написалъ стихотвореніе, за которое получилъ отъ великаго князя Михаила Павловича перстень. Написано оно было по поводу юбилея великаго князя и съ спеціальною цѣлью выручить товарищей, на которыхъ Михаилъ Павловичъ наложилъ тяжелыя наказанія за какую-то шалость. На награду, кромѣ предположенной цѣли, юный поэтъ, конечно, не разсчитывалъ и во всей своей дальнѣйшей дѣятельности никакихъ наградъ не получалъ и умеръ бѣднякомъ, оплакивая свою

погибшую „Искру“. Дѣло было не „во время крымской обороны“, а гораздо раньше, хотя это, конечно, ничего не измѣняетъ по существу.

Елисеевъ сочинилъ свое жизнеописаніе казанскихъ святителей, будучи молодымъ баккалавромъ казанской духовной академіи... Но здѣсь я могу предоставить слово самому Елисееву. Надо замѣтить, что на инсинуацію Лѣскова онъ въ свое время не обратилъ вниманія, а можетъ быть, и просто не зналъ о ней, не замѣтилъ. Только въ 1878 г., когда какой-то газетный человѣкъ вновь поднялъ разговоръ о „Житіи Гурія, Варсонофія и Германа“,—онъ счелъ нужнымъ представить свое объясненіе. Онъ писалъ, между прочимъ: „Сфера моей прежней спеціальной литературной дѣятельности въ существѣ своемъ вовсе не находится въ такомъ противорѣчіи съ моей нынѣшней литературной дѣятельностью, чтобы нужно было радикальное нравственное измѣненіе для перехода изъ первой въ послѣднюю... Съ лѣтами должно было болѣе или менѣе видоизмѣниться мое теоретическое религіозное міросозерцаніе, но нравственное міросозерцаніе осталось то же самое: тѣ моральныя истины, которымъ я училъ въ проповѣдяхъ, которыя имѣлъ въ виду или излагалъ въ своихъ лекціяхъ студентамъ, которыя проводилъ въ историческихъ трудахъ, тѣ же самыя истины я излагаю или имѣю въ виду и въ моихъ „внутреннихъ обозрѣніяхъ“.

Что это дѣйствительно такъ, видно хотя бы изъ содержанія одной изъ лекцій Елисеева, приводимой историкомъ Казанской духовной академіи, г. Знаменскимъ: лекція была посвящена вопросу „о жизни привилегированныхъ классовъ въ Россіи, о горемычномъ житьѣ народа и о крѣпостномъ правѣ,—предметѣ, тогда еще положительно запрещенномъ“. Эта была вступительная лекція въ курсъ церковной исторіи.

Ясно, что выходка Лѣскова, кѣмъ-то, однако, и послѣ него пущенная въ ходъ, есть просто вздоръ. Но если бы Елисеевъ и дѣйствительно кореннымъ образомъ измѣнилъ свои взгляды? Замѣчательно, что наши перевертни, съ необыкновенно легкимъ сердцемъ сжигающіе сегодня то, чему поклонялись вчера, и, обратно, поклоняющіеся тому, что наканунѣ жгли, любятъ разыскивать въ жизни достойныхъ уваженія людей противорѣчія—дѣйствительныя, кажущіяся, а то и просто выдуманныя — между воззрѣніями ихъ молодости и зрѣлаго возраста. Перевертни злорадно тычатъ въ эти иногда очень больныя мѣста, облегчая тѣмъ свою запятнанную

ренегатствомъ душу. Это не мѣшаетъ имъ съ совершенно яснымъ лбомъ попрекать неподвижность, окаменѣлость людей, которымъ посчастливилось провести свое міросозерцаніе съ юныхъ лѣтъ въ общихъ чертахъ неприкосновеннымъ. Говорю: посчастливилось, потому, что это въ самомъ дѣлѣ счастье, удача, и за первые шаги въ жизни, совершаемые человѣкомъ подъ давленіемъ окружающей среды, мудрено взваливать на него отвѣтственность. Въ дѣйствительности, дѣло не въ томъ, измѣнились или не измѣнились убѣжденія человѣка, въ томъ, былъ ли онъ искрененъ въ своихъ измѣненіяхъ или въ своей неизмѣнности. Честь и слава бывшему гонителю христіанъ Савлу, превратившемуся въ апостола Павла, потому-что видѣніе на дамасской дорогѣ пронзило ему душу, и позоръ Іудѣ, продавшему Христа за сребренники. Надо, впрочемъ, замѣтить, что есть порода людей, прыгающихъ съ одной вѣтки дерева познанія добра и зла, на другую не ради какихъ-нибудь матеріальныхъ благъ, а, напримѣръ, изъ желанія быть одѣтыми всегда „по послѣднему журналу"...

Но насъ ждетъ еще одна инсинуація Лѣскова, при томъ наиболѣе интересная, та самая, которая привлекла къ себѣ вниманіе вышеупомянутаго моего корреспондента: Елисеевъ и Чернышевскій навязывались съ своимъ сотрудничествомъ къ Каткову и были имъ отвергнуты...

Все, что мнѣ извѣстно о фактической подкладкѣ этой сплетни, разсказано въ статьѣ о Елисеевѣ, напечатанной въ первомъ томѣ моей книги „Литературныя воспоминанія и современная смута". Но тамъ не было обращено достаточно вниманія на обстановку дѣла, которую я полагалъ общеизвѣстною. Времена мѣняются...

Мнѣ какъ-то даже неловко напоминать, что Катковъ не всегда былъ тѣмъ, какимъ онъ остался въ памяти позднѣйшихъ поколѣній, что онъ былъ въ началѣ своей дѣятельности, примѣрно до 1863 г., представителемъ очень опредѣленной либеральной программы, и о рѣзкомъ разногласіи, съ „Современникомъ", которое обнаружилось впослѣдствіи, не было и помину. Въ объявленіи объ изданіи „Русскаго Вѣстника" (1856 г.) былъ помѣщенъ длинный списокъ сотрудниковъ, въ числѣ которыхъ значатся имена, напримѣръ, А. Н. Пыпина, М. Л. Михайлова. Въ „Русскомъ Вѣстникѣ" печаталъ свои „Губернскіе очерки" Салтыковъ. Подъ надѣлавшимъ въ свое время шума печатнымъ протестомъ противъ оскорбительной юдофобской выходки журнала „Иллюстрація" подписались и Катковъ, и Черны-

шевскій (1858). Подъ адресомъ, поднесеннымъ въ томъ же 1858 г. уволенному въ отставку цензору фонъ-Крузе, о чемъ очень хлопоталъ Катковъ, его подпись стоитъ рядомъ съ именами всѣхъ главныхъ сотрудниковъ „Современника". Года два спустя, отношенія между двумя журналами начинаютъ нѣсколько обостряться, далеко, однако, не переходя въ открытый антагонизмъ; они принимаютъ какъ бы ироническій характеръ.

„Современникъ" въ 1860 г. писалъ: „Русскій Вѣстникъ" и нашъ журналъ служатъ представителями двухъ различныхъ принциповъ, и надобно сказать теперь, какъ мы сами понимаемъ отношенія между нами. Мы думаемъ, что воззрѣнія, излагаемыя „Русскимъ Вѣстникомъ", подготовляютъ людей къ принятію воззрѣній, излагаемыхъ нами. Когда человѣкъ долженъ идти отъ отсутствія всякой дѣльной мысли къ ясному сознанію своихъ дѣлъ и средствъ для удовлетворенія своимъ потребностямъ, онъ не можетъ сразу сдѣлать окончательный выводъ: полная истина была бы слишкомъ сурова для него, требованія показались бы ему превышающими его силы. Онъ идетъ къ ней постепенно, отдыхая на перепутьи. Намъ кажется, что такимъ перепутьемъ для мысли служатъ воззрѣнія, которыхъ держится „Русскій Вѣстникъ", что они хороши для пробужденія людей изъ современной летаргіи, для вовлеченія ихъ въ умственный процессъ. Ступень сознанія, на которую ведетъ „Русскій Вѣстникъ", не такъ высока надъ уровнемъ нашей рутины, чтобы очень трудно было восходить на нее. А когда человѣкъ взойдетъ на нее, ему уже не очень далеко остается подняться и на слѣдующую ступень, на которую прямо стать ему было бы трудновато. Пусть проститъ насъ „Русскій Вѣстникъ", но мы считаемъ его очень полезнымъ для для насъ подготовителемъ серьезныхъ людей къ принятію нашихъ понятій: мы считаемъ его педагогическимъ учрежденіемъ, въ которомъ читается приготовительный курсъ".

Съ своей стороны, Катковъ въ 1861 г., подтрунивая въ нѣсколькихъ статьяхъ (одна изъ нихъ озаглавлена: „Виды на entente cordiale съ „Современникомъ") надъ нѣкоторыми статьями „Современника", очень одобрительно относится къ другимъ, а именно къ статьямъ Чернышевскаго о политической экономіи Милля.

Такимъ образомъ, въ эти годы отношенія между „Русскимъ Вѣстникомъ" и „Современникомъ" были отнюдь не таковы, чтобы сотрудничество въ обоихъ журналахъ единовременно было абсолютно невозможно или представляло собою нѣчто постыдное, укора до-

стойное. И если намъ это трудно теперь признать, такъ это потому, что мы невольно смотримъ сквозь призму позднѣйшей эволюціи Каткова. Но дѣло въ томъ, что Чернышевскому никакой надобности не было ни въ такомъ совмѣстительствѣ, ни въ переходѣ изъ одного журнала въ другой: какъ извѣстно и какъ подтверждаютъ только что опубликованныя г. Пыпинымъ письма Некрасова къ Тургеневу („Вѣстникъ Европы", ноябрь и декабрь 1903 г.), Чернышевскій занималъ въ „Современникѣ" первенствующее положеніе. Высокое положеніе занималъ въ немъ и Елисеевъ, но у него переговоры съ Катковымъ въ 1861 г. дѣйствительно были, и вотъ по какому поводу. Въ 1861 г. Катковъ выдѣлилъ изъ „Русскаго Вѣстника" „Современную Лѣтопись" въ видѣ еженедѣльнаго изданія. Елисеевъ же всегда находилъ форму ежемѣсячнаго, „толстого" журнала слишкомъ тяжеловѣсною и неповоротливою и всегда мечталъ о газетной работѣ рядомъ съ журнальною. Работая въ „Современникѣ", онъ въ то же время писалъ въ „Искрѣ", редактировалъ „Вѣкъ", издавалъ „Очерки", и не разъ заводилъ со мной разговоръ о томъ, что хорошо бы и рядомъ съ „Отечественными Записками" вести газету. И когда Катковъ рѣшилъ выдѣлить „Современную Лѣтопись" въ видѣ еженедѣльнаго изданія, Елисеевъ имѣлъ съ нимъ переговоры о сотрудничествѣ. Я не знаю, съ чьей стороны шла иниціатива переговоровъ, но, во всякомъ случаѣ, вотъ что сообщаетъ объ этомъ самъ Елисеевъ: „Катковъ съ самаго начала эмансипаціи, угрожавшей поглотить всѣ права дворянства и поставить во главу русской цивилизаціи вмѣсто дворянства рода дворянство образованія, сталъ заботиться о поддержаніи дворянства и о сохраненіи его историческихъ правъ. Это была его прямая тенденція еще въ 1861 году, какъ онъ самъ мнѣ тогда объ этомъ говорилъ, присовокупляя, что ему соглашался помогать въ этомъ и Кавелинъ. Вѣроятно, были и другіе, но другихъ онъ мнѣ не назвалъ, а самъ я не поинтересовался спросить его объ ихъ именахъ. Мнѣ была противна эта тенденція, и именно потому, что Катковъ ставилъ ее на первомъ планѣ, я отказался участвовать въ его журналѣ и въ его „Современной Лѣтописи", издававшейся при журналѣ". Изъ этого видно, что дѣло происходило какъ разъ наоборотъ тому, что разсказываетъ Лѣсковъ. Какъ относился Катковъ къ Елисееву, по крайней мѣрѣ, въ то время, видно еще изъ слѣдующаго. Въ 1862 г. газета „Вѣкъ" перешла въ руки артели писателей (въ числѣ ихъ, какъ уже сказано, былъ и Лѣсковъ), которые единогласно выбрали

своимъ редакторомъ Елисеева, и Катковъ очень одобрилъ этотъ выборъ въ „Современной Лѣтописи".

Что же касается Чернышевскаго, то я и представить себѣ не могу, на извращеніи или перетолкованіи какихъ фактовъ основано облыжное показаніе Лѣскова. Полагаю, оно цѣликомъ выдумано и, надо сказать, очень плохо выдумано, такъ что въ свое время никто даже не обратилъ, а можетъ быть, и не могъ обратить вниманія на эту ужъ слишкомъ явную нелѣпость.

Очень поучительны слова, которыми мой корреспондентъ сопровождаетъ выраженіе своего сомнѣнія въ вѣрности показаній Лѣскова: „въ свое время, — пишетъ онъ, — можетъ быть, и были по этому поводу какія-нибудь разъясненія, чего молодое поколѣніе не знаетъ". Кое какія разъясненія, какъ читатель видитъ, были, но отчасти они были неудобны въ силу постороннихъ обстоятельствъ, отчасти же въ нихъ и надобности не было, такъ какъ факторы, о которыхъ тутъ идетъ рѣчь, были еще у всѣхъ въ памяти. Но новые, въ послѣднее время особенно быстро растущіе ряды русскихъ читателей пребываютъ часто въ полной неизвѣстности относительно интереснѣйшихъ страницъ русской исторіи. Въ упомянутыхъ любопытныхъ матеріалахъ для біографіи Некрасова, напечатанныхъ въ „Вѣстникѣ Европы" г. Пыпинымъ, Чернышевскій вездѣ скрытъ надъ иниціаломъ Ч. Я не удивлюсь, если окажется, что кое-кто изъ молодыхъ читателей, не смотря на прозрачность иниціала въ связи съ текстомъ всей работы г. Пыпина, такъ и не узнаетъ, кого разумѣетъ авторъ. Осторожность г. Пыпина въ настоящее время до непонятности излишня. Со времени ссылки Чернышевскаго прошло сорокъ лѣтъ; то, что ему было вмѣнено въ преступленіе, само правительство признало искупленнымъ понесенною имъ тяжелою карою, не говоря уже о всеискупляющей силѣ смерти; имя его постоянно поминается въ статьяхъ по исторіи литературы и общественнаго движенія шестидесятыхъ годовъ. Словомъ, пріемъ г. Пыпина въ теперешнихъ условіяхъ печати совершенно необъяснимъ, онъ представляетъ собою запоздалый отголосокъ того времени, когда о Чернышевскомъ открыто и свободно могли говорить только Лѣсковы и имъ подобные. Время это тянулось достаточно долго, чтобы, при условіи недоступности сочиненій Чернышевскаго для огромнаго большинства читателей, — гдѣ же рыться въ старыхъ журналахъ, да и

какъ до нихъ добраться?—онъ сталъ какою-то отвлеченною величиною, лишенною конкретнаго облика. Нынѣ нѣтъ уже надобности въ таинственномъ иниціалѣ *Ч*, но и нынѣ большинство читателей знаетъ носителя этого иниціала изъ вторыхъ, изъ третьихъ рукъ,—изъ случайныхъ статей, да изъ трудовъ по исторіи русской литературы, авторы которыхъ сами далеко не всегда стоятъ на высотѣ своей задачи. Къ этому надо прибавить и другія еще обстоятельства. „И въ школѣ, и въ семьѣ—говоритъ г. К. Левинъ,—отношеніе къ чтенію „постороннихъ" книгъ въ большинствѣ случаевъ отрицательное, въ лучшемъ случаѣ формальное... И нѣтъ ничего удивительнаго, если многіе юноши, не обладающіе врожденнымъ стремленіемъ къ свѣту, выходятъ изъ стѣнъ средняго учебнаго заведенія круглыми невѣждами, и ничего миѳическаго нѣтъ въ томъ, что среди студентовъ 2-го—3-го курса можно встрѣтить такихъ, которые ничего и никогда не слыхали о Щедринѣ и Гл. Успенскомъ" („Что читаетъ и чѣмъ интересуется учащаяся молодежь". „Міръ Божій", декабрь 1903).

Ревнители такъ называемой благонамѣренности скажутъ, пожалуй, что это и прекрасно, это именно то, что нужно по отношенію къ такимъ писателямъ, какъ Щедринъ и Успенскій, которые хотя и допущены къ обращенію на книжномъ рынкѣ, но недостаточно благонамѣренны и поэтому не во всѣхъ библіотекахъ и читальняхъ находятся. Мнѣ кажется, что это разсужденіе совершенно неосновательно. Неосновательно съ какой угодно точки зрѣнія, въ томъ числѣ и съ точки зрѣнія такъ называемой благонамѣренности. Щедринъ и Успенскій суть настолько крупные факты исторіи русской литературы, что ихъ никакимъ топоромъ не вырубишь, и, не зная ихъ, нельзя называться образованнымъ человѣкомъ. Ну, а необразованный студентъ—это какое-то ходячее внутреннее противорѣчіе. Положимъ, за этимъ такъ называемая благонамѣренность не гонится, она знаетъ какую-ту иную, свою особую образованность, состоящую изъ спеціальныхъ знаній въ той или другой области и чистоты сердца, которая можетъ только загрязниться общеніемъ съ гнѣвной сатирой Щедрина и скорбнымъ юморомъ Успенскаго; пусть же, дескать, современное юношество, въ Аркадіи рожденное, въ Аркадіи и пребываетъ. Это разсужденіе было, конечно, не умно, но, по крайней мѣрѣ, послѣдовательно, пока такъ называемая благонамѣренность настаивала на чистой наукѣ и абсолютной невинности души. Но вотъ, въ Харьковѣ сложилась группа студентовъ, примк-

нувшая къ мѣстному филіальному отдѣленію петербургскаго „Русскаго Собранія“, и такъ называемая благонамѣренность ничего противъ этого не имѣетъ. Не имѣю противъ этого ничего и я: разъ существуютъ молодые люди, сочувствующіе цѣлямъ и программамъ „Русскаго Собранія“, тамъ имъ и мѣсто, и естественно, что депутація учащейся молодежи, явившаяся на поклонъ въ это учрежденіе, была встрѣчена съ распростертыми объятіями. Но мнѣ кажется, что обстоятельство это броситъ нѣкоторую тѣнь лицемѣрія на такъ называемую благонамѣренность. Въ самомъ дѣлѣ, не отрицая мнѣ лично, впрочемъ, неизвѣстныхъ заслугъ передъ наукою гг. Суворина, Комарова, Муравлина, Энгельгардта, покойнаго Велички и другихъ главарей „Русскаго Собранія“, надо всетаки признать, что Собраніе это есть не научное какое-нибудь учрежденіе, не ученое общество, а нѣчто въ родѣ политическаго клуба. И если общеніе съ нимъ не вредитъ интересамъ чистой науки, то не видно, почему имъ вредило общеніе съ Щедринымъ и Успенскимъ. Разъ въ духовный обиходъ учащейся молодежи допущенъ, въ видѣ обсужденія темъ, дебатируемыхъ въ „Русскомъ Собраніи“, посторонній наукѣ элементъ, — было бы чистымъ лицемѣріемъ настаивать на занятіяхъ наукой, какъ на единственной, исключительной задачѣ молодежи. Нужны какія-нибудь основанія уже не для исключенія всякихъ постороннихъ элементовъ, а для ихъ сортировки, распредѣленія по рубрикамъ овецъ и козлищъ. Глубока тайна благонамѣренности, и я никогда не могъ проникнуть въ нее. Не буду и теперь пытаться; но, если такъ называемая благонамѣренность принимаетъ воинствующій характеръ,—а она почти всегда такова,—то не только элементарнѣйшая справедливость, а и прямой разсчетъ требуютъ, чтобы ея адепты были знакомы съ тѣмъ, что побудило ихъ занять воинствующее положеніе. Иначе вѣдь и благонамѣренность можетъ оказаться на глиняныхъ ногахъ, ежеминутно грозящихъ подломиться.

Въ статьѣ г. К. Левина „Что читаетъ и чѣмъ интересуется учащаяся молодежь“, изъ которой я заимствовалъ свѣдѣніе о студентахъ 2-го—3-го курса, никогда не слыхавшихъ о Щедринѣ и Успенскомъ, приведены, между прочимъ, такіе отрывки изъ писемъ представителей учащейся молодежи: „Россія порабощена нѣмцами и евреями“, или „поляками и финляндцами“, которые, „всюду втираясь и таща за собою своихъ, оттѣсняютъ и притѣсняютъ русскихъ“, и т. п. Одинъ даже трактуетъ о „завоеваніи Россіи нѣмцами и евреями“. Авторъ статьи изумляется: „Откуда это „добро“ привилось къ чи-

стымъ юношескимъ душамъ? Кто заразилъ ихъ этой гнусной ложью? Семья или школа? Можетъ быть, семья, можетъ быть, школа, а можетъ быть, и „русскій парламентъ", какъ назвалъ г. Меньшиковъ „Новое Время", вѣроятно имѣя въ виду извѣстный анекдотъ о человѣкѣ qui parle et qui ment. Во всякомъ случаѣ благонамѣренность этихъ столь плохо вооруженныхъ, хотя и рѣшительныхъ молодыхъ людей, во-первыхъ, очень дешево стоитъ, и никакая партія не можетъ чувствовать себя польщенною ихъ присутствіемъ въ ея рядахъ: во-вторыхъ, очень она не прочна, эта благонамѣренность безъ оглядки и на скорую руку: одинъ какой-нибудь свѣтлый лучъ, случайно пронизавшій потемки „русскаго парламента",—а за такіе случайные лучи никогда нельзя поручиться,—и она уступитъ свое мѣсто инымъ теченіямъ. Вотъ почему я думаю, что студенты, никогда не слыхавшіе о Щедринѣ, Успенскомъ и, конечно, еще обо многомъ другомъ, составляютъ прискорбное явленіе даже съ точки зрѣнія такъ называемой благонамѣренности.

Прискорбныхъ явленій въ средѣ современной учащейся молодежи не мало, и для этого есть достаточно причинъ, какъ въ общихъ условіяхъ нашей жизни, такъ и въ частности въ обстановкѣ молодежи. Объ этомъ много говорятъ и въ обществѣ, и въ печати. Къ сожалѣнію, при этомъ далеко не всегда получаютъ правильную оцѣнку и самые факты, и порождающія ихъ причины, и ихъ взаимныя отношенія.

Вотъ, напримѣръ, имѣющая большой успѣхъ (вышло уже третье изданіе) книжка г. Бориса Гегидзе. „Въ университетѣ. Наброски студенческой жизни". Авторъ или его герой, лицо, отъ имени котораго написаны „наброски", яркими, слишкомъ яркими красками рисуетъ пошлость и грязь студенческой жизни, проходящей, если ему вѣрить, сплошь въ пьянствѣ и похожденіяхъ въ разныхъ явныхъ и тайныхъ притонахъ разврата. Пьянствующіе и развратничающіе одинокіе молодые люди ни для кого не новость, они всегда были и, вѣроятно, еще долго будутъ. Мало того, какъ ни прискорбно, что лучшіе годы жизни часто такъ скверно расходуются, само по себѣ это обстоятельство еще не наводитъ на безнадежно мрачныя мысли. Надо же принять въ соображеніе психологію вчерашняго гимназиста, ставшаго сегодня вольнымъ, самостоятельнымъ человѣкомъ, имѣющимъ право идти, куда онъ хочетъ, и дѣлать,

что хочетъ,—перемѣна, отъ которой немудрено закружиться головѣ. Да гульба можетъ и не мѣшать работѣ, и кто не знаетъ гулякъ, изъ которыхъ выходятъ дѣльные и даровитые работники. Вопросъ не въ случайныхъ эксцессахъ, которые позволяютъ себѣ молодые люди, а въ томъ, что составляетъ фонъ жизни студенчества въ цѣломъ. И вотъ въ этомъ отношеніи г. Гегидзе сообщаетъ намъ устами своего героя нѣчто новое. „Остановите,—говоритъ онъ,—*каждаго* изъ этихъ милыхъ молодыхъ людей и загляните въ его лицо, изучая его выраженіе: какъ *всѣ* эти лица тупы, пошлы и лишены ума и отпечатка яркаго духа. „Студенты это какая-то банда тупицъ и невѣждъ". „Противны мнѣ стали студенты съ ихъ тупостью, неразвитостью и *развратомъ*".

Подчеркиваю это послѣднее слово въ видахъ еще одной цитаты изъ книжки: „Удивительно, какъ только ни пойдешь въ публичный домъ, вездѣ, въ Акваріумѣ, Альказарѣ и тому подобныхъ мѣстахъ свирѣпствуютъ студенты. Я не говорю, что всѣ таковы, но большинство, общая масса".

Герой г-на Гегидзе очень наивенъ, и, благодаря этой наивности, передъ нами раскрывается секретъ, по крайней мѣрѣ, части его обличеній. Онъ—студентъ, но, какъ сейчасъ увидимъ, на лекціи, вообще говоря, не ходитъ, разныя студенческія вечеринки и тому подобныя собранія презираетъ. Публичные же дома посѣщаетъ охотно и даетъ въ своихъ „набросках" обстоятельное изложеніе своихъ похожденій тамъ. „А потомъ, съ негодованіемъ пожимая плечами, восклицаетъ: это удивительно! какъ ни пойдешь въ публичный домъ въ „Альказаръ" и „тому подобныя мѣста", непремѣнно студентовъ встрѣтишь! Этакіе развратники!—Удивляться тутъ, кажется, не чему. Удивительно и даже поистинѣ чудомъ было бы, если бы наивный герой увидѣлъ въ „тому подобныхъ мѣстахъ" тѣхъ студентовъ, которые тамъ не бываютъ. Онъ знаетъ, что такіе есть, но, понятное дѣло, ничего объ нихъ сообщить не можетъ, и завсегдатаи кажутся ему „большинствомъ, общею массою".

До какой степени вниманіе героя устремлено въ эту спеціальную сторону, видно изъ того, что, презирая своихъ товарищей за похожденія въ разныхъ веселыхъ пріютахъ, которые, однако, и его часто видятъ въ своихъ стѣнахъ, онъ въ то же самое время скорбитъ объ участи женской половины, учащейся молодежи въ такихъ выраженіяхъ: „Бѣдныя дѣвушки! Сколько тайныхъ, стыдливо скрываемыхъ отъ постороннихъ взглядовъ мученій происходитъ отъ

этого неестественнаго мучительнаго аскетизма, на который онѣ нехотя обречены нашими пошлыми, глупыми предразсудками". Выходитъ, что если бы учащіяся дѣвушки вели себя такъ же, какъ изображаемые имъ студенты, въ томъ числѣ и онъ самъ, то нашъ грозный обличитель былъ бы, пожалуй, доволенъ...

Ясно, что передъ нами какой-то мономанъ, воображеніе котораго постоянно столь занято представленіями разврата, что онъ даже не замѣчаетъ тѣхъ грубѣйшихъ противорѣчій, въ которыя впадаетъ, садясь на этого своего конька. Поэтому во всемъ, что касается этой сферы, мы имѣемъ полное право не вѣрить его показаніямъ. Что пьянство и развратъ имѣютъ свое мѣсто въ средѣ учащейся молодежи, это мы и безъ него знали, но что они составляютъ фонъ жизни студенчества, это—бредъ мономана.

Несомнѣнно также, что въ студенческой, какъ и во всякой другой средѣ есть люди глупые, тупые, невѣжественные. Но когда намъ говорятъ что *„всѣ* эти лица тупы, пошлы и лишены ума и отпечатка яркаго духа", что *„каждый"* студентъ глупъ и пустъ,— то это просто вздорная бутада, о которой и говорить не стоитъ. Это слишкомъ уже явное и совершенно невѣроятное сгущеніе красокъ. Однако, доля истины въ мрачной картинѣ, нарисованной г-мъ Гегидзе, есть: уровень духовныхъ интересовъ извѣстной части современнаго студенчества дѣйствительно очень не высокъ. Спрашивается, отъ чего это зависитъ?

Вернемся на минуту къ статьѣ г. К. Левина. Это собственно не статья, а рядъ отвѣтовъ учащейся молодежи на предложенные г. Левинымъ вопросы: 1) какіе изъ прочитанныхъ ими книгъ имъ больше всего нравятся? 2) какіе вопросы и науки ихъ особенно интересуютъ? Авторъ имѣлъ въ виду только воспитанниковъ среднихъ учебныхъ заведеній,—классическихъ и женскихъ гимназій, реальныхъ училищъ, духовныхъ семинарій, учительскихъ семинарій, военныхъ учебныхъ заведеній, женскихъ институтовъ, фельдшерскихъ школъ, коммерческихъ, техническихъ, сельско-хозяйственныхъ, горныхъ и др. училищъ. Попадается, однако, и нѣсколько отвѣтовъ отъ „окончившихъ университетъ". Всего въ распоряженіи автора оказалось слишкомъ 900 отвѣтовъ,— цифра на первый взглядъ очень внушительная. Но, если принять въ соображеніе многочисленность и пестроту учебныхъ заведеній, представители которыхъ откликнулись

на вопросы г. Левина, то можно пожалѣть, что онъ поторопился публиковать результаты своей интересной анкеты. Особенно бросается въ глаза пробѣлъ между воспитанниками среднихъ учебныхъ заведеній и нѣсколькими, очень немногочисленными „окончившими университетъ“: студенчество совсѣмъ отсутствуетъ.

Г. Левинъ подчеркиваетъ то особенное удовольствіе, съ которымъ отнеслись къ его вопросу многіе корреспонденты: „Спасибо вамъ за то, что облегчилъ себя этимъ письмомъ“... „Желаніе облегчить себя заставило меня писать вамъ“... „На душѣ стало легче“ и т. п. Изъ этого г. Левинъ заключаетъ, что среди учащейся молодежи „очень большое количество людей одинокихъ“. Заключеніе вѣрное, но г. Левинъ разумѣетъ, повидимому, подъ одиночествомъ отсутствіе семьи, и это въ данномъ случаѣ, относительно среднихъ учебныхъ заведеній, едва ли вѣрно. Я склоненъ видѣть въ этихъ трогательныхъ обращеніяхъ къ незнакомому человѣку, затронувшему что-то глубоко въ душѣ лежащее,—свидѣтельство духовнаго сиротства, возможнаго и въ семьѣ, и на людяхъ вообще. Этому соотвѣтствуетъ и мрачный тонъ многихъ отвѣтовъ. „Скептицизмъ и пессимизмъ, въ худшемъ значеніи этихъ понятій,—говоритъ г. Левинъ,—свилъ себѣ гнѣздо среди значительной части юношества“. „Въ нѣсколькихъ десяткахъ писемъ“ говорится о ничтожествѣ жизни, о самоубійствѣ, и г. Левинъ замѣчаетъ по этому поводу: „это настроеніе юношей мнѣ очень хорошо извѣстно и по непосредственнымъ наблюденіямъ надъ жизнью учащейся молодежи“ (г. Левинъ, повидимому, практическій педагогъ). Не для всѣхъ, однако, будущее окрашено столь мрачными красками. Одинъ, напримѣръ, гимназистъ пишетъ: „Буду жить, какъ всѣ—вотъ истина, на которой можно построить благополучіе жизни. Совѣсть, честь, долгъ, грѣхъ—все это придумано людьми для ихъ устрашенія. Безъ нихъ жизнь становится интересной и пріятной. И я живу только для себя и это стараюсь внушить и товарищамъ“. Все это, конечно, очень прискорбно, но надо помнить, что ранняя молодость представляетъ собою мягкій матеріалъ, легко поддающійся давленію условій, окружающихъ ее сегодня и могущихъ окружить впослѣдствіи. Достаточно указать на тотъ фактъ, что книга Гюйо „Исторія и критика англійскихъ ученій о нравственности“ „спасла одного гимназиста отъ самоубійства“, а вѣдь книга эта попала къ нему въ руки, конечно, такъ же случайно и, можетъ быть, вопреки вліянію семьи и школы, какъ вообще попадаютъ въ этой средѣ „постороннія“ книги. И по-

томъ, мы встрѣчаемъ въ коллекціи г. Левина рядомъ съ мрачнымъ пессимизмомъ живое и бодрое настроеніе, рядомъ съ ничшіанскимъ отрицаніемъ долга, чести, совѣсти—совершенно противоположныя теченія, рядомъ съ вышеприведенными человѣконенавистническими мыслями, навѣянными „русскимъ парламентомъ"—правильное отношеніе къ нашей общественной жизни. Не мало, конечно, наивностей и курьезовъ. Вообще коллекція такъ пестра и, не смотря на 900 слишкомъ составляющихъ ее номеровъ, такъ въ сущности скудна, что никакого общаго итога ей не подведешь, судя, по крайней мѣрѣ, по тѣмъ даннымъ, которыя г. Левинъ счелъ нужнымъ извлечь изъ нея для печати. Можно только сказать, что большинство юныхъ корреспондентовъ г. Левина горячо желаетъ учиться въ виду очень разнообразныхъ путей жизни въ будущемъ.

Примѣрно въ такомъ же настроеніи былъ и герой г-на Гегидзе, вступая въ университетъ. Не то, чтобы его интересовала та или другая отрасль знанія, тѣ или другіе волнующіе людей вопросы, та или иная дѣятельность въ будущемъ,—нѣтъ, изо всей его исповѣди нельзя извлечь отвѣта на вопросы, предложенные г. Левинымъ. Но въ началѣ исповѣди, въ письмѣ къ другу, онъ восторженно говоритъ о томъ счастіи, которое онъ испытывалъ при одной мысли, что гимназія кончена, и онъ вступаетъ въ университетъ: „Какое радостное и великолѣпное будущее открывается мнѣ отнынѣ! Не о немъ ли мы всѣ грезили въ послѣднихъ классахъ, какъ о какомъ-то свѣтломъ и прекрасномъ раѣ, и я вполнѣ увѣренъ, что университетъ не обманетъ нашихъ ожиданій. Быть студентомъ, пріобрѣтая знанія для того, чтобы потомъ быть полезнымъ людямъ, бороться за возвышенныя идеи, что можетъ быть выше и благороднѣе этого положенія? Что теперь есть въ Россіи болѣе интеллигентнаго, чѣмъ они, и высшаго въ смыслѣ образованности и стремленій къ добру и морали? Я вступаю въ самый лучшій и тѣсный на свѣтѣ союзъ студентовъ и профессоровъ, называемый такъ хорошо и глубоко вѣрно—университетской семьей".

Герою пришлось разочароваться: студенты оказались, какъ мы видѣли, глупыми и пошлыми пьяницами и развратниками, а профессора...

У Герцена есть остроумная и красивая параллель (заимствованная имъ, вирочемъ, у Бэкона) между людьми науки, напоминающими собой пауковъ, и людьми науки, подобными пчеламъ. Паукъ—безкрылое созданіе, ищущее одиночества гдѣ-нибудь въ темномъ

и пыльномъ углу, гдѣ онъ прядетъ свою иногда очень хитрую и тонкую паутину. Пчела, напротивъ, немыслима безъ общества себѣ подобныхъ, ищетъ свѣта, солнца, яркихъ цвѣтовъ, изъ которыхъ вырабатываетъ сладкій медъ. Такъ и люди науки разные бываютъ. Герой г-на Гегидзе попалъ къ профессорамъ-паукамъ, можетъ-быть, и очень трудолюбиво плетущимъ свою паутину, но неспособнымъ внушить любовь и уваженіе къ наукѣ жаждущимъ меду юношамъ. Одного изъ нихъ онъ называетъ даже „геніальнымъ", но по его описанію это какой-то „цвѣтокъ, засохшій, бездуханный, забытый въ книгѣ". Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что подобные жрецы науки не только не утоляютъ жажды знанія, но прямо-таки, своимъ мертвеннымъ отношеніемъ къ великому въ принципѣ дѣлу, гонятъ слушателей изъ своихъ аудиторій. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напримѣръ, какой то профессоръ Груздинскій, заигрываютъ со студентами, популярничаютъ, разсыпая на экзаменахъ знающимъ и не знающимъ пятерки, но, конечно, не такимъ путемъ пріобрѣтается уваженіе студентовъ. „Научнаго значенія у этого человѣка нѣтъ, и онъ служитъ предметомъ насмѣшекъ и шутокъ всѣхъ маломальски разумныхъ студентовъ". А между тѣмъ, профессоръ Груздинскій „представляетъ собою одного изъ тѣхъ профессоровъ, которыхъ такъ много развелось за послѣднее грустное университетское время и которые получаютъ каѳедру не изъ-за научныхъ достоинствъ, а по какимъ-либо инымъ основаніямъ".

Эта атмосфера, такъ мало соотвѣтствующая пылкимъ мечтамъ юношей, стекающихся въ университеты, имѣетъ, конечно, свои причины въ общихъ условіяхъ нашей жизни: были же въ университетахъ и профессора—пчелы, крылатыя, работающія на свѣту, вырабатывающія медъ, но почему-то они вылетѣли изъ своихъ ульевъ, предоставивъ мѣсто паукамъ. Но этихъ общихъ условій мы касаться не будемъ и сосредоточимъ вниманіе на студентахъ, пониженіе духовнаго уровня которыхъ, несомнѣнно, г-мъ Гегидзе преувеличенное, столь же несомнѣнно зависитъ, по крайней мѣрѣ, отчасти, отъ атмосферы, господствующей въ средѣ профессуры.

Вотъ приводимый г. Гегидзе отрывокъ письма, съ которымъ однажды товарищи его героя обратились къ своимъ профессорамъ въ отвѣтъ на какое-то ихъ воззваніе: „Не смѣйте позорить насъ своею дружбой. Вы наши враги. Не слушаться, не идти съ вами, а презирать васъ нашъ долгъ. Мы чужды вамъ по духу и стремленіямъ. Поймите, что ни ваши знанія, ни вашъ опытъ, ни ваши

годы не могутъ заставить насъ прислушиваться къ словамъ вашимъ, такъ какъ въ нихъ сквозитъ такое фарисейское отношеніе къ духовнымъ запросамъ жизни человѣка, такія фальшивыя ноты, такая грубая неискренность, что намъ хотѣлось бы, чтобы вы насъ лучше ненавидѣли, чѣмъ любили. Вашъ путь есть путь лжи". И т. д. Какъ бы мы ни смотрѣли на это письмо, во всякомъ случаѣ его, очевидно, писали не завсегдатаи трактировъ и публичныхъ домовъ, а люди, оскорбленные въ своихъ лучшихъ ожиданіяхъ и надеждахъ. Положимъ, что и герой г-на Гегидзе, по его словамъ, оскорбленъ въ своихъ надеждахъ на университетскую науку, но—характерная подробность—о приведенномъ письмѣ онъ узналъ случайно, изъ разговора съ товарищемъ спустя годъ послѣ того, какъ оно было написано: онъ и поводъ къ письму, и составленіе его, и отправку, и результаты прогулялъ въ нечистоплотныхъ амурахъ и въ грозныхъ обличеніяхъ другихъ, по той же дорожкѣ бѣгающихъ. Значитъ, въ то время, какъ онъ съ компаніей ему подобныхъ проводилъ время, вмѣсто аудиторій, въ кабакахъ и веселыхъ пріютахъ, другіе чѣмъ-то другимъ занимались. Герой знаетъ это, но презираетъ всѣ эти постороннія занятія не менѣе, чѣмъ лекціи профессоровъ. Онъ рѣшительно не вѣритъ, напримѣръ, въ искренность пылкихъ рѣчей на студенческихъ вечеринкахъ и другихъ собраніяхъ,—это просто „ломанье" „ничтожныхъ" людей. Онъ—„противъ того, чтобы люди обманывали себя этими вечеринками, криками и хлопаньемъ, думая, что они что-то дѣлаютъ большое и хорошее, и потомъ, отбывъ эту повинность, замазываютъ этимъ въ себѣ голосъ исканія и борьбы". Онъ „потому противъ этого глупаго ломанья, что хотѣлъ бы, чтобы они всю жизнь стремились къ правдѣ и боролись за то, что они добромъ считаютъ". Человѣкъ столь требовательный къ другимъ, очевидно, самъ стремится къ правдѣ и борется за то, что онъ добромъ считаетъ, тѣмъ болѣе, что онъ хорошо знаетъ, гдѣ, въ чемъ правда и добро. „Большинство человѣчества,—говоритъ онъ,—грубо, невѣжественно и голодно, какъ звѣри. Вся человѣческая мысль должна заниматься тѣмъ, чтобы вывести ихъ изъ этого звѣрскаго положенія и чтобы они хоть не голодали и не работали непосильно, какъ машины".

Читая эти строки, вы готовы забыть, что ихъ пишетъ мономанъ по части „клубнички", готовы думать, что тутъ какое-то недоразумѣніе, что-то мимолетное, въ родѣ облака, на минуту заслоняющаго солнце, и вотъ-вотъ, кончится этотъ угаръ, эта

грязная полоса молодой жизни, и герой уже видитъ впереди яркую картину своей будущей дѣятельности на поприщѣ борьбы за правду и добро. Пусть эта красивая мечта съ теченіемъ времени поблѣднѣетъ, потускнѣетъ, пусть жизнь обобьетъ у нея крылья своими бурями, но сейчасъ—такъ къ лицу юности эти мечты..

Вы ошибаетесь. Вотъ какъ раздумываетъ герой г-на Гегидзе надъ своимъ будущимъ: „Чѣмъ заняться?.. Наука.. Къ чему? Зачѣмъ? Я хочу жить, а не закопаться въ книги, какъ кротъ, и стоять внѣ жизни. Можетъ быть, заняться общественною дѣятельностью, какъ другіе... Пойти въ земство, просвѣщать народъ, бороться съ произволомъ... Но если не вилять, а идти прямо къ цѣли, то вѣдь меня быстро прогонятъ со службы. Бороться съ произволами, а за это тюрьма, Сибирь, съ нечистотой, съ клопами, съ грязными арестантами... Холодно. А я привыкъ къ комфорту, къ чистому бѣлью, къ удобствамъ, къ домашнимъ привычкамъ... Нѣтъ, не могу, больно это... И точно ли я такъ люблю народъ, чтобы жертвовать для него своимъ счастьемъ... Народъ—это грубые, грязные какіе-нибудь Сидоръ или Марья, какой-нибудь пьяный, противный фабричный... Отдавать счастье для блага грубой, грязной невѣдомой Марьи?.. Не однѣ ли это пышныя фразы?“ Такова оборотная сторона медали, которую герой г-на Гегидзе выдаетъ себѣ словами: „я хотѣлъ бы, чтобы они (товарищи) всю жизнь стремились къ правдѣ и боролись за то, что они добромъ считаютъ“.

Въ одномъ мѣстѣ герой дѣлаетъ такое признаніе: „Мнѣ противно и надоѣлю все, и моя студенческая жизнь, и люди, и самъ я больше всего себѣ противенъ“. Этому можно повѣрить. Онъ есть плоть отъ плоти и кость отъ кости той худшей части студенчества, которую онъ громитъ за развратъ и неискреннія фразы и къ которой, однако, тяготѣетъ въ силу своего рода Wahlverwandschaft, избирательнаго сродства. Но, съ другой стороны, самъ-то себѣ онъ, можетъ быть, и не такъ ужъ противенъ, какъ говоритъ. Можетъ быть, передъ нами тутъ просто тотъ голубой плащъ на черной бархатной подкладкѣ, о которомъ мечталъ Бальзаминовъ: черный бархатъ, это символъ красиваго траура по былымъ очарованіямъ, голубой плащъ—символъ еще живыхъ стремленій къ небесамъ. И „надо только вообразить, маменька, какъ мнѣ голубой цвѣтъ къ лицу“, — говоритъ Бальзаминовъ. Какой то обманный внутренній голосъ внушилъ герою г-на Гегидзе, что онъ единственный

на всю „банду“, на все „стадо“ (его выраженія) пошляковъ, развратниковъ и проч. и что съ высоты этой своей единственности онъ можетъ презирать всѣхъ и все, ибо всѣ и все ниже его. Это, увы! дѣйствительно обманный голосъ. Въ книжкѣ нѣтъ ни одной черты, которая могла бы оправдать его внушенія. Напротивъ, герой настолько наивенъ, что на каждомъ шагу обнаруживаетъ свое духовное родство съ „бандой“ и „стадомъ“. Но голубой плащъ на черной бархатной подкладкѣ такъ эффектенъ... Смотря, впрочемъ, на чей вкусъ...

XX *).

Драмы Ренана.

Четыре драмы Ренана („Caliban", „L'Eau de jouvence" „Le prêtre de Nemi", „L'abesse de Jouarre) занимаютъ, вмѣстѣ съ „Dialogues et fragments philosophiques", по формѣ, но не по сущности, совершенно особое мѣсто въ его огромномъ литературномъ наслѣдіи. Владѣя яркимъ, образнымъ языкомъ, который можно было бы назвать даже художественнымъ, если бы не его подчасъ чрезмѣрная и искусственная красивость. Ренанъ до второй половины 70-хъ годовъ не выступалъ въ формѣ quasi-художественной драмы. И прибѣгнуть къ ней его не непосредственная потребность творчества побудила, а соображенія раціональнаго характера. Въ предисловіи къ одной изъ драмъ онъ писалъ: „При настоящемъ положеніи человѣческаго ума, только форма діалога соотвѣтствуетъ, по моему мнѣнію, изложенію философскихъ идей. Истинъ этого порядка нельзя ни прямо отрицать, ни прямо утверждать; онѣ не могутъ быть предметомъ доказательства. Можно только представить ихъ съ ихъ различныхъ сторонъ, указать ихъ слабыя и сильныя стороны, ихъ необходимость и значеніе. Въ такомъ положеніи находятся всѣ высшія проблемы человѣчества" (Цитирую по русскому переводу г. Михайлова). Впервые Ренанъ примѣнилъ этотъ пріемъ въ „Dialogues et fragments philosophiques", гдѣ три друга въ теченіе трехъ дней бесѣдуютъ на разныя философскія темы. Но затѣмъ онъ пришелъ къ заключенію, что это слишкомъ сухо. „Я нашелъ,—говоритъ онъ,—что одного діалога недостаточно, что нужно дѣйствіе; я увидѣлъ, что свободная драма, безъ всякой мѣстной окраски, въ родѣ Шекспировской, позволяетъ сдѣлать оттѣнки гораздо болѣе тонкими". „Не претендуя создавать художественную драму, — продолжаетъ Ренанъ,—я хотѣлъ создать только нѣчто въ родѣ драмы". Упоминаніе о Шекспирѣ, какъ образцѣ, которому авторъ намѣренъ слѣ-

*) Научно-литературный сборникъ „Къ Свѣту". 1904 г.

довать а также то обстоятельство, что своего „Калибана“ онъ назвалъ „продолженіемъ“ Шекспировой „Бури“ и ввелъ въ эту драму нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ „Бури“, намекаетъ, однако, на нѣкоторую художественную претензію. Ренанъ мечталъ и о постановкѣ его драмъ на сцену, хотя, если не ошибаюсь, только одна изъ нихъ, послѣдняя—„L'abesse de Jouarre“, конечно, съ большими передѣлками, дождалась этого, благодаря Дузе, заинтересовавшейся ролью героини.

Что драма, какъ и всякое другое художественное произведеніе, можетъ или даже должна имѣть въ своемъ основаніи извѣстную идею, объ этомъ мы говорить не станемъ; тѣмъ болѣе, что мысль Ренана не совсѣмъ такова. Онъ, считая извѣстные философскіе вопросы не подлежащими разрѣшенію, хочетъ при помощи діалоговъ представить различныя мнѣнія о нихъ, не беря на себя отвѣтственности ни за одно изъ нихъ, именно потому, что вопросы эти съ его точки зрѣнія неразрѣшимы. Онъ и предваряетъ объ этомъ читателей въ предисловіяхъ, какъ къ „Dialogues et fragments“, такъ и къ драмамъ. Онъ цѣнитъ драму, какъ форму, въ которой, будто бы *ничего не утверждается*, все наводится, основывается, противополагается, оттѣняется“. Съ другой стороны, однако, онъ въ предисловіи къ „Калибану“ говоритъ, что выбралъ форму діалога, „чтобы выразить нѣкоторыя изъ *своихъ* идей“. А, напримѣръ, въ предисловіи къ „Немійскому жрецу“ читаемъ: „Я хотѣлъ развить въ этомъ произведеніи мысль, аналогичную еврейскому мессіанизму, т.-е вѣру въ конечное торжество религіознаго и моральнаго прогресса, несмотря на повторяющіяся побѣды глупости и зла“. Такимъ образомъ, иногда Ренанъ самъ, отъ своего имени указываетъ руководящую нить для различенія его собственныхъ мыслей въ бесѣдахъ его дѣйствующихъ лицъ. Тѣмъ не менѣе, С. Ѳ. Ольденбургъ, неизвѣстно почему полагающій, что „главный матеріалъ для характеристики Ренана обыкновенно черпаютъ изъ „Dialogues et fragments“, справедливо замѣтилъ недавно, что книгой этой, равно какъ и драмами, „надо пользоваться съ большою осторожностью для выясненія взглядовъ самого Ренана, такъ какъ было бы большой ошибкой приписать ему цѣликомъ высказанныя въ нихъ мнѣнія“ *). Это справедливое замѣчаніе, однако, пожалуй, слишкомъ ужъ справедливо, такъ какъ относится не только въ драмамъ Ренана, а и ко всѣмъ про-

„Ренанъ какъ поборникъ свободы мысли“ въ сборникѣ „Проблемы идеализма“.

изведеніямъ въ драматической формѣ. Понятно, что нельзя же, напримѣръ, Грибоѣдову „цѣликомъ" приписывать мнѣнія Чацкаго, Фамусова, Молчалина и т. д. А относительно Ренана есть довольно простой способъ избѣжать тѣхъ ошибокъ, возможность которыхъ провидитъ самъ Ренанъ, а вслѣдъ за нимъ и г. Ольденбургъ. Какъ ни категорично утвержденіе Ренана, что *только* форма діалога или драмы соотвѣтствуетъ изложенію философскихъ идей, самъ онъ лишь въ видѣ исключенія пользовался ею; поэтому возможно сличеніе рѣчей героевъ его драмъ съ мыслями, изложенными имъ отъ собственнаго имени въ другихъ сочиненіяхъ.

Заручившись этой, кажется, достаточно солидной гарантіей, обратимся къ драмамъ. Къ сожалѣнію, въ оригиналѣ у меня подъ руками только „Немійскій жрецъ", остальныя три драмы въ очень неудачномъ переводѣ г. Михайлова. Послѣднее обстоятельство, впрочемъ, будучи очень прискорбнымъ само по себѣ, не составляетъ большой бѣды для моей цѣли, такъ какъ драмы Ренана художественной цѣнности не имѣютъ,—весь интересъ въ идеяхъ, болѣе или менѣе пространно развиваемыхъ дѣйствующими лицами.

„Калибанъ" есть, какъ уже сказано, продолженіе „Бури". Просперо является здѣсь опять герцогомъ миланскимъ, звѣрообразный дикарь Калибанъ и духъ Аріель — опять его слугами, хотя въ „Бурѣ" Просперо и отпустилъ послѣдняго на свободу. И характеръ ихъ службы во всѣхъ отношеніяхъ все тотъ же: Калибанъ съ ругательствами и проклятіями исполняетъ разную черную работу, Аріель— съ веселіемъ и любовью — нѣкоторыя особыя порученія Просперо болѣе тонкаго свойства. Но характеръ самыхъ этихъ порученій нѣсколько иной. Въ „Бурѣ" Просперо былъ волшебникъ, магъ, при помощи Аріеля и другихъ подвластныхъ духовъ повелѣвавшій стихіями, а въ „Калибанѣ" онъ лишь изрѣдка прибѣгаетъ къ магіи и стремится покорить природу научными средствами. Онъ мало занимается дѣлами своего государства и проводитъ дни и ночи въ лабораторіи за химическими опытами. Народъ имъ недоволенъ, поднимается возстаніе, во главѣ котораго выдвигается Калибанъ. Просперо свергнутъ, миланскимъ герцогомъ становится Калибанъ. Въ то же время инквизиція, озабоченная еретическими мнѣніями о силахъ природы, распространяемыми Просперо, требуетъ заключенія

его въ тюрьму, но достигшій власти Калибанъ беретъ его подъ свою защиту и предоставляетъ ему всѣ удобства для научныхъ занятій.

Таковъ голый остовъ „Калибана". Теперь послушаемъ рѣчей его дѣйствующихъ лицъ.

Драма открывается бесѣдой между Калибаномъ и Аріелемъ. Калибанъ, пьяный, валяется въ лужѣ вина, вытекающаго изъ бочки, и ругаетъ Просперо, который лишилъ его своими чарами земли и воли. Прежде, – говоритъ онъ (т. е. на волшебномъ островѣ „Бури"),—я не думалъ о свободѣ, „но здѣсь, въ этой ломбардской равнинѣ, мои мысли очень развились. Права человѣка абсолютны. Какъ можетъ Просперо препятствовать мнѣ принадлежать самому себѣ? Моя человѣческая гордость возмущается. Правда, я напиваюсь до-пьяна виномъ изъ этого погреба. Но развѣ первое преступленіе правителей не въ томъ, что они принижаютъ народъ своими благодѣяніями? Чтобы изгладить этотъ стыдъ, есть только одно средство: убивать ихъ. Подобное оскорбленіе смывается только кровью. Да, наконецъ, по отношенію ко мнѣ Просперо былъ узурпаторомъ: онъ укралъ у меня мой островъ; я былъ его законнымъ властителемъ. Островъ принадлежалъ мнѣ съ тѣхъ поръ, какъ его оставила мнѣ моя мать Сикораксъ, убираясь ко всѣмъ чертямъ. Я приспособилъ его къ своимъ потребностямъ, жилъ на немъ, пока не присталъ туда этотъ негодный волшебникъ съ своимъ воздушнымъ слугой (Аріелемъ). Я первый занялъ его, Просперо былъ завоевателемъ, узурпаторомъ".

Является, какъ и у Шекспира, подъ звуки нѣжной музыки, Аріель и пытается усовѣстить Калибана. „Почему ты возмущаешься?—спрашиваетъ онъ.—Гдѣ тебѣ можетъ быть лучше, чѣмъ здѣсь? Погребъ открытъ, и ты знаешь къ нему дорогу. Свободный, ты былъ бы менѣе счастливъ... Ты постоянно повторяешь, что островъ принадлежитъ тебѣ. Онъ принадлежитъ тебѣ такъ же, какъ пустыня принадлежитъ газели, какъ ягненокъ принадлежитъ тигру. Ты не зналъ имени ни одной вещи; ты не зналъ даже, что такое разумъ. Твоя нечленораздѣльная рѣчь напоминала мычаніе верблюда, когда онъ бываетъ въ дурномъ настроеніи духа. Звуки, сдавливаемые въ твоей гортани, походили на безплодное усиліе изрыгнуть пищу. Просперо научилъ тебя языку арійцевъ. Съ этимъ божественнымъ языкомъ въ тебя вошло неотдѣлимое отъ него количество разума. Мало-по-малу, благодаря языку и разуму, твои безобразныя черты приняли нѣкоторую гармонію; твои пальцы съ перепонками отдѣлились другъ отъ друга; изъ безобразной рыбы ты сталъ человѣкомъ, и теперь

ты говоришь, почти какъ сынъ арійцевъ... Что касается меня, то я служу идеѣ, наслаждаюсь счастьемъ... Ты служишь изъ страха, я служу изъ любви. То, что онъ (Просперо) ищетъ, такъ прекрасно, что я счастливъ, помогая ему своимъ повиновеніемъ. Да, я поклоняюсь ему! Онъ не Богъ, но работаетъ для Бога. По его мнѣнію, Богъ—разумъ, и нужно трудиться, чтобы Богъ, т.-е. разумъ, все болѣе и болѣе управлялъ міромъ. Онъ ищетъ средствъ, чтобы разумъ былъ вооруженъ и дѣйствительно управлялъ міромъ".

Просперо съ своей стороны дополняетъ эту мысль такъ: „Міръ будетъ осуществленъ (sic), когда наука увѣнчаетъ корону монарха и будетъ править безъ соперниковъ. Тогда разумъ возвратитъ міру его утерянную красоту и совершенство. О! какъ прелестна программа властителей того времени!"

Въ „Калибанѣ" для насъ представляетъ интересъ еще одна мысль, высказываемая однимъ изъ придворныхъ Просперо—Гонзало и какимъ-то безъименнымъ монахомъ. „Калибанъ, это народъ,—говоритъ Гонзало.—Всякая цивилизація аристократическаго происхожденія. Получивъ цивилизацію отъ аристократіи, народъ обыкновенно обращается противъ нея". Монахъ, въ свою очередь, размышляетъ: „Всякая цивилизація—дѣло аристократовъ. Именно аристократія создала грамматическую рѣчь (сколько ударовъ палокъ нужно было, чтобы сдѣлать грамматику обязательной!), законы, порохъ, разумъ. Именно она дисциплинировала низшія расы, или подчинивъ ихъ самому жестокому обращенію, или терроризировавъ ихъ сверхъестественными вѣрованіями. Низшія расы, напримѣръ, освобожденный негръ, обнаруживаютъ сначала чудовищную неблагодарность по отношенію къ своимъ цивилизаторамъ. Когда имъ удается стряхнуть ярмо цивилизаторовъ, они обходятся съ послѣдними, какъ съ тиранами, эксплуататорами, обманщиками".

Благодаря крайней слабости художественнаго элемента въ драмѣ, выражающейся, между прочимъ, чрезмѣрно рѣзкимъ распредѣленіемъ свѣта и мрака въ рѣчахъ дѣйствующихъ лицъ, уже и теперь не трудно рѣшить, чьи взгляды ближе уму и сердцу автора. Но у „Калибана" есть еще продолженіе—„L'eau de jouvence", „Живая вода", или „Вода жизни", какъ, мнѣ кажется, слѣдуетъ переводить это заглавіе (г. Михайловъ переводитъ „Источникъ юности").

Не смотря на увѣщанія нѣкоторыхъ придворныхъ, предлагающихъ ему свои услуги для борьбы съ Калибаномъ, Просперо удаляется въ частную жизнь, тѣмъ болѣе, что Калибанъ, тотчасъ поумнѣвшій,

какъ только сталъ миланскимъ герцогомъ, движимый частью ненавистью къ духовенству, которое преслѣдуетъ Просперо, какъ еретика, частью тщеславіемъ, оказываетъ ему покровительство. Просперо продолжаетъ заниматься своими химическими опытами и странствуетъ подъ именемъ Арно-де-Вилльнева.

„Царство идеала кончено,—говоритъ онъ:—все, что не представляетъ собою силы, считается химерой". Ученый, у котораго нѣтъ взрывчатыхъ веществъ, папа, не имѣющій за спиной арміи, напрасно будетъ говорить: „я олицетворяю идею"; отъ нихъ можно столько же ожидать, сколько отъ лопнувшей машины или разрушенной крѣпости. Начиная съ настоящаго времени, нужно стремиться къ тому, чтобы идеалъ сдѣлался реальностью. Порохъ, котораго мы ищемъ, но который еще не открытъ, перенесетъ совершенно въ другую сторону центръ силы. Лошадь, мечъ, желѣзные доспѣхи будутъ заброшены, какъ ненужное оружіе".

Еще въ „Калибанѣ" Просперо выразилъ эту послѣднюю мысль, и когда одинъ изъ придворныхъ замѣтилъ, что и мятежный народъ можетъ воспользоваться порохомъ, Просперо отвѣтилъ, что онъ тогда изобрѣтетъ снаряды, которые будутъ недоступны для народа, что „принципъ силы, способной поддерживать права разума надъ народомъ, неисчерпаемъ".

Просперо, подъ именемъ Арно, занятъ изобрѣтеніемъ не только пороха, а еще спирта и эѳира. На тотъ и на другой онъ возлагаетъ преувеличенныя надежды въ смыслѣ власти надъ силами природы, а черезъ нихъ и надъ людьми для ихъ же блага. Спиртъ или „вода жизни" (eau de vie) заключаетъ въ себѣ „первоначальный огонь, который, сообщаясь матеріи, порождаетъ жизнь, а отнятый у нея, вызываетъ смерть", онъ есть „сущность жизни"; а при помощи эѳира Арно надѣется „сдѣлать смерть безболѣзненной и добровольной". Благодаря спирту и эѳиру, „старость будетъ побѣждена, старику будутъ доступны наслажденія молодости". Молва о теоріяхъ и изобрѣтеніяхъ Арно распространяется, вездѣ разнося его славу, какъ чудодѣя. И когда онъ прибываетъ въ Авиньонъ, старикъ папа, проживающій тамъ, заинтересовывается его открытіями, разсчитывая вернуть себѣ молодость, узнать, что ждетъ людей послѣ смерти и т. п. Поэтому папа, какъ и Калибанъ, беретъ Арно подъ свое покровительство, когда кары ему требуютъ съ одной стороны инквизиція, обличающая его въ ереси, и германскій императоръ — съ другой (объ этомъ послѣднемъ эпизодѣ мы сейчасъ скажемъ).

Въ концѣ-концовъ, Арно призналъ свою жизненную задачу оконченною и увѣренный, что его труды не пропадутъ даромъ, надѣваетъ плащъ, пропитанный „водою смерти“ или мертвой водой,— повидимому, эѳиромъ,—умираетъ, окруженный учениками и друзьями, съ улыбкой блаженства на устахъ.

„Живая вода“ гораздо сложнѣе „Калибана“: въ ней второстепенныхъ дѣйствующихъ лицъ и эпизодовъ гораздо больше. На нѣкоторыхъ изъ нихъ мы должны остановиться.

Въ числѣ посѣтителей Арно, желающихъ поучиться у него или получить какой-нибудь совѣтъ, или на себѣ испытать дѣйствіе „живой воды“, или имѣющихъ сдѣлать ему какое-нибудь предложеніе, есть нѣкто Тросулусъ, представитель литературнаго общества, выработавшаго проектъ закона, который долженъ гарантировать не только писателю, а и изобрѣтателю право исключительной собственности на его изобрѣтеніе. Тросулусъ убѣждаетъ Арно вступить въ это общество, рисуя ему перспективу тѣхъ милліоновъ, которые онъ можетъ получить за свой спиртъ. Арно съ негодованіемъ отвергаетъ это предложеніе. Онъ не желаетъ „чеканить монету изъ своей мысли“. Онъ не отрицаетъ справедливости мысли, лежащей въ основаніи общества, представителемъ котораго является Тросулусъ. Но, говоритъ онъ, „желаніе внести въ распредѣленіе богатствъ въ этомъ мірѣ слишкомъ много справедливости есть одно изъ худшихъ заблужденій. Несправедливость—принципъ эволюціи нашей вселенной. Іегова, говорятъ, былъ Богъ справедливый по преимуществу. Но вспомните, что произошло съ быками, которые, подъ вліяніемъ какого-то божественнаго инстинкта, привезли на себѣ ковчегъ отъ филистимлянъ. По нашимъ понятіямъ имъ слѣдовало бы выдавать пенсію, поселить ихъ на роскошномъ лугу, гдѣ они могли бы провести среди зелени остатокъ своихъ дней. Но нѣтъ! Изъ дерева чудесной колесницы, которая привезла священный ковчегъ, сложили костеръ, а на немъ принесли въ жертву быковъ. Жертвоприношеніе совершилось въ честь Іеговы; чувствуешь, что авторъ этого прекраснаго библейскаго разсказа находитъ это естественнымъ, а что добрыя животныя были этимъ польщены и счастливы. Исполнивъ, подъ вліяніемъ глубокаго инстинкта, божественную миссію высшаго порядка, эти животныя должны были исчезнуть послѣ ея выполненія. Вотъ гдѣ награда для всѣхъ благодѣтелей человѣчества: ихъ сжигаютъ на кострѣ ихъ открытій, и другіе будутъ за нихъ пользоваться ихъ открытіями. Іегова никогда

не допускалъ, чтобы вещи могли и должны были иначе совершаться".

Такого рода рѣчи—мы еще ихъ услышимъ—Арно-Просперо говоритъ и представителямъ духовенства, и своимъ ученикамъ.

Приходятъ къ Арно еще два интересныхъ посѣтителя: французскій рыцарь и поэтъ Леолинъ-де-Бретань и пфальцграфъ Сифруа, присланный германскимъ императоромъ. Жизнерадостный Леолинъ слышалъ о чудесныхъ свойствахъ живой воды и пришелъ просить нѣсколько капель. Сифруа же требуетъ отъ имени императора, чтобы Арно воскресилъ одного владѣтельнаго князя и заставилъ его написать завѣщаніе въ пользу германской имперіи. Арно объясняетъ ему, что воскрешать мертвыхъ онъ не можетъ, и предлагаетъ посмотрѣть, что именно онъ дѣлаетъ. Сифруа садится рядомъ съ Леолиномъ, при чемъ одинъ изъ присутствующихъ замѣчаетъ: „Вотъ двѣ птицы, которыя не преминули бы сцѣпиться, если бы долго оставались рядомъ на одной вѣткѣ". Это двѣ противоположности: французъ — поэтическая и нѣсколько сантиментальная натура, нѣмецъ—грубъ, дикъ, хвастаетъ жестокостями и мерзостями своихъ соотечественниковъ. Дѣло происходитъ въ лабораторіи, гдѣ готовится рѣшительный опытъ съ полученіемъ спирта. И когда дѣйствительно получается большой сосудъ этой жидкости, Сифруа грубо, хватаясь за мечъ, овладѣваетъ имъ и выпиваетъ залпомъ три четверти содержимаго; остальное достается Леолину. Оба падаютъ, какъ подкошенные, засыпаютъ и бредятъ во снѣ. Сонъ Леолина поэтиченъ: передъ нимъ встаютъ картины любви, и, проснувшись, онъ чувствуетъ себя обновленнымъ. Сонъ пфальцграфа, напротивъ, дикъ: ему грезится война, убійства, разстрѣлянія, онъ требуетъ еще и еще убійствъ и ругаетъ французовъ. Онъ и не просыпается, а умираетъ, такъ какъ выпилъ слишкомъ много алкоголя. „Какая грубая раса!"—замѣчаетъ одинъ изъ учениковъ. „Будьте осторожны: эти выводы неосновательны,—поправляетъ Арно-Просперо. Готескалькъ (тоже одинъ изъ учениковъ)—его соотечественникъ, а онъ лучшій среди насъ".

Этотъ-то эпизодъ съ пфальцграфомъ и вызываетъ грозное обращеніе германскаго императора къ папѣ: „Да будетъ извѣстно вашему святѣйшеству,—пишетъ онъ,—что гнусное насиліе, совершенное въ вашемъ святѣйшемъ дворцѣ отравителемъ Арно-де Вилльневомъ надъ моимъ вѣрнымъ слугой Сифруа, пфальцграфомъ и моимъ посломъ, вызвали во мнѣ сильное и справедливое негодова-

ніе. Жестокость такого преступленія усиливается еще тѣмъ, что убійцей явно руководила жестокая ненависть, гнусная, низкая зависть галльскихъ народовъ къ германскимъ" и т. д.

Что касается только что упомянутаго нѣмецкаго ученика Арно-Просперо, Готескалька, то хотя въ приведенномъ случаѣ онъ является представителемъ симпатичныхъ Арно сторонъ германскаго духа, но въ общемъ его назначеніе въ драмѣ оттѣнять разницу въ воззрѣніяхъ Просперо и „нашихъ учителей въ Помераніи", какъ выражается Готескалькъ.

На Авиньонскомъ мосту народъ веселится, пляшетъ, поетъ. Готескальку это не нравится: „наши учителя въ Помераніи утверждаютъ, что наша раса занимаетъ первое мѣсто среди остальныхъ, потому что она не умѣетъ смѣяться и не нуждается въ удовольствіяхъ". „Погодите немного!—возражаетъ Арно.—Пусть выступитъ на сцену индивидуальность съ ея требованіями, тогда видно будетъ, что представляетъ собою вашъ любезный народъ". На Авиньонскомъ мосту опять танцуютъ и поютъ. Но только что оканчивается это веселье, „на небѣ показывается фантастическое видѣніе": огромная гильотина, ножъ которой отрѣзываетъ послѣдовательно цѣлый рядъ знатныхъ головъ, начиная съ короля и папы, подъ звуки карманьолы: „Вотъ что приходитъ на смѣну вашимъ танцамъ и поцѣлуямъ,—говоритъ Готескалькъ.—У насъ, благодаря скромности нравовъ, этого никогда не бываетъ".—„Подождите немного",—опять возражаетъ Арно.

Это самое предсказаніе или предупрежденіе по адресу Германіи Ренанъ отъ своего собственнаго имени, но въ гораздо болѣе яркой и краснорѣчивой формѣ, сдѣлалъ въ статьѣ, написанной подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ франко-прусской войны, чрезвычайно его взволновавшей. И нѣтъ никакого сомнѣнія, что, по крайней мѣрѣ, на этомъ пунктѣ устами Арно-Просперо говоритъ самъ авторъ. Ренанъ былъ оскорбленъ въ своихъ лучшихъ чувствахъ уже самымъ фактомъ войны 1870—1871 г., такъ какъ, подобно многимъ теоретикамъ, вѣрилъ, что періодъ войнъ между цивилизованными народами есть окончательно пройденная ступень исторіи. Совершенно неожиданно изъ-за Гете, Канта и другихъ духовныхъ вершинъ, въ которыхъ для него олицетворялась Германія и въ память которыхъ Просперо называетъ Готескалька „лучшихъ изъ насъ", выдвинулись дикіе воины, люди желѣза и крови. И эти соотечественники Готес-

калька разгромили родину Ренана грубой и наглой силой, воплощенной имъ въ образѣ пфальцграфа Сифруа... Вихрь негодованія, горя и стыда, поднятый этими событіями въ душѣ Ренана, не помѣшалъ, однако, ему отнестись къ нимъ философски, подыскать имъ объясненіе, указать съ своей точки зрѣнія ихъ мѣсто въ цѣпи причинъ и слѣдствій.

Побѣда Германіи или Пруссіи, какъ охотнѣе говорилъ Ренанъ, была по его мнѣнію, побѣдой людей „стараго порядка", почти варваровъ, сохранившихъ, вмѣстѣ съ старинною грубостью и дикостью, старинныя добродѣтели, способность къ дисциплинѣ, преданность извѣстнымъ идеальнымъ единицамъ, каковы—семья, государство, отечество, готовность страдать и умирать ради этихъ отвлеченностей, возвышающихся надъ одинокою личностью. Франція же со времени революціи все болѣе и болѣе утрачивала эти качества, она разорвала всѣ узы, связывавшія и обязывавшія людей стараго порядка, и могла противопоставить Пруссіи только индивидовъ, разрозненныхъ и неспособныхъ къ дисциплинѣ, самоотверженію, слишкомъ преданныхъ исключительно личнымъ интересамъ. Но, продолжаетъ Ренанъ, наступитъ и для Германіи моментъ распада идеальныхъ единицъ, требующихъ отъ личности преданности, преклоненія, жертвъ, заполнятъ и ее индивидуальные интересы, и тогда Франція скажетъ ей, какъ мертвецы пророка Исаіи: „И ты сдѣлался безсильнымъ, какъ мы! и ты сталъ подобенъ намъ!"

Пессимистическій тонъ этого предсказанія совсѣмъ не свойственъ Ренану, онъ вызванъ злобой дня, стыдомъ и скорбью патріота. Но противопоставленіе судьбы личности, индивида судьбамъ „идеальныхъ единицъ" составляетъ едва-ли не самую характерную его общую идею, получившую въ оцѣнкѣ франко-прусской войны только своеобразное примѣненіе.

Въ литературной дѣятельностп Ренана есть одинъ совершенно исключительный фактъ, едва ли имѣющій себѣ подобіе во всей исторіи литературы. Не разъ случалось, что какое-нибудь литературное произведеніе появлялось въ печати много лѣтъ спустя послѣ того, какъ оно было написано. Чаще всего это бываетъ съ мемуарами, немедленному опубликованію которыхъ препятствуютъ разныя стороннія обстоятельства. Съ Ренаномъ случилось нѣчто иное. Въ 1848—1849 году онъ написалъ обширное философское сочиненіе „Будущность науки", нѣсколько отрывковъ изъ котораго вскорѣ же и напечаталъ въ журналахъ. Но цѣликомъ онъ издалъ этотъ свой

трудъ, уже находясь да вершинѣ славы, за два года до смерти, въ 1890 г. Такимъ образомъ, рукопись „Будущности науки“ лежала подъ спудомъ сорокъ лѣтъ. Если принять въ соображеніе, что въ моментъ этой работы Ренану было двадцать пять—двадцать шесть лѣтъ, когда человѣкъ, обреченный стать писателемъ, съ особенною страстностью и часто даже чрезмѣрною торопливостью стремится высказаться въ печати, то фактъ сорокалѣтняго воздержанія становится почти невѣроятнымъ. Тѣмъ болѣе, что, издавая въ старости эту юношескую работу, знаменитый писатель не могъ не видѣть ея недостатковъ. Онъ и говоритъ о нихъ въ своемъ предисловіи, хотя видитъ ихъ не совсѣмъ тамъ, гдѣ ихъ дѣйствительно слѣдуетъ искать. Какъ бы то ни было, „Будущность науки“ представляетъ собой документъ чрезвычайной важности для исторіи развитія идей Ренана.

Двадцатипятилѣтній авторъ „Будущности науки“ былъ рьянымъ поклонникомъ великой революціи, въ которой впослѣдствіи такъ сильно разочаровался. Надо, однако, замѣтить, что въ революціи его не столько плѣняла политическая сторона, — къ политикѣ онъ вообще относился съ поразительнымъ для юноши презрѣніемъ, — сколько онъ видѣлъ въ ней торжество разума, культъ котораго до конца дней его, какъ онъ самъ выражался, составлялъ его религію. Онъ писалъ въ „Будущности науки“: „Философы и люди, одаренные талантами, нисколько не занимаясь политикой, радикально измѣнили основу всѣхъ идей и, опираясь на вѣру въ свои системы, произвели сознательно и намѣренно наиболѣе крупную изъ революцій. Революція 1789 года является революціей, созданной философами. Кондорсе, Мирабо и Робеспьеръ представляютъ первый примѣръ теоретиковъ, вмѣшивающихся въ управленіе вещами и старающихся управлять человѣчествомъ разумно и согласно требованіямъ науки. Всѣ участники учредительнаго собранія, законодательнаго собранія и конвента были почти всѣ безъ исключенія въ буквальномъ смыслѣ слова учениками Руссо и Вольтера“.

Прошу читателя замѣтить, что я не имѣю въ виду оцѣнки взглядовъ Ренана со стороны ихъ достоинствъ или недостатковъ, я хочу только выяснить нѣкоторыя общія его идеи, лежащія, между прочимъ, и въ основаніи его драмъ.

Положеніе представителей разума, — людей науки и свободной критической мысли —ихъ судьба, ихъ радости и горести, ихъ права и обязанности всегда особенно занимали Ренана. Въ его идеалѣ они вмѣстѣ съ тѣмъ люди власти. Таковъ и Просперо, бывшій миланскій гер-

цогъ, который, по словамъ Аріеля, „ищетъ средствъ, чтобы разумъ былъ вооруженъ и дѣйствительно управлялъ міромъ“, мечтаетъ о времени, „когда наука увѣнчаетъ корону монарха и будетъ править безъ соперниковъ“, и вѣритъ, что „принципъ силы, способной поддерживать права разума надъ народомъ, неисчерпаемъ“. При этомъ какіе-нибудь корыстные, вообще эгоистическіе мотивы чужды Просперо: мы видѣли, съ какимъ негодованіемъ отвергъ онъ милліоны, показанные ему въ перспективѣ Тросулосомъ. Онъ работаетъ для общаго блага“.

И вотъ что мы, между прочимъ, читаемъ въ „Будущности науки“: „Я не понимаю, какъ возвышенная душа можетъ не страдать при видѣ того, что большая часть человѣчества лишена тѣхъ благъ, которыя ей принадлежатъ: я не понимаю, какъ при видѣ всего этого возвышенная душа не будетъ стремиться къ иному распредѣленію духовныхъ благъ. Есть люди, которые понимаютъ счастье, какъ нѣчто исключительное, и которые перестали бы цѣнить богатство, образованіе, умъ, если бы они были у каждаго. Это—гордецы и эгоисты... Для прогресса человѣческаго ума недостаточно, чтобы нѣсколько отдѣльныхъ мыслителей дошли до наиболѣе совершенныхъ точекъ зрѣнія, чтобы нѣсколько человѣкъ выдѣлились изъ общаго уровня, какъ пустые колосья. Къ чему служатъ эти чудныя открытія, если пользоваться ими можетъ только частица людей? Насколько человѣчество ушло впередъ, если семь или восемь человѣкъ познали истинный смыслъ вещей? Результатъ достигнутъ только тогда, когда онъ вошелъ въ общее обращеніе“.

Такъ думалъ Ренанъ, когда писалъ „Будущность науки“. Сорокъ лѣтъ спустя, когда онъ издавалъ этотъ юношескій трудъ, онъ писалъ въ предисловіи къ нему: „Мысль о цивилизаціи, основанной на равенствѣ, какъ она выражена на страницахъ этого произведенія, есть мечта“. И мечта пагубная, преступная, какъ много разъ съ чрезвычайнымъ жаромъ доказывалъ Ренанъ. Такъ, напримѣръ, въ книгѣ „La réforme intellectuelle et morale“ находимъ слѣдующія выразительныя строки: „Жизнь человѣческая стала бы невозможною, если бы человѣкъ не давалъ себѣ права подчинять животныхъ; она точно такъ же была бы невозможна, если бы держались того отвлеченнаго понятія, по которому всѣ люди рождаются съ одинаковыми правами на имущество и на общественное положеніе... Человѣчество есть таинственная лѣстница, рядъ равнодѣйствующихъ силъ, проистекающихъ одна изъ другой. Трудолюбивыя поколѣнія людей на-

рода и крестьянъ создаютъ существованіе честнаго и экономнаго буржуа, который, въ свою очередь, создаетъ дворянина, человѣка, освобожденнаго отъ вещественнаго труда, всецѣло преданнаго предметамъ безкорыстнымъ. Каждый въ своемъ классѣ есть хранитель преданія, нужнаго для успѣховъ цивилизаціи.. Превосходство церкви и сила, которая ручается, что у церкви есть еще будущее, состоитъ въ томъ, что она одна понимаетъ это и научаетъ это понимать... Церковь знаетъ, что природа хотѣла, чтобы жизнь человѣчества имѣла многія степени. Она знаетъ и признаетъ, что грубость многихъ есть условіе воспитанія одного, что потъ многихъ позволяетъ немногимъ вести благородную жизнь; но она не называетъ однихъ привилегированными, а другихъ обдѣленными, ибо дѣло человѣческое для нея нераздѣлимо". И если прежде эгоистами нашъ авторъ называлъ людей, не возмущающихся тѣмъ, что большая часть человѣчества лишена благъ, по праву ей принадлежащихъ, то теперь, наоборотъ—„поставьте всѣхъ людей на одну линію, съ равными правами безъ связи подчиненія общему дѣлу, вы получите эгоизмъ, посредственность, разобщенность, сухость, невозможность жить". Если прежде никчемнымъ пустымъ колосьямъ уподоблялись немногіе, познавшіе истину среди моря невѣжества, то въ дальнѣйшемъ развитіи Ренановой мысли, наоборотъ, истина оказалась правомѣрнымъ достояніемъ именно только немногихъ.

Но вотъ что любопытно: въ „Будущности науки" демократическая мечта царитъ совсѣмъ не такъ полновластно, какъ это казалось самому Ренану спустя сорокъ лѣтъ, и какъ это можно было бы заключить по выше приведеннымъ цитатамъ. И недаромъ Ренанъ говоритъ въ предисловіи, что, „очень часто, перечитывая эти юношескія страницы, находимъ путаницу въ нѣкоторыхъ выводахъ". Въ самомъ дѣлѣ, была-ли какая-нибудь надобность отрекаться отъ демократической мечты, когда въ той же „Будущности науки" есть такія положенія: „Если научная культура абсолютно необходима для человѣчества и если она можетъ быть удѣломъ только немногихъ, то эта возмутительная привилегія должна быть оправдана необходимостью... Скажу болѣе: если бы рабство было навсегда необходимо для существованія общества, его можно было бы оправдать, ибо тогда рабы были бы рабами всего человѣчества, рабами божественнаго дѣла. Изъ этого слѣдовало бы очень поэтичное и до сихъ поръ не встрѣчаемое положеніе: рабство, чувствуемое и выносимое съ нѣжностью и благоговѣніемъ... Все это становится понятнымъ съ

точки зрѣнія, устанавливающей для человѣчества, какъ объективную цѣль (т.-е. независящую отъ благосостоянія индивидовъ) реализацію совершенства, великое обожествленіе. Подчиненіе животныхъ человѣку, одного пола другому—не смущаетъ никого потому, что это дѣло природы и роковой организаціи вещей. Іерархія людей по степени ихъ совершенства не должна насъ смущать болѣе... Дозволено было бы быть тираномъ, чтобы способствовать торжеству духа" и т. п. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что и тиранство, и рабство дозволительны не сами по себѣ, а лишь какъ средства для достиженія высшей цѣли, которую Ренанъ называлъ и цѣлью природы и которая состоитъ въ торжествѣ разума. Онъ не разъ оговаривается, что ничья личность не можетъ быть подавляема, обираема или оскорбляема въ интересахъ другихъ личностей, но всему этому она правомѣрно можетъ подвергаться въ интересахъ общаго блага, въ интересахъ идеальной единицы, общества. Въ его идеалѣ, какъ бы низко или высоко ни стоялъ индивидъ на ступеняхъ общественной іерархіи, всѣ одинаково безкорыстно служатъ божественному дѣлу разума.

Мысли эти, впервые безпорядочно и противорѣчиво, но съ большою страстностью изложенныя въ „Будущности науки", Ренанъ потомъ неоднократно развивалъ въ разныхъ своихъ сочиненіяхъ, сложивъ ихъ, наконецъ, въ грандіозную теорію мірозданія,—ибо цѣль природы можетъ быть достигнута въ неопредѣленно далекомъ будущемъ и не на нашей планетѣ. Эти верхи обобщенія Ренана насъ здѣсь не касаются, такъ какъ въ его драмахъ дѣла начинаются и оканчиваются на землѣ.

Итакъ, Просперо есть служитель разума, готовящій орудія для господства надъ силами природы и надъ людьми, надъ „народомъ". Онъ совершенно безкорыстно преданъ своему дѣлу, отрекается отъ всякихъ наслажденій и готовъ принять награду, подобную той, которую получали быки, привезшіе ковчегъ отъ филистимлянъ: ихъ принесли въ жертву Богу, и они были счастливы и польщены этимъ. Просперо знаетъ, что цѣль природы рано или поздно будетъ достигнута и потому спокойно переноситъ преслѣдованія инквизиціи, возстаніе народа, недоброжелательство приближенныхъ, при чемъ дѣло не въ случайномъ покровительствѣ порочнаго папы и поумнѣвшаго Калибана, а именно въ твердой увѣренности, что разумъ восторжествуетъ. Такъ же увѣренъ въ этомъ и Аріель, и потому, сознавая величіе идеи Просперо, служитъ ему съ любовью и благоговѣніемъ, какъ тѣ „рабы всего человѣчества, рабы божественнаго

дѣла", о которыхъ мечталъ Ренанъ въ „Будущности науки". Недаромъ онъ называлъ этихъ рабовъ своей мечты „поэтичными". Не таковъ другой рабъ—Калибанъ. Этотъ грубый и пьяный дикарь, вплоть до того времени, какъ возстаніе народа имъ, главнымъ образомъ, подготовленное, сажаетъ его на миланскій престолъ, стоитъ исключительно на индивидуальной точкѣ зрѣнія. Онъ не хочетъ и не можетъ понять, что Просперо отобралъ у него землю и обратилъ его въ рабство въ видахъ все того же господства разума, и пылаетъ местью къ своему господину. Онъ забываетъ, что получилъ отъ Просперо цивилизацію и помнитъ только тѣ средства, которыми его владыка достигъ этого результата. А средства эти были не изъ мягкихъ. „Калибанъ—это народъ",— говоритъ Гонзало, а безъименный монахъ разсказалъ намъ о путяхъ, которыми аристократія цивилизуетъ народъ: „или подчинивъ его жестокому обращенію, или терроризировавъ его сверхъестественными вѣрованіями", за что, дескать, цивилизуемые и относятся къ цивилизаторамъ, какъ къ „тиранамъ, эксплуататорамъ, обманщикамъ". Слова монаха исполняются, какъ по писаному: Просперо дѣйствительно жестоко обращался съ Калибаномъ и пугалъ его разными сверхъестественными пугалами, и Калибанъ отомстилъ ему, забывъ благодѣянія цивилизаціи...

Любопытно, что въ числѣ этихъ благодѣяній значится возможность и право напиваться до-пьяна виномъ. Это считаетъ благодѣяніемъ не только самъ Калибанъ, но и „воздушный" Аріель, хотя послѣдній имъ не пользуется. Это не случайная черта. Готескалькъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ своему учителю, что „слѣдовало бы подумать о нравственномъ воспитаніи массъ". Просперо возражаетъ: „Безупречная нравственность должна быть удѣломъ только тѣхъ, у кого существуетъ опредѣленная миссія, какъ у насъ, напримѣръ. Человѣкъ, который, подобно намъ, занимаетъ особое мѣсто среди остальныхъ людей, долженъ, взамѣнъ полученныхъ ими привилегій, возложить на себя строгія обязанности, вести аскетическую жизнь, связанную со многими трудностями. Но бѣднымъ людямъ, людямъ толпы, зачѣмъ это? Они бѣдны, а вы хотите, чтобы они еще вдобавокъ были добродѣтельны! Это слишкомъ большое требованіе! Боже мой, ихъ участь еще не самая худшая! Только простымъ людямъ и доступны удовольствія". Что въ числѣ этихъ доступныхъ народу удовольствій имѣется пьянство, это видно изъ дальнѣйшаго. Готескалькъ спрашиваетъ: „Слѣдовательно, вы не думаете, чтобы

общества воздержанія спасли міръ отъ опасностей, которыя ему угрожаютъ?" Просперо отвѣчаетъ: „Эти учрежденія—настоящая гнусность. Лишать простыхъ людей единственной радости, обѣщая имъ взамѣнъ несуществующій рай! Бѣдныя обворованныя жизни!" И вотъ почему Просперо предоставляетъ Калибану свободу напиваться. Могутъ подумать, что, по крайней мѣрѣ, на этомъ пунктѣ Просперо совершенно независимъ отъ Ренана. Однако, это не такъ. Конечно, грубыя формы опьяненія оскорбили бы эстетическое чувство автора „Калибана", но пьянство, какъ „единственная радость простыхъ людей", не только въ печальной дѣйствительности, но и въ идеалѣ, находитъ себѣ защиту, какъ и въ общемъ строѣ его идеи, такъ и въ одномъ спеціальномъ случаѣ. А именно въ статьѣ объ Аміелѣ читаемъ: „Средства спасенія не одинаковы для всѣхъ. Для одного—добродѣтель, для другого—исканіе истины, для третьяго—любовь къ искусству, для остальныхъ—любознательность, путешествіе, роскошь, женщины, богатство, а на низшей ступени культурности—морфинъ и алкоголь. Добродѣтельные люди находятъ себѣ награду въ самой добродѣтели, другіе—въ удовольствіяхъ. . Массы должны развлекаться. У обществъ умѣренности превосходныя намѣренія, но они основаны на недоразумѣніи... Вмѣсто того, чтобы подавлять пьянство, не лучше ли постараться сдѣлать его пріятнымъ, симпатичнымъ, сопровождаемымъ моральными чувствами?"

Фабула „Немійскаго жреца" основана на разсказѣ Страбона о храмѣ Діаны на берегахъ озера Неми. Жрецомъ этого храма могъ быть только человѣкъ, собственноручно убившій предшественника. Въ храмѣ вообще были въ обычаѣ человѣческія жертвоприношенія, и герой драмы Антистій, былъ когда-то въ молодости, за свои реформатскія наклонности, обреченъ жрецомъ Тетрикусомъ въ жертву богу. Онъ сопротивлялся съ оружіемъ въ рукахъ, побѣдилъ Тетрикуса и приставилъ ему мечъ къ горлу, но не убилъ и тѣмъ самымъ отмѣнилъ кровавый обычай. Тетрикусъ вскорѣ умеръ, и Антистій былъ на его мѣсто избранъ народомъ. Такимъ образомъ, Антистій есть, какъ и Просперо, человѣкъ власти, хотя исключительно духовной, и вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ, если не науки, то свободной мысли въ предѣлахъ своей религіи. Не только самъ онъ сталъ жрецомъ, вопреки обычаю не убивъ предшественника, но и вообще борется съ кровавыми жертвоприношеніями, а тѣмъ болѣе человѣческими, проповѣдуетъ кротость, любовь и, по

крайней мѣрѣ, втайнѣ исповѣдуетъ единобожіе. Ему приводятъ плѣнныхъ, обреченныхъ на жертву,—онъ ихъ отпускаетъ на волю, къ нему приходитъ любящаяся пара и приноситъ двухъ голубей,—онъ благословляетъ ихъ союзъ, но голубей выпускаетъ и т. п. Онъ, подобно Просперо, служитель разума и, подобно ему же, старается цивилизовать народъ, но исключительно мягкими средствами. И, опять-таки какъ Просперо, онъ вызываетъ противъ себя бурю съ разныхъ сторонъ. Его не понимаютъ, онъ одинокъ, при немъ только пророчица Кармента. А дѣло происходитъ въ смутное время борьбы Альбы-Лонги и народа, который чтитъ культъ Діаны немійской, съ Римомъ. (Мимоходомъ сказать, эта обстановка даетъ опять поводъ для намековъ на франко-прусскую войну). Есть въ драмѣ и своего рода Калибанъ—демагогъ Цетегусъ. Антистій говоритъ тѣ же рѣчи о самопожертвованіи ради міровыхъ цѣлей, Цетегусъ — о подлости аристократовъ, объ обязанности мстить имъ и т. д. Происходитъ возстаніе и дѣло кончается тѣмъ, что нѣкій Каска, убійца по профессіи, убиваетъ Антистія и, по старому обычаю, становится на его мѣсто жрецомъ, но пророчица Кармента убиваетъ въ свою очередь Каску. Затѣмъ является вѣстникъ изъ Рима, сообщающій объ убійствѣ Рема Ромуломъ. Альбинцы въ смятеніи. Раздается страшный голосъ „пророка Израиля, плѣненнаго въ Вавилонѣ и все видѣвшаго оттуда“: „Такъ говоритъ Господь Саваоѳъ: и такъ напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня“...

Этотъ мрачный конецъ какъ будто противорѣчитъ словамъ предисловія къ драмѣ, приведеннымъ мною въ началѣ статьи: „Я хотѣлъ развить въ этомъ произведеніи мысль, аналогичную еврейскому мессіанизму, то-есть, вѣру въ конечное торжество религіознаго и моральнаго прогресса, не смотря на повторяющіяся побѣды глупости и зла“. Дѣло, повидимому, объясняется пророчествами сивиллы Карменты: она предсказываетъ всемірное владычество Рима и затѣмъ возникновеніе христіанства. Послѣднее въ слѣдующихъ таинственныхъ выраженіяхъ: „Я вижу его, но вдалекѣ. Я угадываю его, но не знаю его имени. Я прочла таинственныя буквы, пророчествующія о немъ; я видѣла его звѣзду на востокѣ. Девять разъ еще праведный будетъ убитъ, въ десятый разъ слава окружитъ его могилу. Ибо Богъ будетъ судить землю; добро побѣдитъ зло; отвратившіеся отъ алтарей, загрязненныхъ кровью, оживутъ въ мірѣ великаго вѣчнаго Бога, въ лонѣ непрерывнаго счастія. Облаченная въ

бѣлое, армія свидѣтелей истины, вотъ твое дѣло. Трепещите отъ радости вы, убиваемые: ваша кровь пролилась не напрасно. Не изсякай, источникъ слезъ: изъ нашихъ слезъ создается Богъ"...

Гораздо оригинальнѣе „Жуарская аббатисса". Мысль о величіи людей разума и власти не покидаетъ Ренана и здѣсь, но она заслоняется сложнымъ поэтическимъ эпизодомъ, собственно и составляющимъ фабулу драмы.

Дѣйствіе происходитъ во времена великой революціи, въ моментъ террора. Ренанъ уже разочаровался въ революціи и не видитъ болѣе въ ея вожакахъ представителей разума, вдохновленныхъ Руссо и Вольтеромъ. Таковыми являются въ „Жуарской аббатиссѣ", напротивъ, благорожденныя жертвы революціи, „свободомыслящіе дворяне". Группа ихъ сидитъ въ тюрьмѣ въ ожиданіи смертной казни. Это не Просперо, изобрѣтавшій порохъ, дабы съ его помощью цивилизовать массы, устрашавшій Калибана сверхъественными пугалами и жестоко съ нимъ обращавшійся. По крайней мѣрѣ, эти представители разума и павшей власти ни о чемъ подобномъ не вспоминаютъ, бесѣдуя наканунѣ смерти. И если, откровенно говоря, Калибанъ имѣлъ нѣкоторыя основанія недолюбливать Просперо, то, судя по предсмертнымъ воспоминаніямъ и размышленіямъ „свободомыслящихъ дворянъ", неблагодарность по отношенію къ нимъ народа не имѣетъ за себя никакихъ оправданій. Цивилизуя своихъ Калибановъ, они не отбирали у нихъ, какъ Просперо, земли, не обращали ихъ въ рабство и только и думали, что о счастіи народа и человѣчества. До ихъ тюрьмы доносится издали пѣніе „Ça ira" и „Chant du départ", и они обмѣниваются между собою по этому поводу такими замѣчаніями: „Какая адская музыка! Какая насмѣшка! О, убейте насъ, но, по крайней мѣрѣ, избавьте отъ надругательствъ. — Жестокое искупленіе за мечты о счастьи человѣчества! — Какой урокъ будущему! Какъ станутъ теперь остерегаться работать на благо народа! — Да! Народъ убиваетъ тѣхъ, кто его любитъ! Это ужасно!—И подумать только, что люди всетаки не теряютъ рѣшимости жертвовать собою для него".

Въ числѣ этихъ людей, не чувствующихъ не только въ своей личной совѣсти, но и въ совѣсти всего своего сословія ни малѣйшей занозы, особенно выдаются жуарская аббатисса, Юлія-де-Сенъ Флоранъ и ея другъ маркизъ д'Арси. Художественная слабость Ренана сказалась какъ въ длиннѣйшихъ резонерскихъ монологахъ этихъ двухъ дѣйствующихъ лицъ (а впрочемъ, и остальныхъ), такъ и въ

томъ, что, надѣливъ ихъ всѣми возможными добродѣтелями, онъ привилъ имъ вмѣстѣ съ тѣмъ одинъ очень непріятный недостатокъ— самохвальство: имъ самимъ приходится разсказывать о своихъ достоинствахъ. Это не мѣшаетъ самому замыслу пьесы, независимо отъ соціальной обстановки ея, быть дѣйствительно оригинальнымъ и поэтичнымъ.

Юлія говоритъ о себѣ: „Я хотѣла улучшенія судьбы человѣчества; я хорошо служила націи, къ которой принадлежу по рожденію. Происходя отъ тѣхъ, кто положилъ основаніе Франціи, я свято хранила ихъ традиціи, изъ которыхъ первою была вѣрность данной клятвѣ. Я уважала обязанности, наложенныя на меня существующими учрежденіями, и умираю на своемъ посту, какъ умерли многіе изъ славныхъ представителей моей семьи, проливъ свою кровь на полѣ сраженія. Я могу быть вполнѣ спокойной. Церковь и дворянство создали эту націю, а она, возмужавъ, умерщвляетъ теперь своихъ основателей. Каждый понесетъ отвѣтственность передъ Богомъ; что касается меня, то я могу высоко и спокойно держать свою голову... Я повиновалась разуму“ и т. д., и т. д. Д'Арси, въ свою очередь, такъ объясняетъ мотивы, по которымъ Юлія, шестнадцатилѣтней дѣвушкой, приняла постриженіе: „Жуарское аббатство было леномъ, пожалованнымъ ея семьѣ за заслуги передъ государствомъ. Ея добродѣтель, ранній и серьезный умъ, ея склонность къ знанію,— все готовило ее къ дѣятельности, которую мы пытались тогда употребить на пользу общественной нравственности и воспитанія націи. Она была убѣждена, что для того, чтобы содѣйствовать прогрессу духа, нужно быть безупречной въ нравственномъ отношеніи. Съ самыми свободными взглядами и твердымъ разсудкомъ она была чиста, какъ средневѣковыя святыя, одушевляемая ихъ безграничною вѣрою. Истиннымъ удовольствіемъ было слушать, какъ спокойно разсуждала она о всѣхъ современныхъ вопросахъ, отстаивая права народа и призывая либеральное христіанство обратить вѣковыя учрежденія и національныя богатства на образованіе народа. Можно было подумать, что это св. Фара или св. Батильда, читавшая Вольтера и комментирующая Руссо. Ея красота“ и т. д., и т. д.

Маркизъ д'Арси вполнѣ достоенъ жуарской аббатиссы. Они были друзьями дѣтства, и дружба эта перешла съ теченіемъ времени въ любовь, которая не завершилась бракомъ въ виду аскетическаго рѣшенія Юліи. Они продолжали, однако, любить другъ друга цѣломудренною любовью. И вотъ судьба свела ихъ въ тюрьмѣ на-

канунѣ смерти. Исключительность этого положенія раздуваетъ пламя любви въ д'Арси, и онъ, устроивъ черезъ сторожа тюрьмы свиданіе наединѣ съ Юліей, убѣждаетъ ее отказаться въ этотъ роковой моментъ отъ обѣта цѣломудрія. „Ваше цѣломудріе законно,—говоритъ онъ,—оно одна изъ причинъ, почему я люблю васъ. Но бросьте эту мысль, что любовь—вульгарное удовольствіе; оставьте поверхностное различеніе души и тѣла. Что такое душа безъ тѣла и что такое чувство, какъ не тѣсное единеніе со вселенной? Благо—цѣль этого міра, а любовь—сильнѣйшее проявленіе этого блага. Все въ природѣ говоритъ намъ: „любите". И что говоритъ объ этомъ краснорѣчивѣе смерти? Если бы міръ оказался наканунѣ конца, тогда, сказалъ бы я, одна любовь должна была бы царствовать безъ предписаній, безъ границъ, потому что единственное основаніе, налагающее ограниченіе на любовь — священное право новаго существа, родящагося изъ нея, не имѣетъ тогда значенія".

Разные другіе доводы приводитъ еще д'Арси. Юлія протестуетъ все слабѣе и слабѣе, и наконецъ, сдается... На слѣдующее утро они готовятся умереть вмѣстѣ, но въ спискѣ вызываемыхъ на казнь Юліи не оказывается, а д'Арси увозятъ на ея глазахъ. Юлія въ отчаяніи. Отдавшись любви въ увѣренности, что на утро ее ждетъ смерть вмѣстѣ съ любимымъ человѣкомъ, она должна разстаться съ этой мечтой и вдобавокъ считаетъ себя опозоренной. Остается еще надежда, что она попадетъ въ завтрашній списокъ осужденныхъ. Вмѣсто этого къ ней является молодой офицеръ Ла-Френэ, прибывшій въ Парижъ вѣстникомъ побѣдъ арміи республиканской надъ войсками коалиціи. Въ качествѣ таковаго, ему обѣщано исполненіе всякаго его желанія, и онъ, видѣвшій Юлію въ революціонномъ трибуналѣ и поразившійся ея мужествомъ и красотой, пожелалъ вырвать ее у смерти и самому сообщить ей о спасеніи. Въ длинной рѣчи онъ сообщаетъ ей, какъ о внушенныхъ ею ему чувствахъ, такъ и о мотивахъ, воздерживающихъ его, тоже „свободомыслящаго дворянина", отъ попытки „прогнать этихъ разбойниковъ, обезславливающихъ отечество, расточающихъ кровь и ужасъ"; онъ считаетъ своимъ долгомъ сражаться за Францію и, уже покончивъ съ внѣшними врагами, заняться „ненавистными тиранами". Юлія тронута, но спасенія не хочетъ и, по удаленіи Ла-Френэ, пробуетъ повѣситься, но тюремные сторожа снимаютъ ее съ петли и зовутъ къ ней священника, тоже обреченнаго на казнь Она исповѣдуется въ своемъ несчастіи, и онъ убѣждаетъ ее забыть свою гордость, свое жуар-